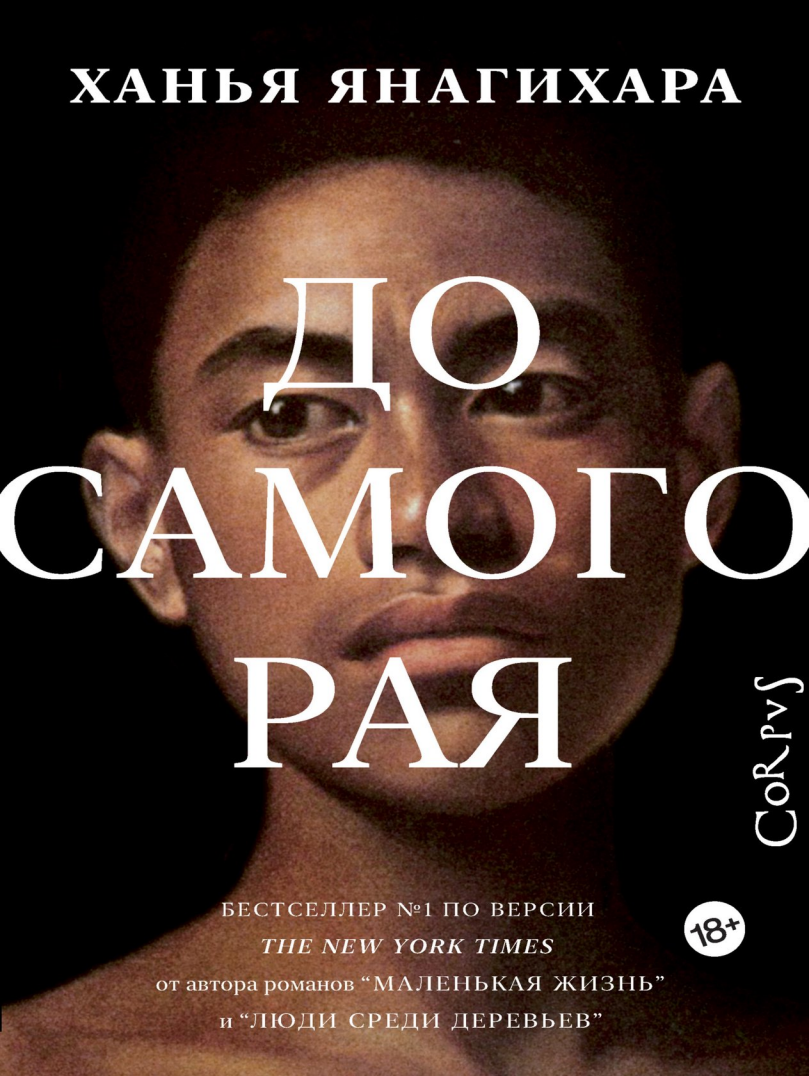

ХАНЬЯ ЯНАГИХАРА
ДО САМОГО РАЯ
CORPUS
БЕСТСЕЛЛЕР №1 ПО ВЕРСИИ
THE NEW YORK TIMES
от автора романов "МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ"
и "ЛЮДИ СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ"
18+

До самого рая
Ханья Янагихара

Аннотация
Ханья Янагихара. До самого рая
Книга I. Вашингтонская площадь
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19

Книга II. Липо-вао-нахеле
Глава 1
Глава 2
Книга III. Восьмая зона
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Слова благодарности

Аннотация

Новый роман Ханьи Янагихары, автора мировых бестселлеров “Маленькая жизнь” и “Люди среди деревьев”, – это и неординарный интеллектуальный вызов, и меткое попадание в каждое сердце.

В альтернативной версии Америки 1893 года, когда отпрыск влиятельной семьи соглашается на достойный брак по договору, его внезапно настигает страсть, грозящая разрушить привычную жизнь. В 1993 году молодой гаваец прячет от близких свое знатное происхождение и сложные отношения с отцом. В 2093 году внучка большого ученого нащупывает собственный путь в мире эпидемий и тотального контроля. Их судьбы сплетаются в сложную симфонию, странным эхом перекликаясь через столетия и проходя вечные человеческие испытания: одиночество, любовь, стыд, болезнь, предательство, добро и зло – все эти неуловимые вещи, то и дело норовящие обернуться своей противоположностью.

В формате PDF A4 сохранён издательский

дизайн.

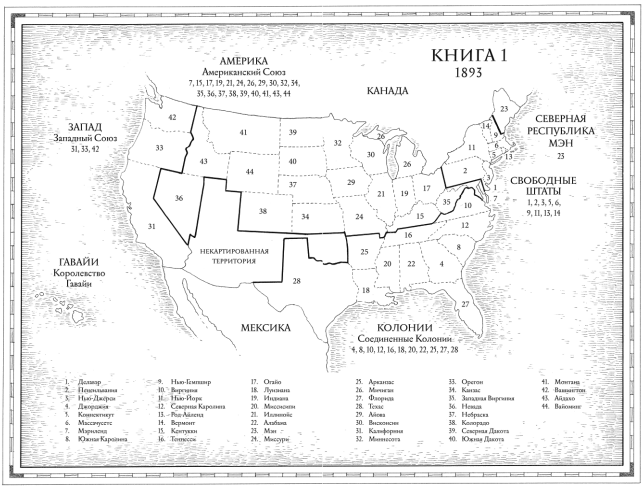
Ханья Янагихара
До самого рая

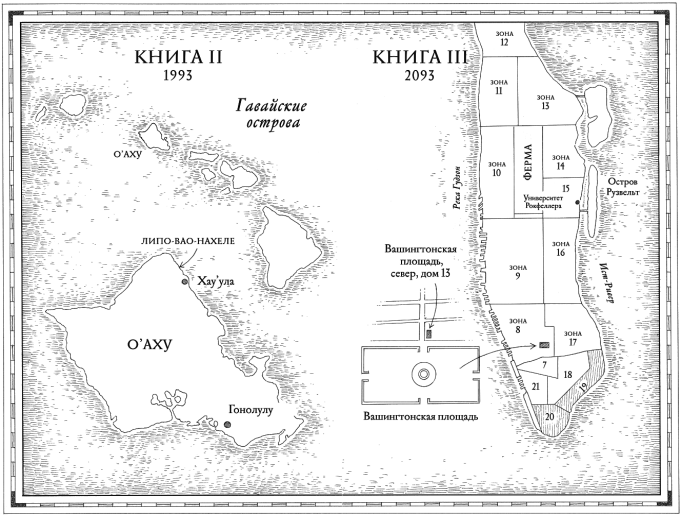
Hanya Yanagihara
To Paradise

© 2022 by Hanya Yanagihara
© maps by John Burgoyne
© А. Борисенко, А. Гайденко, А. Завозова, В. Сонькин, перевод на русский язык, 2023
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО “Издательство АСТ”, 2023
Издательство CORPUS ®
18+

* * *

Дэниелу Роузберри,
неизменному спутнику,
и Джареду Холту,
всегда


КНИГА 1
1893
АМЕРИКА
Американский Союз
7, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44
КАНАДА
ЗАПАД
Западный Союз
31, 33, 42
СЕВЕРНАЯ РЕСПУБЛИКА МЭН
23
СВОБОДНЫЕ ШТАТЫ
1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14
ГАВАЙИ
Королевство Гавайи
НЕКАРТИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
МЕКСИКА
КОЛОНИИ
Соединенные Колонии
4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 28
1. Делавэр
2. Пенсильвания
3. Нью-Джерси
4. Джорджия
5. Коннектикут
6. Массачусетс
7. Мэриленд
8. Южная Каролина
9. Нью-Гэмпшир
10. Виргиния
11. Нью-Йорк
12. Северная Каролина
13. Род-Айленд
14. Вермонт
15. Кентукки
16. Теннесси
17. Огайо
18. Луизиана
19. Индиана
20. Миссисипи
21. Иллинойс
22. Алабама
23. Мэн
24. Миссури
25. Арканзас
26. Мичиган
27. Флорида
28. Техас
29. Айова
30. Висконсин
31. Калифорния
32. Миннесота
33. Орегон
34. Канзас
35. Западная Виргиния
36. Невада
37. Небраска
38. Колорадо
39. Северная Дакота
40. Южная Дакота
41. Монтана
42. Вашингтон
43. Айдахо
44. Вайоминг


КНИГА II
1993
Гавайские острова
О'АХУ
ЛИПО-ВАО-НАХЕЛЕ
Хау'ула
О'АХУ
Гонолулу
КНИГА III
2093
ЗОНА 12
ЗОНА 11
ЗОНА 13
ЗОНА 10
ФЕРМА
ЗОНА 14
15
Остров Рузвельт
Университет Рокфеллера
Река Гудзон
ЗОНА 16
ЗОНА 9
Ист-Ривер
ЗОНА 8
ЗОНА 17
7
18
21
19
20
Вашингтонская площадь, север, дом 13
Вашингтонская площадь

Книга I. Вашингтонская площадь

Глава 1

У него вошло в привычку совершать прогулку в парке перед ужином: десять кругов, в какие-то вечера неспешно, в другие быстрым шагом, чтобы потом поскорее подняться по лестнице в свою комнату, вымыть руки, поправить галстук и спуститься к столу. Однако сегодня, когда он выходил, маленькая горничная сказала, подавая ему перчатки: “Мистер Бингем просил напомнить, что ваши брат и сестра придут на ужин”, — и он ответил: “Да-да, Джейн, спасибо, что напомнили”, — как будто и вправду забыл, и она слегка присела в реверансе и закрыла за ним дверь.

Ему следовало идти быстрее, чем он шел бы, если бы мог располагать своим временем, но Дэвидом овладел дух противоречия, и он нарочно замедлил шаг, прислушиваясь к тому, как его каблуки отстукивают по плитам и шаги деловито звенят в холодном воздухе. День почти уже подошел к концу, и небо приобрело тот особый чернильно-лиловый оттенок, который всегда болезненным уколом напоминал ему о годах, проведенных в школе, о том, как все тонуло в темноте, как растворялись перед его глазами

контуры деревьев.

Скоро уже настанет зима, а он все еще в легком пальто, но Дэвид шагал вперед, скрестив руки на груди и подняв воротник. Даже после того, как колокола пробили пять, он опустил голову и продолжал идти, пока не окончил свой пятый круг, а потом повернулся со вздохом и зашагал на север по одной из дорожек, ведущих к дому, поднялся по гладким каменным ступеням, и дверь открылась перед ним прежде, чем он взошел на крыльцо, и дворецкий уже протягивал руку за его шляпой.

— В малой гостиной, мистер Дэвид.

— Спасибо, Адамс.

У двери в гостиную он остановился, несколько раз пригладил волосы — одна из его нервических привычек: он постоянно убирал со лба вихор, когда читал или рисовал, а когда играл в шахматы (обдумывал ход или ждал своей очереди), тихонько водил указательным пальцем под носом; были и другие навязчивые жесты, — а потом снова вздохнул, распахнул сразу обе двери, изображая уверенность, которой, конечно, совсем не чувствовал.

Они все разом посмотрели на него, равнодушно, без радости, но и без досады. Он был все равно что

стул, часы, шарф, брошенный на спинку дивана, что-то столько раз виденное, что взгляд скользит поверх, привычное присутствие, декорация, которая уже была на сцене, когда поднялся занавес.

— Снова опаздываешь, — сказал Джон прежде, чем Дэвид успел выговорить хоть слово, но голос брата звучал мягко, он не собирался его отчитывать, хотя с Джоном никогда не знаешь, чего ждать.

— Джон, — сказал он, не отвечая на упрек, пожимая руку брату и его мужу, Питеру. — Иден. — И он поцеловал сначала сестру, а потом ее жену, Элизу, в правую щеку. — Где дедушка?

— В погребе.

— А.

Они все замолчали, и на мгновение Дэвид ощутил ту неловкость, которая нередко посещала его, когда они собирались втроем, три Бингема, — опасение, что им нечего сказать друг другу, или, вернее, что они не знают, как говорить друг с другом в отсутствие дедушки, как будто только дедушка связывал их, а не общая кровь, не семейная история.

— Трудный день? — спросил Джон, и он быстро взглянул на него, но голова Джона склонилась над трубкой, и Дэвид не мог бы сказать, что кро-

ется за этим вопросом. Когда его охватывали сомнения, он обычно угадывал, что имеет в виду Джон, посмотрев на Питера, — Питер меньше говорил, но лицо у него было более выразительное, и Дэвид думал, что они сообщаются с миром как единое целое: Питер выражением глаз, движением подбородка как будто прояснял слова Джона, а Джон как будто разъяснял вслух гримасы, пробегавшие по лицу Питера, — вот он нахмурился, вот бегло улыбнулся; но сейчас лицо Питера оставалось столь же непроницаемым, как и голос Джона, помощи ждать было неоткуда, и Дэвиду пришлось отвечать, как будто вопрос был задан без подвоха, — возможно, так оно и было.

— Не очень, — сказал он, и правдивость этого ответа, его очевидность, его предсказуемость, была так обнажена и несомненна, что комната словно застыла, и даже Джон как будто устыдился своего вопроса. А потом Дэвид принялся оправдываться, как это с ним случалось: он пытался описать, облечь в словесную форму свои дни, и от этого становилось только хуже.

— Я читал… — Он был избавлен от дальнейших унижений, потому что в эту минуту вошел дедушка, держа в руках темную бутылку, окутанную серой пушистой пылью, с победным восклицани-

ем “Нашел!”, хотя он еще даже не поздоровался, а продолжал говорить с Адамсом: сегодня запросто, без формальностей, можно сейчас декантировать вино, и они выпьют его за ужином.

— А, смотрите-ка, кто пришел, пока я искал чертову бутылку, — сказал он и улыбнулся Дэвиду, прежде чем повернуться к остальным и объять своей улыбкой их всех, приглашая последовать за ним, что они и сделали, чтобы приступить к ежемесячному воскресному ужину, шесть человек вокруг отполированного дубового стола, каждый на своем привычном месте: дедушка во главе, Дэвид по его правую руку, Элиза справа от Дэвида, Джон слева от дедушки, Питер слева от Джона, Иден напротив дедушки. Они вели обычные необязательные разговоры вполголоса: новости банка, семейные новости Питера и Элизы. Где-то снаружи горел и рушился мир: немцы продвигались все глубже в Африку, французы прорубали путь в Индокитай, и ближе последние ужасы Колоний: расстрелянные, повешенные, избитые, принесенные в жертву; события, о которых и подумать страшно, и так близко, но ни одному из этих событий, особенно тем, что происходили неподалеку, не дозволено было пробиться сквозь облако, обволакивающее ужины у дедушки, где

все было мягким, а твердое становилось податливым — даже палтус так искусно приготовлен на пару, что его можно зачерпнуть специальной ложкой и кости поддаются нежнейшему нажиму серебра. Однако же все труднее становилось удерживать внешний мир от вторжения в святая святых, и за десертом — силлабаб из имбирного пива, легкий, как молочная пена, — Дэвид задался вопросом, думают ли остальные, как и он, о том драгоценном корне имбиря, что был найден и выкопан в Колониях, а потом привезен сюда, в Свободные Штаты, куплен поваром за большие деньги: кого заставили выкапывать корни имбиря? Из чьих рук он был взят?

Когда после ужина они собрались в гостиной и Мэтью разлил по чашкам кофе и чай, а дедушка поерзал на своем кресле, совсем немного, Элиза вдруг вскочила на ноги и объявила:

— Питер, я все хочу тебе показать картинку в той книге, с этой необыкновенной морской птицей, о которой я говорила тебе на прошлой неделе, я дала себе слово, что не забуду в этот раз, — можно, дедушка Бингем?

И дедушка кивнул и сказал: “Конечно, детка”, — и Питер тоже встал, и они рука об руку вышли из комнаты, а Иден вся светилась от гордости за же-

ну, которая так тонко настроена на окружающих, так превосходно чувствует, когда Бингемы хотят побыть одни, и умеет деликатно избавить их от своего присутствия. Элиза была рыжеволосой, с крупными руками и ногами, и когда она шла по гостиной, маленькие стеклянные висюльки на настольных лампах дрожали и позвякивали, но в общении она была легкой и быстрой, и все они не раз имели случай в этом убедиться и были ей благодарны за проницательность.

Значит, сегодня у них наконец состоится разговор, о котором дедушка предупреждал еще в январе, в самом начале года. И каждый месяц они ждали, и каждый месяц после каждого семейного ужина — и после Дня независимости, и после Пасхи, и после Майского дня, и после дня рождения дедушки, и по другим поводам, когда они собирались все вместе, — этот разговор все не случался, и не случался, и не случался, и вот теперь, во второе воскресенье октября, он все-таки произойдет. Остальные тоже поняли, что им предстоит, и все как-то подобрались, вернулись к тарелкам и блюдечкам с надкусанным печеньем, к полупустым чашкам, распрямили скрещенные ноги, выпрямили спины, все, кроме дедушки, который только глубже откинулся в своем кресле,

и оно заскрипело под ним.

— Я всегда старался растить вас троих в духе честности, — начал он после свойственной ему паузы. — Я знаю, что другой дедушка не стал бы заводить с вами этот разговор, из осмотрительности и чтобы избежать споров и нареканий, которые неизбежно следуют из такого разговора, — зачем, если все эти споры можно отложить на потом, когда тебя уже не будет и все обойдется без твоего участия. Но я никогда не был таким дедушкой вам троим, так что предпочту сказать все просто и прямо. Однако имейте в виду, — тут он остановился и обвел всех троих острым взглядом, — это не значит, что я собираюсь выслушивать нарекания. То, что я сообщаю вам о своих намерениях, не означает, что намерения недостаточно тверды, — это будет конец обсуждения, а не начало. Я говорю вам все это сейчас, чтобы не было недоразумений и домыслов, — вы услышите мою волю от меня, своими собственными ушами, а не прочтете на листе бумаги в конторе Фрэнсис Холсон, когда придете туда все в черном.

Дедушка продолжил:

— Вы не удивитесь, что я намерен разделить свое имущество поровну между вами тремя. У

всех у вас, конечно, есть свои вещи и собственность ваших родителей, но я отписал каждому свои личные сокровища — предметы, которые, я полагаю, доставят радость вам или вашим детям. Однако что кому достанется, вы узнаете позже — когда меня уже не будет с вами. Отложены деньги на ваших детей, которые еще могут появиться. Для тех детей, которые уже есть, я основал фонд: Иден, равная сумма причитается Вулфу и Розмари; Джон, столько же для Тимоти. И, Дэвид, такая же сумма на любого из твоих будущих детей. Компания “Братья Бингемы” будет по-прежнему контролировать свой совет директоров, и акции будут поровну распределены между вами тремя. За каждым из вас числится место в совете. Если кто-то из вас решит продать акции, его ждут высокие штрафы, и он должен будет предоставить двум другим право первой покупки, со скидкой, и сделка должна быть одобрена советом директоров. Я все это обсуждал с каждым из вас по отдельности. В этих условиях нет ничего необычного.

Он снова немного поерзал в кресле, и они тоже, потому что интрига состояла как раз в том, что он скажет дальше, и все трое знали и знали, что дедушка тоже знает: что бы он ни решил, кто-то

из них будет так или иначе разочарован — вопрос только, кто и как именно.

— Иден, тебе достанется поместье Лягушачий пруд и квартира на Пятой авеню, — объявил он. — Джон, ты получишь Лакспур и дом в Ньюпорте.

И тут воздух вокруг них, казалось, загустел и задрожал, потому что все поняли, что это значит: Дэвид получит дом на Вашингтонской площади.

— Что касается Дэвида, — медленно проговорил дедушка, — Вашингтонская площадь и коттедж на Гудзоне.

Казалось, он выбился из сил и откинулся еще глубже на спинку кресла в настоящем, не наигранном изнеможении; в комнате повисло молчание.

— Таково мое решение, — объявил дедушка. — Я хочу, чтобы все вслух выразили свое согласие. Сейчас.

— Да, дедушка, — хором прошелестели они, а Дэвид пришел в себя и сказал “Спасибо, дедушка”, и Джон и Иден, выйдя из транса, эхом повторили за ним эту фразу.

— На здоровье, — сказал дедушка. — Но будем все-таки надеяться, что пройдет много лет, прежде чем Иден сровняет с землей мой любимый

шалаш на Лягушачьем пруду. — Он улыбнулся ей, и она заставила себя улыбнуться в ответ.

После этого, хотя никто ничего не сказал, вечер внезапно подошел к концу. Джон позвонил в звонок и передал Мэтью, чтобы тот позвал Питера и Элизу и вызвал их экипажи, потом начались объятия, поцелуи и прощания, когда все собрались у дверей, и брат и сестра и их супруги надевали пальто, кутались в шали и шарфы — обычно прощания проходили долго и шумно: запоздалые замечания о поданных блюдах, новости о повседневной жизни, которые они забыли сообщить за ужином; но сегодня прощание было приглушенным, кратким, у Питера и Элизы на лицах уже застыло ожидающее, понимающее, сочувственное выражение, которому все, кто входил в семейство Бингемов, быстро обучались на самых ранних стадиях брака. А потом они все разъехались после последних прощальных поцелуев и объятий, которые включали и Дэвида, по крайней мере телесно, пусть и без особого тепла.

После таких воскресных ужинов они с дедушкой имели обыкновение выпить по стаканчику портвейна или еще по чашечке чаю в дедушкиной гостиной, обсудить, как прошел вечер, — они не то чтобы сплетничали, а просто обменивались

наблюдениями, дедушкины реплики были чуть более ядовитыми, по праву и в силу характера: не показалось ли Дэвиду, что Питер как-то бледновато выглядит? Этот профессор анатомии, о котором рассказывала Иден, какой-то невыносимый индюк, да? Но сегодня, когда дверь закрылась и они снова остались в доме одни, дедушка сказал, что устал, был длинный день, пойдет-ка он, пожалуй, спать.

— Конечно, — ответил Дэвид, хотя никто не спрашивал у него разрешения, но он тоже хотел остаться один, подумать о том, что выяснилось сегодня, и он поцеловал дедушку в щеку, постоял немного в золотистом полумраке освещенной свечами прихожей — в доме, который когда-нибудь будет принадлежать ему, а потом повернулся и поднялся наверх в свою комнату, перед этим попросив Мэтью принести ему еще силлабаба.

Глава 2

Он не думал, что сможет уснуть, и в самом деле лежал без сна, как ему казалось, много часов, понимая, что одновременно грезит и бодрствует; он чувствовал под собой накрахмаленный хлопок простынь и знал, что поза, в которой он лежит — левая нога согнута и образует треугольник с правой, — даст о себе знать на следующий день онемелостью, неловкостью. И все-таки он, видимо, уснул, потому что, открыв глаза, увидел полоску света между шторами, которые не вполне сходились, услышал цоканье копыт по мостовой и как за дверью горничные трут пол и передвигают ведра.

Понедельники всегда были ему тягостны. Страх, поселявшийся в нем с вечера, не проходил, и обычно он старался встать пораньше, даже до того, как встанет дедушка, как будто он тоже вливается в деятельный поток, оживляющий жизнь большинства людей, как будто у него, как у Джона, Питера, Иден, есть обязанности, которые необходимо выполнять, или, как у Элизы, есть места, куда необходимо поехать, как будто перед ним не лежит бесформенный день, такой же, как

и все другие дни, который он сам должен чем-то заполнить. Не то чтобы он был никем, формально он возглавлял благотворительный фонд фирмы, именно он одобрял выплаты тому или иному лицу или организации, которые в совокупности представляли собой что-то вроде семейной истории: лидеры сопротивления, ведущие борьбу на Юге, благотворительные организации, объединяющие беженцев и предоставляющие им жилье, разные группы, ратующие за образование негров и против жестокого обращения с детьми, обучающие бедняков, дающие приют толпам эмигрантов, ежедневно прибывающих к нашим берегам, представители народов, с которыми сталкивался тот или иной член семьи и, проникшись их участью, теперь помогал им по мере сил, — но все-таки его ответственность не простиралась дальше подписания чеков, одобрения ежемесячных столбцов цифр, расходов, которые уже были представлены бухгалтерам и юристам фирмы его секретаршей, деловитой молодой женщиной по имени Альма — она практически управляла фондом; он нужен был только как носитель своего имени, Бингем. Он также участвовал добровольцем в разной благотворительной деятельности, подходящей еще

молодому человеку из хорошей семьи: собирал коробки с бинтами, перевязочными материалами и травяными снадобьями для бойцов в Колониях, вязал носки бедным, раз в неделю учил рисованию воспитанников сиротской школы, которой покровительствовала его семья. Но все эти занятия, вместе взятые, не составляли и недели в месяц, а остальное время он влачил одинокое и бесцельное существование. Иногда ему казалось, что жизнь — это то, что необходимо преодолеть, и в конце дня он залезал в постель со вздохом, осознавая, что миновал еще небольшую часть существования, еще на сантиметр продвинулся к естественному его завершению.

В это утро, однако, он был рад, что проснулся поздно, потому что до сих пор не понимал, как истолковать события вчерашнего вечера, а теперь можно будет обдумать их на свежую голову. Он позвонил, и ему принесли яйца, тосты и чай, позавтракал в постели, читая утренние газеты: еще какие-то беспорядки в Колониях, детали неясны; завиральное эссе эксцентричного филантропа с довольно радикальными взглядами, задающегося вопросом, не следует ли предоставлять гражданство неграм, которые жили на территории Свободных Штатов еще до их провозглашения;

длинная статья, уже девятая за последние девять месяцев, восславляющая десятую годовщину завершения строительства Бруклинского моста, рассуждающая о том, как мост изменил движение коммерческого транспорта, на этот раз с большой, тщательно выписанной иллюстрацией, изображающей его массивные пилоны, нависающие над рекой. После этого он умылся, оделся и вышел из дому, предупредив Адамса, что будет обедать в клубе.

День был прохладным и солнечным, позднее утро пружинило веселой энергией: было еще достаточно рано для трудов и надежд — возможно, именно сегодня жизнь сделает крутой и долгожданный поворот к чему-то прекрасному, выпадет внезапная удача, закончится южный конфликт или, может быть, на ужин вдруг подадут два ломтика бекона вместо одного — и все-таки не так поздно, чтобы эти надежды снова показались пустыми. Он часто шел без определенной цели, давая ногам самим выбирать направление, и теперь повернул направо на Пятую авеню, кивнув на ходу извозчику, который запрягал бурую лошадку у каретного двора.

Дом. Сейчас, не находясь в его стенах, он надеялся поразмышлять о нем более беспристрастно,

хотя что значит “беспристрастно”? Раннее детство он провел не в этом доме, как и все они, — эта честь выпала большому холодному особняку на севере, к западу от Парк-авеню. Но в дом на Вашингтонской площади он с сестрой и братом и их родители до них приезжали на важные семейные сборы, и когда родители умерли, когда их унесла болезнь, всех троих перевезли сюда. Им пришлось оставить в старом доме все, что было сделано из ткани или бумаги, все, в чем могли таиться блохи, все, что можно было сжечь; он помнил, как рыдал о кукле из конского волоса, которую особенно любил, и дедушка обещал купить точно такую же, и потом как они все трое вошли каждый в свою комнату на Вашингтонской площади, их прежняя жизнь была восстановлена для них в малейших деталях — их куклы, игрушки, одеяла, книжки, их коврики, платья, пальто, подушки. На гербе братьев Бингем было начертано *Servatur Promissum* — “Держать слово”, — и в этот момент дети поняли, что девиз относится и к ним тоже, что дедушка выполнит любое свое обещание, и за те два десятка лет, которые они были на его попечении сначала детьми, потом взрослыми, он никогда не изменял своему слову.

Дедушка настолько несомненно оставался

хозяином положения в той новой жизни, в которой они очутились, что позже Дэвиду казалось, будто их горе почти немедленно закончилось. Конечно, на самом деле так не могло быть, ни у него, ни у сестры и брата, ни у дедушки, внезапно потерявшего свое единственное дитя, но Дэвид был настолько потрясен абсолютной несокрушимостью дедушки, его полной властью над их маленькой вселенной, что теперь не мог думать о тех годах иначе. Все сложилось так, как будто дедушка всегда, с самого их рождения, предполагал стать однажды их опекуном и перевезти их в свой дом, где он до этого жил один, единолично определяя ход своей жизни; словно все это не свалилось на него внезапно. Позже у Дэвида появилось ощущение, что дом, и без того просторный, отрастил новые комнаты, новые крылья и ниши, которые словно по волшебству явили себя специально для них, и комната, которую он до сих пор называл своей (и в которой жил сейчас), соткалась из воздуха, из необходимости в ней, а не была переделана из какой-то заброшенной малой гостиной. Все эти годы дедушка говорил, что внуки вдохнули в дом жизнь, что без них он был бы просто нагромождением комнат, и, к его чести, все трое детей, даже Дэвид, поверили в

это и были искренне убеждены, что преподнесли дому — а значит, и самой дедушкиной жизни — драгоценный и важный дар.

Он полагал, что каждый из них считал дом своим, но ему нравилось воображать, что по-настоящему это именно его логово, место, где он не просто живет, но где его понимают. Теперь, будучи взрослым, он иногда осознавал, как видится дом со стороны: хорошо организованное и вместе с тем эксцентричное пространство, наполненное вещами, которые дедушка собирал во время своих путешествий по Англии и континенту, и даже в Колониях, где он провел некоторое время в короткий мирный период, — но в основном Дэвид видел дом так же, как в детстве, когда мог проводить часы, перемещаясь с этажа на этаж, выдвигая ящики и открывая дверцы буфетов, заглядывая под кровати и диваны, чувствуя голыми коленями прохладную гладкость деревянных половиц. Он ясно помнил, как маленьким мальчиком лежал в кровати однажды поздним утром, наблюдая, как свет струится в окно, и понимая, что его место — здесь, и эта мысль внушала успокоение. Даже позднее, когда он не мог выйти из дому, из этой комнаты, когда жизнь его оказалась ограничена кроватью, дом продолжал казаться

убежищем: стены не только сдерживали все ужасы мира, но и не давали распасться ему самому. Теперь дом будет принадлежать ему, а он дому, и Дэвид впервые почувствовал, что стены давят на него — теперь отсюда нет выхода, дом владеет им не меньше, чем он домом.

Такие мысли занимали его, пока он шел к Двадцать второй улице, и хотя ему вовсе не хотелось в клуб — он бывал там все реже и реже, не желая встречаться с бывшими соучениками, — голод заставил Дэвида войти внутрь, где он заказал чай, хлеб и колбаски и быстро съел все это, после чего снова зашагал на север, вдоль всего Бродвея, к южной части Центрального парка, и только потом повернулся и пошел домой. Когда он вернулся на Вашингтонскую площадь, было уже начало шестого, небо снова окрасилось темно-синим — оттенок одиночества, и он только успел переодеться и привести себя в порядок, как услышал внизу голос дедушки, который что-то говорил Адамсу.

Он не ожидал, что дедушка заговорит о событиях вчерашнего вечера, особенно в присутствии слуг, но даже когда они перешли к напиткам и остались одни в дедушкиной гостиной, дедушка продолжал говорить только о банке, о повседнев-

ных делах, о новом клиенте — владельце целого флота кораблей с Род-Айленда. Мэтью принес чай и бисквитный торт, густо покрытый ванильной глазурью; кухарка специально для Дэвида украсила его полосками засахаренного имбиря, к которому он питал слабость. Дедушка съел свой кусок аккуратно и быстро, но Дэвид не мог толком насладиться тортом, потому что все ждал, когда же дедушка упомянет вчерашнюю беседу, и боялся, что сам случайно сболтнет что-нибудь лишнее, как-то обнаружит свои смешанные чувства, покажется неблагодарным. Наконец дедушка, дважды пыхнув трубкой, сказал, не глядя на него:

— Дэвид, я хотел с тобой обсудить еще кое-что, но, конечно, не во вчерашней суете.

Здесь было бы уместно еще раз сказать спасибо, но дедушка отмахнулся, пуская дым из своей трубки:

— Не надо благодарностей. Дом твой. Ты ведь его любишь.

— Да, — начал Дэвид, все еще думая о тех странных чувствах, которые испытал сегодня на прогулке, когда несколько кварталов шел, пытаясь понять, отчего перспектива получить дом наполняет его не чувством безопасности, а

паникой. — Но…

— Но что? — спросил дедушка, теперь уже на его лице читалось странное выражение, и Дэвид, боясь, что в голосе его прозвучало сомнение, торопливо продолжил:

— Я только беспокоился об Иден и Джоне, вот и все.

На это дедушка лишь снова махнул рукой.

— С Иден и Джоном все будет в порядке, — бросил он отрывисто. — Тебе нечего о них беспокоиться.

— А тебе нечего беспокоиться обо мне, дедушка, — сказал он с улыбкой, на что дедушка ничего не ответил, и оба они смутились от лжи такой огромной и очевидной, что даже приличия не требовали возражений.

— Для тебя есть брачное предложение, — нарушил молчание дедушка, — хорошая семья, Гриффиты из Нантакета. Они начинали, конечно, как кораблестроители, но теперь у них собственный флот и небольшая, но прибыльная меховая торговля. Джентльмена зовут Чарльз, он вдовец. Его сестра — тоже вдова — живет с ним, они вместе воспитывают ее троих сыновей. Торговый сезон он проводит на острове, а зимой живет на Кейп-Коде. Сам я не знаком с этой семьей, но у

них очень хорошее положение в обществе — связи с местным правительством, а брат мистера Гриффита, который вместе с ним и с сестрой управляет их делами, председатель торгового товарищества. Есть еще одна сестра, она живет на Севере. Мистер Гриффит самый старший из всех, родители их живы, бизнес начали бабушка и дедушка с материнской стороны. Предложение поступило к Фрэнсис через их юристов.

Дэвид почувствовал, что должен что-нибудь сказать.

— Сколько лет джентльмену?

Дедушка прочистил горло и неохотно ответил:

— Сорок один.

— Сорок один! — воскликнул Дэвид с большим ужасом, чем намеревался. — Простите. Но сорок один год! Он же старик.

На это дедушка улыбнулся.

— Не совсем, — ответил он. — Не для меня. И не для большинства людей в мире. Но да, он старше. Старше тебя, по крайней мере. — Дэвид ничего не ответил, и дедушка продолжал: — Дитя мое, ты знаешь, я не хочу женить тебя против твоей воли. Но мы с тобой это обсуждали, ты проявил интерес, иначе бы я не стал рассматривать их предложение. Сказать Фрэнсис, что ты отказыва-

ешь? Или все-таки назначить встречу?

— Я чувствую, что становлюсь тебе в тягость, — пробормотал он наконец.

— Нет, не в тягость, — ответил дедушка. — Как я и говорил, ни один из моих внуков не будет вынужден жениться, если сам не захочет. Но мне кажется, ты мог бы подумать об этом. Мы не обязательно должны ответить прямо сейчас.

Они сидели в молчании. На самом деле прошло много месяцев — около года — с тех пор, как кто-либо проявлял интерес, не говоря о предложении, хотя Дэвид не знал, потому ли это, что он с такой поспешностью и безразличием отверг двух последних кандидатов, или же просочились слухи о его недомогании, которое они с дедушкой так тщательно скрывали. Идея женитьбы и в самом деле его в какой-то мере пугала, но разве предложение от совсем незнакомой семьи — не повод для беспокойства? Да, они, конечно, занимают подобающее положение — будь это не так, Фрэнсис бы не посмела передать предложение дедушке, — но это значило также, что дедушка и Фрэнсис решили выйти за пределы круга людей, которых Бингемы знали, с которыми общались, — тех пятидесяти с лишним семей, которые построили Свободные Штаты, среди которых не

только он, его брат и сестра, но и родители и дедушка провели свою жизнь. К этому маленькому сообществу принадлежали и Питер, и Элиза, но уже стало очевидно, что он, старший брат и наследник, вознамерившись жениться, вынужден будет выбрать спутника жизни за пределами этого золотого круга, ему придется искать себе пару среди чужих. Бингемы не были высокомерны, не отгораживались, они не относились к тем, кто не станет иметь дело с купцами и торговцами, с людьми, которые начали свою жизнь в одном общественном слое, но благодаря трудолюбию и способностям оказались в другом. Так могла бы вести себя семья Питера, но не они. И все же он не мог не чувствовать, что подводит семью и что наследие его предков, ради которого они так неустанно трудились, будет умалено по его вине.

И еще он чувствовал, несмотря на уверения дедушки, что нельзя сразу отклонить предложение. Он сам был виноват в своем нынешнем положении, и само появление Гриффита говорило о том, что возможности его не бесконечны, даже при их имени и деньгах. Поэтому он сказал дедушке, что согласен на встречу, и дедушка — вот это выражение на его лице, что это, как не плохо скрытое облегчение? — ответил, что немедленно

сообщит Фрэнсис.

Он как-то сразу устал и, извинившись, ушел к себе. Хотя комната неузнаваемо изменилась по сравнению с тем временем, когда он сюда вселился, он знал ее так хорошо, что легко ориентировался в темноте. Вторая дверь вела в помещение, которое они с братом и сестрой использовали когда-то для игр, теперь это был его кабинет, и именно туда он отправился с конвертом, который дедушка дал ему, прежде чем попрощаться на ночь. Внутри была небольшая гравюра — портрет Чарльза Гриффита, — и он принялся пристально разглядывать ее при свете лампы. Мистер Гриффит был светловолос, со светлыми бровями, мягким округлым лицом, с пушистыми, хотя и не чрезмерно пышными усами; Дэвид видел, что он коренаст, даже по этому изображению, которое показывало только лицо, шею и разворот плеч.

Внезапно его охватила паника, он подошел к окну, быстро отворил его и вдохнул холодный, чистый воздух. Уже поздно, вдруг понял он, гораздо позднее, чем ему казалось, внизу ни души. Неужели ему предстоит покинуть Вашингтонскую площадь, хотя только что он с тягостным чувством воображал, что, возможно, останется

здесь навсегда? Он повернулся и оглядел комнату: полки с книгами, мольберт, письменный стол с бумагой и чернилами, кушетка, которую он приобрел еще в студенческие годы, чья алая обивка несколько обтрепалась с годами, шарф из мягчайшей шерсти с вышитыми турецкими огурцами — дедушкин подарок на позапрошлое Рождество, специально заказанный из Индии, — все здесь было устроено для его удобства, или удовольствия, или для того и другого; он попытался представить себе каждый предмет в деревянном доме в Нантакете — и себя там.

Но не смог. Место этим вещам было здесь, в этом доме, как будто дом сам их вырастил, как будто они были живыми и могли зачахнуть и умереть, если переместить их. А потом он подумал: разве не так же обстоит дело и со мной? Ведь и меня этот дом если не породил, то вскормил и вырастил? Если покинуть Вашингтонскую площадь, как найти себе место в этом мире? Как покинет он эти стены, которые неизменно, безотрывно смотрели на него в любом его состоянии? Как покинет он эти половицы, которыми поскрипывал дедушка среди ночи, сам принося ему бульон или лекарство в те месяцы, когда он не мог выйти из комнаты? Это место не всегда было радостным.

Иногда оно было ужасным. Но какой еще дом сможет он чувствовать настолько своим?

Глава 3

Раз в год, за неделю до Рождества, попечители Благотворительной школы и приюта Хирама Бингема приглашались на ленч в зал заседаний фирмы “Братья Бингемы”. Подавали ветчину, сладости, печеные яблоки, пирожные с заварным кремом, а в заключение Натаниэль Бингем, главный патрон приюта и владелец банка, появлялся собственной персоной в сопровождении двух клерков — выпускников школы, являвших собой обещание той невообразимой взрослой жизни, которая все еще была для детей слишком отдаленной и туманной (а для большинства, увы, такой и останется). Мистер Бингем выступал с короткой речью, призывая воспитанников усердно трудиться и слушать старших, а потом дети строились в два ряда, и каждый получал от одного из двух клерков большую плитку мятного шоколада.

Все трое внуков непременно присутствовали на ленче, и Дэвид больше всего любил даже не тот момент, когда дети замечали приготовленные лакомства, а выражения их лиц, когда они вступали в вестибюль банка. Он понимал их почтитель-

ное восхищение, поскольку сам испытывал его каждый раз — неоглядный простор пола из серебристого мрамора, натертого до зеркального блеска, ионические колонны, вытесанные из того же камня, огромный купол потолка, выложенный сверкающей мозаикой; три стены, расписанные до самого верха — так, что приходилось благоговейно запрокидывать голову, чтобы рассмотреть их как следует: на первой был изображен прапрапрадед Эзра, герой войны, отличившийся в битве за независимость от Британии, на второй — прапрапрадед Эдмунд, марширующий на север, из Виргинии в Нью-Йорк, вместе с несколькими товарищами-утопианцами, чтобы основать будущие Свободные Штаты. На третьей — избрание его прапрадеда Хирама, которого он никогда не видел, основателя фирмы “Братья Бингемы”, мэром Нью-Йорка. На заднем плане всех этих панелей, выдержанных в коричневых и серых тонах, можно было различить эпизоды семейной истории и истории страны: осада Йорктауна, в которой сражался Эзра, оставив жену и маленьких сыновей дома в Шарлотсвиле; Эдмунд в день бракосочетания со своим мужем Марком и первые войны с Колониями, в которых победят Свободные Штаты, хотя и с большими

финансовыми и человеческими потерями; Хирам и его два брата, Дэвид и Джон, совсем юные, не подозревающие о том, что из них троих только самый младший, Хирам, перешагнет сорокалетний рубеж и только он произведет на свет наследника — Натаниэля, дедушку Дэвида. Внизу каждой панели красовалась мраморная табличка с одним-единственным словом, и три слова — "учтивость, смирение, человечность" — вместе с надписью на гербе составляли семейный девиз Бингемов. Четвертая панель, расположенная над входными дверями, выходящими на Уолл-стрит, была пуста, гладкий мрамор ждал, когда на нем в свой черед будут запечатлены деяния дедушки Дэвида: как он превратил фирму "Братья Бингемы" в самую процветающую финансовую организацию не только в Свободных Штатах, но во всей Америке; как, еще до того, как помог Америке финансировать борьбу в Повстанческой войне и обеспечил автономию страны, он успешно защищал Свободные Штаты от многочисленных попыток их распустить, отменить права их граждан; как он заплатил за перемещение свободных негров, попавших в Свободные Штаты, помогая им и другим беженцам из Колоний устроить свою жизнь где-нибудь на Севере

или на Западе. Да, на сегодняшний день “Братья Бингемы” уже не были единственной или даже самой могущественной финансовой компанией в Свободных Штатах, особенно учитывая, как процвели в последнее время еврейские банки и нувориши, обосновавшиеся в городе, но все бы согласились, что эта фирма — все еще самая влиятельная, самый престижная, самая известная. В отличие от вновь прибывших, любил говорить дедушка Дэвида, фирма “Братья Бингемы” знает разницу между честолюбием и алчностью, между предусмотрительностью и прохиндейством; она несет ответственность не только перед своими клиентами, но и перед Свободными Штатами. Журналисты называли Натаниэля “великий мистер Бингем”, иногда насмешливо, когда он принимался за какой-нибудь особенно масштабный проект — например, лет десять назад он предложил распространить всеобщее избирательное право на всю Америку, — но чаще вполне искренне, поскольку дедушка Дэвида был, бесспорно, великим человеком, человеком, чьи изображения и деяния были достойны украсить собой чистый мрамор, когда художник возьмется расписывать эту поверхность, балансируя на сооружении из веревок и досок, высоко над

каменным полом, и, стараясь не глядеть вниз, станет водить кистью с блестящей краской.

Однако ни пятой, ни шестой панели не было — не было отведено место ни его отцу, второму военному герою в истории семьи, ни ему и его брату и сестре. И то сказать — что можно было бы изобразить на его трети такой панели? Человека, заточенного в дедушкином доме, ждущего, чтобы одно время года перешло в другое, чтобы жизнь его наконец объявила о себе?

Он знал, что такая жалость к себе непростительна и неподобающа, и он пересек вестибюль и приблизился к массивным дубовым дверям, ведущим в заднюю комнату, где его уже ждал дедушкин секретарь, которого все внуки, сколько он себя помнил, называли Норрисом.

— Мистер Дэвид, давно не имел чести видеть вас.

— Здравствуйте, Норрис, — ответил он. — Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо?

— Да, мистер Дэвид. А вы?

— Да, очень.

— Джентльмен уже здесь, я отведу вас к нему. Ваш дедушка хотел повидаться с вами после встречи.

Он прошел вслед за Норрисом в коридор,

обшитый деревянными панелями. Это был аккуратный, ухоженный мужчина с тонкими, изящными чертами лица, волосы его, которые Дэвид помнил золотыми, с годами выцвели до цвета пергамента. Дедушка обычно отличался прямолинейностью в обсуждении собственных дел и дел семьи, но о Норрисе он всегда говорил уклончиво; все считали, что между ними существуют особые отношения, но, несмотря на дедушкину подчеркнутую терпимость ко всем социальным классам и подчеркнутую нетерпимость к ханжеству, он никогда не представлял Норриса как своего компаньона и никогда не давал понять своим внукам или кому-либо иному, что их может что-то официально связывать. Норрис приходил и уходил, когда ему вздумается, но в доме у него не было своей комнаты, своей постели; с самого раннего детства младших Бингемов он обращался к ним, добавляя к имени “мастер” или “мисс”, и они давно уже перестали предлагать ему называть их просто по именам; он присутствовал на некоторых семейных сборах, но его никогда не приглашали на беседы в дедушкиной гостиной после трапезы, а также на Рождество и на Пасху. Даже сейчас Дэвид не знал толком, где живет Норрис — кажется, он как-то

слышал, будто у Норриса есть квартира возле Грамерси-парка, которую ему когда-то купил дедушка, — а также не знал, откуда он родом, что у него за семья; Норрис приехал из Колоний до рождения Дэвида и, когда они познакомились с дедушкой, работал угольщиком в фирме “Братья Бингемы”. Теперь в обществе Бингемов он держался спокойно и ненавязчиво, но в то же время непринужденно — его присутствие подразумевалось, но и отсутствие не вызывало вопросов.

Норрис остановился перед кабинетом для приватных переговоров и открыл дверь; там уже сидели мужчина и женщина, которые тут же встали со своих стульев и обернулись к входящим.

— Я вас оставлю, — сказал Норрис, закрывая за собой дверь, а женщина подошла к Дэвиду.

— Дэвид! — сказала она. — Я так давно тебя не видела.

Это была Фрэнсис Холсон, которая много лет исполняла обязанности поверенной в делах дедушки и, как и Норрис, была посвящена почти во все подробности жизни Бингемов. Она тоже была постоянной величиной, но ее положение на семейном небосклоне было одновременно более важным и более определенным — она устроила

браки Джона и Иден и, судя по всему, намеревалась оказать эту же услугу Дэвиду.

— Дэвид, — продолжила она, — разреши представить тебе мистера Чарльза Гриффита из Нантакета и Фалмута. Мистер Гриффит, вот молодой человек, о котором вы так много слышали, мистер Дэвид Бингем.

Он выглядел не таким старым, как опасался Дэвид, и, несмотря на светлые волосы, лицо его не было красным: Чарльз Гриффит был высоким и большим, но на уверенный лад — широким в плечах, с мощным торсом и шеей. Его пиджак был точно подогнан, а губы под усами оказались твердо очерченными и до сих пор розовыми, и сейчас углы их приподнялись в улыбке. Он не был красив, нет, но в нем угадывалась живость, энергия, здоровье, и все вместе производило впечатление почти приятное.

И голос его, когда он заговорил, тоже оказался приятным: глубокий, как будто отороченный мехом. В нем звучала мягкость, нежность, которая контрастировала с массивной фигурой Чарльза и исходившим от него ощущением силы.

— Мистер Бингем, — сказал он, когда они обменялись рукопожатием. — Рад познакомиться. Я столько о вас слышал.

— А я о вас, — сказал Дэвид, хотя на самом деле он не очень много узнал после того первого разговора, когда впервые услышал о Чарльзе почти полтора месяца назад. — Спасибо, что проделали такой путь. Надеюсь, поездка была приятной?

— Да, вполне, — ответил Гриффит. — И пожалуйста, зовите меня Чарльз.

— А вы меня Дэвид.

— Ну что ж, — сказала Фрэнсис. — Джентльмены, я вас оставлю. Когда закончите, Дэвид, позвоните — Норрис проводит мистера Гриффита.

Они подождали, пока она уйдет и закроет за собой дверь, потом оба сели. Их разделял небольшой столик, на нем стояла тарелка с песочным печеньем и чайник, в котором был заварен — Дэвид определил по запаху — лапсанг-сушонг, безумно дорогой и трудно добываемый копченый чай, дедушкин любимый, который держали для особых случав. Он знал, что таким образом дедушка пожелал ему удачи, и этот жест растрогал и одновременно опечалил его. Чарльз уже начал пить чай, и Дэвид тоже налил себе немного, и когда он поднял чашку к губам, Чарльз сделал то же самое, и они одновременно сделали глоток.

— Очень крепкий, — заметил он, зная, что

многим вкус этого чая кажется слишком интенсивным; Питер, который терпеть его не мог, сказал однажды, что пьешь как будто “прогоревший костер, только жидкий”.

Но Чарльз сказал:

— Я очень люблю его. Он напоминает мне о пребывании в Сан-Франциско — там легко его найти. Дорого, конечно. Но не такая редкость, как здесь, в Свободных Штатах.

Это удивило Дэвида:

— Вы бывали на Западе?

— Да. Это было — ох, двадцать лет тому назад. Мой отец тогда как раз возобновил партнерство на Севере с охотниками на пушного зверя, трапперами, а Сан-Франциско, конечно, к тому времени стал богатым городом. Он решил, что мне надо туда поехать, открыть там контору и начать продажи. Я так и сделал. Это было прекрасное время, я был молод, город рос, находиться там было большим удовольствием.

На Дэвида это произвело впечатление — он никогда не видел никого, кто бы прямо-таки жил на Западе.

— Правда ли все, что рассказывают?

— Многое. Там в воздухе есть что-то… нездоровое, вероятно. Легкомыслие. В этом есть

опасность — так много людей, которые пытаются заново выстроить свою жизнь, так многие жаждут богатства, так многих ждет разочарование. Но есть в этом и свобода. Хотя все там было ненадежно. Состояния быстро возникали и быстро исчезали, и люди тоже. Сегодня человек берет у тебя в долг, а завтра — поминай как звали, и найти его нет никакой возможности. Мы смогли продержаться три года, но, конечно, в семьдесят шестом пришлось уехать, после того, как они приняли законы.

— И все-таки, — сказал Дэвид, — я вам завидую. Вы знаете, я никогда не был на Западе.

— Но мисс Холсон сказала, что вы много путешествовали по Европе.

— Да, съездил в гранд-тур. Но в этом точно не было ничего легкомысленного — если, конечно, не считать бесконечных Каналетто, Тинторетто и Караваджо.

Чарльз засмеялся, и после этого разговор стал более непринужденным. Они говорили о своих странствиях — Чарльз объездил удивительно много разных мест, торговля приводила его не только на Запад и в Европу, но и в Бразилию и в Аргентину — и о Нью-Йорке, ведь Чарльз когда-то жил здесь, часто приезжал и до сих пор держал

здесь квартиру. Пока они беседовали, Дэвид вслушивался, стараясь уловить массачусетский выговор, какой был у некоторых его одноклассников, с широкими, плоскими гласными и особой галопирующей мелодией, но напрасно. Голос Чарльза был приятным, но лишенным каких-либо отличительных черт, выдающих происхождение.

— Я надеюсь, вы не сочтете за дерзость, если я скажу, — начал Чарльз, — что мы в Массачусетсе всегда находили весьма интригующей вашу традицию договорного брака.

— Да, — рассмеялся Дэвид, ничуть не обидевшись. — Все другие штаты находят это странным. И я их прекрасно понимаю — это местная традиция, существующая только в Нью-Йорке и в Коннектикуте.

Договорные браки возникли примерно сто лет назад — таким образом первые семьи, обосновавшиеся в Свободных Штатах, создавали стратегические альянсы и консолидировали свои богатства.

— Я понимаю, почему они возникли здесь, в самых богатых регионах, — но почему эта традиция сохранилась, как вы думаете?

— Не знаю даже. У моего дедушки есть теория,

что, поскольку из этих браков зародились почтенные династии, традиция оказалась важна для финансовой целостности Штатов. Он говорит об этом так, как будто речь идет о выращивании деревьев. — Здесь Чарльз снова рассмеялся, и это был приятный звук. — Корневая система, благодаря которой нация растет и расцветает.

— Для банкира очень поэтично. И патриотично.

— Да, то и другое ему свойственно.

— Что ж, я полагаю, остальные Свободные Штаты должны благодарить вашу приверженность договорным бракам за свое неувядающее благосостояние.

Дэвид понимал, что Чарльз поддразнивает его, но голос его был добрым, и он улыбнулся в ответ:

— Возможно. Я поблагодарю дедушку от вас и других массачусетцев. А разве вы в Новой Англии совсем это не практикуете? Я слышал, что у вас тоже есть договорные браки.

— Да, но гораздо реже. Когда это случается, то мотивы все те же — объединить схожие семьи, — но последствия не такие значительные, как здесь у вас. Моя младшая сестра недавно устроила брак между своей горничной и одним из наших матросов, например, потому что у се-

мьи горничной есть небольшая лесопилка, а у семьи матроса — производство веревок, и они хотели объединить свои ресурсы, не говоря уже о том, что молодые люди друг другу нравились, но были слишком застенчивы, чтобы самим начать процесс ухаживания. Но, как я и сказал, ничего такого, что было бы важно для судеб нации. Да, пожалуйста, поблагодарите от нас своего дедушку. Хотя, кажется, надо бы поблагодарить и ваших сестер и брата, мисс Холсон сказала, что оба они заключили браки таким образом.

— Да, их семьи близки нашей: Питер, муж моего брата, тоже из Нью-Йорка, а Элиза, жена сестры, — из Коннектикута.

— У них есть дети?

— У Джона и Питера один, у Иден и Элизы двое. А вы, как я понимаю, помогаете растить племянников?

— Да, и я очень к ним привязан. Но мне хотелось бы со временем завести и собственных детей.

Он знал, что нужно согласиться, сказать, что он тоже мечтает о детях, но обнаружил, что не в состоянии это выговорить. Впрочем, Чарльз легко заполнил паузу, образовавшуюся на месте ожидаемой реплики, и они заговорили о его племянниках, сестрах, брате, о доме в Нантакете,

и беседа текла легко, пока Чарльз наконец не поднялся, и Дэвид встал вслед за ним.

— Мне пора, — сказал Чарльз. — Но я прекрасно провел время, я рад, что вы согласились со мной встретиться. Я приеду обратно в город через две недели, надеюсь, вы согласитесь еще раз со мной увидеться?

— Да, разумеется, — ответил Дэвид и позвонил в колокольчик, и они снова обменялись рукопожатием, прежде чем Норрис проводил Чарльза к выходу, а Дэвид постучал в дверь в противоположном конце комнаты и, услышав приглашение войти, вошел прямо в кабинет дедушки.

— О! А вот и ты! — сказал дедушка, вставая с кресла у письменного стола и передавая секретарше пачку бумаг. — Сара…

— Да, сэр, сию минуту, — отозвалась Сара и вышла, бесшумно затворив за собой дверь.

Дедушка вышел из-за письменного стола и сел в одно из кресел, которые стояли напротив, жестом указывая Дэвиду на второе.

— Что ж, не буду говорить обиняками и, надеюсь, ты тоже, — сказал дедушка. — Я хотел увидеть тебя и узнать, каковы твои впечатления о джентльмене.

— Он… — начал Дэвид и запнулся. — Он при-

ятный, — сказал он наконец, — приятнее, чем я ожидал.

— Рад это слышать, — сказал дедушка. — И о чем же вы беседовали?

Он пересказал дедушке весь разговор, оставив на закуску ту часть, которая касалась пребывания Чарльза на Западе, и заметил, что дедушкины брови приподнялись.

— Вот как? — проговорил дедушка вкрадчиво, и Дэвид понял, о чем он думает: эта информация не всплыла в ходе расследования жизни Чарльза Гриффита; и поскольку "Братья Бингемы" имели доступ к выдающимся представителям всех профессий — врачам, адвокатам, частным детективам, — он теперь размышлял, чего еще они не знают, какие секреты остались нераскрытыми.

— Ты встретишься с ним еще? — спросил дедушка, когда Дэвид закончил свой рассказ.

— Он вернется через две недели и спрашивал, сможет ли снова меня увидеть. Я сказал да.

Он думал, что дедушка останется доволен ответом, но тот встал, с задумчивым выражением лица подошел к одному из огромных окон и стал смотреть на улицу, слегка поглаживая край тяжелой шелковой занавеси. Мгновение он стоял так в молчании, но когда повернулся к Дэвиду,

на лице его снова была улыбка, та знакомая, любимая улыбка, которая всегда заставляла Дэвида почувствовать себя лучше, в каком бы отчаянном положении он ни находился.

— Что ж, — сказал дедушка. — Ему очень повезло.

Глава 4

Недели проходили быстро, как это всегда бывает поздней осенью, и хотя, конечно, Рождество не наступало совсем неожиданно, все же оно неизменно заставало их врасплох, как бы страстно они ни клялись год назад, что уж на следующий год подготовят все заранее и уж к этому Дню благодарения все меню будут продуманы, все подарки детям куплены и перевязаны лентами, конверты с деньгами для слуг запечатаны и все украшения развешаны по дому.

Как раз в разгар всей этой суеты, в начале декабря, он второй раз встретился с Чарльзом Гриффитом: они вместе пошли на концерт ранних произведений Листа в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра, а потом отправились на север, в кафе на южной стороне Парка — Дэвид иногда заходил туда во время своих странствий по городу, чтобы выпить кофе с пирожным. На этот раз беседа текла легко, они говорили о книгах, которые прочли, о спектаклях и выставках, на которых побывали, и о семье Дэвида — о дедушке и немного о сестре и брате.

Договорные браки неизбежно требовали

ускоренного сближения и, следовательно, освобождения от определенных условностей, поэтому через некоторое время Дэвид осмелел и спросил Чарльза о его бывшем муже.

— Что ж, — сказал Чарльз. — Я полагаю, что ты уже знаешь его имя — Уильям, Уильям Хоббс, он умер девять лет назад. — Дэвид кивнул. — Это был рак, он начался в горле и очень быстро убил его. Он был учителем в маленькой школе в Фалмуте, из семьи ловцов омаров на Севере — мы познакомились вскоре после того, как я вернулся из Калифорнии. Это было, кажется, очень счастливое время для нас обоих — я вместе с братом и сестрой учился управлять семейным делом, мы оба были молоды и жаждали приключений. Летом, когда в школе были каникулы, он приезжал со мной в Нантакет, где мы все — младшая сестра с мужем и сыновьями, брат с женой и дочерями, наши родители, еще одна сестра с семьей, приезжавшие с Севера, — жили вместе в нашем семейном доме. В один год отец послал меня на границу встретить нескольких наших трапперов, и мы провели почти весь сезон в Мэне и Канаде с деловыми партнерами, переезжая с места на место, там очень красивые места. Я думал, что мы будем вместе всю жизнь. Детей мы хотели завести

позже — мальчика и девочку. Мечтали поехать в Лондон, в Париж, во Флоренцию — он был гораздо образованнее меня, и я хотел показать ему фрески и статуи, о которых он читал всю свою жизнь. Я радовался, что именно со мной он придет в эти музеи. Я мечтал об этом — как мы будем заходить в соборы, есть мидии у реки, поедем в те места, которые мне казались особенно красивыми, но я не умел оценить их так, как сумел бы он, и я знал, что вместе с ним увижу их по-новому. Если ты был матросом или провел много времени с моряками, то знаешь, что строить планы — безумие, Бог распорядится по-своему и твои планы ему не указ. Я все это знал, но не мог сдержаться. Я знал, что это глупо, но не мог сдержаться — все мечтал и мечтал. Я придумал, как построю нам дом на скале, с видом на скалы и море, а вокруг будут цвести люпины. А потом он умер, а через год умер муж моей младшей сестры, в эпидемии восемьдесят пятого года, и с тех пор, как ты знаешь, я жил с ней. Первые три года после того, как я лишился Уильяма, меня полностью поглотила работа, я находил в ней утешение. Но, как ни странно, чем больше времени проходит с его смерти, тем больше я о нем думаю, и не только о нем, но и о тех узах, которые нас связывали — и,

как я воображал, должны были связывать всегда. А теперь племянники мои почти выросли, сестра обручилась, и в последние годы я понял, что…

И тут Чарльз замолчал. Щеки его пылали.

— Я говорил слишком долго и слишком прямо, — сказал он наконец. — Надеюсь, ты примешь мои извинения.

— Нет никакой нужды в извинениях, — тихо сказал Дэвид, хотя на самом деле был удивлен, пусть и не смущен, такой прямотой — это было почти признание в одиночестве. Но после этого ни один из них не знал, как продолжить беседу, и вскоре встреча подошла к концу — Чарльз поблагодарил его очень церемонно, не назначая третьего свидания, и они оба облачились в свои пальто и шляпы. Потом Чарльз укатил на север в экипаже, а Дэвид зашагал на юг, на Вашингтонскую площадь. По возвращении он обдумал эту странную встречу и решил, что, несмотря на странность, ее нельзя назвать неприятной, он даже почувствовал какую-то свою значительность — трудно было подобрать другое слово, — ведь ему доверились, позволили увидеть такую уязвимость.

И он оказался не так подготовлен, как мог бы быть, когда в малой гостиной после рождествен-

ского обеда (утка, прямо из печи, с хрустящей кожицей в пупырышках, окруженная, словно жемчужинами, алыми ягодами смородины) Джон вдруг заявил с победным видом:

— Так, значит, Дэвид, за тобой ухаживает джентльмен из Массачусетса.

— Это не ухаживание, — быстро ответил дедушка.

— Значит, предложение? И кто же он?

Он позволил дедушке сообщить лишь самый поверхностный набор фактов: судостроитель и торговец, Кейп и Нантакет, вдовец, без детей. Элиза заговорила первой.

— Все это звучит очень обещающе, — сказала она весело — милая, добродушная Элиза, в своих серых шерстяных брюках и длинном шелковом шарфе с восточным узором, завязанным на полной шее, — остальные члены семьи сидели в молчании.

— Ты переедешь в Нантакет? — спросила Иден.

— Не знаю, — ответил Дэвид. — Я об этом не думал.

— Значит, ты еще не принял предложение, — сказал Питер; это было скорее утверждение, чем вопрос.

— Нет.

— Но собираешься? — (Снова Питер.)

— Не знаю, — ответил он, все больше приходя в замешательство.

— Но если…

— Довольно, — сказал дедушка. — Сейчас Рождество. И кроме того, это решение должен принять Дэвид, а не мы.

Вскоре они стали расходиться, и его сестра и брат пошли собирать детей и нянь, которые играли в комнате Джона — она теперь была превращена в игровую, — потом последовали прощания, пожелания, и они снова остались вдвоем с дедушкой.

— Пойдем со мной, — сказал дедушка, и Дэвид пошел за ним и занял свое обычное место в дедушкиной гостиной, напротив дедушки, немного левее.

— Я не хотел бы проявлять излишнее любопытство, но мне интересно: вы встретились уже дважды. Как ты полагаешь, склонен ли ты принять предложение этого джентльмена?

— Я знаю, что должен понимать это, но пока не понимаю. Иден и Джон так быстро приняли решение. Я хотел бы знать, быть решительнее, как они.

— Тебе не нужно сейчас думать о том, как

поступили Иден и Джон. Ты не они, и решения такого рода не следует принимать наспех. Единственное, что от тебя требуется, — серьезно поразмыслить над предложением джентльмена, и если ответ отрицательный, уведомить его незамедлительно или передать через Фрэнсис, хотя после двух встреч это, пожалуй, нужно сделать напрямую. Но ты можешь взять время на раздумье и не терзаться этим. Когда шли переговоры о твоих родителях, твоя мать приняла предложение лишь через полгода. — Он слегка улыбнулся. — Не то чтобы я ставил ее в пример.

Дэвид тоже улыбнулся. Но потом задал вопрос, ответ на который должен был узнать:

— Дедушка, что он знает обо мне?

И когда дедушка не ответил, а вместо этого вперился взглядом в свой стакан с виски, Дэвид решился продолжить:

— Он знает о моих… недомоганиях?

— Нет, — резко ответил дедушка, задирая подбородок. — Не знает и не должен знать — это не его дело.

— Но разве это не двуличие — скрыть от него?

— Конечно нет. Двуличие — это если бы ты намеренно скрыл что-то важное, а тут незначительная информация, не такая, которая должна

повлиять на его решение.

— Может, и не должна, но вдруг повлияла бы?

— Тогда он был бы человеком, с которым в любом случае нельзя связывать свою жизнь.

Дедушкина логика, обычно непогрешимая, настолько страдала в этом утверждении, что даже если бы Дэвид имел привычку ему противоречить, то не стал бы, из страха, что вся возведенная им конструкция рассыпется в прах. Если его “недомогания” не важны, то зачем их замалчивать? И если это позволит судить об истинном характере Чарльза Гриффита, то почему бы не рассказать ему обо всем правдиво, ничего не скрывая? Более того, если его болезни не следует стыдиться, то почему они оба так тщательно скрывают эти эпизоды? Правда, они и сами не все смогли узнать заранее о Чарльзе — дедушка ворчал, что его пребывание в Сан-Франциско оказалось полной неожиданностью, — но все, что они смогли узнать, было просто и прямолинейно. Не было никаких оснований сомневаться в том, что Чарльз — благородный человек.

Его беспокоило, что дедушка, возможно сам не осознавая этого, — возможно, его даже оскорбило бы подобное предположение — решил, что слабость Дэвида — это то обременение, кото-

рое Чарльз должен по справедливости нести за возможность вступить в брак с Бингемом. Да, Чарльз был состоятелен, хотя и не так богат, как Бингемы — а кто мог сравниться с ними? — но это были новые деньги. Да, он был умен, но не образован; он не посещал колледж, не знал латыни и греческого, он объездил мир не в погоне за знаниями, а по делам фирмы. Да, он был человеком опытным, но не утонченным. Дэвид считал, что сам он не верит в такие вещи, но его беспокоило, что, возможно, в глазах дедушки он обладает дефектом, который каким-то образом сводит баланс: его болезнь уравновешивает недостаточную рафинированность Чарльза. Его бездеятельность компенсирует немолодые годы Чарльза. И в конце концов выходит одно на другое, ноль, единожды подчеркнутый чернильной линией, дедушкиной рукой?

— Скоро настанет Новый год, — сказал дедушка, прервав молчание. — А новый год всегда мудренее старого. Ты примешь решение, скажешь да или нет, а годы будут начинаться и заканчиваться, начинаться и заканчиваться, что бы ты ни решил.

После этих слов Дэвид понял, что ему пора, встал и наклонился, чтобы поцеловать дедушку

на ночь, прежде чем подняться в свою комнату.

И скоро, слишком скоро Новый год почти уже наступил, и Бингемы собрались в очередной раз, чтобы приветствовать его, подняв бокалы. Такова была их традиция: в конце года они приглашали всех слуг выпить шампанского с семьей в столовой, и они все вместе — внуки и правнуки, горничные и лакеи, кухарка, и дворецкий, и экономка и кучер, и их многочисленные подчиненные — стояли вокруг стола, куда горничные заранее поставили бутылки с шампанским в хрустальных сосудах со льдом, и пирамиды апельсинов, пронзенных шпажками гвоздики, и блюда с жареными орехами, и тарелки со сладкими рождественскими пирожками, и слушали, как дедушка приветствует новый год: “Еще шесть лет до двадцатого века!” — объявил дедушка, и слуги нервно захихикали: они не любили перемен и неопределенности, и мысль о конце одной эпохи и начале другой внушала им страх, хотя они знали, что в доме на Вашингтонской площади ничего не изменится — Дэвид будет жить все в той же комнате, его брат и сестра будут приходить и уходить, а Натаниэль Бингем будет их хозяином во веки веков.

Через несколько дней после празднования

Дэвид взял экипаж и отправился в приют. Это было одно из первых учреждений такого рода в городе, и Бингемы были первыми его патронами со дня основания, всего через несколько лет после основания самих Свободных Штатов. В течение десятилетий количество воспитанников то уменьшалось, то увеличивалось, по мере того как Колонии проходили через периоды относительного процветания и нарастающей бедности; путешествие на Север было трудным и полным опасностей, и многие дети успевали осиротеть, когда их родители погибали в пути, пытаясь добраться до Свободных Штатов. Худший период был тридцать лет назад, во время и сразу после Повстанческой войны, перед самым рождением Дэвида, когда количество беженцев в Нью-Йорке достигло пика и губернаторы Нью-Йорка и Пенсильвании послали пехотинцев к южной границе Пенсильвании с гуманитарной миссией: найти и переместить беженцев из Колоний. Все дети, оставшиеся без родителей — или с родителями, которые явно не могли о них заботиться, — были, в зависимости от возраста, направлены или в одну из торговых школ Свободных Штатов, или в одно из благотворительных учреждений, откуда их могли усыновить.

Как и в большинстве благотворительных заведений такого рода, в приюте Хирама Бингема было очень мало грудных и совсем маленьких детей — на них был такой спрос, что их немедленно усыновляли; если младенец не был увечным, больным или умственно отсталым, он редко оставался в приюте больше месяца. И брат, и сестра Дэвида взяли своих детей именно отсюда, и если сам Дэвид захотел бы иметь наследника, он бы тоже нашел его здесь. Сын Джона и Питера был сиротой из Колоний; дети Иден и Элизы были спасены из убогой лачуги несчастных ирландских эмигрантов, которые едва могли их прокормить. Часто возникали оживленные споры, в газетах и в гостиных, о том, что делать со все увеличивающимся потоком эмигрантов, прибывающих к берегам Манхэттена — теперь из Италии, Германии, России, Пруссии, не говоря о Востоке, — но все соглашались, пусть и неохотно, что европейские эмигранты поставляют детей для пар, которые хотят их усыновить, не только в собственном городе, но и во всех Свободных Штатах.

Конкуренция за младенцев была столь яростной, что недавно правительство начало агитационную кампанию, пытаясь убедить граждан

усыновлять детей постарше. Но она не имела особого успеха, и все, включая самих детей, понимали, что те, кому больше шести, почти наверняка не смогут обрести дом. Это означало, что приют Бингемов, как и другие подобные заведения, должен главным образом учить своих питомцев чтению и арифметике, чтобы они могли потом овладеть ремеслом; в четырнадцать они поступят учениками к портному или плотнику, к швее или кухарке или к кому-то еще из тех, чьи навыки так необходимы для процветания и жизнедеятельности Свободных Штатов. Или пойдут в ополчение или армию и там будут служить своей стране.

Но пока они дети, они, как всякие дети, должны посещать школу, как того требует закон Свободных Штатов. Новая философия образования предполагала, что дети вырастают в более здоровых и патриотичных граждан, если учить их не только самому необходимому (арифметике, чтению и письму), но также преподавать им музыку, искусства и спорт. И потому прошлым летом дедушка спросил Дэвида, не хочет ли он помочь в поисках учителя рисования для приюта, и Дэвид, к собственному удивлению, вызвался сам стать таким учителем — разве не изучал он

столько лет изобразительное искусство? Разве не искал полезного приложения своим силам, чтобы занять досуг?

Он давал урок каждую среду, вечером, перед тем как дети отправлялись ужинать, и поначалу часто задавался вопросом, отчего они так ерзают и хихикают — он ли тому виной или ожидание скорого ужина, и даже хотел узнать у начальницы, нельзя ли ему начинать урок пораньше, но начальница обладала способностью внушать страх взрослым (хотя, как ни удивительно, питомцы ее обожали), и хотя ей пришлось бы выполнить его просьбу, он не решился подойти к ней. Он всегда неловко чувствовал себя с детьми, их немигающие пристальные взгляды как будто позволяли увидеть что-то, чего взрослые не могли или не брали на себя труд видеть; но со временем он к ним привык и даже привязался, и через несколько месяцев они стали держаться спокойнее и ровнее в его молчаливом присутствии, чиркая углем в своих блокнотах и стараясь по мере сил изобразить китайскую бело-синюю миску с айвой, которую он водрузил на табурет перед доской.

В тот день он услышал музыку еще до того, как открыл дверь, — что-то знакомое, популярную

песенку, песенку, которую не подобало слушать детям, — и он потянулся к дверной ручке и резко повернул ее, но не успел выразить изумление или негодование — на него обрушились звуки и картины, от которых он застыл в недвижности и немоте.

Он сразу же увидел пианино — дряхлое, обшарпанное пианино, которое прежде было сослано в самый дальний угол классной комнаты; древесина его растрескалась, и Дэвид был уверен, что оно совершенно расстроено. Но теперь оно было вычищено, приведено в порядок, выставлено на середину комнаты, как какой-нибудь роскошный рояль, и за ним сидел молодой человек, на несколько лет, должно быть, младше его самого, с темными волосами, зачесанными назад, словно сейчас вечер и он на каком-нибудь празднике; у него было живое, тонкое, красивое лицо и такой же красивый голос, которым он выводил: “Как же так вышло, дядя, о как? Где твои детки, где твой очаг?”

Голова юноши была запрокинута вверх, и шея его была длинной, но сильной и гибкой, словно змея, и Дэвид видел, как от пения на его шее движется мускул, будто жемчужина перекатывается под кожей вверх и вниз.

Лампы сверкали в зале большом,
Мы с ненаглядной были вдвоем.
Не ожидая вовсе беды,
Я вдруг услышал: “Дай мне воды!”

Я возвращаюсь – с нею другой,
Страстно обвил он стан молодой…

Это была низкопробная песенка, из тех, что поют в злачных местах, в мюзик-холлах и на шоу менестрелей, и оттого ее не следовало петь детям, и особенно этим детям, которые в силу обстоятельств были особенно склонны к такого рода сентиментальным развлечениям. И все же Дэвид не мог произнести ни слова — он был зачарован этим человеком, его низким, прекрасным голосом, не меньше, чем дети. Он слышал эту песню прежде, ее исполняли как вальс, приторный и жалостный, но это исполнение было веселым, бравурным, и оттого вся слезливая история — девушка спрашивает дядю, старого холостяка, почему он так и не влюбился, не женился, не завел детей, — превратилась в нечто лихое и насмешливое. Дэвид терпеть не мог эту песню, смутно подозревая, что однажды сможет спеть ее о себе самом, что такова его собственная

неотвратимая судьба, но в этой версии рассказчик казался беспечным и даже самодовольным, как будто, так и не женившись, он не столько лишился великого блага, сколько избавился от незавидной участи.

Бал уж окончен, скоро рассвет.
Пары не кружат, музыки нет.
Кто в этой жизни горя не знал?
Жизнь догорела, кончен мой бал.

Молодой человек завершил исполнение победным аккордом, встал и поклонился аудитории — в классе сидело человек двадцать детей, слушавших его с восторгом и теперь бурно аплодировавших, — и Дэвид наконец опомнился и кашлянул.

В ответ молодой человек взглянул на него и улыбнулся такой широкой сияющей улыбкой, что Дэвид снова почувствовал замешательство.

— Дети, — сказал молодой человек, — кажется, мы задержали ваш следующий урок. Нет, стонать не надо, это очень невежливо. — Дэвид вспыхнул. — Идите и приготовьте свои альбомы. А мы с вами встретимся через неделю.

Все еще улыбаясь, он направился к двери, у которой стоял Дэвид.

— Довольно странный выбор песни для урока, — начал тот, пытаясь сохранять строгость, но юноша рассмеялся, ничуть не обиженный, как будто Дэвид просто его поддразнивал.

— Можно и так сказать, — ответил он добродушно. И прежде чем Дэвид успел спросить, добавил: — Но я совсем забыл о приличиях, я не только задержал вас, вернее, ваших учеников — вы-то пришли вовремя! — но еще и не представился. Меня зовут Эдвард Бишоп, я новый учитель музыки в этом достойном заведении.

— Вот как, — отозвался Дэвид, не понимая, как вышло, что он так быстро утратил власть над беседой. — Признаться, я был удивлен, когда услышал…

— А я знаю, кто вы! — перебил его молодой человек, но с такой очаровательной теплотой, что Дэвид снова был совершенно обезоружен. — Вы — мистер Дэвид Бингем, из нью-йоркских Бингемов. Пожалуй, Нью-Йорк упоминать излишне, да? Хотя мне казалось, что в Свободных Штатах есть еще одно семейство Бингемов. Четемские Бингемы, например. Или портсмутские Бингемы. Интересно, как они себя чувствуют, эти мелкие Бингемы, зная, что их имя всегда означает только одну семью, и они к ней не принадлежат, и

потому обречены вечно всех разочаровывать, их каждый непременно спрашивает: “Те самые Бингемы?”, а им приходится отвечать: “Боюсь, что мы всего лишь ютикские Бингемы”, и смотреть, как лицо собеседника вытягивается.

Дэвид потерял дар речи от этого потока слов, который обрушился на него с такой скоростью и весельем, что он только и смог чопорно выдавить: “Я никогда не думал об этом”, — на что молодой человек снова засмеялся, но негромко, как будто смеялся не над Дэвидом, а над чем-то остроумным, что сказал Дэвид, как будто между ними установились доверительные отношения.

Потом он положил руку на плечо Дэвиду и сказал все так же весело:

— Что ж, мистер Дэвид Бингем, было очень приятно познакомиться с вами, и простите еще раз, что я нарушил ваше расписание.

После того как дверь за ним закрылась, из комнаты будто выпустили воздух: дети, которые только что казались бойкими и внимательными, вдруг понурились и загрустили, и даже Дэвид как-то ссутулился, словно тело его не могло больше изображать воодушевление и держать осанку, которой требовала деятельная жизнь.

Тем не менее он начал урок.

— Добрый вечер, дети, — сказал он и, получив в ответ нестройное “Добрый вечер, мистер Бингем”, принялся устанавливать на табурете натюрморт: кремовую глазурованную вазу с веточками остролиста. Как всегда, он устроился на задней парте, чтобы можно было наблюдать за детьми и одновременно делать набросок, если захочется. Сегодня, однако, единственным предметом, который притягивал его внимание, было пианино, располагавшееся прямо за табуретом с его несчастным сооружением, и оно, несмотря на свою обшарпанность, казалось самым красивым, самым притягательным объектом: словно путеводная звезда, светящая чистым, манящим светом.

Он посмотрел на ученицу справа от себя, крошечную растрепанную девочку лет восьми, которая рисовала — довольно плохо — не только вазу с остролистом, но и пианино.

— Элис, рисовать нужно только натюрморт, — напомнил он ей.

Она подняла голову — огромные глаза на остром маленьком личике, два передних зуба торчат, как куски кости, — прошептала “Прошу прощения, мистер Бингем” и вздохнула. Почему бы ей не рисовать и пианино тоже, раз уж он

сам не в силах оторвать от него взгляд, как будто усилием воли сможет соткать из воздуха и пианиста, чей призрачный силуэт все еще, кажется, остается в комнате?

— Ничего страшного, Элис, просто начни заново с чистого листа.

Вокруг него остальные дети были молчаливы и невеселы, он слышал, как они ерзают на скамьях. Глупо было расстраиваться из-за этого, но он был огорчен — ему всегда казалось, что им нравятся его уроки, по крайней мере настолько, насколько ему самому нравилось их учить, но, став свидетелем их недавнего веселья, он понял, что если раньше это и было так, то теперь не будет. Он стал всего лишь долькой яблока там, где Эдвард Бишоп — целое яблоко, запеченное в пирог с аппетитной корочкой, присыпанное сахаром, и после того, как они попробовали этот пирог, дороги назад уже нет.

В тот вечер за ужином он был погружен в себя, дедушка же, наоборот, оживлен — неужели все в мире так счастливы? — и хотя подавали его любимых жареных голубей с тушеными испанскими артишоками, Дэвид ел мало, и когда дедушка спросил, как спрашивал каждую среду, как прошло занятие, он только пробормотал “Хорошо,

дедушка", хотя обычно старался рассмешить его историями о том, что и как рисовали дети, и о чем они его спрашивали, и как он раздавал фрукты из натюрморта тем, кто нарисовал их лучше всех.

Но дедушка, казалось, не замечал его замкнутости, во всяком случае, ничего не сказал, и после ужина, когда Дэвид уныло плелся наверх в гостиную, ему неожиданно представился Эдвард Бишоп: в этом неуместном видении, пока сам Дэвид собирался провести еще один вечер у камина, напротив дедушки, молодой человек веселился в клубе — Дэвид лишь однажды был в таком, — его длинная шея была обнажена, рот открыт в песне, а вокруг него были другие красивые юноши и девушки, все одетые в яркие шелка, вокруг царил праздник, воздух благоухал лилиями и шампанским, а сверху хрустальная люстра покачивалась и разбрасывала по комнате брызги света.

Глава 5

Шесть дней до следующего урока прошли даже медленнее обычного, и в следующую среду он от нетерпения приехал так рано, что решил прогуляться — успокоиться и убить время.

Приют располагался в большом квадратном здании, простом, но ухоженном, между Западной двенадцатой и Гринвич-стрит — это местоположение стало менее благоприятным за те десятилетия, в течение которых в трех кварталах на север и в одном квартале на запад стали разрастаться районы борделей. Каждые несколько лет попечители обсуждали, не следует ли переместить приют, но в конце концов решали оставить его на прежнем месте, ибо сам дух города диктовал, чтобы очевидные противоположности — богатые и бедные, укоренившиеся и вновь прибывшие, невинные души и преступники — жили бок о бок, поскольку для четких территориальных разделений просто не хватало места. Он пошел на юг к Перри-стрит, а потом на запад и на север по Вашингтон-стрит, но, сделав круг дважды, понял, что даже для него нынче слишком холодно — пришлось прекратить прогулку

и вернуться в экипаж, дуя на руки, чтобы взять привезенный с собой сверток.

Уже несколько месяцев Дэвид обещал детям, что позволит им нарисовать нечто необычное, но когда он сегодня отдавал этот предмет Джейн, чтобы она его завернула и завязала бечевкой, он осознал, что надеется: Эдвард Бишоп увидит, как он несет в руках такую громоздкую, странную вещь, и, возможно, будет заинтригован, останется посмотреть, как ее разворачивают, застынет в изумлении. Дэвид, конечно же, не мог похвалить себя за такие мысли или за то волнение, которое чувствовал, идя по коридору к классу: дыхание его сбивалось, сердце колотилось в груди.

Но когда он открыл дверь в классную комнату, там не было ничего — ни музыки, ни молодого человека, ни волшебства, — только его ученики играли, возились, кричали друг на друга, пока не заметили его и не стали толкать друг друга в бок, призывая к молчанию.

— Добрый вечер, дети, — сказал он, приходя в себя. — А где ваш учитель музыки?

— Он теперь приходит по четвергам, сэр, — сказал один из мальчиков.

— Вот как, — ответил Дэвид, чувствуя разочарование, словно железную цепь на шее, и стыдясь

этого чувства.

— Что в свертке, сэр? — спросил другой ученик, и Дэвид понял, что все еще стоит, прислонившись к двери, и сжимает предмет занемевшими пальцами. Вдруг все это показалось ему глупым фарсом, но он не принес им ничего другого, чтобы рисовать с натуры, и в комнате не из чего было составить композицию, так что он поставил предмет на учительский стол и осторожно развернул, обнаружив статую, гипсовую копию римского мраморного туловища. Оригинал дедушка купил еще в юности, в своем гранд-туре, и когда Дэвид начал учиться рисовать, со статуи сняли копию. Никакой материальной ценности скульптура не имела, но он часто рассматривал ее, и задолго до того, как увидел торс живого мужчины, и она научила его всему, что он знал об анатомии, о том, как мускулы покрывают кости, а кожа — мускулы, и о той единственной женственной складке, которая появляется на боку живота, когда наклоняешься в одну сторону, и о двух прямых штрихах, которые, как стрелы, указывают на промежность.

По крайней мере, дети заинтересовались, ему, кажется, удалось произвести на них впечатление, когда он водрузил статую на табурет, и он

стал рассказывать о римской скульптуре: высочайшим выражением искусства художника было умение передать формы человеческого тела. Он наблюдал за тем, как они рисовали, опуская глаза на альбомный лист и снова бросая на статую быстрые цепкие взгляды, и вспоминал слова Джона, что эти уроки полная глупость: “Почему бы не научить их чему-то, что действительно пригодится им во взрослой жизни?” — вопрошал он. Не один Джон так думал, даже дедушка, при всей своей склонности потакать Дэвиду, считал, что это сомнительное, если не жестокое дело — прививать детям хобби и интересы, на которые у них, скорей всего, никогда не будет времени и тем более денег. Но Дэвид считал иначе: он учит их занятию, которым можно наслаждаться, имея в своем распоряжении лишь лист бумаги и немного чернил или кусочек грифеля; и кроме того, говорил он дедушке, если бы слуги немного лучше разбирались в искусстве, понимали его ценность, возможно, они с большим вниманием, более бережно обращались бы с произведениями искусства в домах своих хозяев, когда протирают и начищают их, на что дедушка — припомнив все сокровища, нечаянно погубленные за долгие годы горничными и лакеями, — со смехом согла-

сился, что, может быть, в этом что-то есть.

В тот вечер, посидев с дедушкой, он вернулся в комнату и стал вспоминать, как до этого, сидя в классе на заднем ряду и рисуя вместе с учениками, вообразил на месте гипсового бюста, водруженного на табурете, Эдварда Бишопа, и уронил карандаш, и заставил себя пройти по рядам, рассматривая работы учеников, чтобы отвлечься.

На другой день был четверг, и он старался придумать предлог, чтобы снова отправиться в школу, но тут оказалось, что Фрэнсис ждет его, чтобы разобраться с каким-то расхождением в конторских книгах фонда Бингема, который финансировал все их разнообразные проекты. У него не было никакого предлога отказаться, и, конечно, Фрэнсис это знала, поэтому пришлось отправиться в контору, и они вдвоем изучали столбцы цифр, пока не сообразили, что единица размазалась и стала напоминать семерку, что и привело к расхождениям в вычислениях. Единица превратилась в семерку: такая простая ошибка, но если бы они не нашли ее, то Альму бы допросили, а возможно, и уволили из фирмы Бингемов. Когда они закончили, было еще достаточно рано, чтобы добраться до школы к концу

урока Эдварда, но дедушка попросил его остаться на чай, и снова у него не нашлось предлога отказаться — его праздность была так широко известна, что стала для него своего рода тюрьмой, расписанием в отсутствие расписания.

— Ты как на иголках, — заметил дедушка, наливая чай ему в чашку. — Ты куда-то спешишь?

— Нет, я не спешу, — ответил он.

Он ушел так быстро, как позволяла вежливость, забрался в экипаж и велел кучеру поторопиться, пожалуйста, но когда они добрались до Западной двенадцатой улицы, было уже гораздо позже четырех и почти не оставалось надежды, что Эдвард так задержался, особенно в такую погоду. Тем не менее Дэвид попросил кучера подождать и целеустремленно зашагал к своему классу, а открывая дверь, закрыл глаза и затаил дыхание — и выдохнул, только ощутив тишину внутри.

И вдруг услышал голос:

— Мистер Бингем, какой сюрприз!

Конечно, в глубине души он надеялся именно на это, и все-таки, открыв глаза и увидев Эдварда, сияющего улыбкой, с перчатками в одной руке, стоявшего, чуть склонив голову набок, будто он задал вопрос и ждет ответа, Дэвид понял, что не в силах сказать ни слова, и выражение его лица,

видимо, отчасти выдавало его смятение, потому что Эдвард шагнул ему навстречу и на лице его проступила озабоченность.

— Мистер Бингем, вы хорошо себя чувствуете? — спросил он. — Вы очень побледнели. Присядьте вот здесь, на стул, я принесу вам воды.

— Нет-нет, — выдавил он наконец. — Все в порядке. Я просто… Я думал, что оставил здесь вчера альбом… искал его, но не мог найти… но кажется, и здесь его нет… простите, что побеспокоил вас.

— Но вы совсем меня не побеспокоили! Потеряли альбом — какой ужас! Не представляю, что бы я делал, если бы потерял свою тетрадь. Давайте поищем хорошенько.

— Не нужно, — начал он слабым голосом: это была жалкая ложь, в комнате было так мало мебели, что воображаемому альбому негде было найтись.

Но Эдвард уже начал поиски, он открывал пустые ящики учительского стола, заглядывал в пустой шкаф, стоящий за столом у доски, даже встал на колени, чтобы заглянуть под пианино, несмотря на протесты Дэвида (как будто Дэвид не увидел бы сам этот альбом — спокойно лежащий дома у него в кабинете, — если бы забыл его где-то здесь). Все это время Эдвард издавал восклицания,

выражающие тревогу и беспокойство за Дэвида. У него была театральная, подчеркнуто старомодная, аффектированная манера речи — все эти охи и ахи, — но раздражала эта манера меньше, чем можно было предположить: она была одновременно ненатуральной и искренней и казалась не столько притворством, сколько выражением художественной натуры, за ней чувствовались живость и добродушие, как будто Эдвард Бишоп отвергал серьезность, ту серьезность, с которой большинство людей относятся к миру, считая ее притворством, а не добродетелью.

— Кажется, мистер Бингем, его здесь нет, — объявил наконец Эдвард, вставая и глядя прямо в глаза Дэвиду с выражением, которое тот затруднялся прочесть, почти с улыбкой: флирт, может быть, даже соблазнение? Понимание, что каждый из них играет свою роль в этой пантомиме? Или же (что более вероятно) поддразнивание, даже издевка? Скольких мужчин с безрассудными намерениями и страстями довелось встретить Эдварду Бишопу в его короткой жизни? Какой длины был список, к которому Дэвиду предстояло добавить собственное имя?

Дэвид хотел бы завершить это театральное представление, но не понимал как: он сам начал

его и слишком поздно осознал, что не продумал концовку.

— Вы очень добры, благодарю, что помогли мне искать альбом, — сказал он с несчастным видом, глядя в пол. — Наверняка я просто куда-то засунул его дома. Мне не стоило приходить… Не смею больше вас беспокоить.

Никогда, пообещал он себе. Я никогда больше тебя не побеспокою. И все-таки он не двигался, не уходил.

Наступило молчание, и когда Эдвард заговорил, голос его звучал иначе, в нем не было больше прежней театральности.

— Никакого беспокойства, что вы, — проговорил он и добавил после паузы: — Ужасно холодно здесь, правда?

(Так оно и было. Начальница держала помещение в холоде во время учебных часов — по ее словам, это повышало сосредоточенность учеников и учило их выдержке. Дети привыкали к холоду, а взрослые нет: каждый учитель и сотрудник приюта вечно кутался в теплые пальто и шали. Дэвид как-то наведался в приют вечером и поразился, как там было тепло, даже уютно.)

— Тут всегда холодно, — сказал он несчастным голосом.

— Я собираюсь согреться чашечкой кофе, — объявил Эдвард, и когда Дэвид ничего не ответил, снова не зная, как его понимать, добавил: — Тут за углом кафе, не хотите составить мне компанию?

Он согласился, не успев подумать, все взвесить и отказаться, задаться вопросом, что на самом деле означает это приглашение; и вот уже, к его удивлению, Эдвард застегивает пальто, и они вместе выходят из школы и идут на восток, а потом на юг, на Гудзон-стрит. Они не разговаривали, только Эдвард напевал про себя что-то на ходу, еще какую-то популярную песенку, и на мгновение Дэвид усомнился в себе: может быть, Эдвард весь на поверхности, весь блеск и лакировка? Он все время думал, что за всеми этими улыбками и жестами, за этими белыми ровными зубами скрывается глубокая и серьезная личность, но что, если нет? Что, если перед ним просто пустоцвет, человек, который ищет одних лишь удовольствий?

Но потом Дэвид подумал: а даже если и так? Это просто кофе, а не предложение руки и сердца; и, успокаивая себя так, он вспомнил Чарльза Гриффита, который так и не давал о себе знать с их последней встречи, еще до Рождества, и почувствовал, как шею обдало жаром, а потом

сковало холодом.

Когда они подошли к кафе, оказалось, что это и не кафе даже, а скорее чайная комната, тесное помещение с дощатыми полами, шаткими деревянными столиками и неудобными табуретками. При входе был магазинчик, и им пришлось протискиваться через толпу завсегдатаев, изучающих банки с кофейными зернами, сушеные цветки ромашки и листья мяты — два продавца-китайца насыпали все это в бумажные пакетики и взвешивали на медных весах, подсчитывая суммы на деревянных счетах, чье непрерывное ритмичное щелканье обеспечивало своеобразное музыкальное сопровождение чайной. Несмотря на это, а может быть, благодаря этому атмосфера была оживленной и праздничной, и двое мужчин нашли место у самого камина, из которого с треском разлетались снопы искр, словно фейерверки.

— Два кофе, — сказал Эдвард официантке, полненькой восточной девушке, которая кивнула и засеменила прочь.

Мгновение они сидели и смотрели друг на друга через маленький столик, а потом Эдвард улыбнулся, и Дэвид улыбнулся ему в ответ, и они улыбались и улыбались друг другу, после чего

оба одновременно расхохотались. А потом Эдвард наклонился к нему совсем близко, как будто хотел поделиться секретом, но прежде чем он успел заговорить, вошла большая группа юношей и девушек — по виду студенты университета, — они стали рассаживаться за столики вокруг, не прекращая спора, того самого, который десятилетиями не выходил из моды у студенческой молодежи и начался даже раньше Повстанческой войны.

— Я только говорю, что наша страна едва ли может называть себя свободной, если мы не можем признать негров полноправными гражданами, — говорила хорошенькая девочка с острыми чертами лица.

— Но мы принимаем их здесь, — возразил ей мальчик, сидящий напротив.

— Да, но только на пути в Канаду или на Запад — мы не хотим, чтобы они оставались, и когда мы говорим, что наши границы открыты для всех жителей Колоний, мы не имеем в виду их, а ведь их угнетают еще больше, чем тех, кому мы предоставляем убежище! Мы считаем себя настолько лучше, чем жители Америки и Колоний, а на самом деле мы такие же!

— Но негры не такие же люди, как мы.

— Такие же! Я была знакома… ну не я, а мой дядя, когда он путешествовал по Колониям, и негры точно такие же, как мы!

Часть группы издевательски засмеялась, и один мальчик сказал, лениво и насмешливо растягивая слова:

— Анна еще скажет нам, что краснокожие точно такие же, как мы, и надо было не искоренять их, а оставить жить их дикарской жизнью.

— И среди индейцев были точно такие же люди, как мы, Итан! Это задокументировано!

Тут уже вся группа за столом стала что-то выкрикивать в ответ, и от их гвалта, щелканья счетов, жара камина, идущего со спины, Дэвид почувствовал дурноту. Должно быть, это было заметно, потому что Эдвард наклонился и спросил его, повысив голос почти до крика, не хочет ли он пойти куда-нибудь в другое место. Дэвид сказал, что хочет.

Эдвард пошел сказать официантке, что они не будут кофе, и они протиснулись между студентами и людьми, стоявшими в очереди за пакетиками с чаем, и наконец снова оказались на улице, которая, несмотря на всю деловитость и многолюдность, оказалась просторной и тихой, и это принесло им облегчение.

— Тут бывает довольно шумно, — сказал Эдвард, — особенно во второй половине дня, мне следовало бы это помнить. Но здесь все равно очень мило.

— Несомненно, — вежливо пробормотал Дэвид. — Здесь есть еще какое-нибудь место, куда мы можем пойти?

Хотя он и преподавал в школе уже полгода, он плохо знал окрестности — его визиты были краткими и целенаправленными, он казался себе слишком старым, чтобы ходить по пабам и дешевым кофейням, которые так привлекали студентов.

— Вообще-то, — сказал Эдвард после секундной заминки, — мы можем пойти ко мне, если вы не возражаете, это совсем рядом.

Дэвид был удивлен предложением, но в то же время почувствовал удовлетворение — разве не это привлекло его к Эдварду с самого начала? Обещание вольного духа, блаженное пренебрежение к условностям, избавление от старых чопорных правил и формальностей. Он принадлежал современности, и рядом с ним Дэвид чувствовал, что тоже становится современным, настолько, что сразу же согласился, ободренный дерзостью нового друга, и Эдвард кивнул, словно и не ожи-

дал иного ответа (хотя сам Дэвид на мгновение окаменел от собственной бесшабашности), и повел его сначала на север, а потом на запад, на Бетюн-стрит. На этой улице стояли элегантные дома, недавно построенные особняки из песчаника, в окнах мерцало пламя свечей — было всего пять часов вечера, но вокруг уже сгущались сумерки, — однако Эдвард прошагал мимо них к большому, запущенному, некогда величественному зданию у самой реки, в похожем особняке прошло детство дедушки; теперь все казалось обшарпанным, и деревянная дверь разбухла, так что Эдварду пришлось несколько раз с силой потянуть, прежде чем она открылась.

— Осторожно, из второй ступеньки выпал камень, — предупредил он, поворачиваясь к Дэвиду. — Увы, это не Вашингтонская площадь, но я здесь живу.

Он извинялся, но его улыбка — о, это сияние! — придавала словам оттенок не то чтобы хвастовства, но бравады.

— Откуда вы знаете, что я живу на Вашингтонской площади? — спросил Дэвид.

— Все это знают, — ответил Эдвард, и в его устах это прозвучало так, будто дом на Вашингтонской площади был собственным достижением Дэвида,

чем-то достойным похвалы.

Оказавшись внутри (успешно миновав предательскую вторую ступеньку), Дэвид увидел, что особняк превращен в пансион; слева, где должна была быть гостиная, находилось что-то вроде столовой для завтрака, там стояло с полдюжины разномастных столов и десяток стульев, тоже в разном стиле. Он с одного взгляда понял, что это дешевая, плохо сделанная мебель, но потом заметил в углу изящный секретер рубежа веков, похожий на тот, который стоял в гостиной у дедушки, и подошел, чтобы рассмотреть его получше. Было видно, что дерево не натирали месяцами, и его поверхность была испорчена дешевыми маслами — она оказалась липкой на ощупь, и когда он отдернул руку, его пальцы были все в пыли. Но когда-то это была хорошая вещь, и прежде чем он успел спросить, Эдвард сказал за его спиной:

— Хозяйка когда-то была весьма состоятельна, во всяком случае, так говорят. Не так богата, как Бингемы, но все же при деньгах.

Вот опять он упомянул их семью и их богатство.

— И что случилось?

— Муж был игрок и сбежал с ее сестрой. Если

верить слухам. Она живет на верхнем этаже, я редко ее вижу — она в преклонных годах, пансионом управляет ее дальняя родственница.

— Как ее фамилия? — спросил Дэвид. Если она когда-то была богата, дедушка должен ее знать.

— Ларссон. Флоренс Ларссон. Пойдемте, моя комната вон там.

Ковер на лестнице потерся в одних местах и вовсе стерся в других, и пока они поднимались наверх, Эдвард сообщил, сколько здесь квартирантов (двенадцать, включая его самого) и как долго он тут живет (год). Казалось, он ничуть не смущен ни бедностью и убожеством окружающей обстановки (вода обесцветила обои с цветочным рисунком, оставив случайный узор из больших, бесформенных желтоватых разводов), ни тем, что вообще живет в пансионе. Конечно, многие живут в пансионах, но Дэвид никогда не встречал никого из этих людей и уж тем более не был в таких помещениях, и теперь он оглядывался вокруг с любопытством, но и с некоторым беспокойством. Как живут люди в этом городе! Если верить Элизе, чья благотворительная работа была связана с перемещением и расселением беженцев из Колоний и эмигрантов из Европы, большинство из них жили в ужасающих усло-

виях; она рассказывала о семьях, ютившихся вдесятером в одной комнате, о детях, которые получают ожоги, подобравшись слишком близко к неогороженному очагу в жалкой попытке хоть как-то согреться, о протекающих крышах, из-за которых дождь льет прямо в жилые комнаты. Они слушали все это и качали головами, дедушка цокал языком, а потом они переходили на какую-нибудь другую тему — учебу Иден, например, или выставку картин, которую недавно посетил Питер, и рассказы об ужасных условиях, в которых живут подопечные Элизы, изглаживались из их памяти. И вот он, Дэвид Бингем, находится в таком доме, куда не решились бы войти его брат и сестра. Он осознал, что переживает приключение, а потом устыдился этой глупой гордости, потому что не требовалось никакой храбрости для того, чтобы просто прийти сюда в гости.

На площадке третьего этажа Эдвард свернул направо, и Дэвид прошел за ним в комнату в конце коридора. Вокруг было тихо, хотя, входя внутрь, Эдвард прижал палец к губам и указал на соседнюю дверь:

— Он сейчас спит.

— Так рано? — прошептал в ответ Дэвид. (Или, наоборот, так поздно?)

— Он работает ночами. Портовый грузчик. Уходит из дому где-то в полвосьмого.

— А, — сказал Дэвид и снова поразился, как мало он знает жизнь.

Они вошли в комнату, и Эдвард тихо закрыл за собой дверь. Было так темно, что Дэвид не мог ничего разглядеть, только чувствовал запах дыма и — чуть ощутимо — жира. Эдвард заявил, что зажжет свечи, и с шипением каждой новой спички в комнате проступали цвета и контуры.

— Я держу шторы закрытыми — так теплее, — сказал Эдвард, но тут же раздвинул их, и очертания комнаты прояснились.

Она была меньше, чем кабинет Дэвида на Вашингтонской площади, в углу стояла узкая кровать, аккуратно заправленная грубым шерстяным одеялом. У изножья кровати находился сундук, с которого лохмотьями свисала кожаная обивка, а справа — деревянный шкаф, встроенный в стену. В другом конце комнаты стоял хлипкий столик, на котором громоздилась старомодная керосиновая лампа, связка бумаг, пресс-папье, стопка книг, все очень потрепанные. Еще там была табуретка, такая же дешевая, как и вся остальная мебель. У противоположной от кровати стены Дэвид увидел основательный

кирпичный камин, в нем на железном штыре висел тяжелый черный старомодный котелок, такие были в его детстве, он вспомнил, как стоял на заднем дворе городского дома и смотрел на горничных, перемешивающих белье в больших котлах с кипящей водой. Камин располагался между двух больших окон, за которыми голые ветви ольхи прочерчивали контуры, похожие на паутину.

Дэвиду это место показалось диковинным, о таком он читал в газетах, и он снова подивился своему присутствию здесь — место было еще более странным, чем компания, в которой он здесь очутился.

Потом он вспомнил о приличиях и перевел взгляд на Эдварда, который стоял посередине, держа перед собой руки со сплетенными пальцами, — Дэвид уже знал это его нехарактерное выражение уязвимости. И впервые за их короткое знакомство Дэвид увидел на лице этого человека выражение неуверенности, которого не замечал раньше, и ощутил прилив одновременно теплоты и храбрости, так что когда Эдвард наконец произнес “Я заварю чаю?”, Дэвид смог сделать шаг вперед — всего один шаг, но в комнате было так тесно, что он оказался в нескольких дюймах от

Эдварда Бишопа, так близко, что смог разглядеть его ресницы, каждую в отдельности, черные и влажные, словно прорисованные тушью.

— Да, пожалуйста, — сказал он, специально понижая голос, словно более громкий звук мог привести Эдварда в чувство и спугнуть его. — Мне очень хочется чаю.

Эдвард отправился за водой, и когда он вышел, Дэвид смог исследовать комнату более тщательно и подробно и осознал, что хладнокровие, с которым он воспринял состояние этого дома, было вовсе не хладнокровием, а потрясением. Дэвид вдруг понял, что Эдвард беден.

Но чего он ожидал? Что Эдвард окажется таким же, как он, конечно: воспитанным, образованным молодым человеком, который преподает в школе из благотворительных побуждений, а не — теперь это была уже не вероятность, а почти уверенность — за деньги. Он отметил красоту его лица, покрой одежды и вообразил сродство, сходство там, где его не было. Но теперь он сидел на сундуке в изножье кровати и смотрел на пальто Эдварда, которое тот снял, прежде чем выйти из комнаты: да, хорошая шерсть, хороший фасон, но лацканы (когда он осмотрел их как следует) оказались чуть шире, чем положено по

сегодняшней моде, часть планки была заштопана рядами крошечных стежков, а рукава явно удлиняли — на них отчетливо виднелся след от сгиба. Он поежился — и от своей ошибки, и оттого, что виной всему был его собственный изъян: Эдвард не пытался его обмануть, он сам пришел к неверным заключениям, игнорируя все, что не вписывалось в его теорию. Он искал признаки сходства с собой, с другими из привычного мира, и когда нашел их — или что-то похожее, — просто перестал присматриваться, перестал видеть. “Человек, повидавший мир”, — сказал дедушка, встречая его после годового путешествия по Европе, и Дэвид поверил ему, согласился с ним. Но в самом ли деле он повидал мир? Или же весь его опыт был ограничен миром, созданным Бингемами, пусть богатым и разнообразным, но далеко не полным? Вот он стоит в комнате, в доме, который находится меньше чем в пятнадцати минутах езды в экипаже от Вашингтонской площади, и эта комната более чужеродна ему, чем Лондон, Париж и Рим; он мог бы с тем же успехом находиться в Пекине или на Луне. И было еще кое-что похуже: чувство нереальности, которое он испытывал, свидетельствовало о наивности не только предосудительной, но и опасной. Даже войдя уже

в этот дом, он считал, что Эдвард живет здесь смеха ради, играя в бедность.

Это осознание, вместе с пронизывающим холодом комнаты, от которого все казалось как будто влажным, так глубоко и неотвязно он проникал везде, заставило его увидеть нелепость собственного пребывания здесь, и он встал, вновь застегнул пальто, которое даже не снял, и приготовился уйти, репетируя разговор с Эдвардом на лестнице — извинения, оправдания, — когда хозяин внезапно вернулся, неся в руках медную кастрюлю, из которой выплескивалась вода. “Дорогу, пожалуйста, мистер Бингем!” — сказал он с насмешливой официальностью, уже вернув себе былое самообладание, и налил воду в чайник, прежде чем разжечь огонь — пламя вспыхнуло немедленно, как по волшебству. Все это время Дэвид беспомощно наблюдал за ним, и когда Эдвард повернулся к нему, сдался и сел на кровать.

— О, я не должен был садиться на вашу постель! — воскликнул он, вскакивая на ноги.

Эдвард улыбнулся.

— Но здесь больше некуда сесть, — сказал он просто. — Прошу вас.

И Дэвид сел обратно.

От огня комната стала уютнее, не такой мрач-

ной, окна запотели от пара, и когда Эдвард налил им чаю — “Боюсь, это не совсем чай, а отвар из ромашки”,– Дэвид почувствовал себя лучше, и на мгновение между ними установилось непринужденное молчание, пока оба подносили чашки к губам.

— У меня есть печенье, хотите?

— Нет, благодарю вас.

Оба сделали глоток.

— Надо будет как-нибудь снова пойти в то кафе, может быть, пораньше.

— Да, с удовольствием.

Мгновение они оба, казалось, подбирали слова.

— А вы-то что думаете: надо нам пускать негров? — спросил Эдвард, явно поддразнивая Дэвида, и тот, улыбнувшись, покачал головой.

— Я, конечно, очень сочувствую неграм, — сказал он веско, эхом повторяя дедушку, — но лучше будет, если они найдут свое место для жизни — на Западе, например.

Не то чтобы негры были необучаемы, говорил дедушка, даже напротив, в том-то и проблема — ведь когда негр станет ученым, разве не захочет он сам воспользоваться всеми возможностями, которые дают Свободные Штаты? Дэвид подумал,

что дедушка всегда говорит “негритянский вопрос”, а не “дилемма” и не “проблема”, потому что “если называть это проблемой, то нам придется ее решать”. “Негритянский вопрос — это грех в самом сердце Америки, — часто говорил он, — но мы не Америка, и это не наш грех”. В этом отношении, как и во многих других, дедушка был мудр, и Дэвиду никогда не приходило в голову оспаривать его мнение.

Еще одна пауза, слышно было только, как их зубы постукивают о фарфор, а потом Эдвард сказал с улыбкой:

— Вы в ужасе от того, как я живу.

— Нет, — сказал Дэвид, — не в ужасе.

Однако он был так потрясен, что вовсе утратил все свои манеры и умение вести беседу. Когда он был застенчивым школьником, не умел заводить друзей и одноклассники не обращали на него внимания, дедушка однажды объяснил ему, что казаться интересным человеком очень просто: надо спрашивать людей о них самих. “Люди обожают говорить о себе, — сказал дедушка. — Если какие-то обстоятельства заставляют тебя сомневаться в себе, в своем положении — хотя ты не должен, ты ведь Бингем и лучший ребенок на свете, — надо спросить своего собеседника

что-то о нем самом, и он навеки уверится, что ты самый необыкновенный человек, какой только встречался на его пути". Конечно, это было преувеличение, но дедушка был близок к истине, и, последовав его совету, Дэвид если и не завоевал заметного места среди сверстников, то, безусловно, избежал многих лет унижений и с тех пор бессчетное количество раз полагался на эту мудрость.

Даже сейчас он понимал, что из них двоих Эдвард несравнимо более загадочная и притягательная личность. Он был Дэвид Бингем, о нем все было всем известно. Но каково быть анонимной фигурой, когда твое имя ничего не значит и можно двигаться по жизни словно тень, можно спеть в классе песенку из мюзик-холла, и никто не будет рассказывать об этом всем знакомым, жить в стылой комнатенке в пансионе, где сосед за стенкой просыпается, когда остальные сидят в гостиной за выпивкой и разговорами, никому не давать отчета в своих действиях? Он был не настолько романтичен, чтобы желать такой жизни; ему бы не понравилось ютиться в холодной крошечной келье так близко к реке, ходить за водой всякий раз, как захочется чаю, вместо того чтобы просто дернуть шнур звонка, — он не уверен был,

что смог бы так жить. Однако его известность означала, что он раз и навсегда променял приключения на уверенность в завтрашнем дне и оттого ему предстоит влачить предсказуемую жизнь. Даже в Европе его передавали от одних знакомых дедушки другим: он никогда не выбирал свой путь, это делали за него, заодно очищая этот путь от препятствий, о которых он даже не успевал узнать. Он был свободен — и в то же время не свободен.

Так что задавать вопросы Эдварду он стал с совершенно искренним желанием понять, кто он и как стал жить той жизнью, которой живет, и когда Эдвард заговорил, так естественно и непринужденно, будто годами ждал, когда же Дэвид придет и станет его расспрашивать, Дэвид обнаружил в себе, несмотря на интерес к истории Эдварда, новую и неприятную гордость — что вот сидит он здесь как ни в чем не бывало, в этом невообразимом месте, и разговаривает со странным, красивым, невообразимым человеком, и хотя небо за запотевшим окном темнеет и скоро дедушка сядет ужинать один и будет беспокоиться, куда он делся, Дэвид не двигается, не пытается извиниться и уйти. Он был словно околдован и, понимая это, сложил оружие и сдался, оставляя

позади тот мир, который он, как ему казалось, знал, и вступая в другой, незнакомый, и все потому, что ему хотелось перестать быть собой и стать тем, кем он мечтал быть.

Глава 6

В течение следующих недель он видел Эдварда сначала еще раз, потом дважды, трижды, еще четыре раза. Они встречались после урока Эдварда или его собственного урока. Во вторую встречу они для приличия сначала пошли в кафе, но потом уже сразу отправлялись в комнату Эдварда, где оставались допоздна — настолько, насколько Дэвид решался остаться, прежде чем вернуться в свой экипаж, который ждал его у школы, и помчаться домой, чтоб успеть к моменту, когда дедушка явится к ужину, — после первого визита к Эдварду Дэвид опоздал, и дедушка не рассердился, но проявил любопытство, и хотя Дэвид пока уходил от расспросов, он знал, что при дальнейших опозданиях они станут более настойчивыми, а он был не готов отвечать.

Даже если бы ему пришлось объясниться, он не знал, как описать ту дружбу, которая возникла у него с Эдвардом. По вечерам, после того как они с дедушкой заканчивали беседу в гостиной за стаканчиком (“У тебя все хорошо? — спросил дедушка после третьей тайной встречи. — Ты какой-то необычно… рассеянный”), он забирался

в свой кабинет и записывал в дневник все, что узнал об Эдварде в этот день, а потом сидел и перечитывал написанное, как будто это был один из любимых Питером детективов, а не рассказ, который он слышал своими ушами.

Эдварду было двадцать три года, на пять лет меньше, чем Дэвиду, он два года проучился в консерватории в Вустере, штат Массачусетс. Но хотя он учился по стипендии, ему не хватило денег, чтобы получить степень, и четыре года назад он вынужден был переехать в Нью-Йорк и искать работу.

— И что ты делал? — спросил Дэвид.

— Да так, всего понемногу, — был ответ.

И это не то чтобы было неправдой, во всяком случае, не вполне: Эдвард, очень недолго, поработал помощником повара (“Кошмар! Я воду-то с трудом могу вскипятить, как видишь”), няней (“Жуть. Я совершенно не занимался со своими подопечными, только кормил их сладостями”), учеником угольщика (“Не могу представить, почему я решил, что мне подойдет это занятие”), натурщиком (“Гораздо скучнее, чем кажется. Стоишь в неестественной позе, пока не окоченеешь и все тело не начнет болеть, а целый класс глупых старух и похотливых старикашек пытается тебя

нарисовать”). Наконец он нашел работу пианиста в маленьком ночном клубе (осталось неясным, как именно он туда попал).

(“В ночном клубе!” — воскликнул Дэвид, не удержавшись. “Да-да, в ночном клубе! Где бы еще я выучил все эти непристойные песенки, оскорбляющие слух Бингемов?” Но Эдвард просто его поддразнивал, и они улыбнулись друг другу.)

В ночном клубе он получил предложение преподавать в приюте (это тоже осталось без объяснения, и у Дэвида промелькнула краткая и чрезвычайно яркая фантазия: начальница приюта заходит в темную комнату, хватает Эдварда за шкирку, выволакивает его по лестнице на улицу и тащит в школу); в последнее время он пытался подрабатывать частными уроками, хотя знал, что найти такую работу трудно, почти невозможно.

(“Но у тебя есть нужное образование”, — возразил Дэвид. “Но у многих образование гораздо лучше и вдобавок рекомендации. Сам подумай: вот у тебя же есть племянники и племянницы? Разве твой брат или сестра наняли бы такого, как я? Или — скажи по правде — они доверили бы своих крошек только учителям, окончившим Национальную консерваторию, профессиональным музыкантам? Нет-нет, ничего страшного, не

надо извиняться, это в порядке вещей. Бедный и безвестный молодой человек, не получивший степени даже в третьесортном заведении, не пользуется и никогда не будет пользоваться особым спросом”.)

Ему нравилось учить. Друзья Эдварда (он ничего о них не рассказывал) дразнили его из-за этой работы, скромной по любым меркам, но она ему нравилась, и ему нравились дети. “Они напоминают мне меня самого”, — сказал он, но не объяснил почему. Он, как и Дэвид, понимал, что их питомцы никогда не смогут стать музыкантами, возможно, им будет даже недоступна роскошь посетить хоть один концерт, но он думал, что по крайней мере они получат удовольствие, проблеск радости в своей жизни, что-то, что они смогут унести с собой, источник наслаждения, который у них не отнять.

— Да, я думаю так же! — воскликнул Дэвид, взволнованный тем, что кто-то смотрит на образование этих детей так же, как он. — Они не будут сами музицировать — скорей всего, ни один из них, — но это даст им некоторую внутреннюю утонченность, правда? Разве это не ценно само по себе?

При этих словах что-то, какое-то облако, быстро

прошло по лицу Эдварда, и на мгновение Дэвид решил, что чем-то его обидел. Но…

— Ты совершенно прав, — только и сказал его новый друг, и беседа повернула в другое русло.

Все это он записал, и еще все, что Эдвард рассказал ему о своих соседях; эти рассказы смешили и поражали его: пожилой холостяк, который никогда не выходил из своей комнаты и тем не менее клал свои ботинки в корзину, которую относили чистильщику, ждущему у дома; портовый грузчик, чей храп они слышали порой через тонкую стену; юноша в комнате над ними, который, как уверял Эдвард, давал уроки танцев пожилым дамам, приводя в доказательство стук каблуков по дереву, который они слышали над головой. Он понимал, что Эдвард считает его наивным, что ему нравится его изумлять, а иногда и шокировать. И он рад был идти у него на поводу: ведь Дэвид и впрямь был наивным. Ему нравилось изумляться. В присутствии Эдварда он чувствовал себя одновременно старше и младше и при этом ощущал странную легкость — как будто ему дали возможность заново пережить юность, узнать наконец ту беззаботность, которая свойственна молодости, но только теперь он был достаточно взрослым, чтобы по-настоящему это

оценить. Эдвард стал называть его “мой невинный младенец”, и хотя это дружеское прозвище могло показаться слишком снисходительным — ведь оно было снисходительным, правда? — Дэвида оно не обижало. Эдвард ведь говорил не о невежестве, а о невинности, о чем-то маленьком, драгоценном, что нужно лелеять и защищать от мира за стенами пансиона.

Но то, что сказал ему Эдвард в их третью встречу, занимало теперь большую часть его времени и его мысли. В тот раз у них впервые была близость, Эдвард стоял и говорил (о своем друге, который учил математике детей из предположительно богатой семьи, о которой Дэвид ничего не слышал) и задергивал шторы, а потом как ни в чем не бывало подсел к Дэвиду на кровать, и — хотя, конечно, это не был его первый раз, как и каждый житель этого города, бедный или богатый, он иногда ехал в экипаже к восточной части Гансевоорт-стрит, в нескольких кварталах к северу от пансиона, где такие мужчины, как он, направлялись к южному ряду домов, а мужчины, которые хотели женщин, к северному, а хотевшие чего-то совсем другого шли к восточному концу улицы, где находились заведения, исполнявшие более прихотливые желания, включая единственный аккуратный

домик, предназначавшийся только для клиентов женского пола, — это было невероятно, как будто он заново учился ходить, или есть, или дышать: физическое ощущение, которое до сих пор было для него чем-то одним, оказалось чем-то совсем другим.

После они лежали на кровати, такой узкой, что им пришлось обоим повернуться набок, иначе Дэвид бы свалился. И они смеялись над этим тоже.

— Знаешь, — начал Дэвид, вытаскивая руку из-под шерстяного одеяла, которое просто непереносимо кололось, словно было соткано из рыболовных сетей — надо подарить ему одеяло, подумал он, — и кладя ладонь на теплую кожу Эдварда, под которой чувствовались ребра, — ты столько всего мне рассказывал, но я не знаю, откуда ты родом, кто твои родители.

Это умолчание вначале интриговало Дэвида, но теперь казалось ему немного тревожным — он боялся, что Эдвард стесняется своих корней, что он страшится неодобрения. Но Дэвид ведь был не такой человек: Эдварду нечего было бояться.

— Откуда ты? — спросил он, когда Эдвард промолчал. — Не из Нью-Йорка. Коннектикут? Массачусетс?

Эдвард наконец заговорил.

— Из Колоний, — сказал он тихо, и Дэвид потерял дар речи.

Он никогда не знал никого из Колоний. Конечно, он видел их: каждый год Элиза и Иден устраивали у себя салон, чтобы собрать деньги на беженцев, и там всегда был какой-нибудь беглец, обычно недавний, который рассказывал, дрожа, о своем опыте — прекрасным, медовым голосом, какой обычно был у колонистов. Часто они убегали по религиозным соображениям, или чтобы избежать казни, или потому, что за десятилетия, прошедшие после поражения в Повстанческой войне (хотя граждане Колоний никогда бы не признали, что это поражение), Колонии все больше и больше беднели — не окончательно, конечно, не до разорения, но никогда больше там не было того благосостояния, которое царило когда-то, и уж конечно, ничего близко похожего на те богатства, которые накопили Свободные Штаты за сто с лишним лет со дня своего основания. Но его сестра с женой принимали не таких беженцев, а других — бунтарей, тех, кто подавался на Север потому, что им было опасно находиться там, где они родились и выросли, тех, кто хотел свободы. Война закончилась, но борьба продолжалась, для многих Колонии оставались

полем боя, где постоянно происходили столкновения и ночные рейды.

Так что да, он был знаком с хаосом Колоний. Но здесь было совсем другое дело. Здесь был человек, которого он узнавал все ближе, с которым разговаривал и смеялся, в чьих объятиях лежал сейчас, и оба они были раздеты.

— Но ты говоришь не так, как говорят в Колониях, — сказал он наконец, и, к его облегчению, Эдвард рассмеялся.

— Это правда, но я прожил здесь много лет, — ответил он.

История Эдварда проступала сначала медленно, потом полилась сплошным потоком. Он прибыл в Свободные Штаты, в Филадельфию, еще ребенком. Четыре поколения его семьи жили в Джорджии, возле Саванны, и отец его работал учителем в школе для мальчиков. Когда Эдварду было почти семь, ему объявили, что семья отправляется в путешествие. Их было шестеро: он, мать, отец и три сестры — одна старше и две младше.

Дэвид произвел подсчеты:

— То есть все это происходило в семьдесят седьмом году?

— Да. Осенью.

Дальше следовал обычный рассказ беглеца: перед войной Южные Штаты не одобряли Свободные Штаты, но не препятствовали свободному перемещению граждан. Однако после войны и последующего отделения Юга от Союза жители Свободных Штатов больше не могли законно ездить на Юг, который теперь назывался Соединенные Колонии, а колонистам нельзя было ездить на Север. Однако многие колонисты все равно это делали. Путь на Север был трудным, долгим, преодолевать его приходилось по преимуществу пешком. Считалось, что безопаснее передвигаться группами, но группа не должна превышать десять человек и в ней не должно находиться более пяти детей, поскольку они быстро устают и с меньшей вероятностью смогут соблюдать тишину в случае появления патруля. Ходили страшные истории о неудавшихся попытках: как рыдающих детей отрывали от родителей и, по слухам, продавали в местные семьи, чтобы они работали на фермах; как жен разделяли с мужьями и силой отдавали замуж за других; как людей бросали в тюрьму, убивали. Худшие истории рассказывали про таких, как они, про тех, кто приехал в Свободные Штаты, надеясь легализоваться. Недавно в гостях у

Элизы были двое недавно прибывших мужчин, которые ехали с друзьями, еще одной парой, из Виргинии. Они были менее чем в полумиле от Мэриленда, откуда должны были добраться в Пенсильванию, и остановились отдохнуть под дубом. Они лежали на траве, каждый в объятиях партнера, и когда они задремали, послышался звук копыт, и они тут же вскочили на ноги и побежали. Но вторая пара оказалась не такой быстрой, и первая пара услышала их крики и как они упали, но не повернула назад — вместо этого они побежали еще быстрее, они и не знали, что способны так быстро бежать. За ними, ближе и ближе, раздавался стук копыт другой лошади, и они опередили всадника буквально на несколько метров, и успели перейти границу, и тогда, повернувшись, увидели патрульного — лицо его было скрыто капюшоном, он туго натянул поводья, остановил лошадь и целился в них из винтовки. Патруль не имел права переходить границу, чтобы поймать беглеца, и уж конечно, не должен был убивать его, но все знали, что пуля легко перечеркивает этот закон. Пара снова повернулась и побежала, казалось, еще несколько миль ржание лошади эхом раздавалось за их спинами, и только на следующий день, уже находясь далеко

от границы, они разрешили себе оплакать своих друзей: не только потому, что те мечтали начать новую жизнь вместе в Свободных Штатах, но и потому, что знали, что ждет таких людей, как они, если их поймают, — избиения, пытки, огонь, смерть. Рассказывая об этом в гостиной Элизы и Иден, мужчины снова рыдали, и Дэвид, как и все остальные присутствующие, слушал их, застыв от ужаса. В тот вечер, вернувшись на Вашингтонскую площадь, он думал, какое благословение родиться в Свободных Штатах; он, Дэвид, никогда не знал и не узнает такого варварства, какое пришлось пережить этим джентльменам.

Семья Эдварда предприняла свою поездку самостоятельно. Его отец не стал нанимать контрабандиста, хотя такие люди, если они были надежны (а некоторые были), существенно увеличивали шансы на удачный побег; они не поехали с другой семьей, что давало некоторые преимущества: пока одна пара спала, другая присматривала за детьми. Путь из Джорджии занимал около двух недель, но к концу первой недели похолодало, потом ударил мороз, а запасы провизии почти подошли к концу.

— Родители будили нас очень рано, на рассвете, и мы с сестрами шли искать желуди, — сказал

Эдвард. — Мы не рисковали разводить костер, но мама растирала их в пасту, и мы намазывали пасту на галеты.

— Какой ужас, — пробормотал Дэвид. Он чувствовал себя глупо — но что еще мог он сказать?

— Да. Особенно это было ужасно для моей младшей сестры, Бэлль. Ей было всего четыре года, и она не понимала, что надо вести себя тихо; она только знала, что голодна, но не знала почему. Она все плакала и плакала, и маме приходилось зажимать ей рот рукой, чтобы нас не услышали.

Его родители ничего не ели ни на завтрак, ни на обед. Они берегли еду на ужин, и ночью вся семья жалась друг к другу в поисках тепла. Эдвард с отцом искали какую-нибудь рощицу или хотя бы канаву, в которой можно было спрятаться, укрывшись ветками и листьями — от ветра и чтобы хоть немного сбить с толку патрульных собак. Что хуже, думал тогда Эдвард, страх или голод? И то и другое преследовало их целый день.

Добравшись наконец до Мэриленда, они прямиком направились в один центр, о котором друг рассказал отцу Эдварда, и оставались там несколько месяцев. Отец Эдварда учил чтению и математике детей других беженцев; мать Эдварда, искусная швея, чинила рваную одежду,

которую центр принимал в ремонт, чтобы заработать хоть какие-то деньги. К весне они уехали оттуда и снова пустились в путешествие: этот путь тоже был трудным, хотя и не таким опасным, поскольку сейчас они уже находились в Союзе — теперь они пробирались в Свободные Штаты и оттуда на Север, в Нью-Йорк. Здесь, в городе, мистер Бишоп нашел в конце концов работу в типографии (в Свободных Штатах и Союзе существовали некоторые предрассудки относительно образовательного уровня жителей Колоний, и потому многие ученые беженцы оказывались на более низкой ступени общественной лестницы), и все шестеро поселились в маленькой квартирке на Орчард-стрит.

И все же, сказал Эдвард (и Дэвид уловил в его голосе нотку искренности, даже гордости), большинство из нас неплохо устроились. Родители умерли, их унесла инфлюэнца девяностых, но две старших сестры работают учительницами в Вермонте, а Бэлль стала медсестрой и живет со своим мужем-врачом в Нью-Гемпшире, в Манчестере.

— Я — единственный неудачник, — сказал он с драматическим вздохом, хотя Дэвид чувствовал, что в какой-то мере он и в самом деле так считает и его это беспокоит.

— Ты не неудачник, — сказал Дэвид и притянул его к себе поближе.

Они некоторое время молчали, подбородок Дэвида покоился на темной макушке Эдварда, а рука выводила узоры на его спине.

— А твой отец, он был как мы? — спросил Дэвид.

— Нет, не как мы, не знаю, был ли он против этого, он не говорил. Думаю, что нет.

— Он верил в доктрину преподобного Фоксли?

Многие беглецы были тайными адептами учения знаменитого утопианца, защитника открытой любви и одного из основателей Свободных Штатов. В Колониях он считался еретиком, и держать дома его тексты было противозаконно.

— Нет, нет. Он не был особенно религиозен.

— Но почему — прости, что я спрашиваю, — почему он захотел податься на Север?

Тут Дэвид почувствовал вздох — теплое дыхание Эдварда на своей груди.

— Знаешь, честно говоря, даже через столько лет я этого не знаю. Мы ведь хорошо жили в Джорджии. Нас все знали, у нас были друзья. Когда я подрос и набрался дерзости, я спросил его, почему мы уехали. И он сказал только, что хотел для нас лучшей жизни. Лучшей жизни!

Из всеми уважаемого учителя он превратился в типографского рабочего — конечно, это вполне достойное занятие, но человек, привыкший работать головой, обычно не называет лучшей жизнью необходимость работать руками. Я так и не понял, почему мы уехали, во всяком случае, не совсем — и никогда уже, видимо, не пойму.

— Но может быть, — сказал Дэвид тихо, — он сделал это для тебя.

Эдвард тоже притих. Потом ответил:

— Не думаю, что он знал это обо мне, когда мне было всего шесть лет.

— Может быть, знал. Мой отец знал; мне кажется, он знал это о нас всех. Ну, кроме Иден, наверное, — она была младенцем, когда они с мамой умерли. Но обо мне и Джоне, хотя мы были совсем маленькие… Да, мне кажется, знал.

— И его это не беспокоило?

— Нет, с какой стати? Его собственный отец был как мы. Мы не были ему чужды или неприятны.

На это Эдвард рассмеялся, словно резко выдохнул, и, откатившись от него, лег на спину. Уже настал вечер, и комната погрузилась в полумрак — Дэвиду скоро придется уйти, чтобы не пропустить еще один ужин. Но ему хотелось только лежать на жесткой, узкой кровати Эдварда Бишо-

па, чувствуя, как нестерпимо колется накинутое на него грубое шерстяное одеяло, ощущая тепло огня, тлеющего в камине, и тепло кожи Эдварда.

— Ты знаешь, как в Колониях называют Свободные Штаты? — Дэвид, хотя и не придавал значения тому, что о них думают в Колониях, конечно же, знал жестокие и вульгарные клички, которыми там называли жителей его страны, но, вместо того чтобы ответить на вопрос, он закрыл рот Эдварда ладонью:

— Да, поцелуй меня.

И Эдвард поцеловал.

После этого он неохотно оделся, вышел на холод и вернулся на Вашингтонскую площадь, но позже, уже в своем кабинете, осознал, что этот разговор, то, что он узнал, изменило его. У него теперь был секрет — не просто гладкая белая кожа Эдварда, его мягкие темные волосы, но и его опыт, то, что он видел и пережил. Эдвард был из других мест, из другого мира, и, разделяя свою жизнь с Дэвидом, он внезапно сделал жизнь Дэвида богаче, глубже — восхитительной, таинственной.

Теперь, в кабинете, он снова перечитывал свой дневник, впитывая знакомые подробности, словно знакомился с ними впервые. Среднее имя Эдварда (Мартинс — девичья фамилия его ма-

тери); его любимое музыкальное произведение (Бах, сюита для виолончели № 1 в соль мажор), его любимое блюдо (не смейся — мамалыга с беконом. Нет, не смей смеяться! Я ведь из Джорджии как-никак!). Он читал исписанные страницы с жадностью, какой не испытывал много лет, и когда в конце концов лег, не в силах бороться с зевотой, то с удовольствием думал, что завтра будет новый день, а значит, он опять увидит Эдварда. Влечение, которое он чувствовал к Эдварду, было волнующим, волнующей была сама интенсивность этого влечения, скорость, с какой развивались отношения. Может быть, впервые за всю свою жизнь он ощущал в себе безрассудство, лихость, словно сидел верхом на понесшей лошади, едва удерживаясь на ней в бешеной скачке по равнине, задыхаясь от смеха и страха.

Много лет — так много лет — он задавался вопросом: может быть, в нем чего-то не хватает, может, у него какой-то дефект? Дело было не в том, что его не приглашали куда-то, куда звали Иден и Джона, дело было в том, что происходило там. Когда они были моложе, их все называли просто “молодые Бингемы”, и он был известен как старший, “холостяк”, “неженатый”, тот, кто “все еще живет на Вашингтонской площади”.

Они приходили на праздник, поднимались по низким широким ступеням недавно выстроенного особняка на Парк-авеню, Иден и Джон впереди, под руку, он в хвосте, и, войдя в сверкающий праздничный зал, он слышал приветствия, и лица Иден и Джона целовали какие-то приятели, радующиеся их приходу.

А он? Его, конечно, тоже приветствовали; все они были прекрасно воспитаны, их ровесники и знакомые, а он все-таки был Бингем, так что никто не осмелился бы вести себя с ним недостаточно сердечно, во всяком случае в открытую. Но казалось, для всех собравшихся он будто находился немного не здесь, будто плыл над залом, и за обедом его сажали не с золотой молодежью, а среди друзей и родственников их родителей — с сестрой его отца, например, или престарелым дядюшкой матери, — и он в полной мере ощущал и свою чуждость, и как то, что он старался скрыть, очевидно и ясно всем в его кругу. С другой стороны стола то и дело доносились взрывы смеха, и его сосед или соседка снисходительно качали головами, прежде чем повернуться к нему и сказать, что молодежь, конечно, легкомысленна, но что поделать, приходится все им прощать. Иногда они тотчас же понимали свою ошибку и

торопливо добавляли, что он, должно быть, тоже любит повеселиться, но иногда этого не происходило; он как будто преждевременно постарел, изгнанный с острова юности не годами своими, а темпераментом.

А может, дело было не в темпераменте, а в чем-то еще. Он никогда не был человеком общительным и непринужденным, даже в детстве. Однажды он слышал, как дедушка говорит с Фрэнсис о его характере, объясняя, что, поскольку Дэвид старший, его скорбь была самой сильной, когда они потеряли родителей. Но качества, которые часто сопровождают такого рода замкнутость — прилежание, целеустремленность, склонность к наукам, — в нем отсутствовали. Он был чувствителен к опасностям жизни, но не к ее радостям и удовольствиям; даже любовь была для него не состоянием блаженства, а источником тревоги и страха: любит ли его возлюбленный? Могут ли его бросить? Он наблюдал, как сначала Иден, а потом Джон встречались со своими нареченными, как они возвращались домой поздним вечером, щеки их горели от вина и танцев, он видел, как они быстро выхватывают свои письма с подноса, протянутого Адамсом, разрывают конверты, выбегая из комнаты, и губы их уже

складываются в улыбку. То, что ему недоступен был этот вид счастья, вызывало печаль и беспокойство; в последнее время он стал страшиться, что не только никто не сможет полюбить его, но он и сам не способен принять такую любовь, а это намного хуже. Его влюбленность в Эдварда, то пробуждение, которое он с ним испытал, не только давало ему в полной мере ощутить само чувство, но и усиливалось чувством облегчения: оказывается, с ним все в порядке. У него нет никакого дефекта, он просто не находил человека, который мог бы дать ему полную силу наслаждения. Но теперь, когда он нашел такого человека, он переживал перерождение, которое не раз наблюдал у других влюбленных, но которое так долго было недоступно ему самому.

В ту ночь ему приснился сон: дело происходило в далеком будущем. Они с Эдвардом жили вместе на Вашингтонской площади. Они сидели в креслах, бок о бок, в гостиной, под окном, выходящим на северную границу парка, там, где сейчас стояло пианино. У их ног расположились темноволосые дети, девочка и два мальчика, они листали книжки с картинками; блестящие волосы девочки украшал бархатный алый бант. В камине горел огонь, на каминной полке стоял

букет сосновых веток. Он знал, что на улице идет снег, из столовой доносился аромат жареных куропаток, бульканье вина, наливаемого в декантер, звон фарфора — там накрывали на стол.

В этом видении он не страшился Вашингтонской площади, это была не тюрьма — это был дом, их дом, их семья. Дом все-таки стал принадлежать ему — он стал принадлежать ему, потому что принадлежал и Эдварду.

Глава 7

В следующую среду он уходил на свой урок, когда Адамс поймал его у самой двери:

— Мистер Дэвид, мистер Бингем утром прислал записку из банка — он просит, чтобы вы вернулись сегодня ровно в пять. — Спасибо, Мэтью, я сам, — сказал он камердинеру, забирая у него коробку с фруктами, которые должны были сегодня рисовать его ученики, и повернулся к дворецкому: — Он объяснил зачем, Адамс?

— Нет, сэр. Только распорядился о времени.

— Хорошо, передай ему, что я буду.

— Превосходно, сэр.

Распоряжение было сформулировано вежливо, но Дэвид знал, что это не просьба, а приказ. Всего несколько недель назад — несколько недель! Неужели прошел какой-то несчастный месяц с того дня, как он встретил Эдварда, с тех пор как преобразился весь его мир? — он бы испугался, стал бы в тревоге спрашивать себя, что хочет сказать ему дедушка (совершенно необоснованно, поскольку дедушка всегда был к нему добр, редко его упрекал, даже в детстве), но теперь он ощутил одно лишь раздражение, ведь это означало, что

у него будет меньше времени с Эдвардом. После урока он отправился прямиком к Эдварду, и казалось, что ему прямо сразу же пришлось одеваться и уходить, с обещанием вскоре прийти снова.

У двери комнаты оба помедлили, Дэвид стоял уже в пальто и шляпе, Эдвард завернулся в ужасное колючее одеяло.

— Тогда завтра? — спросил Эдвард с такой откровенной страстью, что Дэвид — не привыкший к тому, что счастье другого человека зависит от его утвердительного ответа, — улыбнулся и кивнул.

— Завтра! — сказал он, Эдвард наконец отпустил его, и Дэвид спустился по лестнице.

Взбираясь по ступенькам собственного дома, он обнаружил, что нервничает перед встречей с дедушкой, как никогда раньше, ведь это будет их первая беседа после нескольких месяцев отдаления, а не просто после однодневной разлуки. Но дедушка, уже сидевший в гостиной, принял его поцелуй благосклонно, как всегда, и они вдвоем сидели за хересом и обсуждали отвлеченные темы, пока Адамс не пришел, чтобы объявить, что готов ужин. Только по пути в столовую он зашептал что-то дедушке, но дедушка ответил: “После ужина”.

Ужин прошел обыкновенно, и ближе к его завершению Дэвид испытал редкое для него чувство раздражения по отношению к дедушке. Значит, нет никаких новостей, которые надо было поскорее ему сообщить? Это был просто способ напомнить ему о его зависимости, о том — и он сам это прекрасно знал, — что он не хозяин в доме, что он даже не считается взрослым и на самом деле не может даже уходить и приходить когда ему вздумается? Он слышал, что его ответы на вопросы дедушки становятся все суше, и ему пришлось приложить усилие, чтобы немногословие не перешло в грубость. Ведь что мог он сделать, что возразить? Это не его дом. Он сам себе не хозяин. Он мало чем отличается от слуг, от служащих банка, от воспитанников приюта — он зависит от Натаниэля Бингема и всегда будет зависеть.

К тому времени, как он уселся в свое обычное кресло наверху, в дедушкиной гостиной, в нем кипели чувства — раздражение, жалость к себе, гнев, — и тут дедушка подал ему толстый конверт, порядком потрепанный, с краями, покореженными высохшей водой.

— Это пришло сегодня в контору, — сказал он без всякого выражения, и Дэвид с удивлением

повертел письмо в руках и увидел свое имя, адрес фирмы “Братья Бингемы” и массачусетскую марку.

— Срочная доставка, — сказал дедушка. — Возьми, прочитай и верни.

Дэвид молча встал, пошел в свой кабинет и на минуту застыл с конвертом в руках, прежде чем разрезать его.

Мой дорогой Дэвид,
20 января 1894 г.

Мне ничего не остается, как начать это письмо с глубочайших и искренних извинений за то, что я не написал раньше. Сама мысль о том, что я мог причинить тебе боль или страдания, приводит меня в совершенное отчаяние, но как знать, быть может, я просто льщу себе, быть может, в эти полтора месяца ты вовсе не думал обо мне так часто, как я думал о тебе.

Я не желаю искать оправданий моему дурному поведению, но лишь хочу объяснить, отчего я не давал о себе знать, потому что не желаю, чтобы мое молчание приняли за недостаток чувства.

В первых числах декабря, вскоре после нашей с тобой последней встречи, я был вынужден уехать на Север, чтобы проведать наших трапперов. Я говорил, по-моему, что наша семья связана

долголетними обязательствами с семейством трапперов в Северном Мэне и с годами это стало важной частью нашего предприятия. С собой в поездку я взял своего старшего племянника, Джеймса, который прошлой весной оставил учебу в колледже ради работы у нас.

Моя сестра — вполне предсказуемо — отнеслась к этой затее неблагосклонно, да и я тоже, ведь он мог бы первым в нашей семье окончить колледж, однако он уже взрослый, и нам ничего не оставалось, кроме как уступить его желанию. Он замечательный юноша, бойкий и энергичный, но совсем не выносит качки и, более того, подвержен морской болезни, поэтому на семейном совете было решено готовить его к тому, чтобы впоследствии к нему перешло управление нашей пушной торговлей.

В этот год на Севере стояли небывалые морозы, а наши трапперы, как я уже говорил, живут почти у самой канадской границы. Визит наш был по преимуществу формальный: я думал, что представлю им Джеймса, они возьмут его с собой на промысел, покажут, как ловят животных, как их свежуют и как завяливают мясо, и к Рождеству мы вернемся на Кейп-Код. Но все получилось совсем иначе.

Поначалу все шло так, как и было задумано. Джеймс сразу же сдружился с одним из членов трапперского семейства, весьма смышленым и милым юношей по имени Персиваль, и именно Персиваль несколько дней обучал Джеймса основам их промысла, пока все мы, кто оставался дома, обсуждали, как бы нам увеличить добычу пушнины. Ты, наверное, спросишь, с чего бы нам сейчас заниматься торговлей мехом, когда эта отрасль вот уже шестьдесят лет как в упадке, — и действительно, партнеры наши не преминули об этом спросить. Но именно потому, что британцы нынче практически оставили эту область, мне кажется, у нас появилась возможность оживить наше предприятие, торгуя не только бобровыми шкурами, но, что весьма важно, норкой и горностаем, чей мех мягче, изысканнее и, я полагаю, будет представлять немалую ценность для небольшого, но влиятельного класса заинтересованных покупателей. Помимо прочего, это семейство, Делакруа, одни из тех немногих европейцев, которые по-прежнему занимаются пушным промыслом, а это значит, что на них можно положиться и что они гораздо лучше разбираются во всех тонкостях и хитросплетениях этого дела.

Вечер пятого дня нашего у них пребывания был отведен для досуга, и завершиться он должен был ужином в честь нашего товарищества. Чуть раньше, обходя владения Делакруа, мы приметили прелестный замерзший пруд, и Джеймс загорелся желанием покататься на коньках. День выдался хоть и морозный, но ясный и безветренный, сам пруд находился в какой-нибудь сотне метров от хозяйского дома, да и Джеймс зарекомендовал себя с лучшей стороны, поэтому я позволил ему пойти.

И часа не прошло с его ухода, как погода внезапно переменилась. За считаные минуты небо побелело, затем стало свинцовым, а затем и вовсе почти черным. В мгновение начался снегопад, снег повалил огромными хлопьями.

Я сразу подумал о Джеймсе, как и глава семейства, Оливье, который выбежал мне навстречу, когда я бросился искать его. “Нужно послать Персиваля с собаками, — сказал он. — Он сумеет отыскать дорогу в темноте, он хорошо ее знает”. Заботясь о его безопасности, Оливье привязал один конец длинной веревки к балясине перил, другой — к ремню племянника и велел мальчику, который на всякий случай вооружился ножом и топором, возвращаться как можно скорее.

И мальчик — спокойно, бесстрашно — отправился в путь, а мы с Оливье стояли на ступенях, глядя на веревку: сначала она разматывалась, потом натянулась. Валил уже такой густой снег, что, стоя у двери, я видел одну лишь белую пелену. Поднявшийся ветер, поначалу тихий, вдруг сделался таким свирепым, стал так завывать, что мне пришлось уйти в дом.

Веревка по-прежнему была туго натянута. Оливье дернул за нее два раза, и через несколько мгновений она два раза дернулась в ответ. Отец мальчика, Марсель, младший брат Оливье, тоже подошел к нам, встревоженный, молчаливый, а за ним и третий брат, Жюльен, и все их жены, и пожилые родители. Дом был выстроен на совесть, но за дверью неистовствовал такой ветер, что тряслись стены.

И вдруг, внезапно, веревка обмякла. Персиваля не было уже минут двадцать, и когда Оливье вновь дернул за веревку, на его сигнал никто не отозвался. Они, конечно, люди стоические, эти Делакруа: никак невозможно жить в этой части света, в таких погодных условиях (не говоря уже о прочих опасностях — волках, медведях, пумах и, разумеется, индейцах) и не уметь сохранять спокойствие даже в самые трудные минуты. Но

Персиваль был им всем очень дорог, и воздух в коридоре дрожал от нервного напряжения.

Все торопливо, вполголоса обсуждали, что теперь делать. Персиваль взял с собой двух лучших охотничьих собак, и это отчасти должно было его защитить — собаки были приучены к слаженной работе, одна обязательно осталась бы подле Персиваля, пока вторая побежала бы домой за помощью. Но это в том случае, если Персиваль не велел собакам искать и затем караулить Джеймса. Ветер и снегопад достигли такой силы, что казалось, весь дом ходил ходуном, оконные створы колотились о ставни, будто стучащие зубы.

Мы то и дело проверяли, сколько его уже нет: десять минут, двадцать минут. Полчаса. У наших ног мертвой змеей лежала веревка.

И тут, спустя почти сорок минут после того, как ушел Персиваль, дверь затряслась от ударов, которые мы поначалу приняли за порывы ветра и только потом поняли, что кто-то бьется в дверь. Вскрикнув, Марсель проворно отодвинул тяжелый деревянный засов, и когда они с Жюльеном открыли дверь, за ней оказалась собака, облепленная таким толстым слоем снега, что казалось, будто ее запекли в соли, а в ее шею крепко-накрепко вцепился Джеймс. Мы втащили его в дом

— на ногах у него по-прежнему были коньки, благодаря которым, как мы потом поняли, он, скорее всего, и спасся, они помогли ему карабкаться в гору, — и жены Жюльена и Оливье кинулись к нему с одеялами и быстро увели в спальню; они грели воду к возвращению мальчиков, было слышно, как они бегают туда-сюда с ведрами, как звонко льется вода в корыто. Мы с Оливье принялись было его расспрашивать, но бедный мальчик продрог, устал и заходился в рыданиях, поэтому понять его было решительно невозможно. “Персиваль, — повторял он. — Персиваль!” Он бешено вращал глазами, будто лишившись рассудка, — и я, признаюсь, был напуган. Что-то случилось, что-то очень напугало моего племянника.

— Джеймс, где он? — спрашивал Оливье.

— Пруд, — лепетал Джеймс. — Пруд.

Кроме этого, мы ничего не могли от него добиться.

Жюльен потом сказал, что вернувшийся пес скребся у дверей и, скуля, просился обратно. Марсель схватил его за шкирку и оттащил назад, но пес отчаянно выл и рвался из рук, поэтому отец велел им снова отпереть дверь, и собака умчалась в белую тьму.

Снова потянулось ожидание, я переодел

Джеймса в теплую пижаму, помог жене Жюльена напоить его горячим тодди и уложить в постель, а затем спустился к остальным — как раз тогда что-то снова принялось страшно толкаться в дверь, и на этот раз Марсель сразу кинулся отпирать, но его возгласы облегчения тотчас же сменились рыданиями. За дверями стояли обе собаки, замерзшие, усталые, с вываленными языками, а между ними, с волосами, превратившимися в сосульки, лежал Персиваль, и его юное прекрасное лицо было того особого голубоватого, неестественного оттенка, какой мог означать лишь одно. Собаки дотащили его домой от самого пруда.

Последующий час был ужасен. Все остальные дети, братья и сестры Персиваля, его кузены и кузины, которым родители велели сидеть наверху, кубарем скатились вниз, увидели, что их любимый брат замерз насмерть и отец с матерью плачут над ним, и тоже принялись плакать. Уж и не помню, как мы сумели их успокоить, как уговорили всех отправиться спать, помню только, что ночь тянулась бесконечно, за окнами — злорадно, как мне теперь казалось, — надсаживался ветер, и снег все шел и шел. И только на следующий день, уже ближе к вечеру, когда Джеймс

проснулся и окончательно пришел в чувство, он дрожащим голосом поведал нам, что произошло: когда разыгралась буря, он запаниковал и попытался самостоятельно отыскать обратный путь. Но снег слепил ему глаза, а ветер валил с ног, поэтому его снова и снова сносило обратно к пруду. Он уже было уверился, что здесь и погибнет, как вдруг уловил вдали еле слышный собачий лай и, заметив ярко-алую шапку Персиваля, понял, что спасен.

Персиваль протянул ему руку, и Джеймс ухватился за нее, но в этот миг на них налетел особенно сильный порыв ветра, Персиваля утянуло на лед вслед за ним, и оба они свалились, не удержавшись на ногах. Вновь они встали, попытались подобраться к берегу пруда и вновь упали, не выдержав натиска ветра. Но на этот раз Персиваль упал не совсем ловко. Он вытащил топор — Джеймс сказал, что он хотел воткнуть его в берег, чтобы ухватиться за него как за рычаг и выбраться, — но вместо этого топор пробил лед, который пошел трещинами. “Господи! Джеймс, уходи со льда!” — вот что, по словам Джеймса, прокричал Персиваль.

Джеймс послушался — собаки подползли ближе, он сумел ухватиться за них и встать на но-

ги, — а затем повернулся к Персивалю, который, скользя ботинками по льду, пытался добраться до берега, но очередной порыв ветра снова сбил его с ног, и в этот раз он опрокинулся на спину, прямо туда, где разбегалась паутина трещин. И тогда, говорил Джеймс, лед со страшным скрипучим стоном раскололся, и Персиваля поглотила вода.

Джеймс закричал от ужаса и отчаяния, но тут из воды высунулась голова Персиваля. Мой племянник схватил конец веревки, которая отцепилась от ремня Персиваля, и бросил ее ему. Но когда Персиваль попытался вылезти, лед опять стал трескаться, и его голова вновь исчезла под водой. Джеймс, конечно, уже метался в панике, но Персиваль, говорил он, был очень спокоен. “Джеймс, — сказал он, — иди домой, зови на помощь. Рози — (так звали одну собаку) — останется со мной. Бери Руфуса, скажешь им, что случилось”. Джеймс колебался, но тот прикрикнул: “Иди! Живо!”

И Джеймс, напоследок оглянувшись на Рози, которая осторожно ползла по льду к тянувшемуся к ней Персивалю, ушел.

Они отошли от пруда на каких-нибудь несколько метров, когда позади раздался какой-то глухой звук; завывания ветра заглушали всякий шум,

но Джеймс все же обернулся, и они с Руфусом вернулись к пруду, не различая почти ничего за идущим снегом. Рози кругами носилась по льду, заходясь лаем, Руфус подбежал к ней, и обе собаки, поскуливая, замерли на месте. Сквозь снег Джеймс смутно видел только красную рукавицу Персиваля, цеплявшуюся за лед, но головы его видно не было. Но он различил какое-то бурление под водой, какое-то буйство. Вдруг красная рукавица соскользнула в прорубь, и Персиваль исчез. Джеймс кинулся к пруду, но едва он ступил на лед, как тот проломился под ним, и Джеймс, с мокрыми ногами, еле-еле успел выбраться на сушу. Он принялся звать собак, но, сколько бы он ни кричал, Рози не двигалась со своей льдины. Руфус вывел его обратно к дому, но ветер еще долго доносил до него поскуливания Рози.

Рассказывая эту историю, Джеймс плакал, но теперь и вовсе захлебывался в рыданиях.

— Простите, дядя Чарльз! — говорил он. — Простите меня, пожалуйста, мистер Делакруа!

— Он бы не успел утонуть, — непривычным, слабым и сдавленным голосом сказал Марсель. — Если бы собаки сумели его спасти.

— Он не умел плавать, — тихим голосом прибавил Оливье. — Мы его учили, но он так и не

научился.

Можешь себе вообразить, какой ужасной выдалась и следующая ночь, которую я провел с Джеймсом, обнимая и утешая его до тех пор, пока он не забылся сном. На следующий день ветер и снегопад прекратились, небо стало голубым и чистым, а воздух сделался еще холоднее. Вместе с несколькими кузенами Персиваля я расчистил дорожку к леднику, куда Марсель с Жюльеном отнесут тело — похоронят его, только когда оттает земля. На следующий день мы с Джеймсом уехали, сделав остановку в Бангоре, чтобы письмом известить мою сестру о случившемся.

Ты, верно, понимаешь, что с тех пор многое переменилось. И речь сейчас идет не о наших деловых перспективах, об этом я и заговаривать не смею — я выразил семейству Делакруа наши глубочайшие соболезнования, а отец распорядился выслать им денег на постройку коптильни. Но от них пока не было никакого ответа.

Джеймс стал совсем другим. Все каникулы он просидел у себя в комнате, почти ничего не ел, почти ни с кем не разговаривал. Он все сидит и смотрит в одну точку, иногда плачет, но чаще всего просто молчит, и как бы мы с его матерью и братьями ни старались вернуть его к жизни, у нас

ничего не получается. Разумеется, он винит себя в трагической гибели Персиваля, хоть я беспрестанно твержу ему, что его вины в этом нет. Мой брат временно взял на себя управление всеми делами, а мы с сестрой проводим подле Джеймса каждую свободную минуту, надеясь, что сможем прорваться к нему сквозь эту завесу горя, надеясь, что еще хотя бы раз услышим его родной смех. Я боюсь и за него, и за горячо любимую сестру.

Понимаю, что мои слова могут показаться ужасными и эгоистичными, но все те дни и недели, что я ухаживал за ним, в своих мыслях я то и дело возвращался к нашему с тобой разговору, после которого меня не оставляет чувство стыда — из-за того, сколько всего я наговорил, сколько взвалил на тебя, сколько эмоций себе позволил, — и поэтому все гадал, что же ты теперь обо мне думаешь. Я говорю это не в упрек тебе, но хочу лишь спросить, не потому ли ты мне больше не пишешь, хотя ты, конечно, мог принять мое молчание за отсутствие интереса и обидеться, и это я тоже пойму.

Из-за смерти Персиваля я все чаще думаю об Уильяме, и о том, какое неизбывное горе охватило меня, когда он умер, и о том, что недолгое время, проведенное вместе с тобой, дало мне на-

дежду снова обрести единомышленника, снова разделить с кем-то не только радости жизни, но и ее печали.

Надеюсь, ты сумеешь простить меня за то, что я так долго не давал о себе знать, и это длинное письмо несколько уверит тебя в моем неизменном интересе и расположении. Через две недели я буду в вашем городе и надеюсь, что мне будет дозволено снова нанести тебе визит, хотя бы ради того, чтобы лично попросить твоего прощения.

Прими мои запоздалые праздничные поздравления и пожелания крепкого здоровья тебе и всей твоей семье. Я ожидаю ответного письма.

Искренне твой,

Чарльз Гриффит

Глава 8

Несколько мгновений Дэвид просто сидел, пораженный историей, которую поведал ему Чарльз, историей, которая внезапно выпустила воздух из его собственного головокружительного счастья и одновременно угасила всякое раздражение в адрес дедушки. Он с жалостью думал о бедном юном Джеймсе, чья жизнь теперь, как выразился Чарльз, стала совсем другой и которого вечно будет преследовать эта трагедия — он не виноват, но сам он никогда не поверит в это вполне. Он проведет всю свою взрослую жизнь в попытках искупить свою воображаемую вину или отрицать ее. Первый путь сделает его слабым, второй — озлобленным. А бедный Чарльз снова так близко столкнулся со смертью, и снова это смерть совсем молодого человека.

И еще его мучила совесть, потому что до момента, когда дедушка вручил ему письмо, он и не вспоминал о Чарльзе Гриффите.

Не то чтобы он его забыл, но перестал о нем думать. Сама идея женитьбы потеряла в его глазах всякий интерес, пусть раньше этот интерес и сопровождался опасениями. Внезапно

ему показалась трусостью готовность дать себя женить, готовность отказаться от идеи любви ради степенности, респектабельности, надежности. Зачем загонять себя в эту тусклую жизнь, если ему доступна другая? Он представил себе — несправедливо, он знал это, ведь он никогда не был в доме Чарльза — белое деревянное строение, просторное, но совсем простое, красиво обсаженное по периметру кустами гортензии, и он сидит там в кресле-качалке с книгой на коленях и смотрит на море, словно старая дама, ожидая, когда на парадном крыльце зазвучат тяжелые шаги мужа. В эту минуту в нем снова поднимался гнев на дедушку, на дедушкино желание приговорить его к столь бесцветному существованию. Неужели дедушка думает, что это наилучшая жизнь, доступная Дэвиду? Может быть, несмотря на все его возражения, он считает, что место Дэвида — в заточении, если не больничном, то домашнем?

В таких смятенных чувствах вернулся он в дедушкину гостиную и захлопнул дверь громче, чем нужно, так что дедушка взглянул на него в изумлении.

— Прошу прощения, — пробормотал Дэвид, на что дедушка спросил его:

— И что же он пишет?

Он молча протянул дедушке исписанные страницы, и дедушка взял их, достал очки и начал читать. Дэвид наблюдал за ним, смотрел, как дедушка все больше хмурится по мере того, как развивается повествование Чарльза.

— О господи, — сказал дедушка наконец, снимая и складывая очки. — Бедные мальчики. Бедная семья. Бедный мистер Гриффит — кажется, он в полном отчаянии.

— Да, ужасно.

— Что он имеет в виду, когда пишет, что его не оставляло чувство стыда после вашего последнего разговора?

Он коротко рассказал дедушке об одиночестве Чарльза и о том, с какой прямотой тот говорил с ним, и дедушка покачал головой — без неодобрения, с сочувствием.

— Итак, — сказал он после паузы. — Когда ты собираешься снова с ним встретиться?

— Не знаю, — тоже сделав паузу и не поднимая глаз от собственных колен.

В третий раз воцарилось молчание.

— Дэвид, — сказал дедушка. — Что-нибудь случилось?

— Что ты имеешь в виду?

— Ты как-то… отдалился. Ты хорошо себя чув-

ствуешь?

Он вдруг понял: дедушка опасается, что у него начинается очередной приступ болезни, и хотя это задело его, ему хотелось рассмеяться от того, как ошибочно дедушка оценивает его жизнь, как мало на самом деле о нем знает, хотя эта мысль в то же время его и печалила.

— Я прекрасно себя чувствую.

— Мне казалось, тебе нравится беседовать с мистером Гриффитом.

— Да.

— Ему, несомненно, нравится беседовать с тобой, Дэвид. Не так ли?

Он встал, взял кочергу, поворошил ею в камине, наблюдая, как рассыпаются и трескаются ровно сложенные поленья.

— Вероятно.

И потом, когда дедушка ничего не ответил:

— Почему ты хочешь, чтобы я женился?

Он услышал удивление в дедушкином голосе:

— Что ты имеешь в виду?

— Ты говоришь, что это мое решение, но кажется, что решение это твое. Твое и мистера Гриффита. Почему ты хочешь, чтобы я женился? Потому что считаешь это для меня наилучшим выходом? Потому что я не могу сам о себе поза-

ботиться?

Он не мог повернуться и взглянуть в лицо дедушке, его собственное лицо горело, и от близости огня, и от собственной дерзкой вспышки.

— Я не знаю и не могу понять, что заставило тебя так думать, — начал дедушка медленно. — Как я говорил не только тебе, но вам всем, я много работал для того, чтобы мои внуки вступали в брак по одной-единственной причине: из-за желания соединить с кем-то свою жизнь. Ты, Дэвид, ты сам дал мне понять, что заинтересован в таком развитии событий, только поэтому Фрэнсис стала рассматривать предложения. Как ты помнишь, ты отверг несколько вариантов, даже не встретившись с джентльменами — прекрасными кандидатами, замечу, — и поэтому, когда поступило предложение от мистера Гриффита, Фрэнсис высказала мнение, которое я поддержал, что я должен настоять, чтобы ты по крайней мере попытался допустить мысль о встрече, прежде чем снова заставить всех впустую тратить время. Это делается ради твоего будущего счастья, Дэвид, — все для этого. Не ради меня, не ради Фрэнсис, уверяю тебя. Это делается для тебя и только для тебя, и если тебе кажется, что я испытываю недовольство, раздражение, — это не так, я всего

лишь недоумеваю. Ты один принимаешь решения, весь процесс начался по твоей инициативе.

— И если я отверг стольких кандидатов, то мне остался — кто? Люди, которых никто больше не возьмет? Вдовец? Старик без всякого образования?

При этих словах дедушка поднялся на ноги так стремительно, что Дэвид испугался, что он сейчас его ударит; он схватил Дэвида за плечо и развернул лицом к себе.

— Ты поражаешь меня, Дэвид. Я никогда не учил тебя и твоих брата с сестрой говорить о людях в подобном тоне. Ты молод, да, моложе, чем он. Но, как я думал, у тебя есть мудрость, а у него, очевидно, чувствительная душа, а многие браки построены на гораздо меньшем. Я не знаю, что вызвало эту… эту истерику, это твое подозрение. Он явно увлечен тобой. Возможно, даже любит тебя. Я думаю, ты сможешь обсудить с ним свои сомнения — например, где вы будете жить. У него есть дом в городе, он никогда не говорил Фрэнсис, что ты должен жить в Массачусетсе, если это тебя беспокоит. Но если ты вовсе в нем не заинтересован, ты обязан ему об этом сказать. Таков твой долг перед этим джентльменом. И ты должен сделать это лично, со всей возможной

добротой и благодарностью. Я не знаю, что с тобой происходит, Дэвид. В последний месяц ты изменился. Я собирался поговорить с тобой, но ты теперь так редко доступен.

Дедушка умолк, и Дэвид отвернулся и уставился на огонь, лицо его горело от стыда.

— Ох, Дэвид, — продолжал дедушка ласково, — ты так мне дорог. И ты прав — я хочу, чтобы ты был с кем-то, кто будет заботиться о тебе; не потому, что считаю, будто ты не можешь позаботиться о себе сам, но потому, что, по моему убеждению, ты будешь счастливее в брачном союзе. В последние годы, после того как ты вернулся из Европы, ты все больше и больше отдалялся от мира. Я знаю, твои недомогания истощили тебя — я знаю, как они тебя изматывали и как ты стыдился их. Но, дитя мое, этот человек пережил великое горе и болезнь в прошлом, и он не убежал прочь, и потому тебе стоит подумать о нем, он всегда будет заботиться о твоем счастье. Такого человека я хочу для тебя.

Они оба стояли в молчании. Дедушка смотрел на Дэвида, Дэвид смотрел в пол.

— Скажи мне, Дэвид, — медленно проговорил дедушка. — В твоей жизни есть кто-то другой? Ты можешь сказать мне, мой мальчик.

— Нет, дедушка, — сказал он, глядя себе под ноги.

— Тогда ты должен написать мистеру Гриффиту сейчас же и сказать, что ты принимаешь его предложение о новой встрече. На этой встрече ты либо полностью разорвешь отношения с ним, либо скажешь о своем намерении продолжить общение. И если ты решишь встречаться с ним дальше, Дэвид, — и хотя ты не спрашиваешь моего мнения, но я думаю, именно так тебе следует поступить, — ты должен это сделать с искренностью и душевной щедростью, на которые, я знаю, ты способен. Это твой долг перед ним. Ты можешь мне это обещать?

И Дэвид обещал.

Глава 9

Следующие несколько дней были необыкновенно насыщенными: в один вечер семья собралась на день рождения Вульфа, в другой — на день рождения Элизы, и поэтому только в четверг он смог встретить Эдварда у школы после его урока и пойти с ним в пансион. По дороге Эдвард продел левую руку под правую руку Дэвида, и Дэвид, который никогда прежде не ходил ни с кем под руку, прижал руку Эдварда поближе, хотя и оглянулся сначала, не видит ли кучер, потому что не хотел, чтобы кучер доложил об этом Адамсу, а тот дедушке.

В тот вечер, когда они лежали вдвоем — Дэвид принес с собой одеяло из тонкой шерсти, мягкого сизого оттенка, Эдвард даже вскрикнул от восторга, и теперь они завернулись в него, — Эдвард говорил о своих друзьях. “Компания отщепенцев”, — смеялся он, почти хвастливо, и, кажется, был прав: Теодора, блудная дочь богатой семьи из Коннектикута, решившая стать певицей “в одном из ночных клубов, которые приводят тебя в такой ужас”; Гарри, совершенно нищий и невероятно красивый молодой человек, ставший

компаньоном “очень состоятельного банкира — твой дедушка наверняка его знает”; Фриц, художник, судя по описанию, совершенно никчемный (хотя Дэвид, конечно, не сказал этого вслух); и Марианна, которая училась в художественном училище и давала уроки рисования для заработка. Все они были одного поля ягоды: молодые, безденежные (хотя только некоторые — в силу обстоятельств рождения), беспечные. Дэвид представлял их в своем воображении: Теодора — хорошенькая, стройная, нервная, с копной блестящих темных волос; Гарри, светловолосый, черноглазый, пухлогубый; Фриц, с кожей землистого цвета, дерганый, с тонкогубой кривой усмешкой; Марианна, кудрявая блондинка с открытой улыбкой. “Мне бы очень хотелось как-нибудь с ними познакомиться”, — сказал он, хотя не был в этом уверен — ему бы хотелось сделать вид, что их не существует, что Эдвард принадлежит ему одному, — и Эдвард, как будто зная это, только улыбнулся и сказал, что, может быть, когда-нибудь это произойдет.

Слишком скоро настало время уходить, и, застегивая пальто, он сказал:

— Увидимся завтра.

— Ой, нет, я забыл сказать — я завтра уезжаю!

— Уезжаешь?

— Да, одна из моих сестер, одна из тех двух, что в Вермонте, ждет ребенка, и я собираюсь повидаться с ней и с остальными.

— О, — сказал Дэвид. (А если бы он не упомянул о завтрашней встрече, сказал бы ему Эдвард, что уезжает? Или Дэвид пришел бы в пансион, как всегда, и сидел бы в гостиной, ожидая, пока появится Эдвард? Сколько бы он прождал — несколько часов, вероятно, но сколько именно? — прежде чем признал бы поражение и вернулся на Вашингтонскую площадь?) — Когда ты вернешься?

— В конце февраля.

— Так долго!

— Не так уж и долго! Февраль короткий. Кроме того, не до самого конца — до двадцатого февраля. Совсем не долго! И я буду тебе писать. — На лице Эдварда медленно расплывалась вкрадчивая улыбка; он отбросил одеяло, встал и обнял Дэвида. — А что? Ты будешь скучать по мне?

Дэвид покраснел.

— Ты сам знаешь.

— Но это так мило! Я так польщен.

В течение последних недель речь Эдварда потеряла часть своей театральности, свою дра-

матическую аффектированность, но теперь эта интонация вновь вернулась, и Дэвид, услышав знакомые модуляции, внезапно ощутил неловкость — то, что раньше не беспокоило его, теперь казалось фальшивым, неискренним, странно тревожащим, и потому, когда он попрощался с Эдвардом, к искренней печали примешивалось какое-то еще безымянное, но тягостное чувство.

Но уже к следующей неделе это неприятное чувство растворилось, и осталась только беспримесная тоска. Как быстро Эдвард изменил его! Как невыносима без него жизнь! Его вечера снова были пусты, и он проводил их как прежде: за чтением, рисованием и вышиванием, хотя большую часть времени он просто грезил наяву и бесцельно бродил по парку Он даже зашел как-то в кафе, где они чуть было не выпили свой первый совместный кофе, и на этот раз он сел, заказал кофе и медленно выпил его, взглядывая на дверь каждый раз, как она открывалась, как будто вошедший мог оказаться Эдвардом.

Когда он вернулся домой из кафе, Адамс сказал ему, что пришло письмо, и оно оказалось от Чарльза Гриффита — Чарльз приглашал его на обед в свой дом на следующей неделе, когда он будет в городе. Дэвид вежливо принял приглаше-

ние, но без особых ожиданий, собираясь только выполнить просьбу дедушки и просьбу Чарльза позволить ему лично принести извинения, и в тот вечер он так поздно пришел домой из кафе, что успел лишь переодеться и поплескать воды в лицо, прежде чем забраться в уже ждущий его экипаж.

Дом Чарльза Гриффита находился возле того дома, где Дэвид провел детство, почти сразу за Пятой авеню. Их дом был большим, но дом Чарльза еще больше и заметно шикарнее, с широкой изогнутой мраморной лестницей, которая вела в верхние гостиные, где ожидал хозяин — при виде Дэвида он встал. Они обменялись церемонным рукопожатием.

— Дэвид, как я рад тебя видеть.

— И я тебя, — сказал он.

К его удивлению, это было правдой. Они сидели в великолепной гостиной — Дэвид представил, как стал бы фыркать Питер, который обращал внимание на такие вещи, если б увидел эту комнату с ее чрезмерно богатыми тканями и сочными цветами, чрезмерно мягкими диванами, множеством сияющих ламп, с парчовыми драпировками на стенах, почти лишенных картин, — и снова беседа их текла легко и естественно. Дэ-

вид спросил о Джеймсе, увидел, как горестная тень легла на лицо Чарльза (“Спасибо, что спрашиваешь, боюсь, ничего не изменилось”), о неизменном молчании со стороны семейства Делакруа и о том, как каждый из них провел праздники.

Когда они садились обедать, Чарльз сказал:

— Я помню, ты говорил, что устричный суп — одно из твоих любимых блюд.

— Да, — сказал он, и тут внесли супницу, из которой исходил пар с характерным ароматом, и в тарелку ему налили немного супа. Он попробовал — бульон был густым и пряным, устрицы жирными и маслянистыми. — Очень вкусно.

— Рад, что тебе нравится.

Он был растроган этим жестом, и все вместе — этот суп, скромное честное блюдо, казавшееся еще скромнее и честнее в чрезмерно роскошной столовой с длинным блестящим столом, за который можно было усадить двадцать человек, но сидели за ним только двое, и вазы со свежими цветами, стоящие везде, куда ни бросишь взгляд, и доброта, словно разлитая в воздухе, — вызвало теплое чувство к Чарльзу, так что Дэвиду захотелось доставить ему удовольствие в ответ.

— Ты знаешь, — начал он, принимая добавку

супа, — что я родился здесь неподалеку?

— Не знал, — сказал Чарльз. — Ты говорил, твои родители умерли, когда ты был маленьким.

— Да, в семьдесят первом. Мне было пять, Джону четыре, Иден два.

— Инфлюэнца?

— Да, они умерли очень быстро. Дедушка сразу же нас забрал. Представляешь, посадить себе на голову трех чертенят, и все меньше чем за месяц.

Чарльз рассмеялся:

— Я уверен, вы не были чертенятами.

— Еще как были. Но хотя со мной было нелегко, Джон был еще хуже.

Они оба рассмеялись, и он обнаружил, что делает то, чего давно не делал, — пересказывает те немногие эпизоды, которые помнит о своих родителях: они оба работали в фирме “Братья Бингемы”, отец был банкиром, а мать юристом. В его воспоминаниях они всегда уходили — утром на работу, вечером в гости, на званый ужин, в театр, в оперу. В его воображении жил туманный, призрачный образ матери, изящной стройной женщины с длинным прямым носом и копной темных волос, но он не знал, настоящее ли это воспоминание или же воспроизведение рисунка

— ее миниатюрного портрета, который ему дали, когда она умерла. Об отце Дэвид помнил и того меньше. Знал, что тот был светловолос и зеленоглаз: дедушка взял его младенцем из немецкой семьи, которая работала на фирму — у них было слишком много детей и слишком мало денег, — вырастил его один, именно от него Дэвид, его брат и сестра унаследовали свою раскраску. Он помнил, что отец был мягким человеком, но более игривым, чем мать, и по воскресеньям, когда они приходили из церкви, он ставил перед собой Джона и Дэвида и протягивал им руки, сжатые в кулаки. Они должны были угадать — в одну неделю Дэвид, в другую Джон, — в какой руке у него конфета, и если они угадывали неправильно, он всегда поворачивался, чтобы уйти, но они протестовали, и он возвращался с улыбкой и все равно отдавал им сладости. Дедушка всегда говорил, что Дэвид характером в отца, а Джон и Иден в мать.

Когда Дэвид упомянул брата и сестру, разговор перешел на них; он рассказал, что с тех пор как Джон и Питер поженились, их сходство во взглядах и привычках все усиливалось; что они оба работают в фирме — словно повторяя родителей, Джон банкир, Питер юрист. И еще он говорил

об Иден, о ее учебе в медицинском колледже и о благотворительной работе Элизы. Чарльз знал их по именам, их все знали, поскольку о них всегда писали в светских колонках газет, когда они появлялись на званом ужине или устраивали костюмированный бал; Иден превозносили за чувство стиля и остроумие, Джона за умение вести беседу — Чарльз спросил, привязан ли к ним Дэвид, и хотя Дэвид не боялся осуждения Чарльза, он соврал и ответил, что да.

— Значит, вы с Иден — бунтари, отказавшиеся продолжить семейный бизнес. Или наоборот, бунтарь Джон — в конце концов, он ведь остался в меньшинстве.

— Да, — сказал он, начиная нервничать, он уже видел, куда клонится беседа, и, прежде чем Чарльз спросил, продолжил: — Я хотел работать с дедушкой. Я хотел. Но я…

К своему смятению и ужасу, он не смог продолжить.

— Что ж, — сказал Чарльз негромко, нарушая молчание. — Мне говорили, ты прекрасный художник, а художники не должны гнуть спину в банке. Я уверен, твой дедушка тоже так думает. Если бы кто-то из членов моей семьи имел хоть какие-то художественные дарования, уверяю

тебя, мы бы ни в коем случае не ожидали, что он будет складывать цифры, или прочерчивать морские маршруты, или уламывать трейдеров и совершать сделки. Но к сожалению, на это у нас совсем мало надежды, потому что Гриффиты, увы, крайне приземленные люди.

Он засмеялся, неловкость рассеялась, и Дэвид, придя в себя, наконец рассмеялся вместе с ним, чувствуя, как в душе растет благодарность к Чарльзу.

— Практичность — это добродетель, — сказал он.

— Возможно. Но слишком много практичности, как и слишком много добродетели, — это очень скучно, по-моему.

После ужина они выпили по стаканчику, и Чарльз проводил его к выходу. По тому, как Чарльз замешкался, как взял обе его руки в свои, Дэвид видел, что он хочет его поцеловать, и хотя они провели приятный вечер и он мог признаться себе, что этот человек ему нравится, и даже очень, но, глядя на лицо Чарльза, покрасневшее от вина, на живот, который не мог скрыть даже хитроумно скроенный жилет, Дэвид невольно сравнивал его с Эдвардом — со стройной фигурой, гладкой бледной кожей Эдварда.

Он знал, что Чарльз не будет требовать от него ласки, и потому Дэвид просто положил свою руку на его, как он надеялся, прощальным жестом и поблагодарил за прекрасный вечер.

Если Чарльз и был разочарован, он ничем это не выказал.

— Это я должен говорить тебе спасибо, — сказал он. — Благодаря тебе я испытал немного счастья в этот страшно трудный год.

— Но год только начался.

— Это правда. И если мы снова встретимся, он станет еще лучше.

Он знал, что должен ответить согласием или же сказать Чарльзу, что отклоняет его предложение брака, хотя глубоко благодарен и польщен — ведь так оно и было, — и пожелать ему счастья и удачи.

Но уже во второй раз за вечер слова оставили его, и Чарльз принял молчание Дэвида как своего рода согласие, просто наклонился, поцеловал его руку и открыл дверь в прохладную ночь, где второй кучер Бингемов стоял на тротуаре и придерживал открытой дверь экипажа, а снег припорошивал его черный плащ.

Глава 10

Всю следующую неделю (как и предыдущую) он каждый день писал Эдварду. Эдвард обещал прислать адрес сестры в первом же письме, но прошло уже две недели, а от него так и не было вестей. Дэвид спрашивал в пансионе, не оставляли ли для него адрес, и даже выдержал встречу с устрашающей начальницей приюта, но ни там ни там не получил никаких сведений. И все же он продолжал писать по письму в день и посылал эти письма со слугой в пансион, на случай, если Эдвард сообщит им о своем местонахождении.

Он чувствовал, как бесцельность существования переходит в отчаяние, и каждый вечер составлял себе план на следующий день, который бы позволил ему находиться где-нибудь подальше от Вашингтонской площади до определенного часа после первой почты, к каковому времени он либо выйдет из экипажа, либо обогнет угол пешком, возвращаясь из музея, из клуба, после беседы с Элизой, которая нравилась ему больше всех и которую он иногда навещал, если знал, что Иден будет на своих занятиях. Дедушка подчеркнуто ничего не спрашивал после его ужина с Чарльзом

Гриффитом, и Дэвид сам ничего ему не говорил. Жизнь вошла в доэдвардовский ритм, но теперь дни стали еще более серыми, чем раньше. Теперь он заставлял себя ждать полчаса после обычного времени прибытия почты и наконец поднимался к себе, сдерживаясь, чтобы не спрашивать у Адамса или Мэтью, нет ли для него письма, как будто таким образом он мог заставить письмо материализоваться в награду за дисциплину и терпение. Но проходил день за днем, и почта принесла ему лишь два письма от Чарльза, в обоих тот спрашивал, не хочет ли Дэвид сходить с ним в театр: первое предложение он отклонил, вежливо и быстро, сославшись на семейные дела, второе просто проигнорировал — он боялся наговорить грубостей в сердцах, рассердившись, что письмо не от Эдварда, и лишь набросал короткую записку, извинившись и сообщив, что простужен и сидит дома.

В начале третьей недели после отъезда Эдварда он взял экипаж и отправился на запад, со своим ежедневным письмом в руках, решив самостоятельно выяснить, где все-таки находится Эдвард. Но в пансионе он нашел только бледную маленькую горничную, которая, кажется, проводила большую часть времени, таская ведро с грязной

водой с этажа на этаж. “Не знаю, сэр, — пробормотала она, с сомнением разглядывая ботинки Дэвида, и отшатнулась от письма, которое он пытался ей вручить, словно оно могло ее обжечь. — Он не сказал, когда вернется”. Дэвид вышел из здания, но остался стоять на тротуаре, вглядываясь в окна Эдварда с плотно задернутыми темными шторами — они выглядели точно так же, как все последние шестнадцать дней.

В тот вечер он, однако, вспомнил кое-что полезное, и когда они с дедушкой устроились в привычных креслах после ужина, он спросил:

— Дедушка, ты слышал о женщине по имени Флоренс Ларссон?

Дедушка внимательно оглядел его, прежде чем набить трубку табаком и затянуться.

— Флоренс Ларссон, — повторил он. — Давно я не слышал этого имени. Почему ты спрашиваешь?

— О, Чарльз говорил, что один из его клерков живет в пансионе, которым она владеет, — ответил он, испытывая неловкость не только от собственного двуличия, но и от того, что вмешивает в это Чарльза.

— Значит, это правда, — пробормотал дедушка, словно обращаясь сам к себе, и вздохнул. — За-

меть, я никогда не знал ее лично, она еще старше, чем я; честно говоря, я удивлен, что она до сих пор жива. Но когда она была примерно в твоем возрасте, она оказалась замешана в ужасный скандал.

— Что случилось?

— Гм. Она была единственной дочерью довольно состоятельного человека — врача, кажется, — и сама училась на врача. Потом она познакомилась с молодым человеком — не помню его имени — на каком-то вечере в доме своей кузины. Он был, говорят, необыкновенно хорош собой и чрезвычайно обаятелен, без гроша в кармане — один из тех молодцев, которые возникают из ниоткуда, ни с кем не знакомы и все же благодаря внешности и бойкому языку умудряются вращаться в хорошем обществе.

— И что произошло?

— То, что обычно происходит в подобных обстоятельствах, как ни жаль. Он стал ухаживать за ней, она влюбилась; отец грозил лишить ее наследства, если она выйдет замуж за этого человека, но она все равно вышла. У нее было состояние, доставшееся ей от покойной матери, и вскоре после свадьбы он скрылся со всеми ее деньгами, до последнего пенни. Она осталась

без средств к существованию, и хотя отец разрешил ей вернуться домой, он оказался настолько мстителен — по слухам, он был очень черствый человек, — что выполнил свою угрозу и лишил ее наследства. Если она еще жива, то живет в доме своей покойной тети с тех самых пор, как умер отец. Судя по всему, она так и не оправилась от случившегося. Бросила учебу. Никогда больше не вышла замуж — даже не рассматривала такую возможность, насколько я понимаю.

Он почувствовал, как его сковало холодом.

— А что случилось с тем человеком?

— Кто знает? Много лет о нем ходили разные слухи. Его видели здесь и там, он уехал не то в Англию, не то на Континент, женился не то на этой наследнице, не то на другой — но никто ничего не знал наверняка, и он никогда больше здесь не объявлялся. Но, Дэвид, что с тобой? Ты побледнел!

— Ничего, — с трудом выговорил он. — Кажется, сегодняшняя рыба не пошла мне на пользу.

— О боже, ты ведь любишь камбалу.

Наверху, в безопасности своего кабинета, он попытался успокоиться. Невольные сравнения, пришедшие ему на ум, просто смехотворны. Да, Эдвард знал о его деньгах, но никогда ничего

не просил и даже стеснялся принять одеяло, и они никогда не обсуждали женитьбу. И все-таки что-то в этой истории его расстроило, как будто это был отголосок другой истории, еще худшей, которую он где-то слышал, но не мог вспомнить, как ни старался.

В ту ночь он не мог уснуть и впервые за долгое время провел утро в постели, отмахнувшись от завтрака, предложенного горничной, рассматривая водяное пятно на потолочном плинтусе, там, где встречались две стены. Это желтое пятно было его секретом, и когда он был заточен в своей комнате, он глазел на него часами, в уверенности, что если отвернуться или моргнуть, то вся комната превратится в незнакомое место, ужасающе темное и тесное: келью монаха, трюм корабля, дно колодца. Одно пятно держало его в этом мире и требовало неусыпной сосредоточенности.

Во время своих недомоганий он иногда не мог даже стоять, но сейчас он не был болен, его просто мучил страх перед чем-то, что не имело названия, и в конце концов он заставил себя умыться и одеться, но когда он спустился вниз, был уже вечер.

— Вам письмо, мистер Дэвид.

Сердце забилось чаще.

— Спасибо, Мэтью.

Но, взяв письмо с серебряного подноса, он положил его на стол и сидел, руки на коленях, стараясь унять сердцебиение, дышать медленнее и глубже. Наконец Дэвид осторожно протянул руку и снова взял письмо. Это не от него, повторял он себе.

Так и оказалось. Это была еще одна записка от Чарльза — Чарльз спрашивал о его здоровье и приглашал на декламацию в пятницу вечером: будут читать сонеты Шекспира, я знаю, ты их любишь.

Он сидел, сжимая в руке письмо, разочарование смешивалось с другим чувством, которое он снова не мог определить. Потом, не давая себе передумать, он позвонил, велел Мэтью принести бумагу и чернила и быстро написал ответ Чарльзу, принимая его приглашение, отдал конверт Мэтью, попросил доставить незамедлительно.

Когда это было сделано, последние силы покинули его, он встал и медленно проделал путь наверх, обратно в свои комнаты; там он позвонил горничной и просил сказать Адамсу, чтобы тот сказал дедушке, что он все еще неважно себя чувствует и не будет сегодня ужинать. После этого Дэвид встал посреди кабинета и огляделся,

пытаясь найти что-нибудь — книгу, картину, папку с рисунками, — чтобы отвлечься, отогнать вновь овладевшее им тягостное чувство.

Глава 11

Сонеты декламировала группа, состоявшая из одних женщин, у которых энтузиазма было явно больше, чем таланта, однако они были достаточно молоды, чтобы можно было с удовольствием их разглядывать, легко прощать им неумелость и аплодировать в конце представления.

Он не был голоден, но Чарльз был и предложил — с надеждой, как показалось Дэвиду, — перекусить что-нибудь у него дома.

— Что-нибудь простое, — сказал он, и Дэвид от нечего делать согласился, ему хотелось отвлечься.

В доме Чарльз предложил устроиться в его верхней гостиной, которая хоть и оказалась так же вызывающе роскошна, как и нижняя, — ковры настолько толстые, как будто под ноги бросили шубы, занавеси из полушелковой зонтичной ткани потрескивали, словно горящая бумага, при каждом прикосновении, — но была хотя бы поменьше, более уютной.

— Мы можем поесть прямо здесь? — спросил Дэвид.

— Здесь? — переспросил Чарльз, поднимая

бровь. — Я велел Уолдену накрыть в столовой. Но с удовольствием останусь здесь, если ты это предпочтешь.

— Как хочешь, — ответил он, внезапно теряя интерес не только к трапезе, но и к этому разговору.

— Сейчас распоряжусь, — сказал Чарльз и дернул за шнур звонка. — Хлеб, сыр, масло и, может быть, немного холодного мяса, — сказал он вернувшемуся дворецкому, поворачиваясь к Дэвиду за одобрением, которое тот выразил кивком.

Он был настроен молчать, ребячески дуться, но приятные манеры Чарльза в очередной раз взяли верх, и он увлекся беседой. Чарльз рассказал Дэвиду об остальных своих племянниках: Тедди оканчивает последний курс в Амхерсте (“Теперь к нему перейдет от Джеймса титул первого члена нашей семьи, окончившего колледж, я намерен его за это наградить”), Генри вскоре поступит в Университет Пенсильвании. (“Так что мне придется теперь гораздо чаще ездить на Юг — да, я считаю это Югом”.) Он говорил о них с такой любовью, с такой теплотой, что Дэвид обнаружил в себе иррациональную зависть.

Конечно, для этого не было никаких оснований — дедушка ни разу в жизни не сказал ему недоб-

рого слова, и он ни в чем не нуждался. Но может быть, это чувство было направлено на другое: он видел, как Чарльз гордится ими, и знал, что не сделал ничего, чтобы его дедушка мог испытать подобную гордость.

Допоздна они говорили о разных сторонах жизни: о своих семьях, о друзьях Чарльза; о войнах на Юге; о политике разрядки между их страной и штатом Мэн, который имел полуавтономный статус в составе Союза, так что жителей Свободных Штатов там терпели гораздо охотнее, хотя и не принимали полностью; об отношениях с Западом, где потенциальная опасность была гораздо больше. Несмотря на то что они затрагивали порой невеселые темы, между ними царила непринужденность, и Дэвид несколько раз ловил себя на желании открыться Чарльзу как другу, а не как человеку, который сделал ему предложение, и рассказать ему об Эдварде: о его темных живых глазах; о том, как вспыхивает розовым ложбинка на его горле, когда он говорит о музыке или живописи; о том, сколько трудностей он преодолел, чтобы пробиться в этом мире в одиночку. Но потом он вспоминал, где находится и кто ему Чарльз, и останавливался. Если уж он не мог заключить Эдварда в объятия, он надеялся хотя

бы почувствовать на языке его имя; говоря о нем, он оживит свои воспоминания. Ему хотелось хвастаться Эдвардом, хотелось сказать каждому, кто готов слушать: вот кто меня выбрал, вот с кем я провожу время, вот кто вернул меня к жизни. Но нельзя было поддаваться этому порыву, так что оставалось лишь носить в себе тайну Эдварда, горевшую у него внутри белым пламенем, этот яркий, чистый огонь, который грел его одного и который, как он боялся, мог исчезнуть, если пытаться рассмотреть его слишком пристально. Думая об Эдварде, он как будто мог вызвать его призрак, видимый лишь ему одному: вот он облокотился о секретер в углу комнаты за Чарльзом, вот он улыбается Дэвиду, и только Дэвиду.

И все же — он знал — Эдвард был далеко отсюда не только телом, но и духом. Неделями он ждал и ждал от него вестей, прилежно писал письма (в которых баланс между забавными, как он надеялся, подробностями о его жизни и о городе и лихорадочными признаниями и тоской все больше смещался в сторону последних), его беспокойство сменялось недоумением, недоумение замешательством, замешательство обидой, обида тоской, тоска гневом, гнев отчаянием, пока он не возвращался к началу цикла и все не повторялось

сначала. Прямо сейчас все эти чувства нахлынули на него одновременно, и он не мог уже отличить одно от другого, и все они были обострены беспримесным и глубоким вожделением. Как ни странно, присутствие Чарльза, который был добр к нему, с которым можно было чувствовать себя непринужденно, делало эти чувства сильнее и от этого невыносимее — он понимал, что, рассказав Чарльзу о своих мучениях, он получит совет и сочувствие, но, конечно, жестокость его положения заключалась в том, что именно Чарльзу он никогда не сможет этого рассказать.

Он думал обо всем этом, снова и снова обращаясь к своему безвыходному положению, как будто при очередном рассмотрении проблемы решение волшебным образом найдется само собой, и тут осознал, что Чарльз замолчал, а он был так погружен в свои мысли, что давно уже его не слушал.

Он торопливо и многословно извинился, но Чарльз лишь покачал головой, а потом встал с кресла, перешел к дивану, где сидел Дэвид, и устроился рядом.

— Что-то не так? — спросил Чарльз.

— Нет, нет, прости. Я просто устал, наверное, а у огня так тепло и хорошо, и я начал немного

дремать, надеюсь, ты извинишь меня.

Чарльз кивнул и взял его за руку.

— И все же ты очень рассеян, — сказал он. — Тебя как будто что-то гнетет. Это что-то, о чем ты не можешь мне рассказать?

Он улыбнулся, чтобы не волновать Чарльза.

— Ты так добр ко мне, — ответил он и пылко добавил: — Так добр! Хотел бы я знать, каково это — иметь такого друга.

— Но ведь я и есть твой друг, — сказал Чарльз, тоже улыбаясь, и Дэвид понял, что ответил опрометчиво, что он делает сейчас именно то, чего дедушка не велел делать ни в коем случае. Он поступал так не нарочно, но это не имело никакого значения.

— Я надеюсь, ты будешь видеть во мне друга, — продолжал Чарльз низким голосом, — но не только друга. — И он положил руки на плечи Дэвида, и поцеловал его, и продолжал целовать, поднимая его на ноги и расстегивая его брюки, и Дэвид позволил Чарльзу раздеть себя и ждал, когда тот разденется сам.

В экипаже по дороге домой он проклинал собственную глупость — в состоянии душевной смуты он позволил Чарльзу увериться, что он все-таки готов взять его в мужья. Он знал, что с

каждой встречей, с каждой беседой, с каждым письмом, на которое он отвечал, идет все дальше и дальше по пути, неизбежно ведущему к одному финалу. Еще было не поздно остановиться, объявить о своем решении свернуть с этой дороги, отступить — он еще не дал слово, не подписал бумаги, и даже если он вел себя дурно, ввел Чарльза в заблуждение, пока еще он не нарушает обещание, — но если он поступит так, он знал, что и Чарльз, и дедушка будут справедливо уязвлены, а возможно, и разгневаны и виноват в этом будет только он. Он уступил Чарльзу отчасти из благодарности за сочувствие (и, если уж совсем честно, Дэвид отчасти вознаграждал Чарльза за его преданность, в то время как в преданности Эдварда он был совсем не уверен), но еще одна причина была куда менее благородной и возвышенной: ощущение безвыходной и неудовлетворенной похоти, желание наказать Эдварда за молчание и исчезновение, необходимость отвлечься от своего трудного положения. Поступая так, он самолично создал для себя очередное затруднение: теперь ему очевидно отводилась роль преследуемого, объекта чужого вожделения. Ему было тошно от собственных мыслей, от того, что он оказался настолько тщеславен и эгоистичен,

что дал другому человеку, хорошему человеку, напрасную надежду, поощрил его чувство просто потому, что его гордость была задета и он хотел взять реванш.

Однако чувство было таким сильным, этот голод, это желание подавить отчаяние от исчезновения Эдварда, от его упорного молчания, что в следующие три недели — три недели, в которые двадцатое февраля наступило и прошло, три недели, в которые от Эдварда по-прежнему не было ни слова, — он снова и снова возвращался в дом Чарльза. Видя Чарльза и его радостное, нескрываемое волнение, Дэвид одновременно ощущал могущество и презрение; наблюдая, как Чарльз возится с его пуговицами неловкими от нетерпения пальцами, как поспешно закрывает на ключ дверь верхней гостиной, как только удалится Уолден, он чувствовал себя соблазнителем, обольстителем, но позже, когда Чарльз шептал ему на ухо нежности, он ощущал только стыд за него. Он знал: то, что он делает, — неправильно, даже дурно — близость перед договорным браком поощрялась, но лишь единожды или дважды, чтобы удостовериться в совместимости с предполагаемым суженым, — и все же он не находил в себе сил остановиться, даже когда в глубине

души его мотивы становилось все труднее оправдать, даже когда его совершенно необоснованное презрение к Чарльзу стало сгущаться в своего рода отвращение. Но и здесь он тоже запутался. Он не получал удовольствия от отношений с Чарльзом: ему было приятно внимание, постоянное и неизменное возбуждение Чарльза, его физическая сила, но он считал Чарльза слишком прямолинейным, одновременно скучным и неутонченным, — однако продолжение этих отношений делало воспоминания об Эдварде необъяснимо острее, поскольку он все время их сравнивал, не в пользу Чарльза. Чувствуя, как об него трется брюшко Чарльза, он тосковал по эльфической стройности Эдварда и представлял, как он рассказал бы Эдварду о Чарльзе и как Эдвард бы рассмеялся своим низким обворожительным смешком. Но конечно, не было рядом никакого Эдварда, чтобы рассказать ему, разделить эту недобрую, невысказанную насмешку над человеком, который был рядом, надежным, верным, отзывчивым во всех смыслах — над Чарльзом Гриффитом. Чарльз стал неприятен ему, оттого что доступен, но та же щедрая его доступность делала Дэвида менее уязвимым, менее беспомощным перед лицом неизменного молчания

Эдварда. Он даже стал лелеять в себе маленькую ненависть к Чарльзу, за то, что тот любит его слишком сильно, но еще больше за то, что он не Эдвард. Растущее отвращение заставляло его чувствовать себя жертвой, как будто он накладывал на себя сладкое наказание, в почти религиозном акте унижения, который — пусть только в его глазах — доказывал, как много он готов претерпеть, чтобы однажды воссоединиться с Эдвардом.

— Кажется, я влюблен в тебя, — сказал ему Чарльз как-то в начале марта, когда Дэвид собирался уходить, застегивая рубашку и оглядываясь в поисках галстука. Но хотя он произнес это вполне отчетливо, Дэвид притворился, что не слышит, и лишь небрежно попрощался через плечо, прежде чем уйти. Он видел, что Чарльз испытывает замешательство и обиду из-за его холодности, его теперь уже несомненного нежелания отвечать взаимностью на нежные признания, и еще он понимал, что, ведя себя так по отношению к Чарльзу, совершает маленькое, но несомненное злодеяние — отвечает жестокостью на искренность.

— Мне надо идти, — сказал он, нарушив молчание, воцарившееся после признания Чарльза. — Я напишу тебе завтра.

— Обещаешь? — спросил Чарльз мягко, и Дэвид снова ощутил смесь раздражения и нежности.

— Да, — ответил он. — Обещаю.

В следующий раз он увиделся с Чарльзом в воскресенье вечером, и когда он уходил, Чарльз спросил — как спрашивал всегда после этих встреч, — не хочет ли он остаться на ужин, не хочет ли сходить в театр или на концерт. Он всегда отказывался, осознавая, что с каждым разом вопрос, который, как он знал, Чарльз не решается задать, повисает над ними все отчетливей, превращается во что-то вроде тумана, так что любое движение еще глубже заводит их обоих в густой, непроницаемый мрак. Дэвид все так же почти все время с Чарльзом думал об Эдварде, пытаясь вообразить, что Чарльз и есть Эдвард, и, хотя он всегда был вежлив, вел себя все более отстраненно, несмотря на все большую интимность их отношений.

— Подожди, — сказал Чарльз. — Не одевайся так быстро, дай мне подольше на тебя посмотреть.

Но Дэвид сказал, что его ждет дедушка, и ушел прежде, чем Чарльз снова смог о чем-то его попросить.

После каждого визита он все больше мучился тем, что так дурно обращается с бедным добрым

Чарльзом, что такое поведение недостойно Бингема, дедушкиного внука, и ужасался тому, на что толкает его безумная тоска по Эдварду. Конечно, нельзя было свалить свою вину на Эдварда, независимо от причин его молчания, — ведь Дэвид сам, вместо того чтобы преодолевать свои страдания в одиночестве, позволил им задеть Чарльза.

И хотя он возвращался к Чарльзу, чтобы развеяться, их общение рождало у него неприятные вопросы, новые сомнения: когда Чарльз говорил о своих друзьях, племянниках, деловых партнерах, он вспоминал, что Эдвард даже не сообщил ему, где находится. Друзей Эдварда он знал только по именам, но не по фамилиям — Дэвид понял, что не знает даже фамилий его замужних сестер. Когда Чарльз спрашивал о нем самом, о его детстве, школьных годах, о дедушке, сестре и брате, он вспоминал, что Эдвард почти не задавал ему таких вопросов. Тогда он этого не замечал, а теперь заметил. Значит, ему это было неинтересно? Он с горечью вспомнил, как ему казалось одно время, что Эдвард ищет его одобрения и радуется, когда получает его, но теперь он понял, как ошибался и как именно Эдвард всегда был главным в их отношениях.

В следующую среду, когда Дэвид приводил в

порядок класс после урока, он услышал, как кто-то позвал его по имени, и имя эхом отозвалось в коридорах. На предыдущей неделе пианино, которое до тех пор так и стояло перед доской, словно памятник Эдварду после его исчезновения, снова оказалось в своем углу, где невостребованность должна была снова вернуть его в расстроенное состояние.

Он повернулся, и в класс вплыла начальница, глядя на него с обычным неодобрением.

— Идите в свои комнаты, дети, — сказала она нескольким отбившимся от остальных сиротам, потрепав их по головам, когда они подошли ее поприветствовать. Потом обратилась к Дэвиду: — Как продвигаются занятия?

— Очень хорошо, спасибо.

— Очень любезно с вашей стороны приходить и учить моих детей. Вы знаете, они очень к вам привязаны.

— И я к ним.

— Я пришла, чтобы передать вам это, — сказала начальница и достала из кармана тонкий белый конверт, который он взял у нее и едва не уронил, увидев почерк.

— Да, это от мистера Бишопа, — сказала она неприязненно, выплевывая фамилию Эдварда. —

Кажется, он наконец соизволил к нам вернуться.

В течение недель после исчезновения Эдварда начальница была единственным неожиданным и неохотным союзником, единственным человеком, который был так же заинтересован в том, чтобы найти Эдварда, как и он сам. Правда, ее резоны желать его возвращения были совершенно иными — когда Дэвид наконец заставил себя поговорить с нею, она поведала ему, что Эдвард выпросил отпуск, сославшись на исключительные семейные обстоятельства: он должен был вернуться к преподаванию двадцать второго февраля, но эта дата прошла, а от него так и не было ни слуху ни духу, и начальнице пришлось просто отменить уроки музыки.

(– Кажется, его мать, которая живет в Новой Англии, очень больна, — сказала начальница таким тоном, будто одна мысль о больной матери казалась ей возмутительной.

— Кажется, он сирота, — возразил Дэвид после паузы. — Разве он уехал не потому, что его сестра ждет ребенка?

Начальница помолчала, осмысляя сказанное.

— Я уверена, что он говорил о матери, — ответила она наконец. — Я бы не отпустила его из-за рождения ребенка. Но с другой стороны, я

могу и ошибаться, — добавила она более мягким тоном — в каждом разговоре с Дэвидом она неизменно вспоминала, что он патрон ее школы, и меняла тон в соответствии с этим положением вещей. — Богу известно, все только и делают, что рассказывают мне о своих трудностях и несчастьях дни напролет, и я просто не могу упомнить все подробности. Как он сказал, она в Вермонте? У него, кажется, три сестры?

— Да, — сказал он, преисполняясь облегчением. — Именно так.)

— Когда вы это получили? — спросил он слабым голосом, мечтая, чтобы начальница немедленно ушла, а он мог сесть и разорвать конверт.

— Вчера, — фыркнула начальница. — Он явился сюда — какова наглость! — потребовать свой последний платеж, но я все ему высказала: какой он эгоист и как подвел детей, вот так уехав и не вернувшись вовремя. А он сказал…

Дэвид прервал ее:

— Прошу прощения, но мне действительно пора идти. У меня встреча, на которую я не могу опоздать.

Начальница выпрямилась, ее самолюбие явно было задето.

— Разумеется, мистер Бингем, — сказала

она. — Ни в коем случае не хотела доставить вам неудобства. Увидимся на следующей неделе.

От крыльца школы его экипаж отделяли всего несколько метров, но он не мог ждать даже так недолго и вскрыл конверт прямо на ступеньках, чуть не уронив снова, так дрожали его пальцы от холода и нетерпения.

Мой дорогой Дэвид,
5 марта 1894 г.

Боже, что ты обо мне должен думать. Я пристыжен, смущен, рассыпаюсь в извинениях. Могу только сказать, что молчание мое не было добровольным и я думал о тебе каждую минуту каждого часа каждого дня. Вчера, вернувшись, я с трудом удержался, чтобы не кинуться на ступени твоего дома на Вашингтонской площади, чтобы ждать тебя там и умолять о прощении, но я не знал, какой прием меня ждет.

Не уверен я в этом и сейчас. Но если ты великодушно позволишь мне загладить свою вину, прошу тебя, приходи ко мне в пансион в любое время.

До сего момента остаюсь
Твоим любящим Эдвардом

Глава 12

У него не оставалось выбора. Он отослал экипаж домой, отдав кучеру записку для дедушки, где говорилось, что он сегодня вечером встречается с Чарльзом Гриффитом, а потом, отвернувшись и морщась от собственной лжи, дождался, когда экипаж завернет за угол, прежде чем пуститься бегом, уже не заботясь, как он выглядит со стороны. Сейчас это не имело никакого значения в сравнении с возможностью снова увидеть Эдварда.

В пансион его впустила все та же бледная горничная, и он поспешил вверх по лестнице. Только на последней лестничной площадке он заколебался, по мере того как к волнению примешивались другие чувства: сомнение, неуверенность, гнев. Но ничто не могло его удержать, и не успел он постучать, как дверь открылась, и Эдвард оказался в его объятиях и стал целовать его куда попало, как радостный щенок, и Дэвид почувствовал, что все его терзания улетучиваются, сметенные счастьем и облегчением.

Но когда он смог отстраниться от Эдварда, то увидел его лицо: синяк под правым глазом, рассе-

ченная нижняя губа с запекшейся кровью.

— Эдвард, — сказал он, — мой дорогой Эдвард, что случилось?

— Это — одна из причин, — ответил Эдвард почти хвастливо, — почему я не мог тебе написать.

И после того, как они оба немного успокоились, он стал объяснять, что произошло во время его злосчастного визита к сестрам.

Вначале, сказал Эдвард, все шло хорошо. Поездка была спокойной, хоть и стоял страшный холод, и он заехал в Бостон и три дня провел у старых друзей семьи, прежде чем продолжить путь в Берлингтон. Там его ждали все три сестры: Лора, которая должна была вот-вот произвести на свет младенца, Маргарет и, конечно, Бэлль, приехавшая из Нью-Гемпшира. Лора и Маргарет, близкие по возрасту и по характеру, жили вместе в большом деревянном доме, каждая из сестер со своим мужем занимала отдельный этаж, Бэлль расположилась на этаже Лоры, а Эдвард — у Маргарет.

Маргарет по утрам уходила в свою школу, а Лора, Бэлль и Эдвард целыми днями болтали и смеялись, любуясь крошечными кофточками, одеяльцами и носочками, которые связали Маргарет, Лора и их мужья, а потом вечером

возвращалась Маргарет, и они усаживались у огня и говорили о родителях, вспоминали свое детство, в то время как мужья Лоры и Маргарет — муж Лоры тоже учитель, а муж Маргарет бухгалтер — выполняли всякую домашнюю работу, которую обычно делали сестры, чтобы они могли провести друг с другом побольше времени.

— Конечно, я рассказал им о тебе, — сказал Эдвард.

— Да? — спросил он польщенно. — И что же ты рассказал?

— Я сказал, что встретил красивого, необыкновенного мужчину и уже скучаю по нему.

Дэвид почувствовал, что краснеет от удовольствия, но ответил только:

— Рассказывай дальше.

Через шесть дней такого счастливого времяпрепровождения Лора родила здорового младенца, мальчика, которого она назвала Фрэнсисом, в честь их отца. Это был первый ребенок у молодого поколения Бишопов, и они все радовались ему, как своему собственному. Было решено, что Эдвард и Бэлль останутся еще на две недели, и, несмотря на усталость Лоры, все они были довольны: шестеро взрослых, воркующих над одним младенцем. Но из-за того, что они собрались

все вшестером впервые за такое долгое время, они все постоянно вспоминали родителей и не раз проливали слезы, обсуждая, как мама и папа пожертвовали всем ради них, ради их лучшей жизни в Свободных Штатах и сейчас, несмотря на все невзгоды, были бы счастливы видеть своих детей всех вместе.

— Мы все были так заняты, что у меня не было ни минутки ни на что, — сказал Эдвард, прежде чем Дэвид успел спросить, почему он не писал. — Я думал о тебе постоянно, я сочинял в голове сотню писем, а потом начинал плакать ребенок, надо было греть молоко или зятья звали помочь по дому — я и не представлял, как много работы требует один младенец! — так что у меня буквально не было свободного времени, чтобы взяться за перо и бумагу.

— Но почему ты мне хотя бы не прислал адрес своих сестер? — спросил он, ненавидя себя за дрожь в голосе.

— Ну, это можно приписать только моему идиотизму — я был уверен, что дал его тебе при отъезде. Представь, я думал, как странно, что ты совсем не пишешь; каждый день, когда одна из моих сестер приносила почту, я спрашивал, нет ли чего-нибудь от тебя, но писем все не было. Не

могу передать, как это меня печалило: я боялся, что ты меня забыл.

— Как видишь, не забыл, — пробормотал он, стараясь не выдать голосом своей горечи, и указал на унизительно толстую пачку писем, которую горничная связала бечевкой, и теперь эта нечитаная пачка лежала на сундуке в изножье кровати Эдварда. Но Эдвард, снова упреждая обиду Дэвида, обхватил его руками.

— Я отложил их в надежде увидеть тебя и объяснить все лично, — сказал он. — А потом, когда ты простишь меня — я всей душой надеялся и надеюсь, что так и будет, — мы сможем прочитать их вдвоем, и ты расскажешь мне обо всем, что чувствовал и думал, когда их писал, и получится, что мы вовсе и не расставались, а всегда были вместе.

Прошло почти две недели, и Эдвард с Бэлль отправились в путь; они прибыли в Манчестер, где Эдвард собирался провести несколько дней с сестрой, прежде чем ехать обратно в Нью-Йорк. Но когда они добрались до дома Бэлль и она, войдя в прихожую, позвала мужа, ответом им была лишь полная тишина.

Поначалу это их не обеспокоило.

— Наверное, он еще в лечебнице, — бодро объ-

явила Бэлль и, указав Эдварду гостевую комнату, пошла на кухню, чтобы что-нибудь приготовить. Но когда Эдвард спустился обратно, он обнаружил, что Бэлль стоит посреди кухни и смотрит на стол, а потом поворачивается к нему с лицом белее мела.

— Он ушел, — сказала она.

— Что значит “ушел”? — спросил Эдвард, но, оглядевшись, понял, что кухней не пользовались уже не меньше недели: очаг был весь в холодной саже, блюда, горшки и чашки стояли сухие, припорошенные легким слоем пыли. Он выхватил записку из рук Бэлль и увидел, что это почерк его зятя, который просил прощения, сообщал, что он ее не стоит и уходит к другой.

— Это Сильвия, — прошептала Бэлль. — Наша горничная. Ее тоже нет. — Она лишилась чувств, и Эдвард успел подхватить ее и отнес в спальню.

О, как невыносимы оказались последовавшие за этим дни! Бедняжка Бэлль то плакала, то замолкала, а Эдвард дал знать об их несчастье сестрам. Он помчался в лечебницу своего зятя Мейсона, но обе приписанных к нему медицинских сестры уверяли, что не знают ничего; он даже сообщил об исчезновении Мейсона полицейским, но те отвечали, что не хотят влезать в семейные дела.

“Но это не просто семейное дело! — вскричал Эдвард. — Этот человек бросил свою жену — мою сестру, честную и преданную женщину и супругу, улизнув, когда та заботилась о своей беременной сестре в Вермонте. Его следует разыскать и привлечь к ответу!” Полицейские сочувственно отвечали, что ничего не могут сделать, и с каждым днем Эдвард чувствовал, как в нем закипает гнев — вместе с отчаянием — при виде сестры, которая молча сидела, уставившись в потухший очаг, с волосами, небрежно забранными в пучок, ломая руки, не меняя шерстяного платья вот уже пятый день; от этого он все яснее осознавал собственное бессилие и все сильнее хотел если не вернуть своей обожаемой младшей сестре ее мужа, то по крайней мере отомстить за нее.

А потом, однажды вечером, когда он сидел в местной таверне с кружкой сидра и раздумывал о бедствии сестры, кто же вдруг вошел, как не Мейсон?

(– Он выглядел так же, как всегда, — сказал Эдвард, отвечая на вопрос Дэвида. — Я вдруг понял, что мне казалось — если я увижу его снова, он окажется каким-то преобразившимся, словно его дурной нрав и подлые поступки как-то отразятся на внешности. Но этого не случилось. Слава богу,

что с ним не было этой его Сильвии, а то не знаю, что бы я сделал.)

Эдвард подходил к Мейсону, не имея никакого представления о том, во что это выльется, но, увидев, что зять его заметил, он сжал пальцы в кулак и ударил Мейсона по лицу. Мейсон, оправившись от первого потрясения, ответил тем же, но остальные посетители быстро их растащили — хотя, с некоторым удовлетворением заметил Эдвард, не раньше, чем он успел рассказать им о мерзком поступке зятя.

— Манчестер — городок маленький, — сказал он. — Все всех знают, Мейсон там не единственный доктор. Его репутация никогда не восстановится, да и с чего бы — он сам очернил ее своим поступком.

Бэлль, по словам Эдварда, выслушала его рассказ с ужасом; Эдварду и самому было совестно — не за то, что он подрался с Мейсоном, а за то, что эта стычка дала ей еще один повод для мучений и стыда; но, предположил он, втайне она порадовалась. Они долго разговаривали на следующий день, после того как Бэлль умыла ему лицо и обработала разбитую губу (“Не хочу хвастаться, но я уверен, что Мейсону пришлось хуже, хотя не могу не сознаться, что, учитывая

мою профессию, размахивать кулаками — не самое мудрое решение"), и постановили, что Бэлль не может оставаться ни в Манчестере — где проживают все родственники Мейсона, — ни в этом браке. Лора и Маргарет уже прислали сначала телеграмму, а потом письмо, уговаривая Бэлль приехать к ним в Вермонт: в их доме много места, а Бэлль, как Дэвид, конечно, помнит, обучалась ремеслу медицинской сестры и без труда найдет там работу. Но Бэлль опасалась обременить Лору, когда у той столько радостных забот, и, помимо того, призналась Эдварду, что хочет покоя, что ей нужно время и место обо всем подумать. Брат с сестрой решили, что Бэлль отправится с Эдвардом в Бостон, где они проведут еще несколько дней у друзей семьи, а потом Эдвард наконец возвратится в Нью-Йорк. Бэлль очень любила этих друзей, а они ее; там она могла обдумать дальнейшую жизнь на холодную голову: она, разумеется, разведется с Мейсоном, в этом сомнений нет, но станет она по-прежнему жить в Манчестере или отправится к сестрам в Вермонт — остается нерешенным.

— Видишь, — заключил Эдвард, — поездка получилась совсем не такой, как я ожидал, и все мои добрые намерения разбились о бедствия, по-

стигшие Бэлль. С моей стороны было неразумно — очень, очень неразумно — никак не давать о себе знать, но я оказался так глубоко вовлечен в страдания сестры, что забросил все остальное. Я поступил ужасно, тут нет спора — но надеюсь, что ты меня поймешь. Пожалуйста, скажи, что прощаешь меня, милый Дэвид. Пожалуйста, скажи, что прощаешь.

Готов ли он был к прощению? И да, и нет — разумеется, он сочувствовал Бэлль, но не мог отогнать эгоистичную мысль, что Эдварду ничего бы не стоило найти время и написать ему хотя бы две строчки; что Эдварду следовало так поступить, потому что, если бы он во всем признался, Дэвид мог бы ему помочь. Как — неясно, но он был бы рад предпринять хотя бы какие-то усилия.

Но конечно, говорить так — дело ребяческое и недостойное.

— Конечно, — сказал он поэтому. — Бедный мой Эдвард. Конечно, я тебя прощаю. — И был вознагражден поцелуем.

Но рассказ Эдварда еще не закончился. Когда они приехали к друзьям, к Кукам, Бэлль была уже спокойнее и решительнее, и Эдвард не сомневался, что несколько дней в компании Куков укрепят ее дух. Супруги Кук — Сусанна и Обри — были

чуть старше Маргарет, Сусанна тоже была беглянкой из Колоний и прежде жила в родительском доме по соседству с Бишопами; дети двух семей росли близкими друзьями. Теперь они с мужем владели небольшой текстильной фабрикой и жили в красивом новом доме возле реки.

Эдвард был рад снова повидаться с Куками — не в последнюю очередь оттого, что Сусанна и Бэлль так любили друг друга; Сусанна была ей как третья старшая сестра. Они уходили в комнату Бэлль и разговаривали там до поздней ночи, пока Эдвард и Обри играли в шахматы в гостиной. На четвертый вечер Обри и Сусанна выказали намерение обсудить с Бишопами важное дело, так что после ужина они все вчетвером переместились в гостиную и Куки объявили, что у них есть новости.

Немногим больше года назад француз, с которым они вели торговлю на протяжении многих лет, связался с ними и сделал им предложение, от которого трудно отказаться: он предлагал превратить Калифорнию в шелкопрядильную Мекку Нового Света. Этот француз, по имени Этьен Луи, уже купил участок почти в пять тысяч акров к северу от Лос-Анджелеса, высадил там почти тысячу деревьев и построил питомники,

где можно содержать десятки тысяч червей и яиц. В конечном счете ферма должна стать самостоятельным поселением — Луи уже нанял первых работников, — потом там будут работать сотни семейств, занятые различными сторонами шелководства, от ухода за деревьями, кормления червей, сбора коконов до, разумеется, получения самих шелковых нитей и ткачества. Нанимать будут в основном китайцев, многие из которых остались без средств к существованию после завершения строительства трансконтинентальной железной дороги и не могут ни вернуться домой, ни — вследствие законов 92 года — вывезти с Востока своих близких. Множество из них впали в нищету, разврат, пристрастились, помимо иных дурных дел, к опиуму — Куки и Луи смогут платить им сущие гроши; власти Сан-Франциско, где живет большинство из них, даже помогали Луи отобрать тех, кто готов отправиться на юг. Предполагалось, что предприятие начнет работать ранней осенью.

Брат и сестра Бишопы почти так же загорелись этим начинанием, как сами Куки. Все четверо решили, что это блестящий замысел: население Калифорнии растет так быстро, а зарекомендовавших себя текстильных мануфактур так мало,

что предприятие наверняка будет иметь успех. Все они прекрасно знали, как легко сообразительному и трудолюбивому человеку заработать огромные деньги на Западе, а Куки — целых два сообразительных и трудолюбивых человека. Они были просто обречены на успех. После такой тяжелой недели эти новости показались им особенно духоподъемными.

Но у Куков в запасе был еще один сюрприз. Они намеревались просить Бэлль и Эдварда управлять их предприятием.

— Мы и так собирались вас попросить, — сказала Сусанна. — Вас обоих и Мейсона. Но так, как оно сложилось — милая Бэлль, ты же знаешь, я не имею в виду ничего дурного, — это просто воля провидения. Для тебя это станет новой возможностью, новой жизнью, новым началом.

— Это так благородно с вашей стороны, — сказала Бэлль, когда слегка оправилась от изумления. — Но ведь мы с Эдвардом ничего не знаем про ткачество, да и про управление мануфактурой!

— Вот именно, — сказал Эдвард. — Дорогие Сусанна и Обри, мы очень польщены, но, конечно, вам нужен кто-то опытный в подобных делах.

Но Сусанна и Обри не отступали. Они наймут

бригадира, и Обри лично отправится на Запад осенью, чтобы вместе с Луи проследить за первыми шагами. Когда приедут Бэлль и Эдвард, они всему потихоньку обучатся. Главное — чтобы делом управляли люди, на которых они могут положиться. Запад для них область столь неизведанная, что без деловых партнеров, которым они могут доверять, чье прошлое и настоящее знают досконально, они попросту не смогут справиться.

— А кого мы лучше знаем, кому больше доверяем, чем вам? — воскликнула Сусанна. — Вы с Бэлль нам почти как брат и сестра!

— А как же Луи?

— Мы, конечно, ему доверяем. Но знаем его намного хуже, чем вас.

Бэлль рассмеялась.

— Милый Обри, — сказала она. — Я медицинская сестра, Эдвард пианист. Мы ничего не знаем о выращивании шелкопряда, о шелковице, о текстиле, да и вообще о коммерции! Мы же вас разорим!

Так они спорили — бурно, но добросердечно, — пока в конце концов Обри и Сусанна не заставили Бишопов пообещать, что они обдумают их предложение, а потом, поскольку час был

уже весьма поздний, все отправились на покой, но с улыбками и любезностями на устах, потому что хотя Бишопам замысел по-прежнему казался неосуществимым, предложение им польстило, а великодушное доверие друзей вызвало в них новый прилив благодарности.

На следующий день Эдвард должен был уезжать, но, попрощавшись с Куками, он пошел прогуляться с Бэлль, перед тем как садиться в попутный экипаж. Некоторое время сестра и брат шли под руку в молчании, останавливаясь, лишь чтобы посмотреть, как стайки уток слетаются к реке и, едва прикоснувшись к ледяной воде перепончатыми лапками, сразу же улетают прочь с громким, сердитым и обиженным гоготом.

— Могли бы уж запомнить, — сказал Эдвард, глядя на них, и, обернувшись к сестре, спросил: — И что же ты решила?

— Я точно не знаю, — сказала она. Но когда они снова подходили к дому Куков, где ждал багаж Эдварда, она добавила: — Но я считаю, что нам стоит обдумать их предложение.

— Милая моя Бэлль!

— Это может стать нашей новой жизнью, Эдвард, приключением. Мы еще молоды — мне всего двадцать один. И — подожди, молчи — мы

не будем одиноки, мы с тобой будем вместе.

Теперь уже они спорили друг с другом, пока не спохватились, что Эдвард вот-вот пропустит свой экипаж, и они наконец нежно попрощались, а Эдвард пообещал, что обдумает предложение Куков, хотя делать этого вовсе не собирался. Но в экипаже, во время первого многочасового перегона, он осознал, что не перестает думать об этом прожекте. Отчего же ему не отправиться на Запад? Отчего не попытаться сколотить состояние? Зачем отказываться от такого приключения? Бэлль права — они молоды, успех предприятия несомненен. Да даже если и нет, разве не хочется ему чего-то необыкновенного? Разве он чувствует себя дома в Нью-Йорке? Сестры далеко, он в этом городе один, жестокость климата, безденежья, бесправия ежедневно испытывает его терпение, так что в свои двадцать три он чувствует себя намного старше от усталости, оттого, что никогда не может согреться, вечно нищенствует и по-прежнему — намного чаще, чем ему представлялось, — чувствует, что он лишь гость, дитя Колоний, что он так и не добрался до места назначения. И он снова вспомнил о своих родителях, совершивших долгое судьбоносное путешествие из одних краев в другие, — так разве не пора и

ему отправиться в свое путешествие, отразив, подобно зеркалу, их опыт? Лора и Маргарет нашли себе дом в Свободных Штатах, и он рад за них. Но если он, не лукавя, заглянет себе в душу, ему придется признать, что всю свою жизнь, сколько он себя помнит, он тоже мечтал о том ощущении довольства жизнью и безопасности, которое обрели его сестры, — а ему год за годом поймать его так и не удавалось.

Проведя в этих размышлениях несколько дней, он наконец вернулся в Нью-Йорк, и город, словно чувствуя его колебание, выплеснул на него все свои самые отвратительные качества, подталкивая к верному и неизбежному выводу. Первым своим шагом на городскую землю он ступил вовсе не на мостовую, а в огромную лужу, в которую превратилась дорожная колея, и ледяная грязная жижа промочила ему брюки до середины икры. А запахи, а звуки, а картины: согбенные, как мулы, коробейники, толкающие свои деревянные кривоколесные тачки с тротуара на дорогу с глухим стуком; дети с серыми лицами и голодными глазами, выползающие из фабричных зданий, где они часами сидели, пришивая пуговицы к дурно скроенным пиджакам; лоточники, отчаянно пытающиеся продать свой жалкий товар, который

может приглянуться разве что самым неимущим, тем несчастным, у которых нет даже цента, чтобы купить луковицу, сморщенную, сухую и твердую, как ракушка, или пригоршню бобов, в которой кишат сероватые личинки; попрошайки, перекупщики, карманники; все бедные, замерзшие, отчаянные орды, влачащие свою маленькую жизнь в этом невозможном, надменном, бессердечном городе, где единственными свидетелями разливу человеческих бедствий остаются разве что каменные горгульи, злобно хохочущие и издевательски разевающие пасти на высоких карнизах величественных домов, что стоят вдоль переполненных людьми улиц. И наконец, пансион, где горничная вручила ему письмо с предупреждением о выселении от невидимой Флоренс Ларссон, которую он умиротворил, заплатив вперед месячную ренту вместе с той, что оставалась неоплаченной из-за его долгого путешествия, а потом снова поднялся по лестнице, пахнущей капустой и сыростью даже летом, в свою промерзшую конуру со скудными пожитками и неприглядным видом на голые черные деревья. И вот, согревая дыханием пальцы, чтобы все-таки набраться сил, сходить за водой и приняться за утомительный труд по разжи-

ганию огня, он принял решение: он отправится в Калифорнию. Он будет помогать Кукам в их шелкопрядильных замыслах. Он станет богатым человеком, независимым человеком. А если он снова вернется в Нью-Йорк — хотя зачем бы, — он уже не будет чувствовать себя нищим, не будет перед всеми извиняться. Нью-Йорк не может его освободить — а Калифорнии, возможно, это удастся.

Повисло долгое молчание.

— Значит, ты уезжаешь, — сказал Дэвид, хотя произнести это ему удалось лишь с трудом.

Эдвард смотрел сквозь него, пока вел свой рассказ, но тут перевел глаза на Дэвида.

— Да, — сказал он. А потом: — И ты поедешь со мной.

— Я? — пробормотал он изумленно. А потом: — Я! Нет, Эдвард. Нет.

— Да отчего же нет?

— Эдвард! Нет… я… нет. Здесь мой дом. Я не могу его бросить.

— Да почему нет? — Эдвард соскользнул с кровати и встал на колени, взявши руки Дэвида обеими руками. — Дэвид, подумай — прошу тебя, подумай. Мы будем вместе. Для нас откроется новая жизнь, новая жизнь вместе, новая жизнь

вместе под лучами солнца, в тепле. Дэвид. Разве ты не хочешь быть со мной? Разве ты меня не любишь?

— Ты знаешь, что люблю, — признался он, чувствуя себя очень несчастным.

— И я люблю тебя, — жарко произнес Эдвард, но эти слова, которых Дэвид так ждал, которые так страстно хотел услышать, оказались затуманены вихрем обстоятельств, в которых прозвучали. — Дэвид. Мы сможем быть вместе. Мы наконец сможем быть вместе.

— Мы можем быть вместе и здесь!

— Дэвид, любимый, ты же знаешь, что это не так. Ты же знаешь, что твой дедушка никогда не позволит тебе быть вместе с таким человеком, как я.

На это он ничего сказать не мог, потому что понимал: это правда, — и понимал, что Эдвард это тоже понимает.

— Но мы не сможем быть вместе на Западе, Эдвард! Одумайся! Там опасно быть такими, как мы, — нас могут за это посадить в тюрьму, нас могут убить.

— Ничего с нами не случится! Мы же умеем вести себя осмотрительно. Дэвид, в опасность попадают те, кто кичится своей особостью, кто

выставляет ее напоказ, кто напрашивается, чтобы его заметили. Мы совсем не такие — и никогда не будем такими.

— Нет, мы как раз такие, Эдвард! Нет никакой разницы! Если кто-нибудь что-нибудь заподозрит, если нас уличат, последствия будут чудовищны. Скрывать, кто ты такой, — разве это свобода?

Тогда Эдвард встал и отошел от него, а когда снова обернулся, его лицо сияло нежностью, и, сев рядом с Дэвидом на кровати, он снова взял его руки в свои.

— Прости меня за такой вопрос, Дэвид, — тихо сказал он, — но сейчас… ты свободен?

И когда Дэвид не смог на это ответить, он продолжил:

— Дэвид, мой невинный младенец. Ты когда-нибудь думал, какова была бы твоя жизнь, если бы твое имя никому ничего не говорило? Если бы ты мог вырваться из той жизни, в которой кем-то обязан быть, и стал тем, кем хочешь? Если бы фамилия Бингем была одной из прочих, как Бишоп, или Смит, или Джонс, — а не словом, высеченным на вершине гигантского мраморного мавзолея?

Что, если бы ты был просто мистер Бингем, как я — просто мистер Бишоп? Мистер Бингем из Лос-

Анджелеса — талантливый художник, милый, хороший, умный человек, муж — да, пусть тайно, но от этой тайны не менее настоящий — Эдварда Бишопа? Который живет с ним в домике посреди обширной плантации деревьев с серебристыми листьями, в краю, где нет льда, нет зимы, нет снегов? Который наконец понял, кем хочет стать? Который по прошествии времени — может быть, нескольких лет, может быть, больше, — возможно, снова переедет с мужем на Восток или приедет туда один, чтобы навестить любимого дедушку? Который будет держать меня в объятиях каждую ночь и каждое утро и будет всегда любим своим мужем, тем более любим, что муж этот будет принадлежать только ему одному? Который в любую минуту по своему желанию может быть мистером Дэвидом Бингемом с Вашингтонской площади в городе Нью-Йорке Свободных Штатов, старшим и самым обожаемым внуком Натаниэля Бингема, но может быть и чем-то меньшим — а значит, и чем-то большим; который будет принадлежать тому, кого выбрал сам, — и при этом только самому себе. Дэвид. Вдруг это ты? Может быть, на самом деле именно это — ты?

Дэвид встал, рывком высвободив руки, и подошел — для этого нужно было сделать всего один

шаг — к камину, холодному, черному и пустому, в который он тем не менее уставился, как будто там плясали языки пламени.

Эдвард у него за спиной не умолк.

— Ты боишься, — сказал он. — Я все понимаю. Но у тебя всегда буду я. Я, моя любовь, моя привязанность к тебе и восхищение тобой — Дэвид, у тебя всегда будет это. Так ли отлична жизнь в Калифорнии от жизни здесь? Здесь мы свободные люди, но не можем быть парой. Там мы не будем свободны как граждане, но будем парой — по-настоящему будем друг с другом; мы будем жить вместе, и никто не посмеет нас упрекнуть, нам помешать, никто не скажет, что мы не можем быть вместе в стенах собственного дома. Дэвид, скажи мне: что толку в Свободных Штатах, если мы не можем быть поистине свободны?

— Ты правда меня любишь? — наконец выговорил Дэвид.

— Ох, Дэвид, — сказал Эдвард, встал и обнял его, и Дэвид вдруг вспомнил ощущение массивного тела Чарльза рядом с собой и содрогнулся. — Я хочу прожить с тобой всю жизнь.

Он взглянул на Эдварда, и вот они уже срывали друг с друга одежду, а позже, лежа в изнеможении, Дэвид почувствовал, что растерянность

возвращается, и сел, начал одеваться; Эдвард не спускал с него глаз.

— Мне пора, — объявил он, поднимая завалившиеся под кровать перчатки.

— Дэвид, — сказал Эдвард, встал, обвернувшись одеялом, перед Дэвидом и мягко повернул его лицо к себе. — Пожалуйста, подумай о моем предложении. Я еще даже Бэлль ничего не говорил — но теперь, после разговора с тобой, я сообщу ей о своем решении — хотя, конечно, мне бы хотелось написать ей, в этом письме или в следующем, — что присоединюсь к ней как женатый человек, вместе с мужем. Куки говорят, если мы готовы принять их предложение, один из нас должен приехать в мае, второй не позже чем в июне. Бэлль не о ком думать, кроме себя, — пусть будет первопроходцем, она достойна этого и будет только рада. Но, Дэвид, я уеду в июне. Уеду, что бы ни случилось. И надеюсь, Дэвид, очень надеюсь — даже не могу тебе передать, как сильно, — что мне не придется проделать этот путь в одиночестве. Пожалуйста, скажи, что подумаешь. Прошу тебя, Дэвид. Прошу тебя.

Глава 13

У Бингемов была традиция устраивать праздник на двенадцатое марта, в годовщину независимости Свободных Штатов, хотя в этот день принято было не столько праздновать, сколько предаваться воспоминаниям; это была возможность для друзей и знакомых Бингемов взглянуть на семейную коллекцию предметов и документов, связанных со становлением их страны и той значительной ролью, которую Бингемы сыграли в этом процессе.

В этом году к знаменательной дате было приурочено открытие маленького музея, основанного Натаниэлем Бингемом. Семейные бумаги и памятные вещицы составят основу коллекции — с расчетом, что остальные семьи основателей тоже отдадут туда различные предметы, письма, дневники и карты из своих архивов. Некоторые, включая семью Элизы, уже сделали это, и после открытия музея ожидался целый поток пожертвований.

В ночь открытия Дэвид стоял в своей спальне у зеркала и чистил сюртук. Конечно, он был уже неоднократно почищен Мэтью и не нуждался в

дальнейшей заботе. Однако Дэвид не обращал внимания на то, что делает, движения его были бессмысленными, но успокаивающими.

Это будет его первый выход в свет с того дня, как он в последний раз видел Эдварда, почти неделю назад. После того невероятного вечера он вернулся домой, сразу отправился в кровать и не выходил следующие шесть дней. Дедушка испугался, он был уверен, что вернулась болезнь, и хотя Дэвида страшно мучила совесть из-за этого обмана, ему было куда проще сослаться на недомогание, чем пытаться объяснить овладевшее им глубокое смятение, — ведь даже если бы он нашел слова, чтобы описать свое состояние, ему пришлось бы говорить об Эдварде, о том, кто он такой и кем стал для него, а к этому разговору он был решительно не готов. Так что он лежал в своей комнате, безмолвный и недвижимый, позволяя семейному врачу мистеру Армстронгу навещать и осматривать его, заглядывать ему в рот и в глаза, мерить пульс и цокать языком от результата; горничные приносили на подносах его любимые блюда, только чтобы унести их нетронутыми через несколько часов; Адамс приносил свежие цветы (разумеется, по распоряжению дедушки) — анемоны, пионы, первоцветы, —

ежедневно добываемые бог знает где по бог знает каким баснословным ценам в эти самые студеные зимние дни. И все это время, долгие-долгие часы, он смотрел на пятно, оставленное водой. Но в отличие от дней настоящей болезни, когда он не думал ни о чем, сейчас он только и делал, что думал об одном и том же: о неизбежном отъезде Эдварда, о его невероятном предложении, об их разговоре, который Дэвид не сразу осознал, но теперь возвращался к нему снова и снова: мысленно он спорил с тем пониманием свободы, которое изложил ему Эдвард, с его утверждением, будто Дэвид связан по рукам и ногам своим дедушкой, именем, а значит, и жизнью, которая не в полной мере его жизнь; он спорил с уверенностью Эдварда, что они каким-то образом избегнут наказания, полагавшегося всякому, кто нарушит тамошние законы против содомии. Эти законы существовали всегда, но после их ужесточения в семьдесят шестом году Запад, когда-то многообещающее место — настолько многообещающее, что некоторые из законодателей Свободных Штатов думали даже взять эти территории под свое управление, — стал в каком-то смысле еще опаснее, чем Колонии; в отличие от Колоний, на Западе закон не позволял расследовать незакон-

ную деятельность такого рода, но если уж она становилась известна, последствия были жестоки и неумолимы. Даже деньги не могли вызволить обвиняемого. Единственное, чего он не мог сделать, — это поспорить с Эдвардом напрямую, потому что Эдвард не навещал его и не присылал никаких весточек, и это, несомненно, беспокоило бы Дэвида, если бы он не был так занят главной дилеммой, поставленной перед ним.

Но если Эдвард не вступал с ним ни в какое общение, то Чарльз вступал, по крайней мере пытался. С их последней встречи прошло больше недели, и письма Чарльза к нему за эти дни стали умоляющими, как будто автор уже не в силах был скрывать отчаяние — отчаяние, которое Дэвид хорошо помнил по собственным письмам к Эдварду. Позавчера ему принесли огромный букет голубых гиацинтов с открыткой: “Мой дорогой Дэвид, мисс Холсон сказала мне, что ты нездоров, чем очень меня опечалила. Я знаю, что о тебе прекрасно заботятся, но если тебе что-нибудь нужно или чего-нибудь хочется, скажи только слово, и я немедленно буду к твоим услугам. А пока посылаю тебе свои самые добрые пожелания и неизменную преданность”, — в этих строчках Дэвид прочитал ощутимое облегчение, что его

молчание объяснялось не отсутствием интереса, а всего лишь болезнью. Он посмотрел на цветы, потом на открытку и понял, что в очередной раз совершенно забыл о самом существовании Чарльза, для этого оказалось довольно нового появления Эдварда в его жизни, и вот уже все остальное померкло или стало неважным.

По большей части он все-таки размышлял об отъезде — нет, не так, он размышлял, может ли он допустить размышление об отъезде. Его страх перед Западом, перед тем, что может там случиться с ним, с ними, был неоспоримым и, он знал, оправданным. А страх покинуть дедушку, покинуть Вашингтонскую площадь? Разве это тоже не останавливает его? Он знал, что Эдвард прав: пока он остается в Нью-Йорке, он будет принадлежать дедушке, семье, городу, стране. Это тоже неоспоримо.

А вот что не было неоспоримым, это действительно ли он жаждет другой жизни. Он всегда думал, что да. Когда он отправился в свой гранд-тур, то пытался представить: каково это — быть кем-то другим? Как-то раз в Уффици он остановился в проходе, чтобы полюбоваться на коридор Вазари — его симметрия тревожила своим нечеловеческим совершенством, — и вдруг к нему

шагнул стройный смуглый юноша.

— С ума сойти, правда? — спросил он Дэвида, и они постояли некоторое время в молчании, и Дэвид повернулся к собеседнику.

Его звали Морган, он был из Лондона, тоже приехал в гранд-тур, сын адвоката, через несколько месяцев возвращается домой, где его, как он сказал, не ждет ничего. “Во всяком случае, ничего интересного. Место в отцовской фирме, отец настаивает; вероятно, потом женитьба на какой-нибудь девушке, которую подберет мне мать. Она настаивает”.

Они провели вместе вторую половину дня, бродя по улицам, останавливаясь, чтобы выпить кофе, съесть пирожное. До этого Дэвид во время путешествия не говорил почти ни с кем, кроме разных дедушкиных друзей, которые встречали и принимали его везде, куда он приезжал, и разговор с ровесником был для него как погружение обратно в воду, ее шелковое прикосновение к коже — вот как, оказывается, это приятно.

— У тебя есть девушка там, дома? — спросил Морган, когда они проходили Санта-Кроче, и Дэвид, улыбнувшись, сказал, что нет.

— Минуточку, — произнес Морган, вглядываясь в него. — Ты сказал, что ты откуда? Откуда

именно в Америке?

— Я не говорил, — снова улыбнулся он, понимая, что за этим последует. — И нет, я не из Америки. Я из Нью-Йорка.

Тут глаза Моргана расширились.

— Ты житель Свободных Штатов! — воскликнул он. — Я столько слышал о твоей стране! Ты должен мне все рассказать.

И беседа перешла на Свободные Штаты: их теперь самые сердечные отношения с Америкой, в которых они сохраняют свои собственные законы о браке и религии, но приняли законы Союза о налогах и демократии; поддержка, финансовая и военная, Союза в Повстанческой войне; Мэн, который в основном к ним доброжелателен и где безопасность граждан Свободных Штатов более или менее обеспечена; Колонии и Запад, где они в той или иной степени в опасности; как Колонии проиграли войну, но все равно отделились и все глубже с каждым годом опускаются в бездну бедности и деградации, и их долг перед Свободными Штатами растет — и, соответственно, ненависть к ним с каждым годом разгорается жарче и ярче; постоянная борьба Свободных Штатов за то, чтобы другие страны признавали их как отдельную, независимую нацию, хотя это признание они

получили только от королевств Тонга и Гавайи. Морган изучал современную историю в университете и задавал множество вопросов, и Дэвид, отвечая на них, осознал, как он любит свою нацию, как скучает по ней — чувство это стало еще более острым, когда они отправились в убогую комнатку Моргана в запущенном пансионе. Когда поздно вечером Дэвид шел обратно в дом, в котором остановился, он снова вспомнил, как часто бывало в этой поездке, как ему повезло, что он живет в стране, где ему не приходится прятаться за закрытыми дверями, ждать сигнала, что сейчас можно идти, опасности нет, его никто не увидит; где он может идти по городу рука об руку с возлюбленным (если таковой у него когда-нибудь будет), так же как по площадям на Континенте ходят парами мужчина и женщина (но никаких других вариаций); где он в один прекрасный день сможет жениться на мужчине, которого полюбит. Он живет в стране, где все мужчины и женщины свободны и могут жить с достоинством.

Но еще одна памятная сторона этого дня заключалась в том, что он, Дэвид, в тот день не был Дэвидом Бингемом; он назвался Натаниэлем Фриром — торопливо слепив псевдоним из имен

дедушки и матери, — сыном врача, который проводит год в Европе, прежде чем вернуться в Нью-Йорк и учиться на юриста. Он придумал себе полдюжины братьев и сестер, скромный веселый дом в немодной, но милой части города, жизнь благополучную, но без излишеств. Когда Морган рассказал ему о грандиозном особняке его бывшего одноклассника, где во всех уборных из кранов течет горячая вода, Дэвид ни слова не сказал о том, что в доме на Вашингтонской площади давно проведен водопровод и ему только стоит повернуть ручку крана, чтобы тут же хлынул поток чистой воды. Вместо этого он подивился везению одноклассника и удивительным новшествам современной жизни. Он не смог бы отказаться от своей страны — это ощущалось бы как измена, — но он отказался от своей биографии, и это само по себе рождало головокружительное чувство легкости, так что когда он наконец вошел в дом, где остановился — величественный палаццо, принадлежащий старому университетскому приятелю дедушки, который переехал сюда из Свободных Штатов, и его жене, хмурой итальянской графине с тяжелой походкой, на которой тот явно женился ради ее титула, — хозяин дома оглядел его с головы до ног и ухмыльнулся.

— Хороший денек, а? — протянул он, глядя на мечтательное, рассеянное выражение лица Дэвида, который провел всю неделю во Флоренции, уходя рано утром и приходя поздно вечером, только чтобы избежать настойчивых рук хозяина, которые, казалось, всегда парят вблизи его тела, словно хищные птицы, готовые спланировать и схватить добычу; и Дэвид только улыбнулся и сказал: да, хороший день.

Он нечасто вспоминал этот случай, но теперь вспомнил и безуспешно пытался восстановить в памяти, что он чувствовал в момент, когда сочинял свою выдумку, понимая, что, какой бы восторг он ни испытал тогда, обман его был несерьезным. В любую минуту он мог объявить, кто он такой на самом деле, и даже Моргану наверняка оказалось бы знакомо его имя. Он один знал, что ломает комедию, но под комедией скрывалась правда, и она была надежной и солидной: его дедушка, его состояние, его имя. Если он уедет на Запад, его имя будет означать лишь порок, если вообще будет хоть что-то значить. В Свободных Штатах и на Севере имя Бингем вызывало уважение, даже почтение. Но на Западе быть Бингемом — значит быть жупелом, извращенцем, угрозой обществу. В Калифорнии он не столько сможет

сменить имя, сколько ему придется это сделать, потому что оставаться Бингемом будет слишком опасно.

Даже сами эти мысли наполняли его угрызениями совести, особенно когда грезы прерывало появление дедушки, который заходил к нему утром, прежде чем отправиться в банк, и еще дважды вечером, один раз до ужина, второй — после. Этот третий визит всегда был самым долгим: дедушка сидел в кресле у постели Дэвида и без всяких предисловий начинал читать ему сегодняшние газеты или сборник стихов. Иногда он рассказывал, как провел день, его ровный, непрерывный монолог оставлял у Дэвида чувство, будто его несет поток спокойной, широкой реки. Именно так дедушка лечил все его прошлые болезни: сидел рядом с ним, читал или разговаривал, и хотя его ласковое постоянство никогда особенно не помогало — во всяком случае, Дэвид как-то слышал, что врач говорил это дедушке, — это было уравновешивающее, предсказуемое и оттого утешительное средство, которое, как пятно на обоях, удерживало его в мире. И все-таки сейчас, поскольку он не был болен, а лишь имитировал болезнь, слушая дедушку, Дэвид испытывал лишь стыд — стыд, что

дедушка волнуется за него, стыд, что он допустил саму мысль покинуть дедушку, и не только его, но те права, ту безопасность, за которую дедушка и его предки так самоотверженно боролись.

Дедушка не напомнил ему о церемонии открытия музея, однако, дабы облегчить себе муки совести, в день открытия он велел приготовить ванну и отгладить костюм. Надев его, он посмотрел на себя в зеркало, увидел бледное осунувшееся лицо — но с этим ничего нельзя было сделать, — поднялся по лестнице, постучал в дверь дедушкиного кабинета — “Входите, Адамс!” — и был вознагражден дедушкиным изумлением:

— Дэвид! Мой мальчик, тебе лучше?

— Да, — солгал он. — И я не хочу пропустить сегодняшнее торжество.

— Дэвид, не нужно идти, если ты все еще нездоров, — сказал дедушка, но Дэвид чувствовал, как дедушке хочется, чтобы он пошел, и это было самое малое, что он мог сделать для него после того, как столько дней замышлял предательство.

До особняка на Тринадцатой улице, который дедушка купил для своего музея, чуть к западу от Пятой авеню, было рукой подать, но дедушка объявил, что на улице слишком холодно и Дэвид

слишком слаб, поэтому они поедут в коляске. Там их встретили Джон и Питер, Иден и Элиза, Норрис и Фрэнсис Холсон, друзья и знакомые семьи, деловые партнеры и какие-то совсем неизвестные Дэвиду люди, которых дедушка, однако, тепло приветствовал. Директор музея, аккуратный маленький историк, еще давно нанятый семьей, рассказывал группе гостей об одном из экспонатов — это были рисунки, изображающие ферму и земельные угодья возле Шарлотсвиля, когда-то принадлежавшие Бингемам, которые Эдмунд, сын богатого землевладельца, оставил, чтобы отправиться на Север и основать Свободные Штаты; Бингемы следовали за своим патриархом, который передвигался по залу и восклицал, видя вещи, которые он помнил или не помнил: вот в витрине под стеклом кусок пергамента, превратившийся почти в лохмотья, на котором прапрадед Дэвида, Эдмунд, в 1790 году набросал протоконституцию Свободных Штатов, подписанную всеми четырнадцатью основателями, первыми утопианцами, включая прапрабабушку Элизы по материнской линии; конституция обещала свободу брака, отмену рабства и долговой кабалы, и хотя она не давала неграм полноценного гражданства, пытки и

издевательства провозглашались вне закона; здесь же была Библия Эдмунда, к которой он и преподобный Самюэль Фоксли обращались в своих штудиях, когда изучали юриспруденцию в Виргинии; они вместе придумывали будущую страну, где мужчины и женщины будут свободны любить кого пожелают — эту идею Фоксли сформулировал после встречи в Лондоне с прусским теологом-вольнодумцем, который позже сможет назвать среди своих учеников и последователей Фридриха Даниэля Эрнста Шлейермахера и который подтолкнул его к интерпретации христианства с точки зрения гражданского сознания и совести; здесь же был первый набросок флага Свободных Штатов, сделанный сестрой Эдмунда, Кассандрой: прямоугольник из красной шерсти, в центре сосна, мужчина и женщина, образующие пирамиду, и восемь звезд аркой над ними, по одной на каждый штат — Пенсильвания, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Вермонт и Род-Айленд, — и девиз “Ибо Свобода это Достоинство, а Достоинство — Свобода”, вышитый под ними; здесь были проекты законов, позволяющих женщинам получать образование и, с 1799 года, — голосовать. Здесь были письма, датированные 1790 и 1791 годами,

от Эдмунда к его университетскому другу, где описывалось плачевное положение будущих Свободных Штатов: леса, кишащие воинственными индейцами, бандиты и воры, предстоящая битва с местными жителями (которая была быстро выиграна, и не ружьями и кровью, а растущим благосостоянием); религиозные фанатики, которым были противны идеи Свободных Штатов, получили отступные и уехали на Юг, индейцев прогоняли на Запад целыми племенами или втихую уничтожали, очищая от них те самые леса, где они прежде свирепствовали; местные негры, которые не пытались помогать в завоевании земли (как и негры-беженцы из Колоний), отправлялись на паромах в Канаду или в караванах на Запад. Здесь были копии документов, доставленных лично в резиденцию президента в Филадельфии 12 марта 1791 года, объявляющих о намерении Штатов отделиться от Америки, но обещающих вместе защищаться от любых нападений, внутренних или внешних, во веки веков; здесь же был и резкий ответ президента Вашингтона, в котором он обвинял авторов письма, Фоксли и Бингема, в государственной измене, в намерении истощить свою страну, лишив ее богатств и ресурсов; здесь же были

страницы и страницы переговоров, в ходе которых Вашингтон наконец неохотно соглашался с правом Свободных Штатов на существование, но только по усмотрению президента и только если Свободные Штаты поклянутся, что никогда не будут присоединять другие штаты или территории Америки и продолжат платить налоги Американскому капиталу, как если бы они были вассалами Америки.

Здесь была гравюра 1793 года, изображающая бракосочетание Эдмунда с мужчиной, с которым он жил к тому времени уже три года, с тех пор, как жена умерла родами, и это был первый законный союз между мужчинами в их новой стране, а венчал их преподобный Фоксли; еще одна гравюра, сделанная на полвека позже, запечатлела свадьбу двух самых заслуженных и верных лакеев Бингемов. Здесь был рисунок, на котором Хирам принимал присягу как мэр Нью-Йорка в 1822 году (крошечный Натаниэль, тогда совсем ребенок, стоял рядом, глядя на него с обожанием); здесь была копия письма, которое Натаниэль написал президенту Линкольну, присягая на верность Союзу в начале Повстанческой войны, и рядом оригинал письма Линкольна, в котором тот благодарит его, — это письмо так

знаменито, что любой ребенок в Свободных Штатах знает его наизусть, оно содержит обещание американского президента, подразумевающее их право на автономию, к нему обращаются снова и снова, чтобы обосновать право на существование Свободных Штатов перед Вашингтоном: “…и вы получите не только мою вечную благодарность, но и неотъемлемое признание вашей нации и ее единства с нашей”. Здесь же было и соглашение, составленное вскоре после этого письма между Американским конгрессом и конгрессом Свободных Штатов, в котором последний давал обязательство платить огромный налог Америке в обмен на абсолютную свободу в вопросах религии, образования и брака. Здесь была официальная декларация, позволившая Делавэру присоединиться к Свободным Штатам вскоре после окончания войны (добровольное решение, которое тем не менее снова поставило под удар само существование страны). Здесь был устав Союза аболиционистов Свободных Штатов, основанного при участии Натаниэля, который обеспечивал неграм проезд через страну и финансовую помощь, чтобы переместиться в Америку или на Север, — Свободным Штатам приходилось защищать себя от наплыва сбежавших негров;

граждане, конечно, не хотели, чтобы их земля была переполнена неграми, хоть и сочувствовали их тяжкой доле.

Америка была не для всех — не для них, — и все-таки повсюду были напоминания о кропотливой неустанной работе, которая велась и до сих пор ведется, чтобы умилостивить Америку, чтобы Свободные Штаты оставались автономными и независимыми. Здесь были ранние чертежи арки, которая увенчает Вашингтонскую площадь и будет тоже воздвигнута в честь генерала Джорджа Вашингтона, — через пять лет первая арка была построена из дерева и гипса ближайшими соседями Бингемов; здесь же были и последующие чертежи арки, которую теперь предполагалось построить из сверкающего мрамора, добываемого на земле Бингемов в Вестчестере, и за которую заплатил главным образом дедушка Дэвида — ему претила мысль, что его обойдет какой-то мелкий делец, живущий с другой стороны от Пятой авеню в не слишком роскошном доме.

Все это Дэвид видел уже много раз, но все равно, как и остальные, обнаружил, что внимательно изучает каждый экспонат, как будто все это для него внове. И в самом деле, в зале царила тиши-

на, слышалось лишь шуршание женских юбок и иногда покашливание мужчин. Он изучал угловатый почерк Линкольна — чернила выцвели до цвета темной горчицы, — как вдруг скорее почувствовал, чем услышал чье-то присутствие за спиной, и когда распрямился и обернулся, то увидел Чарльза, чье выражение лица колебалось между удивлением и радостью, печалью и болью.

— Это ты, — произнес Чарльз глухим, придушенным голосом.

— Чарльз, — сказал он в ответ, не зная, как продолжить, и между ними воцарилось молчание, а потом Чарльз торопливо заговорил.

— Я слышал, что ты болен, — начал он и, когда Дэвид кивнул, продолжал: — Я не хотел сваливаться тебе на голову… Фрэнсис меня пригласила… Я подумал… то есть… я не хочу ставить тебя в неловкое положение… не думай, что я хотел застать тебя врасплох.

— Нет-нет, я не думал ничего такого. Я правда был болен… Но дедушке важно было, чтобы я сюда пришел, и вот, — Дэвид беспомощно махнул рукой, — я пришел. Спасибо за цветы. Очень красивые. И за открытку.

— Не за что, — сказал Чарльз, но он казался та-

ким несчастным, таким измученным, что Дэвид чуть не шагнул к нему навстречу, ожидая, что тот сейчас упадет, но Чарльз сам шагнул к нему.

— Дэвид, — сказал он низким дрожащим голосом. — Я знаю, что сейчас не время и не место говорить об этом с тобой… Но я… Я хочу сказать… Ты… Почему ты не… Я ждал…

Он замолчал и замер, но Дэвид похолодел, ему казалось, что все вокруг чувствуют эту лихорадку, этот жар, исходящий от Чарльза, и все знают, что именно он причина этого страдания, источник этой боли. Даже испытывая ужас за Чарльза и за себя, он увидел, как сильно тот изменился — щеки обвисли, обычно круглое добродушное лицо пошло пятнами, блестело от пота.

Чарльз открыл было рот, чтобы снова заговорить, но тут к нему подошла Фрэнсис и дотронулась до его локтя.

— Боже, что с тобой, ты сейчас упадешь в обморок! Дэвид, вели кому-нибудь принести мистеру Гриффиту воды!

Толпа расступилась перед ними, она провела Чарльза к скамейке, Норрис пошел за водой.

Но прежде чем Фрэнсис увела Чарльза, Дэвид поймал ее взгляд — в нем было неодобрение, даже почти отвращение, — и он резко повернулся,

чтобы уйти, понимая, что исчезнуть надо раньше, чем Чарльз придет в себя и Фрэнсис позовет его. Пробираясь к выходу, он чуть не столкнулся с дедушкой, который смотрел за его плечо, на спину Фрэнсис.

— Что там стряслось? — спросил дедушка и, прежде чем Дэвид успел ответить, добавил: — Как, это мистер Гриффит? Ему дурно?

Он начал пробираться к Чарльзу и Фрэнсис, но по пути обернулся и оглядел зал.

— Дэвид? — спросил он в пустоту, глядя туда, где только что был его внук. — Дэвид? Где ты?

Но Дэвид уже ушел.

Глава 14

Открыв глаза, он на мгновение ощутил замешательство: где он? А потом вспомнил: да, конечно. Он у Иден и Элизы, в одной из их спален.

После побега с открытия музея два дня назад он находился в доме сестры на Грамерси-парк. От дедушки не было ни слова — хотя Иден, прежде чем отправиться утром на свои занятия, сообщила Дэвиду, что он страшно зол, — не было ничего и от Эдварда, которому он послал короткую записку, ни от Чарльза. Он был избавлен от необходимости объясняться, по крайней мере прямо сейчас.

Он умылся, оделся, сходил в детскую навестить детей, а потом спустился вниз, в гостиную, где Элиза сидела на полу в своих брюках, а ковер был покрыт лохматыми мотками пряжи, серыми шерстяными носками, стопками хлопковых ночных рубашек.

— О, Дэвид! — сказала она, поднимая голову и награждая его лучезарной улыбкой. — Иди помоги мне!

— Что делаешь, дорогая Лиза? — спросил он, устраиваясь возле нее на полу.

— Разбираю вещи для беженцев. Видишь, в

каждую связку надо положить пару носков, две ночные рубашки, два мотка пряжи и пару спиц для вязания — они в коробке возле тебя. Перевязываешь вот так, вот бечевка и нож, — а потом складываешь вот в эту коробку, возле меня.

Он улыбнулся — возле Элизы трудно было хоть немного не воспрянуть духом, — и они вдвоем принялись за дело. Когда они проработали в молчании несколько минут, Элиза сказала:

— Ты должен рассказать мне о своем мистере Гриффите.

Дэвид поморщился:

— Он не мой.

— Но он кажется очень милым. Во всяком случае, мне так показалось перед тем, как ему стало дурно.

— Да, он очень милый. — И он стал рассказывать Элизе о Чарльзе Гриффите — о его доброте и щедрости, его трудолюбии, его практичной натуре, с неожиданными всплесками романтики, о его обстоятельности, которая никогда не переходит в педантизм, об ужасных потерях, которые на него обрушились, и о благородном стоицизме, с которым он их переносит.

— Ну, по-моему, — сказала Элиза, — все это звучит просто замечательно. И кажется, он тебя

любит. Но ты — ты не любишь его.

— Я не знаю, — сознался он. — Мне кажется, нет.

— А почему?

— Потому что… — начал он и осекся, поняв, каким должен быть его ответ: потому что он не Эдвард. Потому что на ощупь, в объятиях, он не такой, как Эдвард, потому что у него нет живости Эдварда, непредсказуемости Эдварда, очарования Эдварда. В сравнении с Эдвардом надежность Чарльза кажется однообразием, обстоятельность — нерешительностью, трудолюбие — занудством. И Чарльзу, и Эдварду нужен спутник, но спутник Чарльза будет товарищем по самодовольству, по конформизму, спутник же Эдварда будет товарищем по приключениям, дерзким и храбрым. С одним Дэвид останется собой, таким, как сейчас, другой предлагает ему мечту — кем он мог бы стать. Он знает, какой будет его жизнь с Чарльзом. Чарльз станет уходить утром на работу, а Дэвид оставаться дома, и когда Чарльз вернется вечером, они тихо поужинают вместе, а потом ему придется отдать себя во власть мясистых рук Чарльза, его колючих усов, слишком пылких поцелуев и комплиментов. Иногда он будет сопровождать Чарльза на обеды с его деловыми

партнерами — красивый и богатый молодой муж мистера Гриффита, — и когда Дэвид удалится, они поздравят Чарльза с прекрасным приобретением — такой милый, такой молодой и при этом Бингем, ах ты хитрец, как тебе подфартило! — и Чарльз будет покашливать, смущенный, гордый, влюбленный, и ночью захочет быть с Дэвидом снова и снова, пришлепает в его спальню, откинет одеяло, протянет свою лапу. А потом в один прекрасный день Дэвид посмотрит в зеркало и поймет, что стал Чарльзом — та же заплывшая талия, те же поредевшие волосы, — и поймет, что отдал последние годы своей молодости человеку, который заставил его постареть раньше времени.

Но с тех самых пор, как Эдвард изложил ему свой план, Дэвиду стал являться в грезах совсем другой день. Он будет приходить после работы — он будет что-нибудь делать на шелковой ферме — учитывать деревья, зарисовывать их, заботиться об их здоровье — в бунгало, где живет вместе с Эдвардом. У них будут две спальни, каждая со своей кроватью, на случай если на них донесут или нагрянет рейд, но когда ночь опустит свой занавес над землей, они будут соединяться в одной комнате, и в этой комнате, на этой постели,

они будут делать все что пожелают, бесконечно продолжая ласки, которым предавались в пансионе. Это будет жизнь полная красок, полная любви: разве не об этом мечтает каждый? Меньше чем через два года, когда ему исполнится тридцать, он получит часть своего наследства, завещанного родителями, но Эдвард ни слова не сказал о его деньгах — он говорил только о них, об их жизни вдвоем — и как, по какой причине может он сказать нет? Да, его предки боролись и трудились, чтобы основать страну, в которой он будет свободен, но разве не стремились они и к другой свободе, разве не поощряли ее — свободе меньшей и от этого большей? Свободе быть с тем, кого желаешь, свободе ставить превыше всего собственное счастье. Он был Дэвидом Бингемом, человеком, который всегда поступает по правилам, кто всегда делает разумный выбор; теперь он начнет сначала, так же как начал его прапрадед Эдмунд, его отвага будет отвагой любви.

Эти мысли вскружили ему голову, он встал и спросил Элизу, можно ли взять ее экипаж, и она разрешила, но, когда он уходил, потянула его за рукав.

— Будь осторожен, — сказала она ласково, но он только коснулся губами ее щеки и поспешил

вниз по лестнице на улицу, понимая, что ему необходимо произнести слова, чтобы они стали реальностью, и сделать это надо раньше, чем он снова начнет размышлять.

Только по пути он осознал, что понятия не имеет, будет ли Эдвард в пансионе, но все равно отправился туда, и когда Эдвард открыл дверь, сразу же оказался в его объятиях.

— Я поеду, — услышал он свой голос, — я поеду с тобой.

О, что это была за сцена! Они оба плакали, плакали и хватали друг друга — за одежду, за волосы, так что со стороны неясно было, что это — безутешное горе или экстаз.

— Я был уверен, что ты решил не ехать, после того как ты мне не ответил, — сознался Эдвард, когда они немного успокоились.

— Не ответил?

— Да, на письмо, которое я послал четыре дня назад, — в нем я пишу, что сказал Бэлль: я не оставил надежд убедить тебя; и прошу разрешения повторить попытку.

— Я не получал такого письма!

— Нет? Но я послал его, что же с ним могло произойти?

— Я… ну, я, собственно, почти не был дома. Но…

я объясню позже.

И снова порыв страсти овладел ими.

Только много позже, когда они лежали в своей обычной позе на маленькой твердой кровати Эдварда, Эдвард спросил:

— И что сказал на все это твой дедушка?

— Видишь ли, я не сказал ему. Еще.

— Дэвид! Мой милый. Что он скажет?

Да, вот они: крошечные царапины на их счастье.

— Он смирится, — ответил Дэвид уверенно, скорее чтобы услышать собственные слова, чем потому, что на самом деле в это верил. — Рано или поздно. Это может занять некоторое время, но он смирится. И в любом случае он не может меня остановить. В конце концов, я совершеннолетний, юридически от него не завишу. Через два года я получу часть своих денег.

Эдвард подвинулся к нему ближе:

— А он не может этому помешать?

— Конечно нет — это же не его деньги, это от родителей.

Они помолчали, потом Эдвард сказал:

— Ну тебе и до этого не о чем беспокоиться. Я буду получать жалованье и позабочусь о нас обоих.

И Дэвид, которому никто никогда еще не предлагал финансовой помощи, был тронут и поцеловал запрокинутое лицо Эдварда.

— Я откладывал почти все карманные деньги с самого детства, — сказал он Эдварду. — У нас будут тысячи. Не надо тревожиться обо мне.

Он знал, что на самом деле это он позаботится об Эдварде. Эдвард захочет работать, потому что он активен и честолюбив, но Дэвид сделает их жизнь не только дерзновенной, но и уютной. У Эдварда будет пианино, у него книги и все, к чему он привык на Вашингтонской площади: восточные ковры в розовых тонах, тонкий белый фарфор, шелковая обивка на креслах. Калифорния станет их новым домом, их новой Вашингтонской площадью, и Дэвид сделает ее настолько привычной и приятной, насколько сможет.

Они лежали так весь день и вечер, и впервые Дэвиду никуда не надо было торопиться: он не должен был вздрагивать, пробуждаясь от дремы, и впадать в панику при виде темнеющего неба, судорожно одеваться и покидать манящие объятия Эдварда, чтобы запрыгнуть в экипаж и умолять кучера — “Он что, усмехается? Смеется надо мной? Как он смеет?” — гнать изо всех сил, как будто он снова школьник и опаздывает к

звонку, так что двери обеденного зала окажутся закрыты и ему придется отправиться в постель без ужина. В этот день и в эту ночь они спали и просыпались, и когда в конце концов встали, чтобы сварить яйца в котелке, Эдвард не дал ему посмотреть на карманные часы.

— Какая разница, который час? — сказал он. — Все время в мире — наше, правда?

И Дэвид принялся нарезать черный хлеб, который они поджарили на огне.

На следующий день они проснулись поздно и все говорили, говорили о своей новой жизни вместе: о цветах, которые Дэвид посадит в их саду, о пианино, которое купит Эдвард (“Но только когда мы сможем себе это позволить”, — сказал он рассудительно, и Дэвид рассмеялся. “Я куплю тебе пианино”, — пообещал он, испортив будущий сюрприз, но Эдвард покачал головой: “Я не хочу, чтобы ты тратил на меня деньги — они твои”), и как Дэвиду понравится Бэлль, а он ей. Потом настала пора Дэвиду идти на урок — его не было в последние две недели, и он пообещал начальнице, что проведет внеочередной урок во вторник вместо среды, и он заставил себя одеться и пойти к своим ученикам, которым велел нарисовать то, что им самим хочется, и курсировал по классу и,

улыбаясь, оглядывал их наброски — кривобокие лица, глазастых собак и кошек, грубо намалеванные маргаритки и розы с острыми лепестками. А потом, когда он вернулся домой, там был только что зажженный огонь, на столе — еда, которую Эдвард купил на оставленные им деньги, и сам Эдвард, которому Дэвид стал рассказывать истории о том, как провел день, — такие истории он раньше рассказывал дедушке, и теперь он покраснел, вспомнив об этом: взрослый мужчина, у которого только и компании что дедушка! Он вспомнил тихие вечера в гостиной — и как потом он уходит к себе в кабинет, рисует в своем блокноте. Это была жизнь инвалида, но теперь он здоров — теперь он излечился.

Он отослал домой экипаж Элизы и Иден с запиской, как только приехал к Эдварду, но на третий вечер раздался стук в дверь, и Дэвид, открыв, обнаружил неряху служанку с письмом, которое Дэвид взял, вложив в ее руку монетку.

— От кого это? — спросил Эдвард.

— От Фрэнсис Холсон, — нахмурился Дэвид. — Она наш семейный адвокат.

— Что ж, прочитай — я отвернусь к стенке и сделаю вид, что ушел в другую комнату, чтобы обеспечить тебе уединение.

Дорогой Дэвид,
16 марта

Я пишу, чтобы сообщить тревожные вести: мистер Гриффит заболел. В ночь открытия музея у него началась лихорадка, твой дедушка проследил, чтобы он благополучно добрался домой.

Я не знаю, что между вами произошло, но знаю, что он предан тебе, и если ты тот человек, которого я помню с самого детства, ты, конечно, отнесешься к нему с состраданием и навестишь его — насколько я понимаю, он считает, что между вами существует определенная договоренность. Он должен был уехать на Кейп-Код сразу после торжества, но вынужден был остаться. И не просто вынужден — он хотел остаться в надежде, что увидит тебя. Я надеюсь, что совесть и доброе сердце подскажут тебе пойти навстречу его желанию.

Не вижу необходимости посвящать в это твоего дедушку.

Искренне твоя,
Ф. Холсон

Фрэнсис, должно быть, узнала у Иден, где его искать, а та, несомненно, у кучера, этого предателя, хотя он не мог не чувствовать к Фрэнсис,

семейному адвокату и поверенному, благодарности за ее деликатность — пусть она и отчитала его в письме, он знал, что она ничего не скажет дедушке, она всегда питала слабость к Дэвиду, даже когда он был совсем маленьким. Он смял листок в руке, бросил его в огонь и скользнул в кровать, отметая вопросы Эдварда. Но позже, когда они снова лежали в объятиях друг друга, он стал думать о Чарльзе, и его охватили печаль и гнев: печаль относилась к Чарльзу, гнев к нему самому.

— Ты такой серьезный, — сказал Эдвард нежно, гладя его щеку. — Не хочешь рассказать мне?

И он наконец рассказал: о дедушкином плане, о предложении Чарльза, о самом Чарльзе, об их встречах, о том, как Чарльз влюбился в него. Его прежние фантазии о том, как они с Эдвардом будут смеяться над постельной неловкостью Чарльза, теперь заставляли его ежиться от стыда, но действительность оказалась совсем иной. Эдвард слушал внимательно и сочувственно, и Дэвида все сильнее терзала совесть: он ужасно обошелся с Чарльзом.

— Бедняга, — сказал Эдвард с чувством. — Дэвид, ты должен сказать ему. Если только… если только ты сам не влюблен в него?

— Конечно нет! — горячо сказал он. — Я влюблен в тебя!

— Что ж, тогда ты правда должен сказать ему, Дэвид, — прошептал Эдвард, крепче прижимаясь к нему. — Дэвид, ты должен.

— Я знаю, — сказал он. — Я знаю, ты прав. Мой дорогой Эдвард. Позволь мне побыть с тобой еще только сегодня, а завтра я пойду к нему.

И они решили поспать, поскольку, хотя им очень хотелось еще поговорить, они очень устали. Так что они задули свечи, и Дэвид думал, что ему не даст уснуть тревога из-за завтрашнего разговора, но уснул — стоило ему положить голову на единственную тонкую подушку Эдварда и закрыть глаза, как сон окутал его, словно одеяло, и все его заботы исчезли в тумане сновидений.

Глава 15

— Мистер Бингем, — сухо сказал Уолден. — Простите, что заставил вас ждать.

Дэвид весь сжался — он всегда недолюбливал Уолдена, потому что знал этот сорт людей: прибыл из Лондона, нанят Чарльзом, несомненно, за бешеные деньги, колеблется между унижением — быть дворецким у недавно разбогатевшего человека без имени — и гордостью: он такой завидный работник, что богач отыскал его за океаном и выманил работать у себя. Как всегда бывает после соблазнения, романтика вскоре выцвела, и Уолден обнаружил, что заточен где-то на вульгарных выселках в Новом Свете и работает на человека богатого, но безвкусного. Дэвид напоминал Уолдену о том, что он мог бы устроиться и получше, мог бы найти работу у кого-нибудь пусть даже недавно разбогатевшего, но все-таки не до такой степени недавно.

— Ничего страшного, Уолден, — холодно сказал Дэвид. — Я ведь не предупреждал, что явлюсь с визитом.

— В самом деле. Мы давно вас не видали, мистер Бингем.

Это было дерзкое замечание, высказанное для того, чтобы его смутить, — и он смутился, но ничего не отвечал, пока Уолден не продолжил:

— Боюсь, мистер Гриффит все еще слишком слаб. Он спрашивает — но если вы не захотите, он поймет, — не может ли он принять вас, не вставая с постели?

— Конечно, если он не возражает.

— Нет, он нисколько не возражает. Прошу вас, я думаю, вы знаете, как пройти.

Уолден держался вежливо, но Дэвид шел вслед за ним по лестнице взбешенный и краснел, вспоминая, что тот несколько раз наблюдал, как возбужденный Чарльз заводит Дэвида в спальню, приобнимая за талию, и на лице дворецкого Дэвид замечал тень насмешки, одновременно похотливой и издевательской.

У двери он прошел вперед, оставив Уолдена и его вежливый иронический поклон — “мистер Бингем” — за спиной, и ступил в комнату, где занавески были задернуты, скрывая позднее утреннее небо, а свет исходил лишь от единственной лампы возле кровати Чарльза. Вокруг валялись разбросанные бумаги, а на коленях у него громоздился маленький столик с чернильницей и пером, который он при виде Дэвида

отставил в сторону.

— Дэвид, — тихо сказал он. — Подойди, дай посмотреть на тебя. — Он протянул руку и зажег лампу с другой стороны кровати, и Дэвид приблизился и переставил стул поближе.

Он был удивлен, что Чарльз так плохо выглядит: лицо и губы его посерели, перерезанные морщинами мешки под глазами набухли, редкие волосы растрепались, и, видимо, это изумление выразилось у него во взгляде, потому что Чарльз коротко и криво улыбнулся и сказал:

— Надо было предупредить тебя, в каком я виде.

— Нет-нет, — ответил Дэвид. — Тебя видеть всегда приятно.

И от таких слов, одновременно правдивых и лживых, Чарльз, словно понимая это, поморщился.

Он боялся — а позже признался себе, что и надеялся тоже, — что Чарльз страдает от любви, от любви к нему, так что, когда тот объяснил свою слабость болезнью и кашлем, Дэвид испытал легкий и непрошеный укол разочарования вкупе с более основательным чувством облегчения.

— Ничего похожего у меня не было уже много лет, — сказал Чарльз. — Но, надеюсь, худшее

уже позади, хотя спускаться и подниматься по лестнице мне все еще тяжело. Боюсь, я оказался заключен по большей части в этой комнате и в кабинете, возился, — он кивнул на груду бумаг, — со счетами и конторскими книгами да писал письма.

Дэвид начал было говорить что-то сочувственное, но Чарльз прервал его жестом не то чтобы недобрым, но не терпящим возражений.

— Не стоит, — сказал он. — Спасибо, но мне лучше, я уже пошел на поправку.

Наступило долгое молчание, на протяжении которого Чарльз смотрел на него, а Дэвид смотрел в пол, и заговорили они одновременно.

— Прости, — сказали они друг другу, и потом, тоже вместе, — прошу тебя, говори.

— Чарльз, — начал он. — Ты замечательный человек. Мне так нравится беседовать с тобой. Я восхищаюсь не только твоей добротой, но и мудростью. Мне всегда льстил — и льстит — твой интерес и твоя привязанность. Но… я не могу стать твоим мужем. Даже по отношению к человеку грубому или эгоистичному мои поступки все равно выглядели бы недопустимыми, а по отношению к тебе они попросту отвратительны. У меня нет никаких объяснений, мне нечем себя

оправдать. Я был и остаюсь решительно неправ, и стыд за причиненную тебе боль не покинет меня до конца моих дней. Ты заслуживаешь гораздо лучшего, чем я, в этом нет никаких сомнений. Я надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь простить меня, хотя рассчитывать на такое не могу. Но я всегда буду желать тебе только самого лучшего — в этом можно не сомневаться.

Он не знал, что скажет, даже когда уже поднимался по лестнице. Какой-то сезон извинений, подумал он: Чарльз извиняется перед ним за то, что не писал; Эдвард перед ним, опять-таки что не писал; теперь он извиняется перед Чарльзом. Оставалось принести еще одно извинение — дедушке, но об этом он думать не мог, не сейчас.

Чарльз молчал, и некоторое время они сидели, окруженные отзвуками слов Дэвида, и когда Чарльз наконец заговорил, глаза его были закрыты, а голос надломленно хрипел.

— Я знал, — сказал он, — я знал, каков будет твой ответ. Знал и готовился к этому целыми днями — неделями, если уж не обманывать себя. Но услышать это из твоих уст… — Он умолк.

— Чарльз, — мягко произнес Дэвид.

— Скажи мне… впрочем, нет, не говори. Но, Дэвид, я понимаю, что я старше тебя, что даже на

четверть не так хорош собой. И все же я многое обдумал в преддверии этого разговора, и, может быть, мы все-таки сможем быть вместе, если… если ты будешь при этом искать удовольствия с другими.

Он не сразу понял, что Чарльз имеет в виду, а когда понял, предложение его глубоко тронуло, и он вздохнул.

— Чарльз, ты очень красивый, — солгал он, на что Чарльз печально улыбнулся и ничего не ответил. — И очень добрый. Но ты не захочешь жить в таком браке.

— Да, — признал Чарльз, — не захочу. Но если это единственная возможность быть с тобой…

— Чарльз… я так не могу.

Чарльз вздохнул и повернул голову на подушке. Он некоторое время молчал. Потом:

— Ты любишь другого?

— Да, — ответил он, и этот ответ ошеломил их обоих. Как будто он выкрикнул что-то ужасное, какое-то грязное ругательство, и ни один из них не знал, как реагировать.

— Давно? — наконец спросил Чарльз тихим, бесцветным голосом. А потом, когда Дэвид не ответил: — До нашей близости? — И еще потом: — Кто он?

— Недавно, — пробормотал Дэвид. — Нет. Никто. Человек, которого я встретил. — Он предавал Эдварда, низводя его до никого, до безымянной фигуры, но понимал, что следует поберечь чувства Чарльза, что достаточно упомянуть о существовании Эдварда, не входя в подробности.

Снова молчание, и затем Чарльз, лежавший на подушках, отвернув лицо от Дэвида, приподнялся, зашуршав простынями.

— Дэвид, я должен тебе кое-что сказать, иначе потом никогда себе не прощу, — начал он медленно. — Я не могу не отнестись к твоему признанию в любви к другому человеку всерьез, как бы больно мне ни было — а мне больно. Но я уже некоторое время думал, не… не боишься ли ты. Если не брака, то нужды скрывать от меня свои тайны, не это ли насторожило тебя и заставило отстраниться. Я знаю про твои приступы болезни, Дэвид. Не спрашивай, от кого, но я уже некоторое время о них знаю и хочу сказать тебе — хотя, возможно, и даже наверное, это следовало сделать раньше, — что такое знание никогда не удерживало меня от желания видеть тебя моим мужем, от желания прожить с тобой жизнь.

Он был рад, что сидит, потому что чувствовал, что сейчас упадет в обморок или что похуже,

словно с него сорвали всю одежду и он оказался посреди Юнион-сквер, окруженный толпой, которая улюлюкает и указывает пальцами на его наготу, бросая склизкие листья подгнившей капусты ему в лицо, а вокруг фыркают ломовые лошади. Чарльз был прав: разбираться, кто выдал его тайну, смысла не было. Он понимал, что это не члены его семьи, сколь бы прохладны ни были его отношения с братом и сестрой; подобные сведения почти всегда распространяют слуги, и хотя у Бингемов персонал был благонадежен — некоторые работали на семью десятилетиями, — всегда могли найтись немногие отправившиеся искать работу получше; впрочем, даже они обычно не сплетничали в своем кругу. Но хватило бы и одной горничной, которая разговорится со своей сестрой, одной посудомойки, поступившей в другое семейство, которая шепнет воздыхателю, одного кучера в другом доме, который поделится секретом со вторым камердинером, который, в свою очередь, расскажет своему воздыхателю, поваренку, который, чтобы выслужиться перед хозяином, донесет самому повару, который позже проболтается бывшему другу и вечному сопернику, дворецкому, человеку, который отвечает за гармонию домохозяйства и мелкие радости

поварской жизни даже больше самого хозяина и который затем, проводив молодого хозяйского приятеля, отправившегося к себе на Вашингтонскую площадь, постучит хозяину в дверь, дождется разрешения войти и, откашлявшись, начнет: “Простите, сэр, я долго думал, стоит ли мне что-нибудь говорить, но я чувствую, что это мой нравственный долг”, — и хозяин, раздражаясь, но не удивляясь очередной драме из тех, что так дороги сердцу слуг, понимая, как им одновременно противно и сладко находиться в такой близости от самых интимных сторон жизни своих хозяев, ответит: “Так что? Выкладывайте, Уолден”, — и Уолден, склонив голову в притворном смирении, а также чтобы скрыть улыбку, которую не сумел сдержать на своих длинных тонких губах, скажет: “Дело касается молодого мистера Бингема, сэр”.

— Ты мне угрожаешь? — прошептал он, справившись наконец с собой.

— Угрожаю? Нет, Дэвид, конечно же нет. Как ты можешь думать такое. Я лишь хотел тебя уверить, что если ты, по понятным причинам, не можешь раздумывать о собственном прошлом без опаски, тебе нечего бояться, я со своей стороны…

— Ничего не сделаешь. Ты забываешь, что я все

равно Бингем. А ты кто? Ты никто и ничто. Да, у тебя есть деньги. Может быть, даже какая-то репутация в Массачусетсе. Но здесь? Никто не станет тебя даже слушать. Никто тебе в жизни не поверит.

Эта злобная тирада повисла в воздухе, и долго ни один из них не говорил ни слова. А потом, быстрым, неожиданным движением, настолько неожиданным, что Дэвид вскочил, ожидая удара, Чарльз отбросил покрывала и встал, схватившись рукой за спинку кровати, чтобы удержаться на ногах, и когда он заговорил, голос его звучал металлом — Дэвид никогда не слышал такого его голоса:

— Видимо, я ошибался. Ошибался в том, что может тебя пугать. И вообще ошибался в тебе. Но теперь я сказал все, что хотел, и больше нам разговаривать нет нужды. Я желаю тебе всего хорошего, Дэвид. Поверь. Я надеюсь, что тот, кого ты любишь, любит тебя в ответ, и всегда будет любить, и вам суждена долгая совместная жизнь, и в моих летах ты не окажешься в моем положении, идиотом, что стоит в пижаме перед молодым красавцем, которому доверился всем сердцем, считал порядочным и добрым человеком и который оказался не тем и не другим, а

лишь избалованным ребенком.

Он отвернулся.

— Уолден тебя проводит, — сказал он, но Дэвид, с первых же его слов с ужасом осознавший, что наделал, попросту замер на месте. Прошло несколько секунд, и, поняв, что Чарльз больше не повернется к нему, он тоже развернулся, подошел к двери, не сомневаясь, что за порогом Уолден ждет, прижав ухо к деревянной поверхности, с улыбкой на устах, и уже представляет, как станет живописать эту примечательную сцену товарищам за вечерней трапезой на нижнем этаже.

Глава 16

Он вышел из дома в трансе и оторопело остановился. Мир вокруг был невероятно ярок: небо буйно-синее, птицы угнетающе голосистые, запах лошадиного навоза, даже на холоде, неприятно жгучий, стежки его лайковых перчаток такие аккуратные, миниатюрные и многочисленные, что, начни он их считать, быстро сбился бы.

Внутри у него бушевал водоворот, и чтобы этому противостоять, он закрутил другой, стал останавливать экипаж около каждого магазина, сорить деньгами, как никогда не сорил, покупая коробки с хрупкими, бледно-снежными меренгами; кашемировый шарф, черный, как Эдвардовы глаза; целый бушель апельсинов, крепких, душистых, как бутоны; банку кавьяра, где каждая икринка мерцала как жемчужина. Он тратил сумасбродные деньги и покупал только сумасбродные вещи — среди них не было такого, без чего нельзя обойтись, да и к тому же большая часть успеет испортиться и заплесневеть, прежде чем до них доберутся. Он покупал и покупал, что-то оставлял при себе, но по большей части отсылал прямо к Эдварду, поэтому, когда он на-

конец добрался до Бетюн-стрит, ему пришлось ждать у крыльца, пока двое развозчиков с трудом протащат цветущее кинкановое деревце через дверной проем, а еще два выйдут, унося пустой ящик из-под большого лиможского чайного сервиза с изображениями африканских зверей. Наверху Эдвард стоял в центре своей комнаты, потирая оба виска ладонями, и указывал — без особого успеха, — куда поставить деревце.

— О боже, — повторял он. — Поставьте, пожалуй, тут — нет, может, вот тут. Хотя нет, туда тоже не надо… — И, увидев Дэвида, он вскрикнул с изумлением, облегчением и, возможно, досадой.

— Дэвид! — сказал он. — Милый мой! Что это все значит? Нет-нет, вот сюда, наверное… — Это развозчикам. — Дэвид! Родной мой, ты так поздно. Где ты был?

В ответ на это Дэвид стал опустошать карманы и бросать их содержимое на кровать: кавьяр, треугольник белого стилтона, маленькую деревянную коробочку со своим любимым засахаренным имбирем, конфеты с ромом внутри, завернутые по отдельности в обертки веселых расцветок, — все сладкое, ароматное, призванное только доставлять удовольствие, заговаривать тоску, окутывавшую его подобно облаку. Он был

в таком лихорадочном состоянии, что каждая покупка оказалась размножена: не одна плитка шоколада с крыжовником, а две; не один кулек засахаренных каштанов, а три; не одно тонкое шерстяное одеяло в тон тому, которое он уже покупал Эдварду, а еще два.

Но это они со смехом обнаружили, только когда наелись до отвала, когда уже слегка пришли в себя — раздетые, но потные, несмотря на влажную прохладу комнаты, лежа на полу, потому что постель была завалена свертками, — и оба постанывали и театрально хватались за живот от всех этих только что поглощенных сахарных и жирных сливочных яств, от копченой утки и паштета.

— Господи, Дэвид, — сказал Эдвард, — ты не пожалеешь об этом?

— Конечно нет, — сказал он, и это была правда; он раньше никогда в жизни так не поступал. Он чувствовал, что все это было необходимо: он никогда не смог бы осознать, что его состояние принадлежит ему, если бы не повел себя так, как будто оно ему принадлежит.

— В Калифорнии так жить не получится, — сонно пробормотал Эдвард, и вместо ответа Дэвид встал, нашел свои брюки, отброшенные в

дальний (не очень-то дальний) угол комнаты, и запустил руку в карман.

— Это что? — спросил Эдвард, принимая у него из рук маленький кожаный футляр и с усилием открывая крышечку. — Ох.

Там был маленький фарфоровый голубок, как живой, с крошечным клювом, раскрытым в песне, с яркими черными глазами.

— Это для тебя, потому что ты мой птенчик, — объяснил Дэвид, — и я надеюсь, что ты останешься таким всегда.

Эдвард вынул птичку из футляра и сжал ее в ладони.

— Ты делаешь мне предложение? — тихо спросил он.

— Да, — сказал Дэвид, — делаю.

И Эдвард обнял его.

— Конечно да, — сказал он, — конечно!

Никогда они не будут счастливы так, как в эту ночь. Все вокруг них и внутри них звенело радостью. Дэвид в особенности чувствовал, что заново родился: в течение одного дня он отказался от предложенного брака и сразу же сам сделал предложение. Он чувствовал себя необоримым в ту ночь, каждая частица счастья в комнате находилась здесь благодаря ему. Каждая крошка

сладости у них на языках, каждая мягкая подушка, на которую они укладывали головы, каждое дуновение аромата в воздухе — все это происходило по его велению. Все это устроил он. Но под этими победами, как темная отравленная река, струился его позор — немыслимые вещи, сказанные Чарльзу, а еще глубже — память о том, как он себя вел, как отвратительно поступил с Чарльзом, как использовал его из-за своего беспокойства и страха, алкая похвалы и внимания. А еще глубже таился призрак его дедушки, которого он предал, и никаких извинений не хватит, чтобы это загладить. Как только память обо всем этом вскипала в нем, он давил ее, засовывая очередную конфету в рот себе или Эдварду, или показывал Эдварду, чтобы тот перевернул его на живот.

И все же он понимал, что этого недостаточно, что он запятнал себя, что от этого пятна никогда не избавиться. Так что на следующее утро, когда маленькая горничная постучалась, выпучила глаза, увидев, что творится в комнате, и вручила ему немногословную и категоричную записку от дедушки, он понял, что его наконец разоблачили и теперь ничего не остается, кроме как вернуться на Вашингтонскую площадь, где придется и признать свой стыд, и провозгласить свою свободу.

Глава 17

Дома! Он отсутствовал чуть меньше недели, но каким странным уже казалось все это — странным и родным одновременно: аромат пчелиного воска и лилий, чай “Эрл Грей” и огонь в камине. И конечно, дедушкин запах: табак и цитрусовый одеколон.

Он сказал себе, что не станет волноваться, прибыв на Вашингтонскую площадь — это его дом, это будет его дом, — и все же, поднявшись на последнюю ступеньку крыльца, он заколебался: обычно он просто входил внутрь, но сейчас чуть не постучал, и если бы дверь не распахнулась (Адамс провожал Норриса), он мог бы остаться здесь навсегда. Глаза Норриса заметно расширились при виде Дэвида, но он быстро пришел в себя, пожелал ему приятного вечера, добавил, что надеется на скорую встречу, и даже Адамс, вышколенный куда лучше ненавистного Уолдена, невольно поднял брови, прежде чем сурово сдвинуть их, словно наказывая за своеволие. — Мистер Дэвид, вы прекрасно выглядите, добро пожаловать домой. Ваш дедушка у себя в гостиной.

Он поблагодарил Адамса, отдал ему шляпу и позволил взять пальто, а потом пошел наверх. По воскресеньям ужин подавали рано, и он прибыл еще раньше, дедушка должен был только что отобедать. Побыв вдали от Вашингтонской площади, он понял, как привык отмерять время этим метрономом: полдень был не просто полуднем, а временем, когда они с дедушкой завершали воскресную дневную трапезу; пять тридцать вечера были не просто пять тридцать вечера, а время ужина. Семь утра — время, когда дедушка уходит в банк; пять вечера — время, когда он возвращается. Его часы, его дни были определены дедушкой, и все годы он бездумно подчинялся этому порядку. Даже в изгнании он будет чувствовать привычную боль этих воскресных ужинов, сможет видеть ясно, словно на картине, как брат, сестра, дедушка собираются за зеркально сверкающим обеденным столом, сможет почувствовать жирную плотность жареного перепела.

Перед дедушкиной гостиной он снова остановился и помедлил, сделал глубокий вдох, прежде чем наконец тихонько постучать в дверь, и, услышав голос дедушки, вошел. При его появлении дедушка встал, что было необычно, и они оба стояли в молчании, глядя друг на друга так, словно

каждый когда-то видел другого, но забыл.

— Дэвид, — сказал дедушка без выражения.

— Дедушка, — сказал он.

Дедушка подошел к нему.

— Дай на тебя посмотреть, — произнес он, обхватил ладонями лицо Дэвида, чуть повернул его голову в одну и другую сторону, словно тайны нынешней жизни внука были написаны на его лице, потом снова опустил руки и застыл с непроницаемым выражением.

— Сядь, — сказал он, и Дэвид сел в свое обычное кресло.

Некоторое время они молчали, потом дедушка заговорил:

— Я не буду начинать с того, с чего мог бы: с упреков, с вопросов, хотя не могу обещать, что удержусь от того и другого в ходе нашей беседы. Но сейчас я хочу показать тебе две вещи.

Он смотрел, как дедушка тянется к коробке, стоящей на столе, и достает оттуда пачку писем, дюжины писем, перевязанные бечевкой, и, взяв их в руки, Дэвид увидел, что на них стоит имя Эдварда, и поднял глаза в гневе.

— Нет, — сказал дедушка, прежде чем он смог заговорить. — Не смей.

И Дэвид, несмотря на ярость, торопливо развя-

зал бечеву на первой пачке, не сказав ни слова. В первом конверте оказалось первое из писем, которое он написал Эдварду, когда тот уехал, чтобы повидать сестер, и на отдельном листке — ответ Эдварда. Раскрыв второй конверт, он увидел еще одно свое письмо и ответ на него. И третье, и четвертое, и пятое — Эдвард ответил на все его письма, когда-то оставшиеся без ответа. Читая, он не мог удержаться от торжества, руки его дрожали — от романтичности этого жеста, от того, как необходимы были ему эти ответы, от жестокости, с которой их от него скрывали, от облегчения, что конверты остались невскрытыми и читает письма он один. Здесь было и то письмо, о котором Эдвард говорил, написанное за два дня до открытия музея, когда Дэвид лежал в постели, отупевший, страдающий, и вот оно, это письмо, и еще множество других. Это ли не доказательство любви Эдварда, его преданности — в каждом слове, в каждом листке тонкой бумаги; вот почему он не получал вестей от Эдварда во время своего заточения: Эдвард писал ему все эти письма. Он внезапно увидел самого себя на постели, как он лежал, уставившись на пятно, а к западу отсюда, в пансионе — Эдварда, скрипящего пером при свечах, рука у него затекла и болит, и каждый из

них не знает о мучениях другого, хотя думают они только друг о друге.

Его охватило бешенство, но дедушка снова заговорил раньше, чем он смог произнести хоть слово:

— Ты не должен судить меня слишком строго, дитя, хотя я прошу прощения за то, что не отдавал тебе эти письма. Но ты был так болен, так расстроен: я не хотел, чтобы что-то еще причинило тебе боль. Это был такой необычайный поток писем — я решил, что они могут быть от… от… — Он замолчал.

— Но они были не от него, — огрызнулся Дэвид.

— Теперь я это знаю, — продолжил дедушка. Лицо его было мрачным. — И это подводит меня ко второй вещи, которую ты должен прочесть. — И он снова потянулся к коробке и дал Дэвиду большой коричневый конверт, в котором находилась стопка сшитых листов, на титульном — надпись большими буквами “Конфиденциально — мистеру Натаниэлю Бингему, по его запросу”. Дэвида внезапно накрыла волна страха, и он положил листы на колени, стараясь на них не смотреть.

Но дедушка все тем же приглушенным, бесстрастным голосом сказал:

— Читай. — И когда Дэвид не пошевелился: — Читай.

Глубокоуважаемый мистер Бингем,
17 марта 1894 г.

Мы завершили работу над заказанным нам отчетом о господине Эдварде Бишопе; подробности жизни рассматриваемого лица изложены ниже.

Рассматриваемое лицо родилось 2 августа 1870 года под именем Эдвард Мартинс Ноултон в Саванне, Джорджия, в семье Фрэнсиса Ноултона, школьного учителя, и Сарабет Ноултон, урожденной Мартинс. У Ноултонов был еще один ребенок, дочь Изабель (известная как Бэлль) Харриет Ноултон, родившаяся 27 января 1873 года. Мистер Ноултон был уважаемым учителем, но отличался неизлечимой и всем известной склонностью к азартной игре, отчего семья нередко оказывалась в долгах. Ноултон одалживался у многочисленных родственников — как со своей стороны, так и со стороны супруги; однако когда обнаружилось, что он расхищает средства из школьной казны, его отставили и пригрозили тюремным заключением. Тогда же выяснилось, что Ноултон задолжал намного больше, чем было известно его семейству, — он назанимал в общей

сложности несколько сотен долларов, не имея никакой возможности расплатиться.

За день до привлечения к судебной ответственности Ноултон сбежал вместе с женой и обоими детьми. Соседи обнаружили, что дом остался почти нетронутым, хотя признаков спешного бегства нашлось немало: кладовку переворошили в поисках бакалейных товаров, ящики кухонных шкафов оставили открытыми. На лестнице валялся забытый детский носок. Власти немедленно начали розыск, но, по всей вероятности, Ноултон нашел приют в одном из подпольных убежищ, ссылаясь на гонения за веру.

На этом след Ноултона и его супруги теряется. Их дети, Эдвард и Бэлль, вписаны в реестр убежища во Фредерике, Мэриленд (от 4 октября 1877 года), но уже как сироты. Согласно записям убежища, ни один из них не мог и не хотел рассказывать о том, что случилось с их родителями, хотя мальчик однажды сказал, что “их увидел человек с конем, а мы спрятались”, из чего управляющий убежищем сделал вывод, что старших Ноултонов перед самой границей Мэриленда задержал колониальный патруль, а детей потом нашел и переправил к ним какой-то добрый самаритянин.

Дети пробыли в убежище два месяца, после чего, 12 декабря 1877 года, их, вместе с другими обнаруженными в окрестностях детьми, которые остались без родителей, перевели в заведение для колониальных сирот в Филадельфии. Там их почти сразу же приняла на попечение семья из Берлингтона в Вермонте — Люк и Виктория Бишоп, у которых уже было две дочери, Лора (восьми лет) и Маргарет (девяти лет), тоже колониальные сироты, удочеренные еще в младенчестве. Бишопы были богатыми и влиятельными гражданами; мистер Бишоп владел преуспевающей лесопилкой, которой управлял совместно с супругой.

Однако хорошие отношения, поначалу сложившиеся у Бишопов с их новым сыном, вскоре омрачились. Бэлль довольно быстро привыкла к новой жизни, а вот Эдвард этому сопротивлялся. Мальчик, очень располагающий, умный и обаятельный, не выказывал, как выразилась Виктория Бишоп, “истинного трудолюбия и сдержанности”. В то время как его сестры прилежно занимались хозяйственными делами и выполняли домашние задания, Эдвард постоянно стремился уклониться от каких бы то ни было обязанностей, прибегая даже к мелочному шантажу, дабы принудить Бэлль исполнять

различные поручения вместо него. Несмотря на явную сообразительность, ученик он был посредственный; из школы его исключили за то, что он списывал во время экзамена по математике. Отличаясь пристрастием к сладостям, он неоднократно воровал конфеты из местной лавки. И все же, как подчеркивает приемная мать, сестры его обожали — особенно Бэлль, несмотря на то что он нередко злоупотреблял ее привязанностью. Миссис Бишоп утверждает, что Эдвард с невероятным терпением возился с животными, включая любимицу семьи, хромую собаку, и не без успеха пел, сочинял, много читал и всегда был весьма ласков. Хотя близких друзей у него почти не было — он предпочитал проводить время с Бэлль, — его все любили, круг его знакомых был широк, и от одиночества, как кажется, он никогда не страдал.

Когда Эдварду было десять лет, Бишопы купили пианино — мистер Бишоп в юности учился музыке; и хотя уроки давали всем детям, именно Эдвард проявил в этом занятии больше всего таланта и одаренности. “Музыка словно что-то в нем утишала”, — замечает миссис Бишоп, добавляя при этом, что они с мужем испытали “облегчение”, когда их сыну хоть что-то при-

шлось по душе. Они наняли для него учителей и радовались, что Эдвард наконец занимается чем-то с недюжинным усердием.

По мере того как Эдвард рос, Бишопам приходилось все труднее. Он оставался, как замечает мать, своего рода загадкой для них: несмотря на способности, школа наводила на него скуку, он стал пропускать занятия и снова был уличен в мелких кражах — карандашей, монет и тому подобного — у одноклассников, что приводило родителей в замешательство, ведь они никогда ни в чем ему не отказывали. После того как его исключили из трех приготовительных школ за три года, родители наняли частного преподавателя, чтобы Эдвард все-таки смог завершить образование; он не без труда сдал выпускные экзамены, после чего поступил в заштатную консерваторию в Западном Массачусетсе, где проучился лишь год, а затем, получив небольшое наследство от одного из своих дядьев, отправился в Нью-Йорк, где поселился в гарлемском доме миссис Бетесды, своей двоюродной бабки по материнской линии. Родители отнеслись к этому с одобрением: с тех пор как миссис Бетесда овдовела девять лет тому назад, она стала значительно менее крепка рассудком, и, несмотря на множество слуг в доме

— она была весьма богата, — Бишопам казалось, что присутствие Эдварда ободрит старушку, она всегда его очень любила и, будучи бездетной, в сущности, считала своим сыном.

В первую осень после того, как он бросил консерваторию, Эдвард навестил свое семейство на праздник Благодарения, и они провели вместе несколько приятных дней. Когда Эдвард уехал обратно в Нью-Йорк и его сестры тоже разъехались кто куда — Лора и недавно вышедшая замуж Маргарет жили в Берлингтоне, неподалеку от родителей, а Бэлль собиралась поступать в сестринскую школу в Нью-Гемпшире, — миссис Бишоп решила прибраться в доме и обнаружила, что из спальни пропало ее любимое колье — крупная жемчужина на золотой цепочке, — подаренное мужем на годовщину свадьбы. Она немедленно принялась искать драгоценность, но спустя несколько часов, проверив все возможные закутки, так и не нашла. Тогда-то она поняла, куда ожерелье могло исчезнуть — точнее, кто мог бы его исчезнуть; и, словно для того, чтобы отогнать подобную мысль, она принялась перебирать и заново складывать все мужнины носовые платки, в чем, разумеется, никакой необходимости не было, однако ей казалось, что заняться этим

она обязана.

Ей было слишком страшно спрашивать Эдварда, брал ли он колье, и мужу сказать об этом она тоже не решалась — муж относился к их сыну гораздо менее снисходительно, чем она, и, по ее убеждению, мог сказать что-нибудь, о чем потом пожалеет. Она дала себе обет не подозревать сына ни в чем, но пришло Рождество, снова приехали дети, а потом уехали, и с ними — точнее, с одним из них — исчез, как она немного позже обнаружила, филигранный серебряный браслет, и подозрения снова охватили ее. Она не понимала, почему Эдвард просто не скажет ей, что нуждается в деньгах, — она дала бы ему денег, даже против воли мужа. Но к следующему приезду Эдварда она спрятала все, что легко отыскать, в шкатулку, а шкатулку — глубоко в недра сундука с запором, а сундук — в стенной шкаф, скрыв, таким образом, драгоценности от собственного сына.

О нынешней жизни Эдварда она почти ничего не знала. От знакомых она слышала, что он поет в ночном клубе, и это ее беспокоило — не оттого, что она тревожилась за репутацию семьи, а оттого, что сын, несмотря на весь свой ум, так молод и, как ей казалось, может подпасть под дурное

влияние. Она писала ему письма, но отвечал он редко, и когда известий от него не было, она старалась не задаваться вопросом, знает ли она его вообще. По крайней мере, она знала, что он у ее тетушки, и хотя с разумением у Бетесды становилось все хуже, время от времени та все-таки писала внятные письма, в которых отзывалась о своем внучатом племяннике и его присутствии в доме с теплом и благодарностью.

А потом, тому назад два года с небольшим, ее отношения с Эдвардом пришли к концу. Она получила паническую телеграмму от поверенного тетки, который писал, что банк Бетесды известил его о снятии крупных сумм со счета. Миссис Бишоп немедля отправилась в Нью-Йорк, где в ходе нескольких удручающих встреч ей открылось, что на протяжении целого года Эдвард списывал все более значительные суммы с трастового счета тетки; расследование, проведенное банком (спешу успокоить: это один из ваших конкурентов), выявило, что Эдвард соблазнил помощника попечителя Бетесды Кэрролл, некрасивого и легковерного юношу, который сразу же признался: он осознанно нарушил служебные правила, чтобы дать Эдварду доступ к средствам — речь шла о нескольких тысячах долларов, хотя миссис

Бишоп отказалась назвать точную сумму. Придя к тетке, миссис Бишоп обнаружила, что в смысле ухода она ни в чем не нуждается, но совершенно не понимает ни где находится, ни даже кто, собственно, такой Эдвард; обнаружила она также, что некоторые мелочи — предметы серебра и фарфора, теткино бриллиантовое колье — пропали. Я спросил, почему она убеждена, что это сделал ее сын, а не кто-либо из многочисленных теткиных слуг и работников, и тут она заплакала и сказала, что все они служили у тетки долгие годы и ничто никогда не пропадало; единственным новым человеком в теткиной жизни, призналась она сквозь слезы, был ее сын.

Но где, собственно, был ее сын? Он как будто исчез. Миссис Бишоп разыскивала его и даже наняла частного детектива, но до срока, когда ей пришлось вернуться в Берлингтон, его так и не обнаружили.

На протяжении всего этого времени она с успехом скрывала деяния Эдварда от мужа. Однако теперь, когда они перешли границу, став преступными, ей пришлось признаться. Как она и опасалась, муж пришел в ярость, заявил, что не считает больше Эдварда своим сыном, и, призвав дочерей, рассказал им о злодеяниях их брата и

запретил вступать с ним в какие бы то ни было сношения. Все три девушки плакали — брата они любили; Бэлль была особенно удручена.

Мистера Бишопа это не тронуло. Они не должны больше с ним разговаривать, а если он попробует с ними связаться, они не должны отвечать. “Мы совершили ошибку, — сказал он, по свидетельству жены, и хотя он сразу же добавил: — К тебе, Бэлль, это не относится”, — миссис Бишоп говорит: “Я взглянула ей в лицо и поняла: этого уже не исправить”.

Будь им даже позволено связаться с Эдвардом, сделать этого они бы не смогли — казалось, он бесследно исчез. Детектив, нанятый его матерью, продолжал поиски, но пришел к выводу, что он, видимо, уехал из города, вероятно, из штата или даже вообще из Свободных Штатов. На протяжении почти года о нем никто ничего не слышал. А потом, примерно полгода назад, детектив снова написал миссис Бишоп: ему посчастливилось установить местонахождение Эдварда. Тот жил в Нью-Йорке, играл на пианино в ночном клубе возле Уолл-стрит, куда любили ходить богатые молодые люди из приличного общества, и снимал комнату в пансионе на Бетюн-стрит. Эта новость ошарашила миссис Бишоп: в пансионе!

Куда же делись деньги, все средства, которые он стащил у ее тетки? Неужели Эдвард — игрок, как его покойный отец? Она не замечала у него таких наклонностей, но, понимая, что далеко не все знает о сыне, и это не считала невероятным. Она велела детективу следить за передвижениями Эдварда на протяжении недели, чтобы понять, прояснят ли что-нибудь его повседневные действия, но никаких сведений раздобыть не удалось: Эдвард ни разу не заходил в банк и в игорные заведения тоже не наведывался. Перемещался он исключительно между своим обиталищем и роскошным домом возле парка Грамерси. Это оказался дом мистера Кристофера Д. (я не указываю его фамилии, чтобы уберечь приватность самого джентльмена и его семьи), родовитого джентльмена двадцати девяти лет от роду, живущего со своими пожилыми родителями, мистером и миссис Д., владельцами торгового предприятия и людьми весьма состоятельными. Детектив описал молодого мистера Д. как человека “одинокого” и “скромного”, и, похоже, Эдварду Бишопу не составило труда его соблазнить — так успешно, что мистер Д. сделал ему предложение (которое было принято) спустя всего три месяца после знакомства.

Судя по всему, родители Кристофера, прознав об этом и выказывая решительное неодобрение, призвали Эдварда на встречу, на которой предложили ему работу учителя в известном им благотворительном учреждении, а также некоторое денежное вознаграждение в обмен на его обещание полностью оборвать всякую связь с их сыном и наследником. Эдвард согласился, деньги были получены, и он больше не давал о себе знать молодому мистеру Д., который, как сообщается, до нынешних пор “не находит себе места” и, по словам детектива Бишопов, не раз, все более отчаянно, пытался разыскать бывшего жениха. (Я должен с прискорбием заметить, что благотворительное учреждение, о котором шла речь, — это Благотворительная школа и приют Хирама Бингема, где до февраля Эдвард Бишоп работал учителем музыки.)

Тут мы подходим к тому, как обстоят дела с мистером Бишопом в настоящее время. По словам начальницы приюта, мистер Бишоп — которого она пренебрежительно описала словами “ломака” и “фифа”, признавая при этом, что он тем не менее пользовался невероятной любовью учеников — “К сожалению, он оказался самым популярным учителем за всю историю заведе-

ния", — попросил в конце января, чтобы ему позволили отлучиться и проведать больную мать в Берлингтоне. (Что, конечно, ложь, поскольку миссис Бишоп пребывает и всегда пребывала в полном здравии.) Эдвард в самом деле отправился на север, но и здесь его слова разошлись с истинным положением вещей. Сначала он остановился у своих бостонских приятелей — Куков, брата и сестры, которые делают вид, что они молодые супруги, по причинам, к которым я вернусь ниже. Затем он отправился в Манчестер, где в пансионе хорошей репутации жила и завершала свое сестринское образование Бэлль. Судя по всему, несмотря на отцовские увещевания, Бэлль не прерывала связи с Эдвардом после его изгнания из лона семьи и даже посылала ему часть своего ежемесячного содержания. Что происходило между братом и сестрой — не вполне ясно, но в конце февраля, не меньше чем на неделю позднее срока, когда Эдвард обещал начальнице вернуться, они отправились в Берлингтон, где, видимо, Бэлль надеялась примирить брата и отца. Младшая из их старших сестер, Лора, недавно стала матерью, и Бэлль, скорее всего, предполагала, что новоиспеченные бабушка с дедушкой в своем благодушном настроении смогут простить

Эдварда.

Стоит ли говорить, что визит обернулся не так, как они ожидали. Увидев своего блудного сына, мистер Бишоп разъярился; последовала ожесточенная перепалка; к тому времени мистер Бишоп уже знал о том, что сын воровал у его жены драгоценности и личные вещи, в чем и обличил Эдварда. Услышав это, Эдвард внезапно бросился на мать, которая и поныне считает, что он просто был взволнован происходящим и не имел намерения причинить ей вред, однако мистер Бишоп, разъярившись, ударил сына, и тот ответным ударом повалил его на пол. Завязалась драка, все женщины пытались растащить мужчин, и в потасовке миссис Бишоп получила удар в лицо.

Неясно, Эдвард ли нанес этот случайный удар, но это уже не имело никакого значения: мистер Бишоп приказал Эдварду убираться, а Бэлль объявил, что у нее есть выбор: она может остаться в семье или уйти с братом — либо одно, либо другое. К великому изумлению Бишопов, она без единого слова отвергла воспитавшую ее семью. (Такова, со слезами сообщила мне миссис Бишоп, сила обаяния Эдварда, тех чар, которыми он умеет опутать соблазненных.)

Эдвард и Бэлль — которая теперь полностью

зависела от брата — бежали. Они вернулись в Манчестер, чтобы забрать вещи (и, без сомнения, деньги) Бэлль и отправились оттуда в Бостон к Кукам. Как и Бишопы, Куки были сироты из Колоний; как и Бишопов, их взяло на воспитание богатое семейство. Вероятно, Обри Кук, брат, познакомился с Эдвардом в Нью-Йорке, когда тот жил у тети Бетесды, и завязал с ним отношения — по всем сведениям, глубоко страстные и непритворные, — продолжающиеся по сию пору. Обри был (и остается) в высшей степени представительным мужчиной лет двадцати семи, образованным, сведущим в нравах приличного общества; ничто не препятствовало их с сестрой благополучной жизни. Однако когда Обри было двадцать, а его сестре Сусанне девятнадцать, их родители погибли в дорожном происшествии, и после произведения всех расчетов оказалось, что денег, на которые дети рассчитывали, после долгих лет неудачных вложений и непосильных долгов, в сущности, не осталось вовсе.

Иной обратился бы в таких обстоятельствах к честному труду, но не таковы оказались Обри и Сусанна. Вместо этого под видом молодоженов они по отдельности стали выискивать страдающих от одиночества женатых и замужних

мужчин и женщин, не разбирая пола, — очень состоятельных, нередко вступивших в брак по расчету, — и предлагать им свою дружбу и общение. Стоило тем влюбиться, Куки начинали требовать от них денег, угрожая в противном случае раскрыть все их супругам. Жертвы — все до единой — платили, опасаясь последствий и стыдясь собственной легковерности, благодаря чему Куки собрали немалую сумму, которую, видимо, вместе с деньгами, украденными Эдвардом у тетки и выплаченными родителями несчастного мистера Д., они намеревались использовать для устройства шелководческого производства на Западе. Мои источники указывают, что Эдвард вместе с Куками строил такие планы не меньше чем на протяжении года; их замысел заключался в том, что, памятуя о законах 76-го, Эдвард фиктивно женится на Сусанне Кук, а Бэлль выйдет замуж за Обри.

В ноябре прошлого года, когда план был готов к осуществлению, почти все шелковицы уничтожила гниль. Обри и Эдвард в замешательстве постановили, что попробуют отыскать какой-то еще способ раздобыть средства. Они понимали, что разоблачение мошенничества Куков, которое поставит их перед лицом серьезных судебных

неприятностей, — вопрос времени, и только. Им нужна была лишь сумма, достаточная для того, чтобы основать хозяйство и продержаться первые несколько лет.

А потом, в январе нынешнего года, Эдвард Бишоп познакомился с вашим внуком.

Глава 18

Письмо продолжалось, но дальше он читать не мог. Он и без того уже так сильно дрожал — а в комнате стояла такая тишина, — что ему был слышен сухой, громкий шелест бумаги в руках, собственные короткие, прерывистые вздохи. Ему казалось, что его огрели по голове чем-то плотным, но податливым, вроде подушки, и оставили задыхаться в полной растерянности. Он помнил, что выпустил страницу из пальцев, что встал, шатаясь, и начал было валиться вперед, что потом кто-то — дедушка, о чьем присутствии он почти забыл, — подхватил его и осторожно усадил на кушетку, вновь и вновь повторяя его имя. Он услышал — как будто издалека, — что дедушка зовет Адамса, и, придя в себя, обнаружил, что снова сидит, а дедушка протягивает прямо к его губам чашку чаю.

— Тут имбирь и мед, — сказал дедушка. — Пей потихоньку. Вот, отлично. Молодец. А вот паточное печенье — удержишь? Отлично.

Он закрыл глаза и откинул голову. Вот он снова Дэвид Бингем, он слаб, дедушка за ним ухаживает, он словно бы и не читал доклад част-

ного детектива, не узнал все заключенное в тех страницах, знать не знал никакого Эдварда. Он запутался. Это опасно. Но не мог, как ни старался, отделить одну нить рассказа от другой. Казалось, будто он пережил происходящее, а не прочитал о нем, и в то же время рассказанное как будто не имело никакого отношения ни к нему, ни к тому Эдварду, которого он знал, — а ведь это, в сущности, и есть та единственная ипостась Эдварда, которая имеет значение. Он только что узнал некую историю, которая оказалась якорем, стремительно буравящим воду на протяжении многих тысяч лье, падающим, падающим, пока его не окутает океанский песок на дне. И над всем этим витало лицо Эдварда, глаза Эдварда, Эдвард поворачивался к нему и спрашивал — “Ты любишь меня?” — и тело его взмывало над водой, как птица, а голос сносило ветром. “Ты доверяешь мне, Дэвид? — спрашивал этот голос, голос Эдварда. — Ты веришь мне?” Он вспомнил, как тело Эдварда прикасалось к его телу, как вспыхнуло радостью его лицо, когда он увидел Дэвида на пороге, как он дотронулся до кончика его носа и сказал, что через год там появятся веснушки, маленькие точечки карамельного цвета, дар калифорнийского солнца.

Он открыл глаза и посмотрел прямо в суровое, благородное дедушкино лицо, в его кремнисто-серые глаза, и понял, что должен ответить, и когда ответил, его слова удивили их обоих: Дэвида — потому, что он понял, что на самом деле чувствует, дедушку — потому, что он не хотел этого признавать, но тоже понял.

— Я этому всему не верю, — сказал он.

На его глазах обеспокоенное выражение на дедушкином лице сменилось изумленным.

— Не веришь? Не веришь? Дэвид… я просто не знаю, что сказать. Ты понимаешь, что этот отчет составил Гуннар Уэсли, лучший частный детектив города, если не всех Свободных Штатов?

— Но он ведь и раньше ошибался. Разве он не упустил пребывание мистера Гриффита на Западе? — Но, уже произнося это, он понял, что упоминать Чарльза не следовало.

— Господи, Дэвид. Это мелочь. И мистер Гриффит совершенно не собирался ничего скрывать — недосмотр Уэсли был просто недосмотром и никому не причинил никакого вреда. А все сведения, которые он собрал, — все они были верны. Дэвид, Дэвид. Я не сержусь. Поверь мне. Я рассердился, когда получил этот отчет. Но не на тебя, а на этого… афериста, который тобой пользуется.

Или, по крайней мере, пытался воспользоваться. Дэвид. Дитя мое. Я понимаю, что тебе нелегко такое читать. Но разве не лучше узнать об этом сейчас, пока до серьезного вреда дело не дошло, пока вашим отношениям с мистером Гриффитом не нанесено большого ущерба? Если бы он узнал, что ты связываешься с людьми подобного сорта…

— Мистеру Гриффиту до этого не должно быть никакого дела, — услышал он свой голос — незнакомый голос, холодный и отрывистый.

— Никакого дела?! Дэвид, он идет тебе навстречу — семимильными шагами, надо сказать. Но даже столь преданный человек, как мистер Гриффит, не сможет закрыть глаза на такое. Уж поверь мне, до этого ему было бы дело!

— Ему нет и не будет до этого дела, потому что я отверг его предложение, — сказал Дэвид и в скрытой глубине своей души ощутил твердую сердцевину ликования, ибо дедушка в немом изумлении отшатнулся, словно его ошпарили.

— Отверг? Когда ты успел, Дэвид? И почему?

— Недавно. И — предупреждая твой вопрос — нет, о том, чтобы передумать, не может быть речи, ни для меня, ни для него, потому что все закончилось не то чтобы мирно. А почему — на

это ответ простой: я его не люблю.

— Ты не… — Тут дедушка внезапно встал и отошел в дальний угол комнаты, прежде чем снова повернуться лицом к Дэвиду. — При всем моем уважении, Дэвид, не тебе об этом судить.

Он услышал собственный смех — громкий, уродливый лай.

— А кому же? Тебе? Фрэнсис? Мистеру Гриффиту? Я взрослый человек. В июне мне будет двадцать девять. Только мне об этом и судить. Я люблю Эдварда Бишопа и буду с ним, и мне не важно, что скажешь ты, или Уэсли, или кто угодно еще.

Он думал, что дедушка сейчас взорвется, но тот, наоборот, затих и заговорил снова, только ухватившись обеими руками за спинку своего кресла.

— Дэвид, я обещал себе, что никогда больше об этом не стану упоминать. Я дал такой обет. Но теперь я вынужден его нарушить, уже вторично за сегодняшний вечер, потому что это важно для тех обстоятельств, в которых ты очутился. Прости меня, дитя мое, — но ты уже считал себя влюбленным. А что ты ошибаешься — стало понятно позже, и самым чудовищным образом. Ты думаешь, я лгу. Ты думаешь, я не прав. Уверяю

тебя, это не так. И уверяю тебя, я отдал бы все свое состояние за то, чтобы ошибиться в мистере Бишопе. И все твое — за то, чтобы он не причинил тебе боли. Он не любит тебя, дитя мое. Он уже влюблен в другого. А любит он твои деньги, любит мысль о том, что они будут принадлежать ему. Мне больно — ведь я-то тебя люблю — говорить об этом, произносить такое вслух. Но я вынужден так поступить — я не допущу, чтобы твое сердце снова было разбито, если могу это предотвратить. Ты уже спрашивал меня, почему я хочу, чтобы ты стал мужем мистера Гриффита, и я ответил без утайки: прочитав отчет Фрэнсис, я почувствовал, что это человек, который не причинит тебе боли, которому от тебя ничего не нужно, кроме того, чтобы быть с тобой, который никогда тебя не бросит. Ты умный мальчик, Дэвид, ты тонко чувствуешь. Но в таких делах ты ведешь себя неразумно — и так было всегда, с самого детства. Я не могу ставить себе в заслугу твои дарования — но от твоих недостатков могу тебя уберечь. Я больше не в силах отослать тебя прочь — хотя если бы ты хотел, если бы для тебя это было важно, я бы с радостью так поступил. Но я могу предостеречь тебя, всеми силами, не повторять прежней ошибки.

Несмотря на уже прозвучавший дедушкин намек, он не думал, что тот станет упоминать события семилетней давности, события, которые, как ему иногда казалось, изменили его навсегда. (Хотя он и понимал, что ошибается: произошедшее словно было предопределено.) Ему шел двадцать второй год, он только что окончил колледж и, прежде чем влиться в компанию “Братья Бингемы”, записался на годичный курс в художественное училище. А потом, в начале курса, выходя из аудитории, он случайно выронил свои вещи и, наклонившись, чтобы их поднять, увидел рядом своего однокашника Эндрю, такого солнечного, такого непринужденного в своем обаянии, что Дэвид, заметив его еще в первый день занятий, больше не обращал на него взгляда, потому что ведь такому человеку никогда не придет в голову водить с ним знакомство. Вместо этого он старался подружиться с юношами своего склада — тихими, сдержанными, незаметными, и в течение последних недель сумел встретиться с некоторыми из них за чашкой чаю или за обедом, где они обсуждали прочитанные книги или картины, которые надеялись скопировать, когда наберутся опыта. Вот к таким людям он относил себя — обычно это оказывались млад-

шие братья более напористых старших детей: хорошие, но не выдающиеся ученики; симпатичные, но не красавцы; в разговоре дельные, но не зажигательные. Все они без исключения были наследниками состояний — от солидных до баснословных; все они без исключения переехали из-под родительского крова в школы-пансионы, а потом в колледжи, а потом обратно к родителям, до той поры, когда им составят партию с подходящим мужчиной или подходящей женщиной — некоторые из них даже переженятся в своем же кругу. Их было несколько — мечтательных, чувствительных мальчиков, чьи родители снизошли до того, чтобы предоставить им год для развлечений, прежде чем они снова отправятся учиться или присоединятся к родительскому делу в качестве банкиров, грузоотправителей, торговцев, юристов. Он это понимал и принимал; он — один из них. Даже в те времена Джон был первым среди однокашников, изучавших юриспруденцию и банковское дело, — хотя ему было всего двадцать, о его браке с соучеником Питером уже было условлено; а Иден была лучшей ученицей в своей школе. На ежегодном празднестве, которое дедушка устраивал в день летнего солнцестояния, от толп их приятелей было не

протолкнуться — все они орали и хохотали под пологом со свечами, который слуги накануне растягивали над всем садом.

Но Дэвид никогда не был одним из них и понимал, что таким и не станет. Как правило, его оставляли в покое: имя защищало его от нападок, но его обычно не замечали, никогда никуда не приглашали, никогда не спохватывались, что он куда-то запропастился. И поэтому, когда Эндрю в тот день впервые заговорил с ним, а потом, на протяжении следующих дней и недель, разговаривал с ним все чаще, Дэвид сам себя не узнавал. Вот он громко смеется на улице, как Иден; вот он капризно спорит и от этого кажется милым — как делал Джон в присутствии Питера. Он всегда получал удовольствие от близости, хотя стеснительность долго ему мешала, и он предпочитал ходить в публичный дом, услугами которого пользовался с шестнадцати лет, зная, что там-то его никто не отвергнет, но с Эндрю он просил желаемого, и оно ему доставалось — это новое понимание своей мужской природы и того, что значит быть светским человеком, молодым и богатым, ободряло и окрыляло его. Ага, думал он, так вот что это такое! Вот что чувствуют Джон, и Питер, и Иден, и все их однокашники с такими ве-

селыми голосами — вот что все они чувствуют!

Его как будто охватило безумие. Он представил Эндрю — чьи родители были доктора из Коннектикута — дедушке, и когда потом дедушка, по большей части промолчавший весь ужин — ужин, за которым Эндрю проявил себя в самом ярком и лучшем свете, а Дэвид улыбался каждому его слову, недоумевая, почему дедушка молчит, — сказал, что Эндрю кажется ему “слишком деланым и бойким”, он с холодностью пренебрег его словами. А когда полгода спустя Эндрю начал отвлекаться в его присутствии, а потом перестал к нему приходить, а потом и вовсе принялся избегать, а Дэвид пустился посылать ему букеты и коробки конфет — избыточные, стыдные признания в любви, — но не получал на это никакого отклика, а потом, позже, коробки конфет стали приходить обратно с нетронутой перевязью, письма — нераспечатанными, ящики с редкими книгами — невскрытыми, он все равно отвергал любое дедушкино вмешательство, его ласковые расспросы, его попытки отвлечь внука театром, симфоническим концертом, поездкой за границу. А потом однажды он бесцельно бродил вокруг Вашингтонской площади и вдруг увидел Эндрю под руку с другим, с их однокашником — из того

самого училища, которое Дэвид забросил. Он знал этого юношу в лицо, но не по имени и понимал, что он из того общества, к которому принадлежит сам Эндрю и от которого тот откололся — возможно, из чистого любопытства, — чтобы провести какое-то время с Дэвидом. Эти двое были похожи друг на друга — оживленные молодые люди, которые идут и болтают меж собой, и их лица светятся радостью, и Дэвид сам не заметил, как двинулся, потом помчался к ним, обхватил Эндрю, выплескивая из себя любовь, страдание, обиду, и Эндрю, поначалу изумившись, потом испугавшись, сперва пытался его образумить, потом оттолкнуть, а приятель его хлестал Дэвида по голове перчатками, что выглядело еще непристойнее из-за прохожих, собравшихся вокруг поглазеть и посмеяться. А потом Эндрю его с силой оттолкнул, и Дэвид рухнул на спину, и те двое умчались, а безутешный Дэвид обнаружил себя в руках Адамса, который прикрикнул на зевак, чтобы те убирались, а сам не то отнес, не то отволок его обратно в дом.

Шли дни, а он не вылезал ни из постели, ни из комнаты. Его мучили мысли об Эндрю и о собственном позоре, и если ему удавалось не думать об одном, он думал о другом. Казалось,

что если он перестанет обращать внимание на мир, мир перестанет обращать внимание на него; дни складывались в недели, а он лежал в кровати и старался не думать ни о чем — уж во всяком случае, не о себе в невообразимой бесконечности мира, и наконец, спустя много недель, мир и в самом деле сузился до границ чего-то постижимого — его постели, его комнаты, ненавязчивого внимания дедушки, который навещал его денно и нощно. Наконец, по прошествии почти трех месяцев, что-то треснуло, как будто из заключения в скорлупе кто-то — не он сам — выпустил его наружу, и он выполз, слабый, бледный и защищенный, надеялся он, от Эндрю и собственного унижения. Он тогда поклялся себе, что никогда больше не позволит себе такой страстности чувств, не станет переполняться обожанием, упиваться счастьем, — и этот обет распространил не только на людей, но и на искусство, так что когда дедушка отправил его на год в Европу под видом гранд-тура (а на самом деле, как оба отлично знали, ради того, чтобы удалить его от Эндрю, который по-прежнему жил в городе, по-прежнему был с тем своим юношей, теперь уже женихом), он легкими шагами бродил среди фресок и картин, нависавших над ним с каждого

потолка и каждой стены, вглядывался в них и ничего не чувствовал.

Домой на Вашингтонскую площадь он вернулся спустя четырнадцать месяцев более спокойным, более отстраненным — и более одиноким. Его друзья, тихие мальчики, которыми он пренебрегал и которых совсем забросил, когда начал встречаться с Эндрю, обустроились в своей собственной жизни, и он видел их редко. Джон и Иден тоже стояли на ногах крепче, чем когда-либо прежде: Джон собирался вступить в брак, Иден училась в колледже. Он что-то приобрел — ощущение отстраненности, большую силу, — но что-то и утратил: он быстро уставал, искал одиночества, и первый месяц работы у “Братьев Бингемов”, куда он пошел клерком, с чего начинали в компании и его отец, и дедушка, оказался утомительным до изнурения, особенно по сравнению с опытом Джона, точно так же работавшего на побегушках бок о бок с ним, но с первых же дней выказавшего ловкость в обращении с цифрами и упорное честолюбие. Это дедушка первым намекнул, что Дэвид, видимо, подхватил на Континенте какую-то болезнь, неизвестную, но истощающую, и ему не помешало бы отдохнуть несколько недель, но оба понимали, что это выдумка, что он про-

сто дает Дэвиду возможность отговориться, не признавая напрямую собственного поражения. Вымотанный Дэвид пошел на это, а потом недели превратились в месяцы, а месяцы в годы, и в банк он так и не вернулся.

Он старался как мог забыть безумие страсти, которое чувствовал рядом с Эндрю, но порой его охватывало воспоминание о том времени и о сопутствующем унижении, и тогда он снова укрывался в своей комнате и залезал в постель. Этим приступам, которые он и дедушка стали называть “недомоганием” и которые дедушка тактично объяснил Адамсу, сестре и брату как “нервическое беспокойство”, обычно предшествовали — или следовали за ними — маниакальные, безумные дни, которые он проводил в лихорадочных покупках, или занятиях живописью, или прогулках, или визитах в бордель, — все то, чем он и так в жизни занимался, но в виде преувеличенном и усиленном. Он понимал, что это все способы уйти от себя самого, но не он их выдумал — их выдумали за него, и он находился у них в плену; они заставляли его тело либо двигаться с невероятной скоростью, либо не двигаться вовсе. Спустя два года после возвращения из Европы он получил от Эндрю открытку, извещавшую о том,

что они с мужем удочерили первого ребенка, и послал в ответ поздравление. Но позже, ночью, он задумался: а в чем заключалась цель этой записки? Послал ли Эндрю ее намеренно или по недосмотру? Это дружеский жест или издевка? Он отправил Эндрю письмо, расспрашивая о новостях и признаваясь, как он о нем тоскует.

А потом в нем словно прорвалась плотина, и он стал писать письмо за письмом, то обвиняя, то заклиная Эндрю, то осуждая, то моля его о чем-то. По вечерам он сидел с дедушкой в гостиной, стараясь сдержать нетерпеливое подергивание в пальцах, глядя на шахматную доску, но видел перед собой только письменный стол с бумагой и пресс-папье, и при первой же возможности убегал, прыжками преодолевая последние ступени, и снова писал Эндрю, и вызывал Мэтью среди ночи, чтобы тот отправил его очередное послание. Позор, которым дело в конце концов завершилось — в чем даже он сам не сомневался, — был ужасен: поверенный, ведущий семейные дела мужа Эндрю, попросил встречи с Фрэнсис Холсон и с суровым видом вытащил из портфеля стопку писем Дэвида к Эндрю — десятки писем, — из которых последние штук двадцать даже не были распечатаны, и потребовал, чтобы Дэвид оста-

вил его клиента в покое. Фрэнсис поговорила с дедушкой, дедушка — с ним, и хотя он проявил благородство и добросердечие, страдания Дэвида были таковы, что на этот раз дедушка заключил его в комнату, где сменяющиеся горничные обязаны были следить за ним денно и нощно — ибо он опасался, что Дэвид может причинить себе вред. Дэвид понимал, что именно в ту пору он лишился остатков уважения брата и сестры, именно в ту пору стал, в сущности, инвалидом, человеком, чье обычное состояние теперь опознавалось не как здоровье, а как болезнь, и нормальность приходилось отсчитывать в просветлениях, в передышках между возвращениями к привычному безумию. Он понимал, что обременяет этим дедушку, и хотя дедушка никогда ни на что подобное не намекал, он боялся, что скоро станет ему не помехой, а обузой. Он никуда не ходил, ни с кем не знался; было ясно, что его брак может быть только договорным, потому что никого найти самостоятельно он не мог. Но он все равно отклонял все предложения Фрэнсис, с ужасом думая, какие понадобятся усилия и ухищрения, чтобы кого-нибудь заморочить и принудить к браку с ним. Постепенно предложений становилось все меньше, пока они не прекратились

вовсе, и тогда, видимо, Фрэнсис и дедушка стали обсуждать мужчин другого калибра — так бы выразилась Фрэнсис: другого калибра, может быть, кого-нибудь чуть более зрелого, как Натаниэлю кажется? — и маклер связался с Чарльзом Гриффитом, представив ему досье Дэвида в качестве возможной кандидатуры.

Для него это был конец. В нынешнем году ему исполняется двадцать девять. Если Чарльз знает о его недомогании, об этом знают и другие — не стоит обманываться. С каждым годом его состояние значит все меньше, потому что мир становится богаче — пусть не сейчас, но в ближайшие десятилетия появится семейство состоятельнее Бингемов, и он, не воспользовавшись ни единой возможностью, так и будет жить на Вашингтонской площади, поседевший, покрывшийся морщинами, будет тратить свои деньги на развлечения — книги, бумагу для рисования, краски, мужчин, — как ребенок тратит свои сбережения на игрушки и сладости. Он не просто хотел поверить Эдварду, у него не было другого выхода: если он отправится в Калифорнию, он покинет родной дом и дедушку, но не останется ли в прошлом и его болезнь, его история, его унижения? История его жизни, настолько переплетенная с Нью-Йор-

ком, что, проходя любой квартал, он вспоминал что-нибудь постыдное, связанное с этим местом? Нельзя ли все это завернуть в простыню и убрать в глубину шкафа, как зимнее пальто? Чего стоит жизнь, если в ней не будет возможности, пусть призрачной, почувствовать, что она и вправду принадлежит ему, что он волен ее создать или порушить, лепить ее как глину или разбить как фарфор?

Он вдруг осознал, что дедушка ждет его ответа.

— Он любит меня, — прошептал он. — И я это знаю.

— Дитя мое…

— Я сделал ему предложение, — в отчаянии продолжил он. — И он его принял. И мы с ним отправляемся в Калифорнию.

На этих словах дедушка опустился в кресло и развернулся в сторону камина, а когда повернулся обратно, Дэвид с изумлением увидел, что его глаза блестят.

— Дэвид, — начал он тихим голосом, — если ты соединишь свою жизнь с этим человеком, мне придется лишить тебя наследства, ты ведь это понимаешь, правда? Я сделаю это, потому что выбора нет, потому что только так я могу тебя защитить.

Он понимал это, но все равно от таких слов пол как будто бы ушел у него из-под ног.

— У меня останется родительский фонд, — сказал он наконец.

— Останется. Этому я не могу воспрепятствовать — как бы мне ни хотелось. Но содержание, которое выплачиваю я, — этого больше не будет. Дом на Вашингтонской площади перестанет быть твоим домом — если только ты не пообещаешь мне никуда не отправляться с этим человеком.

— Я не могу этого обещать, — сказал он и почувствовал, что тоже вот-вот заплачет. — Дедушка… прошу тебя. Разве ты не хочешь, чтобы я был счастлив?

Дедушка сделал глубокий вдох и потом выдох.

— Я хочу, Дэвид, чтобы тебе ничто не угрожало. — Он снова вздохнул. — Дэвид, дитя мое, к чему такая спешка? Почему ты не можешь подождать? Если он и правда тебя любит, он будет ждать тебя. А этот Обри? Что, если Уэсли все-таки выяснил всю правду и ты отправишься со своим Эдвардом до самой Калифорнии — которая для таких, как мы, небезопасна, позволь тебе напомнить, и может оказаться смертельно небезопасной, — а там окажется, что тебя провели, что они пара, а ты их марионетка?

— Это неправда. Это не может быть правдой. Дедушка, если бы ты мог увидеть, как он относится ко мне, как он меня любит, как оберегает…

— Еще бы он тебя не оберегал, Дэвид! Он нуждается в тебе! Они нуждаются в тебе — Эдвард и его любовник. Неужели ты не понимаешь?

Тогда он разозлился — эта злость давно клокотала у него в груди, но раньше он не осмеливался дать ей голоса, потому что боялся: слова, высказанные вслух, станут правдой.

— Я не знал, что ты ни во что меня не ставишь, дедушка, — неужели это трудно и даже невозможно — представить, что кто-то может любить меня просто за то, что это я? Кто-то молодой, красивый, самостоятельный? Я теперь вижу, что ты никогда не считал, что я достоин кого-нибудь вроде Эдварда, — ты стыдился меня, и я это понимаю, и понимаю почему. Но разве не может быть так, что я — кто-то другой, кого ты не замечаешь, что в меня влюбились два разных человека в течение одного года? Разве не может быть, что, прекрасно меня зная, ты все-таки всегда знал меня только с одной стороны, что не видел, кем я мог бы стать из-за своей же близости ко мне? Разве не может быть, что, оберегая меня, ты в то же время сбросил меня со счетов, потерял всякую возможность

увидеть меня в ином свете? Я должен уехать, дедушка, — должен. Ты говоришь, что если я уеду, я брошу свою жизнь на ветер, а мне кажется, что если я останусь — я ее похороню. Отчего же ты не можешь дать мне право распорядиться собственной жизнью? Отчего отказываешься простить меня за то, что я собираюсь сделать?

Он молил, но дедушка снова встал — не сердито, не демонстративно, а очень устало, как будто его мучает невыносимая боль. И внезапно, очень резко, он повернул голову вправо и закрыл лицо правой ладонью, и Дэвид понял, что дедушка плачет. Это было невероятное зрелище, и мгновение он даже не мог осознать ощущение мертвенной пустоты, которая стремительно окутала его.

А потом он понял. Дело было не только в дедушкиных слезах; он понимал, что этими слезами дедушка признавал: Дэвид наконец-то ослушается его. И одновременно Дэвид понимал, что дедушка не отступит, и когда он покинет Вашингтонскую площадь, он покинет свой дом навсегда. Он сидел без движения, понимая, что сидит в этой гостиной, у камина, в последний раз, что идут последние минуты, пока это еще его дом. Теперь его жизнь — не здесь. Теперь его жизнь — с Эдвардом.

Глава 19

Только в конце апреля в городе просыпалось что-то нежное, и на протяжении нескольких быстролетных недель деревья покрывались облаками бело-розовых бутонов, воздух очищался от мелких песчинок, ветер дул ласково.

Эдвард уже ушел, и Дэвиду тоже пора было уходить. Но он радовался тишине — хотя в пансионе никогда не бывало по-настоящему тихо, — потому что чувствовал, что перед выходом следует собраться с духом.

Он жил с Эдвардом в пансионе чуть меньше месяца. Оставив в тот вечер дедушку и Вашингтонскую площадь, он сразу же отправился сюда, но Эдварда не застал. Впрочем, маленькая горничная впустила Дэвида в его холодную и темную комнату, и Дэвид несколько минут тихо сидел, а потом встал и начал — сначала методично, потом лихорадочно — обследовать все вокруг, вытаскивая и снова складывая одежду в сундук, пролистывая каждую книгу, роясь в бумагах, топая по половицам: не топорщится ли какая-нибудь, нет ли под ней тайника? Он нашел какие-то ответы, но сказать, отвечают ли они на его во-

просы, было невозможно: небольшая гравюра с изображением хорошенькой темноволосой девушки, вложенная в “Энеиду”, — это Бэлль? Дагеротип статного мужчины с умудренной улыбкой и лихо надетой шляпой — это Обри? Перевязанный бечевкой сверток банкнот — украден у тети Бетесды или заработан в школе? Лоскут хрупкой папиросной бумаги между страниц его Библии, на котором торопливой рукой написано “Я всегда буду тебя любить”, — это кто-то из его матерей, первая или вторая? Бэлль? Бетесда? Обри? Кто-то ему неизвестный? Во втором дорожном сундуке, который он купил для Эдварда, с медными застежками и кожаными ремнями, пряталась маленькая фарфоровая птичка и несколько пустых нотных тетрадей, но чайного сервиза, который он уложил туда, прежде чем отправиться к дедушке — церемониальный жест сборов в дорогу, кирпичик нового, их общего, дома, — не было, как не было и купленного им столового серебра.

Он раздумывал, что это может означать, но тут вошел Эдвард, и Дэвид, обернувшись, увидел, какой беспорядок он устроил вокруг, как все вещи разбросаны на полу и на кровати, а Эдвард стоит перед ним с непроницаемым выражением, и по-

сле того, как из его уст вырвался первый нелепый вопрос, единственный вопрос, который пришел ему в голову, потому что он не знал, как подступиться ко всему остальному — “Где чайный сервиз, который я тебе купил?” — он заплакал, оседая на пол. Эдвард добрался до него сквозь груды одежды и книг, присел рядом, обняв его, и Дэвид повернул голову и уткнулся, всхлипывая, в его пальто. Даже когда он смог заговорить, вопросы вырывались как сполохи стаккато, один за другим, без явной логики, без порядка, но все — одинаково безотлагательные: что, Эдвард любит кого-то другого? Обри — кто он ему? Лгал ли он, рассказывая про себя, про свою семью? Зачем он на самом деле ездил в Вермонт? Он его любит? Он его любит? Он правда его любит?

Эдвард пытался отвечать на вопросы, но Дэвид перебивал, не дав ему закончить ни одно из объяснений; он все равно не воспринимал ничего из того, что Эдвард говорил. С Вашингтонской площади он принес только стопку писем Эдварда, которые тот писал в ответ на его собственные письма, и отчет Уэсли, который он наконец вытащил, все еще всхлипывая, из кармана пальто и протянул Эдварду, а тот взял листы и стал читать — сначала с любопытством, а после с гневом,

и именно этот гнев и восклицания Эдварда — “Какого дьявола!” и “Что за вздор!” — странным образом усмирили бурю в душе Дэвида. Дочитав, Эдвард швырнул листы через комнату в закопченный очаг и обернулся к Дэвиду.

— Бедный мой Дэвид, — сказал он. — Мой невинный младенец. Что же ты обо мне подумал? — И тут лицо его помрачнело. — Я никогда не ожидал, что она так поступит со мной, — пробормотал он. — Но она это сделала — и поставила под удар отношения, которыми я дорожу больше всего на свете.

Он сказал, что все объяснит, и объяснил. Да, его родители умерли, его старшие сестры в Вермонте, младшая — в Нью-Гемпшире. Но, признал он, между ним и сестрой его матери, Люси, которая ухаживала за его двоюродной бабушкой Бетесдой, отношения действительно испортились. Он действительно жил у Бетесды некоторое время после окончания консерватории — “Я тебе об этом не рассказывал, потому что хотел, чтобы ты считал меня самостоятельным, хотел, чтобы ты мной восхищался. Согласись, будет жестоко, если из-за упущения, вызванного моими же страхами, ты усомнишься в моей правдивости”, — но спустя несколько месяцев отправился на поиски

собственного жилья.

— Я очень привязан к своей двоюродной бабке и всегда ее любил. Она с моей теткой перебралась сюда вскоре после того, как мы поселились в Свободных Штатах; она была мне как бабушка. Но считать ее богатой, а уж тем более что я воровал у нее деньги — это нелепость.

— Так почему Люси говорит такое о тебе?

— Да кто же знает. Она женщина недоброжелательная и мелочная, замуж не выходила, детей у нее не было, друзей тоже, но живого воображения ей, как видишь, не занимать. Мать объясняла нам всем, что к ней следует относиться по-хорошему, она угрюма лишь из-за своего вечного одиночества, и мы старались как могли. Но это уж слишком. Да и как бы то ни было, тетушка Бетесда умерла два года назад; тетю Люси — которую и тетей-то мне назвать трудно — я с тех пор не видел; но вот доказательство, хотя и самого дурного свойства, что она по-прежнему жива и по-прежнему мстительна и готова разрушить все что угодно.

— Погоди, умерла? Но ты только что сказал о Бетесде, что очень к ней привязан, как будто она жива.

— Нет. Но разве это мешает привязанности?

Мое отношение к ней ведь не изменилось после ее смерти.

— И тебя не усыновило семейство из Свободных Штатов?

— Да нет, конечно же нет! Поклеп Люси о том, что я якобы что-то воровал — выросший, насколько я могу представить, из чистой злобности вместе с завистью к моей молодости, — это чудовищно, но ее отказ от моего семейства (да и ее собственного, стоит заметить) совсем уж отвратителен. Отказываться от родителей, которые… Она просто нездорова. Хотел бы я, чтобы здесь оказалась Бэлль и сама объяснила тебе, какая это все вздорная чушь и что за нрав у моей тетушки.

— Ну так, может быть, пусть объяснит?

— Конечно — это прекрасная мысль; я напишу ей сегодня же, пусть ответит на те вопросы, которые у тебя появились.

— У меня их много — еще очень много.

— А как может быть иначе после такого отчета? Я с огромным уважением отношусь к твоему дедушке, но должен признаться — я несколько поражен, что он так доверяет человеку, готовому повторять все, что рассказывает ему некая одинокая и, бесспорно, невменяемая женщина. Бедный мой Дэвид! Не могу выразить, как мне

отвратительны интриги этой безумицы, причинившие тебе столько страданий. Позволь мне объясниться.

И он объяснился. У Эдварда был ответ на все тревоги Дэвида. Нет, он, разумеется, не влюблен в Обри, который, между прочим, женат на Сусанне (“Его сестра? Боже правый, конечно же нет! Что за мерзость этот отчет!”) — да и вообще не разделяет их склонности. Он близкий друг, вот и все, Дэвид сам в этом убедится в Калифорнии, и “я не удивлюсь, если вы с ним подружитесь еще крепче, чем мы; вы оба — очень практичные люди, увидишь. И тогда уже мне придется выказывать подозрительность!”. Да, связь с Кристофером Д. у него была, и да, кончилось это плохо (“В нем развилась — я не хочу хвастаться, а просто описываю, что произошло, — одержимость мною, и когда он сделал мне предложение, а я отказался, его привязанность превратилась в навязчивую идею, а я, как ни стыдно признаваться, начал его избегать, потому что не понимал, как объяснить убедительно, что я его не люблю. Он был самонадеян, но в трусости мне некого обвинять, кроме себя самого, и в этом я глубоко раскаиваюсь”), но, конечно, в этих отношениях деньги никакой роли не играли, и родители Кристофера не пы-

тались вмешаться и что-то решить за сына. Он готов представить Дэвида мистеру Д., чтобы тот спросил у него сам. Нет-нет, он готов! Еще как готов! Скрывать ему нечего. Нет, он никогда ни у кого ничего не воровал, уж тем более у родителей, у которых, кстати, и красть-то было нечего, даже если бы он вдруг оказался таким мерзавцем.

— Из всех жестокостей этого отчета ужаснее всего, что он пытается лишить меня моих корней, моего детства, всех жертв, которые принесли родители ради меня и моих сестер, возводя напраслину на моего отца: игрок? Беглец? Обманщик? Да это был честнейший человек из всех, что я знал. Впутать его в такое… в такое преступление — это мерзость столь чудовищная, что даже для Люси чересчур.

Они говорили и говорили, и по прошествии часа или больше Эдвард схватил Дэвида за руки:

— Дэвид — мой невинный младенец. Я могу опровергнуть все, что написано на этих страницах; я так и сделаю. Но первое, в чем мне хотелось бы уверить тебя: я люблю тебя и хочу строить жизнь с тобой не ради твоих денег. Это твои деньги, я в них не нуждаюсь. У меня денег никогда не было, я и что делать-то с ними толком не знаю. И потом, я скоро сам разживусь средствами, и — не

сочти это за неблагодарность — я предпочитаю именно такое положение дел.

Ты спрашиваешь, что я сделал с чайным сервизом. Я продал его, Дэвид, и только потом уже понял, какую ошибку совершил, это был дар любви, а я, в своем намерении показать, что могу позаботиться о тебе, позаботиться о нас, променял его на деньги. Но разве ты не понимаешь, что это тоже было сделано из любви? Я не хочу просить тебя ни о чем — не хочу, чтобы тебе хоть в чем-то было неловко. Я позабочусь о нас обоих. Милый Дэвид. Разве ты не хочешь быть с человеком, для которого ты не Дэвид Бингем, а просто любимый спутник, надежный муж, дражайший супруг? Вот, — на этих словах Эдвард запустил руку в карман брюк и вытащил кошелек, который вложил Дэвиду в ладонь, — вот эти деньги. Я завтра же пойду и выкуплю сервиз, если хочешь. И его, и столовое серебро тоже. Но как бы то ни было — это твои деньги. Мы потратим их на наш первый обед в Калифорнии, на твою первую новую коробку красок. Но главное — мы потратим их вместе, строя нашу общую жизнь.

У него разболелась голова. Слишком много всего навалилось. От слез, высохших на щеках, кожа стянулась и чесалась. Руки и ноги словно раз-

мягчились, и его охватила такая усталость, что когда Эдвард принялся его раздевать и уложил в постель, он не ощущал ни привычного предвкушения, ни радости, только некую оглушенность, и хотя он отвечал на движения Эдварда, делал он это словно в тумане, как будто его конечности двигаются по собственной воле, а он им больше не хозяин. Он думал о словах дедушки: “Они нуждаются в тебе — Эдвард и его любовник”, — и, проснувшись утром, выскользнул из-под руки Эдварда, тихо оделся и ушел из пансиона.

Было так рано, что в уличных фонарях еще мерцали свечи, и все кругом было словно нарисовано оттенками серого. Он добрел, стуча каблуками по брусчатке, к реке и там стоял и смотрел, как вода бьется о деревянный причал. День наступал промозглый, промозглый и холодный, и, обхватив себя руками, он вглядывался в противоположный берег. Они с Эндрю иногда бродили вдоль реки и разговаривали, хотя теперь все это казалось бесконечно далекими воспоминаниями давно утекших десятилетий.

Что же ему делать? Здесь, на одной стороне реки — тот Эдвард, которого он знает, а там, на другой — Эдвард, которого якобы знает его дедушка, и между ними лежит водная преграда,

не то чтобы широкая, но глубокая и, видимо, непреодолимая. Если он уедет с Эдвардом, он навсегда потеряет дедушку. Если останется — потеряет Эдварда. Верит ли он Эдварду? Да — и нет. Он все время возвращался в мыслях к тому, как Эдвард огорчился вчера вечером, но в то же время, напоминал он себе, сохранил присутствие духа; в его разуверениях не было или почти не было противоречий, а если и были, то не очень существенные — разве это само по себе не подтверждает его правоту? Он вспоминал нежность, с которой Эдвард разговаривает с ним, прикасается к нему, обнимает его. Ведь не вообразил же он это? Ведь это не может все быть притворством? Та страсть, которую они испытывают друг к другу, лихорадочный жар их свиданий — это ведь не может быть фарсом, правда? Здесь — Нью-Йорк и все, что он знает. Там, с Эдвардом, — что-то иное, место, где он никогда не был, но он чувствовал, что стремился к нему всю жизнь. Он надеялся, что нашел его с Эндрю, но это оказался мираж. Он никогда бы не нашел его с Чарльзом. Разве не в таком смысл жизни, разве не поэтому его предки основали эту страну? Чтобы у него было право чувствовать то, что он чувствует, позволить себе быть счастливым?

Ответов он найти не мог; повернувшись, он пошел к пансиону, где ждал его Эдвард. Следующие несколько дней проходили так же: Дэвид просыпался первым и брел к реке, а потом возвращался и продолжал свои допросы, которые Эдвард сносил терпеливо и даже снисходительно. Да, девушка на гравюре — это Бэлль; нет, мужчина на дагеротипе не Обри, а старая пассия, консерваторских времен, и если Дэвида это тревожит, он — вот, смотри, на твоих глазах! — сожжет его изображение, потому что тот человек ничего для него уже не значит; да, записка от матери. Объяснения не пересыхали, и Дэвид впитывал их, пока к вечеру от пресыщения у него не начинала кружиться голова, и тогда Эдвард раздевал его и укладывал в постель, и все опять шло по кругу.

Он не мог успокоиться.

— Милый мой Дэвид, если у тебя остаются сомнения, может быть, нам не стоит вступать в брак, — сказал Эдвард в один из этих дней. — Я тебя не брошу, но твоему состоянию ничто угрожать не будет.

— Так ты не хочешь на мне жениться?

— Хочу! Конечно хочу. Но если так я могу убедить тебя, что у меня нет ни намерений, ни желания завладеть твоими деньгами…

— Но наш брак все равно не будет признан в Калифорнии, так что это не такая уж жертва с твоей стороны, нет?

— Это было бы большей жертвой, захоти я украсть твои деньги, потому что в этом случае я бы заключил брак с тобой сейчас, взял все твои деньги, а потом уже тебя бросил. Но я не этого хочу, что и пытаюсь тебе втолковать!

В следующие месяцы и годы он будет размышлять об этом времени и думать, не подводит ли его память: не было ли мгновения, часа, дня, когда он решил, окончательно и бесповоротно, что любит Эдварда, что любовь к нему преодолеет любые сомнения, все еще не покидавшие его, несмотря на все разуверения Эдварда? Но нет — никакого одного мгновения, откровения, которое он мог бы датировать и доверить бумаге, не было. Просто с каждым днем, пока он не приходил на Вашингтонскую площадь, с каждым письмом — сначала только от дедушки, но потом от Элизы, и Джона, и Иден, и Фрэнсис, и даже от Норриса, — которое он игнорировал, либо бросая его в огонь, либо запихивая, не распечатав, в стопку писем Эдварда, с каждым предметом одежды, книгой, тетрадью, которую он просил прислать ему из дедушкиного дома, с каждым днем, когда он так и не посылал

записку Кристоферу Д., не просил его встретиться для разговора, с каждой неделей, что он не спрашивал у Эдварда, послал ли тот все-таки письмо Бэлль, попросил ли ее подтвердить его рассказ, с каждой неделей, проходившей без вестей от нее, он заявлял свою решимость начать другую жизнь, новую жизнь, жизнь с чистого листа.

Так миновал почти месяц, и хотя Эдвард ни разу не потребовал от Дэвида твердо пообещать, что он все-таки отправится с ним в Калифорнию, Дэвид не протестовал, когда Эдвард купил два билета на трансконтинентальный экспресс, не возражал, когда его пожитки исчезли в одном из сундуков, зажатые между вещами Эдварда. Эдвард развил кипучую деятельность — он паковал, планировал, болтал, — и чем больше энергии он проявлял, тем меньше ее оставалось у Дэвида. Каждое утро он напоминал себе, что еще может остановить назначенное, казалось, самой судьбой, сейчас и навсегда, что такой шаг, каким бы унизительным он ни был, все еще в его власти; но к вечеру его опять подхватывал поток лихорадочной энергии Эдварда, и с каждым днем он дрейфовал все дальше от земли. Да и не хотел он, собственно, сопротивляться — зачем? Как приятно, как соблазнительно знать, что тебя

хотят так, как его хочет Эдвард, радоваться, что тебя ласкают, целуют, шепчут нежности, считают бесценным, никогда не спрашивают о деньгах, раздевают так страстно, разглядывают с таким бесстыдным вожделением. Знал ли он раньше такое? Нет, не знал, но теперь видел, что вот это и есть счастье, вот это и есть жизнь.

И все же в более трезвые минуты — перед самым рассветом — Дэвид осознавал, что минувший месяц не был совсем безоблачным. Он так мало знал, в его жизни было так мало обязанностей, что время от времени его неведение создавало напряжение между ними: он не умел сварить яйцо, заштопать носок, забить гвоздь. В здании пансиона не было уборных, только умывальная снаружи, и когда Дэвид посетил ее в первый раз, он, сам того не сознавая, потратил всю воду, которую следовало сберечь для остальных жильцов, и Эдвард ему за это выговорил. “А что ты вообще умеешь?” — рявкнул он, когда Дэвид признался, что никогда не разводил огонь; и “Мы, знаешь ли, не сможем жить на твое вязание и рисование и вышивание”, в ответ на что Дэвид выскочил из комнаты и потом ходил по улицам, глаза щипало от слез, а когда наконец вернулся — дул холодный ветер, идти ему все равно было некуда, — Эдвард

ждал его (трещал огонь в камине) с нежностью и извинениями, чтобы уложить в постель, где обещал его быстро отогреть. Позже он спросил у Эдварда, не могут ли они переехать куда-нибудь еще, в заведение попросторнее и поновее, он с радостью заплатит, но Эдвард лишь поцеловал его в переносицу и сказал, что надо экономить и к тому же Дэвиду следует многому научиться, ведь в Калифорнии они все-таки будут жить на ферме. И он стремился к этому, но получалось у него далеко не все.

А потом вдруг осталось пять дней, четыре, три дня до отъезда — все ускорилось так, что они должны были достичь Калифорнии всего через несколько дней после прибытия Бэлль, — и крошечная комната от переполненности вещами перешла к состоянию внезапной пустоты, а все их имущество оказалось упакованным в три больших сундука, последний из которых Дэвиду доставили с Вашингтонской площади. Вечером накануне их предпоследнего дня в городе Эдвард сказал, что будет разумно заранее позаботиться о тех деньгах, которыми сможет пользоваться Дэвид; назавтра он уйдет рано, чтобы докупить кое-что необходимое в дорогу, а Дэвид, хотя это осталось невысказанным, нанесет визит дедуш-

ке.

Это было вполне разумно — более того, неизбежно. И все же в то утро, выходя из пансиона — может быть, в последний раз в жизни, подумалось ему, — спускаясь по выщербленным ступеням на улицу, он почувствовал, что грубая, грязная красота города словно бьет его наотмашь; как и деревья над ним, покрывшиеся крошечными ярко-зелеными листочками; как и приятный, гулкий стук копыт лошадей на дорогах; как и трудолюбивые люди вокруг — поломойки со швабрами на парадных ступеньках, мальчик-угольщик со своей тачкой, которая медленно, дюйм за дюймом, продвигается вперед, трубочист со своим ведром, напевающий веселую песенку. Это, конечно, не те же люди, что и он, — но и те тоже; это граждане Свободных Штатов, и они вместе построили эту страну, этот город: они своим трудом, Дэвид своими деньгами.

Он думал взять кэб, но вместо этого медленно пошел пешком — сначала на юг, потом на восток, в полусне передвигаясь по улицам, где его ноги каким-то образом знали, как обойти кучу навоза, расплющенный турнепс, испуганного полудикого котенка, даже раньше, чем все это видели глаза; он чувствовал себя тонким язычком огня,

бегущим по милым грязным улицам, по которым он ходил всю свою жизнь, не оставляя следов, не издавая ни единого звука, и люди расступались еще до того, как он, кашлянув, предупреждал о своем приближении. Поэтому, дойдя наконец до банка “Братьев Бингемов”, он был отдален от себя самого, почти плыл по течению, словно бы паря над городом и медленно кружась над каменным зданием, прежде чем мягко приземлиться на ступени и войти в двери, как он входил в них уже почти двадцать девять лет, — и все же, конечно, совсем не так.

Он прошел по коридору, вошел в помещение, откуда боковые двери уводили в банковские кабинеты, потом свернул налево, где нашел банкира, отвечавшего за семейные счета, и получил все свои сбережения — валюту Свободных Штатов на Западе принимали неохотно, поэтому Дэвид заранее предупредил, что средства хочет получить золотом. Он смотрел, как слитки взвешивают, заворачивают в ткань, складывают в маленький черный кожаный чемоданчик, обхватывают его ремнями и застегивают их.

Протягивая чемоданчик, клерк — кто-то новый, кого он не знал, — поклонился ему.

— Позвольте пожелать вам всего наилучшего,

мистер Бингем, — уныло сказал он, и у Дэвида внезапно перехватило дыхание, и, отягощенный весом металла в руке, он смог только кивнуть в ответ.

Видимо, про его обстоятельства все знали, и, покинув клерка и в последний раз проходя по длинному, застеленному коврами коридору к дедушкиному кабинету, он чувствовал вокруг шепот, почти гудение, хотя рядом никого не было. Только уже почти подойдя к закрытой двери кабинета, он увидел, как кто-то — Норрис — торопливо выходит в коридор из приемной комнаты.

— Мистер Дэвид, — сказал он. — Ваш дедушка вас ожидает.

— Спасибо, Норрис, — выдавил он. Он едва мог говорить, каждое слово сжимало горло.

Он повернулся, чтобы постучать в дверь, но в это мгновение Норрис внезапно дотронулся до его плеча. Дэвид вздрогнул — Норрис никогда не прикасался ни к нему, ни к Иден и Джону, и, снова взглянув на него, он с изумлением увидел, что у Норриса мокрые глаза.

— Желаю вам счастья, мистер Дэвид, — сказал Норрис.

А потом он исчез, и Дэвид, нажав на медную

дверную ручку, вошел в кабинет, и — вот! — там был его дедушка, который поднимался из-за стола, но не приветствовал его кивком или жестом, как обычно, а ждал, пока он пройдет по мягкому ковру, такому ворсистому, что на него можно было, как Дэвид когда-то в детстве и сделал, уронить хрустальный бокал, и тот не разобьется, а мягко отскочит от поверхности. Он сразу заметил, как дедушкин взгляд упал на чемоданчик, и понял, что тот понимает, что в нем заключено, более того — знает, сколько там золота до последнего цента, и, садясь, пока дедушка все еще не промолвил ни единого слова, почувствовал запах дыма и земли и, сморгнув, увидел, как в чашку наливают лапсанг-сушонг, и в глазах снова защипало от слез. Но тут он понял: чашка только одна — дедушкина.

— Я пришел попрощаться, — сказал он после тишины столь напряженной, что выносить ее больше не мог, хотя слышал, как его голос дрожит. И когда дедушка ничего не ответил, продолжил: — Ты что, так ничего и не скажешь?

Он намеревался еще раз изложить свои обстоятельства — возражения Эдварда, как Эдвард о нем заботится, как Эдвард унял его тревогу, — но вдруг понял, что в этом нет необходимости. У ног

его стоял чемоданчик с золотом, как бывает в сказке, и золото принадлежит ему, а чуть больше чем в миле отсюда его ждет любящий человек, и они вместе проедут еще много-много миль, и Дэвид надеялся, что их любовь совершит с ними этот путь — потому что он верил в это; потому что другого выхода не было.

— Дедушка, — сказал он неуверенно, и когда дедушка в ответ только глотнул еще чаю, Дэвид повторил это слово, и еще раз, и потом закричал “Дедушка!”, а тот только по-прежнему бесстрастно поднес чашку к губам.

— Еще не поздно, Дэвид, — сказал наконец дедушка, и этот звук дедушкиного голоса — его терпение, его власть, в которой Дэвиду никогда не казалось нужным или разумным усомниться, — наполнили его резкой болью, и ему пришлось удержать себя, чтобы не согнуться и не схватиться за живот. — У тебя есть выбор. Я могу защитить тебя — я все еще могу защитить тебя.

Он понял, как понимал всегда, что не сможет объясниться — ему не победить в споре, не найти нужных слов, он никогда не будет никем, кроме как внуком Натаниэля Бингема. Кто такой Эдвард Бишоп против Натаниэля Бингема? Что такое любовь — против всего, что олицетворял его

дедушка, кем он был? Что такое он против этого всего? Он никто; он ничто; человек, влюбленный в Эдварда Бишопа и, может быть, впервые в жизни делающий что-то по собственному желанию, что-то, что его пугает, но принадлежит только ему. Возможно, его выбор безрассуден, но это его выбор. Он опустил руку; он обхватил ручку чемоданчика; он поднялся на ноги.

— Прощай, — прошептал он. — Я люблю тебя, дедушка.

Он почти дошел до двери, когда дедушка выкрикнул — голосом, которого Дэвид никогда от него не слышал:

— Ты глупец, Дэвид!

Но он не остановился и, закрывая дверь за собой, услышал, как дедушка не то что кричит, а скорее стонет — его имя, два вымученных слога:

— Дэвид!

Его никто не останавливал. Он снова прошел по коврам коридора, сквозь роскошные двери, через мраморный вестибюль. И вот он снаружи, “Братья Бингемы” у него за спиной, а перед ним — город.

Однажды, когда все дети были еще очень малы, наверное, вскоре после переезда на Вашингтонскую площадь, они беседовали с дедушкой про

небеса, и когда дедушка все им объяснил, Джон сразу сказал: “Я бы хотел, чтобы у меня там все было из мороженого”, но Дэвид, которому тогда все холодное не нравилось, не согласился: его небеса будут из пирожных. Он это ясно представил: океаны, вздувшиеся сливочным кремом; горные хребты из бисквита; деревья, с которых свисают засахаренные вишни. В тот вечер, когда дедушка пришел пожелать ему доброй ночи, он взволнованно спросил: как Бог может знать, чего хочет каждый? Откуда Он знает, что все окажутся там, где мечтали? Дедушка засмеялся. “Он знает, Дэвид, — сказал он. — Он знает и создаст столько небесных селений, сколько нужно”.

А вдруг это и есть небеса? Узнал бы он их, если бы увидел? Может, и нет. Но он знал, что небеса не там, откуда он пришел, или это какие-то чужие небеса, не его. А его небеса где-то еще, но они не предстанут перед ним, нет, ему самому предстоит их обрести. Разве не этому его учили, не на это велели надеяться всю его жизнь? Пришла пора отправляться на поиски. Пришла пора быть смелым. Пришла пора пуститься в путь одному. Что ж, он постоит здесь всего лишь еще мгновение, с тяжелым чемоданчиком в руке, а потом наберет воздуха — и сделает первый шаг,

и пойдет навстречу новой жизни, до самого рая.

Книга II. Липо-вао-нахеле

Глава 1

Письмо пришло в офис днем, накануне вечеринки. Почту он получал редко, а если и получал, она не была адресована ему лично — обычно разносчик корреспонденции швырял кому-нибудь на стол сверток с рекламками разных газет и юридических журналов, отправленных просто “ассистентам”, — поэтому он только во время перерыва на кофе удосужился стянуть резинку со стопки конвертов и, перебирая их, наткнулся на свое имя. Когда он увидел обратный адрес, у него перехватило дыхание — разом, так, что на мгновение пропали все звуки, кроме шума жаркого, сухого ветра.

Схватив письмо, он сунул его в карман брюк и убежал в архив, единственное место на этаже, где можно было побыть одному, и там, на секунду прижав конверт к груди, вскрыл его, в спешке надорвав письмо. Однако, уже наполовину вытащив письмо, он вдруг засунул его обратно, сложил конверт пополам и затолкал в карман рубашки. Потом он ушел не сразу, сидел на стопке старых кодексов, дышал в сложенные ковшиком ладони — обычно это помогало справиться с

беспокойством.

Когда он вернулся к своему столу, было без пятнадцати четыре. Он уже попросил разрешения уйти в четыре, но все равно спросил начальницу, можно ли уйти еще пораньше. Конечно, сказала она, работы сегодня мало, тогда до понедельника. Он поблагодарил ее и засунул письмо в сумку.

— Хороших выходных, — сказала она ему вслед.

И тебе, отозвался он.

Кабинет Чарльза был на пути к лифту, но он не стал заходить, чтобы попрощаться, они договорились, что лучше делать вид, будто их знакомство не выходит за рамки знакомства старшего партнера и ассистента. Когда они только начали встречаться, Дэвид по десять раз на дню проходил мимо его кабинета, надеясь застать его за каким-нибудь банальным занятием, чем банальнее, тем лучше, — за тем, как он проводит рукой по волосам, читая записку по делу, надиктовывает заметку, листает кодекс, говорит по телефону, стоя спиной к двери и глядя в окно на Гудзон. Чарльз никогда не подавал виду, но Дэвид был уверен, что тот знает, когда он проходит мимо.

Из-за этого они поначалу ссорились, из-за того, что Чарльз не обращает на него внимания. “Ну,

Дэвид, что я могу поделать? — примирительно спросил Чарльз однажды вечером, когда они лежали в постели. — Я не могу просто так, когда мне вздумается, ходить к ассистентам. Я даже звонить тебе не могу: у Лоры на телефоне высветится, кому я звоню, и она все поймет".

Он ничего не ответил, только уткнулся в подушку, и Чарльз вздохнул. "Это ведь не значит, что я не хочу тебя видеть, — мягко сказал он. — Но все не так-то просто. Ты же понимаешь".

В итоге они придумали условный сигнал: если Чарльз не будет занят, когда он проходит мимо, то откашляется и покрутит карандаш в пальцах — подаст знак, что видит его. Глупость, конечно, — Дэвид ни за что бы не решился рассказать друзьям, как общается с Чарльзом на работе, они и без того относились к Чарльзу настороженно, — однако ему было приятно. "Днем я принадлежу "Ларссон, Уэсли", но по ночам я принадлежу тебе", — всегда говорил Чарльз, и это было приятно тоже.

Все равно у них набегает больше часов, как-то раз сказал он Чарльзу.

— Неправда, — ответил Чарльз. — Тебе достаются выходные, праздники, да еще и ночи.

Он потянулся за калькулятором — прежде Дэ-

вид никогда не спал и не встречался с человеком, который держал бы на прикроватном столике калькулятор и, более того, регулярно бы его использовал во время ссор и споров, — и принялся нажимать на кнопки.

— В сутках двадцать четыре часа, в неделе семь суток, — сказал он. — “Ларссон, Уэсли” достается — сколько? Пять дней по двенадцать часов и, ну хорошо, еще часов семь на выходных. В неделе сто шестьдесят восемь часов, вычтем шестьдесят семь — получается, что я в твоем полном распоряжении минимум сто один час в неделю. И это я еще не учел те часы, которые провожу в “Ларссон” либо думая о тебе, либо стараясь о тебе не думать.

И сколько же их, спросил он. Оба они уже улыбались.

— Много, — ответил Чарльз. — Бессчетное количество. Рабочих часов набежит на десятки тысяч долларов. Больше, чем у любого моего клиента.

И вот он прошел мимо кабинета Чарльза, и Чарльз откашлялся и покрутил в пальцах карандаш, а Дэвид улыбнулся: его увидели. Теперь можно идти.

———

Дома все было под контролем. Такими словами его встретил Адамс: “Все под контролем, мистер Дэвид”. Вечно казалось, что он слегка сбит с толку — из-за Дэвида, из-за его присутствия в доме, из-за того, что Дэвида приходится обслуживать, и вот теперь из-за того, что Дэвид думает, будто может хоть чем-то помочь ему с вечеринкой, — Адамс эти вечеринки организует уже много лет, больше лет, чем самому Дэвиду.

Год назад, перебравшись сюда жить, он неоднократно просил Адамса звать его не мистером Дэвидом, а просто Дэвидом, но Адамс не захотел, по крайней мере, он так ни разу и не назвал его Дэвидом. Адамс никогда не привыкнет к нему, а он никогда не привыкнет к Адамсу. Однажды утром, после какой-то из первых их ночей вместе, когда они с Чарльзом целовались, лежа в постели, и до секса было недалеко, рядом вдруг кто-то мрачно произнес имя Чарльза, и он, взвизгнув и дернувшись, увидел, что в дверях стоит Адамс.

— Подавать завтрак сейчас, мистер Чарльз, или желаете подождать?

— Спасибо, Адамс, я подожду.

Когда Адамс ушел, Чарльз снова притянул Дэвида к себе, но он оттолкнул его, и Чарльз рассмеялся.

— Что это был за звук? — поддразнивая Дэвида, он пару раз резко, визгливо тявкнул. — Прямо как дельфин, — сказал он. — Прелесть.

Он что, всегда так делает? — спросил он.

— Адамс? Да. Знает, что я люблю порядок.

Знаешь, Чарльз, мне как-то не по себе.

— Да ну, Адамс совсем безобидный, — сказал Чарльз. — Он немного старомоден, вот и все. Дворецкий он превосходный.

С тех пор он неоднократно пытался поговорить с Чарльзом об Адамсе, но всякий раз безуспешно, отчасти потому, что ему никогда толком не удавалось сформулировать свои претензии. Адамс всегда относился к нему со сдержанным, холодным уважением, однако Дэвид отчего-то был уверен, что тот его осуждает. Когда он рассказал про Адамса своей лучшей подруге и бывшей соседке Иден, она только глаза закатила.

— Дворецкий? — переспросила она. — Я тебя умоляю. Да и потом, он, наверное, всех мальчиков Чака терпеть не может.

(Иден так называла Чарльза — Чак. Теперь и все их друзья звали его Чаком.)

Никакой я ему не мальчик, возразил он.

— Ну конечно, что же это я, — ответила Иден. — Ты ведь его бойфренд.

Она поджимала губы, хлопала ресницами — она не одобряла ни моногамии, ни мужчин.

— Кроме тебя, Дэвид, — говорила она. — Да и ты почти не в счет.

Ну спасибочки, говорил он, и она смеялась в ответ.

Однако он знал, что это неправда — будто Адамсу все бойфренды Чарльза не нравятся, — потому что однажды он подслушал, как Адамс с Чарльзом разговаривали об Оливье, с которым Чарльз встречался до того, как познакомился с Дэвидом.

— И еще звонил мистер Оливье, — сказал Адамс, рассказывая Чарльзу об оставленных для него сообщениях, и стоявший возле самой двери в кабинет Дэвид услышал, как что-то изменилось в его голосе.

— И как он? — спросил Чарльз. Они с Оливье расстались друзьями, но виделись от силы пару раз в год.

— Хорошо, — ответил Адамс. — Передайте ему мои наилучшие пожелания.

— Непременно передам, — сказал Чарльз.

Но жаловаться на Адамса было бессмысленно, потому что Чарльз никогда с ним не расстанется. Он служил дворецким у родителей Чарльза, когда тот был еще подростком, и после их смерти

Чарльз унаследовал не только дом, но и Адамса. Он не мог рассказать об этом друзьям — в том, что Чарльз держит семидесятипятилетнего старика на физически тяжелой работе, они увидели бы только эксплуатацию пожилого человека, — однако Дэвид знал, что Адамсу нравится его служба, а Чарльзу нравится, что он может обеспечить ею Адамса. Его друзьям не понять, что для некоторых людей работа — единственный способ увериться в своей реальности.

— Я, конечно, знаю, что это анахронизм, — сказал как-то Чарльз (почти ни у кого из его друзей дворецких не было, даже у тех, чье состояние было еще больше или еще стариннее), — но когда ты вырос с дворецким, от этого так просто не отвыкнуть. — Он вздохнул. — Я не жду, что меня поймут — ни ты, ни кто-то еще.

Дэвид промолчал.

“Это не только мой дом, но и Адамса”, — то и дело повторял Чарльз, и Дэвид знал, что говорил он искренне, даже если это и не было правдой.

Право проживания не равняется праву собственности, напомнил он Чарльзу, цитируя профессора, преподававшего у них на первом курсе юридического, и Чарльз подмял его под себя (в тот раз они тоже лежали в постели).

— Ты мне будешь объяснять правовые принципы? — шутливо спросил он. — Это мне-то? Нет, ты и вправду прелесть.

Тебе не понять, все время говорил Чарльз, когда речь заходила и об этом, и о многом другом, и всякий раз в памяти у Дэвида всплывало лицо бабки. Могла бы его бабка сказать, что это не только их дом, но и дом Мэтью и Джейн? Вряд ли. Их дом принадлежал только Бингемам, а стать Бингемом можно было, только родившись им или породнившись с ними.

Разумеется, и Мэтью с Джейн никогда бы не пришло в голову считать дом Бингемов своим, поэтому Дэвид подозревал, что и Адамс чувствует то же самое: это дом Чарльза, и он всегда будет домом Чарльза, и хоть Адамс и часть этого дома, он такая же его часть, как стул или комод — предмет обстановки, у которого нет ни собственных желаний, ни интересов, ни какой-либо самостоятельности.

Адамс, конечно, мог вести себя так, будто это его дом, — вот и сейчас он, полностью игнорируя организатора вечеринки, командует официантами и грузчиками, одних отправляет на кухню, других отсылает двигать мебель в столовой, но хоть его авторитет — свойство отчасти врожден-

ное, оно во многом зависит от того, что здесь он представляет Чарльза, на которого ссылается, правда, только по необходимости, но не сказать чтобы редко.

— Вы ведь знаете, что мистер Гриффит их не любит, — отчитывал он теперь безуспешно пытавшуюся спорить с ним флористку, которая прижимала к груди зеленое пластмассовое ведро с наполовину раскрывшимися белыми лилиями. — Мы с вами это уже обсуждали. Он говорит, что у них похоронный запах.

— Но я же их уже заказала! — (Флористка, чуть не плача.)

— В таком случае предлагаю вам самой связаться с мистером Гриффитом и его переубедить, — сказал Адамс, прекрасно зная, что ничего подобного она не сделает.

И действительно, флористка отвернулась и отошла, бросив своим сотрудникам:

— Лилии на выброс! — И чуть потише: — Мудак.

Дэвид с торжеством глядел ей вслед. Цветами должен был заниматься он. После предыдущей большой вечеринки — вскоре после того, как он перебрался сюда жить, — Дэвид намекнул Чарльзу, что цветы были немного вялые и чересчур

сильно пахли: их аромат отвлекал от еды.

— Ты прав, — сказал тогда Чарльз. — В следующий раз за цветы будешь отвечать ты.

Правда?

— Конечно. Откуда мне что знать о цветах? А ты эксперт, — сказал Чарльз и поцеловал его.

Тогда он счел это подарком, привилегией, но с тех пор уже успел понять, что Чарльз охотно признает свое невежество во всем, что кажется ему незначительным. Говоря, что ничего не знает о цветах, бейсболе, футболе, архитектуре модернизма, современной литературе, или искусстве, или южноамериканской кухне, он словно бы хвастался своим неведением: он не знает этого, потому что ему это не нужно. Ты вот знаешь, и ладно, ты-то можешь тратить время впустую, а ему надо держать в голове сведения поважнее. Впрочем, закончилось все ничем: Чарльз не забыл сказать организатору, чтобы больше не нанимала этих флористов, но забыл сообщить, что за цветы теперь будет отвечать Дэвид. Дэвид весь месяц продумывал композиции, обзванивал магазины в Цветочном квартале, чтобы узнать, где смогут специально для них заказать стефанотис и протею, но всего две недели назад, когда они с Чарльзом сидели за бокалом вина в гости-

ной, тот спросил у Адамса, как идет подготовка к вечеринке — “Да, наняли других флористов”, — и Дэвид понял, что цветами он все-таки заниматься не будет. Он не стал сразу ничего спрашивать, дождался, пока Адамс уйдет, потому что они старались не ссориться в присутствии Адамса и потому что он хотел сначала прорепетировать свои слова в уме, чтобы не казалось, будто он обиделся. Но вышло все равно обиженно. А я думал, цветы на мне, сказал он, едва Адамс вышел из комнаты.

— Что?

Помнишь? Ты ведь обещал.

— Господи. Правда?

Да.

— Вообще не помню. Но раз ты говоришь, что я обещал, значит, обещал. Ох, Дэвид, прости, пожалуйста. — И добавил, когда тот ничего не ответил: — Ты ведь не обиделся, нет? Это же просто дурацкие цветы. Дэвид. Ты расстроился?

Нет, солгал он.

— Нет, расстроился. Дэвид, ну прости. Следующий раз — твой, обещаю.

Он кивнул, и тут вернувшийся Адамс объявил, что ужин подан, и они пошли в столовую. За ужином он бодрился, чтобы угодить Чарльзу, но

потом, уже в постели, Чарльз повернулся к нему в темноте и спросил:

— Все еще дуешься, да?

Объяснить почему было непросто — могло показаться, будто он капризничает по пустякам. Я просто хочу тебе помочь, начал он. Я просто хочу, чтобы от меня здесь был хоть какой-то толк.

— Но ты и так мне помогаешь, — сказал Чарльз. — Ты каждую ночь рядом, ты мне помогаешь.

Спасибо, конечно, но… Я хочу знать, что мы с тобой делаем что-то вместе, что я приношу тебе какую-то пользу. Мне кажется, что я… что я просто занимаю тут место, но ничего толком не делаю, понимаешь?

Чарльз помолчал.

— Понимаю, — наконец ответил он. — В следующий раз, Дэвид, обещаю. И еще, я тут подумал, почему бы нам не пригласить на ужин кого-нибудь из твоих друзей? Только твоих друзей, и больше никого. Моих ты всех знаешь, а я с твоими почти не знаком.

Серьезно?

— Да. Это и твой дом тоже, пусть знают, что им здесь рады.

Тогда Чарльз его успокоил, но после той ночи

больше не повторял приглашения, и Дэвид ему не напоминал — он так и не понял, говорил ли Чарльз всерьез, а кроме того, не знал, хочет ли он сам, чтобы его друзья познакомились с Чарльзом. То, что этого еще не произошло, хотя они с Чарльзом давно вместе, было уже не просто странно, а подозрительно: что Дэвид скрывает? Что он утаивает от друзей? Они ведь и так знают, какой Чарльз богатый и сколько ему лет, знают, как Дэвид с ним познакомился, ну и чего еще тут стесняться? Прийти они, конечно, придут — чтобы собрать доказательства, а после ужина усядутся где-нибудь все вместе обсуждать, почему Дэвид вообще живет с Чарльзом и что он такого нашел в мужике на тридцать лет его старше. “По-моему, я знаю что”, — так и слышал он голос Иден.

Однако Дэвид часто гадал, а только ли из-за разницы в возрасте он рядом с Чарльзом чувствует себя совсем ребенком. Ему не случалось испытывать такого рядом с отцом, который был на пять лет моложе Чарльза. Видели бы его сейчас, когда он прячется на лестнице, ведущей из гостиной на второй этаж, сидит, скорчившись, на ступеньке, откуда прекрасно видно все, что происходит внизу, зная, что здесь его никто не заметит и можно смотреть, как флористка, все еще бурча, с

щелканьем разрезает бечевку на можжевеловых ветках, а у нее за спиной два грузчика в белых хлопковых перчатках поднимают деревянный буфет восемнадцатого века и медленно, будто гроб, выносят его из столовой в кухню, где он и простоит весь вечер. Ребенком он тоже прятался на лестницах, сначала подслушивая, как ссорятся бабка с отцом, потом — бабка с Эдвардом, всегда готовый вскочить, убежать к себе в комнату и даже, если придется, зарыться под одеяло.

Все его участие свелось к роли наблюдателя. “Ты отвечаешь за контроль качества, — сказал ему Чарльз. — Проследишь, чтобы все выглядело как надо”. Но он знал, что Чарльз просто оказывает ему любезность — его обязанности здесь, и не только здесь, были неопределенными и в итоге ни на что не влияли. От того, что он думает и что скажет, толком ничего не изменится. В доме у Чарльза любое его предложение не будет иметь никакого смысла, как, впрочем, и на работе.

— Жалость к себе — некрасивая черта для мужчины, — говорила бабка.

А для женщины?

— Тоже некрасивая, но хотя бы понятная, — отвечала бабка. — У женщин куда больше причин себя жалеть.

Он знал, что настоящая его обязанность сегодня (как и всегда) — прилично и привлекательно выглядеть, и это, по крайней мере, ему по силам, так что он встал и поднялся на пролет выше, в их с Чарльзом комнату. Пять лет назад Чарльз купил Адамсу маленькую квартиру в квартале отсюда, а до этого Адамс спал этажом выше, в спальне, которая теперь была обычной комнатой для гостей. Дэвид воображал, как тот, по-прежнему одетый в свой черный костюм, опускается на колени, прижимается ухом к полу, подслушивает, что делают внизу Чарльз и Оливье. Адамса он видел только с затылка, потому что никогда не мог представить себе выражение его лица, и видение это ему не нравилось, однако оно снова и снова возникало у него перед глазами.

Сегодняшнюю вечеринку Чарльз устраивал в честь бывшего бойфренда — правда, очень давнего, еще со школы, так что Дэвид не видел тут ни опасности для себя, ни повода для ревности. Питер был первым, с кем Чарльз переспал, Питеру тогда было шестнадцать, Чарльзу — четырнадцать, и с тех пор они не переставали дружить, иногда — на несколько месяцев, а то и на несколько лет — снова становясь любовниками, впрочем, в последние десять лет такого уже не случалось.

Но теперь Питер умирал. И поэтому вечеринку устраивали в пятницу, а не в субботу, как было заведено у Чарльза, — потому что назавтра у Питера билет в Цюрих, где его встретит старый однокашник-швейцарец, врач, согласившийся сделать ему инъекцию барбитуратов, от которых у него остановится сердце.

Дэвиду трудно было понять, что именно сейчас испытывает Чарльз. Конечно, тот переживал — “Я очень переживаю”, — сказал Чарльз, — но что это на самом деле значило, “переживать”? Чарльз никогда не плакал, не злился, не уходил в себя, как было с Дэвидом, когда семь лет назад умер его первый друг, а затем начали умирать и другие; о решении Питера он рассказал Дэвиду как бы между прочим, ровным будничным тоном, а когда Дэвид ахнул и едва не расплакался (несмотря на то что Питера он почти не знал, да и не сказать чтобы любил), Чарльзу еще и пришлось его утешать. Чарльз хотел поехать вместе с Питером, но Питер отказался — сказал, так будет слишком тяжело. Последний свой вечер он проведет вместе с Чарльзом, но на следующее утро сядет в самолет в сопровождении одного только медбрата.

“Ну, хоть не болезнь”, — говорил Чарльз. Он часто это повторял. Иногда — обращаясь к Дэвиду,

иногда — совсем внезапно, будто делая объявление, которое все равно слышал один Дэвид. “Ну, хоть не болезнь, он хотя бы не от нее умрет”.

Питер умирал от множественной миеломы, которой болел уже девять лет.

— Вот и мое время вышло, — сказал он с нарочитой, бодрой иронией какому-то их с Чарльзом общему знакомому, с которым они впервые за долгое время увиделись на прошлой вечеринке у Чарльза. — Никаких мне, бедненькому, больше отсрочек.

— У тебя?..

— Да нет, что ты. Банальный рак.

— Ты, Питер, всегда был старомоден.

— Я бы сказал, что просто следую традициям. Традиции, кстати, штука важная. Надо же кому-то их соблюдать.

Дэвид переоделся в костюм — все приличные костюмы ему купил Чарльз, но он перестал надевать их на работу, после того как на них обратил внимание коллега, — и выбрал галстук, но потом передумал. Костюма будет достаточно. В свои двадцать пять он был единственным, кто носил костюмы вне работы, если не считать Иден, одевавшейся так из духа противоречия. Вернувшись в гардеробную, чтобы положить галстук на место,

он снова наткнулся на свою сумку и засунутое в боковой карман письмо.

Он уселся на кровать, задумался. Он знал, что ничего хорошего от письма ждать не стоит, там будут новости об отце, и они будут плохими, и ему придется ехать домой, к себе домой, чтобы повидаться с человеком, который в каком-то смысле перестал быть для него реальным. Он был призраком — он являлся Дэвиду лишь во сне, он сбежал из этой действительности куда-то, где он пребывал теперь, он был для него навеки потерян. Все десять лет, что они не виделись, Дэвид изо всех сил старался о нем не вспоминать, потому что вспоминать о нем — все равно что сдаться на милость течения, столь бурного, что Дэвид боялся: ему не выплыть, его унесет так далеко от суши, что он никогда не сумеет вернуться обратно. Каждое утро, едва проснувшись, он упражнялся в том, чтобы не думать об отце, как спортсмены упражняются в беге, а музыканты — в разучивании гамм. И теперь все его старания вот-вот пойдут прахом. Содержимое конверта неизбежно приведет к разговорам с Чарльзом или к одному долгому разговору, который придется начать с сообщения, что ему нужно уехать. Почему, спросит Чарльз. А затем: куда? К кому?

Но ты ведь говорил, что он умер. Так, стоп, стоп — кто?

Нет, сегодня он ни о чем говорить не будет, решил он. Вечеринку устраивают в честь Питера. Он уже оплакал отца, он оплакивал его годами, что бы там ни было в этом конверте, оно может подождать. И он засунул письмо поглубже в сумку, как будто если он его не прочтет, то все в нем написанное не станет реальностью, застынет где-то между Нью-Йорком и Гавай'ями: беда, которая почти случилась, но которую он, пусть и не распознав, сумел хотя бы отдалить.

———

Вечеринка начиналась в семь, и Чарльз клятвенно обещал быть дома к шести, но было уже шесть пятнадцать, а Чарльз до сих пор не появился, и Дэвид ждал его, глядя из окна на улицу и сумеречное пространство Вашингтонской площади.

Когда он учился в колледже, их театральный клуб ставил пьесу о жившей в девятнадцатом веке богатой наследнице, которая хотела выйти замуж за человека, охотившегося, по мнению ее отца, только за ее деньгами. Наследница была невзрачной, жених — красавцем, и никто — ни

отец наследницы, ни жеманная незамужняя тетка, ни ее друзья, ни драматург, ни зрители — не верил, что она способна чем-то по-настоящему привлечь своего возлюбленного, верила одна лишь наследница. Эта упрямая вера должна была служить доказательством глупости, но Дэвид видел в ней упорство, порожденное огромным самообладанием, которое восхищало его и в Чарльзе. Второй акт открывался сценой, когда героиня стоит у окна в шуршащем платье хрусткого персикового шелка — гладко, на пробор, причесанные волосы собраны в узел на затылке, завитые локоны, будто крылья занавеса, свисают по обе стороны круглого, милого лица. Вид у нее спокойный и невозмутимый, руки сложены на животе. Она высматривает в окне своего возлюбленного, она не сомневается в том, что он придет.

И вот теперь он, в той же самой позе, ждал своего возлюбленного. И у него, в отличие от наследницы, было гораздо меньше поводов для беспокойства, однако он беспокоился. Но с чего бы? Чарльз его любит и всегда будет о нем заботиться, он подарил ему жизнь, какую сам бы он никогда не смог себе позволить, даже если иногда ему и казалось, что он полностью не властен над

этой жизнью, что он всего лишь дублер, которого спешно вытолкнули на подмостки в середине позабытой им сцены, и он пытается разгадать сигналы, которые ему подают другие актеры, в надежде, что его реплики вот-вот всплывут в памяти.

Полтора года назад, когда они с Чарльзом только познакомились, Дэвид снимал вместе с Иден двухкомнатную квартиру на пересечении Восьмой улицы и Авеню Б, и хотя Иден их улица казалась адреналиновой — орали бредящие алкаши, просто так, чтобы напугать, длинноволосые мальчишки по утрам валялись в отключке прямо у них на крыльце, — Дэвид был другого мнения. Он приучился уходить на работу ровно в семь утра: выйдешь раньше и наткнешься на разбредающихся по домам тусовщиков и неудачливых торговцев наркотиками, позже — и будешь уворачиваться от проснувшихся попрошаек, которые продвигаются на запад, от Томпкинс-сквер-парк до Сент-Маркс-плейс, выклянчивая по пути мелочовку.

— Есть монета? Есть монета? Есть монета? — повторяли они.

Нет, простите, однажды пробормотал он в ответ, опустив, будто бы от стыда, голову и пытаясь

увернуться.

Обычно этим все и ограничивалось, но в тот раз попрошайка — белый мужик, с колтунами в свалявшейся светлой бороде, перехваченной зажимом для пакета, — увязался за ним, держась почти вплотную, чиркая носками ботинок по задникам его туфель и обдавая Дэвида перечным, мясным дыханием.

— Врешь, — шипел он. — Зачем врать-то? Я ведь слышу, вон они, монетки, бренчат у тебя в кармане. Почему ты врешь? Потому что ты ведь из этих, мексикашка сраный, сраный ты мексикашка, что, скажешь, нет?

Он тогда испугался — половина восьмого, на улицах почти никого, а редкие прохожие только пялились на них, разинув рты, словно они им на потеху разыгрывают представление. (Вот что ему сразу здесь не понравилось — как ньюйоркцы нахваливают себя за то, что им плевать на знаменитостей, и при этом с ненасытным вниманием следят за мелкими уличными трагедиями простых смертных.) Он уже почти дошел до Третьей авеню, и тут город в кои-то веки бросил ему спасательный круг, к его остановке подошел автобус — еще десять шагов, и он в безопасности. Десять, девять, восемь, семь. И вот, уже со ступеньки

автобуса, он обернулся и крикнул срывающимся от страха голосом: никакой я не мексикашка!

— Ха! — отозвался мужик, даже не думавший бежать за ним к автобусу. В его голосе слышалось ликование, радость оттого, что он добился какой-то реакции. — Узкоглазый! Китаёза! Гомик! Педрила! Пошел ты на хер!

Двери закрылись, мужик нагнулся, и что-то с глухим стуком ударилось о борт автобуса: обернувшись, Дэвид увидел, как мужик, в одном ботинке, прихрамывая, выходит на проезжую часть за вторым.

Добираясь до офиса, пешком через весь город, от Пятьдесят шестой до Бродвея, он успел поостыть, но, поймав свое отражение в зеркальном окне здания, увидел, что авторучка, лежавшая в нагрудном кармане, потекла и вся правая сторона рубашки залита темно-синими чернилами. Поднявшись на свой этаж, он пошел в уборную, но она отчего-то была заперта, и он в панике, задыхаясь, бросился в туалет для старших партнеров, где никого не было. Там он принялся неумело замывать пятно, чернила бледнели, но не исчезали. И пальцы, и лицо теперь тоже были перемазаны синим. Что же делать? День выдался теплый, и пиджак он надевать не стал. Придется

идти в магазин за новой рубашкой, но денег у него не было — ни на рубашку, ни на то, чтобы пожертвовать часом оплачиваемой работы, который он потеряет, пока пойдет в магазин.

И вот, когда он, чертыхаясь, тер пятно, дверь отворилась и вошел Чарльз. Про Чарльза он знал — один из старших партнеров и, пожалуй, привлекательный. Он думал о нем, особо не задумываясь: Чарльз был человеком влиятельным и еще — старым. Задумываться о его привлекательности было и непродуктивно, и потенциально опасно. Впрочем, он знал, что и секретаршам Чарльз тоже кажется привлекательным. Знал он и о том, что Чарльз не женат — у них это было предметом постоянных обсуждений.

— Может, он гей, как думаешь? — подслушал он однажды перешептывания двух секретарш.

— Мистер Гриффит? — переспросила другая. — Ну нет, он не из этих.

Он принялся извиняться — за то, что зашел в уборную для старших партнеров, за то, что был весь в чернилах, за то, что вообще дышал.

Чарльз, однако, проигнорировал его извинения.

— Ты ведь понимаешь, что рубашке конец? — спросил он, и Дэвид, переведя взгляд с пятна на

него, увидел, что он улыбается. — И запасной у тебя, наверное, нет?

Нет, сознался он. Сэр.

— Чарльз, — сказал Чарльз, по-прежнему улыбаясь. — Чарльз Гриффит. Руки друг другу потом пожмем.

Да, ответил он. Конечно. Я Дэвид Бингем.

Он с трудом сдержался, чтобы снова не извиниться за то, что находится в уборной для старших партнеров. Землей нельзя владеть, повторял ему Эдвард, когда его еще звали Эдвардом. Ты можешь находиться где угодно, это твое право. Интересно, сказал бы Эдвард то же самое и о туалете для руководства юридической фирмы на Манхэттене? Наверное, сказал бы, хотя от одной мысли о том, что есть какая-то юридическая фирма, что эта юридическая фирма в Нью-Йорке, что на эту юридическую фирму в Нью-Йорке работает Дэвид, его передернуло бы от отвращения, не знай он даже о том абсурдном факте, что сотрудники этой юридической фирмы ходят в разные туалеты в зависимости от своего уровня. *Как тебе не стыдно, Кавика. Как не стыдно. Не такому я тебя учил.*

— Жди здесь, — сказал Чарльз и вышел, а Дэвид, бросив взгляд в зеркало, только сейчас заметил,

какой неряшливый у него вид — на правом веке синяком расплывался чернильный сгусток, — поэтому, схватив стопку бумажных полотенец, он закрылся в кабинке, чтобы не попасться на глаза еще кому-нибудь.

Но когда дверь вновь отворилась, в туалет опять вошел Чарльз, держа под мышкой какую-то плоскую коробку.

— Ты где? — позвал он.

Он высунулся из кабинки. Ответил: здесь.

Чарльза это, казалось, позабавило.

— И чего ты там прячешься?

Мне сюда нельзя, сказал он. И прибавил, как будто бы уточняя: я ассистент.

Чарльз заулыбался еще шире.

— Ладно, ассистент, — сказал он, открывая коробку, в которой оказалась белая, чистая, аккуратно сложенная рубашка, — вот, все, что смог найти. Тебе она, скорее всего, великовата, зато не будешь напоминать темную сторону луны. Согласен?

Или ходить полуголым, вырвалось у него, и взгляд Чарльза вдруг стал внимательным, оценивающим.

— Да, — ответил он, помолчав. — Или полуголым. Этого мы никак не можем допустить.

Спасибо, сказал он и взял коробку. Он уже на ощупь чувствовал, что рубашка дорогая, и, вытащив картонную подкладку и держатель воротничка, принялся расстегивать пуговицы перемазанными в чернилах пальцами. Он хотел было повесить рубашку на дверь кабинки, но Чарльз протянул руку:

— Давай подержу. — И, пока Дэвид раздевался, стоял рядом, перебросив собственную чистую рубашку через руку, будто пародия на старомодного официанта.

Как-то невежливо было закрывать дверь или просить его отвернуться, да и сам Чарльз ничего не делал, просто глядел молча, как он расстегивает рубашку, снимает ее, переодевается в новую, застегивает пуговицы. Все ощущалось как-то очень остро — и звук их дыхания, и то, что рубашку он носил на голое тело, без майки, и что он весь покрылся гусиной кожей, хотя в уборной было, в общем-то, не холодно. Он застегнул рубашку, затолкал ее в брюки — отвернувшись от Чарльза, чтобы расстегнуть ремень: какое же неуклюжее, неловкое все это раздевание-одевание — и принялся снова благодарить Чарльза. Спасибо, что подержали рубашку, сказал он. Спасибо вам за все. Давайте рубашку, я ее заберу. Но Чарльз

только рассмеялся в ответ.

— Да выбрось ты ее, — сказал он. — Ее уже не спасти.

Выброшу, согласился он, умолчав о том, что все же попробует ее спасти, — у него всего шесть рубашек, выбросить даже одну ему не по карману.

Рубашка Чарльза колыхалась вокруг его тела сухим, свежим хлопковым пузырем, и когда он вышел из кабинки, Чарльз, фыркнув, сказал:

— Надо же, совсем забыл.

И Дэвид, опустив взгляд, увидел слева, у себя над почкой, вышитые черным инициалы Чарльза: ЧГГ.

— Ну что ж, — сказал Чарльз, — а вот это я бы на твоем месте прикрыл. Не то кто-нибудь подумает еще, что ты украл у меня рубашку.

И, подмигнув ему, он вышел, а Дэвид так и остался, как дурак, стоять на месте. Дверь распахнулась снова, и Чарльз просунул голову в уборную.

— Тревога, — сказал он. — Делакруа.

Делакруа был исполнительным директором. Чарльз снова подмигнул ему и исчез.

— Привет, — сказал Делакруа, не узнавший его и не понимающий, должен ли его знать: Дэвид был явно не из тех, кто пользовался уборной для

старших партнеров, но Делакруа теперь все люди моложе пятидесяти казались детьми, поэтому кто его знает? Может, и этот тоже партнер.

— Привет, — как можно увереннее ответил Дэвид и поспешно вышел.

Весь день он прижимал руку к животу, чтобы скрыть монограмму. (Вечером он понял, что мог бы просто залепить это место клочком бумаги.) Никто ничего не сказал, но ему все равно казалось, будто его пометили, заклеймили, и когда, выходя из архива, он увидел Чарльза, который вместе с другим партнером шел в его сторону, он покраснел и чуть было не выронил все свои папки, а Чарльз тем временем скрылся за углом. К концу рабочего дня он совсем выбился из сил, и потом еще весь вечер его рука привычно, послушно взлетала к боку.

Назавтра была суббота, и он бросился застирывать рубашку, но Чарльз оказался прав, ее было уже не спасти. Он думал, может, получится самому выстирать и отгладить рубашку Чарльза, но тогда пришлось бы нести ее в прачечную вместе со своим грязным бельем, а ему отчего-то было стыдно класть ее в тот же сетчатый мешок для стирки, где лежали его трусы и футболки. Делать было нечего — он сдал рубашку в химчистку,

потратив деньги, которых у него не было.

В понедельник он специально пришел на работу очень рано и уже по дороге к кабинету Чарльза понял, что не может просто оставить коробку под дверью. Он остановился, раздумывая, как лучше поступить, и внезапно рядом возник Чарльз, в костюме и в галстуке, с портфелем и с тем же смешливым выражением лица, с каким глядел на него на прошлой неделе.

— Привет, ассистент Дэвид, — сказал он.

Здрасьте, ответил он. В общем… Вот ваша рубашка. (До него только теперь дошло, что надо было принести Чарльзу что-то еще, в знак благодарности, хотя он даже не представлял, что именно.) Спасибо, спасибо вам большое. Вы меня спасли. Рубашка чистая, глупо добавил он.

— Ну уж надеюсь, — по-прежнему улыбаясь, ответил Чарльз, отпер дверь кабинета и положил коробку на стол, пока Дэвид переминался на пороге.

— Знаешь что, — вдруг сказал Чарльз, обернувшись к нему. — По-моему, теперь за тобой должок.

Должок? — только и сумел переспросить он.

— Ну да, — сказал Чарльз, подходя ближе. — Я ведь тебя спас, верно? — Он снова улыбнулся. —

Так, может, ты со мной тогда поужинаешь?

А, сказал он. И затем снова. А. Ладно. Да.

— Вот и хорошо, — сказал Чарльз. — Я позвоню.

А, повторил он. Конечно. Да. Ладно.

Кроме них в офисе никого не было, но оба говорили тихо, почти шепотом, и пока Дэвид шел обратно, туда, где сидели все ассистенты, лицо у него пылало.

Ужин был назначен на следующий четверг, и он, следуя указаниям Чарльза, ушел из офиса первым, в семь тридцать, один пришел в тихий и темный ресторан, где его усадили в отдельную кабинку, вручив увесистое меню в кожаном переплете. Чарльз явился в самом начале девятого, встретивший его метрдотель прошептал что-то ему на ухо, и в ответ Чарльз улыбнулся и закатил глаза.

Едва он уселся за стол, как ему принесли мартини.

— Ему то же самое, — сказал Чарльз официанту, кивком указав на Дэвида, и когда второй мартини принесли, Чарльз с усмешкой звякнул своим бокалом о его бокал.

— За ручки, которые не взрываются, — сказал он.

За ручки, которые не взрываются, повторил Дэвид.

Уже потом, вспоминая этот ужин, он поймет, что тогда впервые по-настоящему был на свидании. Еду выбирал Чарльз (портерхаус с кровью, к нему шпинат и запеченный с розмарином картофель), и говорил в основном тоже он. Вскоре стало понятно, что у него уже сложилось о Дэвиде определенное мнение, и с этим мнением Дэвид не спорил. Не сказать чтобы Чарльз во многом ошибся: да, он беден. Да, образование у него так себе. Да, он наивен. И да, он толком нигде не был. Однако за этими истинами скрывалось то, что сам Чарльз в суде назвал бы смягчающими обстоятельствами. Он не всегда был таким бедным. Когда-то у него было хорошее образование. Он не так уж и наивен. И однажды он жил там, где не мог побывать ни Чарльз, ни кто-либо из его знакомых.

Стейк был уже наполовину съеден, когда Дэвид опомнился, что ничего не спросил у Чарльза о нем самом.

— А, да о чем тут говорить? Я скучный, и все тут, — ответил Чарльз с небрежностью человека, который уж точно не считает себя скучным. — Обо мне еще успеем. Расскажи лучше о своей

квартире.

И Дэвид, опьянев от джина и непривычного чувства, что кто-то видит в нем источник интереса и великой мудрости, рассказал: о мышах и простроченных грязью оконных переплетах, о печальном трансвестите, любившем прикорнуть у них под дверью и поорать в два часа ночи свою любимую песню, *Waltzing Matilda,* и о своей соседке Иден, занимавшейся искусством, в основном живописью, и работавшей корректором в издательстве. (Он умолчал о том, что каждый день, в три, Иден звонит ему на работу и они болтают по целому часу, а Дэвид говорит шепотом и заходится в притворном кашле, чтобы скрыть смех.)

— Откуда ты? — спросил Чарльз после того, как посмеялся или улыбнулся каждому рассказу Дэвида.

Гавай'и, ответил он и добавил, прежде чем Чарльз успел спросить: О'аху. Гонолулу.

Чарльз, конечно, бывал там, там все были, и какое-то время Дэвид уклончиво рассказывал о своей жизни: да, остались родственники. Нет, не близкие. Нет, отец умер. Нет, матери он даже не помнит. Нет, ни братьев, ни сестер, и у отца их тоже не было. Да, одна бабка жива — по отцу.

Какое-то время Чарльз разглядывал его, скло-

нив голову.

— Не хочу показаться невежливым, — сказал он, — но кто ты тогда? Ты?.. — Он замялся, умолк.

Гаваец, уверенно ответил он, хоть это и не была вся правда.

— Но у тебя фамилия…

Миссионерская. В начале девятнадцатого века на острова начали в большом количестве приезжать американские миссионеры, многие вступали в браки с гавайцами.

— Бингем… Бингем, — задумчиво протянул Чарльз, и Дэвид уже знал, что он скажет дальше. — Знаешь, в Йеле есть общежитие, которое называется Бингем-холл. Я там жил на первом курсе. Случайно, не твой родственник? — Он рассмеялся, вскинув брови, для себя он, конечно, уже решил, что нет, не родственник.

Да. Мой предок.

— Надо же, — сказал Чарльз, откинувшись на спинку стула и перестав улыбаться.

Он замолчал, и тут до Дэвида впервые дошло, что он удивил Чарльза, удивил и озадачил, и что теперь Чарльз думает, а верное ли мнение он в итоге составил о Дэвиде.

Он еще и часа не провел в обществе Чарльза, а уже знал, что Чарльз не любит удивляться, не

любит корректировать свое мнение — то, как он уже решил думать. Потом, когда он уже перебрался жить к Чарльзу, до него вдруг дошло, что тем вечером он мог бы изменить характер их отношений; а что, если бы он ответил по-другому, сказал бы что-нибудь вроде: кстати, я из старинного гавайского рода. Я королевской крови. Нас все там знают. Сложись все иначе, я был бы сейчас королем. И он бы не солгал.

Но стоило ли говорить правду? Еще студентом во второсортном колледже он рассказал тогдашнему бойфренду — игроку в лякросс, который, стоило им вылезти из постели, либо игнорировал Дэвида, либо делал вид, что его не существует, — краткую историю своей семьи, но тот только фыркнул в ответ. “Очень смешно, чувак, — сказал он. — А у меня бабка — английская королева. Ну-ну”. Дэвид принялся было что-то доказывать, но бойфренду его истории вскоре наскучили, и он перевернулся на другой бок. После этого случая Дэвид научился помалкивать — лгать было проще и легче, чем видеть, что тебе никто не верит. Его семья давно осталась в прошлом, но он все равно не хотел, чтобы над ними смеялись, не хотел снова вспоминать о том, что предмет гордости его бабки для многих был разве что

источником шуток. Не хотел думать о своем несчастном пропащем отце.

Поэтому он ответил: мы — бедные родственники, и Чарльз с облегчением рассмеялся.

— С кем не бывает, — сказал он.

В такси они ехали молча, Чарльз, не поворачивая головы, положил руку ему на колено, и Дэвид, взяв его руку и положив ее себе между ног, увидел, как в полутьме улыбка изменила профиль Чарльза. Тем вечером они расстались целомудренно: Чарльз высадил его на Второй авеню, потому что Дэвид сгорел бы со стыда, если бы Чарльз увидел, где он живет на самом деле, — дом Чарльза был в какой-нибудь миле отсюда, а казалось, будто в другой стране, — но шли недели, они виделись снова и снова, и через полгода после первого свидания он переехал к Чарльзу на Вашингтонскую площадь.

Ему казалось, за месяцы, что они с Чарльзом провели вместе, он разом и помолодел, и состарился. Потеряв связь со своими ровесниками, он все больше времени проводил со сверстниками Чарльза, за ужинами, во время которых вежливые друзья Чарльза пытались поговорить с ним, а не слишком вежливые — говорили о нем. В конце концов, впрочем, и те и другие о нем

забывали, принимались обсуждать какие-нибудь юридические или биржевые тонкости, и тогда он прощался со всеми и уползал в спальню дожидаться Чарльза. Иногда они ходили в гости к друзьям Чарльза, и там он молча слушал обсуждения всего подряд — людей, которых он не знал, книг, которых он не читал, кинозвезд, до которых ему не было дела, событий, произошедших до его рождения, — а затем они (слава богу, не поздно) возвращались домой.

Вместе с тем он чувствовал себя ребенком. Чарльз покупал ему одежду, выбирал, куда они поедут отдыхать и что будут есть — все, что ему приходилось делать для отца, все, чего отец никогда не делал для него. По идее он должен был остро ощущать свою инфантильность, настолько откровенно неравными были их отношения, но нет — ему все это нравилось, все это его успокаивало. Какое облегчение — быть рядом с таким авторитетным человеком, какое облегчение — не думать. Самоуверенность Чарльза, распространявшаяся на все стороны их жизни, придавала и ему уверенности. Чарльз отдавал приказания Адамсу или повару с той же бодрой, искренней твердостью, с какой обращался к Дэвиду в постели. Ему иногда чудилось, будто он заново

проживает детство, только на этот раз с Чарльзом в роли отца, и от этого ему делалось не по себе, потому что Чарльз не был его отцом, Чарльз был его любовником. Но чувство это не исчезало: вот человек, за которого не надо переживать и который, напротив, переживает за него. Человек с понятными привычками и надежными правилами, которые ясны сразу и потом не меняются. Он и до этого знал, что в его жизни чего-то не хватает, но, только встретив Чарльза, понял, что не хватало ему логики — все фантазии в жизни Чарльза ограничивались спальней, что по-своему тоже было очень логично.

Раньше он не задумывался, с кем ему когда-нибудь предстоит жить вместе, но так легко свыкся с ролью бойфренда Чарльза, с тем, что он — с Чарльзом, что теперь у него лишь изредка холодело в животе при мысли об этом неожиданном и непредвиденном сходстве с отцом — с человеком, который всю жизнь только и хотел, чтобы его любили, чтобы о нем заботились, чтобы им управляли. И в такие минуты — когда он стоял в полутьме у окна, держась за ставень, высматривая на сумеречной площади Чарльза, дожидаясь его, как кот хозяина, — он понимал, кого сам себе напоминает: не только богатую наследницу

в слишком красивом персиковом платье, но и отца. Отца, стоящего у окна на закате, с тревогой и надеждой прождавшего весь день, уставшего от этого ожидания и все равно глядящего на улицу в надежде, что вот-вот появится Эдвард в своей глохнущей старой машине, и тогда он выбежит за дверь, и друг увезет его от матери и сына, от всех разочарований его мелкой и неизбывной жизни.

———

Первые гости позвонили в дверь, пока Чарльз еще одевался.

— Черт, — сказал он. — Да кто вообще приходит вовремя?

Американцы, ответил он, это он где-то вычитал, и Чарльз рассмеялся.

— Точно, — сказал он и поцеловал его. — Пойдешь, поговоришь пока с тем, кто там пришел? Я спущусь через десять минут.

Десять? — с наигранным возмущением переспросил он. Ты еще десять минут будешь собираться?

Чарльз шлепнул его полотенцем.

— Не все ведь выглядят как ты, едва выйдя из душа, — сказал он. — Приходится потрудиться.

Он вышел улыбаясь. Они часто так перешу-

чивались — говорили друг другу комплименты, преуменьшая свои достоинства, — но только наедине, ведь они оба знали, что красивы, и оба знали, что говорить об этом вслух — вульгарно, а вскоре будет еще и жестоко. Им обоим было присуще тщеславие, и это тщеславие было капризом, свидетельством жизни, приметой доброго здоровья, благодарением. Оказавшись где-то вдвоем или даже в чужом доме среди других мужчин, они порой быстро переглядывались и отворачивались, понимая, что в их еще гладких лицах, в мускулистых руках есть что-то непристойное. А в некоторых случаях их появление и вовсе выглядело как провокация.

От лилий внизу не осталось даже запаха, Адамс уносил в кухню пустой серебряный поднос, на котором он подавал напитки. В столовой, куда Дэвид уже успел заглянуть, официантки расставляли блюда с едой вокруг ваз с остролистом и фрезией. Чарльз предлагал суши, но Питер отказался. “На смертном одре я уж точно не начну есть рыбу, — сказал он. — Тем более что я всю жизнь старался ее избегать. Пусть приготовят что-то нормальное, Чарльз. Нормальное, вкусное”. Поэтому Чарльз велел организаторше найти кейтеринг со средиземноморской кухней, и теперь

стол был уставлен терракотовыми плошками с кусками стейка и цукини на гриле и мисками с пастой — капеллини с оливками и вялеными помидорами. Вечеринку на этот раз обслуживали одетые в черные брюки и рубашки официантки — с цветами у Дэвида ничего не вышло, но он сумел сделать так, чтобы кейтеринговая компания, услугами которой обычно пользовался Чарльз, прислала только женщин. Дэвид знал, что Чарльз рассердится, когда заметит, что команда сменилась — прежние официанты, все, как на подбор, юные блондины, на прошлой вечеринке так и пялились на Чарльза, а Чарльз откровенно наслаждался их вниманием, — но понимал, что когда они лягут спать, тот его простит, потому что Чарльзу нравилось, когда Дэвид его ревновал, нравилось, когда он напоминал Чарльзу, что у него еще есть выбор.

Столовая, где они ужинали, когда оставались вечером дома, была старомодной и душной, и со времен родителей Чарльза тут почти ничего не изменилось. Все остальные комнаты обновили десять лет назад, когда сюда переехал Чарльз, а здесь до сих пор сохранились и длинный лакированный стол красного дерева, и парный буфет времен Федерации, и темно-зеленые обои

с узором из вьюнковых лоз, и темно-зеленые портьеры дюпонового шелка, и портреты предков Чарльза, первых Гриффитов, приехавших в Америку из Шотландии, а их часы с желтоватым циферблатом китовой кости — этой фамильной реликвией Чарльз очень гордился — так и стояли между портретами на каминной полке. Чарльз не мог толком объяснить, почему он не стал здесь ничего менять, и всякий раз, оказываясь в этой комнате, Дэвид вспоминал столовую в доме бабки, где обстановка была совсем другой, но так же ничего не менялось, — но еще чаще он вспоминал не столовую, а их семейные обеды: как отец, разнервничавшись, ронял половник в супницу, расплескивая суп на скатерть, и как сердилась бабка. “Сынок, ну ради бога, — говорила она. — Нельзя ли поаккуратнее? Смотри, что ты наделал”.

— Прости, мама, — бормотал отец.

— Какой пример ты подаешь ребенку, — продолжала бабка, как будто отец ничего и не говорил. И затем обращалась к Дэвиду: — Ты ведь будешь вести себя за столом лучше, чем твой отец, да, Кавика?

Да, виновато обещал он, потому что ему казалось, что он предает отца, и когда отец заходил к

нему вечером пожелать спокойной ночи, Дэвид говорил ему, что хочет быть таким же, как он, когда вырастет. У отца на глаза наворачивались слезы, потому что он знал, что Дэвид лжет, и был ему за это благодарен. “Не будь как я, Кавика, — говорил отец, целуя его в щеку. — Да ты и не будешь. Ты будешь лучше меня, уж я-то знаю”. Он никогда не знал, что на это ответить, и потому молчал, а отец целовал кончики его пальцев и прикладывал их ко лбу. “Спи, засыпай, — говорил он. — Мой Кавика. Мой сын”.

У него вдруг потемнело в глазах. Что бы теперь подумал о нем отец? Что сказал бы? Каково бы ему пришлось, узнай он, что сын получил письмо с новостями, с плохими новостями о нем и решил его не читать? *Мой Кавика. Мой сын.* Ему захотелось кинуться обратно, выхватить письмо из конверта, залпом прочесть все, что там написано.

Нет, нельзя, иначе весь вечер пойдет насмарку. Поэтому он заставил себя спуститься в гостиную, где уже сидели трое старых друзей Питера и Чарльза: Джон, Тимоти и Персиваль. Друзья милейшие, из тех, кто, завидев его, всего разок, быстро, оглядывали его с ног до головы, а потом весь вечер смотрели только ему в лицо. “Три

Сестры", звал их Питер, потому что все они были невзрачными холостяками и потому что Питеру они казались недостаточно интересными, "старыми девочками". Тимоти и Персиваль болели: Персиваль болезнь скрывал, Тимоти — уже не мог. Семь месяцев тому назад Персиваль признался Чарльзу, что болен, а Чарльз рассказал об этом Дэвиду. "Я ведь нормально выгляжу, да? — постоянно спрашивал Персиваль Чарльза. — Я не изменился?" Он был главным редактором маленького, но престижного издательства и боялся, что владельцы уволят его, если узнают. "Не уволят, — всякий раз отвечал ему Чарльз. — А если попробуют, я знаю, кому нужно позвонить, чтобы их засудили, и я тебе помогу".

Но Персиваль его не слушал.

— Но я не изменился, нет?

— Нет, Перси, ты не изменился. Выглядишь прекрасно.

Он поглядел на Персиваля. Все пили вино, только Персиваль сидел с чашкой — Дэвид знал, что в чашке заваривался пакетик с лечебными травами, их Персиваль покупал у иглотерапевта в Чайнатауне, уверяя, что они укрепляют иммунитет. Он разглядывал возившегося со своей чашкой Персиваля: изменился он или нет? Они

не виделись пять месяцев — не похудел ли он? Не посерело ли у него лицо? Да как тут поймешь, ведь ему все друзья Чарльза, и больные, и нет, виделись слегка нездоровыми. Им всем, даже самым бодрым, самым подтянутым, чего-то недоставало, какой-то особой черты — их кожа будто бы поглощала свет, и поэтому даже здесь, в милосердном сиянии свечей, которые Чарльз выбирал как раз для таких сборищ, они казались созданными не из плоти, а из чего-то пыльного и холодного. Не мрамора — мела. Однажды он попытался рассказать об этом Иден, которая по выходным рисовала обнаженных моделей, но она в ответ только закатила глаза. “Да они просто старые”, — сказала она.

Затем он посмотрел на явно больного Тимоти — веки лиловые, будто перемазаны краской, зубы торчат, пушок вместо волос. Тимоти учился в одной школе с Чарльзом и Питером, и тогда, говорил Чарльз, “ты не представляешь, каким он был красавцем. Самый красивый мальчик во всей школе”. Это он сказал после того, как Дэвид познакомился с Тимоти, и в следующий раз, увидев его, Дэвид попытался разглядеть в нем мальчика, в которого когда-то влюбился Чарльз. Он был актером, но карьеры не сделал,

был женат на красотке, затем много лет был любовником какого-то богача, но когда богач умер, его дети выставили Тимоти из дома, и Тимоти перебрался жить к Джону. Никто не знал, чем здоровяк и весельчак Джон зарабатывает на жизнь: он был родом из небогатой семьи, жившей на Среднем Западе, ни на одной работе не задерживался дольше нескольких месяцев и был недостаточно красив, чтобы кто-то его содержал, — но при этом занимал целый таунхаус в Вест-Виллидже и обедал в дорогих ресторанах (правда, отмечал Чарльз, обычно за чужой счет). “Когда такие люди, как Джон, больше не смогут каким-то загадочным образом выживать в этом городе, тогда здесь и делать больше будет нечего”, — с нежностью говорил Чарльз. (Для человека, твердо верившего, что каждый должен сам себя обеспечивать, у него было слишком много друзей, которые, кажется, не делали вообще ничего, и за это Дэвид его любил.)

Как обычно, все трое с ним поздоровались, спросили, как у него дела, но ему нечего было сказать, и они снова принялись говорить о себе, перебирать общие воспоминания.

— …ну, не так плохо, как тогда, когда Джон встречался с этим бродягой!

— Во-первых, мы не то чтобы встречались, а во-вторых…

— Расскажи еще разок!

— Ладно. Было это, ох, да лет пятнадцать назад, когда я работал в багетной мастерской на Двадцатой, между Пятой и Шестой…

— Откуда тебя уволили за воровство…

— Нет уж простите! Не за воровство. Меня уволили за некомпетентность и вечные опоздания, и еще за плохое обслуживание. За воровство меня уволили из книжного.

— Ох, простите, пожалуйста.

— В общем, можно я договорю? Так вот, выхожу я из автобуса на Двадцать третьей улице и всегда вижу одного и того же парня, очень сладенького, такого, знаете, потрепанного богемного вида, в клетчатой рубашке, с бородкой, с пакетом в руках, и он стоит на углу Шестой, там, где пустырь. Я смотрю на эту девочку, она смотрит на меня, и так продолжается несколько дней. На четвертый день я подхожу к ней, заговариваю. Она говорит: “Ты тут живешь?” А я говорю: “Нет, я тут работаю неподалеку”. Она говорит: “Ладно, можем пойти вот сюда, в переулок”, а там и не переулок даже, а так, проходик между парковкой и тем зданием, которое они тогда сносили, ну и,

короче, мы пошли.

— Пожалуйста, без подробностей.

— Завидуешь?

— Ой, нет.

— Короче, на следующий день иду я по улице и снова вижу ее, мы снова идем в переулок. И на следующий день я ее снова встречаю, и думаю — хм. Что-то тут не так. И тут до меня доходит, что на ней та же одежда, что и в предыдущие два раза. И белье то же самое! И еще, что от нее попанивает. Точнее, поправочка: от нее прямо воняет. Бедняжка. Ей некуда было пойти.

— И ты ушел?

— Конечно нет! Мы все были на ее месте, правда ведь?

Они расхохотались, и Тимоти запел: “Ла-да-ди, ла-ди-да, ла-да-ди, ла-ди-да”, а Персиваль подхватил: “Она такая же, как ты, но у нее нет дома, нет дома”. Дэвид, улыбаясь, отошел от них, ему нравилось наблюдать за этой троицей, нравилось, что, судя по всему, больше всего их интересовали они сами. Как сложилась бы жизнь отца, если бы Эдвард был больше похож на Тимоти, Персиваля или Джона, если бы у отца был друг, который развлекал бы его рассказами о прошлом, а не держал бы с их помощью на привязи? Он попытался

представить отца в доме Чарльза, на вечеринке. О чем бы он думал? Как бы себя вел? Он ясно увидел отца, который с еле заметной застенчивой улыбкой прячется за перилами, глядит на собравшихся мужчин и боится к ним подойти, думая, что никто не обратит на него внимания, потому что на него никогда не обращали внимания. Как сложилась бы жизнь отца, если бы он уехал с острова, перестал слушать мать, встретил кого-то, кто заботился бы о нем? Все это, возможно, привело бы к будущему, в котором Дэвида бы не было. Он представил себе эту другую жизнь: отец, с зажатым под мышкой романом, прогуливается вдоль арки на северной стороне площади, ходит среди осенних деревьев с красными, как яблоки, листьями, поднимает голову к небу. Пусть это будет воскресенье, и он идет встречаться с другом, они пойдут в кино, а затем — ужинать. После этого видение становилось расплывчатым: что это за друг? Мужчина или женщина? Отношения романтические или нет? Где отец живет? Чем зарабатывает на жизнь? Куда он пойдет завтра и послезавтра? Здоров ли он и кто о нем заботится, если он болен? Дэвида охватило какое-то отчаяние — из-за того, что он даже в фантазиях не мог постичь отца, не мог придумать ему счастливую

жизнь. Он не сумел его спасти, ему не хватало смелости даже узнать, что с ним сталось. Он покинул отца в реальности и теперь покидал его снова, в своем воображении. Не должен ли он хотя бы намечтать ему жизнь получше, поласковее? И раз он даже на такое не способен, что это говорит о нем как о сыне?

Но может быть, думал он, может быть, у него не получается встроить отца в другую жизнь вовсе не из-за отсутствия эмпатии — может, все дело в том, каким сущим ребенком был отец, в том, что он никогда не вел себя так, как другие родители или взрослые, которых он знал и тогда, и теперь. Взять хотя бы их прогулки, которые начались, когда Дэвиду было лет шесть или семь. Отец будил его ночью, Дэвид хватался за его протянутую руку, и они вместе молча бродили по окрестным улицам, показывая друг другу, как привычные вещи становятся по ночам совсем другими: куст с соцветиями, похожими на перевернутые кульки, акация в соседском дворе, в темноте казавшаяся заколдованной, гибельной, порождением каких-то других, далеких краев, и в этих краях они — два путника, идущих по скрипучему снегу, и скоро вдали покажется деревенский дом с единственным окошком, в котором дымным

желтым светом горит свеча, и в доме их будет ждать колдунья — под личиной доброй вдовы — и две миски густого, как каша, супа, соленого от кубиков шпика и сладкого от жареного ямса.

Во время этих прогулок ночь, поначалу казавшаяся ему бесформенной черной завесой, монотонной и безмолвной, вдруг прояснялась перед его взглядом, но хоть он всякий раз и старался поймать точный миг, когда это происходило, когда его глаза привыкали к иному, растворенному свету, ему это не удавалось: все случалось так постепенно и настолько без его участия, что казалось, будто его разум создан не для того, чтобы контролировать тело, а лишь для того, чтобы восхищаться способностями этого тела, его умением ко всему приспосабливаться.

Они гуляли, и отец рассказывал ему о своем детстве, показывал места, где мальчишкой играл или прятался, и эти истории, которые всегда казались грустными, когда их рассказывала бабка, по ночам становились просто историями: о соседских мальчишках, которые, сидя на деревьях, обстреливали отца плодами авокадо, когда он возвращался домой из школы, о том, как однажды они загнали его на росшее в их собственном дворе манговое дерево и сказали, чтобы

не слезал, иначе побьют, и до самой темноты, до тех пор, пока последний мальчишка не оставил свой пост, убежав ужинать, отец просидел там, скорчившись в разветвлении ствола, а когда наконец слез с дерева, ему пришлось идти домой — на подламывающихся от голода и усталости ногах — и объяснять, где он пропадал, матери, которая молча, кипя от злости, дожидалась его за обеденным столом.

Почему же ты просто не сказал ей, что с тобой случилось? — спрашивал он отца.

“Ох, — отвечал отец и умолкал. — Ей не хотелось этого знать. Не хотелось знать, что эти мальчики совсем не были моими друзьями. Она этого стыдилась. — Он слушал его и ничего не говорил. — Но с тобой такого никогда не случится, Кавика, — продолжал отец. — У тебя есть друзья. Я горжусь тобой”.

Тогда он затихал, отцовская история и собственная печаль обрушивались на него и, проскользнув по сердцу, оседали где-то в кишках свинцовой тяжестью, и сейчас, вспомнив об этом, он ощутил ту же тоску, только теперь расползавшуюся по всему телу, словно ему впрыснули ее в кровь. Тогда он развернулся, думая под каким-нибудь предлогом сбежать на кухню — проверить, как

разложили еду, напомнить Адамсу, чтобы принес Персивалю еще кипятка, — но увидел, что Чарльз спускается по лестнице.

— Что такое? — спросил Чарльз, увидев его и переставая улыбаться. — Что-то случилось?

Нет, нет, ничего не случилось, сказал он, но Чарльз все равно раскрыл объятия, и Дэвид прижался к нему, к теплой массивности Чарльза, к его большому надежному телу.

— Что бы там ни стряслось, Дэвид, все будет хорошо, — сказал Чарльз, помолчав, и он кивнул ему в плечо.

Все будет хорошо, он это знал — так сказал Чарльз, и Дэвид любит его, и он теперь не там, где был когда-то, и с ним не случится ничего такого, чего Чарльз не смог бы исправить.

———

К восьми собрались гости, все двенадцать. Питер был последним — уже пошел снег, и Чарльзу с Джоном и Дэвидом пришлось на руках заносить его в дом прямо в тяжелом инвалидном кресле: Дэвид и Джон держали кресло по бокам, Чарльз — за спинку.

Они виделись совсем недавно, на День благодарения, и Дэвида поразило, как сильно Питер

сдал всего за три недели. Самым заметным свидетельством было инвалидное кресло, с высокой спинкой и опорой для головы, и еще то, как он исхудал, как словно бы ссохлась кожа у него на лице, из-за чего он, казалось, не мог теперь полностью закрыть рот. Или, может, не ссохлась, а стянулась, точно кто-то собрал его скальп в кулак на затылке и дернул, натянув кожу, как на барабане, до боли, так что выпучились глаза. Когда они занесли Питера в дом, вокруг него тотчас же столпились друзья, и Дэвид заметил, что их его вид тоже поразил, никто не знал, что сказать.

— Что, никогда не видели человека при смерти? — невозмутимо спросил Питер, и все отвели глаза.

Вопрос был риторическим и жестоким, но “Конечно, видели, Питер”, деловито, как он умел, ответил Чарльз. Он принес из кабинета шерстяной плед и теперь укутывал Питера, подтыкал его по бокам.

— Так, а теперь давайте-ка поедим. Ну-ка, все! Ужин накрыт в столовой, угощайтесь.

Изначально Чарльз хотел, чтобы все ели за общим столом, но Питер отговорил его от этой затеи. Он не знает, хватит ли у него сил высидеть долгий ужин, сказал Питер, а кроме того, весь

смысл этого сборища в том, чтобы он мог попрощаться с каждым. Ему нужно будет свободно передвигаться, общаться с людьми и уходить от них, когда захочется. Когда все медленно и почти неохотно потянулись в столовую, Чарльз обернулся к Дэвиду:

— Дэвид, принесешь Питеру тарелку? А я пока устрою его на диване.

Конечно, ответил он.

В столовой царила атмосфера преувеличенного веселья, гости накладывали себе больше еды, чем могли съесть, громко заявляя, что сегодня диета может подождать. Они собрались здесь ради Питера, но о нем никто не говорил. Сегодня они в последний раз его видят, в последний раз с ним прощаются: внезапно вечеринка показалась ему каким-то гротеском, каннибализмом, и Дэвид принялся поспешно ходить от блюда к блюду, пролезая без очереди, накладывая на тарелку Питеру мясо, пасту, овощи на гриле, а затем на вторую тарелку — все, что любил Чарльз, только бы поскорее уйти от стола.

В гостиной Питер сидел в углу дивана, положив ноги на оттоманку и уткнувшись лицом Чарльзу в шею, а Чарльз прижимал его к себе, обнимая правой рукой за плечи, и когда Дэвид подошел к

ним, Чарльз повернулся к нему и улыбнулся, но Дэвид заметил, что он плакал, а Чарльз никогда не плакал.

— Спасибо, — сказал он Дэвиду и протянул Питеру тарелку. — Видишь? Никакой рыбы. Все как ты заказывал.

— Превосходно, — сказал Питер, обратив свое черепообразное лицо к Дэвиду. — Благодарю вас, юноша.

Так Питер его называл — “юноша”. Ему не нравилось, но что он мог поделать? После сегодняшнего вечера ему уже не придется выслушивать от Питера это “юноша”. Тут до него дошло, о чем он подумал, и ему стало стыдно, словно он сказал об этом вслух.

Но несмотря на то, как придирчиво Питер заказывал еду, аппетита у него не было — его мутит от одного запаха, сказал он. Тарелка, которую принес ему Дэвид, весь вечер простояла у него под правой рукой на столике, с подсунутыми под краешек приборами в тканевой салфетке, как будто он в любой момент мог передумать и съесть все подчистую. Его лишила аппетита не болезнь, а новый курс химиотерапии, начатый около месяца назад. Но лекарства в очередной раз оказались бессильны: рак никуда не делся, а

вот силы Питера покинули.

Он не знал, что и думать, когда Чарльз рассказал ему об этом. Зачем Питер начал курс химиотерапии, если уже знал, что покончит с собой? Лежавший рядом Чарльз вздохнул, замолчал. “Тяжело расставаться с надеждой, — наконец ответил он. — Даже когда все кончено”.

И только когда все, наполнив тарелки едой, начали стекаться в гостиную, нерешительно рассаживаясь в креслах, на банкетках, на втором диване, будто придворные вокруг королевского трона, Дэвид понял, что теперь и ему можно поесть. В столовой никого не было, блюда заметно опустели, и пока он накладывал себе на тарелку остатки, из кухни вышел официант.

— Ой, — сказал он. — Простите. Мы сейчас еще принесем. — И заметив, что Дэвид потянулся за стейком, добавил: — Сейчас принесу горячий.

Дэвид посмотрел ему вслед. Официант был молодым красивым мужчиной (и то и другое он строго-настрого запретил), и когда он вернулся, Дэвид молча отступил в сторону, чтобы тот мог поменять пустое блюдо на полное.

Быстро вы, сказал он.

— А как иначе. И стейк, кстати, отличный. Мы перед началом все попробовали.

Официант посмотрел на него и улыбнулся, и Дэвид улыбнулся в ответ. Оба помолчали.

Я Дэвид, сказал он.

— Джеймс.

— Приятно познакомиться, — одновременно сказали они и рассмеялись.

— День рождения празднуете? — спросил Джеймс.

Нет… нет. Это в честь Питера… который в инвалидном кресле. У него… он болен.

Джеймс кивнул, они снова замолчали.

— Красивый дом, — сказал он, и Дэвид кивнул.

Да, красивый, ответил он.

— А кто хозяин?

Чарльз, такой высокий блондин. Тот, что в зеленом свитере. Надо было сказать, мой бойфренд, но этого он не сказал.

— А, понятно. — Джеймс, все вертевший в руках пустое блюдо, снова посмотрел на него и улыбнулся. — А ты?

А что я? — ответил он флиртом на флирт.

— Ты почему здесь?

Да нипочему.

Джеймс кивнул в сторону гостиной:

— С бойфрендом пришел?

Он ничего не ответил. С первого свидания про-

шло полтора года, но время от времени он все равно удивлялся, что они с Чарльзом — пара. Не только потому, что Чарльз был гораздо старше, но и потому, что такие мужчины, как Чарльз, его обычно не привлекали — слишком он был светловолосый, слишком богатый, слишком белый. Он понимал, как они смотрятся вместе, знал, что о них говорят. “Ну и пусть они думают, что ты содержанка, что такого? — спросила Иден, когда он излил перед ней душу. — Содержанки тоже люди”. Знаю, знаю, ответил он. Но это другое. “Вот в чем твоя беда, — сказала Иден, — ты никак не смиришься с тем, что для кого-то ты просто темнокожая шваль”. Его и вправду беспокоило, что люди думают, будто он нищий, необразованный и тянет из Чарльза деньги. (Иден: “Ну так ты нищий и необразованный. А вообще тебе какое дело, кем там тебя считают эти старые пердуны?”)

Но что, если они были бы парой вот с этим Джеймсом, были бы с ним вдвоем молодыми, нищими, небелыми? Что, если бы он встречался с кем-то, в ком он, хоть и весьма условно, мог видеть себя? Отчего рядом с Чарльзом Дэвид так часто чувствовал свою незначительность и беспомощность — из-за богатства Чарльза, его

возраста, расы? Был бы он порешительнее, не таким пассивным, будь они с бойфрендом более-менее равны? Может, тогда он не казался бы себе таким предателем?

Но сейчас, не признавая Чарльза, стыдясь его, он как раз и был предателем. Да, сказал он Джеймсу. С Чарльзом. Это он мой бойфренд.

— А-а, — сказал Джеймс, и Дэвид заметил, как что-то — жалость? презрение? — промелькнуло у него на лице. — Жалко, — рассмеявшись, прибавил он и, толкнув плечом ведущие на кухню двойные двери, исчез, унося пустое блюдо, и Дэвид снова остался один.

Он подхватил тарелку и вышел, охваченный жгучим стыдом и малопонятной злостью на Чарльза, — он злился, потому что Чарльз не был тем, с кем ему полагалось быть вместе, потому что за него приходилось краснеть. Он понимал, что несправедлив: ему хотелось быть у Чарльза под крылышком, и ему хотелось свободы. Иногда, субботними вечерами, когда они с Чарльзом оставались в городе и, сидя в кабинете, смотрели черно-белые фильмы, которые Чарльз любил еще в молодости, с улицы до них доносились разговоры людей, идущих в какой-нибудь клуб, или в бар, или на вечеринку. Он узнавал их по

смеху, по голосу — не кто они, а что они за люди, племя молодых, нищих, бесперспективных, к которому еще полтора года назад принадлежал и он сам. Иногда он напоминал себе какого-нибудь своего предка, которого обманом заманили на корабль и отправили плавать по миру, стоять на постаментах в медицинских колледжах Бостона, Лондона, Парижа, чтобы доктора и студенты могли разглядывать его затейливые татуировки, ожерелья из веревочных узлов или человеческих косиц, — Чарльз был его проводником, его наставником, но еще и его стражем, и теперь, когда Дэвида разлучили с его народом, ему больше не позволят вернуться. Сильнее всего это чувство охватывало его летними ночами, когда все окна были нараспашку и в три часа утра его будило пьяное пение огибавших площадь прохожих, чьи голоса постепенно стихали за деревьями. Тогда он поглядывал на спящего Чарльза, разом чувствуя и жалость, и любовь, и отвращение, и досаду — разочарование из-за того, что рядом с ним совсем другой человек, и благодарность за то, что человек этот — Чарльз. “Возраст — это всего лишь цифры”, — сказал кто-то из его не отличавшихся оригинальностью друзей, однако он ошибался: возраст — это другой континент, и

пока он с Чарльзом, ему отсюда не уплыть.

Не то чтобы ему было куда плыть. Будущее виделось чем-то неясным, туманным. В этом он был не одинок, многие его друзья и однокашники так же, как он, болтались по маршруту “дом — работа — снова дом”, а вечерами их заносило в какие-нибудь клубы, бары, чужие квартиры. Денег у них не было, да и кто знал, сколько у них еще было жизни? Ждать, что тебе когда-нибудь исполнится тридцать, не говоря уже о сорока или пятидесяти, было все равно что покупать мебель в дом, выстроенный из песка, — кто знает, когда его смоет волной, когда он начнет рассыпаться, оседать влажными комьями? Лучше спустить все заработанные деньги, доказывая себе, что ты еще жив. Один его друг после смерти любовника начал объедаться. Все деньги он тратил на еду, однажды Дэвид ужинал с Эзрой в ресторане и с восторженным ужасом глядел, как тот съел миску супа с вонтонами, а за ней — тарелку жареных водяных каштанов со стручковым горохом, а за ней — порцию тушеного говяжьего языка, а за ней — целую утку по-пекински. Ел он с какой-то упорной, безрадостной решимостью, подбирая пальцем остатки соуса, составляя пустые тарелки в стопку, будто подписанные документы. Выгля-

дело это отталкивающе, но Дэвид его понимал: еда была реальностью, еда была доказательством жизни, того, что твое тело — по-прежнему твое, того, что оно еще может и будет откликаться на все, что ты в него отправишь, того, что его ты еще можешь себе подчинить. Испытывать голод — значит быть живым, а живым нужно есть. Шли месяцы, Эзра набирал вес, поначалу медленно, затем стремительно, и теперь он был толстым. Но пока он был толстым, он не был больным, да это никому бы и в голову не пришло: щеки у него были румяные, розовые, губы и кончики пальцев часто лоснились от жира — он повсюду оставлял доказательства своего существования. Даже его новообретенная грузность была своего рода манифестом, защитой, его тело занимало больше места, чем положено, больше, чем прилично. Он превратил себя в человека, которого нельзя игнорировать. Он сделал себя очевидным.

Куда меньше Дэвид понимал собственную отстраненность от жизни. Он не болел. Он не был бедным — и не будет, пока живет с Чарльзом. И все равно он никак не мог себе представить, ради чего ему стоило бы жить. Он отучился год на юридическом, три года назад деньги кончились, пришлось бросить учебу и устроиться

ассистентом в “Ларссон, Уэсли”, и Чарльз все время твердил, что ему надо вернуться в колледж. “В какой захочешь, в самый лучший, — повторял он. (Дэвид раньше учился в государственном колледже и понимал, что Чарльз ждет от него большего.) — Я все оплачу”. Дэвид отнекивался, и Чарльза это удивляло. “Почему? — спрашивал он. — Ты же отучился год, тебе ведь явно хотелось учиться. И голова у тебя на плечах есть. Так почему бы не учиться дальше?” Он не мог сказать Чарльзу, что к праву не питает особой любви, что он и сам не понимает, зачем вообще пошел учиться на юридический — разве что этого, наверное, хотел бы отец, отец бы тогда им гордился. В длинном списке умений позаботиться о себе поступление на юридический было одним из пунктов, достоинством, о котором ему всегда твердил отец, — навык, который сам отец освоить так и не сумел.

Нам обязательно об этом говорить? — спрашивал он Чарльза.

“Нет, не обязательно, — отвечал Чарльз. — Я просто видеть не могу, когда такие умные люди, как ты, прозябают на должности ассистента”.

А мне нравится быть ассистентом, говорил он. Я не так амбициозен, Чарльз, как тебе бы хотелось.

Чарльз вздыхал. “Я хочу только одного, Дэвид, чтобы ты был счастлив, — говорил он. — Мне просто интересно, чего ты хочешь от жизни. В твоем возрасте я хотел всего. Хотел власти, хотел выступать в Верховном суде, хотел, чтобы меня уважали. А чего хочешь ты?”

Я хочу быть здесь, всегда отвечал он, с тобой, и Чарльз снова вздыхал, но улыбался — и сердясь, и радуясь. “Дэвид!” — ворчал он, и на этом их спор, если это вообще был спор, подходил к концу.

Но иногда, такими вот летними ночами, ему казалось: он точно знает, чего хочет. Он хотел быть где-то на полпути от своей нынешней жизни, в кровати, на дорогих хлопковых простынях, рядом с человеком, которого он полюбил, и на улице, срезая путь через парк, визжа и прижимаясь к друзьям, когда в сантиметре от его ноги пробегает выскочившая из тени крыса, быть пьяным, неудержимым, отчаянным, прожигать жизнь и чтобы никто не возлагал на него никаких надежд, даже он сам.

———

В гостиной две официантки наполняли водой опустевшие стаканы, убирали пустые тарелки, Адамс обносил всех напитками. В команде, кото-

рая обслуживала вечеринку, была и барменша, но Дэвид знал, что ее держат в заложницах на кухне, потому что Адамс, любивший готовить напитки сам и не позволявший никому нарушать его методы, наотрез отказался от ее помощи. Устраивая вечеринку, Чарльз всегда напоминал организатору, что бармен не понадобится, и каждый раз организатор приводила кого-нибудь “на всякий случай”, и каждый раз его ссылали на кухню и не давали работать.

Прячась за лестницей, он смотрел, как Джеймс входит в гостиную, смотрел, как на него смотрят гости, смотрел, как они оценивают его задницу, улыбку, глаза. Дэвид вышел, и теперь Джеймс был единственным небелым человеком в комнате. Джеймс склонился перед Тремя Сестрами, сказал что-то, чего Дэвид не расслышал, но все засмеялись, а он выпрямился и ушел, унося стопку тарелок. Через несколько минут он вернулся с чистыми тарелками и блюдом пасты, которой он стал обносить гостей, удерживая блюдо правой рукой, а левую, сжатую в кулак, держа за спиной.

А что, если он окликнет Джеймса, когда тот пойдет обратно? Джеймс с удивлением оглядится и, заметив его, улыбнется и подойдет, а Дэвид

возьмет его за руку и заведет под лестницу, в чуланчик с покатым потолком, где Адамс хранит нафталиновые шарики, свечи и холщовые мешки с кедровой щепой, которой он прокладывает свитера Чарльза, когда убирает их на лето, и которую Чарльз любит бросать в камин, чтобы дым был поароматнее. В чулане едва мог поместиться стоя один человек, и еще один — на коленях, он уже чувствовал, какой будет кожа Джеймса на ощупь, уже слышал звуки, которые они будут издавать. Затем Джеймс уйдет, вернется к своим обязанностям, и Дэвид, сосчитав сначала до двухсот, уйдет тоже, сбегает наверх, в их с Чарльзом спальню, прополощет рот и спустится в гостиную, где Джеймс уже будет обносить гостей свежей порцией стейка или курицы, а он усядется рядом с Чарльзом. Весь оставшийся вечер они будут стараться не слишком часто смотреть друг на друга, но всякий раз, обходя гостей, Джеймс будет бросать на него взгляд, и он будет глядеть на него в ответ, а после, когда уже будут убирать со столов, он скажет Чарльзу, что, кажется, забыл внизу книгу, и сбежит, не дожидаясь его ответа, отыщет Джеймса, уже надевающего пальто, и сунет ему клочок бумаги со своим рабочим номером, скажет, чтобы звонил. Потом несколько недель,

а может быть, и месяцев они будут встречаться, всегда — дома у Джеймса, пока однажды Джеймс не увлечется кем-то еще, не уедет или попросту от него не устанет, и Дэвид больше никогда его не увидит. Он так живо все представлял, чувствовал, осязал, словно все это уже случилось и он предавался воспоминаниям, но, заметив идущего на кухню Джеймса, спрятался, отвернулся к стене, чтобы не поддаться искушению и не заговорить с ним.

Эта вечная жажда! Может, это все потому, что теперь опасно заниматься сексом так, как раньше, или потому, что они с Чарльзом моногамны, или просто потому, что ему не сидится на месте? “Ты еще молод, — смеясь, сказал Чарльз, который совершенно не обиделся, когда он ему обо всем рассказал. — Это нормально. Еще лет шестьдесят, и все пройдет”. Но ему казалось, что дело не в этом или, может, не только в этом. Ему просто хотелось побольше жизни. Он не знал, что будет с ней делать, но хотел ее, не только своей жизни — жизни каждого. Больше, больше, еще больше, до тех пор, пока он не насытится.

Он неизбежно стал думать об отце, о том, чего хотелось ему. Наверное, любви, нежности. И больше ничего. Еда его не интересовала, как

и секс, путешествия, машины, дома или одежда. Как-то на Рождество, за год до того, как они уехали в Липо-вао-нахеле — значит, когда ему было девять, — им в школе задали выяснить, какой подарок их родители хотят получить на праздник, и этот подарок они потом сделают на уроке своими руками. Конечно, они не могли сделать то, чего на самом деле хотели их родители, но отцы и матери других детей это понимали и придумали подходящие ответы. “Мне всегда хотелось, чтобы у меня был твой портрет”, — сказала одна мать, другая: “Мне нужна новая рамка для фотографии”. Но отец Дэвида только сжал его руку. “У меня есть ты, — сказал отец. — И больше мне ничего не нужно”. Но чего-то ведь тебе хочется, растерявшись, продолжал настаивать он, но отец только качал головой. “Нет, — повторял он. — Нет ничего ценнее тебя. Если у меня есть ты, то больше мне ничего не нужно”. Наконец Дэвиду пришлось пойти с этой дилеммой к бабке, которая, вскочив, промаршировала на веранду, где лежал и читал газету дожидавшийся Эдварда отец, и накричала на него: “Вика! Твой сын не выполнит домашнее задание, если ты ему не скажешь, что он может для тебя сделать!”

В итоге он сделал отцу глиняную рождествен-

скую игрушку, которую обожгли в школьной печи. Игрушка получилась бугристая, глазурь схватилась лишь наполовину — это должна была быть звезда, на которой он нацарапал имя отца, их с ним имя, но отцу она очень понравилась, и он повесил ее над кроватью (елку они в тот год не ставили), на собственноручно вбитый гвоздик. Он вспомнил, как отец чуть не расплакался и как ему было за него стыдно, за то, что он радуется такой глупой, уродливой и кое-как сделанной штуке, которую он смастерил второпях, за пару минут, чтобы поскорее пойти играть с друзьями.

А может быть, в том, что ему постоянно хотелось секса, был виноват Чарльз. Сначала Чарльз ему совсем не понравился — он флиртовал с ним по привычке, не потому что и вправду что-то чувствовал, и принял его приглашение поужинать из любопытства, а не от большого желания. Но за ужином что-то изменилось, и когда они встретились во второй раз, на следующий день, дома у Чарльза, встреча эта была лихорадочной и почти безмолвной.

Однако, несмотря на взаимное влечение, полноценный секс они откладывали несколько недель, потому что им обоим не хотелось начинать разговор, с которого нужно было начать,

разговор, который ясно читался на лицах многих их знакомых.

Наконец он сам заговорил об этом. Слушай, сказал он, у меня все чисто, и Чарльз изменился в лице.

— Слава богу, — сказал он.

Он ждал, что и Чарльз скажет, что он тоже здоров, но этого не произошло.

— Никто не знает, — сказал он. — Но тебе следует знать. Но кроме Оливье — моего бывшего — об этом больше не знает никто, только мой врач, он, я и теперь вот ты. А, ну и Адамс, конечно же. Но на работе — никто. Нельзя, чтобы они узнали.

На мгновение он потерял дар речи, но Чарльз нарушил его молчание.

— Я очень здоровый, — сказал он. — У меня есть лекарства, и я хорошо их переношу. — И потом добавил: — Никому не нужно об этом знать.

Он удивился, а затем удивился своему же удивлению. Он занимался сексом и даже встречался с болевшими мужчинами, но Чарльз казался полной противоположностью болезни, человеком, в котором она просто не посмеет поселиться. Он понимал, что это глупо, но не мог избавиться от этого чувства. Когда они стали парой, друзья Чарльза спрашивали Дэвида — отчасти в шут-

ку, отчасти всерьез, — что он вообще нашел в их старом-престаром друге (“Да ну вас в жопу!” — смеясь, говорил Чарльз), а Дэвид отвечал, что ему нравится уверенность Чарльза (“Обрати внимание, Чарли, он не сказал — твоя красота”, — говорил Питер). Дэвид не лгал, но его привлекало не это, точнее — не только это, а способность Чарльза излучать какую-то неуязвимость, его непоколебимая убежденность в том, что все можно решить, все можно исправить — были бы деньги, связи и голова на плечах. Сама смерть должна была покориться Чарльзу, по крайней мере, так ему казалось. Эту свою способность Чарльз сохранит до конца жизни, и именно ее Дэвиду больше всего будет не хватать, когда его не станет.

И эта же способность позволяла Дэвиду забывать — не всегда, но хотя бы на время, — что Чарльз вообще заражен. Дэвид видел, как он принимал лекарства, знал, что каждый первый понедельник месяца он ходит к врачу, но часами, днями, неделями мог делать вид, что жизнь Чарльза, и его жизнь вместе с ним, будет длиться и длиться, раскручиваясь пергаментным свитком по долгой зеленой тропе. Ему удавалось даже подшучивать над тем, сколько времени Чарльз

проводит перед зеркалом, как он вбивает в кожу ночной крем, как, гримасничая, растягивает в разные стороны рот; над тем, как, выйдя из душа, он вглядывается в свое отражение и, придерживая рукой полотенце на бедрах, выкручивает шею, чтобы осмотреть спину; над тем, как он скалит зубы, постукивая ногтем по деснам. Да, такое пристальное внимание Чарльза к себе было следствием тщеславности и неуверенности, свойственных зрелому возрасту, и присутствие рядом Дэвида, его молодости, их лишь усиливало, но Дэвид знал — знал и старался об этом не думать, — что еще так проявлялся страх Чарльза. Не похудел ли он? Не стали ли ногти бесцветными? Не ввалились ли щеки? Нет ли сыпи на коже? Когда на его теле проступит болезнь? А когда — побочка от лекарств, которые до сих пор держали болезнь в узде? Когда он станет подданным страны больных? Притворяться было глупо, но они не притворялись только тогда, когда это становилось опасным; Чарльз притворялся — и Дэвид не вмешивался. Или притворялся Дэвид и не вмешивался Чарльз? Как бы там ни было, результат был один: они редко обсуждали болезнь, они даже никогда не называли ее по имени.

Но, отказываясь признавать свою болезнь,

Чарльз никогда не отрицал ее у друзей. Перси-валь, Тимоти, Тедди, Норрис: Чарльз давал им деньги, записывал к своему врачу, нанимал по-варов, сиделок, экономок, которые не боялись помогать — или снисходили до помощи. Он даже переселил Тедди, умершего незадолго до того, как Дэвид начал встречаться с Чарльзом, в ка-бинет рядом со своей спальней, и именно там, окруженный Чарльзовой коллекцией ботаниче-ских иллюстраций, Тедди и провел последние месяцы жизни. Когда Тедди умер, Чарльз вместе с остальными его друзьями искал сочувствующего священника, организовывал поминки, помогал разделить на всех его прах. А на следующий день пошел на работу. Его работа находилась в одной реальности, все, что не было работой, — в другой, и он как будто бы принял, что две этих реаль-ности никогда не встретятся, что смерть друга никогда не будет достаточным оправданием, что-бы опоздать на работу или не прийти вовсе. Он и не ждал, что хоть кто-нибудь в “Ларссон, Уэсли” поймет или разделит с ним его горе, как и его любовь. Позже Дэвид поймет, как сильно Чарльз устал, но тот никогда не жаловался, потому что усталость была привилегией живых.

И сейчас Дэвиду тоже стало стыдно: он сты-

дился своего страха, своего отвращения. Ему не хотелось глядеть на осунувшееся лицо Тимоти, не хотелось видеть запястья Питера, такие костлявые, что ему пришлось поменять металлические часы на детские пластмассовые, да и те болтались у него на руке, будто браслет. У Дэвида тоже были заболевшие друзья, но он избегал их — посылал на прощанье воздушные поцелуи, вместо того чтобы целовать их в щеки, переходил на другую сторону улицы, чтобы с ними не разговаривать, околачивался под дверями домов, куда раньше входил без стука, жался по углам, когда Иден раскрывала этим друзьям объятия, уходил по стеночке из комнат, где отчаянно ждали гостей. Разве недостаточно того, что ему, двадцатипятилетнему, приходится жить вот так? Разве это само по себе не храбрость? Разве можно ждать, что он что-то изменит, что он изменится?

Его поведение, его трусость — именно они и стали причиной их первой с Иден крупной ссоры. “Какой же ты мудак”, — прошипела Иден, когда увидела, что он уже полчаса ждет ее на холоде, сидя под дверью дома, где жил их друг. Он не выдержал — запаха в комнате, тесноты, страха, смирения. “Каково было бы тебе, Дэвид?” — накричала на него она, а когда он признался, что

ему страшно, фыркнула. “Страшно ему, — сказала она. — Тебе страшно? Ох, Дэвид, ну, может, ты, хоть когда я помирать буду, ссать перестанешь”. И он перестал: когда, двадцать два года спустя, умирала сама Иден, это он сидел у ее постели — ночами, месяцами; это он забирал ее после сеансов химиотерапии; это он держал ее на руках в тот последний день, он гладил ее по холодеющей, мраморной спине. Примерно так же, как люди решают заняться своим здоровьем, он решил стать лучше, храбрее, и когда Иден наконец умерла, он рыдал — потому что она его покинула и потому что никто не гордился им так, как она, никто, кроме нее, не знал, сколько трудов ему стоило больше не убегать. Больше никто не знал, каким он был человеком, и теперь, когда она умерла, вместе с ней умерла и память о его преображении.

Много лет спустя, когда Чарльз уже давно умер, а сам Дэвид состарился, его муж, бывший гораздо моложе его — история повторялась, только теперь наоборот, — испытывал необъяснимую ностальгию по тому времени и необъяснимый интерес к болезни, которую он настойчиво называл “чумой”. “Разве вам не казалось, будто все вокруг рушится?” — спрашивал он, готовясь пере-

живать за Дэвида и его друзей, готовясь окружить его заботой и сочувствием, но Дэвид, который к тому времени жил с болезнью почти столько же лет, сколько было его мужу, отвечал: нет, не казалось. Может, так казалось Чарльзу, говорил он, но мне — нет. В тот год, когда я начал заниматься сексом, болезни дали имя — я не знал ни секса, ни взрослой жизни без нее. “Но как вы вообще могли жить, когда кругом умирали люди? Разве вам не казалось, что это невозможно?” — спрашивал его муж, и Дэвид силился сформулировать то, что ему хотелось донести до Обри. Да, медленно отвечал он, иногда казалось. Но все мы жили, нам приходилось жить. Мы ходили в больницы и на похороны, но еще мы ходили на работу, на вечеринки, и в галереи на выставки, и на свидания, и бегали по делам, и занимались сексом, и были молодыми и глупыми. Мы помогали друг другу, это правда, мы любили друг друга, но еще мы сплетничали, и смеялись над другими, и ввязывались в драки, и были хреновыми друзьями и бойфрендами — когда как. Было всякое, было всё. Он не говорил о том, что лишь через много лет понял, какими невероятными были те времена, какими бесконечно жуткими и как странно, что яснее всего ему запомнились какие-то банально-

сти, отдельные детали, мелочи, которые казались важными ему одному: не лица или больничные палаты, а та ночь, когда они с Иден решили досидеть до рассвета и пили кофе чашку за чашкой, пока их не начало потряхивать так, что они даже сказать ничего не могли, или та серо-белая кошка, которая жила в маленьком цветочном магазине на углу Горацио и Восьмой авеню, или бейглы, которые нравились Натаниэлю, мужчине, с которым он жил — и которого любил — после Чарльза: обсыпанные маком, с пастой из копченого лосося и зеленого лука. (Он назвал их с Обри сына в честь Натаниэля — первый за многие поколения первенец Бингемов, которого звали не Дэвидом.) И опять же лишь через много лет он понял, сколько всего он просто принимал как данность, когда на самом деле не следовало бы ничего этого принимать: что в двадцать лет надо было ходить на мемориальные службы, а не планировать свое будущее, что любые его фантазии на самом деле не простирались дальше года. Он понял, что все эти десять лет плыл по течению, что прожил их с равнодушной бесстрастностью сомнамбулы — проснуться означало утонуть во всем, что он видел и испытывал. Кому-то это оказалось под силу, но не ему; он предпочел оградить себя от

всего, выдумать себе укрытие, куда внешний мир не мог до конца проникнуть. Они были подвешенным поколением: кто-то нашел утешение в гневе, кто-то — в молчании. Его друзья маршировали, протестовали, выкрикивали лозунги против правительства и фармацевтических компаний, волонтерили, ныряли в окружавший их ужас. А он ничего не делал, как будто если он ничего не сделает, ничего не сделают и с ним; то было шумное время, но он выбрал тишину, и хотя он стыдился своей пассивности, своего страха, даже стыд не мог вынудить его к большему взаимодействию с миром. Ему хотелось защиты. Хотелось быть от всего подальше. Он понял, что искал того же, чего, наверное, искал его отец в Липо-вао-нахеле. И так же, как отец, он сделал неправильный выбор — решил не считаться со своим гневом, а спрятаться от него. Но, спрятавшись, он не сумел ничего прекратить. В конце концов его просто перестали искать. Уже девять вечера, блюда из столовой унесли, вместо них принесли десерты, и снова все встали, чтобы отрезать себе по куску торта из поленты, с кедровыми орешками и гладкими кружками карамелизованных апельсинов, и торта с двойным шоколадом, рецепт которого изобрел повар, служивший еще у бабки Чарльза,

и который Чарльз подавал на каждой вечеринке. И снова Дэвид пошел за гостями в столовую, чтобы принести десерты Чарльзу и Питеру.

Когда он вернулся, Джеймс как раз ставил блюдо с курагой, инжиром, соленым миндалем и осколками темного шоколада на кофейный столик возле дивана, на котором так и сидели Чарльз с Питером, и Дэвид смотрел, как двое мужчин смотрят на Джеймса — с внимательными, но непроницаемыми лицами.

— Благодарю вас, юноша, — сказал Питер, когда Джеймс выпрямился.

Дэвид старательно не глядел на Джеймса, когда они столкнулись в дверях — Джеймс левой рукой задел его правую, — поставил тарелку Питера рядом с ним, другую отдал Чарльзу, и тот, взяв ее, схватил его за руку. Питер все смотрел, и лицо у него было такое же непроницаемое.

Со всеми близкими друзьями Чарльза он познакомился раньше, чем с Питером, и нервничал из-за того, что Чарльз явно не хотел их знакомить, но при этом часто ссылался на Питера и его мнения: “Питер уже видел новую постановку в *Signature*, говорит, дрянь”; “Хочу заскочить в *Three Lives*, купить ту биографию, которую Питер советовал”; “Питер говорит, надо идти к Поле

Купер на выставку Адриан Пайпер, сразу как откроется". Когда они наконец встретились, через три месяца после начала их с Чарльзом отношений, его нервозность переросла в тревогу, наложившуюся на тревогу Чарльза. "Надеюсь, с едой все хорошо, — волновался Чарльз, пока Дэвид искал носок, который в итоге оказался на кровати, там, где он его и бросил пять минут назад. — Питер очень разборчив в еде. И у него превосходный вкус, поэтому если что-то не так, он обязательно скажет". ("Питер, похоже, еще тот мудак", — сказала Иден, когда Дэвид рассказал ей о нем, по крайней мере о том Питере, которого он знал из вторых уст, и тогда Дэвид с трудом удержался, чтобы не повторить ее слова вслух.)

Его и беспокоил, и завораживал такой Чарльз — растерянный, выбитый из колеи. Оттого, что и Чарльзу иногда бывает не по себе, становилось даже как-то легче, но, с другой стороны, нельзя было допустить, чтобы они оба этим вечером чувствовали себя неуверенно, он рассчитывал, что Чарльз будет его защитником. Ты почему так нервничаешь? — спросил он Чарльза. Это ведь твой старый друг.

— Как раз потому, что это мой старый друг, я и нервничаю, — ответил Чарльз, водя бритвой

под подбородком. — Разве у тебя нет друга, чье мнение для тебя важнее всех?

Нет, ответил он, но подумал об Иден.

— Ну, когда-нибудь будет, — сказал Чарльз. — Черт! — Он порезался, схватил квадратик туалетной бумаги, прижал к порезу. — Если повезет, конечно. Всегда стоит иметь близкого друга, которого ты слегка побаиваешься.

Почему?

— Потому что это значит, что у тебя есть кто-то, кто заставляет тебя жить сложнее, становиться в чем-то лучше, в том, чего ты больше всего боишься: ты стараешься ради их похвалы.

Неужели это правда? Он подумал об отце, который совершенно точно боялся Эдварда. Да, ему хотелось, чтобы Эдвард его хвалил, и Эдвард делал его жизнь сложнее, это правда. Но Эдварду не хотелось, чтобы отец становился лучше — умнее, образованнее, самостоятельнее. Он хотел от отца — чего? Чтобы тот соглашался с ним, слушался его, был рядом. Он делал вид, будто вся эта покорность — ради высшей цели, но это было не так, он всего лишь искал кого-то, кто наконец-то будет им восхищаться, ведь только этого всем, похоже, и нужно. Другу, которого описывал Чарльз, надо было, чтобы тебе самому хотелось чего-то добить-

ся. Но Эдвард хотел от отца совсем другого. Он хотел превратить его в человека, который вовсе ни о чем не думает.

Да, сказал он, но разве друзья не должны делать тебе приятное?

— Для этого у меня есть ты, — ответил Чарльз, улыбнувшись ему в зеркале.

Увидев наконец Питера, Дэвид поразился его завораживающей безобразности. Нельзя сказать, что какие-то черты его лица были некрасивыми — у него были большие, светлые, собачьи глаза, костистый, решительный нос и длинные темные брови, которые, казалось, росли не отдельными волосками, а как некое единое целое, — но в их сочетании, хоть и притягательном, не находилось гармонии. Каждая его черта словно бы стремилась солировать, а не быть частью ансамбля.

— Питер, — сказал Чарльз, обнимая его.

— Чарли, — ответил Питер.

Всю первую половину ужина говорил Питер. Казалось, что у него буквально по каждой теме есть веское и обоснованное мнение, и в своем монологе, подкрепляемом замечаниями и вопросами Чарльза, он переходил от расшивки швов в кладке его дома к возрождению почти исчезнувшего сорта тыквы, от недостатков расхваленного

нового романа к очарованию недавно переизданного сборника малоизвестных эссе, написанных в четырнадцатом веке каким-то японским монахом, от связи антимодернизма с антисемитизмом к тому, почему он теперь будет отдыхать на Родосе, а не на Идре. Ни об одной из этих тем Дэвид не знал ничего, однако же, несмотря на нарастающее беспокойство, заинтересовался Питером. Не из-за того, что он говорил — большую часть сказанного Дэвид даже не понимал, — а из-за того, как он это говорил: у него был приятный низкий голос, и казалось, ему самому нравится, как слова скатываются у него с языка, словно он и произносит их только ради одного этого ощущения.

— Ну, Дэвид, — сказал Питер, наконец повернувшись к нему. — Чарльз мне уже рассказал, как вы познакомились. А ты расскажи мне о себе.

Да тут и рассказывать нечего, начал он, покосившись на Чарльза, который ободряюще ему улыбнулся. Под бледным, волчьим взглядом Питера он перечислил факты, которые Чарльз уже знал. Он ждал от Питера дотошности, думал, что тот начнет задавать те же вопросы, что задавали ему обычно: так, значит, твой отец ни дня в жизни не работал? Ни дня? И матери ты не помнишь? Совсем? Но Питер только кивал и не

сказал ни слова.

Я скучный, закончил он извиняющимся тоном, и Питер кивнул, медленно и серьезно, словно бы Дэвид сказал нечто глубокомысленное.

— Да, — ответил он. — Ты скучный. Но ты молод. Тебе положено быть скучным.

Он толком не знал, как это понимать, но Чарльз только улыбнулся.

— Значит, и ты, Питер, был скучным в свои двадцать пять? — шутливо спросил он, и Питер снова кивнул.

— Конечно, Чарльз, да и ты тоже.

— А когда же это мы стали интересными?

— Надо же, какая самонадеянность. Но я бы сказал, в последние лет десять.

— Так недавно?

— Я сейчас говорил за себя, — сказал Питер, и Чарльз засмеялся.

— Сволочь ты, — ласково сказал он.

“Кажется, все прошло удачно”, — сказал Чарльз, когда они улеглись в постель, и Дэвид согласился, хотя самому ему так не казалось. С того вечера они с Питером виделись всего-то несколько раз, и всегда беседа прерывалась тем, что Питер поворачивал к Дэвиду свою большую голову и спрашивал: “Так что же у вас случилось, юноша,

с нашей последней встречи?” — словно бы Дэвид жил не своей жизнью, а проживал чужую. Затем Питер заболел, и они с Дэвидом стали еще реже видеться, а после сегодняшнего вечера он и вовсе больше никогда его не увидит. Чарльз сказал, что Питер умирает разочарованным человеком: он был известным поэтом, но последние три десятка лет писал роман, однако издателя для него найти так и не сумел. “Он думал, это и будет его наследием”, — сказал Чарльз.

Он не очень понимал, отчего Чарльз и его друзья так увлечены своим наследием. Иногда на вечеринках заходили разговоры о том, чем они запомнятся после смерти, что оставят после себя. Тон этих разговоров был то довольным, то запальчивым, но чаще всего — жалобным: некоторые переживали не только из-за того, что после них мало что останется, а еще и из-за того, что это оставшееся окажется слишком непростым, слишком неудобоваримым. Кто будет помнить о них и что о них будут помнить? Будут ли их дети вспоминать, как они вместе пили чай, или как они им читали на ночь, или как учили их ловить мяч? Или, наоборот, будут думать о том, как они расстались с их матерями, как перебрались из домов в Коннектикуте в городские квартиры, в

которых дети, невзирая на все их старания, так и не смогли прижиться? Будут ли их любовники вспоминать те времена, когда они так лучились здоровьем, что на улице им и вправду глядели вслед, или они будут вспоминать их сегодняшних, еще даже не старых стариков, с телами и лицами, от которых все теперь отводят глаза? Ценой огромных усилий они добились, чтобы их признавали и узнавали в жизни, но не могли повлиять на то, кем станут после смерти.

Хотя кому до этого было дело? Мертвые ничего не знали, ничего не чувствовали, мертвые были ничем. Когда он рассказал Иден, что волнует Чарльза и его друзей, она ответила: только у белых мужчин такой пунктик на своем наследии. В смысле? — спросил он. “Только те, у кого есть реальный шанс остаться в истории, зациклены на том, как именно они в ней останутся, — сказала она. — У нас-то на это нет времени, нам бы выжить”. Тогда он засмеялся, сказал, что она все драматизирует, назвал ее реакционеркой и мизогинисткой, но той ночью, лежа в постели, он вспомнил ее слова и подумал: а вдруг она была права. “Будь у меня ребенок, — время от времени говорил Чарльз, — тогда я бы знал, что оставил что-то после себя, оставил свой след в истории”.

Он понимал, что Чарльз хотел сказать, однако удивлялся, что тот не видит всей безосновательности этого утверждения: как появление ребенка может хоть что-то гарантировать? А если ребенок не будет тебя любить? А если ребенку не будет до тебя никакого дела? А если ребенок вырастет и станет ужасным человеком и ты будешь стыдиться вашей с ним связи? Что тогда? Человек — это худшее наследие, потому что человек непредсказуем по определению.

Его бабка это понимала. Еще совсем маленьким он спросил ее, почему его зовут Кавикой, если его настоящее имя — Дэвид. Всех сыновей-первенцев в их семье называли Дэвидами, и всех их звали Кавиками, гавайской версией имени Дэвид. Но если нас всех зовут Кавиками, почему мы тогда Дэвиды? — озадаченно спросил он, и у отца — дело было во время ужина, — как случалось всегда, когда он боялся или нервничал, из горла вырвался тихий писк.

Но бояться было нечего, бабка не только не рассердилась, а даже слегка улыбнулась.

— Потому что, — ответила она, — Дэвидом звали короля.

Короля, их предка: это он знал.

Вечером, когда он уже лежал в кровати, к нему

зашел отец.

— Не задавай бабушке такие вопросы.

Почему? — спросил он. Она ведь не рассердилась.

— На тебя — нет, — ответил отец, — а вот на меня потом — да, спрашивала, почему я толком ничему тебя не учу.

Вид у отца был такой расстроенный, что он пообещал и извинился, и отец, с облегчением вздохнув, наклонился и поцеловал его в лоб.

— Спасибо, — сказал он. — Спокойной ночи, Кавика.

У него не было для этого слов, он был еще слишком мал, но он уже тогда понимал, что бабка стыдится его отца. В мае, когда они пошли на ежегодный бал, который устраивало ее общество, это Дэвид входил во дворец под руку с бабкой, это Дэвида бабка представляла всем своим друзьям, светясь от счастья, когда они целовали его в щеку и говорили, какой он красивый. Он знал, что где-то там позади шел отец, улыбаясь себе под ноги, не ожидая никакого признания — и не получая его. После того как гости перемещались в сад, где был накрыт ужин, Дэвид прокрадывался обратно и заставал отца в тронном зале, тот сидел в эркере, укрывшись за шелковыми занавесками, и

глядел на залитую светом факелов лужайку.

Пап, говорил он. Пойдем к остальным. “Нет, Кавика, — отвечал отец. — Ты иди, развлекайся. Меня там не ждут”. Но он все настаивал, и наконец отец говорил: “Ладно, пойду, но только вместе с тобой”. Конечно, отвечал он, и отец брал его протянутую руку, и они выходили в сад, на продолжавшийся без них праздник.

Отец был первым неудачным наследием его бабки, вторым был Дэвид. Когда он уезжал с Гавай’ев, понимая, что уезжает навсегда, он пошел сообщить об этом бабке — не потому, что искал ее одобрения (тогда он убедил себя, что ему все равно, одобрит она или нет), и не потому, что хотел с ней поспорить, а потому, что хотел попросить ее позаботиться об отце, защитить его. Он понимал, что, уезжая, откажется и от того, что принадлежит ему по праву рождения, — от земли, денег, трастового фонда. Но это казалось ему небольшой жертвой, небольшой и умозрительной, потому что ничего из этого ему ведь и не принадлежало. То есть принадлежало не ему, а человеку, которому досталось его имя, и от имени он отречется тоже.

К тому времени он уже два года как жил на Большом острове. И вот он вернулся в дом на

О’аху-авеню — бабка сидела на веранде, в кресле с плетеной спинкой, вцепившись в подлокотники длинными, сильными пальцами. Он говорил, она молчала и под конец лишь раз взглянула на него и снова отвернулась.

— Сплошное разочарование, — сказала она. — И ты, и твой отец, вы оба. После всего, что я для тебя сделала, Кавика. После всего, что я сделала.

Я больше не Кавика, сказал он. Меня зовут Дэвид. И, развернувшись, сбежал, чтобы она не успела ответить: ты недостоин зваться Кавикой. Ты недостоин этого имени.

Много месяцев спустя он будет со слезами вспоминать этот разговор, потому что было время — целые годы, — когда бабка им гордилась, когда она сажала его рядом с собой на кушетку, прижимала к себе. “Я не боюсь смерти, — говорила она, — а знаешь почему, Кавика?” Нет, отвечал он. “Потому что я знаю, что буду жить в тебе. Мои стремления — моя жизнь — будут жить в тебе, моя гордость и мое счастье. Моя история и наша история живут в тебе”.

Но история не жила в нем, а если и жила, то не так, как хотелось бабке. Дэвид ее подвел. Бросил ее, отрекся от дома, от веры, от имени. Жил в Нью-Йорке с мужчиной, с белым мужчиной.

Никогда не рассказывал о семье, о предках. Не пел песен, которые его учили петь, не танцевал сказаний, которые его учили танцевать, не излагал истории, которую его учили почитать. Она думала, что сохранится в нем — и не только она, но и его дед и дед его деда. Он убеждал себя, что предал ее потому, что она недостаточно любила отца, но теперь все думал, а не было ли его предательство намеренным, не было ли оно признаком какого-то его внутреннего дефекта, какой-то врожденной бесчувственности. Он знал, как обрадуется Чарльз, если после какого-нибудь разговора Дэвид пообещает Чарльзу стать его, Чарльза, наследием, пообещает, что Чарльз всегда будет жить в нем. Он знал, как Чарльз будет этим тронут. Знал — и не мог обещать. Не потому, что сказал бы неправду, — он будет всегда любить Чарльза, спустя десятилетия после его смерти он будет рассказывать о Чарльзе всем своим будущим любовникам, будущему мужу, будущему сыну: какие он преподал ему уроки, куда они вместе ездили, как от него пахло, каким он был смелым и щедрым, как приучил его есть цукини, улиток и артишоки, какой он был сексуальный, как они с ним встретились и как простились, — а потому, что он больше не мог

быть чьим-то наследием, он уже познал страх несостоятельности, бремя разочарования. Больше этого не повторится, он останется свободным. Но только к старости он поймет, что свободных людей не бывает, что знать кого-то и любить кого-то значит взять на себя долг их помнить, даже если они еще живы. Этой обязанности никто не может избежать, и чем старше ты становишься, тем больше жаждешь этой ответственности, даже если порой тебе от нее тошно, жаждешь знания, что твоя жизнь неотделима от жизни другого, что какой-то человек отмеряет какую-то часть своего существования от ваших с ним отношений.

Он вздохнул. Ему все-таки придется поговорить с Питером, придется с ним попрощаться. Он долго ломал голову над тем, что скажет, но знал, что любое серьезное высказывание Питер сочтет банальностью, а говорить нечто приятное и необязательное — только время тратить. У него было то, чего не было у Питера, — жизнь, предвкушение и ожидание будущего, — и он все равно его побаивался. Давай, иди сейчас, велел он себе. Поговори с ним, пока в комнате никого нет и вас никто не услышит.

Но когда он наконец уселся на диван, слева от Чарльза, Чарльз с Питером не прервали сво-

его тихого бормотания, поэтому он прижался к Чарльзу, который стиснул его руку, а затем с улыбкой повернулся к нему.

— Кажется, мы с тобой весь вечер не виделись, — сказал он.

У меня все еще впереди, а у тебя впереди я, ответил он их старой шуткой, и Чарльз, положив руку на затылок Дэвида, притянул его к себе.

— Поможешь мне? — спросил он.

Чарльз заранее предупредил, что нужно будет помочь с Питером, поэтому он встал, помог Питеру пересесть в кресло и выкатил его из комнаты — по коридору и налево, мимо чулана с покатым потолком, в маленький, втиснутый под лестницу туалет. Туалет этот, рассказывал Чарльз, был легендарным: на прежних вечеринках, в прежние годы, когда Чарльз был моложе и безрассуднее, именно сюда люди сбегали украдкой, вдвоем или втроем, во время ужинов или ночных вечеринок, пока остальные, сидя в столовой или гостиной, отпускали про сбежавших шуточки, а когда те возвращались, встречали их хохотом и свистом. А ты с кем-нибудь туда ходил? — спросил он, и Чарльз рассмеялся. “Конечно, ходил, — сказал он. — А ты как думал? Я ведь горячий американский мужик”. Адамс называл этот туалет дамской

комнатой — ради соблюдения приличий, но друзьям Чарльза название казалось уморительным.

Впрочем, теперь дамская комната была тем, чем она и была — туалетом, — и если люди и заходили туда вдвоем, то лишь потому, что один помогал другому воспользоваться унитазом. Дэвид помог Чарльзу помочь Питеру встать (для такого худого человека он был на удивление тяжелым и почти не мог двигать ногами), и когда Чарльз обхватил Питера под мышками, он кивнул им, закрыл дверь и остался снаружи, стараясь не прислушиваться к звукам, которые издавал Питер. Его всегда и поражало, и удивляло, сколько отходов производило тело до самого конца, даже когда ему почти нечего было переваривать. Оно работало и работало, все приятное — еда, секс, алкоголь, танцы, прогулки — отваливалось одно за другим, и в конце концов тебе оставались только унизительные телодвижения и испражнения, то, из чего в итоге и состояло тело: дерьмо, моча, слезы и кровь, — тело избавлялось от жидкостей, будто осушавшая сама себя река.

Из туалета послышался шум — кто-то включил воду, мыл руки, а затем его позвал Чарльз. Он открыл дверь, подкатил кресло, помог Питеру усесться и подложил ему под спину подушечку.

Дэвид старался не глядеть Питеру в глаза, думая, что Питеру невыносимо его присутствие, но, когда он выпрямился, Питер поднял голову, и их взгляды встретились. Этот миг был кратким, таким кратким, что Чарльз, пристраивавший свитер на плечи Питеру, ничего не заметил, но после того, как они прикатили Питера обратно в гостиную — здесь снова было многолюдно, пахло сахаром, шоколадом и кофе, который разливал по чашкам Адамс, — Дэвид снова прижался к Чарльзу, чувствуя себя как-то по-детски и в то же время желая укрыться от гнева, ярости и чудовищного вожделения, которые он увидел во взгляде Питера. Дэвид понимал, что они не были направлены на него конкретно, скорее на то, кем он был: он был живым, и когда этот вечер закончится, он поднимется вверх на два пролета, и, может, они с Чарльзом займутся сексом, а может, и нет, а наутро он проснется и решит, что будет есть на завтрак и куда сегодня пойдет — в книжный магазин, или в кино, или в ресторан, или в музей, или просто на прогулку. В этот день он примет сотни решений, столько, что и сам собьется со счета, столько, что и сам перестанет их замечать, и каждое решение станет признаком его жизни, его места в мире. И с каждым решением Питер

будет всебольше стираться из жизни, из его памяти, становиться частью истории — с каждой минутой, с каждым часом, пока однажды о нем не позабудут вовсе: наследие без наследников, память без воспоминаний.

———

Весь вечер гости Питера только и делали, что кружили вокруг него, но не заговаривали с ним. Изредка кто-нибудь стоявший рядом оборачивался к нему, беседуя с кем-то другим: “Питер, помнишь тот вечер?”, “Слушай, Питер, как звали этого парня? Ну, того, с которым мы познакомились в Палм-Спрингс?”, “Питер, мы о той нашей поездке в семьдесят восьмом…” — но в основном они говорили друг с другом, а Питер сидел в углу дивана, рядом с Чарльзом. Дэвид давно уже понял, что все они боялись Питера, а теперь боялись его особенно, потому что сегодня видят его в последний раз, и эта необходимость попрощаться так давила на них, что, вместо того чтобы прощаться, они его игнорировали. Питера, впрочем, такое положение дел как будто устраивало. В его спокойствии было что-то величественное — в том, как он скользил взглядом по собравшимся здесь ради него друзьям, изредка кивая Чарльзу

в ответ, словно огромный старый пес, который сидит подле хозяина и обозревает комнату, зная, что сегодня безопасности хозяина ничто не угрожает.

Но тут, внезапно, будто повинуясь слышному только им зову, люди стали подходить к Питеру, один за другим, склоняться к нему, говорить что-то на ухо. Джон подошел одним из первых, Дэвид подтолкнул Чарльза, и тот хотел было встать, уйти, чтобы Питер мог поговорить с Джоном наедине, но Питер положил руку Чарльзу на ногу, и Чарльз снова уселся на место. Поэтому они с Дэвидом остались сидеть на диване, глядя, как Джон вернулся к своему креслу на другом конце гостиной, как его сменил Персиваль, а затем Тимоти, а затем — Норрис, Жюльен и Кристофер и как все они по очереди брали Питера за руки, склонялись перед ним или вставали рядом с ним на колени, тихонько говорили с ним, заводили последнюю беседу. Дэвид не слышал почти ничего — точнее, ничего из того, о чем они говорили, но они с Чарльзом сидели не двигаясь, словно Питер был императором и министры докладывали ему, что творится в империи, а они были слугами, которым не полагалось этого слышать, но и сбежать на кухню, где было их место, они

не могли.

Разумеется, друзья Питера не говорили ничего секретного, обычные банальности, которые ему сообщали доверительно, словно тайну. Они говорили так, будто Питер был совсем дряхлым стариком, у которого отшибло память. “Знаешь, я все помню, — обычно говорил Питер, когда кто-нибудь начинал свой рассказ с “А помнишь?”. — Я еще в своем уме”. Но сегодня его словно бы осенило особой благодатью, преисполнившей его терпением, и он позволял каждому его обнимать, говорить ему что-то, не дожидаясь ответа. Он не думал, что Питеру захочется — что у него вообще получится — умирать с достоинством, но вот он сидит, благородный и величественный, слушая друзей, то и дело улыбаясь, кивая и позволяя держать себя за руку.

— А помнишь, Питер, как десять лет назад мы сняли на лето развалюху в Пайнс и как однажды утром ты спустился вниз, а там посреди гостиной стоит олень и ест нектарины, которые Кристофер оставил на столе?

— Я так переживал, когда мы с тобой тогда поссорились — ну, ты знаешь, о чем я. Я так потом раскаивался, мне хотелось взять свои слова обратно. Прости, Питер. Пожалуйста, скажи, что

ты меня прощаешь.

— Питер, я не знаю, как мне быть — как вообще быть — без тебя. Да, у нас не все всегда было гладко, но я буду по тебе скучать. Ты столькому меня научил… Я просто хочу сказать спасибо.

Он понял, что больше всего людям что-то от тебя нужно, когда ты умираешь, — им хочется, чтобы их помнили, чтобы их утешили, чтобы простили. Им хочется признания и отпущения грехов, им хочется, чтобы ты помог им примириться — с тем, что ты уходишь, а они остаются; с тем, что они ненавидят тебя, потому что ты их оставляешь, и с тем, что они этого страшатся; с тем, что твоя смерть напоминает им о неотвратимости их собственной смерти; с тем, что им так не по себе, что они не знают, что говорить. Умирать означало повторять одно и то же, снова и снова, как Питер повторял сейчас. Да, помню. Ничего, я справлюсь. Ничего, ты справишься. Да, конечно, я тебя прощаю. Нет, не надо ни в чем себя винить. Нет, у меня ничего не болит. Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Да, я тоже тебя люблю, я тоже тебя люблю, я тоже тебя люблю.

Он слушал все это, прижимаясь к Чарльзу, тот обнимал его левой рукой, а правая лежала на плечах Питера. Он по-детски уткнулся лицом

Чарльзу в бок, чтобы слышать его ровное и медленное дыхание, чувствовать щекой тепло его тела. Чарльз просунул левую ладонь ему под мышку, Дэвид поднял руку, и их пальцы сплелись. В них с Чарльзом сейчас не было никакой надобности, но если посмотреть на них троих сверху, они могли бы показаться единым организмом, существом с двенадцатью конечностями и тремя головами, одна кивала и слушала, две остальные молчали и не двигались, и жизнь во всех троих поддерживало одно-единственное огромное сердце, ровно, терпеливо бившееся у Чарльза в груди, рассылая яркую, чистую кровь по ярдам артерий, соединявшим три тела, наполнявшим их жизнью.

———

Еще не было поздно, но гости уже засобирались уходить. “Он устал”, — говорили они друг другу о Питере, а его спрашивали: “Ты устал?”, на что Питер всякий раз отвечал: “Есть немного”, пока в его голосе не стало слышаться какое-то изнеможение — может, оттого, что терпение было наконец на исходе, а может, он и вправду устал. Он говорил Чарльзу, что днем теперь почти все время спит, по вечерам дремлет до полуночи, а

затем просыпается и “занимается делами”.

Какими, например? — спросил он за обедом где-то полгода назад, вскоре после того, как Питер придумал этот свой план со Швейцарией.

— Разбираю документы. Жгу письма, не предназначенные для чужих глаз. Доделываю приложение к завещанию — список подарков, кому что достанется. Составляю список людей, с которыми хочу попрощаться. Составляю список людей, которых не надо приглашать на мои похороны. Я и не представлял, сколько списков нужно написать, когда умираешь: списки тех, кого любишь и кого ненавидишь. Списки тех, кого хочешь поблагодарить, и тех, у кого хочешь попросить прощения. Списки тех, кого хочешь видеть и кого не хочешь. Списки песен, которые нужно будет ставить во время поминальной службы, стихов, которые должны прозвучать, людей, которых нужно на нее пригласить. Разумеется, это если тебе повезло остаться в своем уме. Я, правда, в последнее время все думаю, такое ли уж это везение — все осознавать, так отчетливо понимать, что больше ты не будешь развиваться. Ты не станешь образованнее, умнее и интереснее, чем ты есть, — все, что ты делаешь и проживаешь с той самой минуты, когда ты на-

чал активно умирать, становится бесполезным, тщетной попыткой переписать конец истории. И ты ведь все равно пытаешься — читаешь то, чего не читал, смотришь на то, чего не видел. Только, понимаешь ли, это ни к чему не приводит. Ты все это делаешь просто по привычке — потому что таков человек.

А это обязательно должно к чему-то приводить? — робко спросил он. Он всегда нервничал, обращаясь к Питеру, но удержаться не смог — все думал об отце.

— Нет, конечно нет. Но нас учили, что так должно быть, что этот опыт, это познание есть путь к спасению, что в этом и есть смысл жизни. А это не так. Невежда умирает точно так же, как и интеллектуал. Разницы в итоге нет никакой.

— Хорошо, а как же удовольствие? — спросил Чарльз. — Вот тебе и смысл.

— Удовольствие, разумеется. Но удовольствие ничего не меняет на самом-то деле. Не стоит, правда, делать что-то или чего-то не делать только потому, что в итоге это ничего не меняет.

Тебе страшно? — спросил он.

Питер замолчал, и Дэвид испугался, что вопрос был невежливый. Но Питер наконец сказал:

— Мне страшно не потому, что я боюсь боли, —

медленно проговорил он и поднял голову: его большие, светлые глаза казались еще больше, еще светлее. — Мне страшно потому, что я знаю: последние мои мысли будут о том, сколько времени, сколько жизни я потратил впустую. Мне страшно потому, что я умру, стыдясь того, как жил.

После этого наступило молчание, а затем разговор как-то перешел на другие темы. Он не знал, по-прежнему ли Питер так считает, не знал, думает ли он и теперь, что прожил жизнь впустую. Не знал, потому ли Питер и прибег к химиотерапии — решился ли он дать себе еще один шанс, надеялся ли изменить свое мнение, свои чувства. Дэвид надеялся, что его чувства и впрямь изменились, надеялся, что прежних чувств уже нет. Спросить Питера об этом было невозможно — “Тебе все еще кажется, что ты прожил жизнь зря?”, — поэтому он не спрашивал, хотя потом пожалел, что так и не придумал, как об этом спросить. Он думал, как и всегда, об отце, о том, как он отодвинул от себя жизнь — или, наоборот, сам отодвинулся от жизни? Его единственный акт неповиновения, за который Дэвид его ненавидел.

В гостиной Три Сестры надевали пальто, кутались в шарфы, целовали на прощанье сначала

Питера, а за ним — Чарльза.

— Держишься? — услышал он, как Чарльз спрашивает Персиваля. — На следующей неделе увидимся, хорошо?

И ответ Персиваля:

— Да, все нормально. Спасибо, Чарли… за все.

Дэвида всегда трогала эта сторона Чарльза: он был заботливым, он был мамочкой. Ему вдруг вспомнилась мать из книжек с картинками, которые они читали с отцом: приятно дородная, в платочке и фартуке, она жила в каменном доме в какой-то безымянной деревушке, в какой-то безымянной европейской стране, и совала детям в карманы нагретые в печи камешки, чтобы они грели пальцы по пути в школу.

Он знал, что Чарльз попросил Адамса проследить, чтобы официанты упаковали всю оставшуюся еду и гости могли что-то забрать с собой, хотя сам Чарльз делал это для того, чтобы большая часть досталась Джону и Тимоти. В кухне одни официанты раскладывали по картонным коробкам остатки тортов и печенья, а коробки — по бумажным пакетам, другие перетаскивали большие ящики с грязной посудой в фургон, припаркованный за домом, во дворике, где раньше был каретный сарай, а теперь гараж. Он с огорче-

нием и облегчением отметил, что Джеймса нигде не видно, и на какое-то время застыл, зачарованно наблюдая, с какой нежностью одна девушка опускает в пластиковое ведерко несъеденную четверть чизкейка, словно укладывает младенца в колыбель.

Не убрали только бесформенный булыжник темного шоколада, изрезанный и местами пыльный, похожий на огромный автомобильный аккумулятор. Этот булыжник, как и торт с двойным шоколадом, был фирменным угощением на всех вечеринках Чарльза, и когда Дэвид впервые это увидел, увидел, как один официант втыкает в шоколад шило и постукивает по нему молоточком, а второй держит блюдо, куда сыплются обломки, зрелище это его заворожило. Казалось и невероятным, и диким, что кому-то придет в голову заказать шоколадный куб такого размера, что его придется обтесывать молотком и зубилом и выглядеть он будет так, словно его грызли мыши, но еще более невероятным было то, что он встречается с человеком, для которого это все в порядке вещей. Он рассказал об этом Иден, которая презрительно фыркала и добивала его фразами вроде: “Вот поэтому-то и будет революция” и “Уж кому, как не тебе, знать, что потребление сахара

означает акт реакционного колониализма", но он видел, что и на нее произвела впечатление эта ожившая детская фантазия — если такое бывает на свете, то, может, тогда найдутся и облака из сахарной ваты, и пряничный домик, и деревья с леденцовой корой? У них это стало дежурной шуткой: омлет был хорош, говорил он, но не так хорош, как шоколадная гора. Прошлой ночью у нее был неплохой секс, говорила она, но до шоколадной горы девушка не дотягивала. "На следующей вечеринке у Чарльза сделаешь фото, хочу оценить масштаб его капиталистической развращенности", — велела ему она. Она всегда спрашивала, когда у них снова будут гости, когда она наконец увидит доказательства.

Поэтому он был рад пригласить Иден на следующую вечеринку Чарльза, на ежегодный праздник, который тот устраивал в канун Рождества. Это было в прошлом году, вскоре после того, как он переехал, и, спрашивая разрешения у Чарльза, он нервничал, но Чарльз горячо его поддержал. "Ну конечно, приводи ее, — сказал он. — С удовольствием познакомлюсь с этой твоей фурией". Приходи, сказал он Иден. Приходи голодной.

Она закатила глаза. "Я приду только ради шоколадной горы", — сказала она, но, несмотря на

ее напускное безразличие, Дэвид знал, что и она ждет этого дня с нетерпением.

Но на празднике он все ждал и ждал ее, а она так и не пришла. Ужин был с рассадкой, и ее место за столом пустовало, сложенная гармошкой салфетка так и осталась лежать на тарелке. Он нервничал, беспокоился, и Чарльз его успокаивал. “Наверное, ее кто-нибудь задержал, — прошептал он, когда Дэвид вернулся за стол, не дозвонившись до нее в третий раз. — Не волнуйся, Дэвид. Конечно же, с ней все хорошо. Конечно, она потом все объяснит”.

Они пили кофе в гостиной, когда к нему подошел Адамс, всем своим видом выражая неодобрение.

— Мистер Дэвид, — прошептал он ему, — там вас кто-то спрашивает, некая… мисс Иден.

Он вздохнул с облегчением, а затем разозлился: на Адамса — за его высокомерие, на Иден — за то, что опоздала, за то, что заставила его ждать и волноваться. Адамс, пожалуйста, пригласите ее сюда, сказал он.

— Она не хочет заходить. Попросила вас выйти. Она ждет во дворе.

Он вскочил, схватил висевшее в шкафу пальто, протиснулся мимо сновавших туда-сюда офи-

циантов и вышел с черного хода на мощенный брусчаткой дворик, где стояла Иден. Но в дверях он остановился и увидел, как она, выдыхая облачка морозного пара, глядит на залитые теплом, запотевшие окна, на красавцев-официантов в белых рубашках и черных галстуках.

И вдруг до него дошло, так ясно, словно она сказала это вслух, что Иден постеснялась войти. Он ясно видел, как она шагает по Вашингтонской площади, останавливается перед домом, снова и снова проверяет номер, а затем медленно поднимается по ступеням. Заглядывает в окна и видит толпу немолодых уже мужчин, одетых в свитера и джинсы, за которыми их богатства все равно не скроешь. Он видел, как она теряет решимость. Как вскидывает руку к звонку и медлит на пороге, как твердит себе, что она ничем не хуже их, что плевать она хотела на их мнение, что это просто кучка богатых белых стариканов и что ей не за что извиняться и нечего стыдиться. А потом видит Адамса, который входит в гостиную и говорит, что ужин подан, она знала, конечно, что у Чарльза есть дворецкий, но не ожидала и вправду его увидеть, и когда комната опустела, она, прищурившись, понимает, что картина на противоположной стене, та, что висит над дива-

ном, — это Джаспер Джонс, настоящий Джаспер Джонс, а не репродукция, которую она приколола у себя над кроватью, — Чарльз купил эту картину себе на тридцатилетие, а Дэвид ничего ей про нее не сказал. Тогда она разворачивается и, спотыкаясь, бежит вниз, обходит площадь, повторяя себе, что она может войти, что ее туда пустят, что в этом доме живет ее лучший друг и что она тоже имеет полное право там быть.

Но она не смогла себя пересилить. И поэтому стояла на другой стороне улицы, прислонившись к ледяным железным прутьям забора, окружавшего площадь, смотрела, как официанты вносят суп, потом мясо, потом салат, как льется вино и, хоть этого она и не могла слышать, как все смеются и шутят. И только когда гости встали из-за стола, она, закоченев от холода, не чувствуя ног в старых, перемотанных изолентой берцах, увидела, как официант выскочил покурить на Пятую авеню и затем снова исчез за домом, и поняла, что тут есть вход для прислуги и что она пойдет туда, надавит на звонок, вызовет Дэвида, откажется входить в этот золотой дом.

Глядя на нее, он знал, что она никогда до конца его не простит, не простит того, что он, пусть и нечаянно, заставил ее почувствовать себя не в

своей тарелке, будто она ничтожество какое-то. Он стоял с другой стороны от входа, в мягчайших свитере и брюках, которые подарил ему Чарльз — такой одежды у него раньше никогда не было, — и разглядывал ее, как она выражалась, модный прикид: поношенное мужское твидовое пальто, такое длинное, что полы волочились по земле, залоснившийся от долгой носки коричневый, купленный на барахолке костюм, старый репсовый галстук в черно-оранжевую полоску, фетровую шляпу, обрамлявшую ее невзрачное круглое лицо, усики, которые она ради особых случаев пририсовывала себе карандашом для глаз, — и понимал, что, пригласив ее сюда, показав ей, как он тут живет, он отнял у нее радость, с которой она носила эту одежду, радость быть той, кем она была. Она была ему дорога, ближе нее у него друга не было, только ей он рассказал всю правду о том, что случилось с его отцом. “Я зарежу любого, кто тебя хоть пальцем тронет”, — говорила она, когда они гуляли по опасным районам Алфабет-Сити или Нижнего Ист-Сайда, и он еле сдерживал улыбку, потому она была на добрую голову ниже его — боявшаяся щекотки толстушка, одна мысль о том, как она кинется на обидчика с ножом, вызывала у него смех, но он

знал, что она говорила искренне: она его защитит, всегда, от всех. А вот он, позвав ее сюда, не сумел ее защитить. В их мире, среди их друзей, она была Иден, талантливой, остроумной и уникальной. Но в мире Чарльза она станет такой, какой ее видят остальные: мужеподобной, толстой, приземистой китаянкой, неженственной и непривлекательной, громогласной и малосимпатичной, человеком в дешевой одежде с чужого плеча и с нарисованными усами, человеком, которого или не замечают, или высмеивают, как будут ее высмеивать, хоть и сдерживаясь изо всех сил, друзья Чарльза. А теперь мир Чарльза стал и его миром, и через их дружбу пролегла траншея, и она больше не могла прийти к нему, и он никак не мог к ней вернуться.

Он распахнул дверь и вышел к ней. Она подняла голову, увидела его — они глядели друг на друга, не говоря ни слова. Иден, сказал он. Заходи. Ты же замерзла.

Но она покачала головой.

— Ни за что, — ответила она.

Ну пожалуйста. Есть чай, вино, кофе, сидр, есть…

— Мне некогда, — сказала она.

Тогда зачем ты пришла? — хотел спросить он,

но промолчал.

— Меня ждут в другом месте, — продолжала она. — Я просто зашла тебе вот это отдать. — И она сунула ему бесформенный газетный сверток.

— Потом развернешь, — велела она, и он спрятал сверток в карман пальто.

— Мне пора, — сказала она.

Подожди, сказал он и кинулся обратно, к официантам, которые заворачивали последние остатки еды, укутывали фольгой шоколадную гору. Он схватил ее — Адамс вскинул брови, но промолчал — и, пошатываясь, сбежал по ступенькам, крепко держа гору обеими руками.

Вот, он протянул ее Иден. Это шоколадная гора.

Она заметно удивилась и перехватила гору поудобнее, немного сгибаясь под ее тяжестью.

— Ну ни хера себе, Дэвид, — сказала она. — И что мне с ней делать?

Он пожал плечами. Не знаю, ответил он. Но она твоя.

— И как я дотащу ее домой?

На такси?

— У меня нет денег на такси. И не надо, — сказала она, когда Дэвид полез в карман. — Не надо мне твоих денег, Дэвид.

Не знаю, Иден, что ты хочешь от меня услышать, сказал он и добавил, потому что она молчала: я люблю его. Прости, но правда. Я люблю его.

Какое-то время они так и стояли молча на промозглой ночной улице. Из дома донеслось бух-бух-буханье хауса.

— Ну и пошел тогда в жопу, — тихо сказала Иден, развернулась и ушла, таща шоколадную гору, и волочившееся за ней пальто на миг придало ей какой-то величественности. Он глядел ей вслед, пока она не скрылась за углом. А затем пошел домой, вернулся к Чарльзу.

— Все нормально? — спросил Чарльз, и Дэвид кивнул.

Потом они, конечно, сделали все, что смогли. На следующий день он позвонил Иден домой, оставил сообщение на автоответчике — тот по-прежнему отвечал его голосом, — но она не взяла трубку и не перезвонила. Они не разговаривали целый месяц, и каждый день Дэвид глядел на свой телефон в офисе “Ларссон, Уэсли”, надеясь, что он зазвонит и в трубке раздастся гортанный, хриплый смешок Иден. И однажды, в конце января, она позвонила.

— Извиняться я не буду, — сказала Иден.

Я и не жду извинений, сказал он.

— Ты не поверишь, что со мной было под Новый год, — сказала она. — Помнишь телку, с которой я трахалась? Теодору?

Да и ты не поверишь, что было со мной, мог бы ответить он, потому что тогда Чарльз уже свозил его сюрпризом в Гштаад — и он впервые побывал за границей, где научился кататься на лыжах, попробовал пиццу, усыпанную тертым трюфелем, и бархатистый суп-пюре из белой спаржи со сливками и где у них с Чарльзом случился тройничок с лыжным инструктором — тоже первый для Дэвида, и на несколько дней он полностью забыл о своей прошлой жизни. Но этого он ей не сказал, он хотел, чтобы она думала, будто ничего не изменилось, а она в свою очередь позволила ему в это верить.

И еще он не сказал ей спасибо. Тем вечером, когда она ушла, а затем разошлись и все гости, они с Чарльзом поднялись к себе в спальню. “Все нормально у твоей подруги?” — спросил Чарльз, ложась в постель.

Да, солгал он. Она просто дату перепутала. Расстроилась очень, просила ее простить. Теперь он понимал, что Иден с Чарльзом никогда не познакомятся, но Чарльз придавал много значения хорошим манерам, и он хотел, чтобы она

ему нравилась, чтобы, по крайней мере, у него осталось о ней благоприятное впечатление.

Чарльз уснул, но Дэвид все не спал и думал об Иден. Тут он вспомнил о ее подарке, встал, пошел вниз, нашарил в шкафу свое пальто, а в нем — маленький плотный сверток. Он был завернут в страницу из *The Village Voice с* рекламой эскорт-услуг — обычная их оберточная бумага — и перевязан бечевкой, которую пришлось перерезать ножом.

Внутри оказалась маленькая двухфигурная скульптура из глины — двое мужчин, прижавшись друг к другу, держатся за руки. Иден начала работать с глиной незадолго до того, как Дэвид от нее съехал, и, несмотря на несовершенство фигурок, он увидел, что мастерство ее возросло — линии стали мягче, формы четче, пропорции изящнее. Однако сама скульптура все равно казалась примитивной, живенькой, но не живой, и это тоже было сделано намеренно: Иден пыталась вновь населить мир статуями, которые веками уничтожали пришедшие с Запада мародеры. Приглядевшись, он понял, что двое мужчин — это они с Чарльзом, Иден даже усы Чарльза наметила рядком вертикальных черточек, изобразила его строгий боковой пробор. В основании

она процарапала их инициалы и дату, а ниже — свои инициалы.

Она не любила Чарльза — принципиально, и еще потому, что он отнял у нее самого близкого друга. Но в этой скульптуре она соединила всех троих: прилепила себя к их с Чарльзом жизни.

Он поднялся обратно в спальню, зашел в гардеробную, затолкал скульптуру в спортивный носок и спрятал ее в ящике с бельем, в самом дальнем углу. Он так и не показал ее Чарльзу, и Иден ни разу о ней не спросила. Но много лет спустя, съезжая из дома Чарльза, он наткнулся на эту скульптуру, поставил ее на каминную полку в своей новой квартире и время от времени снимал с полки и вертел в руках. В детстве он так часто был одинок, что, повстречав Чарльза, поверил: больше он никогда не останется один, в одиночестве.

Разумеется, он оказался неправ. Он был одинок и с Чарльзом и стал еще более одинок после его смерти. Это чувство так никогда его и не покинуло. Но скульптура напоминала ему о другом. О том, что он не был одинок до встречи с Чарльзом — он был с Иден. Просто он этого не понимал.

А она понимала.

———

Гости ушли, ушли официанты, и дом снова принял тот угрюмый вид, какой находил на него после каждой вечеринки: несколько часов он с блеском играл свою роль, чтобы затем снова вернуться к обычному скучному существованию. Дольше всех задержались Три Сестры, но наконец ушли и они, унося собой с полдесятка бумажных пакетов, набитых контейнерами с едой, увидев которые Джон аж заурчал от удовольствия.

Чарльз отпустил даже Адамса, и тот, перед тем как уйти, отвесил Питеру вежливый поклон, и Питер склонил голову в ответ.

— В добрый путь, мистер Питер, — прочувствованно сказал Адамс. — Легкой дороги.

— Спасибо, Адамс, — ответил Питер, который за глаза звал его “мисс Адамс”. — Спасибо за все. Вы были так добры ко мне все эти годы — ко всем нам.

Они пожали друг другу руки.

— Доброй ночи, Адамс, — сказал Чарльз, стоявший у Питера за спиной. — Благодарю вас за сегодняшний вечер — все было безупречно, как всегда.

И Адамс, снова кивнув, прошел из гостиной на кухню.

Когда были живы родители Чарльза, кото-

рые помимо Адамса держали еще и кухарку, и экономку, и горничную, и шофера, прислуге полагалось пользоваться только черным ходом. И хотя Чарльз давным-давно упразднил это правило, Адамс по-прежнему приходил и уходил только через кухню — раньше, считал Чарльз, потому, что ему было неловко нарушать давнюю традицию, теперь потому, что он состарился, а лестница для прислуги была более пологой, с широкими ступенями.

Глядя ему вслед, Дэвид снова задумался, чем живет Адамс вне их дома. Что Адамс носит, с кем и о чем разговаривает, когда он не у Чарльза, когда снимает костюм дворецкого, когда не обслуживает их? Чем он занимается у себя в квартире? Чем увлекается? По воскресеньям у него был выходной, плюс каждый третий понедельник месяца, плюс пять недель отпуска, две из которых он брал в начале января, когда Чарльз уезжал кататься на лыжах. Когда Дэвид спросил об этом Чарльза, тот ответил, что, кажется, Адамс снимает коттедж в Ки-Уэст и ездит туда рыбачить, но точно он и сам не знает. Он так мало знал о жизни Адамса. Был ли Адамс женат? Был ли у него друг, подруга? Хоть когда-нибудь? Были ли у него братья и сестры, племянники или племянницы? Друзья?

На заре их отношений, еще стараясь свыкнуться с присутствием Адамса, он задал все эти вопросы Чарльзу, и тот пристыженно рассмеялся. “Это ужасно, — сказал он, — но я не знаю ответа ни на один из твоих вопросов”. Как же ты можешь не знать? — вырвалось у него, прежде чем он сам понял, что сказал, но Чарльз не обиделся. “Трудно объяснить, — сказал он, — но иногда жизнь сводит тебя с людьми, о которых… о которых проще вообще ничего не знать”.

Теперь он задавался вопросом, не был ли и он сам для Чарльза таким человеком, чью привлекательность сложная история свела бы на нет, более того, человеком, которого как раз и выбрали потому, что у него будто бы и вовсе нет никакой истории. Он знал, что трудные судьбы Чарльза не пугали, но, может быть, Дэвид и понравился ему своей кажущейся простотой, тем, что ни возраст, ни жизнь пока не оставили на нем никаких следов. Мать умерла, отец умер, год на юридическом, рос где-то далеко, в семье со средним достатком, красив, но не так, чтобы дух захватывало, умен, но не так, чтобы это было заметно, имеет свои желания и предпочтения, но не то чтобы за них держится и поэтому может приспособиться к желаниям и предпочтениям Чарльза. Он вполне

допускал, что для Чарльза главным в нем было то, чего у него не было, — секретов, проблемных бывших, болезней, прошлого.

И еще был Питер: человек, которого Чарльз знал очень близко и который, как только теперь начал понимать Дэвид, всегда будет знать о Чарльзе больше, чем он. И не важно, сколько еще они с Чарльзом будут вместе, не важно, что еще он о нем узнает, Питеру уже досталось больше Чарльза — больше даже не его лет, а эпох. Он знал Чарльза ребенком, юношей и взрослым мужчиной. С ним у Чарльза связан первый поцелуй, первый минет, первая сигарета, первая бутылка пива, первое расставание. Вместе они выяснили, что любят: какую еду, какие книги, какие пьесы, какое искусство, какие идеи, каких людей. Он знал Чарльза, прежде чем тот стал Чарльзом, знал его просто крепким спортивным мальчишкой, к которому Питера вдруг потянуло. Месяцами стараясь выдумать тему для разговора с Питером, он слишком поздно понял, что ему всего-то надо было и, более того, стоило спросить Питера об этом их общем человеке: кем он был, как он жил до Дэвида. Чарльз, может, и не проявлял в отношении Дэвида особого любопытства, но и Дэвид был виновен в такой же нелюбопытности, каждый из

них хотел, чтобы другой всегда оставался таким, каким видится ему сейчас, — словно бы у обоих не хватало воображения, чтобы представить друг друга в иных условиях.

Но что, если бы им пришлось это сделать? Что, если бы земля сместилась в пространстве, всего на каких-нибудь пару дюймов, но этого оказалось бы достаточно, чтобы полностью перекроить весь их мир, всю страну, весь город, их самих? Что, если бы Манхэттен лежал затонувшим островом под реками и каналами, и люди передвигались бы по нему на деревянных баркасах, и ты таскал бы сети с устрицами из мутной воды под собственным, стоящим на сваях домом? Или что, если бы они жили в сверкающем, полностью заиндевевшем мегаполисе без единого дерева, в домах, сделанных из кубов льда, и ездили на белых медведях, и держали морских котиков в качестве домашних животных, прижимаясь по ночам к их колышущимся бокам, чтобы согреться? Узнали бы они тогда друг друга, проплыв мимо на лодках, торопясь домой, к очагу, сквозь скрипучие сугробы?

Или что, если бы Нью-Йорк остался совсем таким же, но никто из его знакомых не умирал, никто не умер и сегодняшняя вечеринка была бы

просто очередным дружеским сборищем, где не нужно никаких мудрых фраз, никаких последних слов, потому что впереди еще сотни таких ужинов, тысячи вечеров, десятки лет, за которые они успеют понять, что же они все-таки хотели сказать друг другу? Были бы они и тогда вместе, в этом мире, где нет нужды держаться вместе из страха, где все их знания о пневмонии, раке, грибковых заболеваниях, слепоте непонятны, нелепы и никому не нужны?

И что, если этот планетарный сдвиг разметал бы их, запад и юг, а затем вернул к жизни где-нибудь совсем в другом месте, на Гавай'ях, и эти Гавай'и, эти совсем другие Гавай'и не нуждались бы в Липо-вао-нахеле, в этом месте, куда так давно увез его отец, потому что все, что он пытался воплотить в жизнь, оказалось бы реальностью? Что, если эти Гавай'и, эти острова, так и остались бы королевством, и не были бы частью Америки, и его отец был королем, а он, Дэвид, наследным принцем? Познакомились бы они и тогда? Влюбились бы друг в друга? Был бы Чарльз и тогда нужен Дэвиду? Там он оказался бы сильнее Чарльза, не нуждался больше в чужом великодушии, в чужой защите, в чужой образованности. Кем бы тогда был для него Чарльз?

Смог бы Дэвид и тогда за что-то его полюбить? И что сталось бы с его отцом, кем бы он был? Стал бы он более уверенным и смелым человеком, не таким напуганным, не таким потерянным? Был бы и тогда ему нужен Эдвард? Или Эдвард стал бы тогда песчинкой в море, прислугой, безымянным чиновником, которого отец даже не заметил бы, столкнувшись с ним на пути в кабинет, куда он, взволнованный, прекрасный, шел подписывать документы и договоры, ступая босиком по блестящему полу, по деревянным половицам, которые каждое утро натирали маслом макадамии?

Этого он никогда не узнает. Потому что в том мире, где жили они с отцом, они были всего лишь теми, кем были: мужчинами, искавшими поддержки у других мужчин, надеясь, что те спасут их от ничтожности их собственной жизни. Отец сделал неудачный выбор. Дэвид — удачный. Но в итоге оба оказались в зависимом положении, оба разочаровались в прошлом и боялись настоящего.

Обернувшись, он увидел, что Чарльз укутывает шею Питера шарфом. Они молчали, и Дэвиду показалось, как это часто бывало, когда он за ними наблюдал, а сегодня вечером — в особенности, что он вторгся в чужое пространство, что не ему

быть свидетелем их близости. Отходить он не стал, да и не нужно было — они оба о нем позабыли. Сначала Питер решил, что переночует здесь, у Чарльза, но вчера передумал. Они позвонили его медбрату, и тот вместе с помощником Питера уже ехал сюда, чтобы отвезти его домой.

Настала пора прощаться.

— Я на минутку, — сказал им Чарльз, с трудом выговаривая слова, и вышел из комнаты, было слышно, что он побежал наверх.

И тогда Дэвид остался наедине с Питером. Питер, в коконе из пальто и шапки, сидел в инвалидном кресле, шерстяные слои закрывали и нижнюю, и верхнюю часть его лица, словно он не умирал, а мутировал, словно шерсть расползалась по нему, как кожа, превращая его во что-то уютное и мягкое — в кушетку, в подушку, в клубок пряжи. Чарльз разговаривал с ним, сидя на диване, и кресло Питера было по-прежнему обращено в сторону опустевшего теперь места в опустевшей комнате.

Он подошел к дивану и уселся на место Чарльза, на еще теплые подушки. Чарльз держал Питера за руку, а он — нет. И все равно, все равно: даже теперь, когда Питер глядел на него, он не знал, что сказать, когда все слова невозможны. Придется

Питеру заговорить первым, и когда он наконец заговорил, Дэвид подался к нему, чтобы лучше его слышать.

— Дэвид.

Да.

— Позаботься о моем Чарльзе. Обещаешь?

Да, пообещал он, радуясь, что от него не потребовали большего и что Питер не воспользовался возможностью, чтобы донести до него какое-нибудь уничижительное наблюдение, какую-нибудь правду о нем, которой Дэвид никогда не сможет забыть. Конечно, позабочусь.

Питер тихо, пренебрежительно фыркнул.

— “Конечно”, — пробормотал он.

Позабочусь, горячо сказал он. Позабочусь. Было важно, чтобы Питер ему поверил. Но он обещал, а Питер уже смотрел в другую сторону, туда, откуда доносились шаги Чарльза, и тянулся к нему таким детским, таким любящим движением, что всю оставшуюся жизнь Дэвид будет помнить его только таким: Питер, закутанный, точно ребенок, которого ведут гулять на заснеженную улицу, раскрывает объятия пустоте, и Чарльз идет к ним навстречу, чтобы вновь заполнить их собой, губы у него дрожат, и он смотрит только на Питера, как будто кроме него больше никого нет на свете.

———

Ночью они с Чарльзом лежали в постели, не разговаривая, не прикасаясь друг к другу, — оба настолько погрузились в свои мысли, что со стороны их можно было принять за двух незнакомцев, случайно оказавшихся вместе.

Питера увезли: медбрат и помощник вынесли кресло на улицу, с помощью Дэвида и Чарльза засунули его в нутро заказанной Чарльзом машины. И машина поехала обратно, на Бетюн-стрит, в теплую, захламленную квартиру Питера в старом доме возле реки, со щербатой лестницей и закрашенным кирпичным фасадом, а Дэвид с Чарльзом остались стоять на холоде. Он мысленно был готов к тому, что конец вечера будет означать и конец Питера в их жизни — в жизни Чарльза, — и теперь, когда это и в самом деле случилось, ему показалось, что все произошло слишком внезапно, слишком быстро, будто в какой-нибудь сказке: часы пробили полночь, и мир заволокло серым туманом, обещание совместной жизни растворилось в небытии.

После того как машина скрылась из виду, они еще долго стояли на улице. Было не так уж и поздно, но из-за холода почти все сидели по домам, кроме нескольких случайных прохожих, заку-

танных в черное. Напротив, через дорогу, сверкал заснеженный парк. Наконец он взял Чарльза за руку. Холодно очень, сказал он. Пойдем домой.

— Идем, — еле слышно согласился Чарльз.

Вернувшись домой, они погасили свет в гостиной, Чарльз, как обычно, проверил, заперт ли черный ход, затем они поднялись к себе в спальню, разделись и переоделись, молча почистили зубы.

Вокруг них темнела, оседала ночь. Ему показалось, что прошло не меньше часа, прежде чем дыхание Чарльза изменилось, стало медленным и глубоким, и тогда он встал с кровати, пробрался в гардеробную, вытащил письмо из сумки и на цыпочках спустился на первый этаж.

Сначала он долго сидел на диване в темной гостиной, сжимая конверт обеими руками. То были последние минуты притворства, неведения, и он не хотел, чтобы они кончались. Но наконец он включил лампу, вытащил из конверта лист бумаги и прочел все, что там было написано.

Проснулся он оттого, что Чарльз звал его и гладил по щеке, и, увидев, каким прозрачным светом залита комната, понял, что снова идет снег. Рядом с ним на оттоманке сидел Чарльз, в халате и пижаме, которую они звали стариковской:

синий полосатый хлопок, на нагрудном кармане вышиты черным инициалы. Чарльз никогда не выходил из спальни непричесанным, но сегодня был весь взъерошенный, и сквозь поредевшие на макушке волосы проглядывала белая кожа.

— Он умер, — сказал Чарльз.

Ох, Чарльз, сказал он. Когда?

— С час тому назад. Медбрат позвонил. Я проснулся, а тебя нет рядом, — он начал было извиняться, но Чарльз прервал его, положив руку ему на плечо, — и я растерялся. Поначалу даже не понял, где я. Но потом все вспомнил: я у себя дома, вчера была вечеринка, и я ждал этого звонка — я знал, что все так и будет. Я только думал, что это будет завтра, не сегодня. Но нет — он даже до аэропорта не доехал.

Поэтому я не брал трубку. Ты не слышал звонков? Я просто лежал и слушал, как телефон звонит, звонит, звонит, шесть, десять, двадцать раз — я вчера выключил автоответчик. Телефон так громко звонил. Я раньше и не замечал, какой это назойливый, грубый звук. Наконец он умолк, а я уселся на краю кровати и прислушался.

Я поймал себя на том, что думаю о брате. Ах да, точно — ты же не знаешь. В общем, когда мне было пять, мама родила еще одного сына.

Моего брата, Моргана. Я потом узнал, что они с отцом несколько лет пытались завести второго ребенка. За десять недель до срока у нее начались схватки.

Тогда, в 1943-м, сильно недоношенного младенца было не спасти. Не было никаких реанимаций для новорожденных, инкубаторы были совсем примитивные — по сравнению с нынешними. Чудом было уже то, что он родился живым. Врач сказал родителям, что он и двух суток не проживет.

Мне, конечно, никто ничего не сказал. Меня поражает, сколько информации сегодня обрушивают на детей родители, информации, которую дети еще не способны усвоить. Когда я был маленьким, я ничего не знал, и заботившимся обо мне людям надлежало держать меня в неведении. Все сведения я добывал, подслушивая чужие перешептывания. Однако не помню, чтобы это меня сильно беспокоило, я никогда не считал жизнь родителей частью своей жизни. Мой мир был на четвертом этаже, с моими книжками и моими игрушками. Родители приходили сюда в гости, единственными взрослыми жителями четвертого этажа были моя нянька и мой гувернер.

Но даже я понял, что что-то случилось, — по-

нял, потому что взрослые шептались в коридорах, умолкая при моем появлении, потому что обожавшая меня нянька вдруг стала очень рассеянной, и когда горничная приносила мне обед, она оборачивалась к ней, вопросительно вскидывая брови и поджимая губы, когда та отрицательно качала головой в ответ. Внизу стояла тишина. Слуги — это все было задолго до Адамса — переговаривались вполголоса, и целых три дня меня не водили по вечерам вниз, чтобы показать родителям, а сразу укладывали спать.

На четвертый день я решился пробраться вниз и выяснить, что все-таки происходит. Поэтому, когда нянюшка заглянула ко мне, я притворился спящим, а потом лежал и ждал, пока последняя горничная не прошла мимо меня наверх, к себе в спальню. Затем я вылез из кровати, на цыпочках спустился к родителям. Спустившись, я заметил, что из комнаты рядом с их спальней пробивается слабый свет — свет свечей, и, едва заметив этот свет, я услышал и тихие странные звуки, каких никогда не слышал раньше. Я подобрался поближе к этой комнате. Я шел очень тихо, очень осторожно. Наконец я очутился возле двери, она была приоткрыта, и я заглянул в комнату.

Мама сидела на стуле. Рядом с ней на столе

горела свеча, а на руках у нее лежал мой брат. Я помню, что потом все думал, какая же она тогда была красивая. У нее были длинные рыжеватые волосы, которые она всегда собирала в пучок, но теперь они свисали вуалью, и на ней был лиловый шелковый халат, а под ним — белая ночная сорочка, ноги босые. Я никогда не видел мать такой — я вообще не видел родителей иными, чем они всегда показывались мне: полностью одетыми, деловитыми, собранными.

Левой рукой она прижимала к себе младенца. А в правой держала странный аппарат — прозрачный стеклянный колпак — и этим колпаком накрывала рот и нос ребенка, одновременно сдавливая прикрепленную к колпаку резиновую грушу. Этот-то звук я и услышал, шипенье резиновой груши, наполнявшейся воздухом, воздухом, который она подавала Моргану. Она не сбивалась с ритма и не торопилась: не слишком быстро, не слишком часто. Примерно через каждые десять нажатий она на миг останавливалась, и до меня доносилось еле слышное, тихое-тихое дыхание ребенка.

Не знаю, сколько я простоял там, глядя на нее. Она ни разу не подняла головы. У нее было такое выражение лица… не могу подобрать слов. Не

безнадежное, не печальное, не отчаявшееся. Просто — никакое. Но и не пустое. Сосредоточенное, наверное. Как будто бы в ее жизни больше ничего не было, ни прошлого, ни настоящего, ни мужа, ни сына, ни дома, словно она жила только ради того, чтобы закачивать воздух в легкие своего ребенка.

Конечно, у нее ничего не получилось. На следующий день Морган умер. Нянюшка наконец мне все рассказала: что у меня был брат, у него были слабые легкие и он умер, и что плакать не надо, потому что он теперь с Господом. Потом, когда мама умирала, я узнал, что они с отцом тогда поссорились, что отец не одобрял этих ее попыток, что он запрещал ей использовать этот аппарат. Не знаю, где она его раздобыла. Не знаю, простила ли она его — за то, что не верил ей, за то, что пытался ее разубедить. Отец, оказывается, даже не хотел забирать его домой из больницы, и когда мать с боем добилась своего — они им столько денег пожертвовали, никто не посмел ей отказать, — он и этим был недоволен.

Моя мать не была сентиментальной женщиной. Она больше никогда не заговаривала о Моргане и вскоре оправилась от его смерти. Десятилетиями она занималась благотворитель-

ностью, устраивала званые обеды, ездила верхом, рисовала, читала и коллекционировала редкие книги, помогала в приюте для матерей-одиночек, обустроила жизнь в этом доме для меня и отца.

Мне всегда казалось, что мы с ней почти не похожи, да и ей тоже. “Весь в отца”, — иногда говорила она, и в ее голосе мне всегда слышалось легкое сожаление. И она была права, я не из тех геев, которые в какой-то момент чувствуют особую связь с матерью. Мы были очень близки с отцом, разве что никогда не обсуждали мою личную жизнь. Я очень долго притворялся, что мы никогда не говорим о том, кто я такой, точнее — кто я такой помимо прочего, потому что у нас есть множество других тем для разговоров. Например, право. Или бизнес. Или биографии, которые мы оба любили читать. А когда я перестал притворяться, он уже умер.

Однако в последнее время я все чаще и чаще думаю о той ночи. О том, что, быть может, я похож на мать гораздо больше, чем мне казалось. О том, кто будет жать на эту грушу, когда подойдет мое время. Не ради того, чтобы оживить меня или спасти. А ради того, чтобы попытаться.

Я сидел, прокручивал все это в голове, и тут телефон зазвонил снова. На этот раз я встал и снял

трубку. Это был новый медбрат Питера, тот, который в дневную смену, очень приятный парень. Я его видел пару раз. Он сказал мне, что Питер умер, что ушел он легко, и выразил соболезнования. Я повесил трубку и пошел искать тебя.

Он замолчал, и Дэвид понял, что это конец истории. Все это время Чарльз глядел на белый экран окна, но теперь он снова повернулся к Дэвиду, и Дэвид, прижавшись к спинке дивана, поманил Чарльза к себе, и тот улегся рядом.

Они долго молчали, Дэвид думал о многом, но в основном о том, как ему сейчас хорошо, как хорошо лежать рядом с Чарльзом в теплой комнате, когда на улице идет снег. Он хотел сказать Чарльзу, что будет ради него жать на грушу, но не смог. Ему так хотелось что-то дать Чарльзу, стать ему хотя бы отчасти той же опорой, какой Чарльз был для него, но он не мог. Потом он будет снова и снова сожалеть о том, что ничего тогда не сказал — хоть что-нибудь, и ничего, что коряво. Страх тех лет — страх сказать глупость, не найти нужных слов — не давал ему проявлять отзывчивость, и лишь много сожалений спустя он понял, что поддержка может быть любой, главное — ее предложить.

— Я спустился сюда, — снова заговорил

Чарльз. — Спустился сюда и увидел тебя. И… — он вздохнул, — и ты спал, прижимая к груди письмо. И… я его взял и прочел. Сам не знаю почему. Я так тебе сочувствую, Дэвид. — Он помолчал. — Сочувствую из-за всего, что там написано. Почему ты мне никогда не рассказывал?

Не знаю, наконец ответил он. Но он не злился на Чарльза за прочтенное письмо. Ему стало легче — легче оттого, что Чарльз теперь все знает, что его решительность сделает трудное дело чуть более простым.

— Так, значит… твой отец. Он еще жив.

Едва жив, сказал он. Пока.

— Да. И твоя бабушка хочет, чтобы ты к нему приехал.

Да.

— И это место, где он жил…

Это не то, что ты думаешь, перебил он Чарльза. То есть нет, все так. Но не так. Как же объяснить это Чарльзу? Что сказать, чтобы он понял? Что сказать, чтобы представить Липо-вао-нахеле в другом, лучшем, более нормальном свете? Не причудой, не фантазией, не утопией, а чем-то, во что его отец и даже он сам когда-то верили со всей надеждой, на какую были способны, местом, где история теряла всякий смысл, местом,

которое могло бы стать им домом, местом, куда его отец отправился не только со страхом, но и с упованием. Он не мог ничего объяснить. Бабка никогда этого не понимала, а уж Чарльз не поймет тем более.

Не могу объяснить, наконец сказал он. Ты не поймешь.

— А ты попробуй, — сказал Чарльз.

Ну, наверное, сказал он, но уже знал, что Чарльз поймет. Чарльз умел помогать людям, что, если он сумеет помочь и Дэвиду? Зачем он тогда любит Чарльза и зачем Чарльз любит его, если он хотя бы не попытается объяснить?

Но сначала надо было поесть, он проголодался. Он сполз с дивана, протянул руку Чарльзу и, пока они шли на кухню, все думал об отце. Не об отце, жившем теперь в приюте, и не о том, каким он был в свои последние дни в Липо-вао-нахеле, с пустыми глазами и перемазанным грязью лицом, а об отце, с которым они жили вместе дома, когда ему было четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять лет, когда они были отцом и сыном и для него было неоспоримым фактом, что отец всегда будет о нем заботиться или хотя бы всегда постарается о нем заботиться, потому что отец ведь ему обещал, и потому что он знал, что отец его

любит, и потому что так был устроен мир. Потери, потери — он столько всего потерял. Как ему снова стать целым? Как наверстать упущенные годы? Как простить? Как получить прощение?

— Посмотрим-ка, — сказал Чарльз, когда они пытались понять, что есть на кухне.

На кухонном острове лежал завернутый в коричневую бумагу хлеб на закваске, который им оставил Адамс, и Чарльз, отрезав два ломтя, поднял свой:

— За твоего отца.

За Питера, ответил он.

— Ранний новогодний тост, — объявил Чарльз. — До двадцать первого века еще шесть лет.

Они торжественно чокнулись ломтями хлеба и стали есть. За их спинами от ветра дребезжали окна, но они ничего не чувствовали — дом был построен на совесть.

— Давай-ка поглядим, что нам оставил Адамс, — сказал Чарльз, когда они доели хлеб, и вытащил из холодильника банку майонеза, контейнер со стейком, банку горчицы, кусок сыра.

— Ярлсберг, — сказал он и еле слышно добавил: — Питер его любил.

Он обнял Чарльза, и Чарльз прижался к нему,

и какое-то время они просто молчали. Тогда он вдруг представил их себе много лет спустя, в каком-то неопознанном далеком будущем. Внешний мир изменился: улицы заросли сорняками, брусчатка во дворе щетинилась пампасной травой, небо было склизкого зеленого цвета, за окном летало какое-то существо с резинистыми перепончатыми крыльями. Машина, висевшая в нескольких дюймах от земли и с шипением всасывавшая воздух, пропыхтела в сторону Пятой авеню. От гаража остались наполовину сгнившие развалины с мягкими, вязкими кирпичными стенами, а в самой его середине, продырявив ветхую крышу, росло манговое дерево с пузырящимися от плодов ветвями — точно такое же дерево росло во дворе дома, где жили они с отцом. Если то был и не конец света, он был уже не за горами — плоды отравленные, в машине нет окон, воздух дрожит от маслянистого дыма, существо облюбовало крышу противоположного дома, высматривая черными глазами, на кого бы наброситься, чтобы сожрать.

Но они с Чарльзом каким-то образом остались прежними: здоровыми, живыми, на удивление неизменившимися. Они любили друг друга, и они готовили себе еду, и еды у них было много,

и пока они оставались здесь, в доме, вместе, им ничего не грозило. Справа от них, в дальнем конце кухни, была дверь, и если открыть эту дверь, то за ней окажется точная копия их дома, только в том доме будет жить Питер, живой, саркастичный, строгий, а в доме справа от него будут Джон, Тимоти и Перси, а в доме справа от них — Иден с Тедди и так далее и так далее, непрерывная череда домов, воскресших и выздоровевших любимых людей, нескончаемый поток обедов и ужинов, разговоров, споров, прощений.

Они вместе пройдут по этим домам, распахивая двери, приветствуя друзей и снова закрывая двери за собой, пока наконец каким-то внутренним чутьем не поймут, что перед ними — последняя дверь. Здесь они на миг остановятся, еще сильнее сожмут руки и, повернув ручку, войдут в точно такую же, как у них, кухню, с такими же темно-зелеными стенами, с такой же окаймленной золотом посудой в буфетах, с такими же гравюрами на стенах, с такими же мягкими посудными полотенцами, висящими на таких же резных деревянных крючках, но где растет, задевая листьями потолок, манговое дерево.

И там их будет терпеливо дожидаться его отец, и, увидев Дэвида, он вскочит со стула, сияя, плача

от радости. “Мой Кавика, — скажет он, — ты за мной пришел! Наконец-то ты за мной пришел!” И он, не раздумывая, кинется к нему, а Чарльз будет, улыбаясь, глядеть на это заключительное воссоединение, на отца с сыном, которые наконец-то обрели друг друга.

Глава 2

Мой сын, мой Кавика, что-то ты делаешь сейчас? Я знаю, где ты, потому что Мама мне сказала: в Нью-Йорке. Но где в Нью-Йорке? И что ты там делаешь? Она говорила, что ты работаешь в юридической фирме, хотя и не юристом — но не думай, что от этого я меньше тобой горжусь. Я однажды был в Нью-Йорке, ты об этом знаешь? Да-да — и у твоего папы есть кое-какие тайны.

Я часто думаю о тебе. Думаю, когда бодрствую, но когда сплю — тоже. Все мои сны так или иначе о тебе. Иногда мне снится то, что происходило раньше нашей жизни в Липо-вао-нахеле, когда мы выходили из дома твоей бабушки и отправлялись на полночные прогулки. Помнишь? Я тебя будил, и мы тихонько выходили из дома, шли по О'аху-авеню до Ист-Маноа-роуд, а потом по Мохала-уэй, потому что там в одном из дворов перед домами росла текома, которая тебе очень нравилась, помнишь? У нее были бледно-желтые, как слоновая кость, лепестки; они опускались вниз и были похожи на раструб горна. По крайней мере, так все говорили. Только ты не соглашался. "Перевернутый тюльпан", — говорил ты, и я с

тех пор не мог уже увидеть в этом цветке ничего другого. Потом мы шли по Липиома-уэй и к Беквит-стрит, а потом по Маноа-роуд обратно к дому. Смешно, что я всего боялся, а вот темнота меня никогда не пугала. В темноте все беспомощны; я понимал, что я просто такой же, как все, не хуже, и от этого смелел.

Мне нравились эти наши прогулки. Кажется, тебе тоже. Нам пришлось их прекратить, когда про них узнала учительница: ты засыпал на уроках, и учительница спросила, в чем дело, и ты сказал, что это из-за наших ночных прогулок, и учительница позвонила мне, чтобы договориться о встрече, и мне влетело. “Он же растет, мистер Бингем, — сказала она, — ему надо спать как следует. Нельзя его будить среди ночи и тащить на прогулку”. Я чувствовал себя идиотом, но могло быть хуже. Она могла сказать твоей бабушке, но не сказала. “Я просто хочу побольше быть с ним”, — сказал я учительнице, и она посмотрела на меня так, как люди часто смотрят, и я понял, что сказал что-то не то, что-то странное, но она в конце концов кивнула. “Вы любите своего сына, мистер Бингем, — сказала она, — и это прекрасно. Но если вы правда любите его, дайте ему поспать”. Я почувствовал себя

глупо: конечно, она права, ты же еще ребенок. Я не имел права тебя будить и вытаскивать из кровати. Когда я пришел к тебе в первый раз, ты не понимал, что происходит, но потом привык, тер глаза, зевал, но никогда не жаловался — надевал сандалии, брал меня за руку и шел за мной по тропинке. Я ни разу не предупреждал, чтобы ты ничего не говорил бабушке, — ты и так все прекрасно знал. Я потом рассказал Эдварду, что учительница меня отругала, и почему. “Ну ты и придурок, — сказал он, но так, что я понял: он не злится, просто расстраивается. — Они же могли связаться со службой опеки и отнять из-за этого Кавику”. — “Правда?” — спросил я. Ничего хуже я не мог представить. “Еще как, — сказал он. — Не волнуйся. Когда мы поедем в Липо-вао-нахеле, ты сможешь воспитывать Кавику как захочешь, и никто тебе слова не скажет”.

Что еще ты помнишь? Мне только и остается, что вспоминать. Я немножко вижу, но только различаю свет и тьму. Помнишь, как мы ходили на китайское кладбище и сидели под дождевым деревом на вершине холма? Мы лежали на траве, подставив лицо солнцу. “Закрой глаза”, — говорил я тебе, но, даже закрыв глаза, мы видели оранжевое пространство и маленькие черные

точки, которые двигались в нем, как мухи. Когда я рассказал тебе, как устроено зрение, ты спросил, значит ли это, что ты видишь изнанку глаза, и я ответил: да, наверное. Короче, вот так оно и есть — я вижу цвет и точки и больше почти ничего. Но когда меня выводят на улицу, мне первым делом надевают темные очки. Это потому, что, как говорит один из здешних докторов, я вполне могу видеть — с моими глазами вообще-то все в порядке, поэтому их надо защитить. Еще недавно твоя бабушка приносила мне твои фотографии и показывала мне — подносила их буквально к самому моему носу. “Посмотри на него, Вика, — говорила она. — Посмотри. Хватит уже дурить. Ты что, не хочешь посмотреть на фотографии и увидеть своего сына?” А я, конечно, хотел и старался, очень старался. Но мне ничего не удавалось увидеть, кроме контура фотографии и, может быть, темного пятна твоих волос. А может быть, она мне и не показывала твоих фотографий. Может быть, там была кошка или гриб. Я бы не отличил. Дело в том, что мне не удается увидеть ничего нового; все, что я вижу, я уже когда-то видел.

Но хотя я не вижу, слышать-то я слышу. Обычно никакого смысла в том, что я слышу, нет — не то чтобы я ничего не понимал, нет, пожалуй, просто

я так часто сплю, что мне трудно отделить то, что я действительно слышу, от того, что мне снится. Иногда, когда я пытаюсь понять, что там настоящее, я снова засыпаю, и когда просыпаюсь, все запутывается еще сильнее — если я помню, в чем пытался разобраться, перед тем как заснул, я уже не понимаю, на самом ли деле я слышал то, что мне послышалось, или просто бредил. Например, что ты в Нью-Йорке: я проснулся в уверенности — ты там. Но так ли это? Это мне кто-то сказал? Или я сам выдумал? Я думал так напряженно, что сам услышал, как мычу от растерянности, и тут кто-то зашел в мою комнату, и все погасло. Когда я снова проснулся, я помнил только, что был расстроен, а почему — вспомнил гораздо позже. Я, конечно, не мог спросить у тебя, в Нью-Йорке ты или нет, и пришлось ждать, пока кто-нибудь — твоя бабушка — не зайдет навестить меня, и надеяться на какие-нибудь сведения про тебя. Через некоторое время она действительно пришла и сказала, что от тебя пришло письмо, и что в Нью-Йорке жарко, жарко и дождливо, и что ты желаешь мне здоровья. Ты, наверное, спросишь, откуда я знаю, что это действительно произошло, а не приснилось мне, и я отвечу: потому что в тот день я чувствовал запах цветов, которые носит

твоя бабушка. Помнишь, когда лозы пакаланы расцветали, она посылала тебя, чтобы ты сорвал несколько соцветий у стены дома, а потом вставляла их в свою маленькую серебряную брошку в форме вазы, куда можно было прямо вставить несколько соцветий? Вот почему я знаю, что это случилось на самом деле и что дело было летом, потому что пакалана цветет только летом. И поэтому, когда я думаю о тебе и о Нью-Йорке, мне всегда кажется, что пахнет пакаланой.

Я не знаю, как давно тебя здесь нет. Наверное, очень давно. Несколько лет. Может быть, целых десять. Но потом я осознаю, что если это так — я здесь, в этом заведении, тоже долгие годы, может быть, десять лет. И тогда я слышу собственный стон, который становится все громче, начинаю размахивать руками и ногами, и мочусь на себя, и тогда слышу, как ко мне бегут люди, и иногда — как они зовут меня: “Вика. Вика, успокойся. Надо успокоиться, Вика”. Вика. Они всегда зовут меня Викой. Никто не называет меня “мистер Бингем”, если только твоя бабушка не приходит. И хорошо. Мне всегда было не по себе, когда меня называли “мистер Бингем”.

Но я не могу успокоиться, потому что теперь думаю: я никогда не выберусь отсюда, моя жизнь

— целая жизнь — прошла в тех местах, откуда мне не удавалось сбежать. Дом твоей бабушки. Липо-вао-нахеле. Это заведение. Наш остров. Я ничего так и не мог покинуть. Но ты смог. Ты выбрался.

И я продолжаю мычать, отмахиваться от их ладоней, перекрикивать их успокаивающие слова, пока лекарство не потечет у меня по жилам, согревая тело, успокаивая сердце, возвращая меня в забытье.

Мне хочется говорить с тобой, сынок, мой Кавика, хотя я понимаю, что ты меня не услышишь, потому что я никогда не смогу ничего такого тебе сказать на самом деле, никогда уже не смогу. Но я хочу рассказать тебе все, что произошло, и попытаться объяснить, почему я сделал то, что сделал.

Ты никогда не приходил ко мне сюда. Я это знаю и в то же время не знаю. Иногда мне удается убедить себя, что ты все-таки приходил, что я просто не помню. Но я знаю, что это не так. Я больше не знаю, как звучит твой голос; не знаю твоего запаха. Твой образ, который я помню: тебе пятнадцать, ты уезжаешь после каких-то выходных, которые мы провели вместе, и я тогда не знал — может быть, и ты не знал, может быть,

ты все-таки еще немножко любил меня тогда, несмотря ни на что, — не знал, что я тебя никогда больше не увижу. От этого мне становится очень грустно. Не только из-за меня — из-за тебя тоже. Потому что у тебя есть отец, который как бы и есть и нет, а ты все-таки еще молод, а молодому человеку нужен отец.

Не могу тебе точно сказать, где я, потому что не знаю. Иногда мне кажется, что я, наверное, на Тантале, высоко в лесу, потому что здесь прохладно, дождливо и очень тихо; но может быть, на самом деле я в Ну'уану или даже в Маноа. Знаю, что я не дома; здесь пахнет не так, как у нас в доме. Я долго думал, что нахожусь в больнице, но больницей здесь тоже не пахнет. А вот врачи, медсестры и санитары здесь есть, и все они обо мне заботятся.

Я долго вообще не вставал с кровати, а потом они начали меня заставлять. "Ну давай, Вика, — говорил мужской голос, — давай, братец". Я чувствовал ладонь, прижатую к моей спине, ладонь помогала мне сесть, и потом четыре руки — две из них обхватывали талию — приподнимали меня и снова опускали. Потом меня толкали вперед, и я чувствовал, что мы покинули здание. Я чувствовал на шее солнечное тепло. Одна из

рук приподнимала мне подбородок; я закрывал глаза. “Хорошо же, Вика, правда?” — говорил голос; но потом рука отпускала подбородок, и моя голова падала на грудь. Теперь, когда они возят меня вокруг здания или по саду, они чем-то обвязывают мне лоб, чтобы голова держалась. Иногда приходит женщина; она двигает мне ноги и руки, говорит со мной, сгибает и разгибает каждую конечность, а потом трет мне все тело, переворачивает на живот, массирует спину. Когда-то я бы из-за такого смутился — лежу без одежды, незнакомая женщина прикасается ко мне, — но сейчас не возражаю. Ее зовут Розмари; пока она меня массирует, она рассказывает, как прошел ее день, про свою семью: про мужа-бухгалтера, про сына, про дочь, которая еще учится в начальной школе. Иногда она говорит такое, что заставляет меня задуматься, сколько же времени прошло, — но потом, позже, я теряю уверенность, потому что опять-таки не знаю точно, сказала она это или мне почудилось. Пала Берлинская стена или нет? Есть теперь колонии на Марсе или нет? Добился ли Эдвард успеха, восстановлена ли монархия, объявлен ли я королем Гавайских островов, а моя мать королевой-регентшей или нет? Однажды она сказала что-то про тебя, про

моего сына, и я разволновался, и ей пришлось вызывать подмогу, и с тех пор она больше ни разу о тебе ничего не говорила.

Сегодня я думал о тебе, пока меня кормили. Я ем только мягкое, пюреобразное, потому что иногда начинаю слишком напряженно думать, как все проглотить, паникую, давлюсь, но если не надо жевать — я думаю об этом меньше. На обед давали конджи с яйцом и луком, это одно из тех блюд, которые по моей просьбе готовила Джейн, когда ты болел, одно из тех блюд, которые она мне готовила в детстве. Отец тоже очень любил такое, только с вареной курицей.

Джейн, наверное, умерла. И Мэтью тоже. Мне этого никто не говорил, но я знаю, потому что раньше они меня навещали, а теперь нет. Не спрашивай, когда и от чего, я не смогу сказать. Но им было много лет — больше, чем твоей бабушке. Я как-то раз слышал, как она говорила тебе, будто ее отец подарил ей Джейн и Мэтью на свадьбу — подарил двух своих слуг, которые теперь будут помогать ей в ее собственном доме. Но это неправда. Джейн и Мэтью были в доме задолго до того, как твоя бабушка там появилась. К тому же тогда у отца не оставалось денег даже на одного слугу, не говоря о двух, не говоря о слугах, кото-

рых он мог бы раздавать. А если бы и были, он вряд ли передал бы их ей — по закону она даже не была ему кровной родственницей.

Я вечно не знал, что делать, когда бабушка говорила тебе неправду. Я не хотел ей противоречить. Смысла в этом не было. И я хотел, чтобы ты ей доверял, чтобы ты любил ее, — я хотел, чтобы твоя жизнь складывалась легче моей, а это означало, что нужно строить с ней хорошие отношения. Я не жалел на это сил и, кажется, добился успеха, то есть все-таки в чем-то помог тебе; я добился, чтобы бабушка тебя любила. Но теперь ты большой, ты вырос, с тобой все в порядке, ты живешь в Нью-Йорке, и я думаю, теперь тебе можно все рассказать.

Вот что точно можно сказать про твою бабушку: ничего в своей жизни она не принимала как данность. Она боролась за все, что у нее было, она заслужила все, что у нее было, и жизнь ее складывалась из усилий удержать это. Она растила меня так, чтобы я ничего подобного вообще не чувствовал, и все-таки, кажется мне, иногда злилась, что так получается, хотя сама же такого и добивалась. Она никогда не злилась из-за этого на моего отца, но на меня злилась, потому что я-то отчасти был ее детищем и должен был пони-

мать, как неустойчиво мое положение, и тогда ее тревога оказалась бы не такой одинокой. Часто получается так, что мы злимся на собственных детей, когда они достигают того, чего мы им желали, — но я не пытаюсь сказать, что злюсь на тебя, хотя только и мечтал о том, чтобы ты вырос и покинул меня.

Про своего отца я мало что могу сказать такого, чего бы ты и так не знал. Мне было уже восемь, почти девять, когда он умер, однако у меня мало воспоминаний о нем — я вижу расплывчатую, бодрую фигуру, мускулистую, радостную; он подбрасывает меня в воздух, когда приходит с работы, переворачивает вниз головой, а я пищу, безуспешно учит меня попадать битой по мячу. Я не был похож на него, но его это, кажется, не расстраивало — а мать расстраивало, и я знал об этом почти с того времени, когда научился как-то различать ее мнение; мне нравилось читать, и отец звал меня “профессором” — без всякого сарказма, хотя читать мне нравилось всего лишь комиксы. “Это Вика, наш читатель” — так он представлял меня знакомым, и я смущался, потому что понимал: ничего серьезного я не читаю и вообще-то у меня нет никакого права называть себя читателем. Но для него это не имело значе-

ния: если бы я ездил верхом, я был бы Наездник, если бы играл в теннис — был бы Атлет, и от моих успехов в этих занятиях ничего бы не зависело.

Когда отец присоединился к семейному бизнесу, большая часть денег была уже истрачена, и его, судя по всему, финансы не очень-то занимали. Мы проводили выходные в клубе, где вместе обедали; люди подходили к нашему столу, чтобы пожать руку отцу и улыбнуться матери; передо мной лежал кусок кокосового слоеного пирога, приторно-сладкого и лохматого — отец всегда заказывал его мне на десерт, несмотря на возражения матери, — а потом он отправлялся играть в гольф, а мать со стопкой журналов садилась под зонтик у бассейна, чтобы за мной следить. Позже, когда мы сблизились с Эдвардом, я молчал, если он рассказывал про походы на пляж по выходным со своей матерью; они набивали лотки едой и проводили там целый день — его мать сидела на полотенце с подругами, Эдвард вбегал в море и выбегал обратно, туда и обратно, пока небо не начинало темнеть, и тогда они собирали вещи. Клуб был расположен возле океана — с поля для гольфа сквозь деревья можно было разглядеть узкую полосу сверкающей голубизны, — но нам бы в голову не пришло туда пойти: слишком

грязно, слишком дико, слишком бедно. Эдварду я этого не сказал, а сказал, что мы тоже любили ходить на пляж, хотя когда мы с Эдвардом стали бывать там вместе, я в глубине души все время мечтал о том, чтобы поскорее уйти, когда можно будет принять душ и очиститься.

Только после смерти отца я понял, что мы богаты, — а тогда мы уже были совсем не так богаты, как прежде. Богатство отца было не слишком очевидным — у нас был большой дом, но не больше, чем у всех, с широким крыльцом, с большой, заставленной верандой, с маленькой кухней. У меня было множество игрушек, но мой первый велосипед был подержанным и достался мне от мальчика с соседней улицы. У нас были Джейн и Мэтью, но ели мы просто — рис и какое-нибудь мясо на ужин; рис, рыба и яйца на завтрак; в школу я носил металлическую коробочку для обеда, — и только когда родители принимали гостей, когда горели свечи, а люстра была вычищена, дом выглядел роскошно, и я мог распознать в его простоте нечто величественное: темный, сияющий обеденный стол; гладкое светлое дерево стен и потолка; вазы с цветами, которые меняли через день. В конце сороковых наши соседи покрывали пол линолеумом и покупали

пластмассовую посуду, но у нас, как говорила мать, пока не публичный дом — так что полы были деревянные, приборы серебряные, тарелки и чашки фарфоровые; не дорогой фарфор, но все-таки и не пластмасса. В послевоенные годы острова стали богаче, появились новшества с континента, но и тут наш дом не участвовал в том, что мать считала модными затеями. Зачем покупать дорогие флоридские апельсины, если у нас во дворе растут апельсины еще лучше? Зачем покупать калифорнийский изюм, когда личи на наших деревьях слаще? “Они сходят с ума по всему континентальному”, — говорила мать о соседях, осуждая их за легковерие, за то, что они стыдятся себя и места, где живут. Эдвард так никогда и не понял эту ее черту — ее яростный национализм, ее любовь к собственному дому; он видел только, как непоследовательно выражается эта гордость, как она презирает тех, кто хочет слушать модную музыку и есть модную еду с континента, но сама при этом носит жемчуг, купленный в Нью-Йорке, и длинные хлопковые юбки, заказанные у собственного портного в Сан-Франциско, куда она ездила с отцом каждый год и не перестала ездить после его смерти.

Дважды в год мы втроем отправлялись в Ла’и,

на северное побережье. Там стояла маленькая церковь из кораллового известняка, которую с юности содержал мой прадед, и на ее пороге отец раздавал конверты с деньгами, двадцать долларов каждому взрослому — в честь дня рождения, а потом — дня смерти прадеда, чтобы порадовать жителей городка, который любил его дед. Сворачивая с шоссе на тропинку и подъезжая к церкви, мы видели, что горожане уже толпятся у двери, и когда отец выходил из машины и шел к зданию, они ему кланялись. “Ваше величество, — шептали они, большие темнокожие люди с удивительно тихими голосами, — добро пожаловать, ваше величество”. Отец им кивал, протягивал руки, которые они пожимали и трогали, а внутри раздавал деньги и садился послушать их лучшего певца или певицу, а потом начинались общие песнопения, а потом мы садились в машину и возвращались в город.

От этих посещений мне всегда было не по себе. Даже мальчишкой мне казалось, что я самозванец; что я-то сделал, чтобы меня звали “принц”, чтобы старуха, такая старая, что говорит только по-гавайски, склонялась передо мной, напряженно сжимая рукоятку своей трости и стараясь не упасть? На обратном пути отец был в отличном

настроении, насвистывал только что услышанную песню, а мать сидела рядом выпрямившись и царственно молчала. Когда отец умер, я ездил туда с ней, и хотя горожане вели себя почтительно, они обращались только ко мне, а не к ней, а она всегда отвечала им вежливо, но ей не хватало отцовского добросердечия или его способности показать людям намного беднее, что они ему ровня, так что атмосфера в поездках оказывалась натянутой. К моменту моего совершеннолетия, когда я уже мог бы ездить туда без сопровождения, вся процедура стала казаться унизительным анахронизмом, и с тех пор мать просто посылала ежегодное пожертвование в местный клуб, чтобы там распределили деньги, как сочтут нужным. Да и вообще я не мог тягаться с отцом. Я ей так и сказал — что не могу его заменить. “Да нет, Вика, — устало сказала она. — Ты его не заменяешь. Ты ему наследуешь”. Но при этом она мне не возразила. Мы оба знали, что я не ровня отцу.

Все, конечно, изменилось, когда он умер. Для матери перемены оказались более значительными и грозными. Когда его долги были погашены — он был игрок, любил автомобили, — осталось меньше денег, чем она рассчитывала. С ним она потеряла еще и чувство уверенности в своем ста-

тусе — он когда-то узаконил ее представление о самой себе, а без него ей приходилось постоянно напоминать всем, что она аристократка.

Но перемена заключалась еще и в том, что мы с матерью теперь остались вдвоем, и только после ухода отца мы оба поняли, что лишь его присутствие определяло, кто мы вообще такие: она — жена Кавики Бингема, я — сын Кавики Бингема. Даже теперь, когда его больше не было, мы по-прежнему осознавали себя в первую очередь как его родственники. Но без него наша связь друг с другом становилась более эфемерной. Она теперь была вдовой Кавики Бингема; я был наследником Кавики Бингема. Но самого Кавики Бингема больше не было, и без него мы уже не понимали, кто мы друг другу.

После смерти отца мать все больше участвовала в деятельности общества “Кайкамахинэ ку Гавай’и”. Члены этой группы называли себя Дочерьми, и вступить туда мог любой доказавший свое знатное происхождение.

Материнские притязания на знатность были делом запутанным. Ее приемный отец, дальний родственник моего отца, действительно был знатен; как и мой отец, он мог проследить свою родословную до Великого короля и еще дальше.

Но происхождение матери было более туманным. Когда я рос, мне приходилось слышать разные истории про ее корни. Чаще всего говорили, что она на самом деле незаконнорожденная дочь своего приемного отца: он завел недолгую интрижку с ее матерью, официанткой-хоуле из коктейль-бара, которая вскоре после рождения дочери вернулась в Америку. Ходили и другие версии: например, что она была не только простолюдинка, но и вообще не имела отношения к Гавай'ям, что ее мать была секретаршей ее приемного отца, а отец — слугой ее приемного отца, известного тем, что предпочитал нанимать хоуле, стремясь показать, что положение и богатство позволяют ему иметь белых работников. Когда она упоминала приемного отца, а случалось это нечасто, она говорила лишь, что тот всегда был к ней добр, хотя от кого-то — даже не знаю, от кого — я, видимо, усвоил, что он, может, и был к ней добр, но не от большой любви; он сурово относился к собственным детям, к дочери и сыну, потому что и от них, и для них ожидал большего. Они могли его расстроить, но могли и порадовать. Они в каком-то смысле были его воплощением — а моя мать нет.

Брак с моим отцом положил конец боль-

шинству слухов — его-то происхождение было очевидным и неоспоримым, — но после его смерти, по-моему, ей опять стало казаться, что на нее будут нападать и ей придется защищаться. Вот почему она так много возилась с этими Дочерьми — устраивала их ежегодные благотворительные вечера, возглавляла комитеты, управляла сбором денег, поэтому пыталась всеми способами, доступными ее воображению и эпохе, быть идеальной гавайской женщиной.

Но в этом и кроется проблема. Ты пытаешься быть идеальным, но понятие об идеальности рано или поздно меняется, и ты понимаешь, что все это время стремился не к абсолютной истине, а к набору ожиданий, которые зависят от обстоятельств. Стоит оказаться за рамками этих обстоятельств, как ты оказываешься и за рамками ожиданий — и снова становишься никем и ничем.

Когда Эдвард познакомился с моей матерью, он был внимателен и вежлив. Только позже, когда мы снова сблизились уже взрослыми, он стал относиться к ней с некоторым подозрением. Она не говорит по-гавайски, отмечал он (я тоже не говорил, если исключить несколько предложений и слов, которые мы все знали, и десятка

песен и гимнов; я говорил только по-английски и чуть-чуть по-французски). Она не поддерживает нашу борьбу. Она не стремится к возвращению Гавайского королевства. Но он никогда не обращал внимания, в отличие от многих других, на ее светлую кожу — он сам был еще светлее, и кто не вырос на островах, не сумел бы за его волосами и глазами разглядеть гавайскость, секрет, скрывающийся сразу под кожей. К тому времени он стал завидовать моему виду, моей коже, волосам и глазам. Иногда я ловил его на том, что он сидел, уставившись на меня. “Тебе надо бы отрастить волосы, — сказал он мне как-то раз. — Будет больше похоже на то, как у нас должно быть”. Его даже тогда беспокоило, что в ту пору, когда все отпускали длинные волосы, я стригся очень коротко, как отец, потому что шевелюра у меня была густая и колючая, и стоило дать волосам волю, они начинали куститься вокруг головы.

— Я не хочу носить афро, — сказал я, и он распрямился из своей скрюченной позы и склонился вперед.

— Что плохого в афро? — спросил он, глядя на меня немигающим взглядом, как делал иногда; его глаза темнели, из голубых становились синими, и я начинал заикаться, потому что нерв-

ничал.

— Ничего, — сказал я. — В афро ничего плохого.

Он откинулся назад, не спуская с меня взгляда, и мне пришлось отвести глаза.

— Настоящий гаваец отращивает волосы, — сказал он. У него самого волосы вились, но были мягкими, как у ребенка, так что он собирал их в хвостик и захватывал резинкой. — Гордо распускает.

После этого он стал звать меня Бухгалтером, потому что, по его словам, я выглядел так, как будто мне приходится работать в каком-нибудь банке и считать чужие деньги. “Как дела, Бухгалтер? — говорил он, когда приезжал, чтобы меня куда-нибудь забрать. — Все посчитал?” Я понимал, что он дразнится, но иногда в этом чудилось что-то нежное, что-то понятное лишь нам двоим.

Я терялся, когда он критиковал мою мать. К тому времени давно стало ясно, что я вообще не способен ее ничем порадовать, но я все равно стремился ее защитить, хотя она никогда не просила об этом, да и какую защиту мог я ей обеспечить? Теперь я подозреваю, что отчасти мне было не по себе от его убежденности, будто есть только один способ быть гавайцем. Но тогда

мне не хватало изощренности думать в этих терминах — мысль о том, что моя раса принуждает меня к тому или иному способу существования, была так дика для меня, как если бы мне сказали, что существует иной, более правильный способ дышать или глотать. Теперь я понимаю, что многие мои ровесники в ту пору именно это и обсуждали — как быть черным, или азиатом, или американцем, или женщиной. Но я таких разговоров не заводил, а когда это наконец стало происходить — рядом всегда был Эдвард.

Вместо этого я просто говорил: “Она гавайка”, — хотя, произнося эти слова, чувствовал, что они звучат как вопрос: “Она гавайка?”

Может быть, поэтому Эдвард так откликался на это.

— Нет, — говорил он.

Но давай вернемся к тому времени, когда мы с ним встретились. Мне было десять, я недавно потерял отца. Эдвард был новеньким. В школу в том году пришло много новых учеников — в подготовительные классы, в пятый, седьмой и девятый. Позже Эдвард чертыхался, что мы ходили в эту школу, когда могли ходить в такую, которая принимала бы только учеников гавайского происхождения. Наша школа входила в число

королевских, но основана была миссионерами. “Естественно, нам ничего не говорили о том, кто мы такие и откуда взялись, — замечал Эдвард. — Естественно. Вся забота этой дурацкой школы заключалась в том, чтобы колонизировать и подчинить нас”. Но все-таки он туда тоже ходил. Это была одна из тех многочисленных ситуаций в моей с Эдвардом жизни, когда он начинал что-то ненавидеть или чего-то стыдиться, а мой отказ или неспособность испытывать сопоставимый стыд — хотя я много чего стыдился, просто другого — в конце концов приводили его в бешенство.

Я ходил в эту школу, потому что туда с давних пор ходили члены моей семьи. На той части школьной территории, которая относилась к старшим классам, даже стояло здание под названием Бингем-холл, одна из первых построек, возведенных миссионерами, — ее назвали в честь одного из священников, который впоследствии венчал гавайских принцесс. Каждый Кавика Бингем, учившийся в этой школе — мой отец, и дед, и прадед, и прапрадед, — позировал для фотографии или рисунка, стоя перед зданием, прямо под его названием, вытесанным в камне.

В семье Эдварда никто никогда в этой школе не учился, и он сам смог туда попасть — сказал

он мне — потому, что ему удалось получить стипендию. О таких вещах он сообщал буднично, не смущаясь и не жалуясь, что мне всегда казалось удивительным.

Мы подружились не сразу. Других друзей ни у меня, ни у него не было. Когда я был младше, мамы некоторых мальчиков хотели, чтобы те дружили со мной, — из-за моего отца, из-за матери. Я даже сейчас внутренне сжимаюсь, вспоминая, как кто-нибудь из них подходит ко мне на детской площадке, представляется, спрашивает, не хочу ли я поиграть. Я всегда отвечал, что хочу, и за этим следовала невыразительная партия в штандер. Через несколько дней меня приглашали к нему в гости; если они жили не по соседству, Мэтью вез меня на машине. Там я знакомился с матерью мальчика, она улыбалась нам и давала что-нибудь на закуску: сосиски с рисом, или бутерброды с джемом из маракуйи, или печеный плод хлебного дерева с маслом. Мы снова молча играли в штандер, после чего Мэтью вез меня домой. В зависимости от упорства матери мальчика за этим могли последовать еще два-три приглашения, но в конце концов они прекращались, и на перемене мальчик сразу бежал к своим настоящим друзьям, даже не взглянув в мою сто-

рону. Они никогда не обижали меня, не унижали — но лишь потому, что меня и унижать-то не имело никакого смысла. В нашем районе, как я тебе уже сказал, попадались мальчики, которые меня унижали, но к этому я тоже привык — в конце концов, мне так оказывали внимание.

У меня не было друзей, потому что я был скучный, но у Эдварда не было друзей, потому что он был странный. Он не выглядел странно, нет — одежда у него была не такая новая, как у нас, но это была такая же одежда, такие же гавайские рубашки и хлопковые штаны; даже тогда у него была склонность погружаться в себя; он каким-то образом показывал, ни словом не обмолвясь об этом, что ему никто не нужен, что он знает нечто, чего больше никто из окружающих не знает, и пока мы этого не узнаем, с нами не имеет никакого смысла вести разговор.

Однажды на перемене он подошел ко мне; это случилось в начале учебного года. Я сидел, как всегда, у ствола гигантского дождевого дерева и читал комикс. Дерево росло в верхней части поля, которое полого спускалось к южному краю школьного кампуса, и, читая, я видел одноклассников, играющих в футбол, и одноклассниц, прыгающих через скакалку. Потом я

поднял взгляд и увидел, что ко мне решительно приближается Эдвард, но вид у него был такой, что я подумал: он идет просто в мою сторону, а не ко мне.

Но остановился он прямо передо мной и сказал:

— Ты Кавика Бингем.

— Вика, — сказал я.

— Что? — переспросил он.

— Вика, — повторил я. — Меня все зовут Вика.

— Ну ладно, — кивнул он, — Вика. — И пошел дальше. Я на мгновение засомневался, правда ли я Кавика Бингем, но потом понял, что да, раз он это подтвердил.

На следующий день он появился снова.

— Моя мать хочет, чтобы ты пришел к нам завтра после уроков, — сказал он. Обычно он говорил, обращаясь не к тебе, а к некой точке за твоей спиной; когда он сосредоточивал взгляд непосредственно на тебе — как теперь, в ожидании моего ответа, — сразу казалось, что ты очутился на допросе.

— Ладно, — ответил я, не зная, что еще сказать.

Утром следующего дня я сказал Мэтью и Джейн, что собираюсь после уроков зайти к однокласснику. Сказал я это скороговоркой и тихо, за

завтраком, потому что отчего-то понимал, что Эдварда мать не одобрит. Это, наверное, было несправедливо — она не смотрела свысока на людей, у которых было меньше денег, во всяком случае, тогда я такого не замечал, — но я понимал, что об этом я ей не стану рассказывать.

Мэтью и Джейн переглянулись. Все мои предыдущие встречи с одноклассниками организовывали матери этих одноклассников, договариваясь с моей матерью; я никогда никуда не собирался самостоятельно. Я видел, что они рады за меня и стараются, чтобы я этого не заметил.

— Мне за тобой потом заехать, Вика? — спросил Мэтью, но я помотал головой — я уже знал, что Эдвард живет рядом со школой, и, значит, я смогу вернуться пешком, как обычно.

Джейн поднялась.

— Надо его матери что-то передать, — сказала она и пошла в кладовку за банкой своего мангового варенья. — Ты ей скажи, что она может передать банку с тобой, когда они все съедят, а я тогда дам еще в следующий урожай, хорошо, Вика? — Это звучало очень радужно: урожай манго только что закончился, поэтому, чтобы получить новую банку, миссис Бишоп должна была рассчитывать, что мы с ее сыном останемся друзьями

еще целый год. Но я только поблагодарил Джейн и положил банку себе в рюкзак.

Мы с Эдвардом занимались в соседних классах, и после уроков он ждал меня у дверей. Мы молча прошли по кампусу средней школы и перепрыгнули низкую стену, которая окружала весь школьный двор. Он жил буквально в одном квартале к югу от этой стены, на тесной улочке, по которой мы часто проезжали с Мэтью.

Первое, что я подумал, — что его дом заколдован. На улице стояли маленькие одноэтажные строения с магазинами и лавками — ткани, хозяйственный магазин, бакалея, — а потом вдруг как по волшебству — крошечный деревянный домик. Вокруг никакой зелени не было, но над этим строением росло огромное манговое дерево, такое мощное и развесистое, что оно как будто загораживало домик от посторонних глаз. На лужайке больше ничего не росло, даже трава, и корни дерева вспучивали бетонную дорожку, ведущую к крыльцу, в одном месте расколов плитку надвое. Сам домик был миниатюрной версией домов в моем квартале — плантаторский дом, как меня научили говорить, с широкой ланаи и большими окнами под металлическими козырьками.

Следующей неожиданностью оказалась дверь:

она была закрыта. Никто из тех, кого я знал, не закрывал дверей, пока не ложился спать; путь преграждала только сетчатая дверь, через которую следовало входить и выходить. Эдвард же засунул руку в нагрудный карман рубашки, вытащил оттуда ключ, который висел у него на шее, и отпер дверь. Он снял свои дзори и вошел, а я, как дурак, стоял и ждал, когда меня позовут, пока не понял, что надо просто следовать за ним.

Внутри было тесно и темно, и Эдвард, заперев дверь, прошелся по гостиной, открывая жалюзи и впуская в помещение воздух — а свет был полностью скрыт манговым деревом. Но его тень обеспечивала прохладу и усиливала чувство очарованности.

— Съесть чего-нибудь хочешь? — спросил Эдвард, уже направляясь в сторону кухни.

— Да, спасибо, — ответил я.

Он вернулся в гостиную через пару минут с двумя тарелками и протянул одну мне. На ней лежали четыре тонких крекера, чуть-чуть смазанных майонезом. Он уселся на один из ротанговых диванов, я — на другой, и мы приняли есть в молчании. Я никогда раньше не ел крекеров с майонезом и не знал, нравится ли мне это и вообще должно ли такое нравиться.

Эдвард быстро проглотил свои крекеры, как будто это задание, с которым надо поскорее расправиться, и снова встал.

— Хочешь посмотреть мою комнату? — спросил он — опять почти вбок, как будто обращался к кому-то еще из присутствующих в комнате, хотя кроме меня там никого не было.

— Да, — сказал я.

В левой части гостиной находились три закрытые двери. Он открыл самую правую, и мы зашли в спальню. Эта комната тоже была маленькой, но и уютной, как логово безобидного зверя. На узкой кровати лежало полосатое покрывало, а под потолком от края до края тянулись цепочки яркой цветной бумаги. “Это мы с мамой сделали”, — объяснил Эдвард, и хотя позже я вспоминал, с каким необычным выражением он это сказал — буднично, почти хвастливо, притом что мы приближались к возрасту, когда признаваться в рукоделии, уж тем более вместе с матерью, было нежелательным, — в тот момент я подумал, насколько это немыслимо: делать что угодно вместе с матерью, особенно нечто такое, что будет свисать с потолка и превращать твою комнату во что-то более беспорядочное и странное, чем прежде.

Эдвард повернулся и вынул что-то из ящика под столом, стоявшим возле кровати. “Вот, посмотри”, — торжественно сказал он и протянул мне черную бархатную шкатулку размером с колоду карт. Он открыл крышку; внутри лежала медаль цвета меди — печать нашей школы и на свитке под нею надпись “Стипендия: 1953-1954”. Он перевернул медаль, чтобы показать мне имя, выгравированное на обратной стороне: Эдвард Пайэа Бишоп.

— Это для чего? — спросил я, и он нетерпеливо хмыкнул.

— Это ни для чего, — сказал он. — Мне ее дали, когда я получил стипендию.

— А, — сказал я. Я понимал, что надо что-то сказать, но не мог решить, что именно. Я не знал никаких других стипендиатов. Собственно, до встречи с Эдвардом я даже не знал, что такое стипендия, и мне пришлось просить Джейн, чтобы она мне объяснила.

— Красота, — сказал я, и он хмыкнул снова.

— Ерунда, — сказал он, но в ящик шкатулку возвращал осторожно и даже провел рукой по ее бархатистой поверхности.

Потом он открыл другой ящик — этот скрывался под кроватью; со временем я понял, что,

несмотря на крошечные размеры, комната была упорядочена и удобна, как матросская каюта, и тот, кто ее планировал, учел все интересы и потребности Эдварда, — и достал картонную коробку.

— Шашки, — сказал он. — Сыграем?

За бесконечными шашечными партиями, проходившими по большей части в тишине, у меня было достаточно времени подумать о том, что особенно удивляло в доме Эдварда. Дело было не в его размере, не в темноте (интересно, что полумрак делал его не столько мрачным, сколько уютным, и даже когда вечерело, лампу зажигать было не нужно), а в том, что мы там были совершенно одни. В своем доме я никогда не оставался один. Если мать уходила на какую-нибудь встречу, со мной была Джейн, иногда — Мэтью. Но Джейн была всегда. Она готовила на кухне, или вытирала пыль в гостиной, или подметала коридор на втором этаже. Если она уходила, то не дальше двора, чтобы повесить белье на веревку, или, изредка, на подъездную дорожку, чтобы принести обед Мэтью, мывшему машину. Даже по ночам они с Мэтью находились лишь в нескольких сотнях футов от меня, в своей квартирке над гаражом. Но я никогда еще не

оказывался в доме одноклассника, где не было бы матери. Отца ты увидеть не ожидал — эти существа материализовались только к ужину, днем — никогда, но матери вечно присутствовали, такие же неизбежные, как диваны и столы. Сидя на кровати Эдварда, играя с ним в шашки, я вдруг подумал, что он живет один. Я представил, как Эдвард готовит себе обед на плите (мне у нас дома трогать плиту не разрешалось), ест за кухонным столом, моет посуду, принимает душ, укладывается спать. Я неоднократно горько сожалел о невозможности истинного, осмысленного уединения у нас в доме, но внезапно противоположность этому — отсутствие людей, время и тишина — показалась чудовищной, и мне стало казаться, что надо побыть у Эдварда как можно дольше, потому что стоит мне уйти — и у него никого больше не будет.

Но пока я представлял себе все это, входная дверь отворилась и женский голос, ясный и веселый, произнес имя Эдварда. “Это мама”, — сказал Эдвард, впервые на моей памяти улыбнулся быстрой, светлой улыбкой и, соскочив с кровати, побежал в гостиную.

Я побрел следом и увидел, как мать Эдварда его целует, а потом — он еще ничего не успел ей

объяснить — поворачивается ко мне с распростертыми руками.

— А ты, значит, Вика, — сказала она с улыбкой. — Эдвард мне столько про тебя говорил! — И она притянула меня к себе.

— Очень приятно, миссис Бишоп, — поторопился сказать я, а она просияла и снова меня сжала.

— Виктория, — предложила она, но, увидев мое лицо, сказала: — Или тетя. Только не миссис Бишоп! — Она повернулась к Эдварду, все еще держа меня в объятиях. — Есть хотите, мальчики?

— Нет, мы перекусили, — сказал он, и ему она тоже улыбнулась.

— Ну и молодец, — сказала она, но ее похвала почему-то относилась и ко мне тоже.

Она пошла на кухню, а я не спускал с нее глаз. Я никогда не видел матери красивее ее; она была так красива, что если бы я встретил ее при других обстоятельствах, мысль о ее материнстве мне вообще никогда не пришла бы в голову. Темно-русые волосы были собраны в пучок на затылке, кожа отливала темным золотом — светлее, чем у меня, но темнее, чем у ее сына; на ней было откровенное по тем временам платье из розового хлопка с белыми лентами на рукавах и на вороте и широкой юбкой, которая колыхалась вокруг ее

ног при каждом шаге. От нее шел вкусный запах жареного мяса, за которым угадывался аромат цветка гардении, приколотого за ухом, и она не шагала, а кружилась по своему домику, как будто это дворец, огромный и чарующий.

Только когда она сказала, что хорошо бы я остался поужинать, я посмотрел на круглые часы над раковиной и понял, что уже почти полшестого, а я сказал Мэтью и Джейн, что вернусь в полпятого, — мне и в голову не могло прийти, что я так задержусь в гостях у другого мальчика. Я почувствовал, как на меня накатывает беспокойство, а это часто случалось, когда я понимал, что сделал что-то не так, но миссис Бишоп сказала, чтобы я не волновался, а просто позвонил домой. Трубку взяла Джейн, и, мне кажется, у нее отлегло от сердца. “Мэтью сейчас за тобой приедет, — сказала она, не оставив мне никакой возможности спросить, нельзя ли остаться поужинать (хотел ли я этого — другой вопрос; я не знаю). — Будет через десять минут”.

— Мне надо домой, — сказал я миссис Бишоп, положив трубку, — простите. — И она опять мне улыбнулась.

— Ну останешься в следующий раз, — сказала она. Когда она говорила, она как будто чуть-чуть

напевала. — Мы будем рады, правда, Эдвард? — И Эдвард кивнул, хотя он уже передвигался по кухне вслед за матерью, вынимая еду из холодильника, и как будто забыл о моем существовании.

Прежде чем уйти, я вынул из своего ранца банку мангового варенья.

— Это вам, — сказал я. — Она — я знал, что не надо уточнять, что "она"– домработница, а не моя мать, — сказала, что можно отдать мне банку, когда вы все съедите, и она снова ее наполнит в следующий урожай. — Но тут я вспомнил про дерево у крыльца и почувствовал, что сказал глупость, и хотел было извиниться, но миссис Бишоп снова меня прижала к себе.

— Мое любимое, — сказала она. — Поблагодари, пожалуйста, маму. — Она засмеялась. — Может, попрошу, чтобы она мне дала рецепт — я каждый год говорю себе, что уж теперь-то непременно сделаю варенье, и каждый год ничего не делаю. От меня на кухне никакого толку. — И тут она мне подмигнула, словно делится со мной секретом, которого больше никто не знает, даже ее сын.

Я услышал, как подъезжает машина Мэтью, и попрощался с ними обоими. Но, выйдя на ланаи, я повернулся, посмотрел сквозь сетчатую дверь и увидел их, мать и сына, занятых приготовлением

ужина на кухне. Эдвард что-то ей сказал, она откинула голову и захохотала, а потом протянула руку и весело взъерошила ему волосы. Они включили свет на кухне, и у меня было странное чувство, что я разглядываю какую-то панораму, счастливую сцену, которую видеть я могу, но в которую ни за что не смогу проникнуть.

— Бишоп, — произнесла моя мать в тот же вечер, позже. — Бишоп.

Даже тогда я понимал, о чем она думает. Бишоп: знаменитое имя, старинное имя, почти такое же знаменитое и старинное, как наше. Она думала, что Эдвард — такой же, как мы, а я знал, что нет, не в том смысле, как она думала.

— А кто его отец? — спросила она, и, признаваясь, что понятия не имею, я осознал, что вообще не задумывался о его отце. Отчасти это произошло потому, что отцы, как я уже говорил, были некими теневыми фигурами в нашей жизни. Ты видел их по выходным и по вечерам, и если тебе везло, это были благодушные, сдержанные существа, которые могли дать тебе какую-нибудь конфетку, а если не везло — холодные и отстраненные, которые могли отшлепать или отхлестать. Я не так уж много понимал о мире, но даже мне было каким-то образом понятно, что

отца у Эдварда нет — или, точнее, что у миссис Бишоп нет мужа. Они, мать и сын, были такой законченной парой на своей крошечной кухне — она игриво толкала его бедром в бок, он картинно отшатывался вправо, мать смеялась, — что никакого пространства для отца или мужа просто не оставалось: они идеально подходили друг другу в этом сочетании женского и мужского, и еще один мужчина просто разрушил бы симметрию.

— Так, — сказала моя мать, — надо пригласить их на чай.

И вот в следующее воскресенье они пришли. В субботу они прийти не могли — я слышал, как Джейн сообщает это моей матери, — потому что миссис Бишоп была занята на своей смене. (“На своей смене, — повторила моя мать, и тон ее что-то значил, а что — я не очень понимал. — Ну хорошо, Джейн, пусть придут в воскресенье”.) Они пришли пешком, но не запыхались и не вспотели — то есть, получается, поехали на автобусе и дошли до нашего дома от ближайшей остановки. Эдвард был в школьной форме. На его матери снова было хлопковое платье с широким низом, на этот раз желтое, как гибискус; темно-русые волосы собраны в пучок, на губах яркая красная помада — еще красивее, чем я ее помнил.

Когда моя мать к ней подошла, та улыбалась.

— Миссис Бишоп, очень рада с вами познакомиться, — сказала моя мать, на что миссис Бишоп ответила так же, как мне:

— Пожалуйста, зовите меня Викторией.

— Виктория, — повторила моя мать, как будто это заморское имя и она хочет убедиться, что произносит его верно, но сама такого не предложила — хотя миссис Бишоп, видимо, и не ждала.

— Огромное вам спасибо, что позвали нас, — сказала она. — Эдвард, — и она обратила луч своего прожектора на сына, который смотрел на мою мать неотрывно и внимательно, не то чтобы с подозрением, но настороже, — в этом году новенький в школе, и Вика ему очень помогает. — Теперь она повернулась в мою сторону и слегка подмигнула, как будто я оказал любезность ее сыну, заговорив с ним, как будто ради этого выкроил бесценные минуты из своего напряженного расписания.

Даже моя мать всем этим была, кажется, несколько обескуражена.

— Что ж, я очень рада, что у Вики появился друг, — сказала она. — Ну заходите, заходите.

Мы прошли на веранду, где Джейн подала нам песочное печенье и налила женщинам кофе

— “Ой, спасибо — Джейн? Спасибо, Джейн, выглядит очень аппетитно!” — а нам с Эдвардом сока гуавы. Я видел, как другие знакомые матери притихают и проникаются благоговением в этой комнате, которая мне казалась просто комнатой, солнечной и скучной, но для них она была музеем предков моего отца: изрубцованная деревянная доска для серфинга, на которой мой прадед, известный как Толстый Принц, катался на Вайкики; дагеротипы сестры моего прапрадеда, королевы, в черном тафтяном одеянии и двоюродного прадеда, естествоиспытателя, в честь которого назвали построенный им знаменитый университет. Но миссис Бишоп это все не подавило, и она рассматривала обстановку, не смущаясь, с явным удовольствием.

— Какая прекрасная комната, миссис Бингем, — сказала она, улыбаясь моей матери. — Вся моя семья всегда почитала семью вашего мужа и все, что он сделал для наших островов.

Это было именно то, что следовало сказать, и сказано было просто и хорошо; видно было, что моя мать удивлена.

— Спасибо, — сказала она с прохладцей. — Он любил свою родину.

Моя мать некоторое время говорила с Эдвар-

дом, спрашивала, нравится ли ему новая школа (да), скучает ли он по старым друзьям (да нет) и чем любит заниматься (плавать, ходить в походы, купаться в море). Когда у меня у самого появился маленький мальчик, я смог оценить собранность Эдварда, его невозмутимость; я-то в детстве слишком сильно хотел порадовать окружающих, безудержно улыбался, разговаривая с друзьями родителей, в надежде, что не подведу свою семью. Но Эдвард не выглядел ни подобострастно, ни скованно и на вопросы моей матери отвечал прямо, не оправдываясь и не лебезя. Даже тогда он обладал удивительным достоинством, которое придавало ему неуязвимость. Как будто его ничье мнение не заботило — хотя это могло навести на мысль, что он безразличен или высокомерен, а это было не так.

В конце концов моя мать добралась до вопроса о мистере Бишопе: некоторые из Бишопов были дальними родственниками моего отца — все потомки старых миссионерских семейств, переженившиеся на членах гавайской королевской семьи, были нашими дальними родственниками — может быть, они тоже как-то с нами связаны?

Миссис Бишоп рассмеялась. В ее смехе не было ни горечи, ни фальши, в нем звучало одно лишь

веселье.

— Боюсь, что нет, — сказала она. — Только я гавайка, а муж нет. — Моя мать смотрела на нее с недоумением, и миссис Бишоп снова улыбнулась. — Люк, парень-хоуле из маленького техасского города, сын простого строителя, очень, очень удивился, когда узнал, что здесь его фамилия — это что-то особенное.

— Понятно, — тихо сказала моя мать. — Так что, ваш муж тоже строитель?

— Возможно, — снова улыбка. — Но мы точно не знаем, да, Эдвард? — Потом — моей матери: — Он исчез давно, когда Эдвард был еще младенцем, с тех пор я его не видела.

Я, конечно, не утверждаю, будто мужчины не уходили постоянно из семей в начале пятидесятых. Но могу сказать — и это так и оставалось даже несколько десятилетий спустя, — что ушедший муж или отец был чем-то постыдным, как будто виноваты в этом были именно покинутые, жена и дети. Если об этом говорили, то шепотом. А Бишопы нет. Мистер Бишоп ушел, но это не они остались в дураках, а он.

Это был один из редких моментов, когда нам обоим одновременно стало неловко. Прежде чем Бишопы ушли, мы успели узнать, что по воскре-

сеньям у миссис Бишоп выходной, а в остальные шесть дней она работает официанткой в людной забегаловке в нескольких кварталах от нашего дома, под названием “Мидзумото”, о которой моя мать не слыхала, а вот Джейн и Мэтью да, и что она родом из Хонока’а, крошечного городка, даже скорее деревни, на Большом острове.

— Какая удивительная женщина, — сказала моя мать, глядя, как миссис Бишоп с сыном сворачивают с нашей подъездной дорожки к автобусной остановке, после чего они исчезли из виду. Было понятно, что это не совсем комплимент.

Я согласился — она и правда была удивительная. И сын ее тоже. Я никогда не встречал людей, которые бы меньше подчинялись жизненным обстоятельствам. Это отсутствие смирения выражалось у миссис Бишоп как неуемная энергия, та жизнерадостность, что бывает только у редких людей, которым никогда не бывает стыдно за то, какие они есть, а вот у Эдварда оно проявлялось как непокорность, которая позже сгустилась в гнев.

Сейчас я, конечно, это понимаю. Но на это ушло много времени. И к тому моменту я уже отказался от собственной жизни и, значит, от твоей жизни

ради него. Не потому, что я разделял его гнев, а потому, что мечтал об этой его уверенности, о странном и диковинном представлении, будто на все существует только один ответ и, поверив в него, я перестану верить в то, что меня в самом себе так долго раздражало.

Теперь, Кавика, я перепрыгну через несколько лет. Но сначала хочу рассказать о том, что случилось со мной вчера.

Я лежал в кровати, как обычно. Была середина жаркого дня. Утром окна открывали, включали вентилятор, но ветерка больше не чувствовалось, и никто не пришел, чтобы включить кондиционер. Это время от времени происходит, а потом кто-нибудь заходит в комнату, удивляется, как тут жарко, немножко меня ругает, как будто я мог их позвать и не сделал этого просто из упрямства. Однажды они совсем забыли включить кондиционеры, и вдруг неожиданно пришла моя мать. Я слышал ее голос, звук ее шагов, а потом — как она идет в обратную сторону и через несколько мгновений возвращается с санитаром, который все время извинялся, пока мать его отчитывала: “Да вы знаете, сколько я плачу, чтобы за моим сыном тут следили? Где дежурный администратор? Это никуда не годится”. Мне было стыдно такое

слышать — я так стар, а за мной по-прежнему ухаживает мать, — но я тем не менее успокоился и заснул под аккомпанемент ее возмущения.

Обычно я нормально переношу жару, но вчера было душно, и я чувствовал, что лицо и волосы потеют, что пот каплями стекает в подгузник. Почему никто не приходит мне помочь, думал я. Я попытался крикнуть, но, конечно, не смог.

А потом произошло нечто очень странное. Я встал. Не могу объяснить, как это произошло, — я не вставал уже много лет, с тех пор, как меня вытащили из Липо-вао-нахеле. Но сейчас я не просто стоял, а пытался идти, пытался направиться туда, где, как я знал, находится переключатель кондиционера. Однако, поняв это, я упал, и через несколько минут кто-то зашел в комнату и начал суетиться и задаваться вопросом, почему это я на полу, скатился с кровати, что ли. Сначала я боялся, что она меня привяжет, как уже бывало, но привязывать она не стала, нажала кнопку, чтобы ей помогли, и пришел кто-то еще, и меня засунули обратно в кровать, а потом, слава богу, включили кондиционер.

Но я, собственно, о том, что встал, что стоял на ногах. Это было и странное, и знакомое чувство — снова выпрямиться, хотя потом от напряжения

всех членов меня долго била дрожь. Прошлой ночью, после того как меня покормили и помыли, после того как наступила темнота и тишина, я стал думать. Мне повезло, что никто не увидел меня на ногах, потому что случись это — начались бы вопросы, позвонили бы моей матери, стали бы брать анализы и проводить проверки, как когда я здесь впервые оказался: отчего я не хожу? Отчего не говорю? Отчего не вижу? “Вы не туда смотрите, — рявкнула моя мать на какого-то врача. — Надо понять, почему он не может всего этого делать”. — “Нет, миссис Бингем, — ответил врач, и в голосе его явно звучало раздражение. — Я смотрю как раз туда, куда нужно. Дело не в том, что ваш сын не может всего этого делать; дело в том, что он не хочет”, — и моя мать на это ничего не ответила.

Но тут я вдруг подумал: а что, если я и правда могу снова научиться ходить? Что, если я каждый день буду пробовать постоять? Что произойдет? Эта мысль меня напугала, но и воодушевила. Что, если мне все-таки становится лучше?

Но я собирался продолжить свой рассказ. До конца того года — мы были в пятом классе — мы с Эдвардом часто виделись. Иногда он приходил ко мне, но чаще я шел к нему, и там мы играли

в шашки или в карты. У меня он хотел играть на улице, потому что в его-то дворе было слишком тесно, чтобы кидаться мячом, но скоро он понял, что я не очень-то дружен со спортом. Как ни странно, никакого осмысленного сближения между нами при этом не происходило. Мальчики в эти годы, может, и не делятся тайными мыслями и секретами, но они сближаются чисто физически — я помню тебя в этом возрасте, вы катались по траве с друзьями, как зверьки, и перепачкаться сообща вам было особенно приятно. Но мы с Эдвардом так себя не вели — я был слишком чистоплотен, он слишком собран. Я рано почувствовал, что рядом с ним никогда не смогу расслабиться, и меня это не пугало.

Потом настало лето. Эдвард отправился на Большой остров к бабушке с дедом; мы с моей матерью поехали в Хану, где в то время у нас был дом, принадлежавший отцовской семье еще до аннексии. А когда снова начался учебный год, что-то переменилось. Дружба в этом возрасте — вещь очень хрупкая, потому что все, из чего ты состоишь — не только твои физические свойства, но и душевные тоже, — сильно меняется от месяца к месяцу. Эдвард присоединился к бейсбольной команде и к команде пловцов, у него

появились новые друзья; я вернулся к своему одиночеству. Сейчас мне кажется, что я, наверное, грустил, но, как ни странно, никакого сожаления или гнева я не помню — как будто прошедший год был ошибкой, и я понимал, что в какой-то момент все вернется на круги своя. К тому же ни о какой враждебности речи не было — мы разошлись, а не поссорились, и, видя друг друга на школьной площадке или в коридоре, мы оба кивали или махали рукой, как делаешь в бурном море, понимая, что кричать бесполезно — не услышат. Когда мы снова сошлись больше десяти лет спустя, это оказалось некой неизбежностью, словно мы оба так долго дрейфовали, что просто не могли не прибиться друг к другу снова.

Есть, впрочем, два эпизода из этих лет разлуки, которые ярко выделяются на общем фоне. Первый случился, когда мне было лет тринадцать. Я услышал, как две одноклассницы перешептываются. Одна из них, это все знали, была в Эдварда влюблена. А ее подруга этого не одобряла. “Нельзя, Бэлль”, — прошипела она. “Это почему?” — спросила Бэлль. “Потому что, — сказала первая девочка шепотом, — знаешь, кто его мать? Танцовщица!”

После выпуска Эдвард время от времени ока-

зывался предметом не то чтобы слухов — все это была правда, — а разных историй. Рано или поздно мы узнавали, кто учится по стипендии, и школьники иногда перешептывались, сообщая друг другу, кто по профессии родители этих учеников, подражая голосам своих собственных родителей, когда те обсуждали новеньких. У Эдварда не было отца, мать его была официанткой, но впрямую над ним не смеялись — он был отличный спортсмен и к тому же вообще не интересовался тем, что скажут люди, а такие истории отчасти только этим и подпитывались; я думаю, другие ученики надеялись спровоцировать его на какую-нибудь реакцию, но так ни разу и не преуспели.

По крайней мере, он не был азиатом. Тогда, во времена квотирования, только десять процентов учеников школы были азиатами, хотя среди населения их доля составляла процентов тридцать. Когда многие из поступающих азиатов впервые прибывали в школу, выяснялось иногда, что они никогда не носили башмаков, только резиновые шлепанцы. Все они были на стипендии, их учителя в начальной школе говорили, что они многообещающие и прилежные ученики, и чтобы поступить, они должны были сдавать мно-

гочисленные экзамены. Их родители работали на последней тростниковой плантации острова или на консервных заводах; по выходным и летом дети тоже там работали, рубили тростник или собирали насы, как они это называли, в полях и складывали их в кузовы грузовиков. У одного мальчика, Гарри, который пришел к нам в седьмом классе, отец был золотарем — опорожнял отхожие места на плантациях и перевозил человеческие испражнения, — а куда, мы не знали. Говорили, что от него пахнет дерьмом, и хотя он тоже всегда сидел за обедом и ел свои рисовые сэндвичи в одиночестве, мне никогда не приходило в голову подойти и познакомиться с ним; я тоже смотрел на него свысока.

Услышав имя миссис Бишоп, я понял, что соскучился по ней. Да и вообще без дружбы с Эдвардом я больше всего скучал именно по ней: как она держала меня за плечи и потом со смехом прижимала к себе; как целовала в лоб, когда я вечером уходил от них; как говорила, что будет рада снова меня поскорее увидеть.

Я никогда не прислушивался к тому, что говорили про Эдварда, но на этот раз прислушался и через несколько недель узнал, что хотя миссис Бишоп по-прежнему работает официанткой в

“Мидзумото”, теперь она еще и танцует по вечерам три раза в неделю в ресторане “Форзиция”. Это было популярное заведение недалеко от “Мидзумото”, где собирались рабочие всех национальностей. Мэтью, например, очень гордился своим братом, членом профсоюза филиппинских рабочих консервной промышленности, и я знал, что он бывает в “Форзиции”, потому что Джейн иногда звала меня на кухню, когда я возвращался из школы, и торжественно показывала желтую кондитерскую коробку ресторана, в которой лежал шифоновый бисквит из гуавы, весь глянцевый и розовый.

— Это брат Мэтью передал, — говорила Джейн — она им тоже гордилась и от гордости становилась щедрой. — Возьми кусок побольше, Вика. Возьми еще.

Я не знал, почему мне так хочется ее увидеть. Но однажды в пятницу я сказал Мэтью и Джейн, что мне надо допоздна помогать с оформлением декораций для ежегодного школьного представления, сел на велосипед и уехал. “Форзиция” (я гораздо позже задался вопросом, кому пришло в голову такое название — это растение на Гавай’ях не росло, никто понятия не имел, что это вообще) стояла последней в ряду маленьких лавок, в

основном принадлежавших японцам, в духе тех, что окружали дом Бишопов, и хотя штукатурка снаружи была выкрашена в ярко-желтый цвет, предполагалось, что строение должно напоминать японский чайный домик, с островерхой крышей и маленькими окошками в верхней части стены. Сзади, у одного из углов здания, находилось, впрочем, длинное, узкое окно, и именно туда я осторожно подъехал.

Я сел и стал ждать. До двери на кухню было всего несколько футов, но там стоял мусорный бак, и я за ним спрятался. По пятницам и выходным здесь играл гавайский ансамбль, исполнял он все популярные песни, ту музыку, которую так любил мой отец — “Нани Ваймеа”, “Лунный свет над Гавай’ями”, “Э Лили’у э”, — и после четвертой песни я услышал, как гитарист говорит: “А теперь, господа — да тут и дамы есть, правда же? — давайте поприветствуем нашу прелестную мисс Викторию Намаханаикалелеокалани Бишоп!”

Зрители зааплодировали, и, заглянув в окошко, я увидел, что миссис Бишоп в обтягивающем желтом холоку с узором из белых гибискусов, с леи из оранжевого пуакеникени на голове, с волосами, собранными в пучок, с алыми губами, поднимается на маленькую сцену. Она помахала

рукой аплодирующим зрителям и стала танцевать под музыку “Моего желто-имбирного леи” и “Палоло”. Она танцевала прекрасно, и хотя погавайски я знал всего несколько слов, я понимал слова по тому, как она двигалась.

Когда я смотрел на нее, на ее счастливое лицо, мне подумалось, что, хотя она мне всегда нравилась, в глубине души я хотел увидеть, как ее унижают. “Танцовщица” в устах моих одноклассниц звучало мерзко, как дело, на которое может пойти только отчаявшаяся женщина, и что-то во мне хотело увидеть именно это. И вот я увидел ее, царственную и элегантную, и, успокоившись, я одновременно и расстроился, как бы ни старался в этом себе не признаваться, — я понял, что все-таки зол на ее сына и хочу, чтобы он чего-нибудь стыдился, и хочу, чтобы этим чем-нибудь оказалась его мать, которая всегда относилась ко мне с такой добротой, с добротой, которой я не мог ожидать от ее сына. Она танцевала не потому, что обстоятельства вынудили ее к этому, — она танцевала, потому что ей нравилось танцевать, и хотя она вежливо склоняла голову под аплодисменты публики, было очевидно, что ее удовольствие к одобрению зрителей особого отношения не имеет.

Когда я уехал, ее выступление еще продолжалось. Вечером в кровати я лежал на спине и думал о том дне, когда впервые покидал дом Бишопов и, обернувшись, увидел их вдвоем на кухне — они смеялись, окутанные теплым желтым электрическим светом. Но теперь это воспоминание представало передо мной в измененном виде: они поставили пластинку, и миссис Бишоп, не успев переодеться, в форме “Мидзумото”, танцевала, а Эдвард тоже двигался ей в такт, перебирая струны на укулеле. Снаружи, в крошечном дворике, собрались все мои и Эдвардовы одноклассники, и все посетители “Форзиции” тоже, и все смотрели и аплодировали, хотя мать с сыном ни разу не повернулись в нашу сторону — в их мире существовали только они вдвоем, как будто нас вообще не было.

Это первый случай, о котором я хотел тебе рассказать. Второй произошел три года спустя, в 1959-м.

Учебный год только начался, было 21 августа. Я пошел в десятый класс, мне скоро исполнялось шестнадцать. В старшей школе я теперь чаще сталкивался с Эдвардом, чем раньше — тогда мы обычно целыми днями сидели в классных комнатах, каждый в своей. Теперь мы ходили к

разным учителям в разные аудитории, и иногда это оказывалось одно и то же помещение. Его слава, связанная с тем, что он, как выяснилось, был хорошим спортсменом, несколько поутихла, и сейчас вокруг него крутились одни и те же три-четыре парня. Как всегда, мы кивали друг другу при встрече, иногда, оказавшись рядом, даже обменивались несколькими словами: “По-моему, я что-то не то навалял в контрольной”. — “По химии-то? Ой, я тоже”, — но никому не пришло бы в голову назвать нас друзьями.

Я был на уроке английского, когда селектор крякнул и послышался голос директора, который напряженно и торопливо говорил: президент Эйзенхауэр подписал закон, по которому Гавай’и официально становились пятидесятым американским штатом. Многие ученики — и учитель — зааплодировали.

Нас распустили в честь праздника. Для большинства это была формальность, но я не сомневался, что Мэтью и Джейн будут рады; они жили здесь тридцать лет и хотели иметь возможность голосовать, о чем я вообще не задумывался.

Я шел к западным воротам кампуса и тут увидел Эдварда, который направлялся в южную сторону. Я сразу заметил, как медленно он идет; его обго-

няли другие ученики, бурно обсуждавшие, что они станут делать в неожиданный выходной, а он брел как лунатик.

Мы оказались близко друг от друга, и тут он внезапно поднял голову и увидел меня.

— Привет, — сказал я. Он не ответил. — Выходной, значит, — ты что будешь делать?

Он не сразу ответил, и я подумал, что, может быть, он не расслышал. Потом он сказал:

— Это очень плохие новости.

Он сказал это так тихо, что сначала я решил, что не расслышал.

— А, — бессмысленно сказал я.

Но выглядело это так, как будто я с ним стал спорить.

— Очень плохие новости, — глухо повторил он, — очень.

А потом отвернулся и зашагал дальше. Я помню, как подумал, что он выглядит одиноко, — хотя я не раз видел его одного и никогда не связывал его уединение с одиночеством, в отличие от своего. Но на этот раз речь шла о чем-то ином. Он выглядел — хотя тогда я не нашел бы для этого подходящего слова — скорбно, и хотя я не видел его лица, по спине, по опущенным плечам могло создаться впечатление — если бы я вообще ни-

чего не знал про его жизнь, — будто его прямо сейчас постигла тяжелая утрата.

Конечно, этот случай, с учетом всего, что ты знаешь об Эдварде, вряд ли покажется тебе особенно значимым. Просто он не вписывался в то, что я знал об Эдварде — а знал я, конечно, немного — в то время. Но если бы он выражал какие-нибудь ясные убеждения по поводу прав урожденных гавайцев, даже с учетом того, что сама мысль о правах урожденных гавайцев еще никому не приходила в голову, я бы, конечно, об этом знал — от него самого или из сплетен. (Я слышу, как Эдвард возражает мне: “Разумеется, она приходила людям в голову”. Ну хорошо: она не была осмыслена. Не была осмыслена, не захватила умы, даже чуть-чуть.) В нашем классе было несколько мальчиков, которые интересовались политикой, — отец одного из них был губернатором территории, и этот парень даже вбил себе в голову, что в один прекрасный день станет президентом Соединенных Штатов. Но Эдвард к ним не относился, отчего все случившееся потом становится еще удивительнее.

Впрочем, надо добавить, что не только Эдвард был расстроен в тот день. Придя домой, я обнаружил, что моя мать сидит на веранде и вышивает

покрывало. Это было странно — обычно по пятницам днем она была с Дочерьми, занималась добровольческой работой в бесплатной столовой для гавайских семей. Когда я вошел, она подняла взгляд, и мы молча друг на друга посмотрели.

— Нас отпустили пораньше, — сказал я наконец. — После объявления.

Она кивнула.

— А я сегодня осталась дома, — сказала она. — А то невыносимо. — Она посмотрела на покрывало — это был узор из плодов хлебного дерева, темно-зеленое на белом — и снова на меня. — Это ведь ничего не меняет, Кавика, — сказала она. — Твой отец все равно должен был стать королем. И когда-нибудь ты тоже должен будешь стать королем. Не забывай об этом.

Это было странное сочетание грамматических времен и модальностей, предложение, состоящее из обещаний и сокрушений, ободрения и утешения.

— Ладно, — сказал я, и она кивнула.

— Это ничего не меняет, — повторила она. — Это наша земля. — А потом посмотрела на пяльцы для вышивания, давая мне понять, что я свободен, и я пошел наверх, к себе в комнату.

Вопросы государственности не вызывали у

меня никаких сильных эмоций. Мне казалось, что все это в целом относится к “властям”, а власти меня не интересовали. Кто за что отвечает, какие решения принимает — все это меня не касалось. Подпись на бумаге никак не влияла на события моей собственной жизни, на наш дом, на живущих в нем людей, на мою школу — все это измениться не могло. Тяжесть, которую я нес, относилась не к государственности, а к наследию — я был Дэвидом Бингемом, сыном своего отца, и всем, что из этого следовало. Пожалуй, оглядываясь назад, я мог бы даже почувствовать некоторое облегчение — теперь судьба архипелага была решена, и это, возможно, означало, что у меня больше не будет ответственности и обязанности пытаться исправить течение истории, повлиять на которое я все равно не мог.

Прошло еще почти десять лет, прежде чем наши с Эдвардом пути снова пересеклись, и за эти годы многое произошло.

Во-первых, я окончил школу — как и все. Большинство моих одноклассников отправились в колледж на материк; ведь нас к этому готовили, таков был весь смысл школьного образования. Предполагалось, что мы уедем за океан, получим степени, может быть, немного попутешествуем, а

потом вернемся после университета, или юридического колледжа, или медицинского, и станем работать в самых престижных местных банках, адвокатских бюро и больницах, принадлежащих нашим родственникам и предкам или ими основанных. Многие направлялись в правительство, возглавляли потом Министерство транспорта, или образования, или сельского хозяйства.

Поначалу и я был из таких студентов. Директор школы направил меня в никому не известный гуманитарный колледж в Гудзонской долине в штате Нью-Йорк, и в сентябре 1962 года я покинул дом.

Очень быстро стало понятно, что университетское образование не для меня. Колледж был маленький, дорогой, незнаменитый, но, несмотря на все это, другие студенты, в основном из богатых и слегка богемных нью-йоркских семейств, были какие-то гораздо более продвинутые и гораздо лучше образованные, чем я. Не то чтобы я никуда не ездил, но мои путешествия покрывали Восток, и никто из моих новых однокашников не интересовался теми местами, где я бывал. Они все путешествовали в Европу, некоторые каждое лето, и я скоро осознал, какой я на этом фоне провинциальный. Мало кто знал, что Гавай'и

были когда-то королевством; несколько человек спрашивали у меня, жил ли я там в “настоящем” доме; они имели в виду — в каменном, с гонтовой крышей. В первый раз я даже не знал, что на это ответить, такой это был нелепый вопрос; я просто стоял и моргал, пока тот, кто задал вопрос, не пошел дальше. Все их отсылки, цитаты из книг, места каникулярных поездок, любимая еда и вино, люди, которых они знали лично, — все это не говорило мне решительно ничего.

Как ни странно, я не относился к этому болезненно. Я относился болезненно к тому, откуда я сам родом. Я проклинал свою школу, куда Бингемы ходили несколько поколений, за то, что меня так плохо подготовили. Чему я там полезному научился? Все предметы, которые я изучал, были те же, что и у моих однокашников, но значительная часть моего образования была сосредоточена на гавайской истории и обрывках гавайского языка, на котором я и говорить-то не мог. Какую пользу могут принести мне такие знания, если весь мир не хочет иметь об этом никакого понятия? Я не решался сказать, из какой я семьи, понимая, что половина однокашников мне не поверит, а другая половина начнет издеваться.

Окончательно я в этом убедился после водеви-

ля. В конце каждого года студенты устраивали представление, состоящее из коротких сценок, где сатирически изображали разных преподавателей и администраторов. Одна из сценок была посвящена ректору университета, который постоянно говорил, что нужно принимать студентов из других стран и неожиданных мест; в сценке он пытался уговорить мальчика из доисторического племени — принц Вуга-вуга из племени Уга-уга, так его звали — пойти учиться в наш университет. Студент, изображающий дикаря, раскрасил себе кожу коричневым гуталином и надел огромный подгузник; к каждой стороне носа он приклеил половинку косточки из картона, так что казалось, что кость продета через его переносицу. На голове у него была верхушка швабры с веревками, выкрашенными в черный цвет и завязанными так, чтобы они не падали ему на лицо.

— Здравствуйте, молодой человек, — начал студент, играющий ректора. — Вы производите впечатление смышленого юноши.

— Уга-буга, уга-буга, — промычал студент, играющий туземного принца, почесывая подмышки, как шимпанзе, и переваливаясь с ноги на ногу.

— Мы преподаем все, что нужно молодежи для

того, чтобы можно было назвать себя образованными людьми, — продолжал ректор, стоически игнорируя повадки туземца. — Геометрию, историю, литературу, латынь и, конечно, спорт — лякросс, теннис, футбол, бадминтон. — Тут он протянул туземцу волан, и тот немедленно запихал его в рот.

— Нет-нет! — вскричал ректор, наконец-то слегка всполошившись. — Дорогой мой, это не для еды! Выплевывайте немедленно!

Туземец выплюнул волан, продолжая почесываться и подпрыгивать, а потом, после паузы, в течение которой он смотрел в зрительный зал, расширив глаза и оскалив рот, накрашенный красной помадой, с наскока прыгнул на ректора, пытаясь откусить кусок от его щеки.

— На помощь! — закричал ректор. — На помощь! — Они забегали по сцене; зубы туземца звучно клацали, и он, продолжая вопить и ухать, загнал ректора за кулисы и исчез за ним следом.

Под бурные аплодисменты актеры снова вышли на сцену. Зрители смеялись на протяжении всего этого представления — преувеличенно, непристойно, как будто они раньше никогда не смеялись, а только учились этому навыку. Лишь два человека молчали — я и старшекурсник из

Ганы, с которым я не был знаком. Я видел, как он глядел на сцену, сжав челюсти, не шевелясь, и понимал: он думает, что это про него и про его родину, но я-то знал, что это про меня и про мою родину, — об этом говорили картонные пальмы, папоротник, привязанный нелепыми пучками вокруг лодыжек и запястий дикаря, леи из коктейльных соломок и бумажных цветков. Это был дешевый и грубый костюм, сделанный задешево и грубо, пренебрежительный даже в своем издевательстве. Вот что они думают обо мне, осознал я, и позже, когда Эдвард впервые упомянул Липо-вао-нахеле, я вспомнил именно этот вечер, чувство, с которым я, замирая, смотрел на то, как все, чем я был, все, чем была моя семья, грубо расчленяют на части, срывают одежды, выталкивают на сцену, чтобы поржать.

И как я после такого мог там оставаться? Я собрал вещи и сел на автобус, идущий на юг, в сторону Манхэттена, а там поселился в гостинице “Плаза” — единственной, название которой знал. Я послал телеграмму дяде Уильяму, управлявшему отцовским имуществом, попросил его перевести мне денег и ничего не говорить моей матери; в ответной телеграмме он пообещал, что так и сделает, но предупредил, что это не может

продолжаться долго, и выразил надежду, что я не стану делать глупостей.

Я проводил дни, гуляя по улицам. Каждое утро я шел в кафе возле Карнеги-холла, чтобы там позавтракать, ел яичницу с картошкой и беконом, пил кофе — гораздо дешевле, чем все это обошлось бы мне в гостинице, — а потом отправлялся на север или на юг, на восток или на запад. У меня было твидовое пальто, дорогое и красивое, но не слишком теплое, и по дороге я дул себе на пальцы, а когда уже не мог больше выносить холод, заходил в ресторанчик или в кафе, чтобы выпить горячего шоколада и согреться.

Кто я — зависело от того, где я оказывался. В деловом районе меня считали черным, но в Гарлеме знали, что это не так. Ко мне обращались по-испански и по-португальски, по-итальянски и даже на хинди, и когда я отвечал, что я гаваец, мне непременно рассказывали, что они, или их брат, или какой другой родственник был там после войны, и спрашивали, что я делаю здесь, так далеко от дома, когда мог бы лежать на пляже с симпатичной гавайской танцовщицей. Я никогда не знал, что отвечать на такие вопросы, но никакого ответа и не требовалось — ничего другого спросить они не умели, и никакой моей

реакции тоже никто не ждал.

На восьмой день — еще утром я получил от дяди Уильяма телеграмму, где он сообщал, что университетская бухгалтерия уведомила мою мать о моем нежелании продолжать обучение и она велела ему выслать мне обратный билет, который должен был прийти вечером того же дня, — я возвращался к гостинце от парка на Вашингтонской площади, куда ходил посмотреть на арку. В тот день было очень холодно, дул порывистый ветер, и весь город как будто бы отражал мое настроение, серое и мрачное.

Я шел на север по Бродвею и, свернув направо возле Центрального парка, чуть не натолкнулся на нищего. Я его уже видел — это был приземистый, смуглый, потрепанный человек, всегда торчавший на этом углу, в слишком длинном черном пальто; перед собой он обеими руками держал старомодный котелок, такой, какие носили тридцатью годами раньше, и потряхивал им на виду у прохожих. “Монетки не найдется? — окликал он всех, кто шел мимо. — Мелочи не будет?”

Я обогнул его, собираясь пробормотать что-то извиняющееся, но тут он меня увидел и, увидев, вдруг выпрямился по-солдатски во весь рост

и отвесил поясной поклон. Я услышал, как он ахнул. “Ваше высочество”, — сказал он, глядя в мостовую.

Мне сразу же стало ужасно стыдно. Я огляделся, но никто на нас не смотрел, никто ничего не увидел.

Он пялился на меня влажными глазами. Теперь я видел, что он — из моих, из наших людей; цвет и форма лица — пусть и не само лицо — были мне знакомы. “Принц Кавика, — сказал он голосом, заплетающимся от волнения и алкоголя; я чувствовал исходящий от него запах, — я знал вашего отца, я знал вашего отца”. И он порывистым движением протянул в мою сторону шляпу. “Прошу вас, ваше высочество, — сказал он, — прошу вас, дайте что-нибудь одному из подданных, оказавшемуся так далеко от родных мест”.

Никакой издевки в его голосе не было, одна лишь мольба. Только потом, у себя в комнате, я задумался: а почему это он оказался так далеко от родных мест, как получилось, что он попрошайничает на нью-йоркской улице, и правда ли он знал моего отца — ничего невероятного в этом, конечно, не было. Для настоящих монархистов, к которым, видимо, относился этот человек, статус штата был оскорблением, отнимавшим надежду.

“Прошу вас, ваше высочество, я очень голоден”. Внутри, в глубине темной тульи из блестящего фетра, виднелось лишь несколько монет.

Я вынул бумажник и торопливо сунул ему все, что у меня было — долларов сорок, наверное, — и помчался дальше, прочь от его благодарственных восклицаний. Я был принц Вугавуга из племени Уга-уга, с той разницей, что я бежал не за кем-то, а от него, как будто он станет меня преследовать, этот человек, называющий себя моим подданным. Он голоден, он откроет рот, и когда его челюсти сомкнутся, я окажусь внутри, и мою голову сжуют, прежде чем водевиль завершится.

Я вернулся домой; я поступил в Гавайский университет, куда мои одноклассники отправлялись, только если плохо жили или плохо учились. Завершив обучение, я получил место в бывшей компании моего отца, только это была не настоящая компания, в том смысле, что она ничего не производила, ничего не продавала и ничего не покупала, — она объединяла остающуюся семейную недвижимость и инвестиции, и помимо дяди Уильяма, который был и юристом, и бухгалтером, там еще работали два секретаря, старший и младший.

Поначалу я появлялся на работе каждый день

в восемь утра. Но прошло несколько месяцев, и стало понятно, что в моем присутствии никакой необходимости нет. Моя должность называлась “управляющий недвижимостью”, но управлять было нечем. Трест придерживался консервативной политики, и несколько раз в год какие-то акции покупали или продавали, а дивиденды снова во что-то вкладывали. Робкий китаец собирал арендную плату по жилому фонду, и если арендаторы отказывались платить или не могли, вслед ему отправлялся устрашающий гигантский самоанец. Трест осознанно ставил перед собой весьма приземленные цели, потому что далеко идущие цели были связаны с риском, а после выплаты отцовских долгов все было сосредоточено на поддержании ситуации в стабильном состоянии, на обеспечении средств для моей матери, для меня и, если планы ничто не нарушит, — для моих правнуков и праправнуков.

Когда стало ясно, что компания будет ползти вперед независимо от моего присутствия, я стал подолгу пропадать. Контора находилась в центре, в красивом старом здании испанского типа, и я уходил в одиннадцать, до толп, отправлявшихся на обеденный перерыв, и шел несколько кварталов до Чайнатауна. Мне платили жалованье, но

жил я скромно — ходил в забегаловки, где можно было съесть миску лапши с креветочно-свиными вонтонами за четверть доллара, и, расплатившись, бродил по улицам, мимо лоточников, которые раскладывали пирамиды из карамболы и рамбутана, мимо лекарей с ящичками иссохших корней и сушеных семян, с рядами склянок, заполненных мутной жидкостью, в которой завивались травы и разные неопределимые звериные лапки, лишенные меха. На Гавай'ях ничто никогда не менялось; я каждый день как будто бы выходил на заставленную декорациями сцену, и каждое утро, задолго до моего пробуждения, все это разворачивали, чистили и готовили для того, чтобы я снова мог там пройти.

Я был, конечно, одинок. Я делал вид, что некоторые из одноклассников, которые тоже вернулись в город, — мои друзья, но они учились в аспирантуре или работали, так что в основном я проводил время как в детстве: лежал в собственной спальне в материнском доме или сидел на веранде и смотрел маленький черно-белый телевизор, который купил на собственную зарплату. По выходным я отправлялся посмотреть на рыбаков в Вайманало или в Каиману, ходил в кино. Мне исполнилось двадцать два, а потом двадцать три.

Однажды, когда мне было двадцать четыре, я ехал на машине обратно в город. Было поздно. К этому времени я совсем перестал ходить на работу, постепенно уменьшая свое участие в жизни конторы, пока оно не прекратилось совсем. Никто не расстраивался и даже не удивлялся; в конце концов, все это существовало на мои деньги, и часть их продолжала приходить на мой адрес в виде чека раз в две недели.

Я ехал через Каилуа, в ту пору крошечный город без всяких магазинов и ресторанов, которые появятся там лет десять спустя, и миновал автобусную остановку. Дважды в месяц я объезжал весь остров; один раз ехал на восток, другой — на запад. Так я проводил время; сидел на пляже возле каменной церкви в Лаи, где мой отец когда-то раздавал деньги, и смотрел на море. Возле автобусной остановки светил фонарь, один из немногих на этой улице, и на скамейке сидела молодая женщина. Я ехал достаточно медленно, чтобы разглядеть, что у нее темные волосы, убранные назад, что на ней хлопчатобумажная юбка с оранжевым узором — под светом фонаря она как будто светилась. Женщина сидела с очень прямой спиной, сдвинув колени и положив на них ладони, а ремешок сумочки обвернула во-

круг запястья.

Не знаю, почему я просто не поехал дальше — но вот не поехал. Я развернулся на абсолютно пустой дороге и подъехал к ней.

— Привет, — сказал я, поравнявшись с ней, и она взглянула на меня.

— Привет, — ответила она.

— Вы куда направляетесь? — спросил я.

— Жду автобуса в город, — сказала она.

— Да автобус так поздно уже не ходит, — сказал я, и она вдруг занервничала.

— Ох, — сказала она. — Мне надо добраться до общежития, а то они двери запрут.

— Могу вас подвезти, — предложил я, и она в сомнении оглядела темную пустынную дорогу. — Можете сесть на заднем сиденье, — добавил я.

На это она кивнула и улыбнулась.

— Спасибо, — сказала она. — Буду вам очень признательна.

Она сидела так же, как на остановке, — прямо, напряженно, глядя вперед. Я время от времени смотрел на нее в зеркало заднего вида.

— Я учусь в университете, — наконец сказала она, как будто что-то мне предлагала.

— А на каком курсе? — спросил я.

— На третьем, — ответила она, — но я здесь

только на год.

Она тут по программе обмена, объяснила она; на следующий год она вернется в Миннеаполис и там получит диплом. Ее звали Элис.

Мы стали встречаться. Она жила в одном из женских общежитий — Фрир-холл, — и я приходил в вестибюль и ждал, пока она спустится. По средам она ходила на ткаческие занятия в Каилуа к одной гавайской старушке, и туда всегда надевала скромную юбку до колен и собирала волосы в пучок. Обычно она носила джинсы и волосы распускала. Как раз по волосам и по форме носа я видел, что она не совсем хоуле, но кто — я не понимал. “У меня испанские предки”, — говорила она, но, пожив на материке, я понимал, что “испанские” могут иногда оказаться мексиканскими, или пуэрториканскими, или какими-нибудь совсем другими. Она рассказывала про свои занятия, про то, как приехала сюда, потому что хотела раз в жизни оказаться где-нибудь в тепле, и очень довольна, как она хочет вернуться домой, стать учительницей, как скучает по матери (отец у нее умер) и младшему брату. Она говорила, как ей хочется, чтобы жизнь была полна приключений, как жизнь на Гавай’ях немножко похожа на жизнь за границей, как ко-

гда-нибудь она поедет жить в Китай, и в Индию, и, когда война закончится, — в Таиланд тоже. Мы говорили о том, что происходит во Вьетнаме, и о выборах, и о музыке; про все это она знала больше меня. Иногда она спрашивала про мою жизнь, но рассказывать было особенно нечего. Впрочем, кажется, я ей вполне нравился; она была очень нежна со мной, и когда я делал что-то не так, слишком долго возился с ее одеждой, она клала мои руки себе на плечи и сама расстегивала платье.

Секс случился однажды в ее комнате, когда ее соседка куда-то ушла. Она объяснила мне, что надо делать и как, и сначала мне было неловко, а потом я ничего не чувствовал. Позже я думал о том, как это было: мне не было приятно или неприятно, но я был рад, что сделал это и что оно позади. Я чувствовал, что перешел какой-то важный рубеж, который делал меня взрослым, — хотя ежедневная жизнь свидетельствовала о другом. Получилось не так приятно, как я ожидал, но при этом оказалось проще, и мы потом встречались так еще несколько раз, и мне казалось, что теперь моя жизнь куда-то движется.

Теперь — о том, что ты и так знаешь, Кавика, о том, что рассказать нелегко.

Элис, конечно, знала, из какой я семьи, но, кажется, не понимала, какое это все имеет значение, до того как вернулась домой. Когда в контору компании пришло письмо, у меня уже случился первый припадок. Поначалу я считал, что это приступы головной боли: мир затихал и сплющивался, и в поле зрения начинали плавать расплывающиеся цветные пятна, такие, как бывают, если посмотреть на солнце и закрыть глаза. Я приходил в себя — через минуту или через час — с тошнотой и головокружением. После диагноза у меня отняли водительские права, и с тех пор возить меня приходилось Мэтью, а если Мэтью не мог — моей матери.

Так что я не помню точно последовательность событий, в результате которой ты оказался у меня. Я знаю, бабушка говорила тебе, что мать тебя, по сути дела, бросила, написала дяде Уильяму и сказала, что кто-то должен приехать и забрать тебя, потому что она снова уезжает из Миннеаполиса, на этот раз — в Японию, учиться, а ее мать не может заниматься младенцем. Позже дядя Уильям мне сказал, что твоя бабушка, удостоверившись, что ты на самом деле Бингем, предложила твоей матери деньги. Элис, твоя мать, согласилась, но назвала другую сумму, и

дядя Уильям предупредил твою бабушку, что для этого придется продать дом в Хане. “Так продай”, — сказала она ему, и объяснять почему необходимости не было: ты был наследником, никаких гарантий, что я произведу на свет еще одного, не существовало. Возникшей возможностью следовало воспользоваться. Через месяц дядя Уильям улетел в Миннесоту, чтобы подписать необходимые бумаги; вернулся он уже с тобой. Получилась вариация на тему предполагаемого происхождения моей матери, хотя этого никто из нас не упоминал.

Я не знаю, какая версия истинна. Я точно знаю, что она так ничего мне и не сказала — ни что она беременна, ни что родила. Она исчезла из моей жизни после завершения учебного года, в 1967-м. Я знаю, что она умерла, — в начале семидесятых она вышла замуж за человека, с которым познакомилась, когда училась в Кобе; они погибли в результате несчастного случая на воде в 1974-м. А почему ни она, ни ее семья так с тобой никогда и не связались — я могу лишь предполагать, что условия, о которых она договорилась с твоей бабушкой, этому препятствовали.

Ты не должен злиться на это, Кавика, — ни на бабушку, ни на Элис. Бабушке ты был очень

нужен, а Элис — Элис не собиралась становиться матерью.

Еще я могу сказать, что ты был и всегда будешь счастьем моей жизни, что твое присутствие позволяло мне думать, что я все-таки чего-то добился. Ты был еще младенцем, когда попал ко мне, и в те годы, что ты учился переворачиваться, садиться, ходить, говорить, мы с моей матерью жили дружно — благодаря тебе. Иногда мы сидели на веранде, прямо на полу, и смотрели, как ты барахтаешься и лепечешь, смеялись и аплодировали твоим усилиям, и иногда встречались взглядом, как будто мы не мать и сын, а муж и жена, а ты — наш общий ребенок.

Она всегда гордилась тобой, Кавика, как гордился — и горжусь — я. И она тоже гордится и сейчас, я не сомневаюсь, — просто она расстроена, потому что скучает по тебе — как и я.

Здесь я должен подчеркнуть, что никогда не осуждал тебя за то, что ты меня покинул. Ты за меня не отвечал; вот я за тебя — да. Тебе пришлось как-то выбираться из ситуации, в которой ты и оказываться не должен был.

На протяжении долгих лет я ждал, что настанет день, когда ты спросишь про свою мать, но ты так и не спросил. Не могу не признать, что

я испытывал от этого облегчение, хотя позже понял, что, может быть, ты не задавал никаких вопросов, чтобы меня защитить, потому что ты всегда старался защитить меня, хотя это я должен был тебя защищать. Твое отсутствие интереса к матери вызвало мою ссору с твоей бабушкой — один из немногих случаев, когда я воспротивился ей. “Странно, — сказала она после родительского собрания, на котором мы были оба и где твоя учительница сказала, что ничего не знает про твою мать, — странно, что он вообще этим не интересуется”. Она имела в виду, что это говорит о какой-то недоразвитости, недоразвитости или равнодушии, и я рявкнул на нее. “Так что, ты хочешь, чтобы он стал задавать вопросы?” — спросил я, и она слегка пожала плечами, не отрывая взгляда от пяльцев. “Нет, конечно, — сказала она. — Просто мне кажется, что это странно”. Я страшно разозлился. “Он — маленький мальчик, — сказал я, — и он верит всему, что ты ему говоришь. У меня просто в голове не укладывается, что ты жалуешься на то, что он тебе доверяет, пытаешься выставить это каким-то недостатком”. Я встал и вышел, и в тот вечер она велела Джейн приготовить твой любимый рисовый пудинг, и я понял, что она так

извиняется перед тобой, хотя ты никогда об этом и не узнаешь.

С течением времени нам стало несложно делать вид, что у тебя никакой матери и не было. Есть японская народная сказка, ты любил, когда я тебе ее рассказывал, про мальчика, родившегося из персика и найденного бездетными стариком и старухой. “Почитай мне еще “Момотаро”, — говорил ты, а потом, после того, как я дочитывал ее, ты говорил: “Еще”. Позже я стал рассказывать тебе версию про мальчика по имени Манготаро, которого нашли в плоде манго, свисавшем с дерева у нас во дворе, и как этот мальчик вырос, и у него было много приключений и множество друзей. Сказка всегда кончалась тем, что мальчик покидал отца и бабушку и тетю и дядю и уезжал далеко-далеко, к новым приключениям и новым друзьям. Я знал даже тогда, что мое дело — оставаться, а твое — уезжать, отправляться туда, где я никогда не был, вести собственную жизнь.

— А дальше что было? — спрашивал ты, когда сказка кончалась, и я целовал тебя на ночь.

— Когда-нибудь вернешься и расскажешь мне, — отвечал я.

Кавика, это случилось снова. Мне снилось, что я стою, и не просто стою, а иду. Мои руки были

вытянуты вперед, как у зомби, и я переставлял вперед сначала одну ногу, потом другую. А потом я понял, что это не сон, что я правда иду, и сосредоточился, прикасаясь руками к стенам, пока передвигался по комнате.

Моя кровать стоит в центре комнаты — я знаю об этом, потому что слышал, как моя мать жаловалась — с какой стати, говорила она, кровать стоит в центре, а не у стены? — но я-то был этому рад, потому что так оказалось проще осваивать пространство. С одной стороны находится стена с окнами, выходящими в сад; с другой — дверь в ванную комнату, куда меня перетаскивают, чтобы помыть; с третьей — дверь запертая, она ведет в коридор, надо думать. Есть еще комод, на котором стоит несколько бутылок, больших и маленьких, стеклянных и пластиковых. Я открыл верхний ящик и потрогал свои шорты, свои футболки. Пол был холодный, покрытый камнем или плиткой, но, приближаясь к кровати, я наткнулся на иную поверхность, которую опознал как коврик из листьев лаухалы, шелковисто-гладкий под моими подошвами, такой же, какой был у меня в комнате, дома. От них в комнате всегда прохладно, говорила Джейн, и хотя они быстро изнашиваются, их нетрудно заменять раз

в несколько месяцев.

Когда я добрался обратно до кровати, я долго лежал, не засыпая, потому что подумал: а что, если я действительно уйду отсюда? Если я в состоянии ходить, разве не могут остальные навыки тоже вернуться ко мне? Например, речь? Зрение? Что, если как-нибудь ночью я отсюда уйду? Что, если отправлюсь искать тебя? Разве не здорово? Снова увижу, обниму тебя? Я понимал, что пока никому ничего не скажу, что мне надо тренироваться еще и еще, потому что даже от этой крошечной прогулки я стал задыхаться. Но теперь и ты об этом знаешь. Я найду тебя — я сам пойду тебя искать.

В день, когда я снова встретил Эдварда, я тоже шел. Это случилось в 1969 году, и ты жил у меня всего четыре месяца — тебе еще и года не было. Несколько раз в неделю Мэтью возил нас в парк Капи'олани, где я катал тебя в коляске между стволов дождевых деревьев и кассий; иногда мы останавливались и смотрели, как играют в крикет. Или я шел с тобой к пляжу Каймана и там стоял и смотрел на рыбаков.

Тогда — да может быть, и сейчас — молодой человек с детской коляской был зрелищем непривычным; прохожие иногда смеялись. Я никогда ничего не говорил, не реагировал, просто шел

дальше. В то утро я скорее даже почувствовал, чем увидел, что кто-то остановился и уставился на меня, но нисколько не удивился и остановился сам, только когда услышал свое имя, да и то лишь потому, что голос был знакомым.

— Как дела? — спросил он, как будто с нашей последней встречи прошла всего неделя, а не почти десять лет.

— Неплохо, — ответил я, пожимая его руку. Я слышал, что он уехал в Лос-Анджелес, где учился в университете, и сказал ему об этом, но он пожал плечами.

— Я только что вернулся, — сказал он и посмотрел в коляску. — А это чей ребенок?

— Мой, — ответил я, и он моргнул. Кто другой мог бы заверещать от изумления или решить, что я шучу, но он только кивнул. Я вспомнил, что он никогда не шутит и ничего не принимает за шутку.

— Твой сын, — сказал он, словно пробуя слово на вкус. — Маленький Кавика, хм. Или его надо звать Дэвид?

— Нет, Кавика, — сказал я, и легкая улыбка мелькнула на его губах.

— Хорошо, — сказал он.

Мы решили, что надо пойти поесть, погрузили

все в его видавшую виды машину и отправились в Чайнатаун, где пошли в мою любимую забегаловку с вонтонами за двадцать пять центов. По дороге я спросил про его мать, и по молчанию, по гримасе, прошедшей по его лицу еще до того, как он ответил, я понял, что она умерла, — рак груди, сказал он. Поэтому он и приехал.

— Как жалко, что я не знал, — сказал я; меня как будто оглушили.

Он пожал плечами.

— Все развивалось медленно, а потом очень быстро, — сказал он. — Она не очень страдала. Я похоронил ее в Хонока'а.

После того обеда мы снова стали видеться. Не то чтобы мы это обсуждали — просто он сказал, что заедет за мной в воскресенье в полдень, можно будет сходить на пляж, и я согласился. На протяжении следующих недель, а потом месяцев мы все чаще встречались; вскоре я видел его не реже чем через день. Как ни странно, мы редко обсуждали, где он был или где я был и что мы делали на протяжении тех лет, что не виделись, или почему, собственно, отдалились тогда друг от друга. Но хотя прошлое было не столько забыто, сколько отрезано, мы оба прилагали усилия — опять-таки никогда этого не обсуждая, — чтобы

моя мать не заподозрила, что мы снова видимся. Когда он приходил, я ждал его (иногда с тобой, иногда один) на крыльце, если ее не было дома, или у подножия холма, если она была дома, — и когда Эдвард подвозил меня, он высаживал меня там же.

Нелегко вспомнить, о чем мы тогда говорили. Ты, может быть, удивишься, если я скажу, что прошло много месяцев, прежде чем я понял, что Эдвард коренным образом изменился — и я не имею в виду те перемены, которые случаются со всеми нами при переходе из детства во взрослую жизнь; нет, просто по своим мнениям и убеждениям он стал незнакомым мне человеком. Стыдно сказать, но он выглядел совершенно так же, как раньше, и мне это мешало — я поэтому считал, что ничего не изменилось. Я знал из телевизионных новостей, что на материке полно длинноволосых хиппи, и хотя в Гонолулу хиппи тоже были, никакого гнева или революции здесь в воздухе не ощущалось. На Гавай'и все приходило с опозданием — даже в наших газетах новости были устаревшими на день, — поэтому Эдварда в ту пору вряд ли можно было моментально записать в политические радикалы. Да, волосы у него стали длиннее и пышнее, не как у меня, но они

всегда были чистыми, и от этого он выглядел не пугающе, а скорее мило.

Мы оба не работали. В отличие от меня, Эдвард не получил университетскую степень; в какой-то момент он рассказал, что бросил учебу в начале последнего курса и провел остаток осени, разъезжая автостопом по западным штатам. Когда ему нужны были деньги, он возвращался в Калифорнию собирать виноград, или чеснок, или клубнику, или грецкие орехи — смотря какой урожай приходился на это время; он никогда в жизни не съест больше ни одной клубничины, сказал он. Здесь, в Гонолулу, он нанимался на короткие подработки: помогал приятелю покрасить дом или на несколько дней записывался в бригаду грузчиков. Домик, где он раньше жил с матерью, сдавал им старый китаец, который тайно вздыхал по миссис Бишоп, и Эдварду в конце концов пришлось оттуда съехать, но ни это, ни вообще будущее его не тревожило. Казалось, что он почти не задумывается о подобных вещах, и мне это напоминало его детское спокойствие, полное отсутствие неуверенности в себе.

Но что он стал совсем другим человеком, я понял только в конце того года. “Мы идем на одну встречу, — сказал он однажды вечером, подобрав

меня у подножия холма, — с моими друзьями". Больше он ничего не сказал, а я, как обычно, не спрашивал. Но я видел, что он радуется и даже нервничает, — пока мы ехали, он отбивал дерганый ритм одним пальцем по рулю.

Мы заехали глубоко в Ну'уану по узкой частной дорожке, заросшей деревьями и освещенной так скудно, что, несмотря на фары, мне приходилось высовываться из окна и светить фонариком. Мы проехали мимо нескольких ворот, у четвертых Эдвард остановился и вышел из машины; у столба на длинной проволоке висел ключ, он отпер ворота, мы въехали и снова остановились, чтобы закрыть ворота за собой. Впереди была длинная грунтовка, и пока мы по ней тряслись, я видел и чувствовал по запаху, что вдоль нее растут заросли белого имбиря и цветы призрачно проступают сквозь сумерки.

Дорожка упиралась в большой белый деревянный дом, который когда-то был величественным и ухоженным, как наш, только перед ним было припарковано не меньше двадцати машин, и даже снаружи было слышно, что внутри люди разговаривают, их голоса эхом разносились по тихой долине.

— Пошли, — сказал Эдвард.

Внутри было человек пятьдесят, и после минутного замешательства я смог рассмотреть их внимательнее. Большинство из них были нашего возраста, все — местные, некоторые, очевидно, хиппи, и многие сгрудились вокруг очень высокого чернокожего парня, который стоял ко мне спиной, поэтому кроме его афро-прически, огромной, густой, блестящей, я ничего не видел. Когда он двигался, верх его шевелюры задевал подвеску, свисающую с лампы, и от этого лампа слегка колыхалась, и свет тоже плясал по комнате.

— Пошли, — повторил Эдвард, и на этот раз я почувствовал возбуждение в его голосе.

Толпа начала двигаться как единый организм, и из вестибюля мы все переместились в большое открытое пространство. Там, как и в вестибюле, никакой мебели не было, некоторые доски в полу растрескались от влаги. В этой комнате, кроме голосов, слышался какой-то шум, как будто над нами пролетал самолет, но потом я посмотрел в окно и понял, что звук исходит от водопада в дальнем конце участка.

Мы все расселись на полу, наступила напряженная тишина, которая как бы все удлинялась и углублялась. “Что вообще происходит?” — спросил какой-то парень, и на него зашикали; кто-то

еще хихикнул. Тишина продолжалась, и постепенно движение и шепот полностью утихли, и не меньше минуты мы сидели, объединенные молчанием и неподвижностью.

И вот тогда высокий чернокожий мужчина поднялся со своего места среди толпы и прошел вперед. Сочетание его роста и нашего положения на полу — мы все смотрели на него — делало его гигантским, не столько человеком, сколько строением. Он не был такой уж черный — светлее меня, — и красивым назвать его было трудно: кожа блестела, борода росла клоками, на левой щеке высыпалась горсть прыщей, из-за которых он больше походил на ребенка, чем, я подозреваю, ему хотелось. Но в нем было что-то неотразимое; широкая щербатая улыбка, которую он мог сделать и дурашливой, и яростной; длинные, гибкие руки и ноги, которые сгибались как угодно, когда он двигался, так что тебе приходилось не только слушать его, но и смотреть на него. Но особенно манящим был его голос — и что он говорил, и как, мягко, тихо, обволакивающе: любому бы хотелось, чтобы такой голос говорил, что он тебя любит, и за что, и как.

Он улыбнулся и заговорил.

— Братья и сестры, — сказал он, — алоха. —

Толпа зааплодировала, улыбка его расширилась, приобретая сонную обольстительность. — Алоха и махало за то, что позвали меня в ваши прекрасные края.

Мне кажется особенно справедливым, что мы собрались сегодня именно здесь; знаете ли вы, как называется — так мне сказали — этот дом? Да-да, у него есть имя, как у каждого роскошного особняка во всем мире, надо думать, — он называется Хале-Кеалоха, Дом Алоха — Дом Любви, Дом Возлюбленных.

Мне это особенно близко, потому что и я назван в честь дома — Бетесда. Кто помнит Библию, Новый Завет? Ага, вижу руку в задних рядах, и еще одну. Сестра в заднем ряду, скажи, что это значит. Правильно — купальня Вифезда, что значит "дом милосердия", где Христос исцелил калеку. Ну вот, я — Дом Милосердия в Доме Любви.

Меня пригласил сюда — не именно сюда сегодня, а на ваши острова, в ваш дом — мой добрый друг, брат, сидящий вон там справа, брат Луи. Спасибо, брат Луи.

Мне стыдно признаться, но когда меня позвали сюда приехать, я думал, что все знаю про эти места. Я думал — ну ананасы. Я думал — радуги. Я думал — танцовщицы, которые двигают бедра-

ми туда-сюда, и все это мило и приятно. Да-да, я понимаю! Но так я думал. Но за несколько дней, даже еще не уехав из Калифорнии, я понял, что ошибаюсь.

Мне стыдно сказать, но я и ехать-то сюда не хотел поначалу. То, что у вас тут есть, думал я, — это не настоящая жизнь. Это не часть мира. Я живу возле Окленда — вот там настоящая жизнь. Вы видите, что там происходит, с чем нам приходится бороться — с угнетением чернокожих людей, угнетением, которое существует со времен основания Америки и которое не прекратится, пока не выгорит дотла, а мы начнем новую жизнь. Потому что нельзя исправить то, чем является Америка, — нельзя немножко подправить что-то там и сям и сказать, что справедливость восстановлена. Нет, братья и сестры, справедливость восстанавливается не так. Моя мать работала помощницей медсестры в так называемой Хьюстонской негритянской больнице и рассказывала мне про мужчин и женщин, которые поступали с инфарктом, пытались вдохнуть, их ногти синели из-за нехватки кислорода. Старшие сестры велели матери массировать пациентам руки, чтобы кровь не застаивалась в конечностях, и тогда их ногти снова розовели, руки теплели

под ее прикосновениями. Но в один прекрасный день она поняла, что это ничего не решает — их руки выглядели лучше, может быть, даже лучше функционировали, но их сердца так и оставались больными. Ничто на самом деле не менялось.

И точно так же ничто не менялось и здесь. Америка — страна с греховным сердцем. Вы понимаете, о чем я. Одних людей согнали с их земли; других людей украли из их земли. Мы сменили вас — но ведь мы вовсе не хотели сменять вас, мы хотели, чтобы нас оставили в покое. Никто из наших предков, наших прапрапрадедов, не просыпался в один прекрасный день с мыслью: "А не поехать ли мне за тридевять земель, захватить побольше земли, повоевать с людьми, которые живут там испокон века?" Никогда, никто. У нормальных людей, приличных людей таких идей не бывает — это идеи дьявола. Но этот грех, эта отметина никогда не стирается, и хотя не мы послужили ее причиной, мы все ею заражены.

Я объясню, почему так получается. Представьте себе снова человеческое сердце, но на этот раз — запачканное маслом. Не сливочным, не растительным, а машинным, густым, вязким, черным, которое липнет к рукам и к одежде, как смола. Всего капля масла, думаете вы, оно рано или

поздно смоется. И вы пытаетесь о нем забыть. Но происходит иное. Вместо этого с каждым ударом, с каждым стуком вашего сердца это масло, эта маленькая отметина, распространяется дальше и дальше. Артерии уносят его, вены приносят обратно. И с каждым круговоротом по вашему телу оно оставляет отложения, так что в какой-то момент — не сразу, но со временем — каждый орган, каждый кровеносный сосуд, каждая клетка будет запачкана этим маслом. Иногда вы даже не видите его — но знаете, что оно там. Потому что со временем, братья и сестры, это масло окажется везде: оно покроет внутреннюю поверхность ваших вен, оно облепит вам кишечник и печень, оно окутает вашу селезенку и почки. Ваш мозг. Эта крохотная капля масла, этот плевочек, на который, как вам казалось, можно не обращать внимания, теперь везде. И уже нет способа очиститься; единственный способ очищения — это остановить сердце навсегда, вытравить его из тела. Единственный способ очищения — покончить с этим. Если вы хотите уничтожить такое пятно, вам придется уничтожить его носителя.

Минутку, минутку, скажете вы. К нам, на Гавай'ях, это какое имеет отношение? Наша страна, скажете вы, — не человеческое тело. Метафора не

работает. Но — вы уверены? Вот мы сидим здесь, братья и сестры, в этом прекрасном краю далеко от Окленда. Но ведь мы совсем не далеко. Потому что вот в чем дело, братья и сестры: да, у вас тут есть ананасы. У вас есть радуги. У вас танцовщицы. Но все это — не ваше. Вот брат Луи показал мне ананасовые плантации — и чьи же они? Не ваши. А радуги? Да, они здесь есть, но видны ли они вам за поднимающимися небоскребами, за гостиницами и жилыми комплексами в Вайкики? И кому принадлежат эти здания? Вам, может быть? Или вам? Эти танцовщицы — это ваши сестры, ваши темнокожие сестры, а вы даете им танцевать — для кого?

В этом разлад здешней жизни. Вот та ложь, которой вас пичкают. Я смотрю на вас — на ваши темные лица, на ваши курчавые волосы, — а потом вижу, кто управляет здесь всем. Я смотрю на ваших выборных чиновников. Я смотрю на тех, кто управляет вашими банками, вашими компаниями, вашими школами. Они не похожи на вас. Так что же получается — вы бедны? У вас нет денег? Вы хотите пойти учиться? Вы хотите купить себе дом? Но не можете? А почему? Почему, как вы считаете? Потому, что вы все дураки? Или потому, что вы недостойны учиться и иметь

пристанище? Потому, что вы плохие?

Или, может быть, дело в том, что вы позволили себе задремать, забыть обо всем? Ваша земля течет не молоком и медом, а сахаром и солнцем, и вас это опьянило. Вы обленились. Вы расслабились. И что же происходило, пока вы катались на серфе, пели и раскачивали бедрами? Вашу землю, вашу собственную душу отняли у вас — по маленькому, крошечному кусочку — прямо под вашим коричневым носом, а вы смотрели и ничего — ничего — не сделали, чтобы это остановить. Если бы кто наблюдал за вами, ему бы показалось, что вы хотели от всего отказаться. “Берите мою землю! — говорили вы. — Берите все без остатка! Мне все равно. Я вам мешать не стану”.

Он умолк, покачиваясь, красной банданой вытер со лба пот. Толпа не издавала ни звука, но в воздухе что-то гудело, как рой насекомых, и когда он снова заговорил, его голос был мягче, добрее и почти успокаивал.

— Братья и сестры. У нас есть еще кое-что общее. Мы — из земли царей. Мы были царями и царицами, принцами и принцессами. Мы были богаты, и богатство передавалось от отца к сыну, а потом к внуку и правнуку. Но вам-то повезло, друзья мои. Вы помните своих царей и цариц. Вы

знаете их имена. Сейчас 1969 год. Тысяча девятьсот шестьдесят девятый. Что это значит? Прошел всего семьдесят один год с той поры, как вашу землю украли американцы; семьдесят шесть лет с тех пор, как вашу королеву предали американские дьяволы. И вот вы — да, конечно, не все, но многие из вас, братья и сестры, многие из вас — зовете себя американцами. Вы — американцы? Вы верите в эту чушь — что “Америка для всех”? Америка не для всех — она не для нас. Вы ведь это и так знаете, правда? В сердце и в душе? Вы знаете, что Америка вас презирает? Им нужна ваша земля, ваши поля и ваши горы, но вы — вы Америке не нужны.

Эта земля никогда не была их землей. По закону и то это не совсем их земля. Она была отнята. Это не ваша вина. Но что она до сих пор отнята — это уже ваша вина.

Вы позволяете им откупаться от вас, братья и сестры. Вы позволяете им обещать, что когда-нибудь они вернут вам немного вашей земли. Но оглянитесь вокруг — вы знаете, что в здешних тюрьмах больше всего именно вас? Что среди бедных больше всего именно вас? Что среди тех, кто голодает, больше всего именно вас? Вы знаете, что вы умираете раньше, что ваши младенцы

умирают чаще, что вы умираете в родах больше всех остальных? Вы — гавайцы. Это ваша земля. Пора вернуть ее себе. Почему вы живете на своей земле как арендаторы? Почему вы боитесь потребовать свое? Я иду по Вайкики — как шел вчера — и вижу, что вы улыбаетесь и благодарите белых дьяволов, этих жуликов и воров, за то, что они приехали на вашу землю? “Спасибо, что приехали! Алоха, что приехали! Спасибо, что приехали на наши острова, — мы надеемся, вам здесь будет хорошо!” Спасибо? Да за что спасибо? За то, что вы стали нищими в собственной стране? За то, что вы и ваши короли и королевы превратились в шутов и клоунов?

Снова раздался гул, и зрители как будто все одновременно отшатнулись. Произнося эту часть своей речи, он говорил все тише и тише, но после паузы, которая повисла в воздухе на несколько невыносимых секунд, он снова заговорил во весь голос:

— Это ваша земля, братья и сестры. Это ваша забота — вернуть ее себе. Вы можете это сделать. Вы должны это сделать. Если вы не сделаете так для себя, никто вам не поможет. Кто станет уважать вас, если вы не требуете уважения к себе?

Прежде чем приехать сюда, прежде чем ока-

заться на вашей земле — вашей земле, — я кое-что изучил. Я пошел в публичную библиотеку и стал читать. И хотя в книгах было много вранья, как почти во всех книгах, дорогие братья и сестры, это было не важно, потому что ты научаешься читать между лукавых строк, ты научаешься вычитывать правду, которая скрывается за пеленой лжи. И вот, читая, я наткнулся на песню. Я понимаю, что многие из вас знают эту песню, но я прочитаю только ее текст, без музыки, по-английски, чтобы вы по-настоящему услышали слова:

Достойны дети Гавай'ев
Вечно верны земле
Когда видят гонца лукавого
И его документы о краже…

Он не успел еще произнести первую строчку, как ее подхватили и запели, и хотя он сказал, что мы должны вслушаться в слова, он хлопнул в ладоши, когда зазвучала мелодия, и еще раз, когда первый из собравшихся — его друг, брат Луи — встал и начал танцевать. Эту песню знали мы все — она была написана вскоре после свержения королевы. Я всегда считал, что это старинная песня, хотя, как указал Бетесда, она была не такая уж старинная — некоторые люди,

слышавшие, как Королевский гавайский оркестр играл ее впервые, были еще живы; дедушки и бабушки некоторых сегодняшних гостей наверняка помнили королеву в одеянии из черного бомбазина, милостиво машущую им рукой со ступеней дворца.

Бетесда стоял и смотрел на нас, снова широко улыбаясь, как будто все это случилось по его велению, как будто он вернул нас к жизни после долгой спячки и теперь видел: мы вспоминаем, кто мы такие. Мне не нравилось самодовольство у него на лице, как будто мы — умные дети, а он — наш неутомимый учитель. Каждый куплет пели сначала по-гавайски, потом по-английски, и мне не нравилось, как он читает перевод с листочка бумаги, который вытащил из кармана брюк.

Но больше всего мне не понравилось выражение лица Эдварда, когда я на него взглянул: с восхищением, которого я никогда в нем раньше не замечал, подняв вверх кулак, как Бетесда, он голосил самые известные строки песни, словно перед ним тысячи зрителей и все они собрались послушать, как он скажет что-то неслыханное.

‘A’ole a’e kau i ka pulima
Maluna o ka pepa o ka ‘enemi

Ho’ohui ‘aina ku’ai hewa
I ka pono sivila a’o ke kanaka

‘A’ole makou a’e minamina
I ka pu’u kala a ke aupuni
Ua lawa makou i ka pohaku
I ka ‘ai kamaha’o o ka ‘aina

О, не подписывай эти
Бумаги своих врагов
Они о захвате греховном
И продаже прав людских

Нам не нужны эти горы
Правительственных монет
Но пусть у нас будут камни
Нашей волшебной земли.

Если бы ты спросил у моей матери, что произошло потом — я-то, конечно, не могу, да и никто не стал бы, — она бы сказала, что это случилось внезапно и совершенно неожиданно. Но это неправда. Хотя я понимаю, почему она так считает. После многолетнего бездействия — ни с того ни с сего, наверное, сказала бы она — случился прорыв. Вечером мы с тобой были в

доме на О’аху-авеню, лежали в своих кроватях, а в следующий вечер — нет. Я знаю, позже она говорила, будто мы не ушли, а исчезли, будто это произошло вдруг, без предупреждения. Иногда она рассказывала об этом как о потере, словно мы какие-нибудь пуговицы или булавки. Но это, конечно, было скорее что-то вроде постепенного исчезновения — кусок мыла уменьшался и разглаживался в ничто, растворяясь между ее пальцами.

Впрочем, еще кое-кто согласился бы с трактовкой моей матери, и, как ни смешно, это был Эдвард. Позже он говорил, что та ночь в Хале-Кеалоха “преобразила” его, что это было своего рода воскрешение. Я верю, что ему так казалось. В ту ночь, возвращаясь в город, мы почти все время молчали: я не знал, что думать о Бетесде и о том, что он говорил, а Эдвард — потому что случившееся так его поразило. По дороге он время от времени ударял ладонью по рулю и бормотал “Черт!”, или “Ничего себе!”, или “Господи!” — и будь мне тогда поспокойнее, я бы решил, что это смешно. Смешно или тревожно — ведь Эдвард так сдержанно реагировал буквально на все, а тут издавал одни восклицания и ничего связного сказать не мог.

Речь Бетесды записали, и Эдвард ее добыл. На протяжении нескольких недель мы лежали на матрасе в комнате, которую он снимал в долине у одной семьи, и слушали ее снова и снова на его катушечном магнитофоне, пока оба не затвердили наизусть — не только саму речь, но и злые выкрики толпы, поскрипывание половиц, когда Бетесда переступал с ноги на ногу, пение, едва слышное и дребезжащее, на фоне которого Бетесда иногда хлопал в ладоши, и это звучало раскатами грома.

Но даже после той ночи прошло несколько месяцев, прежде чем я понял, что для Эдварда что-то безвозвратно изменилось. Я никогда не знал за ним (насколько я вообще его знал) склонности к безделью или вспышкам энтузиазма, стремления чем-то увлекаться — не то чтобы я видел его растущий интерес к гавайскому суверенитету и считал, что это просто такой этап, — наоборот, я не сомневаюсь, что значительную часть этого своего преображения он от меня скрывал. Дело не в том, что он вел себя двулично, скорее для него это была вещь драгоценная, драгоценная и личная, и в каком-то смысле неизъяснимая — так что он хотел беречь и холить ее наедине с собой, где никто другой ничего бы не видел и не смог бы

ничего сказать.

Но если можно привязать точное время к этому зарождению его иного “я” — возможно, я бы назвал декабрь 1970-го, примерно через год после того, как мы слышали речь Бетесды в том доме в Ну’уану. Даже тогда моя мать, в общем-то, не знала, что Эдвард снова появился в моей жизни, — он по-прежнему высаживал меня у подножия холма, он по-прежнему не заходил к нам в дом. Прежде чем выйти из машины, я спрашивал, не хочет ли он зайти, и он каждый раз отвечал, что не хочет, а я испытывал облегчение. Но однажды вечером на мой вопрос он ответил “Ага, можно”, как будто принимал это предложение регулярно и основывался исключительно на собственном настроении.

— Ага, — сказал я. Я не мог сделать вид, что он шутит, — как я уже говорил, он не шутил никогда. Так что я вылез из машины, и через секунду он вышел вслед за мной.

Мы поднимались по холму, и я нервничал все сильнее; дойдя до дома, я пробормотал что-то в том духе, что мне надо на тебя посмотреть — в те дни, когда я брал тебя с собой, я садился на заднем сиденье и держал тебя на руках, — и помчался на второй этаж, где ты спокойно спал в своей

кроватке. Мы недавно поставили тебе собственную кроватку, маленькую, низкую, окруженную подушками, потому что ты спал беспокойно, все время ерзал и запросто мог скатиться с матраса на пол. “Кавика, — помню, прошептал я тебе, — что же мне делать?” Но ты, конечно, не ответил — ты спал, и тебе было всего два года.

Когда я спустился обратно, моя мать и Эдвард уже поздоровались и ждали меня за обеденным столом.

— Эдвард говорит, вы встретились снова, — сказала она, когда мы положили еду на тарелки, и я кивнул. — Не кивай, открой рот, — сказала она, и я прокашлялся и заставил себя ответить.

— Да, — сказал я.

Она повернулась к Эдварду.

— А что ты будешь делать на Рождество? — спросила она, как будто виделась с Эдвардом каждый месяц, как будто знала, как он обычно проводит Рождество, и поймет, обычны или необычны его планы в этом году.

— Ничего, — ответил он и, чуть помолчав, добавил: — Я вижу, у вас елка.

Он сказал это без особого выражения, но моя мать уже относилась к нему с подозрением и поэтому была начеку. Она выпрямилась и сказала

“Да”, тоже без выражения.

— Не очень-то по-гавайски, да? — сказал он.

Мы все посмотрели на елку, стоявшую в углу веранды. У нас была елка, потому что у нас всегда была елка. Каждый год с материка доставляли сколько-то елок— не очень много, — и их можно было купить за дикие деньги. В дереве не было ничего особенного, кроме сладковатого, туалетного запаха, который я много лет связывал со всем материком. На материке был асфальт, снег, шоссе и запах елок, как и положено стране, застывшей в вечном объятии зимы. Мы почти никак ее не украшали — собственно, этим в основном занималась Джейн, — но в том году она казалась интереснее обычного, потому что теперь у нас был ты, и ты уже мог дергать елку за лапы и смеяться, когда тебя за это отчитывали.

— Дело не в том, по-гавайски это или не по-гавайски, — сказала моя мать, — это традиция.

— Да, но чья традиция? — спросил Эдвард.

— Всех, — ответила она.

— Ну не моя, — сказал Эдвард.

— Это вряд ли, — сказала моя мать — и потом обратилась ко мне: — Вика, передай мне, пожалуйста, рис.

— Нет, не моя, — повторил Эдвард.

Она не ответила. Только много лет спустя я смог оценить хладнокровие, которое моя мать проявила в тот вечер. В тоне Эдварда не было ничего вызывающего, но она уже все поняла — задолго до меня; вокруг меня, когда я рос, не было никого, кто ставил бы под сомнение, кто я такой и чего заслуживаю, — в отличие от нее. Ее право на имя и род постоянно подвергалось сомнению. Она понимала, когда ее пытаются провоцировать.

Он прервал ее молчание:

— Это христианская традиция. Не наша.

Она позволила себе слегка улыбнуться, подняв глаза от тарелки.

— То есть гавайцев-христиан, значит, быть не может?

Он пожал плечами:

— Среди настоящих гавайцев — нет.

Ее улыбка стала еще шире и напряженнее.

— Понятно, — сказала она. — Мой дед бы очень удивился. Он вообще-то был христианином и служил при королевском дворе.

Он снова пожал плечами.

— Я не говорю, что гавайцев-христиан не существует, — сказал он. — Просто эти понятия друг другу противоречат. — (Позже он повторил это мне, добавив пример из области, не относящей-

ся к его собственному опыту: “Вот люди вечно говорят о негритянском христианском опыте. Но разве негры не знают, что тем самым они оправдывают методы своих угнетателей? Их подталкивали к христианству, чтобы они думали: за гробом их ждет лучшая жизнь, и это после многих лет поругания. Христианство оказывалось способом контролировать их сознание, им же и остается. Все это морализаторство, разговоры о грехе — они это скушали и теперь заперты в идеологической тюрьме”.) Она ничего не ответила, и он продолжал: — Это же христиане отняли у нас наши пляски, наш язык, нашу религию, нашу землю — даже нашу королеву. Вам ли не знать. — Тут она посмотрела на него изумленно, как и я, — никто еще не обращался к моей матери с такими заявлениями, — а он не опустил взгляд. — Так что странно, чтобы настоящий гаваец разделял мировоззрение, адепты которого отняли у него все.

(Настоящий гаваец, истинный гаваец — я впервые слышал в его устах эти слова, и скоро они мне невероятно надоели: и потому, что в них слышалось обвинение, и потому, что я их не понимал. Я знал только, что настоящий гаваец не похож на меня — настоящий гаваец злее, беднее, реши-

тельнее. Он говорит на родном языке — бегло; он танцует — могуче; он поет — проникновенно. Он не только не американец — он разозлится, если его так назвать. Единственное, что объединяло меня и настоящего гавайца, — это цвет кожи и кровь, хотя позже даже моя семья окажется минусом, подтверждением моей соглашательской позиции. Даже мое имя будет сочтено недостаточно гавайским, хотя это имя гавайского короля: поскольку это гавайский вариант христианского имени, оно, соответственно, абсолютно не гавайское.)

Мы могли сидеть, застыв, до скончания века, если бы моя мать не поглядела на меня — злобно, не сомневаюсь — и не охнула. Я услышал, как она говорит “Вика!” — и когда я снова открыл глаза, оказалось, что я лежу в своей кровати и в комнате темно.

Она села рядом.

— Осторожно, — сказала она, когда я попытался привстать, — у тебя был припадок, ты ударился головой. Врач сказал, что тебе надо денек побыть в постели. С Кавикой все в порядке, — сказала она, стоило мне открыть рот.

Мы некоторое время молчали. Потом она сказала:

— Я хочу, чтобы ты больше не встречался с Эдвардом. Ты понял, Вика?

Я мог бы рассмеяться, я мог бы фыркнуть, я мог бы сказать ей, что я взрослый человек, что она больше не может мне указывать, с кем общаться, а с кем нет. Я мог бы сказать ей, что в Эдварде меня тоже многое тревожит, но и волнует и что я не перестану с ним видеться.

Но я ничего из этого не сделал. Я лишь кивнул, и закрыл глаза, и, засыпая, услышал, как она говорит “Вот и молодец”, и ощутил ее ладонь на лбу, и, теряя сознание, я чувствовал, что я снова ребенок, что мне дают шанс заново прожить свою жизнь и что на этот раз я все сделаю правильно.

Я сдержал обещание. Я не виделся с Эдвардом. Он звонил, но я не подходил к телефону; он заезжал, но я велел Джейн говорить, что меня нет. Я оставался дома и смотрел, как ты растешь. Выходя из дому, я нервничал: Гонолулу был (и остается) маленьким городом на маленьком острове, и я все время боялся, что столкнусь с ним, но почему-то так и не столкнулся.

В течение тех трех лет, что я прятался, в моей жизни не менялось ничего. Но ты менялся: ты научился говорить — сначала целыми предложениями, потом целыми абзацами; ты научился

бегать, читать, плавать. Мэтью научил тебя взбираться на нижнюю ветку мангового дерева; Джейн научила тебя отличать спелый манго от волокнистого. Ты выучил несколько слов по-гавайски от моей матери и несколько слов на тагалог — от Джейн, но тайно: твоя бабушка не любила, как звучит этот язык, и ты знал, что при ней своих знаний демонстрировать не стоит. Ты разобрался, какая еда тебе нравится — как и я, ты больше любил соленое, чем сладкое, — и подружился со многими детьми без всяких усилий, что мне никогда не удавалось. Ты научился звать на помощь, когда у меня случалась судорога, а потом, когда приступ кончался, подходил и гладил меня по лицу, и я хватал тебя за руку и так держал. В те годы ты особенно сильно меня любил. Ты не мог любить меня больше — или даже так же, — как я любил и люблю тебя, но в то время наша взаимная привязанность была крепче всего.

Ты менялся, как менялся весь мир. Каждый вечер по телевизору показывали как минимум один репортаж о протестах минувшего дня: сначала протестующие выступали против войны во Вьетнаме, потом за права чернокожих, потом женщин, потом гомосексуалов. Я смотрел на

экран нашего маленького черно-белого телевизора и видел огромные колышущиеся массы людей в Сан-Франциско, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в Окленде, и в Чикаго — и всегда думал: а Бетесда, который покинул остров сразу, как произнес ту речь, он тоже в одной из этих толп? Почти все протестующие были молоды, и хотя я тоже был молод — мне и тридцати еще не было в 1973 году, — мне казалось, что я гораздо старше, я не узнавал себя ни в ком из них и не мог принять их борьбу и их страсти как свои. Дело было не только в том, что я выглядел иначе; я не мог понять их горячность. Они родились, понимая и ощущая, что мир шатает из стороны в сторону, а я нет. Я хотел, чтобы время текло мимо меня, чтобы каждый следующий год не отличался от предыдущего, чтобы единственным моим календарем был ты. А они хотели остановить время — остановить, а потом ускорить, чтобы оно мчалось все быстрее и быстрее, пока весь мир не вспыхнет огнем и не начнется заново.

Здесь тоже происходили перемены. Иногда по телевизору рассказывали про Кейки-ку-Али'и. Это было объединение коренных гавайцев, которые, в зависимости от того, кого из членов этого объединения спрашивали и в какой день,

требовали то ли отделения Гавай'ев от Соединенных Штатов, то ли реставрации монархии, то ли особого статуса для урожденных гавайцев, то ли создания гавайского государства. Они хотели, чтобы уроки гавайского языка были обязательным школьным предметом, они хотели, чтобы здесь был король или королева, и они хотели выгнать всех хоуле. Они даже гавайцами себя уже не хотели называть: теперь они назывались канака маоли.

Мне всегда представлялось, что даже смотреть эти репортажи незаконно, и я вообще перестал смотреть вечерние новости — вдруг что-нибудь такое покажут, когда мы в комнате вместе с моей матерью. Я включал телевизор, только когда ее не было дома, и даже тогда убавлял звук, чтобы услышать ее шаги, если она вернется раньше, и успеть выключить телевизор. Я сидел близко к экрану, готовый быстро-быстро нажать на кнопку, и мои ладони потели от волнения.

Почему-то я испытывал потребность защитить — не мою мать, а этих протестующих, косматых молодых мужчин и женщин, моих сверстников, которые пели хором и поднимали кулаки, подражая членам группировки "Власть черных". Я знал, что моя мать про них думает — "Вот иди-

оты, — пробормотала она почти ласково после первого такого выпуска, который мы просмотрели в напряженном молчании год назад, — сами ведь не понимают, чего хотят. Что произойти-то должно, а, как им кажется? Нельзя требовать реставрации монархии и создания нового государства одновременно", — и почему-то мне не хотелось и дальше слушать эти ее нападки. Я понимаю, что в этом нет логики, тем более что я и не думал иначе: да, они выглядели комично со своими футболками и копнами волос, когда начинали прерывисто петь, стоило камере к ним повернуться; их лидеры по-английски говорили плохо, но и в гавайском спотыкались. Мне было стыдно за них. Они очень громко кричали.

Но при этом я им завидовал. Я никогда не испытывал таких бурных чувств ни к чему — кроме тебя. Я смотрел на этих людей и понимал, чего они хотят, — и желание тут оказывалось сильнее логики и организации. Мне всегда говорили, что надо стараться жить счастливой жизнью, но может ли счастье дать тот жар, ту энергию, которую гнев, безусловно, дает? Они действовали с таким энтузиазмом, который перебивал любое другое желание, — если уж он есть, ты ничего больше не захочешь. По ночам я пытался представить

себя одним из них. Могу ли я так воспламениться? Могу ли я чего-то так страстно хотеть? Могу ли я считать, что со мной поступили жестоко и несправедливо?

Я не мог. Но я стал стараться. Я говорил уже, что раньше не очень-то и задумывался о том, что это такое — быть гавайцем. Все равно что думать о том, что ты мужчина, что ты человек, — да, это то, из чего я состою, и такая формулировка всегда казалась мне достаточной. Я стал размышлять, нет ли других способов самоотождествления, не ошибался ли я всю жизнь, не оказался ли не способен увидеть то, что эти люди, судя по всему, видят совершенно ясно.

Я пошел в библиотеку и перечитал книги о перевороте; я пошел в музей, где в стеклянной витрине была выставлена шляпа с перьями, принадлежавшая моему прадеду и переданная туда — вместе с витриной — моим отцом. Я пытался что-то почувствовать, но все, что мне удавалось почувствовать, — это слабое ощущение иронического недоверия: не хоуле делают что-то, прикрываясь моим именем, а вот эти самые активисты. Кейки-ку-Али'и — дети вождей. Но я-то действительно был ребенком вождей. Когда они говорили о короле, которого следует

восстановить, они имели в виду меня, мои права — и при этом знать не знали, кто я такой; они говорили о возвращении короля, но им не приходило в голову спросить у короля, хочет ли он, собственно, возвращаться. Но знал я и то, что мое происхождение всегда будет важнее меня самого — собственно, только оно придавало мне хоть какую-то значимость. С какой стати им бы пришло в голову спрашивать меня?

Они и не спрашивали, но Эдвард мог бы. Должен признаться, что я боялся связаться с ним, но постоянно его искал. Я вглядывался в экран телевизора, изучая толпу протестующих, которые пытались проникнуть в кабинет губернатора, в кабинет мэра, в кабинет университетского ректора. Пару раз я видел Луи — брата Луи, — но Эдварда не видел ни разу. Однако я не сомневался, что он где-то там, за кадром, стоит, прислонившись к стене, и оглядывает толпу. В моем воображении он даже становился каким-то вождем, уклончивым и трудноуловимым, который награждал приверженцев редкой улыбкой, когда был ими доволен. По ночам мне снилось, что он стоит в сумрачном доме вроде Хале-Кеалоха и произносит речь; просыпаясь, я изумлялся, восхищался его красноречием и ясностью, пока не соображал,

что так поразившие меня слова принадлежали не ему, а Бетесде, — я повторял их про себя так часто, что они стали неким мотивом моего подсознания, как государственный гимн или та песня, что Джейн пела мне в детстве и которую я теперь пел тебе: “Желтая птичка на ветке высоко, / Вижу, тебе, как и мне, одиноко…”

Так что когда я с ним в конце концов столкнулся, удивительно было лишь то, что это не произошло раньше. Была среда — я помню это, потому что по средам, проводив тебя в школу, я пускался в долгую прогулку, шел аж до Вайкики, где сидел под деревом в парке Капи’олани, как мы сидели вместе, когда ты был младенцем, и ел крекеры. В каждой упаковке было восемь крекеров, но я съедал только семь, а последний крошил в порошок и скармливал майнам, а потом поднимался и шел дальше.

— Вика, — услышал я и, подняв взгляд, увидел, что это он идет мне навстречу.

— Так-так, — сказал он с улыбкой. — Давно не виделись, братец.

Раньше он не улыбался. И “братец” не говорил. Волосы он отпустил еще длиннее, чем прежде, местами они выгорели на солнце; они были заколоты в пучок, но отдельные выбившиеся пряди

парили вокруг его головы. Он загорел, отчего глаза казались светлее и ярче, но вокруг них появились морщины, и он похудел. На нем была выцветшая до бледно-голубого цвета гавайская рубашка и джинсовые шорты — он выглядел одновременно моложе и старше, чем мне помнилось.

Что не изменилось — так это полное отсутствие удивления при встрече. “Ты голодный?” — спросил он, и когда я ответил, что да, он сказал, что можно сходить в Чайнатаун и съесть лапши. “Машины у меня больше нет”, — сказал он, и когда я что-то обеспокоенно или сочувственно промычал, он махнул рукой. “Да не важно, — сказал он. — Потом выцарапаю. Просто сейчас нет”. Его резец с левой стороны был чайного цвета.

Он стал очень разговорчив, и это было главным изменением. (На протяжении первых шести месяцев после этого нашего последнего сближения я все время сравнивал, что изменилось, а что было знакомым, и это неизбежно приводило меня к одному и тому же пугающему выводу: я не знаю, кто он такой. Я знал некоторые факты, у меня были кое-какие впечатления, но все остальное я придумывал, делая из него человека, которого я хотел видеть.) За обедом и в последовавшие меся-

цы он говорил все больше, пока дело не дошло до таких дней, когда он часами ехал на машине (появившейся так же загадочно, как исчезнувшей) и говорил, говорил, говорил, и иногда я переставал что-либо слышать, откидывался на подголовник, и его слова переливались через меня, как скучный выпуск радионовостей.

О чем он говорил? Ну, сначала надо сказать не о чем, а как: у него появился некоторый призвук пиджина, хотя из-за того, что он вырос, не говоря на пиджине — он же был стипендиат и не попал бы в школу, если бы мать не следила, насколько грамотно он говорит по-английски, — звучало это искусственно и каким-то диким образом официально. Даже я мог оценить богатый и могучий повседневный пиджин, на котором говорили некоторые урожденные гавайцы, — этот язык не предназначался для обмена мнениями, на нем шутили, оскорбляли, сплетничали. Но Эдвард сделал его — по крайней мере, пытался сделать — языком наставлений.

Не было необходимости спрашивать у меня, понимаю ли я положение вещей, — он знал, что не понимаю. Я не понимал, почему наша судьба, судьба гавайцев, была связана с судьбой чернокожих людей на материке (“На Гавай’ях нет

чернокожих", — заметил я ему, повторяя сказанное моей матерью при просмотре телевизионного репортажа о каком-то расово мотивированном протесте на материке. "На Гавай'ях нет негров", — объявила она, и призрак того, что она не удосужилась добавить — вот и слава богу, — повис в воздухе). Я не понимал, каким образом нас можно использовать в качестве пешек, не понимал его довода, что переселенцы из восточных стран пользуются нашей слабостью, — многие азиаты, с которыми я сталкивался, были явно нищими или уж по крайней мере небогатыми, но с точки зрения Эдварда за исчезновение нашей земли они несли такую же ответственность, как миссионеры-хоуле. "Ты же видишь, как они ведут себя сейчас — покупают дома, открывают лавки, заводят бизнес, — сказал он. — Даже если они бедны, они бедными не останутся". При этом отделить азиатов и хоуле от нас вряд ли было возможно — каждый знакомый мне гаваец был либо отчасти азиатом, либо хоуле, либо и тем и другим, либо, в некоторых случаях, как Эдвард (хотя об этом я молчал), в основном хоуле.

Труднее всего мне было понять, что я и моя мать в принципе принадлежали к какому-то "мы". Приземистые темнокожие люди, медленные,

тяжелые, пьяные, дремлющие, которых я видел в парке, — это, может быть, гавайцы, но никакого родства с ними я не чувствовал. “Это тоже короли, Вика”, — упрекал меня Эдвард, и я молчал, но вспоминал, что мне сказала в детстве моя мать: “Лишь немногие — короли, Вика”. Может быть, я в конечном счете оказывался таким же, как моя мать, даже не желая этого; она бы сочла этих людей не сходными с ней, потому что считала, что они ниже ее, а я считал их не сходными со мной, потому что боялся их. Мне не приходило в голову отрицать общность расового происхождения, но мы принадлежали к разным породам людей, и это меня от них отделяло.

Все это время я считал, что Эдвард — член Кейки-ку-Али’и, в моих фантазиях, как я уже говорил, даже не просто член, а их предводитель. Но оказалось, что это не так. Он состоял в этой организации, сказал он мне, но быстро вышел из нее. “Сброд невежд, — фыркнул он. — Вообще не понимают, как можно сплотиться”. Он пытался научить их тому, что об этом узнал на континенте, он подталкивал их к большему охвату, к более радикальным действиям. Но их интересовали только мелочи, сказал он: чтобы нищим гавайцам выделяли землю, чтобы запускали

программы социального обеспечения. “Вот в чем тут проблема — все слишком провинциальное”, — часто говорил он. Дело в том — хотя его бы такая мысль глубоко оскорбила, — что он тоже был снобом, тоже считал себя лучше других.

Я, сам того не зная, сыграл свою роль в его разочаровании, сказал он мне. Это он выступал за реставрацию монархии, это он ввел в их разговоры понятия отделения и свержения. “Я объяснил им, что и так уже знаю короля”, — сказал он, и хотя это был не столько комплимент, сколько констатация факта — я бы стал королем, если бы о короле вообще могла идти речь, — он как будто меня похвалил, и я почувствовал, что мое лицо горит. Но разговоры об отделении и свержении, сказал он, оказались слишком страшными для большинства участников — они боялись, что из-за этого не смогут получать разные поблажки от государства; они стали спорить, и Эдвард потерпел поражение. “Жаль, — сказал он, выставив ладонь за окно автомобиля и перебирая пальцами, — что они оказались такими недалекими”. Мы ехали к Вайманало на восточном берегу, спускались, петляя по извилистой дороге, и я смотрел на океан, на его морщинистую синюю поверхность.

Мы собирались остановиться возле любимого кафе Эдварда перед самым Шервудским лесом, но вместо этого поехали дальше. В какой-то момент у меня случился приступ, я чувствовал, что голова опускается на подголовник, и слышал голос Эдварда, не разбирая слов, и ощущал свет солнца на веках. Когда я очнулся, машина стояла под большой акацией. Внутри пахло жареным мясом, и я повернулся к Эдварду — он смотрел на меня и ел гамбургер. “Просыпайся, лоло, — сказал он добродушно. — Я тебе бургер взял”. Я покачал головой, отчего все закружилось еще сильнее, — после приступов меня слишком сильно тошнило, чтобы есть. Он пожал плечами. “Как хочешь”, — сказал он и съел второй гамбургер, и когда он его доел, я уже чувствовал себя чуть лучше.

Он сказал, что хочет мне кое-что показать, и мы вышли из машины и куда-то пошли. Мы были где-то на самой северной оконечности острова — судя по окружавшей нас пустоте. Мы стояли среди огромного пространства нескошенной, высушенной на солнце травы, и вокруг не было ничего — ни домов, ни других строений, ни автомобилей. За спиной поднимались горы, перед нами простирался океан.

— Пойдем к берегу, — сказал Эдвард, и я после-

довал за ним.

Мы шли по ухабистой песчаной тропинке, никаких асфальтированных дорожек вокруг не было. Высокая трава стала редеть и в конце концов уступила место песку, и вот мы оказались на пляже, где волны бились о берег, откатывались назад и бились снова.

Не могу тебе объяснить, почему все это выглядело таким чужим. Может быть, из-за отсутствия людей — хотя тогда на острове еще были места, куда можно было отправиться и оказаться в полном одиночестве. Но эта местность казалась особенно уединенной, уединенной и покинутой. Хотя я не мог — и сейчас не могу — сказать почему: вокруг был песок, трава, горы, те три сущности, которые есть почти в любой точке острова. Деревья — пальмы, саманеи, панданы, акации — были такие же, как у нас в долине, и стебли геликонии тоже. Но все было необъяснимо иным. Позже я буду пытаться убедить себя, что, увидев этот клочок земли, я сразу понял, что вернусь туда, но это фантазия. Скорее наоборот — с учетом того, что там потом происходило, я стал помнить его иначе, как место, у которого есть какое-то значение, хотя в тот момент я не увидел ничего особенного, просто кусок незанятой земли.

— Ну как тебе? — спросил наконец Эдвард, и я посмотрел на небо.

— Красиво, — ответил я.

Он медленно кивнул, как будто я поведал что-то мудрое.

— Оно твое, — сказал он.

Он нередко так говорил, показывая из окна машины на пляж, где дети бегали по песку и запускали воздушных змеев, или на парковку, или когда мы ходили по Чайнатауну: эта земля — твоя, говорил он, и иногда это значило, что она моя из-за моих предков, а иногда — что она моя, потому что она и его тоже, и земля принадлежит нам, потому что мы гавайцы.

Но когда я обернулся к нему, я увидел, что он на меня внимательно смотрит.

— Эта земля — твоя, — повторил он. — Твоя и Кавики. Смотри, — сказал он, прежде чем я успел открыть рот, и вытащил из кармана бумагу, которую быстро развернул и протянул мне. — Я сходил в архив кадастрового учета в мэрии, — возбужденно сказал он. — Посмотрел данные вашей семьи. Эта земля принадлежит тебе, Вика, — она была собственностью твоего отца, а теперь она твоя.

Я прочитал написанное на бумаге. “Участок

45090, Хау'ула, 30,3 акра" — и больше ничего прочитать почему-то не смог и отдал ему листок.

Я очень устал и очень хотел пить; солнце над нами жгло слишком жарко. "Мне надо опять прилечь", — сказал я ему и почувствовал, что земля у меня под ногами расступается, а потом проваливается, и моя голова, как в замедленной съемке, упала в ладони Эдварду. Некоторое время было тихо. "Ну ты и лоло, — услышал я наконец его голос, но как будто издалека, и говорил он с нежностью. — Дурачок. Дурачок, дурачок, дурачок", — слово повторялось, нежно-нежно, а солнце надо мной остановилось и озарило все вокруг яркой, непреклонной белизной.

Кавика, я теперь могу обойти всю палату и не устану. Я прикасаюсь к стене правой рукой и иду; стены отштукатуренные, прохладные, неровные, и иногда я убеждаю себя, будто трогаю что-то живое, кожу какой-нибудь рептилии. Завтра вечером попробую пройти по коридору. Вчера вечером я впервые дотронулся до дверной ручки, не сомневаясь, что дверь заперта, но ручка легко подалась у меня под рукой, так легко, что я был почти разочарован. Но потом я вспомнил, что мне предстоит что-то новое и что каждый вечер, продвигаясь в своем хождении все дальше и

дальше, я приближаюсь к тебе.

Сегодня приходила твоя бабушка. Она говорила о ценах на свинину и о своих новых соседях, которых она явно не одобряет: он японец, выросший в Кака'ако, она хоуле из Вермонта; они оба исследователи, разбогатевшие на разработке какого-то антивирусного средства от болезни, поражающей деревья 'охаи али'и; я надеялся, что она расскажет что-то новое о тебе, но этого не случилось. Она очень давно тебя не упоминала; иногда я боюсь, что что-то случилось. Но только днем — почему-то по ночам я знаю, что с тобой все в порядке. Ты, конечно, далеко, может быть, слишком далеко, но я точно знаю, что ты жив, жив и здоров. Недавно ты снился мне с какой-то женщиной, вы шли по 57-й улице, как я когда-то ходил, и держались за руки. Ты поворачиваешься к ней, и она улыбается. Я не вижу ее лица, вижу только, что у нее темные волосы, как у твоей матери, но знаю, что она красивая и что ты счастлив. Может быть, именно это сейчас и происходит? Мне хотелось бы, чтобы это было так.

Но ты ведь не это хочешь услышать. Ты хочешь услышать, что случилось дальше.

На следующий день после поездки в Хау'ула я зашел к дяде Уильяму, который был очень удив-

лен — прошло больше пяти лет с тех пор, как я последний раз появлялся на работе, — и попросил его объяснить мне во всех деталях, как устроено владение недвижимостью в нашей семье. Что я его никогда раньше об этом не спрашивал, кажется сейчас чем-то абсурдным и даже постыдным — но меня это никогда не тревожило, вот и все. Когда мне нужны были деньги, деньги всегда были; не было никакого смысла задумываться, откуда они берутся.

Бедный дядя Уильям был в восторге, что я наконец-то проявляю интерес к имущественным делам, и начал расписывать, какая у нас есть земля и где. Ее оказалось гораздо больше, чем я ожидал, хотя все участки были скромные: семь акров на окраине Далласа, две парковки в Северной Калифорнии, десять акров сельскохозяйственной земли возле города Охай, к северу от Лос-Анджелеса. “Твой дедушка всю жизнь покупал дешевую землю на материке”, — сказал Уильям с такой гордостью, как будто это он сам ее покупал.

В конце концов я был вынужден его перебить. “А на Гавай’ях что? — спросил я, и когда он вытащил карту Мауи, я снова вмешался: — Конкретно — О’аху”.

И снова я удивился. Кроме нашего дома в Маноа, было два обшарпанных многоквартирных здания в Вайкики, три помещения на первом этаже вплотную друг к другу в Чайнатауне, маленький домик в Каилуа и даже церковь в Лаи. Я ждал, пока дядя Уильям описывал круг по штату против часовой стрелки, от юга Гонолулу и дальше, и жалел его, как никогда раньше не жалел, за эту нежность в голосе, за гордость, которую он испытывал за чужую землю.

Уильяма я жалел, а к себе самому испытывал отвращение. Что я сделал, чтобы хоть что-нибудь из этого заслужить? Ничего. Деньги — мои деньги — и правда росли на деревьях; на деревьях, и на полях, и среди бетонных коробок. Их собирали, очищали, пересчитывали, убирали на хранение, и стоило мне захотеть — прежде чем я успевал захотеть, — кипы банкнот появлялись передо мной, больше, чем мне хотелось, чем мне пришло бы в голову захотеть.

Я молча сидел и слушал дядю Уильяма, пока он наконец не сказал:

— И вот еще участок в Хау'ула.

И тут я выпрямился и наклонился вперед, глядя на карту острова, по которой он нежно проводил кончиками пальцев.

— Чуть больше тридцати акров, но бесполезный клочок земли, — сказал он. — Слишком засушливый и маленький для фермерства, слишком далеко от всего, чтобы там заводить усадьбу. Пляж тоже так себе — каменистый, кораллов многовато. Дорога грунтовая, штат не собирается тянуть туда асфальт. Соседей нет, ресторанов нет, магазинов нет, школ нет.

Он расписывал все недостатки участка, пока я в конце концов не спросил:

— Так зачем оно нам вообще нужно?

— А! — улыбнулся он. — Такая фантазия была у твоего дедушки, а отец относился к его фантазиям снисходительно и продавать не стал. Да-да, — сказал он, приняв выражение моего лица за гримасу удивления, — твой папа мог быть очень сентиментален. — Он снова улыбнулся, покачал головой и добавил: — Липо-вао-нахеле.

— Что-что? — переспросил я.

— Так твой дедушка называл этот клочок, — ответил Уильям. — Дословно — “Темный лес”, но он это переводил как “Райский лес”. — Он взглянул на меня. — Удивляешься, почему тогда не “Нахелекулани”? — спросил он, и я пожал плечами. Дядя Уильям знал гавайский намного лучше меня; дед оплатил его обучение языку,

когда тот был студентом и только начинал работу в семейной фирме. — В принципе ты прав, но твой дед Кавика объяснял, что это такое ленивое гавайское слово, составленное из нескольких, что это как назвать землю, не знаю, Кавикакулани. Кавикакулани: Райский Дэвид.

Он запел:

He ho'oheno ke 'ike aku
Ke kai moana nui la
Nui ke aloha e hi'ipoi nei
Me ke 'ala o ka lipoa

— Ты знаешь, конечно, эту песню. — (Я знал, это была популярная песня.) — *'Ka Uluwehi O Ke Kai,* "Безбрежное море". *Lipoa* — звучит похоже, правда? Но это не оно — здесь-то другое слово, *lipoa,* и это морские водоросли. Но твой дед говорил *lipoa,* как *ua lipoa wale i ka ua ka nahele,* "лес, темный от дождя" — очень красиво, правда? Ну вот, *Lipo wao nahele,* "Темный лес". Но твой дед сохранил *mana* этого названия — "Райский лес".

Он откинулся в кресле и улыбнулся нежной-нежной улыбкой — в ней сияла радость понимания языка, на котором я не говорил и который толком не понимал. Во мне внезапно поднялась ненависть — у него было нечто, чего не было у ме-

ня, причем речь шла не о каких-нибудь деньгах, а об этих вот словах, которые перекатывались у него во рту, как гладкие, сверкающие прибрежные камешки, белые и чистые, словно луна.

— Там где-то есть лес? — наконец спросил я, хотя вообще-то у меня в голове сложилось не вопросительное, а утвердительное предложение: там ведь нет никакого леса.

— Больше нет, — сказал Уильям. — Но когда-то был — по крайней мере, так говорил твой дед. Он собирался насадить его снова, чтобы это был его собственный рай. Твой отец не разделял любовь своего отца к этой земле; он думал, что от нее одни хлопоты. Но все-таки не продал. Он всегда говорил: это потому, что никто не купит; слишком далеко, слишком пусто. Хотя я давно подозревал, что так у него проявлялась сентиментальность. Они же не то чтобы были близки, по крайней мере, по их собственным словам, — но я думаю, что это не совсем правда. Они были просто очень похожи, и оба выросли, привыкнув к ситуации, казавшейся им проще и достойнее, чем попытка сблизиться. Но я-то понимал. Более того, я помню…

И он пустился в рассказы, которые я уже слышал: как мой отец разбил дедушкину машину и

так и не извинился; как мой отец плохо учился в старших классах и деду пришлось обеспечить дополнительный взнос в школьный фонд, чтобы тот все-таки смог выпуститься; как дед хотел, чтобы мой отец больше учился, а отец хотел больше заниматься спортом. Это были типичные проблемы отцов и детей, такие же далекие и неинтересные, как в книгах.

И за всем этим мерцали слова “Липо-вао-нахеле”, которые надо было петь, нести под языком, и хотя я смотрел, как дядя Уильям говорит, все время улыбаясь и кивая, думал я об этой — все-таки моей — земле, где я лежу под акацией и смотрю, как в нескольких ярдах от меня Эдвард стаскивает шорты и, ухая, вбегает в сверкающую воду и ныряет прямо в гребень такой огромной волны, что на протяжении нескольких секунд кажется, будто он стал жертвой какого-то алхимического опыта и кости его обернулись пеной.

Мне наконец было что сказать Эдварду. Хотя он и раскопал, что земля принадлежит мне, я мог теперь объяснить ему, какое значение придавал ей мой дед, последний человек в роду, к которому обращались “принц Кавика”. Сегодня мне стыдно подумать, как я был рад его радости, тому, что наконец-то смог ему что-то дать и с типичным

эгоизмом дарителя наблюдать, с каким восторгом он это принимает.

Это стало для нас своего рода кодовым словом. Не шуткой, но и не чем-то серьезным — так мне казалось. Воображения у меня не хватало, у него тем более, но мы стали говорить об этом как о чем-то настоящем, как будто стоило нам произнести название, там вырастало новое дерево, словно мы своими словами выращивали лес. Иногда мы брали тебя с собой, когда уезжали на выходные, и днем вы с Эдвардом плавали, а потом ты ложился ко мне под бок, и я рассказывал тебе сказки и истории, которые помнил с детства, заменяя каждый волшебный лес, каждую зачарованную долину на Липо-вао-нахеле. Домик ведьмы из сказки “Бензель и Гретель”, очень таинственный и малопонятный в детстве, с его пряничными стенами и леденцом на карнизах (Что такое пряник? Что такое леденец? Что такое карнизы?), превращался в пальмовую хижину в Липо-вао-нахеле, с крышей из створок высушенного манго, с занавеской из сухофруктов на веревочках, чей солено-сладкий аромат заполнял кухню ведьмы. Иногда я рассказывал тебе об этом, как будто это реально существующее место, — точнее, я говорил тебе, что там будет все, чего ты захочешь.

“Там есть кролики?” — спрашивал ты (в те годы ты был зациклен на кроликах) — и я отвечал: “Конечно”. Есть в Липо-вао-нахеле игрушечная железная дорога? Есть там игровой городок? Есть качели с шиной? Есть, есть, есть. Все, чего ты хотел, можно было найти в Липо-вао-нахеле, и не менее важно было то, чего там нет, — вечернего отбоя, мытья в ванной, домашних заданий, лука. В Липо-вао-нахеле не оказывалось места для всего, чего ты не любишь. Это было райское место еще и потому, что туда многое просто не допускалось.

А что я делал? В те годы тебе было пять, шесть, семь, восемь — и ты был еще достаточно мал, чтобы верить: раз я рассказываю тебе замечательные истории, я, наверное, тоже замечательный. Тогда казалось, что это не только безобидно, но и неплохо. Я впервые в жизни чувствовал, что действительно могу быть королем. Вот земля, которую мой дед считал раем, — почему же с этим не согласиться? Кто я такой, чтобы считать его мнение ошибкой?

Ты, наверное, задаешься вопросом, а что про все это думала твоя бабушка. Когда она обнаружила, что мы с Эдвардом снова вместе — а она не могла этого не обнаружить рано или поздно,

это было неизбежно, — она не разговаривала со мной целую неделю. Но чары Липо-вао-нахеле были таковы, что я, насколько мне помнится, вовсе не тревожился об этом. У меня был другой, более важный секрет, а именно место, где я могу чувствовать себя неуязвимым, место, где я в кои-то веки чувствовал себя спокойно, где мне не приходилось стыдиться или извиняться за то, кто я такой. В детстве я никогда, ни разу не бунтовал — а она все равно была разочарована, потому что мне не удавалось стать таким сыном, какой ей был нужен. Но это получалось не нарочно — и если честно, этот конфликт с ней доставлял мне известную радость, — я сопротивлялся, я приводил ее в отчаяние, я приглашал Эдварда к нам домой, к себе домой, предлагал сесть к нашему столу, и моя мать становилась заложницей.

Мы с Эдвардом стали ездить туда каждые выходные, и хотя в первую поездку я был подавлен и думал только о словах дяди Уильяма (бесполезный клочок земли), Эдвард был так счастлив, что я тоже позволил себе быть счастливым. “Здесь будет моя контора, — сказал он, расхаживая вокруг акации. — Мы сохраним дерево и устроим двор вокруг. А вот здесь мы построим школу, где детей будут учить только по-гавайски. А вот здесь, воз-

ле этой саманеи, будет твой дворец, видишь? Мы поставим его фасадом к воде, чтобы ты, проснувшись, мог видеть, как солнце поднимается из моря". В следующие выходные мы остались там на ночь, поставили палатку на пляже, и после заката Эдвард собрал десяток выброшенных на берег крошечных светлячковых кальмаров, нацепил их на ветки охии и поджарил. Наутро я проснулся рано, раньше Эдварда, и посмотрел на горы. В свете зари земля, которая обычно казалась совершенно иссушенной, выглядела изумрудной, нежной и уязвимой.

Теперь-то я понимаю, что Липо-вао-нахеле значило для нас разное — разное, но при этом одно и то же. Для нас обоих это была фантазия о пользе, о нашей собственной пользе. Эдвард унаследовал от матери немного денег — достаточно, чтобы снимать в Нижней долине, примерно в пяти минутах ходьбы от меня, крохотный коттедж, принадлежавший корейской семье; он время от времени работал маляром в строительной бригаде. У меня и того не было — когда ты уходил в школу, мне ничего не оставалось, кроме как ждать твоего возвращения. Иногда я помогал матери с какими-то простыми делами, вроде распихивания приглашений на ежегодный бла-

готворительный вечер Дочерей по конвертам, но чаще просто ждал. Я читал журналы или книги, долго гулял, спал. В те дни я с надеждой ждал своих приступов, потому что они доказывали, что мое бездействие — это не лень, не рассеянность, а неизбежность. “Ты не перегружен?” — спрашивал мой врач, лечивший меня с детства, и я всегда отвечал, что нет. “Это хорошо, — торжественно провозглашал он, — тебе нельзя перетруждаться, Вика”, — и я обещал, что не буду.

Мы были несущественными во всех отношениях. Я — для тебя и для моей матери, мы оба — для Гавай’ев. В этом была ирония ситуации: гавайская идея нам больше была нужна, чем мы ей. Никто не призывал нас взять дело в свои руки, никто не просил нашей помощи. Мы актерствовали, и поскольку наше притворство ни на кого не влияло — пока, конечно, не стало влиять, — мы могли делать что захотим. В чем только мы друг друга не убеждали! Что я стану королем, что он будет моим главным советником, что в Липо-вао-нахеле мы построим тот рай, о котором якобы мечтал мой дед, — хотя он-то уж точно не мечтал, чтобы его представителем оказался кто-то вроде меня. А на самом деле мы ничего не делали — даже не пытались насадить лес по

его заветам.

Разница между нами, однако, заключалась в том, что Эдвард в это верил. Веры ему было не занимать, больше ведь у него ничего не было. Липо-вао-нахеле было для него убежищем и времяпровождением, как и для меня, — но и чем-то большим тоже. Глядя в прошлое, я понимаю, что Эдварду нужно было чувствовать себя гавайцем, по крайней мере в соответствии с той картиной мира, которую он сам себе создал. Ему нужно было ощущать себя частью большой, великой традиции. Мать его умерла, отца он никогда не знал, друзей у него было мало, родственников не было вовсе. Гавайцем он хотел быть не столько по политическим, сколько, пожалуй, по личным причинам. Но и тут ему не удавалось убедить других — его выставили из Кейки-ку-Али'и, ему были не рады (так он выразился) на занятиях гавайским языком, которые он пытался посещать, его выгнали из халау, потому что работа маляра заставляла его пропускать слишком много занятий. Речь шла о том, что причиталось ему по праву рождения, но даже этого никто не хотел признавать.

А в Липо-вао-нахеле никто не мог сказать ему "нет", никто не мог утверждать, что он непра-

вильный гаваец. Там был только я и иногда ты, а мы верили всему, что он говорил. Я был королем, но он был вождем, и на протяжении лет эти тридцать акров в его сознании превратились из метафоры во что-то другое. Это все-таки было его королевство, мы были его подданными, и ни одна живая душа больше не имела права ни в чем ему отказать.

Первым шагом была смена наших имен.

Это произошло в 1978-м, за год до нашего отъезда. Свое имя он уже поменял в предыдущем году. Сначала его звали Экевака — это гавайская версия Эдварда, странное и неуклюжее для произнесения имя. Я испытал облегчение, когда он сказал, что его снова зовут по-другому — Пайэа; это было его собственное второе имя. “Настоящее гавайское имя”, — с гордостью сказал он, как будто сам его придумал, а не просто вспомнил, что оно вообще-то всегда у него было. Пайэа — краб, личное имя Камеамеа Великого. А теперь и Эдварда тоже.

Мне следовало бы ожидать, что он захочет и нам сменить имена, но почему-то, как часто бывало, мне просто в голову не пришло, что он потребует чего-то столь серьезного. “Гавайская версия обычного имени — это обычное имя, про-

сто нагуталиненное”, — сказал он. Было понятно, что термин “нагуталиненный” он выучил недавно, потому что от неуверенности его голос слегка сорвался.

— Но так звали короля, — сказал я, хотя редко ему перечил; я не столько спорил, сколько недоумевал. Что, король тоже не настоящий гаваец?

— Действительно, — признал он и на мгновение растерялся. Потом его лицо прояснилось. — Но в Липо-вао-нахеле мы начинаем с нуля. Твой род дает тебе право на трон, но мы начнем новую династию.

Он начал вести список “настоящих”, по его мнению, гавайских имен, таких, которые существовали до первого появления европейцев. Но он оплакивал их скудость и то, что они почти вымерли из-за неиспользования. Я по глупости никогда не думал о том, что имя, как растение или животное, может исчезнуть, потому что оно не популярно; смысл усилий Эдварда от меня тоже ускользал — нельзя просто взять и сделать имя распространенным. Имя — это не растение и не животное; его питает желание, а не необходимость, и поэтому оно полностью зависит от переменчивого интереса людей. Исчезли ли старые имена, как он утверждал, из-за

миссионерских запретов — или просто не смогли противостоять новизне западных имен? Эдвард на это ответил бы, что оба соображения исходят из одного и того же: их вытеснили непрошеные гости. Но разве осмысленное имя не может удержаться просто за счет своей осмысленности, даже перед лицом угрозы?

Я не задавал таких вопросов. Я даже не очень сопротивлялся, когда он дал новые имена — сначала мне, потом и тебе. Но ты ведь знаешь — я надеюсь, что знаешь, — я не позволил отнимать наше имя. Я надеюсь, ты заметил, что я называл тебя тем именем, которое он дал, только в его присутствии, что во всех остальных ситуациях ты по-прежнему был — и всегда будешь — моим Кавикой. И не только этому я по-своему, как мог, сопротивлялся — я приучился в конце концов звать его Пайэа, но про себя по-прежнему считал его Эдвардом и так его и называл.

Сейчас, рассказывая тебе обо всем этом, я поражаюсь, до какой степени все было ненастоящим. Мы почти ни про что ничего не знали: ни про историю, ни про работу, ни про Гавай'и, ни про ответственность. А что знали — пытались забыть: сестра моего прадеда, унаследовавшая престол после его преждевременной смерти, та, которую

свергли, та, при ком умерло королевство, — разве она не была христианкой? Разве она не наделила властью и богатством тех самых людей — белых христиан-миссионеров, — которые позже отняли у нее престол? Разве она не наблюдала за тем, как ее народ обучают английскому и побуждают ходить в церковь? Разве она не носила шелковые одеяния и бриллианты в волосах и вокруг шеи, как английская королева, разве ее черные волосы не умащали и не пытались укротить? Но такие факты стреноживали наши фантазии, и поэтому мы старались их не замечать. Мы были взрослыми, мы давно выросли из возраста, когда правила диктует воображение — но окружающий нас мир был воображаемым, — казалось, только от этого все и зависит. Что, по-нашему — по-моему, — должно было произойти? К чему должны были привести наши фантазии? Самый плачевный ответ заключается в том, что я вообще об этом не думал. Я воображал, потому что, воображая, я давал себе хоть какое-то занятие.

Не то чтобы мы хотели чего-то — наоборот, мы хотели, чтобы ничего не происходило. Ты взрослел, и мир становился все непонятнее. По вечерам я смотрел новости, репортажи про забастовки и протесты, про марши, изредка — про

празднования. Я видел, как закончилась война, видел салют вокруг статуи Свободы, как вода внизу сверкает, словно ее залили нефтью. Я видел, как приводят к присяге нового президента и как убивают того человека в Сан-Франциско. Как я мог объяснить тебе мир, если сам его не понимал? Как я мог выпустить тебя в мир, если он кишел страхом и ужасом, кошмарами, от которых я никогда не сумел бы тебя пробудить?

А в Липо-вао-нахеле ничто никогда не менялось. Это была не столько фантазия, сколько остановленная действительность — когда я оказывался там, время останавливалось. Если ты никогда не будешь взрослеть, день, когда ты будешь знать больше меня, когда сможешь смотреть на меня с презрением, никогда не настанет. Если ты никогда не будешь взрослеть, я никогда тебя не разочарую. Иногда я молил, чтобы время пошло назад — не на двести лет назад, как хотелось Эдварду, к тем незапамятным островам, а на восемь лет назад, когда ты был моим маленьким мальчиком, учился ходить, и все, что я делал, было чудом для тебя, и мне достаточно было позвать тебя по имени, чтобы ты расплылся в улыбке. “Не покидай меня никогда”, — шептал я тебе, прекрасно зная, что мое дело — вырастить тебя,

чтобы ты смог меня покинуть, что твоя цель как моего ребенка — покинуть меня, та цель, которую я сам осуществить не смог. Я эгоистично хотел, чтобы ты всегда любил меня. Мои действия исходили не из того, что было бы лучше всего для тебя, а из того, что было бы лучше всего для меня.

Но оказывается, и в этом я ошибался.

Кавика, вчера вечером случилось нечто очень важное: я вышел на улицу.

Я много месяцев мог ходить только по своей палате — на большее не хватало дыхания, а тем более духа. Но вдруг вчера вечером, без особых причин, я взялся за дверную ручку и вышел в коридор. Раз — и я в своей палате; два — и я снаружи, и ничто не изменилось, кроме того, что я совершил такую попытку. Знаешь, порой так и происходит: ты ждешь и ждешь и ждешь — потому что тебе страшно, потому что ты всю жизнь ждал, — а потом, в один прекрасный день, ожиданию приходит конец. И тогда ты забываешь, что это такое — ждать. То состояние, в котором ты находился — порой на протяжении многих лет, — исчезает, и твоя память о нем тоже. Остается одна лишь утрата.

На пороге я повернул направо и пошел по коридору, прикасаясь правой рукой к стене, чтобы

не сбиться с пути. Я так нервничал поначалу, что казалось — сейчас меня стошнит; каждый шорох заставлял меня сжиматься от страха.

Но потом — не знаю, далеко ли я ушел, сколько минут прошло, — произошло нечто очень странное. Я почувствовал, как меня охватывает восторг, экстаз, и внезапно — с той же внезапностью, что заставила меня схватиться за дверную ручку, — я перестал дотрагиваться до стены, передвинулся в центр коридора и пошел так быстро и уверенно, как, кажется, не ходил ни разу. Я шел все быстрее, все увереннее, словно каждый мой шаг творит новый камень под моей стопой, словно здание нарастает вокруг меня и коридор, если я не стану сворачивать, будет длиться бесконечно.

В какой-то момент я повернул направо, протягивая перед собой руку, и снова наткнулся на дверную ручку, как будто намечтал ее себе. Почему-то — не знаю почему — я понял, что эта дверь ведет в сад. Я потянул за ручку, и дверь еще не успела податься, а я уже чувствовал запах жасмина, который — я знал это, потому что Мама мне сказала, — рос вдоль всего забора.

Я начал ходить по саду. Мне никогда не приходило в голову, что я придавал хоть какое-то значение его размерам и дорожкам, когда меня

по нему возили, но за почти девять лет — поняв это, я остановился, и восторг мгновенно улетучился — я, видимо, запомнил все его очертания. Уверенность моя была так сильна, что на сбивающее с толку мгновение я задумался, не вижу ли я вновь, не изменилась ли сама природа зрения, может быть, теперь все и должно быть именно так. Потому что разглядеть я по-прежнему мог все тот же темно-серый экран, который висел перед моими глазами каждый день, но казалось, что это не имеет значения. Я шагал по тропинкам, и мне ни разу не пришлось остановиться, что-то нашарить, отдышаться — хотя если пришлось бы, я интуитивно знал, где стоят скамейки.

В дальнем конце сада была калитка, и я понимал, что если и на ней повернуть ручку, я окажусь снаружи — не просто снаружи, здесь, в тихом, теплом воздухе, но снаружи этого места, снаружи — в большом мире. Я некоторое время стоял, положив ладонь на калитку, и думал, что мне делать, как уйти.

Но потом я подумал: а куда я пойду? Я не мог вернуться в дом моей матери. И в Липо-вао-нахеле я вернуться не мог. В первом случае — потому, что я точно знал, что там обнаружу; во втором — потому, что его больше не существовало. Не

физически, но сама идея этого места исчезла вместе с Эдвардом.

Но ты, Кавика, должен мной гордиться. Когда-то это меня привело бы в смятение. Я был бы дезориентирован, я бы лег на землю и мычал, звал на помощь, я бы закрыл голову руками и молил вслух, чтобы горы накрыли меня, чтобы все вокруг перестало так быстро и мучительно двигаться. Ты видел меня в этом состоянии, и не раз. Впервые это случилось зимой, после того, как мы отправились в Липо-вао-нахеле и содеянное навалилось на меня: я вырвал тебя из дома, я разозлил мою мать, и ничего в конечном счете не поменялось — я по-прежнему ничего не стоил и был напуган, я не вырос из этих своих качеств, а, наоборот, врос в них, и они не то чтобы удерживали меня от того, чтобы стать кем-то иным, а наоборот, удерживали в моем текущем состоянии. Ты был у меня в те выходные, и испугался, и держал меня за руку, как тебя учили делать, если у меня припадок, и когда стало ясно, что это не припадок, а какое-то другое состояние, ты выпустил мою руку и побежал по пляжу и стал звать Эдварда, и он вернулся вместе с тобой, встряхнул меня как следует и стал кричать, чтобы я не вел себя как дурачок, как младенец. “Не называй

моего отца дурачком", — сказал ты, ты и тогда был очень смелый, и Эдвард прошипел в ответ: "Я буду звать его дурачком, если он ведет себя как дурачок", — и тогда ты в него плюнул, не чтобы попасть, а просто чтобы это сделать, и он поднял руку. Я лежал на земле, и из этого положения мне казалось, что он пытается стереть солнце с неба. А ты храбро стоял перед ним, сложив на груди руки, хотя тебе было всего одиннадцать и ты, должно быть, страшно испугался. "Сдержусь на этот раз, — сказал Эдвард, — из почтения к моему принцу", — и если бы я мог смеяться, я бы посмеялся его напыщенности. Но я еще не скоро смог бы так подумать, в тот момент я был так же напуган, как и ты, с той разницей, что я должен был заботиться о тебе, а не просто лежать на земле и смотреть на все это.

В общем, я не упал на землю в саду; я не заплакал и не заскулил. Вместо этого я сел, прислонившись к дереву (я чувствовал спиной, что это тонкий небольшой баньян), и стал думать о тебе. Я понял, что мое дело — это продолжать упражнения. Сегодня я прошелся по саду, завтра или, может быть, на следующей неделе я попытаюсь выбраться из этого заведения. Каждый вечер я буду уходить дальше, каждый вечер буду набираться сил. А

потом, может быть — уже скоро, я снова увижу тебя и смогу сказать тебе это все лицом к лицу.

Ты помнишь, как мы уезжали. Это было в тот день, когда ты окончил четвертый класс. Тебе было десять, в июне исполнялось одиннадцать.

Я собрал твой чемодан и положил его в багажник к Эдварду. На протяжении предыдущих двух месяцев из твоей комнаты исчезали разные мелочи — белье, футболки, шорты, твоя любимая колода карт, один из твоих скейтбордов, твоя любимая плюшевая игрушка, акула, про которую тебе было стыдно сознаться, что иногда ты берешь ее в постель перед сном, и она скрывалась у тебя под кроватью. Пропажу одежды ты не замечал, но скейтборд заметил: “Па, ты мой скейт не видел? Нет, фиолетовый. Да нет, там я смотрел, нету. Пойду спрошу у Джейн”.

Провиант я тоже запаковал — банки “Спама”, кукурузы, фасоли. Кастрюльку и чайник. Спички и жидкость для розжига. Упаковки печенья и лапши быстрого приготовления. Стеклянные бутылки с водой. Каждые выходные мы забирали еще что-нибудь. В апреле мы натянули тент и спрятали палатки за грудой кораллового известняка, который вытащили из моря. “А потом мы построим настоящий дворец”, — сказал Эдвард, и,

как всегда, когда он говорил что-то такое, что-то неправдоподобное, я ничего не ответил. Если он правда хотел именно это сказать, мне было стыдно за него. Если не хотел — мне было стыдно за себя.

Тут рассказ обо мне соединяется с рассказом о тебе, но я очень многого не знаю о том, что ты чувствовал и что видел. Что ты подумал в тот день, когда мы приехали в Липо-вао-нахеле и увидели палатки — одну для нас с тобой, другую для Эдварда — под акацией, брезент, туго натянутый между четырьмя металлическими шестами, которые мы нашли на территории заброшенного цементного завода на западном берегу острова, картонные коробки с нашей едой, одеждой и прочими запасами под брезентом? Я помню, что ты немного неуверенно улыбался, смотрел то на меня, то на тент, то на Эдварда, который вытаскивал шашлычницу-хибати из машины. “Па? — сказал ты, глядя на меня. Но ты не знал, что дальше спрашивать. — Это все что?” — наконец произнес ты, и я сделал вид, что не услышал тебя, — хотя, конечно, услышал, просто не знал, что ответить.

В те выходные ты нам подыгрывал. Когда Эдвард поднял нас рано утром в пятницу на песнопение, ты проснулся, и когда он сказал, что

начиная с этого дня мы все втроем будем учиться гавайскому языку, что здесь будут говорить только по-гавайски, ты посмотрел на меня, и когда я кивнул, ты пожал плечами, не возражая. “Ладно”, — сказал ты.

— 'Аэ, — сурово поправил Эдвард, и ты снова пожал плечами.

— 'Аэ, — повторил ты.

Как правило, по выражению твоего лица нельзя было сказать ничего, но иногда я видел, как по нему пробегает недоумение, смешанное с издевкой. Что, Эдвард правда считает, что ты должен ловить себе рыбу на обед? Тебе правда надо учиться жарить ее на костре? Нам правда надо ложиться в восемь, чтобы проснуться на заре? Похоже, что да; да, да. Ты даже тогда был умен, ты не пытался ему возражать — ты прекрасно понимал, что он в это не играет, что у него нет чувства юмора. “Эдвард”, — как-то раз сказал ты, и он не оглянулся, сделал вид, что не слышит тебя, и я видел, как ты осознаешь, что происходит. “Пайэа”, — сказал ты, и он обернулся: “'Аэ?”

Я думаю, оттого что ты никогда не мог доверять моим отцовским способностям, ты рано понял, что люди ведут себя не так, как должны, и все не такое, каким оно представляется. Вот мы — твой

отец и его друг, которого ты знал с младенчества, мы радостно пошли в поход и встали лагерем на океанском пляже. Но так ли это? Никто не говорил, что будет весело, и в самом деле, твоя жизнь в Липо-вао-нахеле оказалась чем-то тягостным, хотя ты вообще-то мог делать все то, что любишь, — ловить рыбу, плавать, карабкаться по склону близлежащей горы в поисках зелени. Но чего-то не хватало, что-то было не так. Ты не мог этого сформулировать, но ты это чувствовал.

— Па, — прошептал ты мне на второй вечер, когда я задул огонь в стоящей между нами керосиновой лампе. — Мы что здесь делаем?

Я так долго не отвечал, что ты тихонько потрогал меня за руку.

— Па? — сказал ты. — Ты меня слышишь?

— Мы пошли в поход, Кавика, — сказал я, а ты ничего не ответил, и я добавил: — Тебе разве скучно?

— Да нет, — наконец сказал ты без всякого энтузиазма. Ты происходящему не радовался, но не мог объяснить почему. Ты был ребенком, а проблема не в том, что у детей нет полного спектра эмоций, которые есть у взрослых, — у них просто нет нужных слов для их описания. А я был взрослым, у меня были слова — но и я не мог

объяснить, что не так с этой ситуацией, я тоже не мог выразить то, что чувствую.

Понедельник был такой же, как предыдущие дни: уроки гавайского, долгие скучные часы, рыбалка, костер. Я видел, что время от времени ты посматриваешь на машину, как будто ее можно позвать, как собаку, и тогда двигатель зарычит, она подкатит к тебе.

В четверг ты должен был отправиться в лагерь, где учили строить роботов. Ты был страшно воодушевлен и рассказывал об этом лагере уже несколько месяцев, говорил мне, какого робота собираешься построить — его будут звать Паук, он сможет залезать на верхние полки и доставать то, до чего не может дотянуться Джейн. Трое твоих друзей тоже туда собирались.

Накануне ты спросил у меня:

— Мы когда уезжаем? — а когда я не ответил, добавил: — Па! Мне завтра к восьми утра в лагерь.

— Поговори с Пайэа, — сказал я в конце концов каким-то незнакомым мне самому голосом.

Ты изумленно уставился на меня, потом встал и подбежал к Пайэа.

— Пайэа, — услышал я, — мы когда уезжаем? Мне завтра в лагерь.

— Ты не поедешь в лагерь, — спокойно сказал

Эдвард.

— В каком смысле? — спросил ты и, прежде чем он успел ответить, повторил: — Эдвард — то есть Пайэа, — в каком смысле?

Как нам обоим хотелось, чтобы Эдвард просто издевался, умел бы издеваться. Но хотя я понимал, что это не так, я все равно не мог поверить — по-настоящему поверить, пока не стало слишком поздно, — что он всегда сделает именно то, что говорит; он совершенно не был скрытен, не плел никаких заговоров. Он говорил, что собирается что-то сделать, — и делал.

— Не поедешь, — повторил он. — Ты останешься здесь.

— Здесь? — переспросил ты. — Где?

— Здесь, — сказал он, — в Липо-вао-нахеле.

— Но это же ненастоящее! — воскликнул ты и обернулся ко мне. — Па! Па!

Но я ничего не сказал, не смог, и ты не пытался меня заставить — ты понимал, что толку от меня нет, — вместо этого ты снова повернулся к Эдварду.

— Я хочу домой, — сказал ты, и когда он тоже не ответил, в твоем голосе появились истерические нотки. — Хочу домой! Хочу домой!

Ты побежал к машине, залез на водительское

сиденье, начал колотить по рулю; клаксон издавал короткие резкие звуки.

— Отвезите меня домой! — кричал ты, уже плача. — Па! Па! Эдвард! Отвезите меня домой!

Бип, бип, бип.

— Туту! — кричал ты, как будто твоя бабушка могла явиться из палатки. — Джейн! Мэтью! Помогите! Помогите! Хочу домой!

Кто-нибудь иной посмеялся бы над тобой, но он не смеялся — отсутствие чувства юмора означало также, что он не склонен никого унижать; он по-своему относился к тебе серьезно. Он просто дал тебе покричать и поплакать несколько минут, пока ты не вывалился из машины, измотанный, в слезах, и тогда он поднялся из-под акации, где сидел, подошел и сел рядом с тобой, и ты, несмотря ни на что, прислонился к его плечу.

— Все хорошо, — услышал я; он обнял тебя и погладил по волосам. — Все хорошо. Ты дома, маленький принц. Ты дома.

Что ты думал про Эдварда? Я никогда не спрашивал тебя об этом, потому что не хотел знать ответ, да и странно было родителю спрашивать у ребенка: что ты думаешь про моего друга? Но теперь мы оба взрослые, и я могу спросить: что ты думал?

Я по-прежнему боюсь твоего ответа. Ты знал, знал задолго до меня, что в нем есть что-то пугающее, что-то, чему нельзя доверять. Даже когда ты был совсем крохотным, ты переводил взгляд с твоей бабушки на меня, с меня — на дядю Эдварда, когда он оставался поужинать, и хотя ты не мог объяснить, что за напряжение охватило нас всех, ты его, конечно, чувствовал. Ты видел, что рядом с ним я замолкаю, видел, как я жду разрешения открыть рот, когда нахожусь рядом с ним. Однажды, когда тебе было лет десять, мы проводили день на пляже в Липо-вао-нахеле. День клонился к вечеру, нам почти пора было уезжать, и я спросил Эдварда, можно ли мне сходить в туалет. “Да”, — сказал он, и я пошел. Для меня в этом не было ничего особенного — я все время спрашивал у него разрешения: можно поесть? Можно добавки? Можно домой? Не спрашивал я у него лишь о том, что касалось тебя, — и только когда я укладывал тебя спать поздним вечером, ты спросил, почему я просто не отправился в туалет, зачем мне нужно было его разрешение. Дело не в этом, попытался я сказать, но потом не смог объяснить, в чем, почему ты неправ, почему я просто не встал и не пошел куда хочу — раз мне надо. Ребенку ужасно осознавать, что его роди-

тель слаб, слишком слаб, чтобы его защитить. Иные дети реагируют на такое с презрением, иные — как ты тогда — с сочувствием. Я думаю, именно в тот момент ты осознал, что ты больше не ребенок, что ты должен защитить меня, что мне нужна твоя помощь. Ты осознал, что тебе придется разбираться во всем самому.

Иногда Эдвард наставлял тебя в духе той лекции, которую читал нам Бетесда, хотя выходило у него неловко. Он пытался подражать его поэтичности, его чувству ритма, но, кроме нескольких заученных строчек, которые он повторял с регулярными интервалами — “Америка — страна с греховным сердцем”, — у него ничего не получалось, его построения оказывались разболтанными и однообразными, скучными и многословными. Я думал об этом и сам стыдился собственного предательства, хотя никогда не говорил этого вслух, не говорил этого тебе. “Никакая земля никому не принадлежит, — говорил тебе Эдвард, забывая или, может быть, игнорируя тот факт, что дело происходило в Липо-вао-нахеле, чья принадлежность была краеугольным камнем его собственной фантазии. “Ты вправе быть где сам пожелаешь”, — говорил он, хотя и этого не имел в виду — ты будешь гавайцем,

молодым принцем, как он тебя называл, хотя плохо понимал, что это, собственно, значит, как и я. Если бы ты тогда сказал — а у тебя было на это полное право, — что хочешь вырасти, жениться на самой ослепительной блондинке, какую сможешь найти, жить в Огайо и работать управляющим в банке, он пришел бы в ужас, но что именно его ужаснуло бы — такой выбор или само намерение так поступить? Ведь на это нужна недюжинная смелость — отправиться за тридевять земель в Огайо, отречься от всех привилегий своего имени, поехать туда, где ты будешь все равно что принц Вугавуга, чужеземный и смехотворный, без намека на почести, надежда на которые исчезла, стоило тебе забраться в маленькое кокосовое каноэ и оттолкнуть его от песчаных берегов Ута-уги!

Гавай'и и нас, гавайцев, он представлял себе так поверхностно, что если за что в прошлом мне и стыдно, так именно за это. Не за это само по себе, а за то, что я закрывал на это глаза, позволял ему играть, что принес наши жизни в жертву игре. Все эти годы он пытался научить тебя гавайскому по старому учебнику для начинающих, украденному из университетской библиотеки, — ты так и не научился, потому что он сам так и не на-

учился. Его уроки гавайской истории строились на фантазиях, на неосуществленных надеждах, а не на том, что происходило на самом деле. “Мы — земля королей и королев, принцев и принцесс”, — говорил он тебе, но на самом деле на нашей земле было только два принца — ты и я, и вокруг не могло быть многочисленных королей, потому что королевской семье нужны люди, которые ей поклоняются, в противном случае она перестает быть королевской семьей.

Я слышал, что он наставляет тебя, и не мог его остановить. С каждым днем у меня было все меньше шансов исправить то, чему я позволил случиться. Меня как будто доставили в Липо-вао-нахеле — а не то чтобы я сам отправился туда; меня просто туда поместили, словно некий ветер перенес меня через весь остров и швырнул под ветви акации. Моя жизнь и место, где я живу, стали мне чужими.

В воскресенье, через несколько дней после того, как я не смог отвезти тебя в лагерь с роботами, мы услышали, что подъезжает автомобиль. Сначала услышали, а потом увидели — он петлял по каменистой дороге. Ты провел последние три дня, не понимая, что вообще произошло: в четверг, в тот день, когда ты должен был отправиться в лагерь,

ты проснулся и обнаружил, что ты по-прежнему в Липо-вао-нахеле — наверное, ты надеялся, что это сон, что ты проснешься в кровати в доме твоей бабушки, — и ты бросился на землю и хныкал и даже бил землю руками и ногами в некоей пародии на вспышку детского каприза.

— Кавика, — сказал я, подбираясь к тебе (Эдвард бродил по пляжу), — Кавика, все будет хорошо.

Тут ты резко сел, лицо твое было мокрым от слез.

— В каком смысле все будет хорошо? — крикнул ты. — А? В каком?

Я присел на пятки.

— Не знаю, — пришлось мне признать.

— Конечно, ты не знаешь, — проревел ты. — Ты ничего не знаешь. Никогда. — И ты снова заплакал, а я отполз в сторону. Я не винил тебя. В чем? Ты был прав.

В пятницу и субботу ты не открывал рта. Не выходил из палатки даже поесть. Я тревожился, а Эдвард нет.

— Оставь его в покое, — сказал он. — Рано или поздно выползет.

Но ты не выполз. И поэтому, когда появился автомобиль, ты не сразу выкарабкался из палатки, а когда все-таки выкарабкался — стоял,

жмурясь на солнце, и смотрел на него, как будто это видение. Только когда дядя Уильям вылез с водительского сиденья, ты издал слабый, звериный возглас — я никогда не слышал, чтобы ты так делал, — и побежал ему навстречу, шатаясь от жажды и голода.

Он приехал не один. На переднем пассажирском сиденье сидела твоя бабушка, а Джейн и Мэтью с испуганными лицами жались сзади. Первой тебя ухватила твоя бабушка — она пихнула тебя позади себя и встала между тобой и Эдвардом, как будто он может рвануться и ударить тебя.

— Я не знаю, что у вас за игра, не знаю, что вы тут делаете, — сказала она. — Но внука моего я у вас забираю.

Эдвард пожал плечами.

— Не думаю, что это вам решать, леди, — сказал он, и я невольно сделал шаг назад. Леди. Я никогда не слышал, чтобы к моей матери обращались так непочтительно. — Это решать вашему сыну.

— Тут вы ошибаетесь, мистер Бишоп, — сказала она и обратилась к тебе, мягче: — Залезай в машину, Кавика.

Но ты не двинулся. Ты выглянул из-за ее спины и посмотрел на меня.

— Па? — спросил ты.

— Кавика, — сказала она, — залезай в машину немедленно.

— Нет, — сказал ты. — Без него не пойду.

Без него: ты имел в виду меня.

— Господи, Кавика, — нетерпеливо сказала она, — он с нами ехать не хочет.

— Хочет, — упрямо сказал ты. — Он не хочет оставаться здесь — правда, па? Поедем с нами домой.

— Это его земля, — сказал Эдвард. — Чистая земля. Гавайская земля. Он остается.

Эдвард с твоей бабушкой стали спорить, а я поднял лицо к небу — белому и жаркому, слишком жаркому для мая. Они словно забыли о моем существовании, забыли, что я стою там, в двух шагах от них обоих, третьей вершиной треугольника. Но я не слышал больше ни трюизмов Эдварда, ни распоряжений твоей бабушки — вместо этого я смотрел на дядю Уильяма, на Джейн и Мэтью, которые во все глаза уставились не только на нас троих, но на весь наш участок. Я видел, что они рассматривают палатки, голубой брезентовый тент, картонные ящики. В две предыдущие ночи шел дождь, и из-за ветра одна сторона нашей с тобой палатки обвалилась, так

что когда я там спал, нейлон окутывал меня, как саван. Коробки еще были влажными, и их содержимое — наша одежда, твои книжки — валялось вокруг и сушилось; впечатление было такое, как будто разорвался снаряд и все разметал. Тент был покрыт грязью; с акации свисал десяток пластиковых пакетов с нашей едой — чтобы уберечь ее от муравьев и мангустов. Я понимал, что предстает их глазам: непримечательный клочок неухоженной земли, весь покрытый уродливым мусором — пластиковыми бутылками, сломанными пластмассовыми вилками; тент шумно бьется на ветру. Да, это Липо-вао-нахеле, но мы не посадили там никаких деревьев, а те, что там и так росли, использовали как мебель. Место казалось не просто неухоженным, а прямо-таки запущенным — и это мы с Эдвардом довели его до такого состояния.

В тот день они тебя увезли. Они пытались сделать так, чтобы меня признали недееспособным; чтобы признали, что я не справляюсь с родительскими обязанностями. Они пытались отнять у меня трест. Я говорю “они”, потому что это дядю Уильяма послали (втайне) поговорить с кем-то в государственной службе опеки, а потом посоветоваться с его однокашником по юридическому

факультету, который теперь был судьей по семейным делам, но на самом деле, конечно, речь не о “них”, а о “ней” — о твоей бабушке.

Я не могу ее винить сейчас и тогда тоже не мог. Я понимал: то, что я делаю, — неправильно. Я понимал, что тебя следовало оставить где ты был, что Липо-вао-нахеле — не место для тебя. Так почему же я позволил этому произойти? Как я мог такое позволить? Я мог бы сказать тебе, что хотел чем-то поделиться с тобой, чем-то, что я — правильно это было или неправильно — создал для нас, неким царством, в котором я принимал решения, призванные, как мне казалось, тебе в чем-то помочь, чем-то тебя обогатить. Но это неправда. Или я мог бы сказать тебе, что поначалу питал большие надежды, связанные с Липо-вао-нахеле, с той жизнью, которую мы там сможем вести, и что был удивлен, когда эти надежды не сбылись. Но это тоже неправда.

Правда не в том и не в другом. Правда гораздо более жалкая. Правда в том, что я просто за кем-то последовал, отдал жизнь на попечение другому человеку и, отдавая свою жизнь, отдал и твою. И в том, что, поступив так, я уже не знал, как исправить содеянное, как вернуть все на место. Правда в том, что я был слаб. Правда в том, что

я был бесполезен. Правда в том, что я сдался. Правда в том, что я сдал и тебя тоже. К осени мы о чем-то договорились. Я смогу видеться с тобой по выходным два раза в месяц в Липо-вао-нахеле, но только если тебе будет обеспечено нормальное жилье. А так будешь жить у твоей бабушки. Если я этому хоть как-то помешаю, меня признают недееспособным и заберут в клинику. Эдвард возмущался, но сделать я ничего не мог — моя мать все еще могла обойти разные правила, и мы оба понимали, что в схватке я проиграю — потеряю и тебя, и собственную свободу. Хотя, пожалуй, к этому моменту я и так уже потерял и то и другое.

Моя мать приехала поговорить со мной единственный раз, вскоре после того, как мы подписали соглашение. Был ноябрь, примерно за неделю до Дня благодарения, — я тогда все еще пытался следить за календарем. Я не знал, что она приедет. Всю предыдущую неделю бригада плотников строила маленький домик на северном краю участка, у тенистого подножия горы. Там должна была разместиться комната для тебя, комната для Эдварда и комната для меня, но мебель и остальное предоставлялось только для твоей комнаты. Дело было не в скаредности — это Эдвард отказался от предложения дяди

Уильяма и сказал ему, что будет спать снаружи, на лаухаловом коврике.

— Да мне все равно, где ты будешь спать, лишь бы ты спал в доме, когда мальчик будет здесь, — сказал дядя Уильям.

Наш эксперимент под угрозой, сказал Эдвард, мы не должны сдаваться. Мы будем продолжать жить, как жили наши предки, когда тебя с нами не будет. А когда ты там будешь — нам будут доставлять еду, и мы ее станем есть, но в остальное время будем питаться только рыбной ловлей, охотой и собирательством и готовить добытое на огне. Мы станем выращивать собственные таро и батат; я должен добывать удобрение из канавки, которую вырыл для наших испражнений, чтобы заботиться о растениях. Телефон, который за огромные деньги удалось установить — в этой местности телефонные линии проложены не были, — будет отключаться, когда тебя с нами не будет; электричество, о котором дядя Уильям каким-то образом договорился с государственными службами, использоваться тоже не будет. “Ты разве не видишь, что они пытаются нас сломить? — спрашивал он. — Ты не видишь, что это испытание, их способ подорвать нашу решимость?”

В то утро, когда твоя бабушка приехала меня навестить, шел дождь, и я видел, как она пробирается по грязной траве туда, где я лежал на тенте возле акации. Тент раньше был потолком, а теперь стал полом, и я проводил на нем большую часть времени — спал, ждал, пока закончится день и начнется следующий. Иногда Эдвард пытался меня как-то растолкать, но это происходило все реже, и часто он исчезал как будто на целые часы или даже дни — мне все хуже удавалось следить за временем, хотя я и старался, — и я оставался один, дремал и просыпался, только когда от голода не мог больше спать. Иногда мне снился тот вечер, когда мы слушали Бетесду, и я думал, настоящий он был или мы вызвали его из какого-то другого измерения.

Она несколько секунд стояла надо мной, прежде чем заговорить. “Проснись, Вика, — сказала она и, когда я не пошевелился, склонилась надо мной и стала трясти меня за плечо. — Вика, вставай”. — И я наконец очнулся.

Она некоторое время меня рассматривала, потом поднялась.

— Вставай, — повторила она. — Пойдем со мной.

Я встал и последовал за ней. У нее была холщо-

вая сумка и татами, который она передала мне. Дождь уже не шел, но небо было серое, солнце не выглянуло. Мы шли по направлению к горе, и возле саманеи она кивнула мне, чтобы я развернул татами.

— Я принесла нам еды для пикника, — сказала она и добавила: — Его здесь нет, — прежде чем я успел оглядеться по сторонам.

Я хотел сказать ей, что не голоден, но она уже раскладывала еду: ланч-боксы с рисом, жареную курицу мотико, тушеные овощи нисиме, огуречное намасу, нарезанную дыню на десерт — все, что я когда-то любил.

— Это все тебе, — сказала она, когда я начал накладывать еду ей. — Я уже поела.

Я ел так быстро и так жадно, что все время давился, но она не сделала мне ни одного замечания и молчала, даже когда я все доел. Она сняла туфли, аккуратно поставила их у края подстилки и вытянула ноги; я помнил, что чулки она всегда выбирает на тон темнее кожи. На ней была ярко-зеленая юбка с узором из белых роз, сильно выцветшим, которую я помнил еще с детства, и пока она глядела на небо сквозь ветви, откинувшись назад, а потом закрыла глаза, я думал, может ли и она — как время от времени,

хотя и очень редко, удавалось мне — воспринять трудную красоту этой земли, которая как будто наотрез отказывается уступить. В нескольких ярдах от нас у строителей кончился обеденный перерыв, и они снова колотили и пилили; я услышал, как один говорит, что здесь слишком влажно для деревянного дома, а другой возражает, что проблема не во влажности, а в жаре. Им пришлось отложить работу над фундаментом и возвести его на другом месте, потому что оказалось, что рядом с площадкой болото — его осушили, но оно снова начало заполняться. Мы некоторое время слушали, как идет работа, и я ждал, что она скажет.

— Когда тебе было почти три, я повезла тебя на континент к специалисту, — начала она. — Потому что ты не говорил. Было понятно, что ты не глухой, как мы поначалу думали. Но когда твой отец или я звали тебя по имени, ты поворачивался к нам, а если мы были на улице и ты слышал, как лает собака, ты радовался, улыбался и хлопал в ладоши.

Музыка тебе тоже нравилась, и когда мы ставили твои любимые песни, ты иногда даже — не то чтобы подпевал, но издавал тихие звуки. Но говорить ты не говорил. Доктор сказал, что мы,

может быть, недостаточно сами с тобой говорим, так что мы обращались к тебе постоянно. По вечерам отец сажал тебя рядом с собой и читал спортивную колонку целиком. Но поскольку больше всего времени с тобой проводила я, я с тобой и говорила больше всех. Можно сказать — постоянно. Я брала тебя с собой повсюду. Я читала тебе книги и рецепты, а когда мы были в машине, я называла все, мимо чего мы проезжали. “Смотри, — говорила я, — вот школа, куда ты потом пойдешь, когда немножко вырастешь; а вон там дом, где мы с твоим отцом жили сразу после свадьбы, до того, как переехали в долину; а там, на холме, живет школьный друг твоего отца — у них мальчик как раз твоих лет”.

Но в основном я рассказывала тебе про свою жизнь. Я говорила о своем отце, и о моих братьях и сестрах, и о том, как девочкой я хотела поехать в Лос-Анджелес и стать танцовщицей, хотя, разумеется, мне бы такого не разрешили, да и танцевала я так себе. Я даже рассказывала, как мы с твоим отцом много раз пытались подарить тебе сестру и каждый раз нам это не удавалось, пока врач не сказал, что ты останешься нашим единственным ребенком.

Сколько я тебе всего рассказывала! Я была тогда

одинока — еще не вступила в общество Дочерей, а у моих школьных подруг были большие семьи, или они занимались своими домашними делами, а с братьями и сестрами я уже практически не общалась. Так что только ты у меня и был. Иногда я лежала в кровати по вечерам и думала обо всем, что тебе рассказала, и пугалась, что, может быть, это вредно — рассказывать то, что не положено знать ребенку. Однажды я так разнервничалась, что даже призналась твоему отцу, и он рассмеялся, обнял меня и сказал: “Не говори ерунды, крошка — он звал меня крошкой, — он же даже не понимает, что ты говоришь. Ты можешь ругаться на него целый день, разницы никакой не будет!” Я шлепнула его по руке и отругала, но он снова рассмеялся, и мне стало немножко легче.

Но когда мы летели в Сан-Франциско, я снова подумала, сколько всего тебе рассказала, и знаешь, чего мне захотелось? Мне захотелось, чтобы ты никогда и не заговорил. Я боялась, что, если ты заговоришь, ты расскажешь кому-нибудь то, что услышал от меня, все мои секреты. “Никому не говори этого, — шептала я тебе в ухо, когда ты спал у меня на руках. — Никому не говори того, что я тебе рассказала”. А потом мне становилось страшно стыдно — получается, мне нужна немота

единственного моего ребенка, такая я эгоистка. Что же я за мать?

Но в любом случае эти волнения были напрасными. Через три недели после возвращения домой — у доктора из Сан-Франциско идей было не больше нашего — ты заговорил, причем не отдельными словами, а сразу полными предложениями. Я испытала невероятное облегчение и плакала от радости. Твой отец, который нервничал меньше, чем я, подкалывал меня, но нежно, на свой манер. “Видишь, крошка? — сказал он. — Я так и знал, что все будет в порядке. Он весь в отца, я же тебе говорил. Теперь будешь молиться, чтобы он когда-нибудь замолк!”

Так мне говорили все — что когда-нибудь я буду молиться, чтобы ты замолк. Но мне не пришлось об этом молиться, потому что ты был очень тихий. Порой, когда ты рос, я спрашивала себя: может быть, это мое наказание? Я просила, чтобы ты ничего не рассказывал, вот ты и не рассказывал. А ты говорил все меньше и меньше и меньше, и теперь… — Она прервалась, откашлялась. — А теперь вот к чему мы пришли, — заключила она.

Мы оба долго молчали.

— Господи, Вика, — наконец сказала она. — Скажи что-нибудь.

— Да нечего говорить, — сказал я.

— Вот это, здесь — это не жизнь, — торопливо сказала она. — Тебе тридцать шесть, у тебя сыну одиннадцать. Это место — как его? Липо-ваонахеле? Тебе нельзя здесь оставаться, Вика. Ты ничего толком не умеешь — и ты, и твой друг. Ты не знаешь, как готовить себе, как заботиться о себе, — да вообще ничего. Ты ничего не знаешь, Вика. Ты…

Она снова оборвала себя на полуслове. Быстро помотала головой, словно стараясь заново сосредоточиться. А потом поставила опустошенные контейнеры один в другой, положила их в свою сумку и поднялась на ноги. Она надела туфли и подобрала сумку с земли.

Я взглянул вверх, на нее, и она посмотрела вниз, на меня. Сейчас она скажет что-то ужасное, подумал я, что-то такое обидное, за что я никогда не смогу ее простить, и, возможно, она и сама никогда не сможет себя простить.

Но этого не произошло.

— И что я так разволновалась? — спокойно сказала она, оглядывая теперь не только мое лицо, но меня целиком, с нестираной футболкой, рваными шортами, клочковатой бородой, от которой у меня чесались щеки. — Ты же здесь не выдер-

жишь. Вернешься домой, не успею я оглянуться.

И она отвернулась и пошла прочь, а я смотрел ей вслед. Она села в машину; она положила сумку с пустыми лотками рядом с собой; она посмотрелась в зеркало заднего вида, провела рукой по лицу, словно напоминая себе, что оно на месте. Потом завела двигатель и уехала.

— До свидания, — сказал я ей, когда автомобиль уже почти исчез. — До свидания.

На небе облака становились серыми, и я слышал, как бригадир торопит своих работников, чтобы они успели закончить смену, пока не пошел дождь.

Я снова лег. Я закрыл глаза. В конце концов я заснул — это был, как бывает, такой сон, что он казался реальнее бодрствования, так что когда я проснулся — на следующий день, рано утром, и Эдварда по-прежнему нигде не было, — я почти смог убедить себя, что могу еще начать все заново. И все-таки моя мать оказалась неправа: я не вернулся домой. Ни прежде чем она успела оглянуться, ни потом. Со временем Липо-вао-нахеле стало тем местом, где я был и кем я был, хотя так и не перестало ощущаться как что-то временное, предназначенное лишь для ожидания, хотя я ничего не ждал, только начала каждого следу-

ющего дня.

Вокруг нас все свидетельствовало о том, что земля, на которой никогда никто не обитал, так и не подчинится никаким попыткам сделать ее обитаемой, любое человеческое жилище на ней окажется временным. Дом, построенный из бетона и дерева, был уродливым, угловатым и дешевым; покрашена была только твоя комната, там была кровать, циновка на полу, лампа на потолке; в остальных комнатах ничего не было, кроме голых гипсокартонных стен и — на этом тоже настоял Эдвард — простого цементного пола.

Даже ты, приезжая, проводил большую часть времени снаружи. Не потому, что ты так уж любил находиться на открытом воздухе — по крайней мере, не в Липо-вао-нахеле, — а потому, что дом был так уныл, так явно настроен враждебно к любому человеческому удобству. Я каждый раз ждал твоего приезда. Я хотел тебя повидать. Знал я и то, что когда ты здесь — и еще несколько дней потом, — еда будет лучше, разнообразнее, богаче. По четвергам перед твоим появлением дядя Уильям привозил продукты и перегружал их в большие пустые сумки, которые я хранил для этих случаев. Он включал холодильник — Эдвард не любил им пользоваться — и выгружал туда

бутылку молока, пачки сока, апельсины, салат, котлеты из говяжьего фарша — все эти милые товары из супермаркета, которых у меня когда-то было сколько угодно. Если Эдварда рядом не было, он тайком совал мне несколько плиток шоколада. Когда он попытался сделать это впервые, я отказался, но потом стал соглашаться, и при этом у меня на глазах появлялись слезы, а он отворачивался. Я прятал их в яме, которую выкопал за домом, чтобы они не растаяли на жаре и чтобы Эдвард их не нашел.

Приезжал всегда дядя Уильям, а не секретарь или какой-нибудь другой сотрудник конторы, и я задумывался — а почему, пока не понял, что моя мать не хочет, чтобы кто-нибудь еще видел, что я, ее сын, вот так живу. Дяде Уильяму она могла доверять, а больше никому. Видимо, это дядя Уильям и платил за электричество и телефон, за нашу пресную воду. Он привозил нам туалетную бумагу, а уезжая, забирал с собой наш мусор, потому что оттуда мусор не вывозили. Когда наш голубой тент пришел в такую негодность, что уже напоминал паутину, именно дядя Уильям привез нам новый, который Эдвард — некоторое время — отказывался использовать, пока даже ему не пришлось признать, что без этого не обойтись.

Каждый раз, перед тем как отправиться домой, он спрашивал меня, не хочу ли я поехать с ним, и каждый раз я мотал головой. А однажды не спросил, и когда он уехал, меня охватило отчаяние, как будто и эта дверь теперь закрылась, и я остался совсем один, из-за собственной слабости, из-за собственного упрямства — это были противоположные свойства, которые отменяли друг друга, так что в результате получалось бездействие.

Когда пошел третий год, Эдвард стал все чаще пропадать. Дядя Уильям купил тебе каяк на двенадцатилетие и привез его в Липо-вао-нахеле; он был двухместный, так что мы с тобой могли плавать вдвоем. Но тебя это не заинтересовало, а у меня было слишком мало сил, так что его захватил Эдвард, и обычно он уходил рано утром, греб по заливу, обходил один из мысов и исчезал из виду. Иногда он не возвращался до темноты, и если у нас не было еды, мне приходилось есть то, что удастся найти. На восточной стороне участка росло дерево с мелкими бананами, и были вечера, когда из пропитания мне оставались только эти бугристые зеленые бананы, крахмалистые и недозрелые, от которых у меня сводило живот, но приходилось их есть. Я стал для него чем-то вроде собаки; обычно он помнил, что меня надо

покормить, но когда забывал — мне ничего не оставалось, кроме как ждать.

У нас было мало пожитков, но почему-то казалось, что наша земля постоянно забросана мусором. Там всегда валялись пустые полиэтиленовые пакеты, рваные, бесполезные, перекатывающиеся туда-сюда; ты оставил очередное пособие по гавайскому языку снаружи во время одного из своих приездов, нарочно или нет — не знаю, и его страницы сначала набухли от воды, а потом высохли на солнце и потрескались от порывов ветра; мусор, связанный с разными так и не начатыми проектами (пирамида кораллового известняка, пирамида хвороста), громоздился возле акации. Когда ты приезжал, ты мрачно, с ненавистью слонялся между домом и деревом, туда и обратно, словно на ходу мог выгулять себе что-то другое — твоих друзей или нового отца. Однажды дядя Уильям привез мне воздушного змея, чтобы я подарил его тебе, когда ты приедешь, но, как я ни старался, запустить его в воздух не получилось; даже ветер отвернулся от нас.

Когда ты уезжал по воскресеньям, мне было так больно, что я даже не мог подняться из-под дерева и проводить тебя до автомобиля твоей бабушки. Когда это случилось в первый раз, ты

позвал меня по имени три раза, подошел, потряс меня за плечо.

— Туту! — крикнул ты. — С ним что-то не так!

— Да нет, Кавика, — сказала она усталым голосом. — Он просто не может подняться. Попрощайся и поехали. Нам пора домой, Джейн тебе приготовила спагетти с фрикадельками на ужин.

Я почувствовал, как ты приседаешь на корточки рядом со мной.

— Пока, па, — тихо сказал ты. — Я люблю тебя. — Потом ты склонился и поцеловал меня, прикосновение твое было легким, как крылышко, и ты убежал.

В этот же день, раньше, ты подошел ко мне и увидел, что я держусь за щеку и раскачиваюсь — я стал так делать, потому что очень болел зуб. “Па, дай посмотреть, — сказал ты обеспокоенно, и когда я наконец нехотя открыл рот, ты ахнул. — Па, — сказал ты, — у тебя зуб выглядит… выглядит жутко. Ты не хочешь съездить в город его полечить?” И когда я помотал головой, снова застонав от боли, причиняемой таким незначительным движением, ты сел рядом и погладил меня по спине. “Па, — сказал ты, — поедем со мной домой”. Но я не мог. Тебе было тринадцать.

Каждый твой приезд напоминал о беге времени; после каждого твоего отъезда время словно снова замедлялось, и у меня не оставалось ни будущего, ни прошлого, я не делал никаких ошибок, потому что не принимал никаких решений, и все, что существовало, — это пространство возможностей.

В конце концов — а я понимал, что это произойдет, — ты перестал приезжать. Ты взрослел, ты становился мужчиной. Ты был очень зол, приезжая в Липо-вао-нахеле, — зол на твою бабушку, зол на Эдварда, но в первую очередь зол на меня. В какие-то выходные, одни из последних перед тем, как ты совсем перестал приезжать, вскоре после твоего пятнадцатилетия, ты помогал мне собирать бамбуковые побеги, которые обнаружил на дальней стороне горы еще два года назад. Они спасали меня, эти побеги бамбука, хотя мне становилось все труднее их выкорчевывать. Я был теперь так слаб, что дядя Уильям перестал предлагать мне поехать в город к врачу и вместо этого стал посылать ко мне врача каждый месяц. Врач давал мне капли, чтобы успокоить резь в глазах, и какие-то снадобья, чтобы я не терял сил, и разные мази от укусов насекомых на лице, и какие-то таблетки от судорог. Приехал зубной врач, чтобы удалить мне зуб; он напихал в об-

разовавшуюся пустоту много марли и оставил мне тюбик крема, который надо было втирать в заживающую десну.

В тот день я чувствовал себя очень усталым. Мне надо было лишь держать старый мешок из-под риса, чтобы ты побросал туда побеги. Закончив, ты брал у меня мешок и перекидывал за плечо, протягивал другую руку, чтобы помочь мне спуститься с холма. К этому времени ты догнал меня по росту, но был гораздо сильнее; ты бережно держал меня за кончики пальцев, словно боялся их сломать.

Эдвард был там в тот день, но не разговаривал ни с тобой, ни со мной — к счастью. Я беспокоился, что он может на меня злиться, но ты-то давно перестал обращать внимание на то, что Эдвард о тебе думает, и давно усвоил, что тебе он не страшен, — он тоже распадался, хотя и иначе, чем я. Он вызывал раздражение, а не чувство опасности — да и раньше, может быть, не мог его вызывать; когда ты к нам приехал, ты раздавал еду, а мы сидели перед тобой на полу и протягивали руки, как дети, хотя нам было уже — или всего — по сорок; только потом ты и сам садился. Во время этих трапез разговаривал только Эдвард — рассказывал тебе давние, много раз рассказанные

байки, про то, как мы вернем нашему острову его былую славу, про то, что делаем это для тебя, нашего гавайского сына, нашего принца. “Здорово, Пайэа”, — иногда снисходительно говорил ты, как будто он — болтливый ребенок. Однажды он взглянул на тебя с недоумением. “Эдвард, — сказал он, — меня Эдвард зовут”. Но чаще всего он не реагировал ни на что, а продолжал говорить, пока почти не срывал голос, и тогда он вставал и выходил на пляж и смотрел на море. Мы оба оказались обмануты — мы пришли туда, чтобы оживить эту землю, но в результате она сама отняла у нас жизнь.

Мы пошли на кухню, и ты стал готовить нам обед. Я сидел и смотрел, как ты двигаешься, откладываешь побеги, чтобы я съел их, когда ты уедешь, вынимаешь из холодильника свиной фарш. Зрение у меня портилось уже тогда, но я все-таки еще мог сидеть и смотреть на тебя, восхищаться твоей красотой, твоим совершенством.

Джейн учила тебя готовить — разные простые блюда вроде лапши и обжаренного риса, — и, приезжая к нам, ты брал на себя поварские обязанности. Недавно ты научился печь и на этот раз привез с собой яйца и муку, молоко и сливки. Ты сказал, что наутро сделаешь мне банановый

хлеб. В предыдущие два приезда ты был мрачен и огрызался, но в то утро приехал в веселом и радостном настроении и посвистывал, разгружая привезенное. Я смотрел на тебя, и любовь вместе с тоской переполняли меня так, что я едва мог говорить, и тут я внезапно понял, почему ты так счастлив, — ты был влюблен.

— Па, поставишь молоко и сливки в холодильник? — спросил ты. — У меня еще кое-что есть, сейчас принесу. — Когда ты был ребенком, дядя Уильям никогда не посылал с тобой домашние запасы, но теперь это иногда происходило, и я смотрел, как ты тащишь рулоны туалетной бумаги, сумки с продуктами, иногда даже вязанки поленьев, а твоя бабушка сидит за рулем и смотрит через окно машины в сторону океана.

Ты вышел, и я, сидя на стуле (на единственном нашем стуле), уставившись в кухонную стену, стал думать, в кого ты влюблен и любит ли она тебя. Я сидел там и размышлял, пока ты снова не позвал меня — тебе к тому времени приходилось подзывать нас, как псов, мы оба послушно реагировали на свои имена и подползали к тебе, — и мы отправились выкорчевывать побеги бамбука.

Я думал об этом в то утро, о твоей мечтатель-

ной, обращенной вглубь себя улыбке, о том, как ты что-то бормочешь, заглядывая в холодильник в поисках перца и цукини для своей поджарки, и тут услышал, как ты выругался.

— Да елки, па! — сказал ты, и я перевел взгляд на бутылку сливок, которую забыл убрать, когда ты мне велел. — Ты не поставил сливки в холодильник, па! И молоко тоже! Все скисло!

Ты со злостью вылил сливки в раковину и повернулся ко мне. Я видел твои зубы, твои яркие черные глаза.

— Ты вообще ничего не можешь сделать нормально? Я тебя попросил всего лишь убрать сливки и молоко — ты даже на это не способен? — Ты подошел ко мне, схватил за плечи и стал трясти. — Что с тобой такое?! — воскликнул ты. — Что не так? Ты ничего не можешь сделать?

С годами я усвоил, что, когда тебя трясут, лучше всего не сопротивляться, а расслабиться, и так и сделал — шея упала, голова вяло скатилась набок, руки повисли плетьми, и в конце концов ты перестал меня трясти и толкнул так сильно, что я упал со стула на пол и увидел, как твои ступни убегают и как хлопает передняя сетчатая дверь.

Когда ты вернулся, уже стемнело. Я так и лежал там, где упал. Свинина, оставшаяся лежать возле

раковины, тоже испортилась, и в свете лампы я видел, как вокруг нее кружатся мелкие мошки.

Ты присел рядом со мной, и я прижался к твоей теплой коже.

— Па, — сказал ты, и я попытался сесть. — Подожди, дай я помогу, — сказал ты и обнял меня за спину, чтобы помочь мне сесть. Ты принес мне стакан воды. — Сейчас сделаю чего-нибудь поесть, — сказал ты, и я услышал, как ты бросаешь свинину в мусорное ведро и начинаешь кромсать овощи.

Ты поджарил нам обоим овощей с рисом, и мы ели их прямо там, сидя на кухонном полу.

— Па, прости, — сказал ты в какой-то момент, и я кивнул — рот у меня был набит, так что ответить не получилось. — Ты иногда меня просто бесишь, — продолжил ты, и я снова кивнул. — Па, посмотреть на меня можешь? — спросил ты, и я поднял голову, попытался найти твои глаза, и ты взял мою голову в ладони и приблизил к ней свое лицо. — Вот я, — прошептал ты, — видишь меня теперь? — И я снова кивнул.

— Не кивай, скажи, — велел ты, но твой голос был мягок.

— Да, — ответил я, — да, я тебя вижу.

Той ночью я спал в доме, в твоей комнате, в тво-

ей постели: Эдварда рядом не было, некому было мне запрещать, а ты собирался на ночную рыбалку. “А как же когда ты вернешься?” — спросил я, и ты сказал, что просто заберешься в постель рядом со мной, и мы будем спать рядом, как когда-то в палатке. “Давай, — сказал ты, — ложись”, — и хотя надо было тебе возразить, я послушался. Но ты так и не пришел ко мне, не лег рядом и на следующий день вел себя спокойно и сдержанно, и вся радость прошлого утра испарилась.

Это были те выходные, когда я видел тебя в последний раз. Две недели спустя, когда я сидел на тенте и ждал тебя, подъехал дядя Уильям, и когда он вышел из машины, оказалось, что в руках у него ничего нет. Он объяснил, что в эти выходные ты приехать не сможешь, что у тебя какие-то школьные дела, которые ты не можешь пропустить.

— Ага, — сказал я. — А в следующие выходные он приедет?

И дядя Уильям медленно кивнул.

— Ну наверное, — сказал он.

Но ты не приехал, и дядя Уильям тоже не приехал, чтобы меня предупредить, — он снова появился только в следующем месяце, на этот раз с едой и другими покупками, и сообщил, что ты

больше не будешь приезжать в Липо-вао-нахеле, никогда.

— Постарайся посмотреть на это с его точки зрения, Вика, — сказал он почти умоляюще. — Кавика растет, сынок, он хочет проводить время с друзьями, с одноклассниками. Это не то место, где юноше легко жить.

Он как будто ждал, что я стану спорить, но я не спорил, потому что все это было правдой. И я понимал, что он имеет в виду: не в Липо-вао-нахеле тяжело жить, тяжело оставаться со мной, с тем, чем я стал, — или, может быть, всегда и был.

Многие считают, что растратили свою жизнь. Когда я был в колледже на материке, как-то раз ночью пошел снег, и на следующий день занятия отменили. Окно в общежитии выходило на крутой холм возле пруда, я стоял и смотрел, как мои однокашники проводят день, катаясь на санках, скатываются с горки, потом тащатся вверх, смеются, держатся друг за друга, преувеличенно изображают усталость. В общежитие они вернулись только к вечеру, и через дверь я слышал, как они обсуждают проведенный день. “Что я наделал? — говорил один парень с притворным ужасом. — Мне к завтрашнему дню надо было задание по греческому написать! Я трачу жизнь

на ерунду!”

Все засмеялись, потому что эта была нелепая мысль — он не тратил свою жизнь. Он пойдет и напишет задание по греческому, успешно его сдаст, потом получит степень и много лет спустя, провожая собственного сына в колледж, скажет ему: “Веселись, но не переусердствуй”, — и расскажет ему и как он сам учился в колледже, и про день, который был потрачен на снег и санки. Но настоящей интриги тут не будет, потому что оба уже будут знать окончание этой истории.

А вот я — я растратил свою жизнь. Если не считать тебя, единственное, чего я достиг, — это не уехал из Липо-вао-нахеле. Но не сделать что-то — не то же самое, что сделать что-то. Я растратил свою жизнь, но ты не собирался позволить мне растратить и твою. Поэтому я гордился тем, что ты бросаешь меня, делаешь то, на что я оказался не способен, — тебя нельзя было завлечь, обмануть, околдовать; ты покинешь не только меня, не только Липо-вао-нахеле, но и все остальное — остров, штат, историю, то, кем ты должен был стать, то, кем ты мог бы стать. Ты откажешься от всего этого и тогда почувствуешь себя таким легким, что, ступив в океанские волны, не погрузишься в них, а полетишь по поверхности

воды — и двинешься на восток, к иной жизни, где никто не знает, кто ты такой, даже ты сам.

Ты знаешь, что произошло потом, Кавика, может быть, даже лучше, чем я. Через несколько месяцев после твоего отъезда — дядя Уильям сказал мне, что через семь, — Эдвард утонул, и хотя его смерть была признана несчастным случаем, я иногда думаю, что он это сделал нарочно. Он приехал туда, чтобы что-то найти, но у него не оказалось на это сил, и у меня тоже. Я должен был внимать его исканиям, но не мог, и без меня он тоже в конце концов сдался.

Его тело нашел на песке во время одного из своих приездов дядя Уильям, и в этот же день — после того как меня допросили полицейские — он отвез меня в Гонолулу, в больницу. Когда я проснулся, я был в палате; я посмотрел вокруг и увидел врача, который повторял мое имя и светил ярким фонариком мне в глаза.

Врач сел рядом со мной и стал задавать вопросы. Знаю ли я, как меня зовут? Понимаю ли, где я? Знаю ли я, кто сейчас президент? Могу ли посчитать в обратном порядке от ста, отнимая по шесть? Я отвечал, и он записывал мои ответы. А потом, перед уходом, сказал: “Вика, ты меня не помнишь, но я-то тебя знаю. — Когда я ничего не

ответил, он сказал: — Меня зовут Гарри Йосимото, мы одноклассники. Помнишь?" Только ночью, лежа в постели, я вспомнил его — Гарри, мальчик с рисовыми сэндвичами, с которым никто не разговаривал; Гарри, мальчик, которым я ни за что не хотел бы быть.

Вот так все и кончилось. Я больше никогда не возвращался в наш дом в долине. Через некоторое время меня перевели сюда. Я постепенно утратил остатки зрения. Я утратил интерес, а потом и возможность что-либо делать. Я лежал в постели и дремал, время размягчалось и расплывалось, как будто я никогда не совершал никаких ошибок. Даже тебя — мне сказали, что ты теперь учишься в другой школе на Большом острове, — даже тебя я мог представить рядом с собой, и иногда, если это вдруг получалось, я обманывал себя, представляя, что никогда тебя и не знал. Ты будешь первым Кавикой Бингемом, который окончит другую школу, — кто знает, что еще ты сделаешь первым как Кавика Бингем? Может быть, будешь первым, кто поселится за рубежом? Первым, кто станет кем-то еще? Первым, кто уедет далеко-далеко, так далеко, что оттуда покажется, что даже Гавай'и расположены с чем-нибудь рядом?

Я думал об этом сегодня, когда проснулся

— проснулся от плача, плача, который она сдерживала, и дыхание вырывалось из ее груди рывками, как икота.

— Простите, миссис Бингем, — сказал кто-то. — Он как будто решил уйти — мы можем поддерживать его жизнь, только если он сам хочет жить. — И снова этот звук, этот отчаянный, безутешный звук, и опять голос: — Простите, миссис Бингем. Простите.

— Мне надо написать моему внуку — сыну моего сына, — услышал я ее голос. — Я не могу о таком сказать по телефону. Я успею?

— Да, — ответил мужской голос, — но скажите ему, чтобы поторопился.

Я хотел объяснить им, что тревожиться не надо, что мне лучше, что я почти в порядке. Я едва удерживался от того, чтобы улыбнуться, закричать от восторга, позвать тебя по имени. Но я хотел, чтобы это был сюрприз, — я хотел увидеть твое лицо, когда ты наконец-то войдешь в эту дверь, когда увидишь, как я вскакиваю с кровати, чтобы обнять тебя. Как ты удивишься! Как они все удивятся. Интересно, они станут мне аплодировать? Будут мной гордиться? Или смутятся, даже разозлятся — смутятся, потому что недооценили меня, разозлятся, что я выставил их дураками?

Но я надеюсь, что такого не случится, потому что злиться некогда. Ты едешь сюда, и я чувствую, что мое сердце колотится все сильнее, что кровь гулко стучит в ушах. Я продолжу тренировки. Я стал таким сильным, Кавика, — я почти готов. На этот раз я готов к тому, чтобы ты мной гордился. На этот раз я не подведу тебя. Я все время думал, что единственная история моей жизни, которую я могу рассказать, — это история про Липо-вао-нахеле, но теперь я понимаю: мне дана еще одна возможность, возможность новой истории, возможность сказать тебе что-то новое. Так что сегодня вечером, когда стемнеет и здесь вокруг все утихнет, я встану, пройду по знакомой дорожке в сад и на этот раз выйду за калитку во внешний мир. Я уже вижу верхушки деревьев, чернеющих на фоне темного неба; я уже чувствую вокруг запах имбиря. Они ошибались: еще не поздно, еще не поздно, еще все-таки не поздно. А потом я пойду — не к дому моей матери, не в сторону Липо-вао-нахеле, но куда-то еще, туда, куда, я надеюсь, отправился ты, и я не остановлюсь, не отдохну, пока не дойду до цели, пока не дойду до тебя, пока не пройду весь этот путь — до самого рая.

Книга III. Восьмая зона

Глава 1

2093 год, осень

Обычно я возвращаюсь домой на шаттле, который отправляется в 18:00, и выхожу на пересечении Восьмой улицы и Пятой авеню где-то между 19:30 и 19:40, в зависимости от задержек в пути, но сегодня была запланирована Церемония, и мне пришлось попросить доктора Моргана отпустить меня пораньше. Если движение перекроют в районе Сорок второй улицы, неизвестно, сколько это продлится, и тогда я могу не успеть купить продукты и приготовить ужин к приходу мужа. Доктор Морган не стал дослушивать мои объяснения до конца.

— Не обязательно посвящать меня во все подробности, — сказал он. — Конечно, идите. Успеете на семнадцатичасовой шаттл. — И отмахнулся от моей благодарности.

Пассажиры семнадцати- и восемнадцатичасового шаттла очень разные. В 18:00 домой возвращаются лаборанты и научные сотрудники, иногда даже старшие исследователи, но в семнадцатичасовом шаттле мне встретился один-

единственный знакомый человек — уборщица. Она, кажется, не заметила, что я поворачиваюсь и машу ей рукой, потому что не помахала в ответ, когда проходила мимо.

Мои опасения сбылись: шаттл замедлил ход, а потом и совсем остановился чуть южнее Сорок второй улицы. Окна шаттлов защищены решетками, но сквозь них все равно можно разглядеть, что происходит снаружи. Мое место было справа, поэтому мне была видна Старая библиотека, рядом с которой, конечно, стояли стулья — шесть стульев, выстроенных в ряд вдоль авеню, хотя там никто не сидел и ограждения пока не были установлены. До начала Церемонии оставалось еще два часа, но радиотехники в длинных черных пальто уже ходили туда-сюда, и два человека наполняли проволочные мусорные корзины камнями, которые доставали из кузова большого грузовика. Он-то как раз и перегородил дорогу, и нам оставалось только ждать, пока они наполнят все корзины, вернутся в свою машину и освободят проезд. Оставшаяся часть пути пролетела быстро, даже несмотря на контрольно-пропускные пункты.

Когда шаттл доехал до моей остановки, было 17:50, и хотя поездка заняла больше времени,

чем обычно, мне удалось попасть домой намного раньше. Как и всегда после работы, первым делом надо было сходить в магазин. Сегодня был мясной день, а еще третий четверг, в который мы получали месячную норму мыла и туалетной бумаги. С прошлой недели у меня остался специально отложенный талон на овощи, так что, помимо картошки и морковки, можно было взять еще банку горошка. Кроме обычных протеиновых батончиков с разными вкусами, соевых котлет и искусственного мяса, сегодня завезли настоящее мясо: лошадь, собаку, оленя и нутрию. Нутрия самая дешевая, но муж говорит, что она слишком жирная, поэтому мне пришлось купить полкило лошади и еще кукурузную муку, а то ее осталось совсем мало. У нас кончилось молоко, но если отложить талон на него до следующей недели, то хватит на пудинг, а значит, лучше купить сухое молоко, хотя мы с мужем оба его не любим.

До дома надо было пройти четыре квартала, и только в квартире, когда мясо уже поджаривалось на сковородке с растительным маслом, мне вдруг пришло в голову, что сегодня у мужа свободный вечер и что он не вернется к ужину. Но бросать готовку было уже поздно, поэтому оставалось только дожарить мясо, положить к

нему горошка и поесть в одиночестве. Сверху доносились приглушенные крики: соседи слушали Церемонию по радио. У меня желания слушать не было, но и ложиться спать сразу после мытья посуды не хотелось: мне казалось, что лучше посидеть на диване и подождать мужа, хотя ясно было, что вернется он еще не скоро.

На следующий день все было как обычно, и домой меня привез восемнадцатичасовой шаттл. Когда мы проезжали мимо Старой библиотеки, никаких свидетельств того, что здесь проходила Церемония, разглядеть не удалось: ни камней, ни стульев, ни растяжек, а ступеньки были чистые, серые и пустые, как всегда.

Стоило мне поставить разогревать масло, чтобы пожарить мясо, как в дверь постучал муж — тук-тук-бам-бам-бам — и крикнул мне: “Кобра!”, а я ему: “Мангуст!”, — и раздались глухие щелчки открывающегося замка: раз, два, три, четыре. А потом дверь открылась, и он вошел — мой муж, мой Мангуст.

— Ужин почти готов.

— Сейчас приду, — сказал он и отправился в спальню переодеваться.

На ужин у нас было немного горошка, мясо и по половинке разогретой картофелины, запеченной

еще утром, после того как муж отправился на работу. Наконец он пришел и сел за стол напротив.

Некоторое время мы ели молча.

— Лошадь? — спросил муж.

— Да

— М-м, — сказал муж.

Хотя мы женаты уже больше пяти лет, мне до сих пор трудно поддерживать с ним разговор. Так было и во время нашей первой встречи, и когда мы вышли из офиса брачного маклера, дедушка обнял меня за плечи и притянул к себе, но молчал всю дорогу, пока мы не вернулись домой.

— Ну, что думаешь? — спросил он тогда.

— Не знаю. — Отвечать “не знаю” не следовало — мне говорили, что я слишком часто это повторяю, — но это была правда. — Я не знаю, что ему сказать, могу только отвечать на его вопросы.

— Это ничего, — сказал дедушка. — Со временем станет легче. — Он помолчал. — Просто нужно вспомнить, что мы с тобой учили, — сказал он. — Что обсуждали. Ты же помнишь?

— Конечно. “Как прошел твой день?”, “Ты слышал, что передавали по радио?”, “Что интересного было сегодня?”.

Мы с дедушкой вместе составили целый список вопросов, которые люди могут задавать

друг другу. Даже сейчас мне иногда случалось заглядывать в этот список перед тем, как лечь спать, чтобы на следующий день задать один из вопросов мужу или кому-нибудь из коллег. Но проблема заключалась в том, что некоторые вопросы — “Что ты хочешь сегодня на ужин?”, “Какие книги ты сейчас читаешь?”, “Куда собираешься поехать в отпуск?”, “Какая хорошая/ужасная сегодня погода, правда?”, “Как ты себя чувствуешь?” — или уже не имели смысла, или стали опасными. При виде этого списка в памяти у меня всплывали наши учебные разговоры с дедушкой, но вспомнить его ответы не получалось.

— Как тебе мясо?

— Хорошее, — ответил муж.

— Не слишком жесткое?

— Нет-нет, хорошее. — Он отправил в рот еще кусочек. — Все отлично.

После этого мне стало легче. Дедушка говорил, что, когда будет тревожно, надо просто начать складывать числа в уме, и именно это мне и приходилось делать сейчас, пока муж меня не успокоил. Теперь волнение отступило настолько, что можно было даже спросить еще что-нибудь.

— Как прошел твой свободный вечер?

— Хорошо, — сказал он, не поднимая глаз. —

Замечательно.

Больше ничего придумать не получалось. Но наконец мне пришла в голову новая мысль.

— Вчера вечером прошла Церемония. Из окна шаттла было видно, как к ней готовились.

Теперь он посмотрел на меня:

— И что там?

— Мне не хотелось слушать. А тебе?

— И мне нет, — сказал он.

— Ты знаешь, кто были эти люди?

Мы все понимали, что такие вопросы задавать нельзя. Мне просто нужно было как-то поддержать беседу с мужем. Но тут, к моему удивлению, он снова посмотрел на меня и несколько секунд помолчал — как и я. Потом он сказал:

— Не знаю.

Мне казалось, что он хочет еще что-то добавить, но больше он не произнес ни слова, и мы доели ужин молча.

Две ночи спустя нас разбудил стук в дверь и мужские голоса. Выругавшись, муж вскочил. Мне пришлось потянуться через кровать, чтобы включить лампу.

— Побудь здесь, — сказал он, но останавливать меня было уже поздно. — Кто там? — крикнул он в закрытую дверь, и его храбрость, как и всегда в

таких случаях, не могла не восхищать: он казался совершенно бесстрашным.

— 546-й следственный отдел Третьего муниципалитета, сотрудники 5528, 7879 и 4578, — ответил голос с той стороны двери. Послышался лай собаки. — Мы разыскиваем подозреваемого, который обвиняется в нарушении статей 122, 135, 229, 247 и 333.

Статьи, номера которых начинаются с цифры один, — это преступления против государственной власти. С цифры два — незаконная торговля. С цифры три — информационные преступления: обычно это значит, что обвиняемый сумел получить доступ в интернет или хранит запрещенную книгу.

— Просим разрешения обыскать квартиру.

Не то чтобы они действительно просили разрешения, но мы все равно были обязаны его дать.

— Разрешаю, — сказал муж, отпер дверь, и к нам в квартиру вошли трое мужчин в сопровождении большой поджарой собаки с узкой мордой. Самый высокий из них остановился на пороге, направив на нас дуло пистолета, а мы встали у стены напротив к нему лицом, подняв руки, согнутые в локтях под прямым углом, пока двое его напарников открывали шкафы и осматрива-

ли спальню и ванную комнату. Обыски должны были проходить тихо, но мы слышали, как они поднимают один матрас, потом другой, как матрасы с глухим стуком падают обратно на кровать, и хотя стоявший в дверях человек был очень рослым, мне все равно были видны другие полицейские группы у него за спиной: одна заходила в квартиру слева, вторая бегом поднималась по лестнице.

Наконец все закончилось, двое мужчин с собакой вышли из спальни, один из них сказал тому, кто стоял на пороге: “Чисто”, а нам: “Подпись”, — и каждый из нас, прижав большой палец правой руки к экрану, который он нам протянул, назвал в микрофон сканера свое имя и идентификационный номер, а потом они ушли, и мы закрыли за ними дверь.

Во время обыска квартиру всегда переворачивали вверх дном. Всю нашу одежду и обувь вышвырнули из шкафа, матрасы лежали криво, и окно было открыто: они проверяли, не подвесили ли мы что-нибудь под подоконником и не спрятали ли среди деревьев — судя по всему, именно так кто-то сделал год назад. Убедившись, что складные железные ставни надежно заперты на замок, муж закрыл окно, задернул черную штору

и помог мне поправить сначала мой матрас, а потом свой. Мне хотелось убрать хотя бы часть вещей на место, но он меня остановил. “Брось, — сказал он. — До завтра они никуда не денутся”. После этого он лег в свою кровать, а я — в свою, он погасил свет, и снова наступила темнота.

Стало тихо и в то же время не совсем тихо. Было слышно, как полицейские ходят по квартире над нами; упало что-то тяжелое, и наша люстра задребезжала. Раздались приглушенные крики и собачий лай. А потом мы услышали шаги на лестнице и объявление из громкоговорителей на крышах полицейских фургонов: “Восьмая зона, Вашингтонская площадь, север, дом тринадцать, восемь квартир и цокольный этаж, все чисто”. Потом загудели лопасти полицейского вертолета, и наконец действительно стало тихо — так тихо, что мы услышали, как плачет женщина в квартире то ли над нами, то ли рядом. Но потом и она умолкла, наступила настоящая тишина, и полоска света от проблескового маячка проползла по спине моего мужа, перебралась на стену и снова исчезла в окне. Шторы не должны были пропускать свет маячка, но все равно его пропускали, хотя через некоторое время мы перестали обращать на это внимание.

Мне вдруг стало страшно, и появилось непреодолимое желание сползти с подушки и натянуть на голову одеяло, как в детстве. Мы еще жили с дедушкой вдвоем, когда к нам впервые пришли с обыском, и той ночью, как только все закончилось, мне стало очень жутко, и дедушка, увидев, что я начинаю раскачиваться и стонать, был вынужден прижать меня к себе, боясь, что я могу удариться головой. “Все будет хорошо, все будет хорошо”, — снова и снова повторял он, и на следующее утро мне все еще было страшно, но уже не так сильно, и он сказал, что бояться нормально, что со временем я привыкну к обыскам, что я молодец и герой и что надо все время об этом помнить.

Но легче не стало, как не стало легче разговаривать с мужем, хотя годы, прошедшие с первого обыска, научили меня успокаиваться, научили укрываться с головой, выдыхать и тут же вдыхать тот же самый воздух, чтобы все окружающее пространство наполнилось моим жарким, знакомым дыханием, и тогда я смогу убедить себя в том, что я не здесь, а в спасательной капсуле, которая летит в космосе.

Однако этой ночью мне не удалось вообразить спасательную капсулу. Мне нужно было что-

то обхватить руками, что-то теплое и плотное, наполненное собственным дыханием, но придумать, что бы это могло быть, у меня так и не получилось. Попытки представить, что бы сказал дедушка, будь он со мной, тоже ни к чему не привели. Оставалось только складывать числа, шепча в подушку, чтобы наконец успокоиться и заснуть.

Следующее утро после обыска началось для меня позже обычного, хотя опоздать на работу мне не грозило, потому что я всегда просыпаюсь рано и успеваю проводить мужа — правда, на этот раз он уже ушел.

Муж выходит из дома раньше меня, потому что он работает на объекте с более высокой степенью секретности, сотрудников которого впускают на территорию только после того, как обыщут и проведут через сканеры. Каждый день перед уходом муж готовит нам обоим завтрак, так что моя порция в керамической миске ждала меня в духовке: овсянка с последними оставшимися у нас миндальными орехами, которые он поджарил на сковородке, измельчил и насыпал сверху. Если смотреть из окна гостиной, закрытого решетчатыми металлическими ставнями, справа видны остатки деревянного балкона одной из

квартир в соседнем здании. Мне нравилось разглядывать этот балкон и наблюдать, как травы и помидоры в горшках становятся выше, гуще и зеленее, а когда выращивать еду у себя дома стало противозаконно, жители этой квартиры украсили балкон искусственными растениями из пластмассы и бумаги, выкрашенными в зеленый цвет; это напоминало мне о дедушке и о том, как он, даже когда дела стали идти хуже, где-то доставал бумагу, вырезал из нее разные фигурки — цветы, снежинки, животных, которых видел в детстве, — и прилеплял их на окно с помощью каши. Люди, жившие в той квартире, в конце концов завесили балкон где-то раздобытым куском синего брезента, и за завтраком мне часто случалось стоять у окна, смотреть на этот брезент и представлять искусственные растения — это успокаивало.

Но потом явилась полиция, наших соседей обвинили в укрывательстве врага, и балкон разгромили той же ночью, когда их увели. Это случилось пять месяцев назад. Я до сих пор так и не знаю, кто они были.

Перед уходом муж начал складывать вещи обратно в шкаф, но мне не хватило времени закончить уборку: в 8:30 отправлялся мой шаттл,

и пора было ехать на работу. Наша остановка в трех кварталах от дома, на углу Шестой авеню и Девятой улицы. Из Восьмой зоны каждое утро с перерывом в полчаса, начиная с 6:00, уходит восемь шаттлов. Они делают четыре остановки в Восьмой зоне, три в Девятой, а потом еще по одной в Десятой, где работает мой муж, в Пятнадцатой, где работаю я, и в Шестнадцатой. А каждый вечер с 16:00 до 20:00 все то же самое повторяется в обратном порядке: шаттлы проезжают Шестнадцатую зону, Пятнадцатую, Десятую, возвращаются в Девятую и Восьмую и сворачивают на восток, в Семнадцатую.

Во время первых поездок мне нравилось рассматривать других пассажиров и гадать, чем они занимаются и на какой остановке выйдут. Высокий мужчина, худой и длинноногий, как мой муж, — должно быть, ихтиолог и работает на Пруду в Десятой зоне; женщина с неприятным лицом и маленькими темными глазками, похожими на семечки, наверняка эпидемиолог и работает в Пятнадцатой зоне. Понятно было, что все они научные сотрудники или лаборанты, но узнать подробности мне бы никогда не удалось.

Смотреть по дороге на работу было особенно не на что — все время одно и то же, — но меня

все равно тянуло сесть у окна. В детстве у нас был кот, который любил ездить в машине: он устраивался у меня между коленей, клал передние лапы на окно и смотрел на улицу, и я вместе с ним, а дедушка, который иногда садился рядом с водителем, если мне хотелось, чтобы сзади было побольше свободного места, оборачивался и смеялся. “Мои котята смотрят, как мир проплывает мимо, — говорил он. — Что вы там видите, котята?” И мой ответ всегда был: машину, человека, дерево, и тогда дедушка спрашивал: “А куда, по-твоему, эта машина едет? Что, по-твоему, этот человек ел сегодня на завтрак? Какими на вкус, по-твоему, были бы цветы с этого дерева, если их попробовать?” — потому что он всегда помогал мне придумывать истории — учителя говорили, что я плохо с этим справляюсь. Иногда во время поездок на работу мне случалось мысленно рассказывать дедушке, что я вижу: здание из коричневого кирпича, окно на четвертом этаже, крест-накрест заклеенное черной лентой, и детское лицо, на мгновение мелькнувшее в просвете между полосками; черный полицейский фургон с приоткрытой задней дверцей, откуда высунулась большая белая нога; двадцать детей в темно-синей форме, которые держатся за узелки

на длинной серой веревке, выстроившись в очередь к пропускному пункту на Двадцать третьей улице: им нужно попасть в Девятую зону, где располагаются элитные школы. А потом ко мне возвращались мысли о дедушке, и жаль было, что мне почти нечего ему рассказать, но правда в том, что в Восьмой зоне мало что меняется, и это одна из причин, по которым нам повезло жить именно здесь. В других зонах есть на что посмотреть, а в Восьмой ничего не происходит, и это еще одна причина, по которой нам повезло.

Однажды, примерно год назад, во время поездки на работу мне все-таки довелось увидеть нечто такое, чего в Восьмой зоне никогда на моей памяти не случалось. Шаттл, как обычно, ехал по Шестой авеню и пересекал Четырнадцатую улицу, когда кто-то вдруг выбежал на перекресток. С моего места в середине салона, по левую сторону, не было видно, откуда взялся этот человек, но он был без рубашки и в одних тонких белых штанах, какие носили люди в изоляционных центрах, прежде чем их направляли в центры перемещения. Человек что-то говорил, но окна шаттла пуленепробиваемые и звуконепроницаемые, и поэтому ничего не было слышно, хотя он явно кричал: он вытянул перед собой руки, и

мускулы его шеи так напряглись и застыли, что на мгновение показалось, будто он высечен из камня. На груди у него виднелось около десятка следов от попыток скрыть симптомы болезни: люди часто прижигали сыпь, и после этого у них оставались темные шрамы вроде пиявок. Мне было непонятно, зачем они это делали, потому что каждый из нас знал, что означают высыпания, но и что означают шрамы, тоже каждый знал, и они просто меняли одно на другое. Это был белый молодой человек лет двадцати с небольшим, когда-то он был красивым, но теперь исхудал, почти все волосы у него выпали, как это происходит на второй стадии болезни, и он стоял посреди улицы босиком и кричал, кричал, кричал. А потом к нему подбежали два санитара в серебристых защитных костюмах и в шлемах с зеркальными визорами — если заглянуть в них, увидеть можно только свое собственное отражение, — и один из них набросился на молодого человека, чтобы повалить его на землю.

Но тот оказался удивительно быстрым: он увернулся от санитара и побежал к нашему шаттлу, и все пассажиры, которые до этого молча наблюдали за происходящим, ахнули, как будто дружно сделали один огромный вдох, а водитель,

вынужденный остановиться, чтобы не сбить санитаров, нажал на гудок, словно это могло отпугнуть бежавшего. Молодой человек подскочил прямо к моему окну, на мгновение передо мной возник его глаз, радужка которого была такой ярко-голубой и такой огромной, что меня охватил ужас, и теперь даже через окно было слышно, что он кричит: “Помогите!” Потом раздался хлопок, его голова откинулась назад, он упал и исчез из моего поля зрения, а потом к нему подбежали санитары, один из которых еще держал перед собой оружие.

Шаттл тронулся, набирая скорость, как будто это могло стереть все произошедшее, пассажиры опять умолкли, и мне казалось, они смотрят на меня и думают, что это случилось по моей вине, что тот человек обращался ко мне потому, что мы с ним сговорились. Обычно в шаттлах ездят молча, но тут какой-то мужчина тихо произнес: “Он не должен был до сих пор оставаться на острове”, — и, хотя никто не ответил, чувствовалось, что остальные согласны; даже мне было понятно, что они напуганы, а напуганы они потому, что не ожидали такого. Людей часто пугает то, чего они не понимают, но на этот раз с ними нельзя было не согласиться: больного в таком состоянии уже

давно пора было выслать отсюда.

Рабочий день тянулся медленно, что было совсем некстати, потому что меня все время преследовали мысли о случившемся. Это были мысли не столько о самом молодом человеке и его ярком глазе, сколько о том, что упал он почти беззвучно — таким невесомым и слабым оказалось его тело. Несколько месяцев спустя объявили, что изоляционные центры из Восьмой и Девятой зон переместят, и хотя ходили слухи о том, что это может значить, правды мы, конечно, так и не узнали.

С тех пор странные происшествия в Восьмой зоне больше не повторялись, и сегодня утром вид из окна оставался прежним, таким предсказуемым, что мне казалось, как это иногда бывает, будто не шаттл едет по улицам, а декорации города и актеры проезжают мимо. В окне показались жилые здания, потом дети, стоявшие цепочкой и державшиеся за руки, и началась Девятая зона: две огромные больницы, теперь пустующие, за ними клиника, а дальше, прямо перед Фермой, череда министерств.

Это означало, что мы въехали в Десятую зону — самую важную из всех. В Десятой зоне никто не живет. Помимо нескольких министерств,

здесь располагается огромная Ферма, которая занимает территорию бывшего парка, делившего остров пополам. Парк был таким большим, что на его долю приходилась значительная часть площади острова. Мне не довелось застать те времена, когда он еще существовал, но дедушка их застал и часто рассказывал, что парк в разных направлениях пересекали дорожки, где-то выложенные плиткой, а где-то протоптанные в траве, и что люди когда-то гуляли в этих местах, бегали, катались на велосипедах и устраивали пикники. Был здесь и зоопарк, и посетители платили за вход, чтобы просто посмотреть на необычных и бесполезных животных, от которых только и требовалось, что сидеть на месте и есть то, чем их кормят; было и озеро, по которому катались на маленьких лодочках, а весной сюда приходили смотреть на прилетевших с юга пестрых птиц, собирать грибы и любоваться цветами. В разных уголках парка стояли причудливые сооружения из железа, сделанные специально для детей. Давным-давно, когда еще шел снег, люди прикрепляли к ногам длинные тонкие дощечки и катались по пологим холмам, таким скользким, что, как объяснял дедушка, они часто падали — но это было не больно, а наоборот, хотелось ка-

таться еще и еще. Конечно, сейчас трудно понять, для чего предназначался этот парк, но дедушка говорил, что у него не было *предназначения* как такового: он был нужен только для того, чтобы люди могли прийти сюда и отдохнуть. Даже озеро существовало просто для развлечения — чтобы ходить вдоль берега, пускать бумажные кораблики или сидеть и смотреть на воду.

Шаттл остановился у главного входа на Ферму, и пассажиры вышли и стали выстраиваться в очередь. На кампус могли попасть только сотрудники, прошедшие специальный отбор, — их было около двух тысяч; прежде чем занять место в очереди, нужно было пройти сканирование сетчатки глаз, чтобы подтвердить право на вход, и у ворот всегда дежурили вооруженные охранники на случай, если кто-то попытается прорваться внутрь, — а такое иногда случалось. О Ферме постоянно ходили слухи, будто бы там выводят новые виды животных: коров с двойным выменем, чтобы получать вдвое больше молока; кур без ног и без мозгов, толстых и кубических, которых можно выращивать прямо в клетках и кормить через трубки; овец, которые питаются исключительно отходами, а значит, не нужно тратить землю и ресурсы, чтобы заготавливать

для них траву. Но ни один из этих слухов не подтвердился, и даже если там действительно выводят новых животных, мы их никогда не видели.

На Ферме работают над самыми разными проектами. Здесь есть теплицы, где культивируют новые растения, съедобные и лекарственные, Лес, где выращивают новые виды деревьев, Лаборатория, где создают новые типы биотоплива, и Пруд, где работает мой муж. Пруд разбит на два отдела: сотрудники одного занимаются животными, а другого — растениями. К первой группе относятся ихтиологи и генетики, ко второй — ботаники и химики. Мой муж работает во втором отделе, хотя он не ученый, потому что не смог защитить диссертацию. Он акватехник: это значит, что он высаживает образцы, которые одобрили или самостоятельно вывели ботаники, — чаще всего водоросли, — а потом следит за тем, как они растут и как их собирают. Некоторые из этих растений в дальнейшем будут применяться для разработки лекарств, другие — употребляться в пищу, а остальные, которые не пригодны ни для той, ни для другой цели, превратятся в компост.

Несмотря на все эти рассуждения, на самом деле я не представляю, что делает мой муж. Я *думаю,*

что он занимается именно этим — выращивает растения, ухаживает за ними, заготавливает их, — но не знаю наверняка, и он точно так же не знает наверняка, чем занимаюсь я.

Ферма окружена каменной стеной высотой в двадцать футов, а по верхнему краю этой стены через каждый фут расположены сенсоры, так что даже если кому-то удастся туда забраться, его обнаружат и поймают практически мгновенно. Основная часть Фермы находится внутри огромного биокупола, но несколько футов с южной стороны остались незащищенными, и у самой стены в два ряда высажены акации, которые тянутся вдоль всей территории, от Западной Фарм-авеню до Пятой авеню. Деревья, конечно, растут по всему городу, но на них почти никогда нет листьев, потому что люди обрывают их, как только они распустятся, чтобы добавить в чай или суп. Хотя рвать листья, разумеется, запрещено законом, все равно все это делают. Но трогать листья на территории Фермы или рядом с ней никто не осмеливается, и всякий раз, когда шаттл поворачивает на восток и выезжает на Южную Фарм-авеню, они вырастают впереди ярко-зелеными облаками, и хотя я вижу их пять дней в неделю, каждый раз это оказывается неожи-

данным.

Сегодня утром, как всегда, за окном не было ничего интересного. Сделав остановку на Ферме, шаттл поехал дальше, повернул на север, на Мэдисон-авеню, потом направо, на Шестьдесят восьмую улицу, потом на юг, на Йорк-авеню, и остановился напротив Университета Рокфеллера на Шестьдесят пятой. Тут мне нужно было выходить, так же как и тем, кто работает в университете или в Исследовательском центре Слоуна — Кеттеринга, который находится в квартале к западу. Сотрудники УР выстроились в две очереди: в одной стояли научные сотрудники, в другой — лаборанты и технический персонал. Охранники должны снять отпечатки пальцев, осмотреть сумки и провести нас через сканеры, прежде чем впустить на кампус, а потом проделать все это еще раз перед входом в сами здания. На прошлой неделе мой руководитель сообщил, что из-за неприятного инцидента они собираются проводить еще и сканирование сетчатки. Никого эта новость не обрадовала, потому что у нас, в отличие от Фермы, нет навеса, под которым можно было бы спрятаться в дождь, и хотя сам кампус накрыт биокуполом, зона досмотра ничем не защищена, а это значит, что нам придется полчаса

стоять на жаре. Мой руководитель сказал, что там установят систему охлаждения, если ждать придется слишком долго, но пока ничего так и не установили. Правда, уже начали корректировать рабочий график, чтобы мы приходили и уходили в разное время и не стояли в очереди все вместе.

— А что за инцидент? — спросил один из незнакомых мне сотрудников другой лаборатории, но руководитель не ответил, да никто и не ждал от него ответа.

Я работаю в Ларссон-центре, который создан в 30-е годы; его основное здание соединяется мостом с маленьким отдельным корпусом, расположенным на искусственном острове в Ист-Ривер. В Ларссон-центре девять лабораторий, и каждая специализируется на отдельном типе вируса гриппа. Одна лаборатория изучает варианты вируса 46 года, у которого есть большие эволюционные преимущества, другая — варианты вируса 56 года, который, как считает доктор Морган, вообще не относится к вирусам гриппа. Моя лаборатория — ее возглавляет доктор Уэсли — специализируется на прогностических моделях: это значит, что мы пытаемся предсказать появление очередного вируса, который может оказаться совершенно непохожим на два уже

известных. Наша лаборатория — одна из самых больших во всем институте. Помимо доктора Уэсли, старшего исследователя и начальника лаборатории, здесь работают двадцать четыре постдока (один из них — доктор Морган), которые уже защитили диссертацию, а теперь пытаются совершить какое-нибудь важное открытие, чтобы когда-нибудь возглавить собственную лабораторию, девять аспирантов, которых у нас называют кандидатами, и десять техников, в число которых вхожу я.

Я работаю с мышами. У нас всегда есть наготове как минимум четыреста экземпляров — существенно больше, чем в двух других лабораториях. Иногда я слышу разговоры своих коллег из этих лабораторий: их начальники недовольны, что у доктора Уэсли столько денег, которые он тратит на исследования “методом тыка” — это, как объяснил мне дедушка, значит, что, по их мнению, у него нет ни фактов, ни гипотез и он просто пытается обнаружить что-нибудь, но сам даже не знает, что именно. Когда доктор Морган узнал от меня об этом, он нахмурился и сказал, что им не полагается говорить такое и что они в любом случае всего лишь лаборанты. Потом он спросил, как их зовут, и мне пришлось соврать, что это

временные работники и я их не знаю, и он долго смотрел на меня и заставил пообещать, что я скажу ему, если услышу такие разговоры еще раз, но, несмотря на обещание, мне больше не хотелось ничего ему рассказывать.

Я отвечаю за мышиные эмбрионы. Поставщики привозят нам ящики с самками на первой неделе беременности. Научные сотрудники говорят мне, какие эмбрионы им нужны: обычно срок беременности должен достигать десяти дней, но иногда чуть больше. После этого я сворачиваю мышам шеи, извлекаю зародыши, помещаю их во флаконы или в чашки Петри — когда как, — сортирую по возрасту и убираю в холодильник. Моя задача — следить, чтобы мыши всегда были наготове, когда они понадобятся ученым.

Это занимает много времени, особенно если стараешься делать все аккуратно, но иногда оказывается, что мне нечем заняться. Тогда я прошу разрешения использовать один из двух положенных мне перерывов по двадцать минут каждый. Иногда я иду погулять. Все здания УР соединены подземными переходами, поэтому выходить на улицу не нужно. Во время эпидемии 56 года здесь построили несколько складских помещений и убежищ, но мне их увидеть так и не удалось. Все

утверждают, что под переходами есть еще два этажа с операционными, лабораториями и холодильниками. Но дедушка всегда учил меня не верить тому, чего не можешь доказать. “Для ученого ничто не может быть правдой, пока он это не докажет”, — говорил он. И хотя я и не ученый, я вспоминаю об этом каждый раз, когда иду по переходам и мне вдруг становится страшно: в такие моменты я могу поклясться, что в здании похолодало, что где-то глубоко подо мной скребутся мыши и кто-то стонет и шепчет. В первый раз, когда такое произошло, у меня подкосились ноги, а потом, когда сознание вернулось, оказалось, что я лежу в углу коридора, возле двери, ведущей на лестницу, и громко зову дедушку. Я этого не помню, но доктор Морган позже рассказал, что они нашли меня в луже мочи, и мне пришлось ждать в приемной с незнакомым сотрудником другой лаборатории, пока за мной не приехал муж.

Это случилось вскоре после того, как мы поженились, вскоре после того, как умер дедушка, и когда что-то разбудило меня, была уже ночь, и до меня не сразу дошло, что я в нашей квартире, лежу в своей кровати. Кто-то сидел на другой кровати и смотрел на меня. Это был мой муж.

— Как ты? — спросил он.

Мне было не по себе, хотелось спать, и произнести нужные слова не получалось. Он не включал свет, но тут по окнам скользнул луч прожектора и осветил его лицо.

Попытки ответить не увенчались успехом, потому что во рту пересохло, и муж протянул мне чашку. Очень хотелось пить, чашка опустела мгновенно, он забрал ее у меня и ушел на кухню, и слышно было, как он снимает крышку с каменного горшка для воды, как деревянный черпак ударяется о стенку, как вода снова наполняет чашку.

Наконец, после нескольких глотков, мне удалось выговорить:

— Я не помню, что случилось.

— Тебя нашли без сознания, — сказал он. — На работе. Мне позвонили, я приехал за тобой и привез тебя домой.

— А. — И тут воспоминания вернулись, но нечеткие, как будто это была одна из дедушкиных историй, которые он рассказывал мне давным-давно. — Извини.

— Ничего страшного, — сказал муж. — Я рад, что тебе лучше.

Потом он встал, подошел к моей кровати, и на мгновение мне показалось, что он сейчас

прикоснется ко мне или даже поцелует меня, и непонятно было, как к этому отнестись, но он только посмотрел на меня сверху вниз и на несколько секунд положил ладонь на мой лоб. Ладонь была сухой и прохладной, и мне вдруг захотелось стиснуть его пальцы, но мы с ним так не делаем.

А потом он вышел и закрыл за собой дверь. Мне не спалось, но ни его шагов, ни щелчка выключателя в гостиной не было слышно. Он провел всю ночь там, в темноте, ничего не делая, никуда не уходя, — но не в одной комнате со мной.

Этой ночью все мои мысли были о дедушке. Вообще мысли о нем приходят ко мне часто, но этой ночью они были особенно неотвязными: хотелось повторять все приятные слова, которые он говорил, и думать о том, как, стоило мне сделать что-нибудь хорошее, он крепко обнимал меня и прижимал к себе, и мне это не нравилось, но в то же время нравилось. Он называл меня своим котенком, а когда становилось страшно, можно было прийти к нему, и он укладывал меня обратно в кровать, садился рядом и держал меня за руку, пока я не засну. Но трудно было не думать о том, каким он был в тот последний день, о том, как его уводили, как он повернулся, обводя

глазами толпу, и от страха у меня не было сил закричать, и мы с мужем, с которым только что поженились, просто стояли рядом и смотрели, как дедушкин взгляд мечется туда-сюда, туда-сюда, и наконец, когда его вели по ступенькам на помост, он крикнул: “Я люблю тебя, котенок!” — а у меня по-прежнему не было сил ничего сказать.

“Ты слышишь меня, котенок? — позвал он, все еще пытаясь отыскать меня, но он смотрел не в ту сторону, он кричал в толпу, а толпа смеялась над ним, и человек на помосте уже шагнул к нему, держа в руках черную ткань. — Я люблю тебя, котенок, не забывай об этом. Что бы ни случилось”.

И теперь, в постели, мне оставалось только раскачиваться из стороны в сторону и говорить дедушке: “Я не забуду. Не забуду”. Но хотя я действительно помню об этом до сих пор, я *больше не помню,* каково это, когда тебя любят. Когда-то мне это было понятно, а теперь уже нет.

Однажды утром, спустя несколько недель после обыска, по радио объявили, что в системе кондиционирования воздуха в УР обнаружены неполадки и сотрудникам не нужно приходить на работу.

Сводки новостей передавали каждое утро четыре раза — в 5:00, в 6:00, в 7:00 и в 8:00, — и надо

было прослушать хотя бы одну из них, чтобы не пропустить важную информацию. Например, иногда из-за какого-нибудь происшествия менялся маршрут шаттлов, и диктор говорил, на какие районы распространяются эти изменения и где теперь ждать шаттл. Иногда передавали сводку качества воздуха, и тогда становилось понятно, что на улице нужна маска, или сообщали о высоком индексе ультрафиолетового излучения, и тогда надо было взять экранирующую накидку, или о повышении температуры, и тогда стоило надеть охлаждающий костюм. Иногда объявляли о предстоящей Церемонии или о судебном процессе, чтобы можно было заранее спланировать свое время. Для тех, кто работал на крупных государственных предприятиях или в исследовательских институтах, как мы с мужем, по радио могли сообщить о закрытии этих учреждений или об изменениях графика работы. Например, в прошлом году снова случился ураган, и УР закрыли, но мой муж и другие технические сотрудники все равно должны были поехать на Ферму, чтобы покормить животных, убрать за ними, перепроверить показатели солености воды в разделенных на разные классы резервуарах и выполнить разные задачи, с которыми

не могли справиться компьютеры. Моего мужа забрал специальный шаттл, который шел не по стандартному маршруту, а сразу через все зоны, и потом привез его прямо к дому, когда небо уже почернело.

Когда шесть лет назад меня взяли на работу в УР, с кондиционированием воздуха не было никаких проблем. Но за прошлый год они случались уже четыре раза. Конечно, полностью электричество в зданиях никогда не отключалось: пять больших генераторов могут восстановить напряжение практически мгновенно. Но в последний раз, в мае, нам велели не приходить, если электричество отключится еще раз, потому что генераторы, которые поддерживают нужную температуру в холодильниках, и без того работают на полную мощность, а тепло наших тел нагрузило бы систему еще сильнее.

Хотя в этот день мне не надо было на работу, привычный распорядок остался неизменным. Съесть овсянку на завтрак, почистить зубы, обтереться гигиеническими салфетками, заправить постель. Но потом оказалось, что заняться мне нечем: за продуктами мы ходим в специально отведенные для этого часы, а стирку можно устроить только в водный день, и на этой неделе

он уже был. Пришлось достать из шкафа щетку и подмести квартиру, хотя обычно я делаю уборку по средам и воскресеньям. Это не заняло много времени, потому что был четверг и подметенные только вчера полы оставались чистыми. Потом мне пришло в голову перечитать ежемесячный бюллетень Восьмой зоны — его приносили в каждую квартиру, и из него можно было узнать о предстоящем ремонте дорог в районе, о высадке деревьев на Пятой и Шестой авеню, о новых товарах, которые скоро должны завезти в продуктовые магазины, о том, когда они поступят в продажу и во сколько талонов обойдутся. Кроме того, в бюллетене публиковали рецепты от жителей Восьмой зоны, которые мне каждый раз хотелось попробовать. В этом выпуске оказался рецепт жаркого из енота с любистком и кашей на гарнир — особенно интересный потому, что мясо енота мне не нравилось и постоянно приходилось искать разные способы улучшить его вкус. Вырезанная страничка с рецептом отправилась в ящик кухонной тумбы. Мои неоднократные попытки раз в несколько месяцев послать им собственный рецепт были тщетными: они так ничего и не опубликовали.

После этого мне оставалось только сидеть на

диване и слушать радио. С половины девятого до пяти включали музыку, потом — три вечерних сводки новостей, а с половины седьмого до полуночи — опять музыку. Потом вещание прекращалось до 4:00 — им надо было транслировать для военных зашифрованные сообщения, которые звучали как долгое тихое жужжание, а нам надо было ложиться спать, потому что правительство хотело, чтобы мы вели здоровый образ жизни, и по той же самой причине электросети в эти часы вдвое снижали мощность. Музыка была незнакомая, но приятная, она успокаивала, и мне все время представлялись плавающие в физрастворе мышиные эмбрионы с недоразвитыми лапками, похожими на крошечные человеческие ладони. Хвостов у них тоже еще не было, только небольшие отростки позвоночника, и если не знать, что это мыши, ни за что нельзя было догадаться. Это могли быть любые эмбрионы — кошачьи, собачьи, обезьяньи, даже человеческие. Научные сотрудники называли их мизинчиками.

Меня беспокоила судьба эмбрионов, хотя это глупо: генераторы не позволят им нагреться, да и в любом случае они уже мертвы. Они навсегда останутся такими, как сейчас, никогда не разовьются в полноценный организм, никогда не

станут крупнее, никогда не откроют глаза, никогда не обрастут белой шерстью. И тем не менее именно из-за них система кондиционирования вышла из строя. Дело в том, что есть разные группы людей, которые не любят УР. Одни считают, что ученые недостаточно стараются, что если бы они работали быстрее, то нашли бы способ избавиться от болезней и все изменилось бы в лучшую сторону, а может, мы даже вернулись бы к прежней жизни, как в те времена, когда дедушке было столько лет, сколько мне. Другие думают, что ученые работают не над теми проблемами. Третьи уверены, что ученые сами выращивают вирусы в лабораториях, потому что хотят уничтожить определенные категории людей или помогают правительству сохранять контроль над населением, и эта группа — самая опасная.

Главная цель двух последних групп — оставить ученых без мизинчиков: тогда им некого будет заражать вирусами, а если заражать некого, придется прекратить работу или придумать другой способ. Так, по крайней мере, эти люди думают. Перебоями с электричеством все не ограничивается: ходят слухи, будто преступные группировки нападают на бронированные грузовики, в которых с Лонг-Айленда привозят лабораторных

животных. После инцидента 88 года водителей обязали брать с собой оружие, и каждый грузовик должны теперь сопровождать трое солдат. Но эти меры не помогли: два года назад нападавшим удалось остановить грузовик, ехавшие в нем были убиты, и впервые за все годы существования университета животных не доставили в лабораторию. Приблизительно в это время и произошло первое отключение электричества. Тогда в УР было только два генератора, их мощности не хватило, в крыле Делакруа пропало напряжение, сотни препаратов испортились, и несколько месяцев работы пошли насмарку; после этого директор университета обратился к правительству с просьбой усилить охрану, выделить больше генераторов и ужесточить наказание для преступников, и просьба была исполнена.

Конечно, мне об этом никто не рассказывал. Чтобы понять, что к чему, мне приходится прислушиваться к разговорам научных сотрудников, которые перешептываются в углу лаборатории, и, когда они поручают мне принести одни эмбрионы и унести другие, надо задержаться — ненадолго, чтобы не привлекать к себе внимания, — и прислушаться. Никто особенно меня не замечает, хотя из-за дедушки все знают, кто я.

Если новые постдоки или кандидаты поднимают на меня глаза, стоит мне войти в комнату, а потом благодарят за то, что я приношу очередную партию мышей и уношу предыдущую, сразу становится понятно: они только что выяснили, кто я. Но постепенно они привыкают, перестают меня благодарить и совсем забывают о моем присутствии, и это хорошо.

Казалось, что я слушаю музыку уже очень долго, но, судя по часам, прошло всего двадцать минут. Они показывали двадцать минут десятого, и это значило, что мне нечем заняться до 17:30, когда я смогу пойти в магазин, а это будет еще не скоро. Но пока что можно было погулять на Площади.

Мы с мужем живем на северной стороне Площади, в восточной части Пятой авеню. В моем детстве дом, где расположена наша квартира, целиком принадлежал нам с дедушкой, и мы жили там вдвоем, а еще у нас был повар и два помощника по хозяйству. Но во время восстания 83 года государство поделило его на восемь квартир, по две на каждом этаже, и позволило нам выбрать любую. Потом, после свадьбы, мы с мужем остались жить здесь, а дедушка съехал. Окна одной из квартир на каждом этаже смотрят на Площадь, а другой — на север. Мы живем на

третьем этаже, с северной стороны, и это хорошо, потому что в нашей квартире тихо. Из окон виден старый двор, где семейство, которое построило этот дом больше двухсот лет назад, когда-то держало лошадей — не для еды, а чтобы ездить на них по городу.

Мне не слишком хотелось гулять по Площади — во-первых, стояла жара, даже хуже, чем обычно бывает в конце октября, а во-вторых, гулять по Площади иногда страшно. Но и сидеть в квартире, где никого нет и нечем заняться, было уже невозможно. Сначала мне пришлось намазаться солнцезащитным кремом, надеть шляпу и рубашку с длинными рукавами, а уже потом можно было спуститься по лестнице, выйти из дому и перейти улицу, за которой начиналась Площадь.

На Площади продавалось все что угодно. Северо-западный угол занимали мастера, которые умели изготавливать любые вещи от замка до кастрюли и скупали старый металл. Они взвешивали товар, определяли его состав — сплав кобальта с алюминием или железа с никелем, — платили за него золотом или талонами на продукты или воду, как захочет клиент, а потом переплавляли его и делали что-нибудь новое. К югу от них сидели торговцы тканями, которые

не только торговали, но еще умели кроить и шить; они скупали ненужную одежду или ткань и перешивали старые вещи. Северо-восточный угол принадлежал ростовщикам, рядом с ними располагались травники, а к югу — столяры, которые могли смастерить или починить любое деревянное изделие. Были здесь и резинщики, и веревочники, и пластмассники, которые покупали и продавали пластмассовые вещи и тоже могли сделать на заказ что-нибудь новое.

Не у всех была лицензия на торговлю, поэтому раз в несколько месяцев полиция устраивала рейд и все, даже те, у кого разрешения были, исчезали с Площади на неделю, а потом возвращались. Люди — я имею в виду большинство обычных людей, а не ученых и министров — зависели от этих торговцев. В Четырнадцатой зоне были магазины, где продавались всевозможные товары, но в Восьмой зоне их функции выполняла Площадь — кроме продуктовых магазинов, у нас ничего не было. Представители власти в любом случае не слишком интересовались торговцами тканями, столярами и мастерами по металлу: куда больше их интересовали те люди, которые перемещались между рядами. У них не было определенного места на Площади, как у торговцев, — деревян-

ного стола и брезентового навеса от солнца или дождя. В лучшем случае у них был стульчик и зонтик, и каждый день они подыскивали себе новое место. Иногда у них не было совсем ничего, и они просто бродили между прилавками. И тем не менее все — и остальные торговцы, и постоянные покупатели — знали, кто они и как их найти, хотя никто никогда не называл их по имени. Они могли вправить вывих или зашить рану, могли помочь переехать в другую префектуру, могли раздобыть что угодно — запрещенные книги, сахар, нужного человека. Они могли найти ребенка или забрать нежеланного. Они могли устроить больного в хороший изоляционный центр или вызволить его оттуда. Некоторые из них даже утверждали, что могут вылечить болезнь, и их власти разыскивали особенно тщательно, но говорили, что они умеют исчезать, если захотят, и что поймать их невозможно. В этом, конечно, не было никакого смысла: люди не умеют исчезать. Но ходили слухи, что им снова и снова удавалось скрыться от властей.

В центре Площади была круглая бетонная яма, большая, но неглубокая, а в ее середине, на маленьком возвышении, горел огонь, который никогда не тушили, даже в самую жаркую погоду

— разве что на время рейдов, — и вокруг этого огня сидели другие торговцы. Их было человек двадцать-тридцать, в разные дни по-разному, и они сидели в яме, а по краю расстилали брезент и раскладывали на нем мясо. Иногда можно было определить, что это за мясо, а иногда нет. У каждого торговца был острый нож, длинные металлические щипцы и вертела, а также плетеный пластмассовый веер, чтобы отгонять мух. За талоны или золото эти торговцы или отрезали кусок мяса и заворачивали в бумагу, чтобы можно было взять его с собой, или нанизывали на вертел и зажаривали на огне, как захочет покупатель. Вокруг костра стояли металлические подносы, на которые с мяса капал жир, и кто не мог позволить себе мясо, покупал жир, чтобы готовить на нем дома. Удивительно, но все торговцы в этой яме были очень худыми, и никто ни разу не видел, чтобы они ели. Многие утверждали, что эти люди ни за что не возьмут в рот мясо, которое продают, и раз в несколько месяцев проходил слух, что оно на самом деле человеческое и что поставляют его из лагерей. Но это не останавливало тех, кто готов был покупать мясо, срывать его с вертелов зубами и возвращать их торговцу вылизанными до блеска.

Хотя мы жили совсем рядом с Площадью, ходить туда мне не нравилось. Наверное, мой муж бывал там часто. Но я — нет. Там было шумно, и весь этот хаос, и толпы, и запахи, и крики продавцов (“Куплю мета-а-алл! Куплю мета-а-алл!”), и непрерывный стук молотка по дереву — от всего этого мне делалось не по себе. А еще было очень жарко, воздух от огня становился зыбким, и мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок.

Площадь вызывает неприятные чувства не только у меня, хотя вообще это глупо: за ней наблюдает около двадцати Мух, с гудением снующих туда-сюда, и, случись что-то серьезное, полиция явится немедленно. И все-таки несколько человек, включая меня, постоянно ходят по дорожке вдоль периметра, наблюдают за тем, что происходит на Площади, но не заходят за ограждение. Многие из них немолоды и уже не работают, и я никого из них не знаю — наверное, они даже не живут в Восьмой зоне, а приходят из других районов, что формально противозаконно, но редко наказывается. В южных и восточных зонах есть свои разновидности Площади, но наша считается лучшей, потому что Восьмая зона — стабильное, спокойное и безопасное место для жизни.

После нескольких кругов вдоль периметра мне стало невыносимо жарко. К пунктам охлаждения на южной стороне Площади стояла длинная очередь, но платить глупо, если можно просто вернуться в квартиру. Во времена дедушкиной молодости никаких пунктов охлаждения и торговцев здесь не было. Тогда на Площади росли деревья и трава, а яма в центре была фонтаном, который выбрасывал струи воды, тут же падавшие обратно. Раз за разом они взлетали и опадали, взлетали и опадали, и все это только потому, что людям нравилось на них смотреть. Знаю, звучит странно, но это правда: дедушка однажды показал мне фотографию. Тогда собаки жили у людей дома в качестве членов семьи, как дети, и питались специальной едой, им давали имена, как будто они люди, хозяева приводили их на Площадь, чтобы те побегали по траве, и наблюдали за ними со скамеек, которые предназначались специально для этого. Так говорил дедушка. Он приходил на Площадь, садился на скамейку и читал книгу или шел оттуда пешком в Седьмую зону, которая тогда еще не называлась Седьмой зоной — у нее тоже было собственное название, как имя у человека. У многих вещей были названия.

Стоило мне подойти к южной стороне Площади, как люди, окружившие одного из торговцев около входа, разошлись, и оказалось, что торговец стоит рядом с автоматом, похожим на огромный металлический зажим, и вставляет в этот зажим большую глыбу льда. Мне давно уже не доводилось видеть куски льда такого размера, и хотя он был не прозрачный, а светло-коричневый, испещренный мелкими точками попавших внутрь мошек, он все же выглядел относительно чистым, и тут торговец обернулся и заметил меня.

— Хотите чего-нибудь холодного? — спросил он. Это был пожилой человек, старше доктора Уэсли, почти такой же старый, как дедушка, и на нем, несмотря на жару, был свитер с длинными рукавами и полиэтиленовые перчатки.

Незнакомцы обычно со мной не разговаривали, и меня охватила паника, но дедушка учил, что надо закрыть глаза, вдохнуть и выдохнуть, и от этого стало легче, и хотя торговец по-прежнему стоял и смотрел на меня, страшно под его взглядом мне уже не было.

— Сколько? — наконец удалось спросить мне.

— Один молочный или два на крупу, — сказал он.

Он просил много, потому что в месяц нам да-

вали всего двадцать четыре талона на молочные продукты и сорок на крупу, и к тому же было даже непонятно, что он продает. Надо было бы спросить, но мне не хотелось. Не знаю почему. Ты всегда можешь спросить, повторял дедушка, и хотя теперь это уже было не так, задать вопрос торговцу действительно было *можно.* Никто на меня не разозлится, и никаких неприятностей не будет.

— Похоже, вам жарко, — сказал торговец и, не дождавшись ответа, добавил: — Поверьте, оно того стоит. — Он показался мне приятным, и его голос чем-то напоминал дедушкин.

— Хорошо.

Он взял у меня молочный талон и сунул его себе в фартук. Потом вставил бумажный стаканчик в отверстие автомата, над которым висела глыба льда, начал проворно вращать рукоятку, и в стаканчик посыпалась ледяная стружка. Когда лед достиг краев, торговец быстро постучал стаканчиком по зажиму, утрамбовывая содержимое, вставил его обратно и снова начал вращать рукоятку, одновременно поворачивая стаканчик, пока опять не образовалась горка льда. Наконец он постучал по льду сверху, наклонился за стоящей у него под ногами стеклянной бутылкой с

бледной мутноватой жидкостью, долго, как мне показалось, поливал ледяную стружку и потом протянул мне стаканчик.

— Спасибо.

Он кивнул.

— Приятного аппетита, — сказал он, а когда поднял руку, чтобы вытереть лоб, задравшийся рукав свитера обнажил на внутренней стороне предплечья шрамы, и по ним стало понятно, что он перенес болезнь 70-го, которой обычно заражались дети.

Тут мне стало как-то не по себе и захотелось уйти как можно быстрее, и только на западном углу Площади, где люди стояли в очереди к пунктам охлаждения, лед начал капать мне на руку и напомнил про мою покупку. Оказалось, что он полит сиропом, а сироп сладкий. Не от сахара (сахар — большая редкость), но от чего-то похожего на сахар и почти такого же вкусного. Лед был очень холодным, онемевший язык жгло, но нарастающее беспокойство заставило меня выбросить стаканчик с почти не тронутым содержимым в урну и заторопиться домой.

В квартире, в безопасности, меня накрыло волной облегчения: теперь я смогу сесть на диван и глубоко подышать, чтобы успокоиться. Несколь-

ко минут спустя мне действительно стало лучше. Пришлось только встать, чтобы включить радио, а потом сесть обратно и еще немного подышать.

Правда, теперь облегчение сменилось неприятным чувством. Откуда эта паника на пустом месте и как меня угораздило отдать талон на молочные продукты? Сейчас только середина месяца, а значит, нам придется два лишних дня обходиться без молока и творога, и это еще не все: талон был потрачен на грязный лед, в котором могло оказаться неизвестно что, и то даже съесть его у меня не получилось. А кроме того, после выхода на улицу вся одежда пропиталась потом, но было только 11:07, а это значило, что придется ждать почти девять часов, прежде чем можно будет принять душ.

Меня вдруг охватило желание увидеть мужа. Не потому, что мне так уж хотелось рассказать ему обо всем, а потому, что он был доказательством того, что ничего плохого со мной не случится, что я в безопасности, что он всегда будет заботиться обо мне, как и обещал.

А потом меня осенило, что сейчас четверг, а значит, у мужа свободный вечер и он вернется домой только совсем поздно, когда я, наверное, уже буду спать.

Эта мысль вызвала странное беспокойное чувство, которое, хоть и охватывало меня временами, отличалось от привычной тревоги и в некоторых случаях даже перерастало в возбуждение, как будто вот-вот что-то должно произойти. Но конечно, сейчас ничего произойти не должно: я в нашей квартире, в Восьмой зоне, и всегда буду под защитой, потому что дедушка об этом позаботился.

Правда, сидеть на месте все равно не получалось, пришлось встать и походить туда-сюда по комнатам, а потом начать открывать все дверцы подряд. Раньше у меня была такая привычка, когда мне обязательно нужно было что-то найти — непонятно, что именно. “Что ты ищешь, котенок?” — спрашивал дедушка, но объяснить это было невозможно. В детстве он пытался меня остановить: сажал к себе на колени, держал за руки и шептал мне на ухо. “Все хорошо, котенок, — повторял он, — все хорошо”, — но ответом ему были крики и попытки вырваться, потому что мне совсем не нравилось, когда меня держали, мне нравилось бродить по комнатам, нравилась свобода. Несколько лет спустя он стал поступать иначе: бросал все свои дела и отправлялся на поиски вместе со мной. Я открываю тумбу под

раковиной и закрываю ее — и он делает то же самое с очень серьезным видом, и так продолжается, пока я не открою и не закрою все дверцы в доме, на каждом этаже, а он не повторит каждое мое действие. После этого у меня обычно не оставалось никаких сил, а нужная вещь так и не находилась, и тогда дедушка брал меня на руки и относил в кровать. “Мы все найдем в следующий раз, котенок, — говорил он. — Не переживай. Мы все найдем”.

Теперь, впрочем, все было на своих местах. На кухне — консервированная фасоль и рыба, маринованные огурцы и редис, контейнеры с овсяными хлопьями и высушенной соевой спаржей, стеклянные баночки с синтетическим медом. В шкафу в прихожей — наши зонтики, плащи, охлаждающие костюмы, экранирующие накидки, маски и сумка с вещами первой необходимости (четырехлитровые бутылки с водой, антибиотики, фонарики, батарейки, солнцезащитный крем, охлаждающий гель, носки, кроссовки, нижнее белье, белковые батончики, сухофрукты и орехи); в шкафу в коридоре — рубашки, штаны, белье, запасная обувь и двухнедельный запас питьевой воды, а на полу — коробка, в которой лежали наши свидетельства о рождении, бумаги

о гражданстве и прописке, копии свидетельств о допуске, медицинские справки и несколько фотографий дедушки, которые мне удалось сберечь; в шкафчике в ванной — витамины, резервный запас антибиотиков, еще один солнцезащитный крем, гель от солнечных ожогов, шампунь, мыло, гигиенические салфетки и туалетная бумага. В тумбочке возле моей кровати — золотые монеты и бумажные чеки. Поскольку мы — государственные работники, мы можем дважды в неделю позволить себе небольшую роскошь вроде молочного льда или приобрести от трех до шести дополнительных талонов на продукты. Но поскольку мы оба не покупаем ничего сверх необходимости, у нас остается много неиспользованных монет и чеков, которые можно было бы потратить на что-нибудь серьезное — например, на новую одежду или радиоприемник. Но мы ни в чем не нуждаемся: помимо униформы, государство выделяет нам по два комплекта одежды в год и новый приемник каждые пять лет, так что тратить на это собственные средства глупо. Не знаю почему, но мы ни на что их не тратим, даже на то, что нам нужно, — например, на дополнительные молочные талоны.

Мне захотелось посмотреть на дедушкины

фотографии, а для этого пришлось вернуться в коридор и снова вытащить коробку. Сначала надо было убрать лежащий сверху конверт с нашими свидетельствами о рождении, но он раскрылся, и документы выскользнули, а вместе с ними — еще один конверт, который раньше не попадался мне на глаза. Старым этот конверт не выглядел, хотя и был слегка потрепанным, а внутри оказалось шесть бумажек. Даже не столько бумажек, сколько клочков, оторванных от разных листов: одни когда-то были книжными страницами, другие — разлинованными тетрадными, нигде не было ни даты, ни подписи, ни указания адресата, и на каждом клочке торопливым, неровным почерком черными чернилами было выведено всего по несколько слов. На одном было написано: “Скучаю”. На другом — “22:00, там же”. На третьем — “20:00”. На четвертом и пятом одно и то же: “Думаю о тебе”. И наконец, на шестом — “Когда-нибудь”.

Откуда взялись эти бумажки, было совершенно непонятно. То, что они принадлежат мужу, не вызывало сомнений: они точно были не мои, а больше никто в нашу квартиру не заходил. Кто-то написал записки моему мужу, а тот оставил их себе на память. Разумеется, они не предна-

значались для моих глаз, потому что лежали среди бумаг, которыми занимался муж: именно он каждый год продлевал наши сертификаты гражданства.

До возвращения мужа оставалось еще несколько часов, и все же что-то вынудило меня торопливо спрятать записки обратно в конверт и положить коробку на место, даже не взглянув на фотографии, которые мне так хотелось увидеть, как будто муж мог постучать в дверь в любую минуту. А потом мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в нашу спальню, лечь на кровать, не раздеваясь, и уставиться в потолок.

— Дедушка?

Но конечно, никто мне не ответил.

Надо было сосредоточиться на чем-то другом и отвлечься от этих клочков бумаги с сообщениями и цифрами, такими непонятными и в то же время такими простыми, и мои мысли возвращались к мизинчикам, к дедушке, к тому, что произошло на Площади. Но все равно в ушах у меня звучало то слово из последней записки, которую кто-то написал моему мужу и которую тот не выбросил. *Когда-нибудь*, написал этот кто-то, и мой муж сохранил послание; левый край листочка был смят, как будто его неоднократно брали в руки,

теребили и перечитывали снова и снова. *Когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь.*

Глава 2

Осень, на пятьдесят лет раньше

Дорогой Питер,
1 сентября 2043 г.

Огромное спасибо за цветы, их доставили вчера — конечно, посылать их совершенно не стоило. Но они прекрасные, нам очень нравятся, спасибо.

Кстати, раз уж мы о цветах — наш флорист все перепутал. Я сказал, что нам нужны белые или фиолетовые мильтонии, и что же они заказали? Целую кучу зеленовато-желтых каттлей. Лавка выглядела так, как будто ее залили желчью. Как вообще это могло произойти? Ты знаешь, что я из-за такого не склонен выходить из себя, а вот Натаниэль в ярости, и это означает, что я должен изображать братскую ярость, чтобы сохранить погоду в доме — чтобы мир одержал победу над хаосом и все такое.

До торжественного дня осталось меньше сорока восьми часов. Я все еще не могу поверить, что согласился на это. И что тебя с нами не будет — тоже не могу поверить. Я, конечно, не сержусь,

но без тебя все как-то не так.

Натаниэль и малыш передают привет. И я тоже.

Дорогой П.,
5 сентября 2043 г.

Ну, я все еще жив. Едва-едва. Но все-таки.

С чего начать? Накануне шел дождь, а ведь на северной части острова никогда не бывает дождя. Мне пришлось слушать причитания Натаниэля на протяжении всей ночи — а как же грязь? А вдруг дождь не кончится? (У нас не было плана Б.) Что будет с ямой, которую мы выкопали для поросенка? Вдруг будет слишком влажно и ветви киавэ не высохнут? Может быть, попросить Джона и Мэтью занести их в дом? — пока я не велел ему заткнуться. Не сработало, пришлось накормить его таблеткой, и в конце концов он все-таки заснул.

Естественно, после этого я сам заснуть не смог и около трех вышел наружу; оказалось, что дождь стих, луна огромна и серебриста, жалкие обрывки облаков уплывают на север, к океану, Джон и Мэтью перетаскали вязанки дров под крыльцо и прикрыли яму листьями монстеры, все пахнет свежестью и зеленью, и тогда я ощутил — не в

первый и не в последний раз — присутствие того, что можно назвать разве что чудом: я буду жить в этом прекрасном месте, по крайней мере хоть сколько-то, и у меня будет свадьба.

А потом, тринадцать часов спустя, она состоялась. Не буду утомлять тебя (всеми) подробностями, но отмечу, что я снова был неожиданно тронут, что Натаниэль (разумеется) рыдал и я тоже плакал. Все происходило на лужайке за домом Джона и Мэтью, и Мэтью, по причинам неясным, построил там из бамбука нечто вроде хупы. Когда мы обменялись обетами, Натаниэлю пришло в голову, что теперь надо прыгать через забор и бежать окунаться в океан. Что мы и сделали.

Ну вот. Сейчас уже все вернулось к обычному состоянию: в доме по-прежнему жуткий беспорядок, грузчики придут меньше чем через две недели, а я даже еще не начал разбираться с лабораторией и не закончил вычитывать последнюю в жизни постдоковскую статью; медовый месяц (уж какой бы он ни был, с малышом-то) придется отложить. Кстати, малыш был в восторге от ваших подарков, спасибо, что прислали, — они идеальны, это был лучший способ показать ему, что минувший день только казался единственным в его короткой пока жизни, когда не все

вращается вокруг него — а на самом деле все-таки вращается. (Перед свадьбой он закатил истерику, и когда мы с Натаниэлем суетились вокруг, как встревоженные мамочки-сороки, упрашивая его успокоиться, он взревел: “И не зовите меня малышом! Мне скоро четыре!” Ну, мы оба рассмеялись, и это его еще сильнее разозлило.)

Теперь пойду проверю, хорошо ли он поблагодарил дядюшку П. в письме.

С любовью,

Я

P.S. Чуть не забыл: Мейфэр. Ужас. В новостях все время крутят обрывки видео. А это кафе не на той же улице, что бар, где мы с тобой были несколько лет назад? Ты, наверное, из-за этого очень занят. Не то чтобы это было хуже всего в случившемся. Но все-таки.

Дорогой Пити,
17 сентября 2043 г.

Мы это сделали. Натаниэль в слезах, малыш тоже, и я не то чтобы сильно отстаю. Скоро расскажу подробнее. *С любовью, Я*

Дорогой мой Питер,
1 октября 2043 г.

Прости, что так неусердно пишу тебе. Каждый день на протяжении трех с лишним недель я думал: надо написать Пити длинное письмо про все, что случилось сегодня, и каждый вечер все, что получается выдавить, — это наше стандартное “Как дела, скучаю, читал ли ты такую-то статью”. Прости.

Это письмо делится на две части: профессиональную и личную. Одна из них несколько интереснее другой. Угадай какая.

Мы поселились в доме, который называется Флоренс-хаус-ист, это старая многоэтажка чуть к западу от магистрали ФДР. Ей почти восемьдесят лет, но, как и многие здания, построенные в середине шестидесятых, она кажется и свежее, и старее — как будто затерялась в бездне времен и одновременно не то чтобы привязана к конкретной эпохе. Многие из постдоков и почти все старшие исследователи (так называемые начальники лабораторий) живут здесь же, в одном из соседних зданий. Говорят, наше прибытие вызвало сложные чувства, потому что доставшаяся нам квартира 1) угловая; 2) расположена на верхнем этаже (двадцатом); 3) обращена на юго-восток (лучшее освещение и т. д.); 4) с тремя настоящими спальнями (в отличие от большинства других

трехкомнатных помещений, которые преобразованы из больших двухкомнатных, и в третьей спальне, соответственно, нет окон). Как говорит один из наших соседей, предполагалось, что будет организована лотерея, основанная на количестве членов семьи, сроке пребывания в должности и — как и все, что здесь происходит, — количестве публикаций, но вместо этого квартиру дали нам, и у всех окружающих теперь есть дополнительная причина заранее меня ненавидеть. Ну что тут скажешь. Все как всегда.

Квартира большая, расположена отлично (я бы тоже злился), окна выходят на старую оспенную больницу на острове Рузвельт, которую сейчас собираются преобразовать в новый лагерь для беженцев. В ясную погоду хребет острова отлично виден, и когда светит солнце, река, обычно бурая и маслянистая, сверкает и выглядит почти нормально. Вчера мы видели крошечный полицейский катер, идущий на север, — это, как сообщил нам все тот же сосед, происходит нередко: с моста, оказывается, прыгают самоубийцы, их тела относит течением, и полиция вынуждена их вылавливать из реки. Мне нравится, когда облака сгущаются и небо приобретает металлический оттенок, — вчера штормило, мы смотрели

на молнии, сверкающие над водой, малыш прыгал и кричал от восторга.

Кстати, о малыше: он уже ходит в университетский детский сад (что частично спонсируется, но все равно дорого), который потом превратится в школу, где он сможет остаться до восьмого класса, а после этого — если не произойдет катастрофы, если его не исключат, если он сдаст все, что надо, — он пойдет в старшие классы в Хантер (бесплатно!). Школа принимает детей, чьи родители — преподаватели или постдоки в Университете Рокфеллера или научные сотрудники разного ранга в Мемориальном центре Слоуна — Кеттеринга, если пройти квартал на запад и квартал на юг, как раз упрешься в него; это означает, что состав учащихся в расовом отношении весьма разнообразен — от индийцев до японцев со всеми вариациями. Жилую многоэтажку со старой университетской больницей соединяет бетонный мост советского вида, и оттуда можно спуститься в сеть туннелей, которые пронизывают весь кампус, — людям это, кажется, нравится больше, чем ходить, как бы это выразиться, снаружи, — и пройти в подвал Центра семьи и детства. Пока кажется, что никакого серьезного образования им там не дают, — насколько я могу понять, в

основном водят в зоопарк и читают книжки, но Натаниэль утверждает, что в наши дни школа именно такова, и я с ним о таких вещах не спорю. В общем, малыш вроде бы доволен, а что еще, собственно, нужно ожидать от четырехлетнего ребенка?

Хотел бы я сказать то же и о Натаниэле — но он, увы, явно недоволен жизнью и при этом явно не намерен ни в чем признаваться, что меня бесконечно трогает, но и выматывает. В том, что мне предложат эту работу, особых сомнений не было, но мы оба понимали, что кураторская должность в Нью-Йорке для специалиста по гавайским тканям XIX века и по технике их производства вряд ли найдется — к сожалению, так и оказалось. По-моему, я писал тебе, что он советовался с однокашником по аспирантуре, который работает научным сотрудником в отделе Океании в музее Метрополитен; Натаниэль надеялся, что сможет как-то туда вписаться, хотя бы на полставки — но, похоже, не складывается, а это ведь был еще самый надежный из вариантов. В течение минувшего года мы время от времени заводили разговор о том, чем еще он мог бы заняться, на кого переучиться, но ни он, ни я не позволяли себе по-настоящему углубиться в такие разговоры: он,

думаю, просто боялся, а я — потому что понимал, что любое обсуждение неизбежно высветит всю эгоистичность такого решения: наш переезд сюда отнимает у него средства к существованию и профессиональную жизнь. Так что каждое утро я ухожу в лабораторию, а он отводит малыша в школу и проводит остаток дня, пытаясь как-то украсить квартиру, которая, я уверен, вгоняет его в депрессию своими низкими потолками, пустыми дверными проемами и лиловым кафелем в ванной.

Хуже всего вот что: поскольку он недоволен жизнью, я каждый раз сдерживаюсь, когда у меня возникает желание обсудить с ним свои лабораторные дела, — не хочу ему напоминать, что у меня есть, а у него нет. Мы впервые что-то утаиваем друг от друга, и прозаичность этих секретов только усложняет ситуацию — ведь это такие вещи, которые мы обычно обсуждаем за мытьем посуды, уложив малыша, или утром, когда Натаниэль готовит ему завтрак. А секретов полно! Ну например: я нанял первого сотрудника на следующий же день после переезда; это лаборантка с гарвардским дипломом, которая переехала сюда, потому что ее муж джазмен и он решил, что в Нью-Йорке сможет развернуть-

ся; ей, наверное, чуть за сорок, она десять лет занималась иммунологией, работала с мышами. А на этой неделе я нанял еще одного постдока, очень головастого парня из Стэнфорда, его зовут Уэсли. Финансирование лаборатории позволяет мне нанять еще трех постдоков и человек пять аспирантов, которые будут работать в лаборатории посменно, по двенадцать недель. Аспиранты обычно ждут, пока в лаборатории все наладится, а потом уже решают, хотят они там работать или нет, — примерно как со студенческими сообществами, к сожалению, — но мне сказали, что в силу моей “репутации” ко мне могут прийти и пораньше. Я, честное слово, не хвастаюсь. Просто повторяю то, что мне сказали.

Моя лаборатория (моя лаборатория!) находится в одном из новых зданий — оно называется “Ларссон”; часть его буквально соединяет мостом Манхэттен и искусственное расширение, пристроенное к острову Рузвельт. На работе из окна мне открывается немного иной вид, чем из дома: вода, шоссе, бетонный мост, восточные и западные крылья Флоренс-хауса. У всех лабораторий тут есть официальные названия; моя называется “Лаборатория зарождающихся и формирующихся инфекций”. Но тут пришел курьер с конически-

ми колбами и спросил: “Это вы — отдел новых болезней?” Я рассмеялся, а он удивился: “А что, я как-то не так сказал?” — и я ответил ему, что все именно так.

Прости, что я написал нечто столь эгоцентричное, — ты сам напросился. На следующей неделе нам предстоят последние собеседования с иммиграционными службами, после чего мы станем официальными, полноправными и постоянными жителями Соединенных Штатов (буэ-э!). Расскажи, как вообще ты, работа, псих этот, с которым ты встречаешься, и все остальное. Пока же прими сердечный привет из отдела новых болезней.

Твой любящий старинный дружок
Ч.

Дорогой Питер,
11 апреля 2045 г.

Спасибо за твою последнюю писульку — она меня слегка ободрила, что в данный момент, прямо скажем, практически невозможно.

Ты наверняка кучу всего про это слышал (не говоря уж о том, что там у вас творится), но интересно, знаешь ли ты про сокращения, которые пройдут до конца лета и, видимо, накроют все национальные научные организации страны.

Официальная версия заключается в том, что деньги резервируются для военных нужд, что отчасти так и есть, — но в научном сообществе все прекрасно знают, что на самом деле средства перенаправляют в Колорадо, где, по слухам, работают над каким-то новым биологическим оружием. Мне пока что везет в том смысле, что наш университет не стопроцентно зависит от правительственных грантов, но все-таки в основном — зависит, и я беспокоюсь, что все это скажется и на моей работе.

Ну и потом, конечно, война, у которой есть и другие способы вставить мне палки в колеса. Ты, разумеется, знаешь, что у китайцев самые продвинутые и разнообразные исследования по заразным заболеваниям, а новые санкции означают, что мы больше не можем с ними сотрудничать — по крайней мере официально. Мы на протяжении нескольких месяцев пытались закулисно о чем-то договориться с Национальными институтами здравоохранения, с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, с Конгрессом — прямо с того момента в прошлом году, когда санкции предложили ввести, но, кажется, результат нулевой. Опять-таки моя работа пострадала не так радикально, как у некоторых

коллег, но все это значит, что рано или поздно она таки пострадает, — и пока что кажется, что сделать с этим ничего нельзя.

Все это выглядит особенно по-идиотски в свете случая в Южной Каролине — не знаю, дошли ли до тебя эти новости: в начале февраля возле городка Монкс-Корнер на юго-востоке штата, где расположен небольшой ботанический парк под названием “Кипарисовые сады”, произошла вспышка неизвестного вирусного заболевания. Местная женщина лет сорока с чем-то, в целом здоровая, заболела вроде бы гриппом после того, как каталась на каяке по парку и там ее укусил комар. Через двое суток после диагноза у нее начались судороги; через трое суток ее парализовало; на пятые сутки она скончалась. К этому времени у ее сына и пожилого соседа уже появились сходные симптомы. Я понимаю, что звучит похоже на восточный лошадиный энцефалит — но это не он, а новый альфавирус. Нам всем невероятно, феноменально, уникально повезло, что мэр городка служил миссионером в Восточной Африке во время вспышки чикунгуньи в 37 году и заподозрил, что дело нечисто; он связался с Центрами по контролю, они приехали и заблокировали город. Старик умер, сын выжил. Конечно, ЦКПЗ считает

это великим достижением: мало того что распространение болезни удалось предотвратить, она даже в выпуски новостей не попала. Собственно, им удалось вообще полностью пресечь распространение информации — они настоятельно просили президента приказать мэру ни о чем не говорить с прессой, а уж тем более с горожанами, и президент послушался; ходят слухи, что теперь появится указ, запрещающий информационным агентствам публиковать не одобренную заранее информацию о будущих вспышках из соображений национальной безопасности. Идея в том, что паника приведет к массовому бегству из зараженного района, а единственное, что может остановить быстро распространяющееся заболевание, — это своевременная и жесткая изоляция. Я, конечно, понимаю разумность таких соображений — и все-таки считаю, что это опасное решение. Сведения так или иначе обходят преграды, и как только людям станет ясно, что им врали — или, по крайней мере, что от них что-то скрывали, — это приведет к еще большему недоверию, подозрительности и, следовательно, к еще большей панике. Но правительство готово на все, лишь бы не браться за полную, безнадежную научную безграмотность американцев — и

не пытаться решить эту проблему.

Короче, ты понял: на фоне этого нам срезают финансирование. Неужели они вообще ничего не соображают и думают, будто это последняя такая вспышка? Существует непроговоренное, но упорное убеждение, что болезни возникают где-то там, и поскольку у нас есть деньги, ресурсы и разветвленная исследовательская инфраструктура, мы сможем остановить любую будущую болезнь, прежде чем дела “станут плохи”. Но что значит “плохи” и как они себе представляют эти героические действия, если мозгов и ресурсов будет меньше? Я не из тех ученых — вроде Уэсли, благослови Господь его съежившуюся душу, — которые за каждым поворотом видят апокалипсис, которые едва ли не с восторгом предрекают неизбежность “полного краха”. Но мне все равно кажется, что это дикая глупость — реагировать на вспышку уменьшением ресурсов, как будто, задушив решение, мы задушим проблему и она больше вообще не возникнет. Мы так привыкли ко всем этим вспышкам, что как будто забыли: незначительных вирусов вообще-то не бывает, есть такие, чье поступательное движение удается быстро остановить, и есть такие, чье не удается. Пока нам везло. Но везение не бывает

бесконечным.

Так обстоят дела в лаборатории. Дома тоже не то чтобы все идеально. Натаниэль наконец нашел работу, и слава богу, а то мы уже почти бросались друг на друга. Когда он заперт в ненавистной квартире, он ярится оттого, что за весь день ни с кем не познакомился, и хотя, как ты знаешь, он всячески старается себя занять, работает на общественных началах у малыша в школе и в приюте для бездомных — туда он ходит по утрам каждый четверг и готовит еду, — он чувствует себя (как он выражается) “бесполезным и бессмысленным”. Он, конечно, понимает, что работу по специальности ему не найти, но на то, чтобы принять этот факт, а не просто сказать, что он его принимает, ушло почти два года. В общем, теперь он преподает изобразительное искусство четвероклассникам и пятиклассникам в маленькой дорогой школе в Бруклине, у которой невысокий рейтинг — на нее в основном клюют родители с туповатыми детьми и большими деньгами. Натаниэль раньше никогда не преподавал, ездить туда — утомительное мероприятие, но теперь он гораздо счастливее. Его взяли в последний момент, чтобы заменить учительницу, которая уволилась прямо посреди четверти — у нее диа-

гностировали рак матки в третьей стадии.

Одно из неожиданных следствий всей этой ситуации — что я на работе и доволен жизнью, а Натаниэль дома и недоволен — в том, что они с малышом существуют как бы совершенно отдельно от меня и всех моих дел. Ну, Натаниэль всегда был основным родителем у малыша, но в течение прошлого года что-то сдвинулось еще сильнее, и я постоянно сталкиваюсь с тем, что их отношения меня некоторым образом исключают, что я так или иначе многого не знаю об их повседневном быте. Это проявляется в мелочах: когда за ужином они обмениваются остротами, которые я не понимаю, а они иногда даже не пытаются объяснить (я смутно обижаюсь, ничего не спрашиваю, и за это мне потом бывает стыдно); или когда я из чувства вины покупаю для малыша подарок, фиолетового жестяного робота, и вручаю его, но тут выясняется, что фиолетовый — больше не любимый его цвет, что теперь он любит красный, это сообщается мне нетерпеливо-расстроенным тоном, который ранит меня сильнее, чем следовало бы.

Ну и потом прошлой ночью, когда я укладывал малыша спать, он внезапно изрек:

— А мама на небесах.

На небесах? — подумал я. Откуда он это вообще взял? И — “мама”? Мы никогда не говорили о кузине Натаниэля как о маме малыша, никогда ничего от него не скрывали: да, его выносила дальняя родственница Натаниэля, но он только наш, мы так решили. Когда она умерла, мы не пытались изворачиваться: вчера вечером умерла папина родственница, та, которая помогла тебе появиться на свет. Но он, видимо, счел мое молчание замешательством иного рода, потому что добавил, как бы уточняя:

— Она умерла. Значит, она на небесах.

Сначала я просто не знал, как реагировать.

— Ну да, она умерла, — сказал я неуверенно, думая, что надо попросить Натаниэля выяснить, откуда вообще все эти разговоры про небеса (ведь не из школы же?), а потом не смог придумать ничего, за чем не последовал бы неизбежно долгий-долгий разговор.

Он молчал, и я задумался, как уже не раз случалось, что, собственно, происходит в мозгу у детей, как они могут одновременно удерживать в голове две или три мысли, полностью противоречащие друг другу или не имеющие друг к другу никакого отношения, причем для них все это не просто взаимосвязано, а переплетено и зависит

одно от другого. Когда мы теряем способность к мышлению такого рода?

Потом он сказал:

— Меня сделали папа и мама.

— Да, — сказал я, помолчав. — Папа и твоя мама тебя сделали.

Он снова умолк.

— А теперь я один, — тихо произнес он, и я почувствовал, как во мне что-то оборвалось.

— Ты не один, — сказал я. — У тебя есть папа, у тебя есть я, и мы тебя очень-очень любим.

Он задумался:

— А ты умрешь?

— Да, — сказал я, — но еще очень нескоро.

— А когда? — спросил он.

— Совсем нескоро, — ответил я. — Так нескоро, что я даже сосчитать не могу.

Он наконец улыбнулся и сказал:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал я ему. Я поцеловал его. — Увидимся утром.

Я повернулся к выключателю (и, уходя, заметил, что фиолетовый робот отброшен в угол и лежит лицом вниз, из-за чего горло у меня скорбно сжалось, словно эта дурацкая игрушка обладала чувствами, а не была фигней, которую

я поспешно схватил в магазине за десять минут до закрытия) и собирался отправиться в нашу спальню устроить допрос Натаниэлю, но тут меня внезапно охватила смертельная усталость. Вот он я — человек, у которого есть своя лаборатория, своя семья, своя, такая желанная, квартира, и все хорошо, или по крайней мере неплохо, но чувство у меня было такое, как будто в это мгновение я сижу верхом на обломке большой белой пластиковой трубы, которая катится вниз по тропинке, и пытаюсь ею управлять, дрыгая ногами, стараясь не упасть. Вот что мне привиделось. Я пошел в нашу комнату, но ничего не сказал о разговоре с малышом, вместо этого мы с Натаниэлем впервые за долгое время трахались, и потом он заснул, и через некоторое время заснул и я.

Вот. Вот что со мной происходит. Прости, что получилась такая выжимка из жалости к себе и прочего эгоцентризма. Я знаю, как ты вкалываешь, и представляю себе, с чем тебе приходится иметь дело. Я понимаю, что это слабое утешение, но каждый раз, когда мои коллеги жалуются на бюрократов, я думаю о тебе и о том, что, как бы я ни был против некоторых выводов твоих сподвижников, я понимаю, что некоторые из вас пытаются принимать правильные решения,

справедливые решения, и знаю, что ты — один из этих людей. Если бы здесь у нас, в Америке, был такой идеальный бюрократ, как ты, — мне за всех нас было бы спокойнее.

С любовью, Ч.

Дорогой, дорогой Пити,
22 ноября 2045 г.

Ну вот это и произошло. Я не сомневаюсь, что ты следил за новостями, и не сомневаюсь, что ты знал: нам грозит урезание федерального финансирования; но ты, конечно, знаешь и о том, что в реальность этого я не верил. Натаниэль говорит, что в этом проявилась моя наивность, но так ли это? Смотри: народ едва-едва оправился от гриппа 35 года. За последние пять лет в Северной Америке было как минимум шесть небольших вспышек. С учетом этих обстоятельств какое самое идиотское решение можно было принять? А, знаю! Урезать финансирование одного из ведущих биологических институтов в стране! Проблема, как сказал мне заведующий другой лабораторией, в том, что мы-то знаем, как близко все подошли к катастрофе в 35-м, но страна в целом понятия об этом не имеет. И сейчас им уже не скажешь, потому что всем все равно. (И

тогда нельзя было сказать, потому что началась бы паника. Мне уже не в первый раз приходит в голову, что все большая, гигантская часть нашей работы заключается в спорах о том, как и когда обнародовать — и надо ли обнародовать — результаты исследований, на которые ушли долгие годы и миллионы долларов.) Суть в том, что, если мы станем жаловаться, нам никто не поверит. Иными словами, нас наказывают за наш собственный профессионализм.

Не то чтобы я мог поделиться этими соображениями с кем-нибудь за пределами университета. На это указал нам руководитель институтского отдела по связям с общественностью на собрании незадолго до того, как новости объявили, и еще более сурово указал Натаниэль, когда вчера вечером мы по пробкам ехали ужинать. О чем, собственно, я и собираюсь рассказать.

Я не упоминал об этом по причинам, которые постараюсь сформулировать чуть позже — может быть, на следующей неделе, когда мы увидимся, — но у Натаниэля появились новые друзья. Их зовут Норрис и Обри (Обри!), это старые и очень богатые пидоры, с которыми Натаниэль познакомился несколько месяцев назад, когда аукционная компания попросила его проверить

подлинность частной коллекции — якобы гавайских покрывал из капы, якобы XVIII века, несомненно украденных бог знает кем бог знает у кого. В общем, Натаниэль их изучил, установил и происхождение, и время создания — он считает, что речь о начале XVIII века, то есть они сотканы до появления европейцев, и, следовательно, это большая редкость.

При этом у аукционной компании уже был потенциальный покупатель, некий Обри Кук, коллекционер полинезийских и микронезийских артефактов, созданных до контакта. Компания организовала его встречу с Натаниэлем, они немедленно влюбились друг в друга, и теперь Натаниэль как фрилансер-консультант составляет каталог коллекции Обри Кука — по его словам, “разнообразной и крышесносной”.

У меня разные чувства по этому поводу. Первое из них — облегчение. С тех пор как мы сюда переехали, я носил внутри грызущую меня пустоту: что же я сделал с Натаниэлем и даже с малышом? В Гонолулу они были так счастливы — и если не считать моих устремлений, я был счастлив тоже. Мне не хватало размаха, но наше место было там. У нас была работа: я работал в маленькой, но серьезной лаборатории, Натаниэль был куратором

в маленьком, но серьезном музее, малыш ходил в маленький, но серьезный детский сад — и я заставил всех сорваться с места, потому что захотел работать в УР. Я не могу притворяться — хотя иногда даю такую слабину, — будто хотел спасать жизни или рассчитывал здесь принести больше пользы; я просто хотел работать в престижном месте, и я люблю ощущение охоты. Я боюсь, что начнется новая вспышка, — и одновременно мечтаю, чтобы это случилось. Я хочу быть тут, когда разгорится очередная большая пандемия. Я хочу обнаружить ее, я хочу разобраться с ней, я хочу поднимать голову от пробирок и видеть — небо черным-черно, я не помню, сколько времени уже торчу в лаборатории, я был так занят, так увлечен, что смена дня и ночи перестала иметь хоть какое-то значение. Я все это знаю, я чувствую себя виноватым, но тем не менее я все равно этого хочу. Так что когда Натаниэль пришел ко мне после первой встречи в аукционной компании таким счастливым — таким счастливым, — я почувствовал облегчение. Я осознал, как давно не видел его в подобном возбуждении, как постоянно надеялся, что это случится, и уверял его, что это случится, что он найдет себе место, найдет какой-то смысл для себя в этом городе, в этой

стране, которую он тихо ненавидит. И когда он пришел радостный после встречи с Обри Куком, я тоже был счастлив. У него тут есть приятели, но их немного, в основном это родители других детей в школе малыша.

Но эта радость скоро перетекла в нечто иное, и хотя мне стыдно в таком признаваться, это, конечно, ревность. Уже больше двух месяцев Натаниэль каждую субботу ездит на метро на Вашингтонскую площадь, где у Обри прямо настоящий дом, который выходит фасадом на парк, а я остаюсь дома с малышом (и невысказанная мысль тут в том, что теперь моя очередь оставаться с ним дома после двух лет, когда я проводил каждые выходные в лаборатории, а Натаниэль с ним сидел). И когда ближе к вечеру Натаниэль возвращается, он весь светится. Он хватает малыша, крутит и вертит его, начинает возиться с ужином и, пока готовит, рассказывает мне про Обри и его мужа Норриса. Какие у Обри невероятно глубокие и обширные знания об Океании XVIII и XIX века. Какой потрясающий у него дом. Как Обри сколотил свой капитал, управляя фондом, объединяющим другие фонды. Как Обри познакомился с Норрисом. Как и где Обри и Норрис любят отдыхать. Как Обри и Норрис пригласили

нас “туда, на восток”, в их “поместье” в Уотер-Милле — Лягушачий пруд. Что Норрис сказал про такую-то книгу или такую-то постановку. Что Обри думает о правительстве. Прекрасная идея Обри и Норриса про лагеря беженцев. Что мы обязаны увидеть/сделать/посетить/попробовать/съесть, согласно Обри и Норрису.

На все это я говорю: “Ух ты” или “Ух ты, котик, здорово”. Я всячески стараюсь изобразить искренность, но, по правде говоря, это не так уж важно, потому что Натаниэль меня почти не слышит. Моя жизнь вне лаборатории всегда вращалась вокруг двух неизменных осей — вокруг него и малыша. Но теперь его жизнь состоит (перечисляю не в порядке значимости) из меня, малыша, а также Обри и Норриса. Каждую субботу он выпрыгивает из кровати, собирается в спортзал (он качается с тех пор, как познакомился с Обри и Норрисом), потом приходит домой принять душ и покормить малыша, целует нас обоих и отправляется в центр. Хочу уточнить: я не думаю, что он в них влюблен или что он с ними трахается, — ты знаешь, что мы оба по этому поводу не паримся. Просто в его восторге перед ними я чувствую некоторое отстранение от меня. Не от нас, не от меня и малыша, — только от меня.

Мне всегда казалось, что Натаниэль доволен нашей жизнью. Его никогда не прельщали деньги, легкость и гламур. Но после того, как я весь вечер слушаю подробное описание элегантного дома Обри и Норриса, их великолепных владений, я лежу и смотрю на наши низкие потолки, на светильник с почерневшей лампочкой, который я ему уже полгода обещаю сменить, слушаю, как стучат пластиковые жалюзи, и думаю: а дают ли ему мои достижения, мое положение то, к чему он стремится, чего заслуживает? Он всегда был рад за меня, гордился мной, но помог ли я ему выстроить достойную жизнь? Не предпочтет ли он мне кого-нибудь другого?

Ну и вот прошлым вечером, когда нас пригласили на ужин — чего я уже некоторое время опасался, — я попробовал поначалу отговориться малышом. Он всю осень постоянно простужался — дни были жаркие, потом прохладные, потом опять жаркие, и крокусы, которые в прошлом году расцветали в октябре, стали распускаться в сентябре, а сливовые деревья — в октябре, так что он кашлял и чихал несколько недель. Но потом ему стало получше, он уже был не такой бедненький, к тому же Натаниэль нашел удачного бэбиситтера, и, по правде говоря, аргументов у

меня не было. Так что вчера вечером мы вызвали такси и поехали в центр к Обри и Норрису.

Я не то чтобы ясно представлял себе, что за люди Обри и Норрис, — только что это какие-то сомнительные личности, которые мне заранее не нравятся. А, и белые — я ожидал, что они белые. Но ошибся. Дверь открыл очень красивый блондин лет пятидесяти с небольшим, в костюме, и я выпалил:

— Вы, должно быть, Обри, — после чего за моей спиной Натаниэль смущенно захихикал.

Мужчина улыбнулся.

— Увы, — сказал он. — Нет, я Адамс, дворецкий. Проходите, проходите — они вас ждут наверху, в гостиной.

Мы поднялись по блестящей лестнице темного дерева; я злился на Натаниэля, которого я смутил, и вообще смущал, а Адамс провел нас через две пары полураскрытых двойных дверей из того же атласного дерева, и двое мужчин поднялись нам навстречу.

Я знал от Натаниэля, что Обри шестьдесят пять, а Норрис на несколько лет младше, хотя у них обоих были такие вневозрастные, сияющие лица, какие бывают у очень богатых людей. Только десны их выдавали: у Обри они были темно-

пурпурные, а у Норриса серовато-розовые, как истертый ластик. Еще одним сюрпризом был цвет их кожи: Обри был черный, а Норрис — азиат… и что-то еще. Вообще-то он был немного похож на моего деда, и я не успел сдержать себя и снова выпалил:

— Вы не с Гавай'ев?

Снова послышалось смущенное хихиканье Натаниэля, к которому присоединились и Норрис и Обри.

— Натаниэль спросил у меня то же самое, когда мы познакомились, — сказал Норрис, нисколько не обидевшись. — Но нет, боюсь, что нет. Простите, что не соответствую ожиданиям, — я просто темнокожий азиат.

— Не просто, — сказал Обри.

— Ну, отчасти индиец, — сказал Обри. — Но индиец — это азиат, Об. — И обращаясь ко мне: — По отцу я индиец и англичанин, а мать была китаянка.

— Моя тоже, — сказал я как идиот. — Гавайская китаянка.

Он улыбнулся:

— Я знаю. Натаниэль нам говорил.

— Садитесь, садитесь, — сказал Обри.

Мы послушно сели. Адамс вернулся со стакана-

ми, мы немного рассказали про малыша, потом опять появился Адамс и объявил, что ужин сейчас подадут; мы встали и отправились в столовую, где стоял небольшой круглый стол, покрытый чем-то, что я в первое мгновение с замиранием сердца принял за покрывало-капу. Взглянув на хозяев, я увидел, что Обри мне улыбается.

— Это современная ткань, вдохновленная гавайскими образцами, — сказал он. — Красиво, правда?

Я сглотнул и пробормотал что-то невразумительное.

Мы сели. Подали обед: “сезонная трапеза”, суп из тыквы с сосисками, который разливали из массивной выдолбленной белой тыквы; телячьи отбивные с нежной зеленой фасолью; томатные галеты. Мы стали есть. В какой-то момент Норрис заговорил с Натаниэлем, и я остался предоставлен Обри, сидевшему рядом со мной. Надо было что-то сказать. “Ну”, — произнес я и дальше не мог придумать ничего. Точнее, мне очень многое приходило в голову, но все казалось неподходящим. Например, я собирался слегка наехать на Обри, тонко намекнув, что он занят культурной апроприацией, но, учитывая, что он не стал мне демонстрировать свою коллекцию, чего я заранее

опасался, и что он оказался черным (позже мы с Натаниэлем спорили, могут ли чернокожие быть культурными апроприаторами), эта идея уже не казалась столь многообещающей или интересной.

Я так долго молчал, что Обри в конце концов рассмеялся.

— Давайте я начну, — сказал он, и хотя это было проявление вежливости, мне все равно стало жарко от неловкости. — Натаниэль нам немножко рассказывал про то, чем вы занимаетесь.

— По крайней мере, пытался, — неожиданно сказал с другой стороны стола Натаниэль и снова повернулся к Норрису.

— Пытался, а я пытался понять, — сказал Обри. — Но я был бы польщен, если бы смог услышать все это из первых рук, так сказать.

Так что я выдал ему короткую версию моей рассказки про заразные болезни: как я целыми днями пытаюсь предсказать появление новых, подчеркивая статистические данные, которые так нравятся публике, потому что публика любит паниковать; как грипп 1918 года погубил не меньше пятидесяти миллионов человек, что привело к новым, хотя и менее катастрофическим, пандемиям 1957, 1968, 2009 и 2022 годов. Как с 1970-х мы

живем в эпоху множественных пандемий и что-то новое возникает примерно каждые пять лет. Как вирусы невозможно уничтожить, можно разве что сдерживать. Как десятилетия избыточного и бессистемного употребления антибиотиков положили начало новому роду микробов, мощнее и устойчивее всего, с чем до этого приходилось встречаться в истории человечества. Как разрушение среды обитания и рост мегаполисов привели к тому, что мы стали жить так близко к животным, как в прежние времена никогда не бывало, и это повлекло за собой расцвет зоонозов. Как нам неминуемо предстоит новая катастрофическая пандемия, которая на этот раз будет угрожать гибелью четверти всего населения, на уровне Черной смерти XIV века; как на протяжении нынешнего столетия буквально все, от эпидемии 2030 года до прошлогодней вспышки в Ботсване, оказалось серией проверок, которые мы провалили, потому что истинная победа была бы не в том, чтобы разбираться с каждой вспышкой по отдельности, а в том, чтобы разработать всеобъемлющий глобальный план, — а раз так, мы со всей неизбежностью обречены.

— Но почему? — спросил Обри. — У нас несопоставимо более надежная система здравоохране-

ния, не говоря о медикаментах и санитарии, чем в 1918 году, да даже чем двадцать лет назад.

— Это правда, — сказал я. — Но единственное, что сделало грипп 1918 года менее смертоносным, чем он мог бы оказаться, — это скорость распространения инфекции: вирус путешествовал между континентами на кораблях, а в те времена дорога от Европы до Америки занимала неделю, и то если торопиться. Смертность среди инфицированных на протяжении этого путешествия была так высока, что в результате на противоположном берегу оказывалось гораздо меньше потенциальных распространителей болезни. А теперь это уже не так — больше ста лет уже не так. Единственное, что сейчас сдерживает потенциальный взрыв — а для нас любая инфекционная болезнь может оказаться взрывом, — не столько уровень технологического развития, сколько мгновенная изоляция затронутой территории, а это, в свою очередь, зависит от того, с какой скоростью и насколько успешно местные власти уведомят региональный или национальный эпидемиологический центр, который, в свою очередь, должен немедленно закрыть район. Проблема, разумеется, в том, что муниципальные власти не хотят сообщать о новых болезнях. И не

только потому, что сразу же возникает паника, а бизнес оказывается под ударом, — на местность к тому же ложится несмываемое пятно, которое во многих случаях никуда не девается после того, как заболевание успешно подавили. Ну например — вы бы сейчас поехали в Сеул?

— Э-э… нет.

— Вот-вот. А между тем угроза ВАРСа уже четыре года как, в сущности, устранена. И нам, надо заметить, повезло: после третьего летального исхода мэра предупредил член районного совета, после пятой смерти они связались с Национальными службами здравоохранения, и через двенадцать часов вся территория Самчхон-донга в Сеуле была полностью изолирована; смертность удалось ограничить только этим районом.

— Но смертей было так много.

— Да. Это печально. Но их было бы намного больше, если бы они не поступили так, как поступили.

— Но они убили этих людей!

— Нет. Не убили. Просто не дали им разбежаться.

— Но результат был тот же!

— Нет. В результате смертей было намного меньше, чем было бы в другом случае, — девять

тысяч вместо предполагаемых, скажем, четырнадцати миллионов. Плюс нераспространение особенно опасного патогена.

— Но ведь говорят и о том, что изоляция района обрекла их на гибель, а не помогла? Что, если бы местность открыли для международной помощи, их можно было бы спасти?

— Вы приводите глобалистские аргументы, и во многих случаях они имеют смысл, — сказал я. — Национализм предполагает, что ученые меньше обмениваются информацией, и это очень опасно. Но там ничего такого не было. Корея — не враждебная страна, они не пытались ничего скрыть, они свободно и честно делились тем, что им удавалось узнать, с международным научным сообществом, тем более с властями других стран. Они вели себя идеально, как и должна вести себя в такой ситуации любая страна. То, что могло показаться односторонним действием — изоляция района, — на самом деле было актом альтруизма: они предотвратили потенциальную пандемию, принеся в жертву относительно небольшое число собственных граждан. Именно такой расчет должен применяться любым сообществом, если нам нужно удержать от распространения — по-настоящему удержать — вирус.

Обри покачал головой:

— Наверное, я старомоден — не могу считать гибель девяти тысяч человек счастливым концом. И наверное, поэтому я больше не ездил в Корею — не могу развидеть это все, черный пластик палаток, покрывающий весь квартал, и под ним — люди, которые просто ждут смерти. Их не видно. Но ты-то знаешь, что они там.

На это нельзя было ничего сказать, не показавшись бессердечной скотиной, поэтому я взял свой бокал и ничего не сказал.

Возникла пауза, и Обри снова покачал головой — резко, как будто стараясь собраться.

— Почему вы заинтересовались гавайскими древностями? — спросил я — мне казалось, что надо об этом спросить.

На это он улыбнулся.

— Я ездил туда на протяжении нескольких десятилетий, — сказал он. — Мне там нравится. Собственно, меня связывает с этими местами и семейная история — мой прапрадед служил на Кахоолаве, когда там была американская военная база, перед самым отделением. — Он осекся. — В смысле, перед Реставрацией.

— Ничего страшного, — сказал я. — Натаниэль говорит, у вас впечатляющая коллекция.

Услышав это, он просиял и некоторое время распространялся про разные свои сокровища, про их происхождение, как он устроил для некоторых экспонатов специальную комнату с контролируемой атмосферой в подвале, но если бы пришлось это делать снова, он бы выбрал четвертый этаж, потому что подвалы подвержены сырости, и хотя они со специалистом по кондиционированию смогли наладить там постоянную двадцатиградусную температуру, стабилизировать влажность не удалось, она должна быть сорокапроцентной, но что бы они ни делали, она все время подбирается к пятидесяти. Слушая его, я осознал две вещи: во-первых, я осмотически узнал о гавайском оружии, тканях и прочих объектах XVIII и XIX веков гораздо больше, чем мне казалось, и, во-вторых, удовольствие от собирательства мне всегда представляется непонятным — вся эта охота, пыль, все эти труды, все эти усилия по хранению, и ради чего?

Эта интонация — доверительная, с оттенком стыдливой гордости — заставила меня еще раз внимательно его рассмотреть.

— Но главное мое сокровище, — продолжал он, — главное сокровище у меня всегда на руке. — Он поднял левую руку, и я увидел, что на мизинце

у него толстая полоса темного, неровного золота. Он повернул кольцо, и я увидел, что он носит его камнем внутрь — это была мутная, непрозрачная, неловко ограненная жемчужина. Я уже понимал, что он сейчас сделает, но не отрывал взгляд, и он нажал на крохотные защелки с двух сторон кольца, и жемчужина сдвинулась, как маленькая дверь, открывая крошечный тайник. Он повернул кольцо ко мне, я заглянул внутрь; там ничего не было. Именно такое кольцо когда-то носила моя прапрабабушка; сотни женщин продавали эти кольца искателям сокровищ, пытаясь собрать деньги для своей кампании по реставрации монархии. Во внутренней ячейке они хранили несколько гранул мышьяка, символически заявляя тем самым, что готовы на самоубийство, если их королеве не вернут трон. А теперь такое кольцо было на пальце у этого человека. Я на мгновение потерял дар речи.

— Натаниэль говорит, вы сами ничего не собираете, — сказал Обри.

— Нам нет смысла собирать гавайские ценности, — сказал я. — Мы сами — гавайцы. — Сказал я это с большей яростью, чем планировал, и на мгновение повисла тишина. (Примечание: в разговоре это звучало не так претенциозно, как

выглядит на письме.)

Неловкую тишину после моей бестактной реплики (хотя была ли она так уж бестактна?) прервало появление повара, который предложил мне тарелку с черничным пирогом.

— Свежее, с фермерского рынка, — сказал он таким тоном, как будто фермерский рынок был его личным изобретением; я поблагодарил его и взял кусок. А дальше разговор свернул на темы, обычные для любого разговора между дружелюбными единомышленниками: погода (плохая), утонувшая у берегов Техаса лодка с филиппинскими беженцами (тоже плохо), экономика (опять же в плохом состоянии, а будет только хуже; как большинство богатых людей, Обри слегка злорадствовал по этому поводу — как, если честно, поступаю и я, когда говорю о следующей большой пандемии), грядущая война с Китаем (очень плохо, но все закончится “в течение года”, по словам Норриса, который, как оказалось, юрист, и у него есть клиент, “продающий военное оборудование”, то есть торговец оружием), последние вести об окружающей среде и предсказания о гигантском наплыве климатических беженцев (очень плохо). Я хотел сказать “Мой ближайший друг, Питер, занимает очень высокий пост в

британском правительстве, и он утверждает, что война с Китаем продлится не меньше трех лет и вызовет глобальный миграционный кризис, который затронет миллионы людей", но не сказал. Я просто сидел и молчал, а Натаниэль не смотрел в мою сторону, и я на него не смотрел.

— Впечатляющий дом, — сказал я в какой-то момент, и хотя это не был комплимент — я и не собирался говорить ничего комплиментарного (я чувствовал, что Натаниэль сверлит меня взглядом), — Обри улыбнулся и поблагодарил. Последовала длинная история о том, как он купил дом у отпрыска какой-то знаменитой банкирской семьи, про которую я в жизни не слышал, и как этот отпрыск почти обнищал и все время рассказывал про утраченное семейное богатство, и как это было круто, что он, чернокожий, покупает такой дом у белого человека, который считал, что дом принадлежит ему до скончания времен. "Ты посмотри на себя, — услышал я дедушкин голос, — вы — темнокожие ребята, которые пытаются стать белыми", хотя он не сказал бы "белые", он сказал бы "хоуле". Все, что я делал, а он не понимал, оказывалось хоуле: чтение книг, поступление в аспирантуру, переезд в Нью-Йорк. Он считал, что моя жизнь — это укор его жизни,

а она просто была иная.

Времени прошло как раз достаточно, чтобы вежливо откланяться, и минут через двадцать, за кофе, я картинно вытянул ноги и сказал, что нам пора домой, к малышу: у меня было предчувствие, что Натаниэль — я же не зря прожил с ним пятнадцать лет — сейчас предложит посмотреть коллекцию Обри, а меня это вот прямо совсем не интересовало. Мне казалось, что Натаниэль будет протестовать, но тут он, видимо, решил, что и так заставил меня многое претерпеть (или что через некоторое время я неизбежно ляпну что-нибудь совсем оскорбительное), все встали, мы попрощались, Обри сказал, что надо снова повидаться, он покажет коллекцию, я сказал, что буду счастлив, хотя совершенно не собираюсь ее смотреть.

По пути домой мы с Натаниэлем не разговаривали. Войдя в квартиру, расплачиваясь с бебиситтером, проверяя, как там малыш, готовясь ко сну, мы так ничего и не сказали. Только когда мы уже лежали рядом в темноте, Натаниэль наконец произнес:

— Ну так скажи уже.

— Что? — спросил я.

— Что ты собирался сказать, — ответил он.

— Ничего я не собирался говорить, — сказал я. (Это, конечно, вранье. Я провел последние полчаса, мысленно сочиняя речь, а потом думал, как бы притвориться, что она спонтанная.)

Он вздохнул.

— Мне просто кажется, что это немножко странно, — добавил я. — Нейт, ты же ненавидишь таких людей! Ты разве не говорил всегда, что коллекционирование экзотических предметов — это форма материальной колонизации? Ты разве не ратовал всегда за их возвращение Гавайскому государству или, по крайней мере, за то, чтобы они находились в музее? А теперь ты, получается, ближайший друг этого богатого мудака и его мужа, который торгует оружием, и ты не просто смиряешься с их трофеями, но чуть ли не поддерживаешь это? Не говоря о том, что он издевается над идеей королевства.

Натаниэль очень тихо проговорил:

— Мне так вообще не казалось.

— Он назвал это отделением, Нейт. Поправился, да, но слушай — мы таких мало видели, что ли?

Он долго молчал.

— Я обещал себе, что не буду выстраивать баррикады, — наконец сказал он и снова замолчал. — Ты так говоришь, как будто Норрис

— торговец оружием.

— А что, нет, что ли?

— Он защищает их в суде. Это не одно и то же.

— Ой, да ладно, Нейти.

Он пожал плечами. Мы не смотрели друг на друга, но я слышал, как одеяло поднимается и опускается на его груди.

— И потом, — продолжал наседать я, — ты ни разу не сказал мне, что они не белые.

Он посмотрел на меня:

— Сказал.

— Нет, не сказал.

— Да как же не сказал. Ты просто меня не слушал. Как обычно. И вообще, почему это вдруг важно?

— Ну хватит, Нейти. Ты прекрасно понимаешь почему.

Он хмыкнул. На это мало что можно было возразить. Он снова помолчал и потом наконец сказал:

— Я понимаю, что это звучит странно. Но они мне нравятся. А мне одиноко. Я могу говорить с ними о родине.

Ты можешь говорить о родине со мной, должен был сказать я. Но не сказал. Потому что я знаю и он знает, что это я вывез нас с родины и что это

из-за меня он бросил работу и жизнь, все, чем гордился. А теперь он сам себя не узнает и сам себе противен, но делает все возможное, чтобы не обвинять в этом меня, и чуть ли не отрицает, чем и кем он был. Я это знаю, и он тоже.

Поэтому я ничего не сказал, и когда у меня сформулировался ответ, Натаниэль уже спал или притворялся, что спит, и оказалось, что я снова ничем не могу его поддержать.

Такова, осознал я, и будет наша жизнь. Он станет дрейфовать все ближе и ближе к Обри и Норрису, а я должен буду поддерживать его в этом, потому что иначе злость на меня станет такой всеохватной и неподъемной, что он не сможет ее скрывать. А потом они бросят меня, и он, и малыш, и семьи у меня больше не будет.

Вот так. Я понимаю, что тебе приходится разбираться с проблемами куда более масштабными, чем у твоего старого друга, но буду рад любым словам утешения. Очень хочу тебя увидеть. Расскажи мне, что там у вас происходит, — ну, все, что можешь. Я буду молчать как рыба, или как могила, или как там говорят.

С любовью, Ч.

Дорогой мой Питер,
29 марта 2046 г.

Вместо того чтобы извиняться за эгоцентризм в конце письма, я с этого начну.

С другой стороны, мне не кажется, что надо так уж сильно извиняться, — вся прошлая неделя вертелась вокруг тебя, как и следовало. Какая прекрасная получилась свадьба, Пити. Спасибо тебе, что пригласил нас. Я забыл сказать, что, когда мы выходили из храма, малыш поднял на меня взгляд и торжественно произнес: “Дядя Питер выглядит очень счастливым”. Он был, конечно, прав. Ты был счастлив — ты счастлив. И я очень, очень счастлив за тебя.

Прямо сейчас, я полагаю, вы с Оливье летите где-то над Индией. Ты же знаешь, что мы с Натаниэлем так и не отправились в путешествие на медовый месяц. Собирались — но мне надо было обустраивать лабораторию, куда-то приткнуть малыша, короче, до этого дело так и не дошло. И потом все никак не доходило. (Мы собирались, как ты помнишь, поехать на Мальдивы. Умею я выбирать места, ничего не скажешь.)

Пишу тебе из Вашингтона, я здесь на конференции по зоонозам, а Н. и малыш дома. Собственно, нет, какое там: они с Обри и Норрисом на Лягушачьем пруду. Сейчас первые выходные, когда вода уже достаточно теплая, и Натаниэль пытается

обучить малыша серфингу. Он собирался учить его в январе, когда мы съездили домой, в Гонолулу, но в океане оказалось столько медуз, что в результате мы вообще не ходили на море. Впрочем, семейные дела у нас чуть получше, спасибо, что спросил. Я чувствую, что моя связь с ними обоими слегка окрепла, — хотя, может быть, вам с Оливье просто нужны были какие-то вместилища для избытка вашей взаимной любви и мы все втроем оказались в нужное время в нужном месте. Посмотрим. Я думаю, наша возобновившаяся полублизость связана, как ты и отметил, с моими попытками примириться с существованием Обри и Норриса. Они вошли в нашу жизнь навсегда, по крайней мере впечатление складывается такое. Я боролся с этим на протяжении нескольких месяцев. Потом сдался. А сейчас? Ну что. Они нормальные. Они очень благородно к нам отнеслись, тут никаких сомнений. Строго говоря, консультации, которые Натаниэль давал Обри, давно завершились, но он ходит туда не реже чем пару раз в месяц. И малышу они очень нравятся, Обри особенно.

Настроения тут мрачные. Во-первых, распределение ресурсов в Вашингтоне намного более жесткое, чем в Нью-Йорке, — вчера вечером в

гостинице вообще не было воды. Отключали всего на час, но все равно. Во-вторых — что хуже, — всем урезали финансирование; да, опять. У нас третий раунд объявят, скорее всего, на следующей неделе. Моя лаборатория находится в менее уязвимом положении, чем некоторые другие, — правительство финансирует нас только процентов на тридцать, Мединститут Говарда Хьюза отчасти компенсирует недостающее — но я все равно нервничаю. Все американцы между сессиями только об этом и говорят: а у вас что? Сколько вы потеряли? Кто будет платить недостающее? Что оказалось или окажется под угрозой?

Но настроения мрачные и по иным, более тревожным причинам, которые выходят далеко за рамки американской административной возни и наших общих тревог. Программный доклад делали двое ученых из Роттердамского университета Эразма, те, которые одними из первых описали венецианскую вспышку 39 года; как ты знаешь, ее отнесли к мутации вируса Нипах. Их доклад оказался необычным по целому ряду причин, в частности, из-за гадательности, нехарактерной для работ такого рода. С одной стороны, так происходит все чаще — в мою бытность докторантом подобные исследования в основном относились

к лабораторным данным и обычно касались мутаций второго или третьего поколения того или иного вируса. Но теперь новых вирусов так много, что конференции стали прекрасной возможностью уточнить отчеты, которые мы читаем во внутренних сетях своих институтов, — любой ученый из аккредитованного университета может добавить собственные данные или задать вопрос. Отсутствие Китая в этой сети (как и на конференции) — в числе самых болезненных проблем международного научного сообщества, и одно из открытий последней встречи — о чем ученые постоянно перешептывались в кулуарах — в том, что группа исследователей из континентального Китая создала тайный портал, куда они загружают данные своих исследований. Я-то думаю, что, раз мы об этом знаем, их правительство тоже знает, так что тамошней информации не стоит слепо доверять; вместе с тем, если не принимать их отчетов всерьез, дело может кончиться катастрофой.

Ну, короче. Голландцы утверждают, что они обнаружили новый вирус, который, по их мнению, в очередной раз возник в популяции летучих мышей. Его тоже классифицируют как хенипавирус — то есть это РНК-вирус с интенсивным

мутагенезом. В XX веке считали, что эта группа вирусов эндемически ограничена ареалом Африки и Азии, хотя, как доказывает вспышка 39 года, конкретно Нипах может появляться неоднократно в разных местах, и в последние семь лет это интенсивно исследовалось: в частности, речь шла о его способности не только выдерживать климатические изменения, но и зоонотически адаптироваться к организмам-хозяевам — собакам в итальянском случае, — которых он раньше никогда не заражал. Хотя Нипах выкашивал скот и других домашних животных, он прежде никогда не считался серьезной угрозой для нас, потому что он крайне плохо приспособлен для передачи от человека к человеку, а без хозяина дольше нескольких дней не выживает. Если ему все-таки удавалось заразить людей, он быстро терял силу: число случаев передачи было невелико, и вирус упирался в тупик. Например, после того как в Венеции уничтожили всех собак, болезнь тоже исчезла.

Но теперь эразмовцы говорят, что новый штамм, который они называют Нипах-45, не просто может инфицировать людей — он при этом еще и высокозаразен и крайне летален. Как и предковый вирус, он способен распро-

страняться через зараженную пищу, а также и воздушно-капельным путем и, в отличие от эволюционного предка, может, видимо, жить в организме хозяина в течение нескольких месяцев. Исследование они проводили в нескольких маленьких деревнях возле Луангпхабанга, где местное правительство разместило беженцев-мусульман из Китая. Они утверждают, что полгода назад этот вирус выкосил тамошнее население: почти семь тысяч людей умерло в течение восьми недель. Вирус перескочил от летучих мышей на буйволов, а оттуда — в продовольствие. Болезнь проявляется у людей в виде кашля, который быстро приводит к полномасштабной дыхательной недостаточности, за которой следует полиорганная недостаточность, — в среднем от постановки диагноза до смерти проходит одиннадцать дней. Каким бы ужасающим ни был показатель смертности, эразмовцы утверждают, что изолированность местности и отсутствие возможности передвигаться по стране (этим людям перемещение законодательно запрещено) предотвратили широкое распространение заболевания.

Прошло полгода, но эти деревни так и остаются в изоляции. Тем не менее лаосские власти, при поддержке американских, всячески стараются не

допустить, чтобы сведения просочились в газеты, потому что, наряду с распространением заболевания, самую серьезную озабоченность вызывает 1) практически неизбежная стигматизация этих несчастных людей, что может запросто привести к массовым убийствам, как мы видели в Малайзии в 40-м; и 2) новый кризис из-за наплыва беженцев. Границы Гонконга тщательно охраняются, то же самое можно сказать о Сингапуре, Индии, Китае, Японии, Корее и Таиланде. Поэтому, если начнется новое массовое перемещение людей, представляется неизбежным, что беженцы попытаются перебраться через Тихий океан. Те, кого не застрелят немедленно при приближении к береговой линии Филиппин, Австралии, Новой Зеландии, Гавай'ев или Америки, попытаются (в рамках этой картины) добраться до Орегона, Вашингтона или Техаса, а из этих стран — до границы и через границу в США.

Неудивительно, что отчет вызвал целую бурю. Не из-за данных — в данных группы никаких сомнений не было, а из-за их предположения, невысказанного, но всячески подразумеваемого, что этот вирус может оказаться тем, чего мы все ждем и к чему готовимся. Со страхом смешивалась изрядная доля профессиональной

ревности, обиды (если бы наши правительства так активно финансировали наши исследования, как в Нидерландах, мы бы сами это обнаружили) и даже некоторое возбуждение. В одном из информационных бюллетеней кто-то сравнил теоретическую вирусологию с дублером в долгоиграющем бродвейском шоу: ты ждешь и ждешь, когда же наконец сможешь выступить, и, как правило, этого не происходит, но все равно надо быть в форме, потому что вдруг в какой-то момент окажется, что выходить на сцену надо тебе?

Я понимаю, что ты хочешь спросить. Отвечаю: понятия не имею. Оно или не оно? Не могу сказать. По ощущению — скорее нет; если бы у Нипах-45 был потенциал массового поражения, мы бы узнали об этом гораздо раньше. Ты бы узнал об этом гораздо раньше. Вирус проник бы далеко за пределы этой сельской местности. То, что этого не произошло, должно нас утешать. Впрочем, в наши дни много что можно считать утешительным.

Я буду держать тебя в курсе. И ты меня держи. Удивительно, что заместитель министра внутренних дел чем дальше, чем больше превосходит меня в информированности о мировых вспышках инфекционных болезней, но что делать. А

пока — обнимаю тебя, как всегда, и Оливье тоже. Будьте здоровы и держитесь подальше от летучих мышей.

С любовью,
Я

Дорогой мой Питер,
6 января 2048 г.

Мы все потрясены тем, что у вас творится. Работа в лабораториях сегодня более или менее прекратилась — все смотрели новости, и когда мост взорвался, возгласы ужаса раздались на всем этаже, не только в нашей лаборатории. Мы смотрели на безумную сцену, на крушение Лондонского моста, видели, как по воздуху летят все эти люди и автомобили — на том канале, который мы смотрели, репортер заорал — без слов, просто звук, — и замолк; слышен был только шум вертолетов. Потом мы сидели кружком, гадали, кто это мог сделать, и один из моих исследователей сказал, что надо вместо этого думать, кто на такое не способен (по крайней мере, мы надеемся, что не способен), — потому что кандидатов-то бесконечно много. Ты как думаешь: это было такое нападение на лагерь беженцев? Или что-то другое?

Но главное, Питер, я с ужасом, с ужасом узнал, что среди погибших оказалась Элис. Я знаю, как вы были близки, как долго работали вместе, и не могу даже представить, что ты с коллегами сейчас чувствуешь.

Натаниэль и малыш присоединяются к моим словам. Я знаю, что Оливье о тебе заботится как надо, но напиши или просто позвони, если захочешь поговорить.

Люблю тебя.

Ч.

Милый Питер,

14 марта 2049 г.

Пишу тебе из нашей новой квартиры. Да, слухи не лгали: мы переехали. Недалеко вообще-то — новое жилище, трехкомнатное, находится на углу 70-й улицы и Второй авеню, на четвертом этаже здания 1980-х годов, — но сделать это надо было ради Натаниэля, то есть ради моего душевного здоровья тоже. Квартира оказалась довольно дешевой — только потому, что Ист-Ривер, как говорят, прорвет дамбы в какой-то момент, от следующего года до бесконечности. (Конечно, именно поэтому надо было оставаться в университетском жилье: его зальет с еще боль-

шей вероятностью, и поэтому оно обходится еще дешевле, но Натаниэль там больше находиться не мог, и спорить с ним оказалось бесполезно.)

Про новый район мало что можно сказать, потому что он таков же, как старый, более или менее. Разница в том, что здесь окна гостиной выходят на санитарную станцию напротив. У вас ведь их еще нет? Будут. Это заброшенные фасады магазинов (на этом месте было — ирония в квадрате — кафе-мороженое), которые государство приняло на баланс и снабдило индустриальными кондиционерами, а также — в большинстве случаев — воздушными душами (штук 10–20); это новая технология, которую они тестируют. Ты раздеваешься, заходишь в кабину, напоминающую вертикальный трубообразный гроб, нажимаешь кнопку, и тебя обдувает мощной струей воздуха. Идея в том, что воду можно не использовать, потому что сила воздушного потока сдует грязь. Наверное, это как-то работает. В любом случае лучше, чем ничего. В общем, они открывают такие центры по всему городу; если платить ежемесячный взнос, можно ими пользоваться в любое время. В дорогих заведениях, которые тоже подвержены федеральному регулированию, но принадлежат частному бизнесу,

разрешено оставаться в кондиционированном помещении весь день и пользоваться воздушным душем без ограничений; там есть помещения для работы и кровати для людей, которым нужно переночевать, если у них в здании отключили электричество. Но напротив нас — центр чрезвычайных ситуаций, то есть он предназначен для людей, у которых воды или электричества не бывает подолгу (больше четырех суток) или у которых в кварталах не хватает генераторов. Поэтому весь день там роятся эти несчастные, их сотни — много детей, много стариков, белых среди них не бывает; они стоят под палящим солнцем буквально часами и ждут, когда можно будет зайти внутрь. А из-за недавней паники, если у тебя кашель, тебя никуда не пустят, и даже если нет, все равно температуру проверяют, что довольно смешно: как можно простоять на жаре столько времени и избежать повышения температуры? Городские чиновники утверждают, что охранники отличают инфекционную лихорадку от простого перегрева, но я что-то сильно в этом сомневаюсь. Чтобы дополнительно усложнить дело, на входе надо показывать удостоверение личности: пускают только граждан или постоянных резидентов США.

В феврале мы с Натаниэлем в какой-то момент собрали старую одежду и игрушки малыша, чтобы передать их в этот центр, и провели несколько минут в отдельной очереди, которая была гораздо меньше; и хотя меня уже ничто не удивляет в этом сраном городе, центр таки удивил. Там было примерно сто взрослых и пятьдесят детей — в пространстве, рассчитанном человек на шестьдесят, и запах — рвоты, кала, немытых волос и тел — был так силен, что его можно было почти увидеть, он как будто окрашивал все вокруг в мертвенный горчичный цвет. Но что нас больше всего поразило — это как тихо там было; кроме непрерывного тонкого и беспомощного плача какого-то младенца, никаких звуков не раздавалось. Все молча стояли в очередях к семи кабинам воздушного душа, и когда кто-то выходил, туда заходил другой человек и задергивал за собой занавеску.

Мы прошли сквозь толпу, которая беззвучно расступалась, пропуская нас, и добрались до противоположной стены. Там находился пластмассовый стол, за которым стояла женщина средних лет. На столе возвышался огромный металлический бак, а перед столом вилась другая очередь, и каждый из стоявших в ней держал

в руке керамическую кружку. Когда эти люди подходили к столу, они протягивали кружки, женщина опускала в бак половник и наливала им холодной воды. Рядом располагались еще два бака с запотевшими боками, и за ними, скрестив руки на груди, стоял охранник с пистолетом в кобуре у бедра. Мы сказали женщине, что принесли отдать кое-какую одежду, и она велела нам бросить все в одну из корзин, стоящих возле окон, что мы и сделали. Когда мы двинулись к выходу, она нас окликнула, поблагодарила и спросила, нет ли у нас дома антибиотиков в жидком виде, или мази для подгузников, или питательных напитков. Нам пришлось сказать, что нет, наш сын давно из всего этого вырос, и она снова кивнула с усталым видом. “Ну все равно спасибо”, — сказала она.

Мы перешли улицу — жара была такая плотная и жуткая, что казалось, будто воздух соткан из шерсти, — молча поднялись до нашей квартиры, и как только оказались внутри, Натаниэль повернулся ко мне, и мы крепко обнялись. Мы очень, очень давно этого не делали, и хотя я понимал, что он прижимается ко мне скорее из чувства скорби и страха, чем от любви, я все равно был рад.

— Бедные люди, — сказал он мне в плечо, и я ответил ему вздохом. Потом он отпустил меня. — Это же Нью-Йорк, — сказал он с яростью. — Сейчас 2049 год! Боже правый!

Да, хотелось ответить мне, это Нью-Йорк. Сейчас 2049 год. Именно в этом и проблема. Но я промолчал.

Потом мы долго стояли под душем — причудливая идея с учетом только что увиденного, но в ней было что-то восхитительное и при этом дерзкое: мы как бы говорили себе, что можем мыться, когда захотим, что мы — не эти люди и никогда такими не будем. По крайней мере, так я сказал, когда мы потом лежали в постели.

— Скажи мне, что с нами так не будет, — произнес Натаниэль.

— С нами так никогда не будет, — сказал я.

— Пообещай мне.

— Обещаю.

Хотя что я мог обещать? С другой стороны, что еще я мог на это сказать? Потом мы долго лежали, слушая гудение кондиционера, а потом он отправился забирать малыша с плавания.

Я знаю, что уже это упоминал в своем предыдущем отчете, но помимо финансов нам нужно было не покидать этот район именно из-за ма-

лыша, потому что мы стараемся, чтобы для него все оставалось как можно более нормальным. Я говорил тебе про случай на баскетбольном корте в прошлом году, а два дня назад это случилось снова. Мне позвонили в лабораторию (Натаниэль ненадолго уехал на север штата со своими учениками), и пришлось бежать в школу, где я обнаружил малыша в кабинете директора. Он явно плакал, хотя делал вид, что не плачет, и меня накрыло — злостью, страхом, беспомощностью — до такой степени, что я, наверное, просто замер, тупо глядя на него, а потом велел ему выйти, что он и сделал, притворившись, будто по дороге пинает дверной косяк.

Что мне следовало сделать — так это обнять его, сказать, что все будет хорошо. Мои взаимоотношения с людьми все чаще следуют именно такой модели: я вижу проблему, меня накрывает, я не выказываю сочувствия, когда это необходимо, человек злится и уходит.

Директор, мрачная лесбиянка средних лет по имени Элиза, мне нравится — она из тех людей, которым взрослые вообще не слишком-то симпатичны, а вот дети все кажутся интересными. Но когда она выложила на стол шприц, мне пришлось схватиться за сиденье стула, чтобы

ненароком не отвесить ей оплеуху, — так меня взбесил этот драматический жест.

— Я в этой школе давно работаю, доктор Гриффит, — начала она. — Мой отец тоже был ученый. Так что я даже не спрашиваю, откуда у вашего сына такое взялось. Но я никогда не видела, чтобы ребенок пытался воспользоваться иглой как оружием.

На что я подумал: правда? Никогда? Что же не так с воображением у детей в наши дни? Впрочем, я этого не сказал, а просто извинился за малыша, сказал, что у него слишком развитое воображение и что ему нелегко приспосабливаться к Америке. Все это было правдой. Я не сказал, как я потрясен, что тоже было правдой.

— Но ведь вы живете в Америке, — она посмотрела на экран компьютера, — почти шесть лет, верно?

— Ему все равно непросто, — сказал я. — Другой язык, другая среда, другие обычаи…

— Простите, доктор Гриффит, — перебила она. — Не мне вам говорить, что Дэвид очень, очень способный ребенок. — Она посмотрела на меня сурово, как будто это я виноват в способностях малыша. — Но ему все время трудно контролировать свои эмоции — это же не первый

наш такой разговор. И у него есть определенные… трудности с социализацией. Ему нелегко воспринимать определенные правила, принятые в обществе.

— Мне тоже было нелегко в его возрасте, — сказал я. — Мой муж говорит, что это и теперь не изменилось. — Я улыбнулся, а она нет.

Она вздохнула, подалась вперед, и что-то исчезло с ее лица — наверное, профессиональная маска.

— Доктор Гриффит, — сказала она. — Я за Дэвида беспокоюсь. В ноябре ему исполнится десять; он прекрасно понимает последствия своих поступков. Ему осталось здесь лишь четыре года, потом он пойдет в старшие классы, и если он не научится прямо сейчас, прямо в этом году, взаимодействовать с ровесниками… — Она вздохнула. — Вам учитель говорил, что произошло?

— Нет, — признался я.

И она рассказала. Вкратце: есть группа мальчишек — не спортивных, не миловидных, это ж дети ученых, что с них взять, — которые считаются “популярными”, потому что делают роботов. Малыш хотел к ним присоединиться и пытался тусоваться с ними за обедом. Но они его отшили — несколько раз (“Уважительно, поверьте. Мы

никакого грубого обращения не терпим"), и тогда, видимо, малыш вытащил шприц и сказал главарю этой группы, что заразит их вирусом, если они не дадут ему присоединиться. На глазах у всего класса.

Когда я это услышал, меня охватили два противоположных чувства. Во-первых, я был в ужасе, что мой ребенок угрожал другому ребенку — и не просто угрожал, а угрожал, по его словам, болезнью. А во-вторых, у меня сердце разрывалось. Я винил и виню в одиночестве малыша ностальгию, но правда в том, что даже на Гавай'ях у него не было своей компании. Кажется, я никогда тебе этого не рассказывал: однажды, когда ему было три года, я увидел, как он подошел к другим детям на площадке, которые играли в песочнице, и спросил, можно ли поиграть с ними. Они согласились, и он влез в песочницу, но в тот же момент они вскочили и убежали кататься с горки, оставив его в одиночестве. Они ничего не сказали, не обзывали его, но как можно было понять это иначе, чем что они его отвергли? Ведь так и было.

Но хуже всего было то, что произошло потом. Он сидел в песочнице, смотрел им вслед, а затем стал тихо играть сам с собой. Каждые несколько секунд он оглядывался в их сторону, надеясь, что

они вернутся, но они не возвращались. Минут через пять я просто не выдержал, пошел забрал его, сказал, что куплю ему мороженое, только пусть папе не говорит.

А вечером я не стал рассказывать Натаниэлю о том, что произошло в песочнице. Мне было стыдно, я каким-то образом оказался виноват в том, что малыш расстроился. Он потерпел неудачу, и я потерпел неудачу — не смог ему помочь. Его отвергли, и я в известной степени отвечал за его отверженность, хотя бы потому, что все видел и не смог ничего исправить. На следующий день, когда мы снова шли на площадку, он потянул меня за руку и спросил, обязательно ли туда идти. Я сказал, что нет, необязательно, и вместо этого мы снова пошли за запретным мороженым. На ту площадку мы больше никогда не возвращались. Но теперь я думаю, что надо было. Я должен был сказать ему, что те ребята поступили нехорошо, что к нему это не имеет никакого отношения, что он найдет других друзей, людей, которые будут его любить и ценить, и что любой, кто ведет себя иначе, просто не заслуживает его внимания.

Но я ничего не сказал. Наоборот, мы об этом вообще не говорили. И с течением лет малыш становился все более замкнутым. Пожалуй, не

с Натаниэлем — впрочем, может быть, даже с ним. Я просто не уверен, что Натаниэль замечает. Я не могу это точно описать, но мне все чаще кажется, что малыш как бы не здесь, и даже когда он с нами, он куда-то потихоньку дрейфует. У него тут есть пара друзей, спокойные, серьезные мальчики, но они редко приходят к нам, а его редко приглашают к ним домой. Натаниэль всегда говорит, что малыш — очень зрелый человек для своего возраста; так всегда говорят обеспокоенные родители, когда дети вдруг ставят их в тупик, а я думаю, что если он в чем действительно созрел — так это в своем одиночестве. Ребенок может быть один, но он не должен быть одинок. А наш — одинок.

Элиза рекомендовала написать от руки письма с извинениями, отстранить его от занятий на две недели, еженедельно консультироваться у психолога, заняться каким-нибудь видом спорта (можно даже не одним) — “чтобы он чувствовал необходимость результата и мог тратить энергию не на свои обиды” — и отметила, что ему нужно “большее участие обоих родителей”, то есть мое, потому что Натаниэль-то и так посещает каждое школьное собрание, игру, представление или пьесу.

— Я понимаю, что вам это трудно, доктор Гриффит, — сказала она и, прежде чем я успел возразить или сказать что-то в свое оправдание, добавила более доброжелательно: — Я понимаю. Без всякого сарказма. Мы все гордимся вашей работой, Чарльз.

Внезапно я почувствовал, как идиот, что к глазам подступают слезы, пробормотал:

— Наверняка вы так говорите всем вирусологам, — и ушел, схватив малыша за плечо и направляя его к двери.

До квартиры мы шли молча, но стоило нам зайти внутрь, как я на него набросился.

— Что у тебя вообще в голове, Дэвид? — заорал я. — Ты вообще понимаешь, что тебя могли исключить из школы, могли арестовать? Мы в этой стране гости — ты не понимаешь, что тебя могут отнять у нас и запихнуть в государственный детдом? Ты в курсе, куда детей отправляют за меньшие прегрешения?

Я не собирался останавливаться, но увидел, что малыш расплакался, и это заставило меня заткнуться, потому что малыш плачет редко. “Прости, — повторял он, — прости”.

— Дэвид, — простонал я, сел на корточки, прижал его к себе — я так делал, когда он действи-

тельно был малышом, — и покачал его туда-сюда, опять-таки как когда он был малышом. Мы некоторое время молчали.

— Никто меня не любит, — тихо сказал он, и я ответил, как только и мог ответить:

— Конечно, тебя любят, Дэвид.

Но на самом деле мне следовало сказать ему: “И меня никто не любил в твоем возрасте, Дэвид. Но когда я вырос, люди начали меня любить, и я встретил твоего папу, и у нас появился ты, и теперь я самый счастливый человек на свете”.

Мы сидели так еще некоторое время. Я не обнимал малыша так очень давно, несколько лет. Наконец он пробормотал:

— Не говори ему.

— Папе? — спросил я. — Я должен сказать, Дэвид, ты же понимаешь.

Он, видимо, принял это как должное и встал, чтобы уйти. Но меня не отпускала тревога.

— Дэвид, — сказал я, — а где ты взял шприц?

Я думал, он ответит что-то уклончивое, типа “у других ребят”, или “не знаю”, или “нашел”. Но вместо этого он ответил:

— Заказал.

— Ну-ка покажи, — сказал я.

И он отвел меня в кабинет, где залогинился

в моем компьютере — обойдя сканирование сетчатки таким ловким и быстрым вводом пароля, что было очевидно: он это делает далеко не в первый раз, — и потом зашел на сайт такой нелегальный, что мне придется писать докладную записку о том, что произошло, и заказывать новый ноутбук. Он слез с моего стула и опустил руки, и мы некоторое время смотрели на экран, где крутилось изображение атома. Через каждые несколько оборотов атом останавливался, и высвечивалась новая категория товаров: “Вирусные возбудители”. “Иглы и шприцы”. “Антитела”. “Токсины и антитоксины”.

Ты легко можешь представить себе мои ощущения. Но первые мои вопросы были чисто практические: откуда он узнал об этом сайте? Как обошел системы защиты, чтобы туда проникнуть? Откуда знал, что заказывать? Кто его навел на такую мысль?

Это вообще нормально для ребенка его возраста?

Может, с ним что-то не так?

Мой ребенок — он вообще кто?

Я посмотрел на него.

— Дэвид, — начал я, понятия не имея, что скажу после этого.

Он не поднял взгляд, даже когда я повторил его имя.

— Дэвид, — сказал я в третий раз, — я не сержусь. — Это не то чтобы была правда, но я не мог определить, что именно чувствую. — Я просто хочу, чтобы ты посмотрел на меня.

Когда он наконец поднял взгляд, я увидел, что он испуган.

И тогда — не знаю, не знаю почему — я его ударил; дал ему пощечину. Он взвизгнул и упал, и я схватил и поднял его и снова ударил, по левой щеке, и он зарыдал. Меня это как-то успокоило — что он все еще может испугаться, что боится меня; я вспомнил, что он все-таки ребенок, что не все потеряно, что нельзя его считать нехорошим, неправильным, плохим. Но все это я смог бы сказать себе позже — в тот момент я только боялся; боялся за него и одновременно боялся его. Я бы снова его ударил, но тут внезапно появился Натаниэль, который оттащил меня от него с криками.

— Ты что, охуел, Чарльз? — проорал он. — Мудак, псих, ты что вообще творишь?

Он толкнул меня, сильно толкнул, я упал, ударился лицом о пол, и он обнял всхлипывающего малыша и стал его утешать.

— Шшш, — прошептал он, — тихо, Дэвид, все хорошо, милый, я с тобой, я с тобой, я с тобой.

— Он нападает на людей, — сказал я тихо, но из носа у меня так сильно шла кровь, что получилось невнятно. — Он пытался напасть на людей.

Но Натаниэль не ответил. Он снял с себя рубашку, прижал ее к носу малыша, откуда тоже шла кровь, а потом они поднялись и ушли, и Натаниэль рукой обхватывал нашего сына за плечи. На меня он так и не оглянулся.

Все это — долгий окольный способ сказать, что я нахожусь в нашей новой квартире. Пишу тебе из кабинета, куда я изгнан на неопределенный срок. Натаниэль мне не сказал ни слова, малыш тоже. Вчера я принес свой ноутбук руководителю службы технологической безопасности и объяснил, что произошло; он был не так шокирован, как я ожидал, и это дало мне надежду, что я зря так сильно обеспокоился. Но, выдавая новый компьютер, он спросил:

— А сколько лет вашему сыну?

— Скоро десять, — сказал я.

Он покачал головой:

— И вы иностранные граждане, так?

— Да, — сказал я.

— Доктор Гриффит, я понимаю, что вы и так это

знаете, но, пожалуйста, будьте осторожны, — сказал он. — Если ваш сын получил доступ к сайту, к которому у вас нет доступа…

— Я понимаю, — сказал я.

— Нет, — сказал он, глядя мне в глаза, — не понимаете. Будьте осторожны, доктор Гриффит. Институт не сможет защитить вашего сына, если что-нибудь подобное повторится.

Я внезапно захотел оказаться как можно дальше от него. И не только от него — от всего этого: от УР, моей лаборатории, Нью-Йорка, Америки, даже Натаниэля и Дэвида. Я хотел оказаться дома, на ферме у бабушки и дедушки, быть таким же жалким и несчастным, как тогда, задолго до того, как это — все это — случилось. Но я никогда не смогу вернуться домой. С бабушкой и дедушкой мы не разговариваем, ферму затопило, и теперь моя жизнь такова, какова она есть. Надо выжать из нее все, что можно. Я так и сделаю.

Но иногда я опасаюсь, что у меня не получится.

Люблю тебя,
Чарльз

Глава 3

2094 год, зима

Одно из самых приятных моих воспоминаний — как дедушка расчесывал мне волосы. Мне нравилось смотреть, как он работает, из угла его кабинета, там можно было сидеть часами, рисовать или играть и почти все время молчать. Однажды к дедушке зашел кто-то из его научных ассистентов, увидел меня и, как мне показалось, удивился.

— Я могу ее увести, если она вам мешает, — тихо сказал научный ассистент.

Тут настала дедушкина очередь удивляться.

— Мою девочку? — спросил он. — Она никому не мешает, и уж тем более мне.

Эти слова вызвали во мне гордость, как будто я что-то сделала правильно.

Обычно я сидела на подушке и наблюдала, как дедушка читает, печатает или пишет, а когда мне это надоедало, играла с деревянными кубиками. Кубики были белые, и я старалась не строить слишком высокую башню, чтобы она не обрушилась и не помешала ему своим грохотом.

Но иногда дедушка отрывался от работы и поворачивался в кресле.

— Иди сюда, маленькая, — говорил он, и я клала свою подушку на пол у него между ногами, а он доставал из ящика большую плоскую щетку и начинал проводить ею по моим волосам. — Какие у тебя красивые волосы, — говорил он. — И откуда у тебя такие красивые волосы?

Но это был так называемый риторический вопрос, а значит, мне не надо было на него отвечать, и я не отвечала. На самом деле мне вообще ничего не надо было говорить. Я всегда ждала этого момента, когда дедушка будет расчесывать мне волосы. Это было очень приятно и очень успокаивало, как медленное погружение в прохладные глубины.

Правда, после болезни у меня больше не было красивых волос. Как и у всех выживших. Это все из-за лекарств: сначала волосы выпали, а когда снова выросли — стали тонкими, жидкими и блеклыми, и отрастить их было невозможно, потому что они начинали переламываться. Большинство людей стригли их очень коротко, чтобы они просто прикрывали голову. Та же участь постигла и многих заразившихся в 50 и 56 годах, но для нас, переживших болезнь 70 года, послед-

ствия оказались серьезнее. Сначала по длине волос можно было определить, болел человек в 70-м или нет, но потом другой препарат с тем же действующим веществом стали выписывать для борьбы с вирусом 72 года, и прическу уже нельзя было истолковать однозначно, да и стричь волосы коротко стало практичнее: не так жарко, и для ухода за ними требуется меньше воды и мыла. Поэтому теперь многие носят короткие стрижки — это дешевле. По длинным волосам можно узнать жителей Четырнадцатой зоны: всем известно, что им достается втрое больше воды, чем нам, хотя по объему государственного водоснабжения наша Восьмая зона на втором месте.

Я начала думать обо всем этом потому, что на прошлой неделе, когда я ждала шаттл, в очередь со мной встал какой-то незнакомый мужчина. Я стояла почти в самом конце и поэтому могла хорошо его разглядеть. Серый комбинезон, похожий на те, которые носит мой муж, — значит, он специалист по техническому обслуживанию на Ферме или даже на Пруду, — легкая нейлоновая куртка, тоже серая, а на голове кепка с большим козырьком.

Последние несколько недель мне было как-то не по себе. С одной стороны, я была счастлива,

потому что приближался декабрь, а декабрь — лучший месяц в году: иногда бывает так прохладно, что вечером можно выйти в куртке с капюшоном, и, хотя дождей нет, висящий над домами смог рассеивается, а в магазине появляются овощи и фрукты, которые выращивают только в холодное время года, — например, яблоки и груши. В январе начинаются штормы, а в феврале отмечают Новый год по лунному календарю, и тогда все сотрудники государственных предприятий или исследовательских институтов получают шесть дополнительных талонов в месяц: четыре на крупу и два либо на молочные продукты, либо на овощи и фрукты, по желанию. Мы с мужем обычно складываем наши дополнительные талоны, и на двоих у нас получается восемь на крупу, два на молочные продукты и два на овощи и фрукты. На следующий год после свадьбы, когда муж первый год работал на Ферме, мы купили на лишние талоны немного твердого сыра. Муж завернул его в бумагу и спрятал в дальний угол коридорного шкафа — в самое холодное место в квартире, по его словам, — и сыр не портился довольно долго. Ходили слухи, что на этой неделе могут выделить дополнительный день на купание и стирку — так было два года назад, а в

прошлом году стояла засуха и его не давали.

Хотя впереди ждало столько всего, я ловила себя на том, что думаю о записках. Каждую неделю, когда у мужа был свободный вечер, я вытряхивала содержимое из коробки и проверяла, на месте ли они, и они всегда были на месте. Я опять перечитывала их, вертела в руках, поднимала и смотрела их на просвет, потом складывала в конверт и убирала коробку обратно в шкаф.

В то утро я как раз размышляла над записками, когда увидела, что в очередь встал человек в сером комбинезоне. Его присутствие означало, что кто-то из жителей умер или его забрали: чтобы получить возможность поселиться здесь, надо было дождаться, пока кто-нибудь покинет Восьмую зону, а добровольно отсюда не уезжали. Но потом случилось кое-что странное: человек поправил кепку, и из-под нее выскользнула длинная прядь волос, которая упала ему на щеку. Он тут же заправил ее обратно и быстро огляделся, чтобы убедиться, что никто ничего не видел, но все смотрели прямо перед собой: разглядывать других считалось невежливым. Только я видела его, потому что обернулась, хотя он ничего не заметил. Прежде я никогда не встречала мужчин с длинными волосами. Правда, больше всего меня

поразило, насколько он похож на моего мужа: тот же цвет кожи, тот же цвет глаз, тот же цвет волос, хотя у мужа они короткие, как и у меня.

Мне еще с самого детства не нравились перемены и не нравилось, когда что-нибудь шло не так, как должно. Когда я была маленькой, дедушка читал мне детективные истории, и они меня пугали — я не понимала, что происходит, там все время что-то менялось, и это мне не нравилось. Но дедушке я об этом не говорила, потому что было ясно, что *ему* такие истории нравятся, а мне хотелось полюбить то, что он любит. А потом читать детективы запретили, и мне стало незачем притворяться.

Но теперь в моей собственной жизни, прямо как в детективе, появились две загадки: первая — записки, а вторая — человек с длинными волосами, живущий в Восьмой зоне. У меня было такое чувство, будто что-то случилось, а мне никто не сказал, будто существует тайна, которая всем известна, но я никак не могу ее раскрыть. На работе такое повторяется каждый день, но это нормально, потому что я не ученый и у меня нет права знать, что происходит, — я недостаточно образованна и в любом случае не сумею понять происходящее. Но я всегда считала, что понимаю,

как устроена жизнь здесь, а теперь начинала бояться, что думать так было ошибкой.

Это дедушка объяснил мне, что такое свободные вечера.

Когда он сказал, что я скоро выйду замуж, я обрадовалась, но в то же время испугалась и поэтому начала ходить по комнате кругами — я так делаю, когда бываю очень счастлива или очень встревожена. Обычно людям неприятно это видеть, но дедушка сказал только: “Я понимаю, что ты чувствуешь, котенок”.

Позже он пришел пожелать мне спокойной ночи и принес фотографию моего будущего мужа, хотя я даже не подумала об этом попросить. Я смотрела и смотрела на эту фотографию, поглаживая ее, как будто могу на самом деле дотронуться до его лица. Потом я хотела отдать фотографию дедушке, но он покачал головой.

— Она твоя, — сказал он.

— Когда я выйду замуж? — спросила я.

— Через год, — сказал он. — Так что весь этот год я буду рассказывать тебе все, что нужно знать о браке.

Мне сразу стало намного спокойнее — дедушка всегда знал, что сказать, даже когда я сама не знала.

— Начнем завтра, — пообещал он, поцеловал меня в лоб, выключил свет и ушел спать в гостиную.

На следующий день дедушка приступил к урокам. Он составил на листе бумаги длинный список и каждый месяц выбирал из него три темы для обсуждения. Он учил меня вести беседу и быть вежливой, рассказывал, в каких ситуациях мне может понадобиться помощь, как попросить о ней и что делать в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, мы обсуждали, как мне начать доверять мужу, как стать ему хорошей женой, каково это — жить в браке и как мне быть, если муж вдруг сделает нечто такое, что меня напугает.

Я понимаю, что это кажется странным, но моя изначальная тревога прошла, и теперь замужество беспокоило меня меньше, чем, наверное, казалось дедушке. Все-таки, если не считать самого дедушку, я никогда не жила ни с кем вместе. Ну, не совсем так — я жила со своим вторым дедом и с отцом, но тогда я была еще очень маленькая и даже не помню, как они выглядели. Наверное, я думала, что жизнь с мужем будет похожа на жизнь с дедушкой.

К концу шестого месяца наших занятий дедушка рассказал мне про свободные вечера.

Раз в неделю муж будет куда-нибудь уходить, и целый вечер я буду предоставлена самой себе. А на следующий день я смогу уйти сама, чтобы побыть без него и заняться чем захочу. Дедушка пристально смотрел на меня, когда объяснял это, а потом подождал, пока я обдумаю его слова.

— А в какой день недели это будет? — спросила я.

— Как вы с мужем договоритесь, — сказал он.

Я подумала еще немного.

— Что я должна делать в свой свободный вечер? — спросила я.

— Что хочешь, — сказал дедушка. — Например, ты можешь прогуляться или пойти на Площадь. А может, тебе захочется пойти в Центр отдыха и сыграть с кем-нибудь в пинг-понг.

— Может, я смогу прийти к тебе, — сказала я. Больше всего из дедушкиных объяснений меня поразило, что он не будет жить с нами; после свадьбы я останусь с мужем в нашей квартире, а дедушка переедет.

— Я люблю проводить время с тобой, котенок, — медленно отозвался дедушка. — Но тебе надо привыкать жить вдвоем с мужем: нельзя начинать новую жизнь, постоянно думая о том, когда мы с тобой увидимся.

Я помолчала, потому что чувствовала, что дедушка пытается сказать что-то, но так, чтобы не совсем сказать, и не понимала, что он имеет в виду, но подозревала, что мне это не понравится.

— Ну же, котенок, — сказал наконец дедушка, улыбнулся и погладил мою ладонь. — Не расстраивайся. Это же здорово — ты выходишь замуж, и я очень тобой горжусь. Мой котенок уже совсем вырос и готов зажить своим домом.

За годы нашей совместной жизни мне пригодились очень немногие из дедушкиных уроков. Например, мне ни разу не пришлось обращаться в полицию из-за того, что муж меня бьет, ни разу не пришлось просить его помочь мне по хозяйству, ни разу не пришлось беспокоиться о том, что он прячет от меня талоны на продукты, ни разу не пришлось стучаться к соседям, потому что он на меня кричит. Но если бы я знала, как буду чувствовать себя в эти вечера, я бы попросила дедушку рассказать о них подробнее.

Вскоре после свадьбы мы с мужем решили, что его свободный вечер будет в четверг, а мой — во вторник. То есть это решил муж, а я согласилась. “Вторник точно тебе подходит?” — спросил он, и в его голосе послышалась тревога, словно он боялся, что я отвечу: “Нет, я все-таки хочу чет-

верг”, — и ему придется со мной поменяться. Но вторник вполне меня устраивал, потому что это не имело никакого значения.

Сначала я пыталась проводить свободные вечера вне дома. В отличие от мужа, с работы я сразу возвращалась домой, мы ужинали вдвоем, а уже потом я переодевалась и шла куда захочу. Это было непривычно, потому что дедушка столько лет подряд повторял, что я никогда не должна выходить из дому одна, и уж совершенно точно не в темноте. Тогда на улице действительно было опасно, но это было до второго восстания.

Первые несколько месяцев я следовала дедушкиному совету и ходила в Центр отдыха. Он находился на Четырнадцатой улице, к западу от Шестой авеню, и поскольку уже наступил июнь, мне приходилось надевать охлаждающий костюм, чтобы не получить тепловой удар. Я шла пешком по Пятой авеню, а потом сворачивала на запад и шла по Двенадцатой улице: мне нравились старые дома в этом квартале, потому что они очень напоминали тот дом, в котором жили мы с мужем. В некоторых окнах горел свет, но большинство оставались темными, и немногочисленные люди, которых я встречала на улице, тоже шли в сторону Центра.

Центр, предназначенный только для жителей Восьмой зоны, открыт с 6:00 до 22:00. Каждому из нас разрешается бесплатно проводить здесь двадцать часов в месяц, и на входе и выходе нужно отсканировать отпечаток пальца. Здесь можно записаться на курсы кулинарии, шитья, тайцзи или йоги, а можно вступить в какой-нибудь клуб — любителей шахмат, бадминтона, пинг-понга или шашек. Наконец, можно стать волонтером и собирать наборы гигиенических принадлежностей для людей в центрах перемещения. Одно из главных достоинств Центра — постоянная прохлада внутри, потому что здесь стоит огромный генератор; в нежаркие месяцы люди остаются дома и экономят свободные вечера, чтобы летом проводить больше времени в кондиционированном Центре, а не в своих квартирах. Здесь даже можно принять воздушный душ, и иногда, если мне очень хотелось вымыться, а до водного дня было еще далеко, я тратила часть времени на душ. Кроме того, раз в год в Центре делают прививки, раз в две недели сдают анализы крови и мазки, раз в месяц получают талоны на продукты и денежные выплаты, а с мая по сентябрь — ежемесячно по три килограмма льда, которые каждый житель Восьмой зоны может купить по

сниженной цене.

До первых свободных вечеров я никогда не ходила в Центр отдыхать, хотя он во многом был задуман именно для этого. После открытия Центра дедушка как-то раз повел меня туда, и мы стояли и смотрели на игру в пинг-понг. В комнате было два стола, и пока одни люди играли, другие сидели на стульях вдоль стен, наблюдая за ними, и хлопали, когда кто-то зарабатывал очко. Помню, я долго стояла и смотрела, потому что мне нравилась эта игра и нравился звонкий, резкий стук мяча о стол.

— Хочешь поиграть? — шепотом спросил дедушка.

— Ой, нет, — сказала я. — Я не умею.

— Ты можешь научиться, — сказал дедушка. Но я понимала, что не могу.

Когда мы вышли из Центра, дедушка сказал:

— Ты можешь приходить сюда еще, котенок. Нужно только записаться в команду и попросить кого-нибудь поиграть с тобой.

Я промолчала, потому что иногда дедушка говорил так, будто для меня это все легко, и я расстраивалась, что он ничего не понимает — не понимает, что я не могу делать некоторые вещи, хоть он и думает, что могу, — и тут я почувство-

вала, что злюсь и кожа начинает чесаться. Но он заметил это, остановился, повернулся и положил руки мне на плечи.

— Ты *справишься,* котенок, — тихо сказал он. — Помнишь, как мы с тобой учились общаться с людьми? Помнишь, как мы учились поддерживать разговор?

— Да, — сказала я.

— Я понимаю, что тебе трудно, — сказал дедушка. — Понимаю. Но я бы не предлагал попробовать, если бы хоть на минуту засомневался в тебе.

И я решила сходить в Центр отдыха — хотя бы для того, чтобы рассказать дедушке, который тогда еще был жив, что я там была. Но мне даже не удалось заставить себя войти внутрь. Я села на порожек снаружи и наблюдала, как в Центр заходят другие люди — по одному или по двое. Потом оказалось, что с другой стороны от двери есть окно, и если встать под определенным углом, будет видно, как играют в пинг-понг, и это оказалось хорошо: как будто я вместе с ними, но мне не нужно ни с кем разговаривать.

Так я и проводила свои свободные вечера в первый месяц или чуть дольше — стояла у дверей Центра и смотрела в окно на играющих в

пинг-понг. Иногда это было очень интересно, и по дороге домой я думала, что могла бы рассказать мужу об очередном матче, хотя он никогда не спрашивал, чем я занимаюсь в свободные вечера, и никогда не рассказывал, чем занимается он. Временами я представляла, что у меня появился новый друг: женщина с короткими вьющимися волосами и ямочками на щеках, которая, оттолкнувшись левой ногой, резко посылала мяч через весь стол, или мужчина в красном спортивном костюме с принтом в виде белых облаков. Временами я представляла, что потом присоединюсь к ним в гидратационном баре, и думала, каково это будет — сказать мужу, что я хочу потратить один из дополнительных талонов на напитки и посидеть с друзьями, и он, конечно, не будет возражать, а возможно, когда-нибудь придет посмотреть, как я играю в пинг-понг.

Но через несколько месяцев я перестала ходить в Центр. Во-первых, дедушки больше не было, и у меня пропало желание стараться дальше. Во-вторых, становилось все жарче, и я плохо себя чувствовала. И вот в один из вторников, в очередной свободный вечер, я сказала мужу, который мыл посуду после ужина, что устала и собираюсь остаться дома.

— Ты не заболела? — спросил он.

— Нет, — сказала я. — Просто не хочется никуда идти.

— Хочешь перенести на среду? — спросил он.

— Нет, — сказала я. — Мой свободный вечер будет сегодня. Просто я останусь дома.

— Ага. — Он поставил последнюю тарелку на сушилку. — Что выберешь, гостиную или спальню?

— Не понимаю.

— Я просто хочу дать тебе возможность побыть одной, — сказал он. — Так что, гостиная или спальня?

— А. Наверное, спальня. — Я задумалась. Правильно я отвечаю? — Ты же не против?

— Конечно нет, — сказал он. — Это твой вечер.

Я пошла в спальню, переоделась в ночную рубашку и легла. Несколько минут спустя раздался тихий стук в дверь: муж принес радио.

— Я подумал, вдруг ты захочешь послушать музыку, — сказал он, вставил шнур в розетку, включил радио и вышел, закрыв за собой дверь.

Я долго лежала и слушала радио. Потом сходила в туалет, почистила зубы, обтерлась гигиеническими салфетками и заглянула в гостиную. Муж сидел на диване и читал. У него уровень допуска

выше, поэтому ему можно читать некоторые книги, относящиеся к области его исследований, — он на время берет их домой с работы. На этот раз он изучал книгу об уходе за съедобными водными растениями тропиков, и хотя я не интересуюсь съедобными водными растениями тропиков, я вдруг позавидовала ему. Он мог сидеть и читать часами. Я смотрела на него и мечтала снова увидеть дедушку, потому что дедушка умел сказать что-нибудь такое, от чего становилось легче. Но ничего не оставалось, кроме как лечь спать, и мне казалось, что прошло уже несколько часов, пока я не услышала наконец, как муж вздохнул, выключил свет, пошел в ванную, а потом тихонько вошел в спальню, тоже переоделся и лег.

С тех пор я провожу свободные вечера дома. Время от времени, если меня охватывает сильная тревога, я выхожу на улицу и гуляю вокруг Площади или отправляюсь в сторону Центра. Но обычно я иду в спальню, где муж всегда включает для меня радио. Я переодеваюсь, гашу свет, ложусь в постель и жду: сначала скрипа дивана, на который он садится, потом легкого треска — он хрустит пальцами, когда читает, — и, наконец, приглушенного звука захлопываемой книги и щелчка выключателя. Все эти шесть с половиной

лет каждый четверг я жду возвращения мужа, который в свой свободный вечер даже не заходит домой после работы. Каждый вторник я лежу в постели и жду, когда закончится мой свободный вечер и когда муж снова придет в нашу спальню, даже если он не скажет мне ни слова.

Однажды на работе мне пришло в голову проследить, куда ходит муж. Это было в пятницу, 1 января 2094 года. Доктор Уэсли, который интересовался историей Запада и отмечал Новый год исключительно по традиционному календарю, собрал сотрудников лаборатории и налил каждому виноградного сока. Всем досталось понемногу, даже мне. “Через шесть лет наступит двадцать второй век!” — объявил он, и мы захлопали в ладоши. Сок был мутный, темно-бордовый и такой сладкий, что у меня запершило в горле. Но в последний раз я пила сок очень давно и задумалась, достаточно ли это интересное событие, чтобы рассказать о нем мужу, — по крайней мере, обычно у нас на работе ничего подобного не происходило, и ничего секретного в этом не было.

По дороге к рабочему месту я зашла в туалет, и, пока я сидела в кабинке, вошли две женщины и стали мыть руки. Они говорили о недавно прочитанной статье в журнале. Я их не знала, но

решила, что они кандидатки, потому что голоса у них были молодые.

Когда они закончили обсуждать статью — та была посвящена новому противовирусному препарату, созданному на основе вируса, у которого как-то изменили геном, — одна из них очень быстро сказала:

— Короче, я подумала, что Перси мне изменяет.

— Серьезно? — отозвалась вторая. — Почему?

— Да вот представляешь, — сказала первая, — он себя очень странно ведет. Поздно возвращается домой, забывает все на свете — даже забыл пойти со мной на обследование, которое проводится на шестом месяце. И по утрам стал уходить очень рано: заявлял, что у него много работы и надо ее закончить. А когда в субботу мы поехали к моим родителям на обед, он так странно вел себя с папой, как будто, знаешь, избегал смотреть ему в глаза. И вот однажды, когда он ушел на работу, я подождала немножко, а потом пошла за ним.

— Бэлль! Ты серьезно?

— Еще как! Я уже начала придумывать, что скажу ему и родителям и что буду делать дальше, как вдруг поняла, что он идет в Отдел жилищного строительства. Я окликнула его, и он ужасно уди-

вился. А потом объяснил, что пытается найти для нас хорошую квартиру в хорошем районе зоны, чтобы переехать туда, когда родится ребенок, и они сговорились с моим отцом, чтобы устроить сюрприз.

— Ого, ничего себе!

— Да уж. Мне было так неловко, что я его ненавидела, хоть это и продлилось всего несколько недель.

Она рассмеялась, и ее подруга тоже.

— Ну, Перси это переживет, — сказала вторая женщина.

— Да, — сказала первая и снова засмеялась. — Он понимает, кто тут главный.

Они вышли, я спустила воду, вымыла руки, вышла следом и увидела, что они все еще разговаривают, но теперь уже в коридоре. Обе женщины были очень хороши собой: блестящие темные волосы стянуты в аккуратные пучки на затылке, в ушах маленькие золотые серьги в форме планет, на ногах кожаные туфли на низком каблуке. Конечно, обе были в лабораторных халатах, но из-под них виднелись яркие шелковые юбки. Одна из женщин, более красивая, чем ее подруга, была беременна и поглаживала живот медленными круговыми движениями.

Я вернулась к своему столу, где меня ждала новая партия мизинчиков: их нужно было разложить по отдельным чашкам Петри и залить физраствором. Приступая к работе, я подумала о записках, которые хранил в коробке мой муж. А потом подумала о женщине в туалете, которая боялась, что ее муж встречается с кем-то другим. Но оказалось, что ее муж ничего плохого не делал: он просто пытался найти ей квартиру побольше, потому что она красивая, умная и беременная, и ему нет смысла искать кого-то получше, потому что никого получше нет. Судя по прическе, она наверняка живет в Четырнадцатой зоне, а если она кандидатка, это значит, что ее родители, скорее всего, тоже жили в Четырнадцатой зоне и сначала заплатили, чтобы она могла учиться в университете, а потом заплатили еще больше, чтобы она жила с ними по соседству. Я задумалась о том, что они едят на обед по субботам, — я как-то слышала, что в Четырнадцатой зоне есть магазины, где можно брать какие угодно виды мяса, причем сколько захочешь. Там можно каждый день есть мороженое или шоколад, пить сок или даже вино. Можно покупать конфеты, фрукты или молоко. Можно принимать дома душ каждый день. Чем больше я размышляла об

этом, тем больше отвлекалась от работы, пока не уронила одного из мизинчиков. Он был такой хрупкий, что при падении расплющился, и я вскрикнула. Я же очень аккуратная. Я никогда не роняю мизинчиков. И вот теперь уронила.

Все выходные и весь понедельник я думала об этой женщине, которая живет в Четырнадцатой зоне, и когда наступил вторник, а следовательно, мой свободный вечер, я все еще думала о ней. После ужина я сразу пошла в спальню и не стала помогать мужу вымыть посуду, как я это обычно делаю, чтобы хоть как-то скоротать время. Лежа в кровати, я пыталась себя убаюкать и спрашивала дедушку, что мне делать. Я представляла, как он говорит: “Все хорошо, котенок” и “Я люблю тебя, котенок”, но не могла придумать, что еще он мог бы сказать. Если бы дедушка был жив, он бы помог мне понять, что меня тревожит и как это исправить. Но дедушка умер, так что мне приходилось во всем разбираться самой.

Потом я вспомнила: женщина в туалете сказала, что следила за своим мужем. Мой муж, в отличие от ее мужа, не уходил из дому рано утром и не возвращался поздно вечером. Я всегда знала, где он, за исключением четверга.

И тогда я решила, что в следующий четверг

тоже прослежу за ним.

На другой день я обнаружила в своем плане изъян: в свободные вечера муж никогда не заходит в квартиру после работы, так что мне придется или найти способ проследить за ним прямо от Фермы, или как-то вынудить его сначала вернуться домой. Второй вариант показался мне проще. Я долго размышляла над тем, как мне его осуществить, и наконец придумала.

В среду вечером за ужином я сказала:

— Похоже, у нас душ протекает.

— Я ничего не заметил, — сказал он, не глядя на меня.

— На дне ванны уже целая лужица, — сказала я.

Он поднял глаза от тарелки, отодвинул стул и пошел посмотреть. Я заранее вылила в ванну полстакана воды; ее должно было остаться ровно столько, чтобы казалось, что из крана течет. Я слышала, как он отодвинул шторку, быстро открыл и закрыл краны.

Я сидела на месте, выпрямив спину, как учил меня дедушка, и ждала. Муж вернулся хмурый.

— Когда ты это заметила? — спросил он.

— Сегодня вечером, когда пришла домой.

Он вздохнул.

— Я обратилась в инспекцию зоны, чтобы они прислали кого-нибудь посмотреть кран, — сказала я, и он взглянул на меня. — Но прийти этот человек сможет только завтра в 19:00, — продолжала я.

Он перевел глаза на стену и снова вздохнул так тяжело, что его плечи поднялись и опустились.

— Я знаю, что у тебя завтра свободный вечер, — сказала я, и мой голос, наверное, прозвучал испуганно, потому что он опять посмотрел на меня и слегка улыбнулся.

— Не волнуйся, — сказал он. — Сначала я вернусь домой, чтобы побыть с тобой, а потом уйду.

— Хорошо, — сказала я. — Спасибо.

Уже потом я поняла, что он мог бы перенести свой свободный вечер на пятницу. А потом, еще позже, я поняла: раз он хотел уйти в четверг, как обычно, значит, кто-то — тот, кто посылал ему записки, — вероятно, всегда ждет его по четвергам, и теперь ему нужно найти способ сообщить этому человеку, что он опоздает. Но я знала, что он подождет, пока не придет техник: расход воды проверяется каждый месяц, а если превысить норму, придется платить штраф, и это внесут в гражданское досье.

В четверг я сказала доктору Моргану, что у

меня течет душ, и попросила разрешения уйти пораньше. Домой я вернулась на семнадцатичасовом шаттле, так что к тому времени, когда пришел муж — в 18:57, как всегда, — я уже готовила ужин.

— Я не опоздал? — спросил он.

— Нет, — сказала я, — никто не приходил.

На всякий случай я приготовила вторую котлету из нутрии, а также ямс и шпинат еще на одну порцию, но когда я спросила мужа, не хочет ли он чего-нибудь съесть, пока мы ждем, он покачал головой.

— А ты поешь сейчас, пока горячее, — сказал он. Нутрия становится жесткой, если не съесть ее сразу.

Я села за стол и принялась вилкой гонять кусочки мяса по тарелке. Муж тоже сел и открыл свою книгу.

— Ты точно не хочешь есть? — спросила я, но он снова покачал головой.

— Нет, спасибо, — сказал он.

Некоторое время мы молчали. Он поерзал на стуле. За ужином мы никогда много не разговаривали, но нас хотя бы объединяло то, что мы садились есть вдвоем. Теперь мы как будто были заключены в стеклянные ящики, стоявшие ря-

дом, и хотя другие люди могли видеть нас, сами мы не видели и не слышали ничего из того, что происходило вокруг, и понятия не имели, как близко находимся друг к другу.

Он снова поерзал на стуле. Перевернул страницу, потом перелистнул ее обратно, перечитывая то, что уже прочел. Посмотрел на часы, и я посмотрела тоже. Было 19:14.

— Да что ж такое, — сказал он. — Где его носит? — И посмотрел на меня. — Никакой записки не оставляли?

— Нет, — сказала я, и муж покачал головой и снова уткнулся в книгу.

Пять минут спустя он поднял глаза.

— Во сколько он должен был прийти? — спросил он.

— В девятнадцать ноль-ноль, — сказала я, и он в очередной раз покачал головой.

Еще несколько минут, и муж окончательно отложил книгу. Мы оба сидели, глядя на бесцветный круглый циферблат часов.

Внезапно он встал.

— Мне надо идти, — сказал он. — Мне давно пора. — Было 19:33.– Я… я должен быть на месте. Я уже опаздываю. — Он посмотрел на меня. — Кобра, если он придет, ты справишься без меня?

Я знала, что он хочет, чтобы я научилась справляться со всем самостоятельно, и вдруг испугалась, как будто мне действительно предстояло говорить с сотрудником инспекции без помощи мужа; на минуту я даже забыла, что никакой сотрудник не придет, что всю эту историю я выдумала, чтобы получить возможность сделать нечто куда более пугающее: проследить за мужем в его свободный вечер.

— Да, — сказала я. — Я справлюсь.

Тогда он улыбнулся одной из своих редких улыбок.

— У тебя все получится, — сказал он. — Ты уже встречалась с техником, он вполне симпатичный. И я сегодня приду домой пораньше, ты еще не успеешь заснуть, хорошо?

— Хорошо, — согласилась я.

— Не нервничай, — сказал он. — Ты знаешь, что делать. — Те же слова говорил мне дедушка: “Ты знаешь, что делать, котенок. Тебе нечего бояться”. Муж снял с крючка куртку. — Спокойной ночи, — сказал он, и дверь за ним захлопнулась.

— Спокойной ночи, — сказала я в закрытую дверь.

Я подождала всего секунд двадцать и вышла из квартиры. Я заранее собрала сумку с вещами,

которые могли мне понадобиться: маленький фонарик, блокнот и карандаш, термос с водой на случай, если мне захочется пить, и куртка на случай, если я замерзну, хотя это было маловероятно.

На улице было темно и тепло, но не жарко, и людей оказалось больше обычного. Одни ходили по Площади, другие возвращались домой из магазина. Я сразу заметила мужа: он торопливо шагал на север по Пятой авеню, а потом свернул на запад по Девятой улице, и я последовала за ним. Это был тот же маршрут, которым мы оба каждое утро, хоть и в разное время, ходили к остановке шаттла, и на секунду я подумала, не собирается ли он опять поехать на работу. Но он продолжал идти через Шестую авеню, через Малую восьмерку — мы так называли комплекс высотных башен, которые как будто были отдельным районом внутри Восьмой зоны, — потом через Седьмую авеню, все дальше и дальше.

Ходить так далеко на запад у меня обычно не было необходимости. Восьмая зона тянулась от Новой Первой улицы на юге до Двадцать третьей на севере и от Бродвея на востоке до Восьмой авеню и реки на западе. Формально зона простиралась еще дальше, но десять лет назад

значительную часть ее территории за пределами Восьмой авеню затопило во время последнего сильного наводнения. Люди, которые решили остаться там, тоже считались жителями Восьмой зоны, но с каждым годом их становилось все меньше и меньше: их переселяли в другие места, потому что в реке постоянно находили что-нибудь подозрительное, и было непонятно, безопасно ли там оставаться.

Восьмая зона везде одинакова: в ней не должно быть никакой иерархии, и ни одна ее часть не может считаться лучше другой. Так нам говорило правительство. Но люди знали, что на самом деле здесь есть менее привлекательные районы, а есть и более привлекательные — например, тот, где жили мы с мужем. К западу от Шестой авеню нет ни продуктовых магазинов, ни центров стирки и гигиены, за исключением одного, который доступен только жителям Малой восьмерки, и там же находится так называемая Кладовка, где не продают ничего скоропортящегося, только продукты с большим сроком хранения — крупы и порошковую еду.

Как я уже говорила, Восьмая зона — одна из самых безопасных на острове, если не во всем муниципалитете. Тем не менее у нас все равно

ходили слухи о происшествиях у реки, точно так же, как ходили слухи о происшествиях у реки в Семнадцатой зоне, которая тянется с севера на юг вдоль всей Восьмой зоны, а на восток простирается до Первой авеню и выходит к берегу Ист-Ривер. Говорили, будто в дальней западной части Восьмой зоны водятся привидения. Однажды я спросила об этом дедушку, и он повел меня на Восьмую авеню, чтобы показать, что никаких призраков там нет. Он сказал, что эта история началась еще до моего рождения: тогда там было множество подземных туннелей, проложенных под улицами и доходивших до центров перемещения, хотя самих центров еще не существовало — это были обычные округа наподобие Восьмой зоны, где люди жили и работали. Но потом, после пандемии 70 года, туннели закрыли, и люди начали рассказывать, будто правительство использовало их в качестве изоляторов для больных, которых к тому моменту насчитывалось сотни тысяч, а потом замуровало входы и выходы, и все, кто оказался внутри, умерли.

— Это правда? — спросила я. Мы стояли у реки и разговаривали очень тихо, потому что даже обсуждать подобное считалось государственной изменой. Мне всегда было страшно, когда мы с

дедушкой говорили на запретные темы, и в то же время радостно, потому что я знала, что он понимает: я умею хранить секреты и никогда его не предам.

— Нет, — сказал дедушка. — Это все апокрифические истории.

— Что это значит? — спросила я.

— Что это неправда, — сказал он.

Я задумалась.

— Если это неправда, почему люди так говорят? — спросила я, и он посмотрел вдаль, на заводы на другом берегу.

— Иногда люди говорят что-нибудь такое, потому что для них это способ выразить свой страх или гнев. В то время правительство делало много ужасных вещей, — медленно произнес он, и я снова ощутила трепет от осознания, что кто-то так говорит о правительстве и что этот кто-то — мой дедушка. — Много ужасных вещей, — повторил он после паузы. — Но такого не делало. — Он посмотрел на меня. — Ты мне веришь?

— Да, — сказала я. — Я всегда тебе верю, дедушка.

Он снова отвернулся, и я испугалась, что сказала что-то не так, но он только погладил меня по волосам и ничего не сказал.

Правдой было только то, что туннели действительно давным-давно замуровали, и люди говорили, что, если подойти к самой реке поздно ночью, можно услышать рыдания и стоны тех, кого оставили умирать внутри.

Кроме того, некоторые утверждали, что на западном краю Восьмой зоны есть дома, которые выглядят как дома, но на самом деле в них никто не живет. Я подслушивала разговоры кандидатов несколько лет, прежде чем мне удалось понять, что они имеют в виду.

Почти вся Восьмая зона была застроена несколько столетий назад, в девятнадцатом и начале двадцатого века, но значительную часть старых зданий снесли незадолго до моего рождения и заменили высотными домами, в которых, помимо квартир, размещались клиники. Тогда численность населения была огромной, и люди приезжали в наш муниципалитет со всего мира. Но пандемия 50 года почти полностью остановила приток иммигрантов, а пандемии 56-го и 70-го решили проблему перенаселения — то есть, хотя людей в Восьмой зоне по-прежнему было много, больше здесь никто не проживал нелегально. Однако часть старых домов сносить не стали, в основном те, которые стояли в районе Пятой

авеню и Площади, а также в районе Восьмой авеню. Здешние дома напоминали тот, где жили мы с мужем; они были построены из красного кирпича и редко насчитывали больше четырех этажей. Некоторые были и того меньше: в них помещалось всего по четыре квартиры.

Подслушивая разговоры кандидатов, я выяснила, что некоторые здания у реки, в которых когда-то были квартиры — такие же, как и в нашем с мужем доме, — со временем стали нежилыми. Теперь люди ходили туда, чтобы… я не знала, для чего они туда ходили, знала только, что это было незаконно и что, обсуждая эту тему, кандидаты хихикали и прибавляли что-то вроде: “Уж вам-то как не знать про такое, Фоксли!” Поэтому я пришла к выводу, что бывать в этих местах опасно, но интересно, а кандидаты только притворяются, будто знают, что там происходит, но на самом деле им никогда не хватит смелости туда пойти.

Я почти уже добралась до реки и теперь шла по улице под названием Бетюн-стрит. Когда я была маленькой, власти пытались заменить названия улиц номерами, и в основном нововведения затронули Седьмую, Восьмую, Семнадцатую, Восемнадцатую и Двадцать первую зоны. Но это

не сработало: люди продолжали называть улицы как в двадцатом веке. За все это время мой муж ни разу не оглянулся. Стало совсем темно, но мне повезло, потому что он надел светло-серую куртку, следить за которой было нетрудно. Он явно ходил этой дорогой не раз — в какой-то момент он вдруг сошел с тротуара на проезжую часть, и, подойдя к этому месту, я увидела огромную выбоину, про которую он явно знал.

Бетюн была одной из тех улиц, где, по слухам, водились привидения, хотя поблизости и не было никаких замурованных входов в подземные тоннели. Но тут по-прежнему росли деревья, правда, почти голые, и, наверное, именно поэтому все казалось таким старомодным и мрачным. А еще эта улица не была затоплена и тянулась на запад до самой Вашингтон-стрит. Муж остановился посреди квартала и огляделся.

На улице не было никого, кроме меня, и я поспешно спряталась за дерево. Я не боялась, что он меня заметит: на мне была черная одежда и черные ботинки, да и кожа у меня довольно темная — я знала, что меня не будет видно. У мужа, впрочем, почти такой же цвет кожи, а к тому времени стемнело окончательно, так что, если бы не серое пятно его куртки, я бы и сама его не разглядела.

— Эй! — крикнул муж. — Кто здесь?

Понимаю, что это глупо, но мне захотелось откликнуться. “Это я, — сказала бы я и шагнула на тротуар. — Я просто хотела узнать, куда ты ходишь, — сказала бы я. — Я хочу побыть с тобой”. Но я не могла представить, что он мне ответит.

Поэтому я промолчала и осталась стоять за деревом. Но про себя отметила, как уверенно прозвучал голос мужа — уверенно и решительно.

Он зашагал дальше, и я вышла из-за дерева и последовала за ним, держась теперь на некотором отдалении. Наконец он поравнялся с одним из последних домов в этом квартале, старомодным зданием под номером 27, смутно похожим на наш собственный дом, огляделся, поднялся по каменным ступеням и постучал в дверь, соблюдая особый ритм: *тук, тук, тук-тук, тук, тук, тук, тук, тук-тук.* В двери открылось маленькое окошко, и лицо мужа попало в прямоугольник света. Должно быть, его о чем-то спросили, потому что он что-то сказал в ответ, хоть я и не расслышала, что именно; потом окно захлопнулось, а дверь приоткрылась, чтобы муж мог проскользнуть внутрь. “Ты что-то сегодня поздно”, — донесся до меня мужской голос, и дверь снова закрылась.

Я осталась на улице одна. Я стояла перед домом, глядя на него снизу вверх. Снаружи он казался пустым. Окна не горели, изнутри не слышалось ни звука. Подождав минут пять, я поднялась по ступенькам, прижалась ухом к двери, покрытой облупившейся черной краской, и прислушалась. Ничего. Как будто мой муж не вошел внутрь, а исчез в другом измерении.

Только на следующий день, оказавшись в знакомых стенах лаборатории, я осознала, как рисковала вчера вечером. А если бы муж меня увидел? А если бы кто-то заметил, как я иду за ним, и заподозрил меня в незаконной деятельности?

Но потом мне пришлось напомнить себе, что муж меня не видел. Никто меня не видел. И если бы даже меня случайно обнаружила какая-нибудь Муха, патрулировавшая этот район, я бы просто объяснила полицейским, что несу мужу очки, которые он забыл дома, когда вечером выходил на прогулку.

Вернувшись в квартиру, я легла рано, а когда пришел муж, притворилась спящей. Я оставила ему записку в ванной, в которой сообщала, что все починили, и слышала, как он отодвинул шторку, чтобы осмотреть душ. Я не знала, действительно

ли он вернулся раньше обычного, потому что в спальне не было часов. Зато я точно *знала*, что он думал, что я сплю, потому что старался не шуметь и переодевался в темноте.

На другой день у меня толком не получалось сосредоточиться, и я не сразу заметила, что в лаборатории что-то не так. Только когда я пришла к кандидатам со свежей партией мизинчиков, стало понятно, почему сегодня в их отсеке стоит такая тишина: все надели наушники и слушали радио.

В лаборатории два радиоприемника. Один — обычный, какие есть у всех. А вот вещание второго распространяется только на официально утвержденный список научных институтов по всему миру, чтобы ученые могли делиться полученными в ходе исследований результатами, читать лекции и обмениваться новостями. Разумеется, обычно они публикуют свои выводы в статьях, доступ к которым на компьютерах с высокой степенью защиты могут получить только аккредитованные ученые. Но срочные известия сообщают по этому радио, накладывая поверх голоса диктора шумовую завесу; это означает, что без специальных наушников, которые ее глушат, слышен только бессмысленный набор

разных звуков, вроде стрекотания сверчков или треска костра. Каждому, кто имеет разрешение прослушивать трансляции, выдается последовательность цифр, которую нужно предварительно ввести, чтобы получить доступ к передаче, и каждая такая последовательность присваивается пользователю индивидуально, поэтому правительство может в любое время отслеживать тех, кто слушает секретную информацию. Наушники тоже активируются только после введения кода, и вечером, перед тем как уйти из лаборатории, ученые убирают свою технику в сейф, который представляет собой ряд небольших ящичков, а чтобы открыть такой ящичек, требуется еще один код.

Все молчали и, сосредоточенно нахмурившись, слушали радио. Я поставила поднос с новыми мизинчиками в чашках Петри на край стойки, и один из кандидатов нетерпеливо замахал рукой, чтобы я уходила; остальные даже не подняли глаз от блокнотов, в которых они что-то записывали, то прерываясь, чтобы послушать дальше, то возвращаясь к своим заметкам.

Я вернулась с мышами к себе и стала наблюдать за учеными через окно. Вся лаборатория замерла. Даже доктор Уэсли, который заперся в кабинете,

слушал, хмуро уставившись в свой компьютер.

Минут через двадцать трансляция, по-видимому, закончилась, потому что все сняли наушники и поспешили в кабинет доктора Уэсли — даже кандидаты, которых обычно на такие совещания не допускали. Увидев, что они выключили радио, я пошла в их отсек и начала переставлять пустые чашки Петри на поднос, хотя это и не входило в мои обязанности. И тут я услышала, как один из кандидатов спросил другого: “Думаешь, правда?”, а тот ответил: “Блядь, надеюсь, что нет”.

Потом они ушли в кабинет, и больше я ничего не слышала. Но я видела, как доктор Уэсли что-то говорил, а остальные с мрачным видом кивали. Тогда я испугалась, потому что обычно, когда случалось что-то плохое — например, когда обнаруживался новый вирус, — ученые были не испуганные, а взбудораженные.

Но на этот раз у них были встревоженные и серьезные лица, и когда по дороге в туалет во время перерыва я проходила мимо других лабораторий на нашем этаже, там тоже никого не было видно, кроме технических сотрудников, которые, как всегда, ходили туда-сюда, прибирались и подготавливали рабочее пространство, потому что ученые собрались в кабинетах старших ис-

следователей и обсуждали что-то за закрытыми дверями.

Я ждала и ждала, но все по-прежнему оставались в кабинете доктора Уэсли и разговаривали. Стекло было звуконепроницаемое, и я ничего не слышала. Я уже опаздывала на шаттл, поэтому написала записку доктору Моргану, объяснив, что ухожу, и положила ее ему на стол на случай, если он будет меня искать.

Мне понадобилась еще неделя, чтобы в общих чертах понять, что именно передавали по радио, и эти дни были очень странными. Обычно мне удается выяснить нужную информацию довольно быстро. Научным сотрудникам не рекомендуется сплетничать и обсуждать работу вслух, но они все равно это делают, хотя и шепотом. Их неосторожность мне выгодна — как и то, что они почти никогда меня не замечают. Иногда это меня расстраивает, но чаще всего бывает очень кстати.

Просто слушая внимательно, я узнала множество вещей. Например, я узнала, что остров Рузвельт на Ист-Ривер был одним из первых центров перемещения в городе во время пандемии 50 года, потом стал лагерем для заключенных, а когда там развелись крысы — разносчики ин-

фекции, правительство перенесло этот лагерь на остров Говернорс дальше к югу, где раньше был лагерь беженцев. Потом поступило указание разбросать на острове Рузвельт отравленный корм, что позволило уничтожить крыс, и с тех пор там никто не бывал, кроме работников крематория. Я узнала, что доктор Уэсли регулярно ездит в Западные колонии, где правительство построило большой исследовательский центр, и там, в подземном хранилище, хранятся образцы всех известных науке микробов в мире. Я узнала, что в ближайшие пять лет правительство ожидает сильную засуху и что где-то в стране есть группа ученых, которые пытаются выяснить, как вызывать дождь на большой территории.

Помимо всех этих фактов, я узнала из разговоров кандидатов кое-что еще. Большинство из них состояли в браке, и иногда я слышала, как они обсуждают свои отношения с мужьями или женами. Правда, они часто прибегали к недомолвкам и не вдавались в подробности. Один говорил что-то вроде: “Ты же понимаешь, что было дальше”, а другой отвечал: “Понимаю”, и иногда меня тянуло спросить: “Ну и что же было дальше? О чем вы?” Я ничего не понимала, но хотела понять. Хотя, конечно, понимала, что

спрашивать нельзя.

Но в течение недели после той радиопередачи все были необычайно молчаливыми — молчаливыми и серьезными — и работали гораздо усерднее обычного, хотя над чем именно — я не знала, да и в любом случае вряд ли бы поняла. Я просто видела, что они стали вести себя иначе и что в лаборатории что-то изменилось.

Однако, прежде чем мне удалось понять, что происходит, я решила снова проследить за мужем. Не знаю почему. Наверное, я хотела выяснить, ходит ли он в тот самый дом каждый четверг, потому что тогда, по крайней мере, я узнала бы о нем хоть что-то еще.

На этот раз я сразу направилась от остановки шаттла в дальний западный конец Бетюн-стрит и стала ждать там. В доме напротив того, в который тогда вошел мой муж, — как и во всех зданиях, построенных в ту эпоху, — было две двери: главная, к которой вели ступеньки, и вторая, скрытая под этими ступеньками. Дедушка говорил, что в прежние времена вторую дверь с обеих сторон защищали железные решетки с калитками, но их давно пустили на переплавку для военных целей, а это означало, что я могла встать прямо под лестницей, откуда было отлично видно про-

тивоположную сторону улицы.

В тот день дороги были свободны, так что в 18:42 я уже была в своем укрытии. Я посмотрела на дом, который имел такой же заброшенный вид, как и в прошлый четверг. Поскольку стоял январь, было уже темно, но не так темно, как на предыдущей неделе, и я видела, что окна заклеены черной бумагой или замазаны черной краской, поэтому ничего нельзя было разглядеть ни изнутри, ни снаружи. А еще я видела, что здание, несмотря на ветхость, отремонтировано и содержится в порядке: лестница была старая, но надежная, если не считать выщербленного края второй ступеньки. Вокруг контейнера для органического мусора было чисто, и мошки над ним не вились.

Примерно через три минуты я увидела, что кто-то идет по улице, и спряталась под лестницей, думая, что это мой муж. Но это был не он. Это был белый мужчина примерно нашего с мужем возраста, в легких брюках и рубашке с воротником на пуговицах. Он шел быстрым шагом, как и мой муж, и, поравнявшись со зданием напротив, поднялся по ступенькам, даже не взглянув на номер дома, и отстучал по двери тот же ритм, что и мой муж на прошлой неделе. Потом произошло

то же самое, что и в прошлый раз: открывшееся окошко, прямоугольник света, вопрос и ответ, и дверь приотворилась ровно настолько, чтобы впустить его внутрь.

Я долго не могла поверить, что все это действительно произошло. Казалось, мои мысли воплотились в жизнь. Я так сосредоточенно наблюдала за самим появлением этого мужчины, что даже не запомнила никаких важных деталей в его внешности.

— Каждый раз, увидев нового человека, ты должна постараться отметить в нем пять особенностей, — говорил мне дедушка, когда я безуспешно пыталась кого-нибудь описать. — Какой расы этот человек? Высокий он или маленький? Толстый или худой? Быстро он ходит или медленно? Смотрит вниз или прямо перед собой? Эти вещи скажут тебе многое из того, что нужно знать о нем.

— Как? — спрашивала я. Я не понимала, о чем он.

— Допустим, человек идет по улице или по коридору очень быстрым шагом, — объяснял дедушка. — Может, он оглядывается? Вдруг он убегает от чего-то или от кого-то? Эта деталь могла бы подсказать тебе, что он напуган. Или,

может, он бормочет что-то себе под нос и смотрит на часы — это даст тебе понять, что он куда-то опаздывает. Или, предположим, он идет медленно и при этом смотрит вниз, себе под ноги. Это может значить, что он глубоко задумался или просто замечтался. В любом случае ты поймешь, что его мысли сейчас где-то далеко и что его — в зависимости от ситуации — пожалуй, не стоит отвлекать. Или, может, его как раз таки *нужно* отвлечь, нужно о чем-нибудь предупредить.

Вспомнив об этом, я попыталась мысленно описать незнакомца. Он был белый, как я уже сказала, и шел быстро, но не оглядывался. Он шел так, как ходят по коридорам лаборатории постдоки: не глядя по сторонам и тем более не оборачиваясь назад. В остальном про него трудно было что-то сказать. Он не был ни толстый, ни худой, ни молодой, ни старый, ни высокий, ни маленький. Это был просто человек на Бетюн-стрит, и он скрылся в том же доме, где на прошлой неделе скрылся мой муж.

Тут я услышала еще чьи-то шаги, а когда посмотрела в ту сторону, увидела мужа. И снова мне показалось, что это не по-настоящему, что это сон, который стал явью. Он был в обычной одежде и держал в руках нейлоновую сумку, а

значит, снял рабочий комбинезон еще на Ферме. На этот раз он не оглядывался по сторонам и не подозревал, что за ним наблюдают; он поднялся по лестнице, постучал в дверь, и его впустили.

А потом наступила тишина. Я подождала минут двадцать, чтобы посмотреть, не придет ли кто-нибудь еще, но больше никто не пришел, и в конце концов я пошла домой. По дороге я встретила еще нескольких человек — женщину, которая шла куда-то сама по себе; двух мужчин, которые обсуждали, как они ремонтировали электрооборудование в одной из школ; одинокого мужчину с щетинистыми темными бровями — и при виде каждого из них я задавалась вопросом: не идут ли и они в дом на Бетюн-стрит? Станут ли они подниматься по лестнице, стучать в дверь, произносить какой-то секретный код, чтобы их впустили? А что они будут делать, когда окажутся внутри? О чем они говорят? Знают ли они моего мужа? Может, один из них тот человек, который посылал ему записки?

Давно ли мой муж туда ходит?

Вернувшись в нашу квартиру, я снова открыла коробку в шкафу и просмотрела ее содержимое. Я подозревала, что там могло появиться что-нибудь новое, но ничего не появилось. Перечитывая

записки, я вдруг поняла, что ничего интересного в них нет — это самые обычные слова. Тем не менее я почему-то не сомневалась, что ничего подобного мой муж никогда бы не написал мне, а я — ему. Но, несмотря на свою уверенность, я не смогла бы объяснить, что в этих записках такого особенного. Я перечитала их еще раз, убрала на место и легла на свою кровать. Теперь я понимала, что зря выслеживала мужа: то, что я узнала, мне совсем не помогло. Собственно, узнала я, что муж, судя по всему, каждый свободный вечер ходит в одно и то же место, но даже это была всего лишь теория, которую я не смогла бы доказать — если только не следить за ним каждую неделю. Но больше всего меня расстроило вот что: отвечая на вопрос человека по ту сторону двери, мой муж рассмеялся. Я не могла припомнить, когда в последний раз слышала его смех и слышала ли вообще, — а у него оказался очень приятный смех. Он был в чужом доме и смеялся, а я сидела в нашей квартире и ждала его возвращения.

На следующий день я, как всегда, поехала в УР. Атмосфера в лаборатории оставалась по-прежнему непривычной, постдоки были по-прежнему молчаливые и сосредоточенные, кандидаты — по-прежнему встревоженные и взбудораженные.

Я подходила к ним, приносила новых мизинчиков, уносила старых, задерживаясь возле тех кандидатов, которые, как я знала, отличались разговорчивостью и любили посплетничать. Но на этот раз они ничего не обсуждали.

Однако я была терпелива — а это, как любил повторять дедушка, недооцененная добродетель — и знала, что кандидаты, как правило, устраивают себе передышку примерно с 15:00 до 15:30, когда большинство из них делают перерыв на чай. Конечно, им не полагалось пить чай на рабочих местах, но многие пили, тем более что постдоки в это время уходили на ежедневные совещания. Поэтому я дождалась трех часов, выждала еще несколько минут и пошла забирать старые эмбрионы из отсека кандидатов.

Сначала они просто пили чай — точнее, заваренный порошок, который разработали на Ферме: он богат питательными веществами и похож по вкусу на чай. Он всегда напоминал мне о дедушке. Мне было десять, когда чай объявили товаром ограниченного распространения, но у дедушки оказался небольшой запас копченого чая, и в течение года мы пили его. Он отмерял каждую порцию очень тщательно — всего несколько листочков на чайник, — но вкус был таким насы-

щенным, что больше и не требовалось. Когда чай наконец закончился, дедушка купил порошок, но сам никогда его не пил.

И тут один из кандидатов спросил:

— Как думаете, это правда?

— Похоже на то, — сказал другой.

— Да, но как мы поймем, что это не очередной ложноположительный результат? — спросил третий.

— Нуклеотидная последовательность другая, — сказал четвертый, а потом они перешли на свой научный язык, слишком сложный для меня, и все-таки я продолжала слушать дальше. Я многого не могла понять, но одно я понимала точно: появился очередной вирус, настолько опасный, что его распространение может привести к катастрофе.

В УР часто выявляли новые заболевания, и не только в УР, но и в других лабораториях по всему миру. Каждый понедельник Пекин отправлял ведущим специалистам каждой аккредитованной исследовательской организации отчеты с указанием числа погибших за предыдущую неделю, с новыми данными о трех-пяти наиболее серьезных текущих пандемиях, а также с информацией о последних разработках, которые

там отслеживали. Отчеты предоставлялись с разбивкой по континентам, потом по странам, а потом, при необходимости, по префектурам и муниципалитетам. Кроме того, каждую пятницу Пекин собирал и рассылал результаты последних исследований — клинических или эпидемиологических, — о которых сообщали государства-участники. Цель, как однажды сказал доктор Уэсли, состояла не в том, чтобы избавиться от инфекций, потому что это невозможно, а в том, чтобы сдержать их распространение, желательно ограничивая его регионами, где их выявили. “Наша цель — превратить пандемии в эпидемии, — сказал доктор Уэсли, — обнаружить их до того, как они накроют весь мир”.

Я работала в УР, в лаборатории доктора Уэсли, семь лет, и ни единого года не прошло без появления как минимум одной новой инфекции; по радио передавали экстренное сообщение, как на прошлой неделе, и все в институте становились нервными и взбудораженными, опасаясь, что мы рискуем оказаться на пороге новой большой пандемии, такой же страшной, как пандемии 56-го и 70-го, каждая из которых, по словам доктора Уэсли, “изменила мир”. Но в итоге все эти вирусы удалось локализовать. Более того, ни

один из них даже не проник на остров; не было ни карантина, ни изоляции, ни специальных выпусков новостей, ни сотрудничества с Национальным фармакологическим управлением. Тем не менее стандартный план действий предписывал оставаться начеку в первые тридцать дней после обнаружения новой инфекции, потому что это типичный инкубационный период большинства подобных инфекций, — впрочем, в частных беседах все признавали, что так действовали *предыдущие* возбудители заболеваний, а это вовсе не означает, что все последующие будут вести себя точно так же. Вот почему то, чем занимались ученые в нашей лаборатории, было так важно, — они пытались предсказать очередную мутацию, очередную инфекцию, которая может поставить нас всех под угрозу.

Я знаю, это странно звучит, но ученые часто бывают очень суеверными. Я говорю так потому, что за последние несколько лет тревога после получения отчетов усилилась; мне кажется, все считают, что давно настало время новой чумы — какой бы она ни была. Между пандемиями 56 и 70 года прошло четырнадцать лет; сейчас 2094 год, и ничего катастрофического пока не случилось. Конечно, как любит говорить доктор

Морган, теперь наше положение гораздо лучше, чем в семидесятом, и это правда. Лаборатории стали более совершенными, у нас больше научных связей. Гораздо труднее распространять дезинформацию, а следовательно, сеять панику; нельзя просто полететь куда-то на самолете и невольно заразить людей в других странах; нельзя просто делиться в интернете с кем угодно и когда угодно своими теориями о происходящем; внедрены системы, позволяющие изолировать больных и гуманно их лечить. Так что дела обстоят гораздо лучше.

Я не суеверна. Пусть я не ученый, но я знаю, что ничего не происходит по одной и той же схеме, даже если так кажется на первый взгляд. Вот почему я была уверена, что это просто еще один незначительный инцидент, такой же, как и все остальные; он будет волновать умы еще несколько недель, а потом забудется — еще одна инфекция, даже не заслуживающая названия.

Каждый раз, когда наступал Новый год по лунному календарю, в магазин в ограниченном количестве завозили свиное мясо. Как правило, к декабрю Национальный отдел диетологии уже представлял, сколько мяса они смогут поставить в разные зоны, а к концу месяца в магазине

появлялась табличка с разъяснениями, сколько полукилограммовых упаковок окажется в наличии и сколько дополнительных белковых талонов нужно будет на них потратить. Потом нужно было записаться на участие в лотерее, которая проводилась в последнее воскресенье января, если только Новый год не наступал раньше, — в этом случае лотерея проводилась за десять дней до него, так что времени, чтобы изменить свои планы, если не выиграешь, было достаточно.

Я выиграла в свиной лотерее только один раз, на второй год нашей совместной жизни с мужем. После этого в префектурах и колониях, где выращивают свиней, все время стояла плохая погода, и мяса было очень мало. Но 2093 год был хорошим: обошлось без неблагоприятных климатических явлений, вспышки заболеваемости контролировались, и я надеялась, что на этот раз на праздник у нас будет свиное мясо.

Я очень обрадовалась, когда мой номер оказался в числе выигравших. Мне уже давно не доводилось есть свинью, хотя нам с мужем она нравилась. Я боялась, что празднование Нового года придется на четверг, как два года назад, и я останусь одна, но оно пришлось на понедельник,

и мы с мужем провели день за готовкой. Если не считать позапрошлого года, мы готовили вместе каждый Новый год с тех пор, как поженились, и я больше всего ждала этого дня.

Я вовремя сообразила отложить талоны за последние четыре месяца, чтобы мы могли устроить настоящий праздник, и накопила достаточно, чтобы купить продуктов для теста. Половина этого теста должна была пойти на пельмени, а вторая половина — на кекс со вкусом апельсина. Но больше всего меня радовала свинья. Почти каждый год правительство пыталось ввести в оборот очередной заменитель различных видов мяса, и хотя некоторые из них были очень удачными, к белковым заменителям свиньи и коровы это не относилось. Как бы производители ни старались, со вкусом что-то было не то. Впрочем, в конце концов они перестанут стараться, потому что те из нас, кто еще помнит вкус свиньи и коровы, забудут его, а потом родятся дети, которые никогда уже не узнают, каким был этот вкус.

Все утро мы готовили и сели ужинать пораньше, в 16:00. Еды было много, и каждому досталось по восемь пельменей, по порции риса с листовой горчицей — муж потушил ее в кунжутном масле, купленном на отложенные талоны, — и по кусоч-

ку кекса. Это был единственный день в году, когда разговаривать с мужем было нетрудно, потому что мы могли обсуждать еду. Иногда мы даже обсуждали то, что ели в детстве, в перерывах между периодами строгого нормирования, но это всегда было опасно, потому что наводило на мысли о многих других вещах, которые существовали в нашем детстве.

— Мой отец замечательно готовил рваную свинью, — сказал муж. Я решила, что мне не нужно отвечать, потому что это было утверждение, а не вопрос, и действительно, он продолжал: — Мы ели ее как минимум два раза в год, даже во время нормирования: отец часами тушил ее на медленном огне, и стоило только дотронуться до нее вилкой, как она разваливалась. Мы ели ее с фасолью и макаронами, а если что-то оставалось, мать делала сэндвичи. Мы с сестрой… — Тут он резко замолчал, отложил палочки и несколько секунд смотрел в стену, прежде чем снова взять их. — Короче, я рад, что сегодня у нас такой ужин.

— И я рада, — сказала я.

Вечером, когда мы легли спать, я размышляла о том, каким был мой муж до нашей встречи. Чем больше времени проходило со дня свадьбы, тем чаще я задумывалась об этом, тем более что я не

так уж и много знала о нем. Я знала, что он из Первой префектуры, что его родители преподавали в крупном университете, что в какой-то момент их обоих арестовали и отправили в исправительные лагеря, что у него была старшая сестра, которую тоже отправили в лагеря, и что, поскольку его ближайших родственников объявили врагами государства, его исключили из университетской аспирантуры. Мы оба были официально прощены в соответствии с Законом о прощении 2087 года и получили хорошую работу, но снова идти в университет мы не могли. В отличие от мужа, я и не хотела туда возвращаться — меня устраивало место лаборантки. Но муж мечтал быть ученым, а теперь никогда не сможет им стать. Все это я узнала от дедушки. “Больше я ничего сделать не могу, котенок”, — сказал он, но так и не объяснил, что имел в виду.

После Нового года наступал День памяти, который всегда приходился на пятницу. Правительство учредило его в 71 году. В этот день все предприятия и институты прекращали работу, и люди должны были провести его в тишине, думая о жертвах пандемий — не только 70-го, но и любых других. Лозунг у Дня памяти был такой: “Не все умершие невиновны, но все умершие

прощены”.

Пары обычно проводили День памяти вместе, но мы с мужем нет. Он ходил в Центр, где за государственный счет устраивали концерт оркестровой музыки и читали лекции о том, как справиться со скорбью, а я гуляла по Площади. Но теперь я гадала, не ходит ли он на самом деле на Бетюн-стрит.

Впрочем, в основном я думала о дедушке — он умер не от болезни, но все равно умер. Дни памяти мы с ним всегда проводили вместе, и он показывал мне фотографии моего отца, который умер в 66-м, когда мне было два года. Он тоже умер не от болезни, но об этом я узнала позже. Тогда же не стало и второго моего деда — они умерли в одно и то же время, в одном и том же месте. Именно этот, второй дед был моим кровным родственником, хотя я не могла сказать, что скучаю по нему, потому что совсем его не помнила. Но дедушка всегда говорил, что он очень любил меня, и мне нравилось это слышать, хоть я его и не знала.

Об отце я тоже почти ничего не помню, потому что вообще помню очень мало о своей жизни до болезни. Иногда у меня возникает ощущение, что я была совершенно другим человеком — тем, кто без труда понимает окружающих, кто догадыва-

ется, что они на самом деле хотят сказать, даже если вслух они говорят что-то совсем другое. Однажды я спросила дедушку, нравилась ли я ему больше до того, как заболела, и он на мгновение отвернулся, а потом обнял меня и прижал к себе, хотя знал, что я этого не люблю. “Нет, — сказал дедушка странным, сдавленным голосом, — я всегда любил тебя так же, как в день твоего рождения. Я никогда не хотел, чтобы мой котенок был другим”. Это было приятно слышать, и мне сразу стало хорошо, как тогда, когда на улице бывало достаточно прохладно, чтобы ходить в одежде с длинными рукавами, и я могла идти долго-долго, не опасаясь перегрева.

Но еще я подозревала, что в прошлом была совсем другой, из-за своего самого яркого воспоминания об отце — о том, как он смеется и кружится на месте, держа за руки маленькую девочку, кружится так быстро, что ее ноги отрываются от земли и летят по воздуху. Девочка одета в светло-розовое платье, ее волосы завязаны в черный хвост, развевающийся за спиной, и она тоже смеется. Эта картинка — одна из немногих вещей, которые я помню со времен своей болезни, и когда мне стало лучше, я спросила дедушку, кто эта девочка, и на лице у него появилось странное

выражение. “Это ты, котенок, — сказал он. — Ты и твой отец. Вы так играли, пока у вас обоих не начинала кружиться голова”. В тот момент я решила, что такого не может быть, потому что я была лысая и не могла себе представить, что у меня было столько волос. Но потом, став старше, я подумала: а вдруг это *действительно* была я, но с длинными волосами? Что еще у меня было такого, о чем я больше не помню? Я думала о маленькой девочке, которая смеялась во весь рот, о ее отце, который смеялся вместе с ней. Я никогда не могла никого рассмешить, даже дедушку, и меня никто рассмешить не мог. Но, оказывается, давным-давно у меня это получалось. Это было, как если бы я услышала, что давным-давно умела летать.

Дедушка все время повторял, что в День памяти он вспоминает о том, как я выжила. “У тебя два дня рождения в году, котенок, — говорил он. — День, когда ты родилась, и день, когда ты вернулась ко мне”. Поэтому я всегда думала о Дне памяти как о своем дне, хотя никогда не призналась бы в этом, потому что знала, что это эгоистично и, более того, невежливо: получается, будто я забываю о тех, кто умер. Еще я никогда бы не призналась, что мне нравилось слушать

дедушкины рассказы о том, как я болела: как я провела несколько месяцев на больничной койке и неделя за неделей у меня держалась такая высокая температура, что я даже не могла говорить; как почти все остальные пациенты в палате умерли; как однажды я открыла глаза и спросила, где дедушка. В этих историях было что-то уютное — в том, как дедушка рассказывал, что очень сильно переживал, сидел у моей кровати каждый вечер, читал мне каждый день и описывал пирожные, которые он мне купит, если я поправлюсь, — или с начинкой из настоящей клубники, или украшенные пластинками шоколада в виде древесной коры, или посыпанные поджаренным кунжутом. Дедушка говорил, что маленькой я любила сладости, особенно пирожные, но после болезни почти перестала их есть, и это было даже к лучшему, потому что к тому моменту сахар тоже был объявлен товаром ограниченного распространения.

Однако с тех пор, как дедушка умер, никто не помнил, что я когда-то болела или что кто-то так сильно хотел, чтобы я поправилась, что приходил навещать меня каждый вечер.

В этом году в День памяти мне было особенно одиноко. В здании стояла тишина. На следующий

день после Нового года наших соседей забрала полиция, и хотя они никогда не были громкими, оказалось, что шумели они больше, чем я думала, потому что без них у нас в квартире стало очень тихо. Накануне я заглянула в конверт, в котором лежали записки мужа, и обнаружила новую, написанную тем же почерком на очередном клочке бумаги. “Буду ждать тебя”, — говорилось в ней, и больше ничего.

Как это часто бывает, я стала мечтать, чтобы дедушка был жив или чтобы у меня хотя бы была одна из последних его фотографий, на которую я могла бы смотреть, представляя, что говорю с ним по-настоящему. Но такой фотографии у меня не было и никогда не будет, и мысль об этом так меня расстроила, что я встала и начала ходить по комнате, и вдруг квартира показалась мне настолько маленькой, что дышать стало невозможно, и я взяла ключи, сбежала вниз по лестнице и вышла на улицу.

Площадь была такая же оживленная, как всегда, как будто это вовсе и не День памяти, и когда я присоединилась к толпе, мне стало спокойнее. С этими людьми я чувствовала себя не такой одинокой, хотя мы оказались вместе как раз по той причине, что были совсем одни.

Я часто приходила на Площадь с дедушкой, когда он был жив. В то время здесь в северо-восточном углу собирались рассказчики — это было любимое место дедушки, куда он приходил почитать на свежем воздухе, когда был моложе. Как-то он сидел на одной из деревянных скамеек — они тогда стояли по всей Площади — и ел сэндвич со свиньей и яйцом, но вдруг на плечо ему прыгнула белка, выхватила сэндвич из рук и убежала.

По дедушкиному выражению лица я поняла, что история должна быть смешной, но ничего смешного я в ней не видела. Он посмотрел на меня и быстро добавил: “Это было до того”, — то есть до эпидемии 52 года, которая началась после того, как первые заболевшие заразились от белок, и привела к уничтожению всех белок в Северной Америке.

Как бы то ни было, на Площадь мы с дедушкой ходили в основном для того, чтобы послушать рассказчиков. Обычно они собирались по выходным, но иногда и в будние дни по вечерам, чтобы люди могли прийти послушать их после работы. Они состояли в гильдии, как объяснил мне дедушка, а это означало, что заработок они делили между собой и договаривались, чтобы на Площади никогда не было больше трех рассказ-

чиков одновременно. Слушатели приходили в определенное время — скажем, в 19:00 по будням и в 16:00 по выходным — и платили либо талонами, либо монетами. Оплаты хватало на тридцать минут, поэтому каждые полчаса кто-нибудь из помощников рассказчика обходил аудиторию с ведерком, и если слушатель хотел остаться, то вносил плату еще раз, а если хотел уйти, то уходил.

Разные рассказчики специализировались на разных жанрах. Любители романтики шли к одному человеку, сказок — к другому, рассказов о животных — к третьему, истории — к четвертому. Рассказчики считались серыми торговцами. Это значило, что правительство выдавало им лицензию, такую же, как столярам и пластмассникам, но контролировало их гораздо строже. Они были обязаны представлять все свои рассказы в Информационный отдел для утверждения, рядом с ними всегда дежурили Мухи, а некоторые из них считались особенно опасными. Я помню, как однажды пошла на представление с дедушкой, а он ахнул, когда увидел рассказчика.

— Что случилось? — спросила я.

— Рассказчик, — прошептал он мне на ухо. — В годы моей молодости он был очень известным

писателем. Надо же, до сих пор жив.

Рассказчик — хромой старик — сел на свой стульчик, а мы устроились вокруг прямо на земле, на подстилках или полиэтиленовых пакетах, которые принесли из дому. “На себя не похож”, — пробормотал дедушка, и действительно, с лицом рассказчика было что-то не то, как будто у него вырезали целый кусок челюсти слева; то и дело он подносил к губам носовой платок и вытирал слюну, стекавшую по подбородку. Но как только я привыкла к его манере речи, его история — о мужчине, который жил здесь, на этом самом острове, на этой самой Площади, двести лет назад и который отказался от огромного семейного богатства ради любви и уехал в Калифорнию, хоть его близкие и были убеждены, что его ждет предательство и разочарование, — оказалась такой захватывающей, что я даже перестала слышать жужжание паривших над нами Мух, такой захватывающей, что даже сборщики денег забыли про обход публики, и только когда прошел целый час, рассказчик откинулся на спинку стульчика и сказал: “А на следующей неделе я расскажу вам, что было дальше”, — и все, даже дедушка, разочарованно вздохнули.

Через неделю мы с большой группой слуша-

телей собрались в ожидании рассказчика и прождали его очень долго, пока наконец не подошла другая рассказчица и не сказала, что ей очень жаль, но у ее коллеги началась страшная мигрень и сегодня он не придет.

— А на следующей неделе? — громко спросил кто-то.

— Не знаю, — ответила женщина, и даже я понимала, что она напугана и нервничает. — Но сегодня выступают еще три отличных рассказчика, и вы можете послушать их.

Около половины собравшихся последовали ее совету, но остальные, в том числе мы с дедушкой, ушли. Всю дорогу дедушка смотрел в землю. Когда мы вернулись домой, он пошел в спальню и лег лицом к стене — он всегда так делал, если хотел побыть один, — а я осталась в другой комнате слушать радио.

В течение нескольких недель мы с дедушкой снова и снова возвращались на Площадь, но рассказчик, тот, что был известным писателем, так больше и не появился. Удивительнее всего было то, как сильно это расстраивало дедушку; после каждой такой прогулки на Площадь он шел обратно медленнее, чем обычно.

Наконец, когда прошел месяц, а мы так и не

увидели того рассказчика, я спросила дедушку: как он считает, что с ним случилось? Дедушка долго смотрел на меня и молчал.

— Его реабилитировали, — сказал он наконец. — Но иногда реабилитация носит временный характер.

Я не совсем поняла, о чем он, но почему-то знала, что больше вопросов задавать не стоит. Вскоре после этого рассказчики совсем исчезли, а когда лет восемь назад они наконец появились снова, дедушка больше не хотел идти на Площадь, а я не хотела идти без дедушки. Потом дедушка умер, и я заставила себя опять ходить туда — правда, всего несколько раз в год. Но даже через столько лет я по-прежнему гадала, что случилось с мужчиной, который собирался в Калифорнию. Уехал ли он в конце концов? Встретился ли он со своей любовью? Действительно ли его предали? Или мы все ошибались, а они воссоединились и были счастливы? Может, они до сих пор вместе в Калифорнии и по-прежнему счастливы. Я понимала, что это глупо, потому что они вымышленные персонажи, а не настоящие люди, но я часто думала о них. Я хотела знать, что с ними стало.

Ни один из рассказчиков, которых я слушала за годы, прошедшие со дня, когда мы с дедушкой

встретили того старика, не был так же хорош, как он, но большинство оказались неплохими. И большинство их историй были повеселее. Например, один рассказывал о животных, которые делали глупости, разыгрывали друг друга и постоянно хулиганили, но в конце концов всегда извинялись, и все заканчивалось хорошо.

Сегодня этого рассказчика не было, но я узнала другого, который мне тоже нравился: он сочинял забавные истории о супружеской паре, с которой то и дело происходили разные неприятности. Как-то раз муж не мог вспомнить, чья сейчас очередь — его или жены — идти за продуктами, а поскольку на этот день приходилась годовщина их свадьбы, спрашивать у нее он не хотел, боялся, что она в нем разочаруется, и поэтому пошел в магазин сам и купил тофу. Но жена тоже не могла вспомнить, чья очередь — ее или мужа — идти в магазин, а поскольку на этот день приходилась годовщина их свадьбы, она не хотела спрашивать у него, и поэтому тоже пошла в магазин и купила тофу. В конце концов оба посмеялись над тем, как много тофу они купили, и приготовили из него всевозможные вкусные блюда. Конечно, история была неправдоподобная. Откуда они взяли такое количество белковых талонов? Как умудрились

не поссориться, когда поняли, что потратили столько талонов впустую? Как можно забыть, чья очередь идти в магазин? Но для истории это все было не важно. Рассказчик изображал их голоса — мужской, высокий и тревожный, и женский, низкий и дрожащий, — и слушатели смеялись, но не потому, что история была правдоподобная, а потому, что герои выдумали проблему из того, что на самом деле никакой проблемой не было.

Я уселась в заднем ряду, и тут кто-то сел рядом со мной. Не слишком близко, но достаточно близко, чтобы я чувствовала его присутствие. Друг на друга мы не смотрели. Сегодняшняя история была о все той же супружеской паре, но теперь оба думали, что потеряли талон на молочные продукты. Она была не такая интересная, как история про тофу, но неплохая, и когда подошли сборщики, я положила в ведерко новый талон, чтобы остаться еще на полчаса.

Рассказчик объявил короткий перерыв, и некоторые слушатели достали принесенную из дома еду. Я пожалела, что не догадалась захватить с собой что-нибудь перекусить. И тут мой сосед вдруг заговорил.

— Хотите? — спросил он.

Повернувшись, я увидела, что он протягивает

мне маленький бумажный пакет с грецкими орехами, скорлупа которых была заранее надколота, и покачала головой. Брать еду у незнакомцев было неблагоразумно — ни у кого не было столько еды, чтобы ни с того ни с сего предлагать ее чужим людям, и поэтому, если кто-то так поступал, это обычно вызывало подозрения.

— Нет, спасибо, — сказала я, подняла на него глаза и поняла, что это тот самый мужчина с длинными вьющимися волосами, которого я видела на остановке. Я так удивилась, что просто уставилась на него, но он, похоже, не обиделся и даже улыбнулся.

— Я видел вас раньше, — сказал он, но я продолжала молчать, и он склонил голову набок, по-прежнему улыбаясь. — По утрам, на остановке шаттла.

— А-а, — сказала я, как будто не сразу узнала его. — Да. Точно.

Он взял очередной орех, большим пальцем расколол скорлупу пополам и аккуратно счистил оставшиеся кусочки один за другим. Пока он был занят орехом, я могла его получше рассмотреть. На нем снова была кепка, под которой я больше не видела волос, серая нейлоновая рубашка и серые брюки — такие же, как у моего мужа.

— Вы часто приходите послушать этого рассказчика? — спросил он.

Я не сразу догадалась, что он обращается ко мне, а когда догадалась, то не могла придумать, что сказать. Со мной разговаривали только по необходимости: продавец спрашивал, что я хочу купить — нутрию, собаку или темпе; кандидаты говорили, что им нужны еще мизинчики; сотрудница Центра протягивала свой прибор и просила оставить отпечаток пальца, чтобы подтвердить, что я получила положенное число талонов на месяц. А этот незнакомец задал мне вопрос и, более того, улыбался при этом — улыбался так, как будто и правда хотел знать ответ. Последним человеком, который улыбался мне и задавал вопросы, был, конечно, дедушка, и, вспомнив о нем, я очень расстроилась и начала слегка раскачиваться туда-сюда, но когда спохватилась и снова подняла глаза, незнакомец продолжал смотреть на меня, все еще улыбаясь, как будто я просто обычный человек.

— Да, — ответила я, но на самом деле это было не совсем так. — Нет, — поправилась я. — В смысле, иногда. Иногда прихожу.

— Я тоже, — отозвался он тем же тоном, как будто я ничем не отличаюсь от других, как будто я из

тех людей, которые умеют поддерживать беседу.

Тут настала моя очередь что-то говорить, но я ничего не могла придумать, и он снова пришел на помощь.

— Вы давно живете в Восьмой зоне? — спросил он.

Это вроде бы простой вопрос, но я растерялась. Вообще-то я провела в Восьмой зоне всю жизнь. Но когда я родилась, зон еще не было; жители могли переезжать с места на место по всему острову, как им заблагорассудится, и селиться в любом районе, который им придется по вкусу, если хватит денег. А потом, когда мне было семь, появились зоны, но мы с дедушкой уже жили на той территории, которая стала Восьмой зоной, — не то чтобы нам нужно было переезжать или нас куда-то переселяли.

Но объяснять все это было бы слишком долго, поэтому я просто сказала, что давно.

— А я только что сюда переехал, — сказал незнакомец, хотя я забыла спросить его, давно ли он здесь живет. (“Есть хорошее правило, которое нужно помнить во время разговора, — правило взаимности, — говорил дедушка. — Ты должна задать человеку тот же вопрос, который он задал тебе. Если тебя спросят: “Как дела?”, ты должна

ответить, а потом спросить: “А у вас?”) — Раньше я жил в Семнадцатой зоне, но здесь намного лучше. — Он снова улыбнулся и прибавил: — Я поселился в Малой восьмерке.

— Ага, — сказала я. — В Малой восьмерке хорошо.

— Да, — сказал он. — Я живу в Корпусе семь.

— Ага, — снова сказала я. Корпус семь был самым большим зданием в Малой восьмерке, и жить там могли только те, кто не женат, кто проработал не меньше трех лет на одном из государственных предприятий и кому еще не исполнилось тридцать пять. Чтобы попасть в Корпус семь, надо было участвовать в специальной лотерее, но никто не задерживался там дольше чем на два года, поскольку одно из преимуществ проживания в Корпусе заключалось в том, что правительство помогало жильцам устроить брак. Когда-то эта задача возлагалась на родителей, но в наши дни взрослых, у которых остались в живых родители, становилось все меньше и меньше. Люди называли Корпус семь “Корпус семьи”.

Это было необычно, но не то чтобы неслыханно — бывало, что кого-то переводили из Семнадцатой зоны в Восьмую, причем как раз в

Корпус семь. Чаще переселяли тех, кто получил образование, — ученых, статистиков или инженеров, — но по комбинезону, в который мой сосед был одет на остановке, я поняла, что он технический работник — возможно, более ценный, чем я, но все-таки не с высшим уровнем допуска. Может, его наградили за какие-то исключительные заслуги. Например, в репортажах рассказывали, как фитотехник на Ферме быстро перенес все находящиеся на его попечении саженцы в другую лабораторию, когда в его собственной вышел из строя генератор; был и более серьезный случай, когда при перевозке зоотехник закрыл собой пробирки с зародышами, когда на их конвой напали повстанцы. (Этот человек погиб, но получил посмертное повышение и благодарность.)

Я гадала, чем же мой сосед заслужил переселение, но тут вернулся рассказчик и начал новую историю все про тех же мужчину и женщину, которые хотели сделать друг другу подарок на годовщину свадьбы. Муж попросил на работе отгул и записался на участие в лотерее, где разыгрывались билеты на оркестровый концерт. Жена тоже попросила на работе отгул и записалась на участие в другой лотерее, где разыгрывались билеты на концерт народной музыки. Но оба так

хотели сделать друг другу сюрприз, что забыли заранее согласовать даты и получили билеты на один и тот же вечер. Правда, все кончилось хорошо, потому что коллега мужа предложил ему поменяться билетами — у него они были на более позднюю дату, — так что герои истории отпраздновали годовщину дважды, и каждый радовался, что его супруг оказался таким заботливым.

Все захлопали в ладоши и начали собирать вещи, но я осталась сидеть. Я размышляла, чем занимался муж в свои свободные вечера, а жена — в свои.

Но тут кто-то обратился ко мне.

— Пойдемте, — сказал этот кто-то, и я подняла глаза. Тот самый человек с длинными волосами стоял рядом и протягивал мне руку. На мгновение я растерялась, потом поняла, что он хочет помочь мне встать, но все-таки встала сама, отряхивая штаны.

Я боялась, что отказ от помощи мог показаться ему грубым, но когда снова посмотрела на него, он по-прежнему улыбался.

— Хорошая была история, — сказал он.

— Да, — сказала я.

— Придете сюда на следующей неделе? — спросил он.

— Не знаю, — сказала я.

— Ну а я приду, — сказал он, вешая сумку на плечо. Немного помолчал. — Может быть, мы еще увидимся.

— Хорошо, — сказала я.

Он снова улыбнулся и двинулся прочь. Но, сделав несколько шагов, остановился и обернулся.

— Я так и не спросил, как вас зовут, — сказал он.

Он говорил так, как будто это что-то необычное, как будто все, с кем я сталкиваюсь или работаю, знают, как меня зовут, как будто не знать мое имя — грубо или удивительно. Не то чтобы у других людей не спрашивали, как их зовут, и не то чтобы называть кому-то свое имя было небезопасно. Я подумала о двух молодых научных сотрудницах с работы — у них наверняка все постоянно спрашивают, как их зовут. Я подумала о муже на пороге дома на Бетюн-стрит; о мужчине по ту сторону двери, который сказал “Ты сегодня поздно” таким тоном, каким мог бы говорить близкий друг; о том, что все в этом доме знают, как его зовут. Я подумала о человеке, который посылает ему записки, и о том, что этот человек тоже знает, как его зовут. Я подумала о постдоках, кандидатах и других ученых на работе, обо всех, чьи имена я

знала, — они тоже знали мое имя, хотя и не из-за меня; они знали его потому, что понимали, что оно значит; то, как меня зовут, объясняло мое присутствие.

Но когда у меня в последний раз спрашивали, как меня зовут, просто потому, что хотели узнать? Не потому, что это нужно для какого-нибудь бланка, или для образца, или для проверки документов, а потому, что кто-то хотел знать, как ко мне обращаться, потому, что ему интересно, потому, что он хочет узнать, какое оно — имя, которым меня когда-то назвали.

В последний раз это было давным-давно. Тогда, семь лет назад, я встретила своего мужа в офисе брачного маклера в Девятой зоне. Я назвала ему свое имя, и он назвал мне свое, а потом мы с ним поговорили. Год спустя мы поженились. Еще через три месяца умер дедушка. Кажется, с тех пор никто не спрашивал, как меня зовут.

Так что я повернулась к человеку в сером, который продолжал ждать моего ответа.

— Чарли, — сказала я. — Меня зовут Чарли.

Очень приятно, Чарли, — сказал он.

Глава 4

Зима, на сорок лет раньше

Дорогой мой П.,
3 февраля 2054 г.

Со мной сегодня произошло нечто странное.

Дело было часа в два; я собирался сесть на городской автобус на 96-й, но в последнюю минуту решил вдруг отправиться домой пешком. Уже несколько недель шли дожди, и Ист-Ривер снова вышла из берегов; им пришлось обложить мешками с песком всю восточную часть кампуса, но сегодня впервые прояснилось. Солнечно не было — но и дождь не шел; было тепло, почти жарко.

Я давно уже не ходил по Парку, и через несколько минут оказалось, что я бреду на север. Я вдруг вспомнил, что вообще не бывал тут — в так называемом Ущелье, самой дикой части Парка, где на большом пространстве создана лесная чаща, — с тех самых пор, как учился в Нью-Йорке, и какой экзотической, экзотической и красивой, казалась мне эта местность. Дело было в декабре — тогда в декабре еще было холодно, и хотя я уже успел повидать восточный берег и листву Новой Англии,

меня все равно изумил коричневый цвет, цвет, и прохлада, и ощущение неземной суровости. Я помню, какое впечатление произвели на меня многочисленные зимние звуки. Сухие листья, упавшие ветки, тонкий слой льда, покрывший лужи на тропинках, — стоило наступить, как они трескались и ломались под ногой, а сверху деревья шелестели на ветру, и все вокруг было наполнено перестуком капель, которые падали с сосулек и разбивались о камень. Я привык к джунглям, где растения безмолвны, потому что никогда не теряют влагу. Они не засыхают, а обвисают и, падая на землю, превращаются не в шелуху, а в перегной. Джунгли безмолвны.

Сейчас, конечно, Ущелье выглядит совсем иначе. Звуки там тоже другие. Деревьев — вязов, тополей, кленов — давно нет, их погубила жара, и на замену пришли деревья и папоротники, которые я помню по детским годам, и они здесь кажутся чужеродными. Но они неплохо прижились в Нью-Йорке — можно сказать, лучше, чем я. В районе 98-й улицы я шел сквозь целую рощу зеленого бамбука, которая простиралась на север не меньше чем кварталов на пять. Она создавала там туннель прохладного, пахнущего зеленью воздуха, чего-то зачарованного и прекрасного, и

я некоторое время стоял там и глубоко дышал, а потом вышел где-то около 102-й улицы, возле Лоха — это искусственная речка, которая течет от 106-й до 102-й. Помнишь, я тебе много лет назад посылал фотографию, там Дэвид и Натаниэль стоят в шарфах, которые ты нам подарил? Она сделана именно здесь, во время одной из его школьных поездок. Меня с ними не было.

В общем, я выходил из бамбукового туннеля, рассеянный, пьяный от кислорода, и тут услышал звук, плеск со стороны Лоха, справа от меня. Я повернулся, ожидая увидеть птицу, может быть, стаю фламинго, которые вообще-то в прошлом году улетели на север и не вернулись, и увидел… медведя. Черного медведя, судя по виду — взрослого. Он почти по-человечьи сидел на одном из больших плоских валунов посреди реки, опираясь на левую лапу, а правой зачерпывал воду, которая вытекала у него между когтей. При этом он издавал тихие звуки, ворчал. Он не злился, но был в некотором исступлении — в его движениях виделось что-то сосредоточенное и напряженное; он выглядел почти как старатель из старого вестерна, промывающий песок в поисках золота.

Я стоял, не в силах пошевелиться, и пытался вспомнить, что надо сделать при встрече с

медведем (расправить плечи? Или съежиться? Кричать? Убегать?), но он ко мне даже не повернулся. Потом, видимо, ветер переменился, и он, скорее всего, меня почуял, потому что вдруг поднял голову, и когда я аккуратно отступил, он поднялся на задние лапы и зарычал.

Он собирался броситься на меня. Я понял это раньше, чем мог понять, и тоже открыл рот, чтобы заорать, но не успел я это сделать, как раздался внезапный хлопок, и медведь опрокинулся назад, погрузился в реку с громким всплеском всей своей семифутовой тушей, и я увидел, что вода вокруг краснеет.

Тут возле меня возник человек, еще один бежал к медведю.

— Ничего себе, повезло вам, — сказал тот, что был ближе. — Сэр? Вы как? Сэр?

Это был егерь, но я говорить не мог, и он отстегнул застежку на кармане и протянул мне жидкость в пластиковом пакете.

— Вы в шоке, — сказал он. — Выпейте, там есть сахар.

Но пальцы меня не слушались, и ему пришлось открыть пакет и помочь мне снять маску, чтобы я мог попить. Он сказал в рацию: “Да, мы успели. Ага. Около Лоха. Нет, один прохожий. Жертв,

насколько я могу судить, нет".

Я наконец обрел способность говорить.

— Это медведь, — сказал я, что прозвучало довольно глупо.

— Да, сэр, — понимающе кивнул егерь (я увидел, что он очень молод). — Мы уже некоторое время за этим вот охотимся.

— За этим вот? — спросил я. — Что, были и другие?

— Шесть за последний год или около того, — сказал он и добавил, увидев выражение моего лица: — Мы про это не распространялись. Жертв не было, нападений тоже. Этот — последний из стаи, за которой мы гонялись, альфа-самец.

Они провели меня сквозь бамбуковую рощу в свой вагончик, чтобы допросить о встрече со зверем, и потом отпустили.

— Вообще лучше уже в эту часть Парка не забредать, — сказал старший егерь. — Говорят, город его в любом случае через пару месяцев закроет. Власти экспроприируют, собираются использовать для каких-то своих нужд.

— Весь Парк? — спросил я.

— Пока нет, — ответил он, — но, скорее всего, все, что к северу от Девяносто шестой. Всего доброго.

Они сели в машину и уехали, а я на несколько минут застыл на дорожке. Рядом была скамейка; я стащил перчатки, отстегнул маску и сел, вдыхая и выдыхая, пробуя на вкус воздух, прикасаясь к деревянным планкам, которые за многие годы отполировали люди, сидевшие на них и прикасавшиеся к ним. Мне было понятно, что я легко отделался — что меня спасли, само собой, и что моими спасителями оказались егеря, а не военные, которые наверняка бы меня притащили в следственно-допросный центр, потому что военные что делают? Допрашивают. Потом я поднялся, быстро дошел до Пятой авеню, а оттуда на автобусе доехал до дома.

Дома никого не оказалось. Было еще только полчетвертого, но я был не в том настроении, чтобы возвращаться в лабораторию. Я послал сообщения Натаниэлю и Дэвиду, бросил маску и перчатки в очиститель, вымыл руки и лицо, принял таблетку, чтобы успокоиться, и лег на кровать. Я думал о медведе, последнем из стаи: когда он встал на задние лапы, я заметил, что, несмотря на гигантский рост, он был худой, даже тощий, и в шерсти светились проплешины. Только теперь, спустя некоторое время после происшествия, я смог понять, что меня больше

всего ужаснуло — не его размеры, не общая его медвежесть, а исходившее от него смятение, такое, которое возникает от дикого голода, такого голода, от которого сходишь с ума, который гонит тебя на юг, по шоссе, вдоль улиц, туда, куда идти нельзя, и ты инстинктивно это понимаешь, где тебя окружат создания, от которых кроме вреда тебе ничего не будет, где ты ринешься навстречу неминуемой смерти. Ты понимаешь это, но все равно ломишься вперед, потому что голод, попытка унять этот голод оказывается важнее, чем самосохранение, важнее, чем жизнь. Я снова и снова представлял себе его огромную разинутую красную пасть со сгнившим передним клыком, ужас в его черных глазах.

Я заснул. Когда я проснулся, уже стемнело, но дома по-прежнему никого не было. Малыш был у психотерапевта, Натаниэль работал допоздна. Я понимал, что мне следует заняться чем-нибудь полезным, встать и приготовить ужин, пойти в холл и спросить у коменданта, не нужна ли ему помощь, чтобы поменять фильтр в дезинфекционном модуле. Но я ничего этого не сделал. Я остался лежать в темноте, глядя, как темнеет небо, как приближается ночь.

Теперь придется перейти к той части рассказа,

которой я до сих пор избегал.

Если ты дочитал досюда, ты, наверное, уже задался вопросом, почему я, собственно, шел через Парк. И скорее всего, догадался, что это связано с малышом, потому что все, что я делаю не так, оказывается каким-то образом с ним связано.

Ты знаешь, что малыш учится сейчас в третьей по счету школе за три года, и директор ясно дал мне понять, что это его последний шанс. Как это может быть его последний шанс, если ему еще пятнадцати нет, спросил я, и директор, мрачный невысокий человек, нахмурился, глядя на меня.

— Я имею в виду, что у вас не останется приемлемых вариантов, — сказал он, и хотя мне хотелось ему врезать, я не стал этого делать, отчасти потому, что понимал его правоту: это действительно последний шанс Дэвида. Он должен сделать все, чтобы его не упустить.

Школа находится по ту сторону Парка, на 94-й, чуть к западу от Коламбус-сквер. Раньше там стоял величественный жилой дом; основатель школы купил его в двадцатые годы, в момент всеобщего помешательства на чартерных школах. Потом ее преобразовали в частную школу для мальчиков с “поведенческими проблемами”. Классы у них маленькие, каждый ученик может

ходить к психотерапевту после уроков, если он или его родители об этом попросят. Мне и Натаниэлю много раз объясняли: Дэвиду очень, очень повезло, что его приняли, поскольку у них намного, намного больше заявок, чем мест, больше, чем за всю историю школы, а приняли его только из-за наших особых связей — президент УР знает одного из здешних попечителей и написал ему письмо — отчасти, я думаю, из-за чувства вины, связанного с тем, что Дэвида исключили из рокфеллеровской школы, что и привело к нашим трехлетним скитаниям. (Позже я подумал о причудливости этого утверждения. Статистически говоря, число мальчиков младше восемнадцати за последние четыре года существенно снизилось. Каким образом поступление стало труднее прежнего? Они количество учащихся, что ли, пропорционально этому уменьшили? Вечером я спросил Натаниэля, что он об этом думает, а он только застонал и сказал: хорошо, что я не вздумал впаривать все это директору.)

С тех пор как в октябре начались занятия — я тебе уже писал, что они сдвинули начало учебного года на месяц после благополучно локализованной, как впоследствии оказалось, вспышки вируса в конце августа, источник которой пока

так и не удалось установить, — малыш уже два раза попадал в передрягу. Первый раз — из-за того, что огрызнулся на учителя математики. Второй — из-за пропуска двух сессий с терапевтом (в отличие от сессий после уроков, индивидуальных и добровольных, эти проводятся в маленьких группах, и они обязательны). А потом, вчера, нас вызвали снова, из-за сочинения, которое Дэвид написал в качестве задания по словесности.

— Ну иди, — устало сказал Натаниэль вчера вечером, когда мы прочитали письмо директора. Говорить этого, в сущности, и не стоило — на прошлые два родительских собрания ходил тоже я. Вот что я еще не упоминал: школа дьявольски дорогая; Натаниэль наконец смог найти работу после того, как его школу в прошлом году закрыли, он преподает двум близнецам в Коббл-Хилле. Родители не выпускают их из дома с 50 года, так что Натаниэль и еще один преподаватель проводят с ними весь день, и до вечера он вернуться из Бруклина не может.

Когда я пришел в школу, меня провели в кабинет директора, где, кроме него, меня ждала еще молодая женщина, учительница словесности. Она выглядела всполошенной, дергалась, и когда я смотрел на нее, отворачивалась, все время тро-

гая щеку рукой. Потом я понял, что она пыталась замазать косметикой оспины на линии подбородка, что ее парик дешев и, наверное, колюч, и почувствовал к ней необъяснимую нежность, хотя это она стуканула на моего сына. Она была из выживших.

— Доктор Гриффит, — сказал директор, — спасибо, что пришли. Мы хотели поговорить с вами о сочинении Дэвида. Вы про него знаете?

— Да, — сказал я. Задание на прошлой неделе было такое: опиши важную годовщину в своей жизни. Например, твой первый визит куда-нибудь, или какой-то первый опыт, или встречу с человеком, который стал для тебя важен. Подойди к этому творчески! Не пиши про свой день рождения или что-нибудь подобное — это слишком просто. Объем — пятьсот слов. Не забудь озаглавить свой текст. Срок — к следующему понедельнику.

— Вы читали, что он написал?

— Да? — сказал я. Но я не читал. Я спросил Дэвида, нужна ли ему помощь, он ответил, что нет, а потом я забыл спросить, что он в результате написал.

Директор посмотрел на меня.

— Нет, — признался я. — Я понимаю, что надо

было, просто я был страшно занят, у мужа новая работа, и…

— Вот оно, — сказал он и передал мне планшет Дэвида. — Прочитайте.

Это была не просьба и не предложение. (Я исправил орфографические и грамматические ошибки.)

“ЧЕТЫРЕ ГОДА”. ГОДОВЩИНА
Дэвид Бингем-Гриффит

В этом году мы отмечаем четвертую годовщину открытия вируса НиВид-50, более известного как Ломбокский синдром, — самой серьезной пандемии в истории со времен СПИДа в прошлом столетии. Только в Нью-Йорк-Сити она убила 88 895 человек. А еще это четвертая годовщина с момента гибели гражданских прав и зарождения фашистского государства, которое распространяет дезинформацию, нацеленную на людей, готовых поверить во все, что власти им говорят.

Взять, к примеру, общепринятое название болезни, которая якобы возникла на индонезийском острове Ломбок. Эта болезнь — зооноз, то есть болезнь, которая зародилась у животных и потом перекинулась на человеческую популяцию. Зоонозов становилось все больше с каждым

годом за последние восемьдесят лет, и причина в том, что все больше природных земель застраивали и культивировали, животные теряли привычные места обитания, и им поневоле приходилось оказываться в более тесном контакте с людьми. В данном случае болезнь жила в летучих мышах, которых поедали виверры, и эти виверры потом заражали скот, а скот — людей. Проблема в том, что на Ломбоке недостаточно земли для разведения крупного рогатого скота, а свинину, будучи мусульманами, они не едят. Как болезнь могла возникнуть именно там? Разве это не очередная попытка свалить глобальные эпидемии на азиатские страны? Мы делали это в 30-м, в 35-м, в 47-м и вот делаем снова.

Правительства разных стран действовали быстро, пытаясь сдержать распространение вируса и одновременно обвиняя Индонезию в том, что она распространяет ложную информацию, — но американские власти сами не образец правдивости. Все думали, что такие усилия хороши и необходимы, но вслед за этим вся иммиграция в Америку прекратилась, семьи оказались разобщены, тысячи человек либо отослали назад, либо отправили обратно умирать на своих лодках. Моя родина, Королевство Гавай'и, полностью

самоизолировалась, но это не помогло, и теперь я вообще не могу вернуться туда, где родился. Здесь, в Америке, было объявлено военное положение, в Нью-Йорке на островах Рузвельт и Говернорс появились огромные лагеря для больных и отчаявшихся беженцев — что произошло и во многих других местах. Американское правительство необходимо свергнуть.

Мой отец — ученый, он работал с этой болезнью с момента ее появления. Он ее не открыл, это сделал кто-то другой, но он обнаружил, что это мутация ранее известного вируса, вируса Нипах. Мой отец работает в Университете Рокфеллера, он очень крупный специалист. Он поддерживает идею карантинов и лагерей. Он говорит, что иногда приходится заткнуть нос и все это делать. Он говорит, что у болезни нет лучшего помощника, чем демократия. Другой мой отец говорит, что он

И на этом сочинение кончалось, просто на “говорит, что он”. Я попробовал перемотать экран на следующую страницу, но ее не было. Посмотрев на директора и учительницу, я увидел, что они уставились на меня с серьезными лицами.

— Ну вот, — сказал директор. — Видите проблему? Вернее, проблемы?

Но я их не видел.

— И какие же? — спросил я.

Они выпрямились в своих креслах.

— Ну, для начала, ему помогали это написать, — сказал директор.

— Это не преступление, — ответил я. — И потом, откуда вы знаете? Тут нет ничего такого уж изысканного.

— Да, — согласился он, — но, учитывая, что у Дэвида сложности с выражением мыслей на письме, очевидно, что ему очень существенно помогли, не только с орфографией или редактированием. — После паузы он триумфально продолжил: — Он уже признался, доктор Гриффит. Он платил студенту, с которым познакомился онлайн, чтобы тот писал за него сочинения.

— Ну, зря тратил деньги, — сказал я, но они оба не отреагировали. — Оно же даже не закончено.

— Доктор Гриффит, — сказала учительница удивительно мягким и напевным голосом, — мы здесь относимся к мошенничеству очень серьезно. Но мы ведь оба понимаем, что есть проблема еще серьезнее: небезопасно, чтобы Дэвид писал такое.

— Ну если бы он был правительственный чиновник — возможно, — сказал я. — Но он ведь не

чиновник. Он — четырнадцатилетний мальчик, и, не считая нас с мужем, все его родственники без исключения умерли и даже не успели с ним попрощаться, и он — ученик частной школы, за которую мы платим большие деньги, чтобы здесь его защищали и учили.

Они снова выпрямились.

— Я решительно не согласен с намеком на то, что мы… — начал директор, но учительница остановила его, положив ладонь на рукав его пиджака.

— Доктор Гриффит, нам никогда не пришло бы в голову заявить о Дэвиде, — сказала она, — но ему следует быть осторожнее. Следите ли вы за тем, кто его друзья, с кем он разговаривает, что говорит дома, что делает в сети?

— Конечно, — ответил я, но сразу же почувствовал, что кровь приливает к лицу, как будто они знают, что я недостаточно пристально за ним следил, и понимают почему: я не хотел признать, что Дэвид отдаляется от нас; я не хотел сталкиваться с очередным его отказом нас слушать; я не хотел дополнительных свидетельств того, что не понимаю собственного сына, что на протяжении последних лет он все больше и больше становится для меня чужим; и я осознаю, что в этом я сам

и виноват.

Наш разговор закончился на моем обещании сказать Дэвиду, чтобы он был осторожнее в том, что говорит и пишет про правительство, напомнить ему об указах насчет антигосударственных высказываний, которые приняли вскоре после бунтов, о том, что мы по-прежнему живем в условиях военного положения.

Я никогда не думал, что мы проживем здесь почти одиннадцать лет, Питер. Никогда не хотел, чтобы Дэвид рос в этом городе, в этой стране. “Когда мы вернемся”, — всегда говорили мы ему — а потом перестали. А теперь у нас нет дома, куда можно вернуться; здесь наш дом, хотя он никогда не казался домом, да и теперь не кажется. Окно моего кабинета на работе выходит прямо на крематорий, построенный на острове Рузвельт. Президент университета решительно протестовал — облака пепла, говорил он, будет относить к западу, в нашу сторону, — но город все равно его построил, утверждая, что, если все пойдет по плану, крематорий будут использовать лишь несколько лет. Что оказалось правдой: на протяжении трех лет трижды в день мы смотрели на черный дым, который поднимался из труб и растворялся в небесах. Но теперь проце-

дура проходит не чаще чем раз в месяц, и небеса очистились.

Натаниэль пишет мне сообщения. Я не отвечаю.

Но я не перестаю думать о последних строках сочинения. Дэвид сам их написал, в этом я уверен. Я ясно вижу его лицо, когда он набирает эти слова с недоуменным и презрительным видом, который я иногда замечаю, если он смотрит на меня. Он не понимает, почему я принял те решения, которые должен был принять, — и не должен понимать, он же еще ребенок. Так отчего я чувствую такую невыносимую вину, отчего хочу попросить прощения, если все сделанное было необходимо, чтобы остановить распространение болезни? “Другой мой отец говорит” — что? Что Натаниэль говорит про меня? Мы ругались — чудовищно, с криками — в тот день, когда я сказал ему, что собираюсь сотрудничать с правительством по карантинным мерам. Малыша здесь не было — он был в центре, с Обри и Норрисом, — но, возможно, Натаниэль ему что-то сказал; возможно, они что-то обсуждали в мое отсутствие. Как должно было кончаться то последнее предложение? “Другой мой отец говорит, что отец пытается предпринять необходимые

меры для нашей защиты”? “Другой мой отец говорит, что отец делает все, что может”?

Но я опасаюсь, что там было что-то совсем иное. “Другой мой отец говорит, что отец стал человеком, не заслуживающим нашего уважения”? “Другой мой отец говорит, что отец — плохой человек”? “Другой мой отец говорит, что это отец виноват в том, что мы здесь одни и нас некому спасти”?

И как, Питер? Как оно должно было заканчиваться?

Чарльз

Дорогой мой Питер,
22 октября 2054 г.

Прежде всего спасибо тебе за то, что поговорил со мной про Дэвида на прошлой неделе; мне стало немножко легче. Это не все, но расскажу в другой раз. И про Оливье поговорим — у меня есть кое-какие соображения.

Боюсь, что о новостях из Аргентины я знаю не больше твоего; да, звучит настораживающе. Я говорил с приятелем из Института аллергии и инфекционных заболеваний, он сказал, что ближайшие три недели все решат; если оно не распространится к тому моменту, мы в

относительной безопасности. Правительство Аргентины, насколько я понимаю, сотрудничает на удивление охотно, даже послушно. Они полностью закрыли въезд и выезд из Барилоче, но об этом, я подозреваю, ты и так уже знаешь. Тебе придется сообщить мне, что еще тебе известно, — про эпидемиологические риски я кое-что понимаю, но мое понимание ограничено рамками вирусологии и, скорее всего, к твоей информации ничего не добавит.

Теперь мои новости. Как я уже мельком упоминал, наш запрос на автомобиль наконец-то удовлетворили, и в воскресенье нам его доставили. Стандартная правительственная модель, темно-синий, без всяких наворотов. Но поскольку подземка до сих пор работает с большими перебоями, в этом есть смысл — а то у Натаниэля уходит два часа каждое утро, чтобы добраться до Коббл-Хилла. Плюс я смог убедительно показать, что мне нужно регулярно ездить на остров Говернорс и в Бетесду и что автомобиль в конечном счете обойдется дешевле, чем билеты на самолет или поезд два раза в неделю.

Мы рассчитывали, что машиной будет в основном пользоваться Натаниэль, но получилось так, что меня в понедельник вызывали в ИАИЗ (на

бюрократическую проверку в связи с межведомственной координацией, к Барилоче отношения не имеет), поэтому я взял машину, переночевал там и во вторник поехал в Мэриленд. Но когда я ехал по мосту, мне пришло сообщение от Холсонов, той семьи, чьих сыновей обучает Натаниэль: он упал в обморок. Я попытался им позвонить, но, как сейчас нередко бывает, связи не было, так что я развернулся и поспешил в Бруклин.

Натаниэль работает в этой семье больше года, но мы очень мало о них говорим. Мистер Холсон занимается корпоративными слияниями и в основном торчит в районе Мексиканского залива. Миссис Холсон была юрисконсультом, но ушла с работы, когда ее сыновьям поставили диагноз.

Холсоны живут в красивом кирпичном особняке, которому лет двести, если не больше, он реставрирован богато и со вкусом: лестница к парадной двери перестроена, так что верхнюю площадку можно было расширить и разместить дезинфекционный модуль в отдельной маленькой каменной камере, как будто он всегда там и стоял; когда он со свистом распахивается, открывается и входная дверь, покрашенная в глянцево-черный цвет. Внутри в доме царила полутьма, все ставни были закрыты, полы вы-

крашены в тот же сверкающий черный цвет, что и дверь. Ко мне подошла женщина — невысокая, белая, черноволосая. Она взяла мою маску и отдала ее горничной, мы поклонились друг другу, она протянула мне латексные перчатки.

— Доктор Гриффит, — сказала она. — Меня зовут Фрэнсис Холсон. Он пришел в себя, но я решила, что все равно стоит вам позвонить, чтобы вы его отвезли домой.

— Спасибо, — сказал я, поднялся вслед за ней по лестнице, и она отвела меня в комнату — явно в свободную спальню, — где на кровати лежал Натаниэль. Увидев меня, он улыбнулся.

— Не надо садиться, — сказал я ему, но он уже сел. — Нейти, что случилось?

Он сказал, что у него просто закружилась голова — может быть, потому что он сегодня не ел, но я понимал, что это произошло из-за вымотанности, хотя демонстративно положил руку ему на лоб, проверяя, нет ли температуры, и осмотрел слизистую во рту и глаза — нет ли там пятен.

— Пошли домой, — сказал я. — Я на машине.

Я ожидал, что он станет сопротивляться, но он неожиданно согласился.

— Хорошо, — сказал он. — Только попрощаюсь с мальчиками.

Мы прошли по коридору к комнате, расположенной в дальнем конце. Дверь была распахнута, но он тихонько по ней постучал, прежде чем входить.

Внутри за детским столом сидели и собирали пазл два мальчика. Я знал, что им семь, но выглядели они четырехлетними. Я читал статью про выживших детей и сразу увидел признаки болезни: оба были в темных очках, несмотря на полумрак, чтобы не повредить глаза, оба — очень бледные, с тонкими и хрупкими руками и ногами, с расширенной грудной клеткой, с рубцами на щеках и руках. Волосы у обоих отросли, но были тонкие и редкие, как у младенцев, и лекарства, способствующие росту волос, вызвали заодно оволосение подбородка, лба и шеи. У обоих тонкая трахеальная трубка тянулась к небольшому вентилятору, пристегнутому к поясу.

Натаниэль представил их — Эзра и Хирам, — и они помахали мне своими маленькими, слабыми саламандровыми ручками.

— Я приду завтра, — сказал он, и хотя об этом я и так уже знал, по его голосу было понятно, что он любит этих мальчиков и тревожится о них.

— А что случилось, Натаниэль? — спросил один из них, Эзра или Хирам, едва слышно, с придыха-

нием, и Натаниэль погладил мальчика по голове; волосики поднялись и зашевелились от статического электричества под перчаткой Натаниэля.

— Я просто немножко устал, — сказал он.

— У тебя болезнь? — спросил второй близнец, и Натаниэля слегка передернуло, прежде чем он улыбнулся в ответ.

— Нет, — сказал он, — ничего такого. Я завтра вернусь. Обещаю.

Фрэнсис ждала нас внизу. Она отдала нам маски и взяла с меня обещание, что я глаз не спущу с Натаниэля. “Конечно”, — ответил я, и она кивнула. У этой красивой женщины над переносицей были прочерчены две глубокие морщины; я задался вопросом, всегда они там были или появились в последние четыре года.

Вернувшись к нам, я уложил Натаниэля и написал Дэвиду, чтобы он не шумел, когда придет, и дал отцу выспаться. Потом я пошел в лабораторию. По дороге я думал о Дэвиде, о том, как нам повезло, что он в безопасности, в безопасности и здоров. Защити его, говорил я себе, не вполне понимая, к кому, собственно, обращаюсь, — говорил, когда шел на работу, мыл посуду, принимал душ. Защити его, защити его. Защити моего сына. Это иррациональное действие. Но пока что оно

помогало.

Позже, за ужином на работе, я подумал об этих двух мальчиках, об Эзре и Хираме. Их мир напоминал сказку: тихий дом с приглушенным освещением, Фрэнсис Холсон и Натаниэль как родители, я как затаившийся гость, и эльфоподобные создания, наполовину дети, наполовину фармацевтика, — и все вокруг было их царством. Я так и не стал клиницистом, в частности, потому, что мне никогда не казалось, будто жизнь — спасение или продление жизни — это всегда самый лучший выход. Чтобы быть хорошим врачом, в это необходимо верить, знать в самых потаенных глубинах души, что жизнь лучше смерти, верить, что смысл жизни просто в том, чтобы жить дальше. Я не назначал лечение тем, кто заболел НиВидом-50, я не участвовал в разработке лекарств. Я не думал, что будет с выжившими, — моя работа заключалась не в этом. Но теперь, когда болезнь остановили, в последние несколько лет я почти ежедневно сталкивался с тем, как они живут. Некоторые, как учительница в школе Дэвида, которая в момент заражения была уже взрослым и, вероятно, здоровым человеком, смогли потом в какой-то степени вернуться к прежней жизни.

Но у этих мальчиков нормальной жизни не будет никогда. Они никогда не смогут выйти из дому, к ним никогда не сможет прикоснуться ничья рука без перчатки, разве что материнская. Такая вот жизнь — их жизнь. Они слишком маленькие, чтобы помнить о чем-то ином. Хотя, возможно, я жалел не их, а родителей — угнетенную мать, невидимого отца. Каково это — знать, что твои дети подошли к смерти вплотную, а потом, спасая их, понять, что ты перенес их туда, откуда ты сам можешь уйти, а они-то не смогут никогда? Ни смерть, ни жизнь — просто существование: весь их мир заключен в пределы одного дома, надежда на все, что они смогут увидеть и испытать, зарыта на заднем дворе и никогда уже не воскреснет. Как внушать им, чтобы они мечтали о чем-то еще? Как жить под гнетом скорби и вины, сознавая, что ты обрек их на жизнь, лишенную всех радостей — движения, прикосновения, лучей солнца на лице? Как вообще жить?

С любовью,
Чарльз

Дорогой П.,
7 августа 2055 г.
Прости за этот сверхторопливый ответ, но я

сбиваюсь с ног (по понятным причинам). Все, что я могу сказать, — видимо, так и есть. Я читал тот же отчет, что и ты, — но получил и еще один, от коллеги, и истолковать данные как-то иначе не получается. Межведомственная группа завтра отправляется в Манилу, а оттуда на Боракай. Меня спросили, готов ли я поехать, потому что оно очень похоже на штамм 50-го. Но я не готов — с Дэвидом дела так плохи, что я просто не могу. Отказ от поездки выглядит как нарушение долга, но и отъезд был бы тем же самым.

Единственный актуальный вопрос: что можно сделать (если что-нибудь можно сделать) в смысле изоляции. Боюсь, что немногое. Я дам тебе знать, как что-нибудь услышу; учитывая эту информацию (какая есть), не ссылайся на меня.

С любовью,
Ч.

Дорогой П., привет.
11 октября 2055 г.

Сегодня утром я участвовал в первой встрече МГРЗБ. Что такое МГРЗБ? Как хорошо, что ты спросил. Это Межведомственная группа реагирования на заразные болезни. МГРЗБ. В таком виде название напоминает то ли некое викториан-

ское приспособление, которое заменяет женские половые органы, то ли логово злодея из фантастического романа. Произносится “мэ- (не “эм”) гэ-рэ- (не “эр”) зэ-бэ”; не знаю, стало ли так легче; судя по всему, это лучшее сокращение, которое смогла родить комиссия государственных чиновников. (Без обид.)

Цель ее в том, чтобы сформулировать (ну, переформулировать) методы глобальной, междисциплинарной реакции на то, что нас всех ожидает, собрав группу из эпидемиологов, инфекционистов, экономистов, разных чиновников из Федерального резерва, а также ведомств, занимающихся транспортом, образованием, юстицией, здравоохранением и безопасностью, информацией и иммиграцией, представителей всех крупных фармацевтических компаний и двух психологов, которые специализируются на депрессивных состояниях и суицидальных настроениях, — одного взрослого, одного детского.

Я полагаю, что ты как минимум участвуешь в аналогичных групповых встречах там у вас. Полагаю также, что ваши заседания лучше организованы и проходят спокойнее, осмысленнее и без такой ругани, как здесь. К концу заседания у нас был список того, что мы согласились не де-

лать (все равно большая часть этих предложений по нынешней Конституции незаконна), а также список действий, последствия которых мы должны обдумать, исходя из своих профессиональных компетенций. Предполагается, что все страны, входящие в совет, попытаются прийти к общему соглашению.

Я опять-таки не знаю, как обстоят дела в вашей группе, но у нас самые бурные споры касались изоляционных лагерей, которые мы все молчаливо постановили называть “карантинными лагерями”, хотя это явное передергивание. Я предполагал, что разрыв будет идеологическим, но, к моему удивлению, вышло иначе: собственно, все участники хоть с какой-то научной подготовкой их рекомендовали — даже психологи, пусть неохотно, а все не ученые были против. Но, в отличие от 50-го, сейчас я не вижу вообще никакой возможности без этого обойтись. Если предсказательные модели верны, болезнь будет намного более патогенной и заразной, будет распространяться быстрее и окажется летальнее, чем предыдущая; наша единственная надежда — это массовая эвакуация. Один из эпидемиологов даже предложил заранее эвакуировать людей в группе риска, но все остальные согласились, что

это вызовет слишком бурную реакцию. “Нельзя это политизировать”, — заявил один чиновник из Министерства юстиции, и это было такое идиотское замечание — одновременно по-дурацки очевидное и такое, которое и обсуждать-то невозможно, — что его просто все проигнорировали.

Встреча завершилась дискуссией о закрытии границ: когда? Слишком рано — и начнется паника. Слишком поздно — и смысла уже не будет. Я предполагаю, что объявят к концу ноября, не позже.

Ну и уж раз мы об этом: учитывая то, что мы оба знаем, я боюсь, приезжать к вам с Оливье сейчас было бы безответственно. Я говорю об этом с тяжелым сердцем. Дэвид очень этого ждал. Натаниэль очень этого ждал. И я очень этого ждал, больше всех. Мы так давно не виделись, я страшно скучаю. Я знаю, что, наверное, больше никому не мог бы это сказать, но я не готов к еще одной пандемии. Понятно, что выбора тут нет. Один из эпидемиологов сегодня сказал: “Это дает нам шанс сделать все правильно”. Он имел в виду, что можно постараться сделать лучше, чем в 50-м: мы лучше подготовлены, больше связаны друг с другом, более реалистично настроены, меньше напуганы. Но мы ведь и устали тоже.

Проблема второй попытки: зная, что ты можешь исправить, ты одновременно знаешь, на что повлиять не получится, — я никогда не тосковал по неведению так, как тоскую сейчас.

Надеюсь, что ты в порядке. Я беспокоюсь о тебе. Оливье тебе как-нибудь дал понять, когда он собирается вернуться?

С любовью,
Я

Дорогой мой Питер,
13 июля 2056 г.

Сейчас очень поздно, почти три часа ночи, и я сижу в своем кабинете в лаборатории.

Сегодня вечером мы были у Обри и Норриса. Я не хотел идти. Я устал, мы все устали, я не хотел надевать полный санитарный костюм, просто чтобы отправиться к ним домой. Но Натаниэль настаивал: он уже несколько месяцев их не видел, он о них беспокоится. Обри же в следующем месяце 76, Норрису скоро 72. Они не выходили из дому после того, как первый случай был диагностирован в нашем штате, и поскольку людей с полными санитарными костюмами раз-два и обчелся, они в некоторой изоляции. Речь не только о том, чтобы их проведать, было и другое сообра-

жение, касающееся Дэвида. Так что мы пошли.

Когда мы припарковались, Дэвид мрачно вылез из машины первым, я — вслед за ним, после чего я остановился и посмотрел на их дом. Я ясно помнил, как пришел сюда впервые, стоял на тротуаре и смотрел на окна, освещенные золотистым светом. Даже с улицы в их богатстве не было никаких сомнений; подобное богатство всегда оказывалось в некотором роде защитой для себя самого — никому бы не пришло в голову вламываться в такой дом, хотя даже ночью вещи и произведения искусства были ясно видны, вот, заходи и бери.

Но теперь окна первого этажа заложены кирпичом — после первых осад жители часто стали так делать. Многие рассказывали — и многие из этих рассказов были правдой, — что люди просыпались и обнаруживали в своих домах и квартирах незнакомцев, которые пришли не что-то украсть, а попросить помощи — еды, лекарств, убежища; в результате большинство людей, живущих ниже четвертого этажа, решили забаррикадироваться. Верхние этажи защищены железными решетками, и даже присматриваться не нужно, чтобы убедиться, что сами окна тоже запаяны так, что открыть их нельзя.

Есть и другие перемены. Внутри дом оказался в таком беспорядке, какого я там никогда не видел; я знал от Натаниэля, что обе их давние горничные попали в первую волну смертей, в январе; Адамс умер еще в 50-м, и его сменил некий Эдмунд, с лицом землистого цвета; он всегда выглядит так, как будто только что очухался от тяжелой простуды. Он взял на себя большую часть домашних дел, но получается у него так себе: обеззараживающую кабину следовало почистить, например, — когда мы шагнули в вестибюль, подсос поднял небольшие облачка пыли, которые взметнулись на полу. Швы на гавайском лоскутном одеяле, висящем на стене в прихожей, посерели; ковер, который Адамс не забывал переворачивать каждые полгода, с одного края вытоптан и засалился. Повсюду легкий запах затхлости, как у свитера, который после долгого перерыва вытащили из шкафа.

И Обри с Норрисом тоже изменились. Они подходили, протянув к нам руки, улыбаясь; поскольку мы все были в костюмах, мы могли их обнять, и я почувствовал, как они похудели, ослабли. Натаниэль тоже это заметил — когда Обри и Норрис повернулись в другую сторону, он бросил на меня обеспокоенный взгляд.

Ужин был прост: фасолевый суп с капустой и

беконом, хороший хлеб. В этих новых масках суп есть труднее всего, но никто из нас ничего не сказал, даже Дэвид, а Обри и Норрис старались не обращать внимания на наши мучения. Обычно еду здесь подавали при свечах, но на этот раз над столом висел большой шар, испускавший едва слышное дребезжание и яркий белый свет, — одна из новых солнцеламп, чтобы у запертых по домам людей не развивался дефицит витамина D. Я, конечно, их уже видел, но такую большую — никогда. Лампа выглядела вполне мило, но освещала все признаки легкого, но несомненного распада, засаленности, неизбежно возникающей в пространстве, которое люди никогда не покидают. Еще в 50-м, на самоизоляции, я часто думал, что квартира вообще-то не предназначена для того, чтобы находиться в ней целыми днями, — ей нужны перерывы, окна, распахнутые в воздух снаружи, отдых от нашей перхоти и кожных клеток. Вокруг нас глубоко вздыхал на каждом цикле кондиционер — вроде бы такой же мощный, как мне помнилось по прежним визитам; где-то вдали урчал осушитель.

Я не видел Обри и Норриса уже несколько месяцев. Три года назад мы с Натаниэлем поссорились из-за них; это была одна из наших самых

яростных ссор. Это произошло почти через год после того, как стало ясно, что Гавай'и не удается спасти, — когда стали просачиваться первые секретные отчеты о мародерах. Подобного рода вещи происходили и в других разрушенных местностях во всех южнотихоокеанских регионах: мародеры добирались туда на частных лодках и высаживались в портах. Они целыми группами сходили на берег — в полном защитном обмундировании — и обходили целые острова, вытаскивая всевозможные предметы искусства из музеев и домов. Финансировала это группа миллиардеров, известная как "Александрийский проект", с заявленной целью "сохранения и защиты величайших художественных достижений нашей цивилизации" путем "спасения" их из мест, "утративших, к несчастью, специалистов, которые могли бы отвечать за их защиту". Александрийцы утверждали, что строят музей (неизвестно где) с цифровым архивом, чтобы защитить эти объекты. Но на самом деле они все забирали себе, упихивали в гигантские складские помещения, и доступ к ним оказывался навсегда закрыт.

В общем, я был уверен, что Обри и Норрис если и не входят в число александрийцев, то по край-

ней мере скупали что-то из украденного. Мне буквально привиделось, как Обри встряхивает стеганое одеяло моей бабушки, то, что предназначалось мне, но, как все имущество моих бабушки и дедушки, которое могло сгореть, сгорело после их смерти. (Я их не любил, как и они меня, — не в этом дело.) Мне привиделось, как Норрис надевает плащ из перьев XVIII века, вроде тех, что мой дед был вынужден продать коллекционеру много десятилетий назад, чтобы заплатить за мое обучение.

Никаких доказательств, спешу отметить, у меня не было — я просто предъявил такое обвинение в один прекрасный вечер, и внезапно мы начали обмениваться упреками, которые копились годами. Что я никогда не доверял Обри и Норрису, даже когда Натаниэль благодаря им обрел цель и смог заниматься интеллектуальной деятельностью, которой из-за моей работы он был лишен в Нью-Йорке; что Натаниэль слишком наивен и доверчив и позволяет Обри и Норрису слишком многое, чего я никогда не мог понять; что я ненавижу их просто за то, что они богаты, и мое отношение к богатству по-ребячески глупое; что Натаниэль втайне хочет разбогатеть, и уж пусть извинит меня за то, что я так его в этом

подвел; что он никогда не предъявлял мне претензий по поводу любых моих профессиональных притязаний, даже если они влекли за собой крах его собственной карьеры и интересов, и что он бесконечно благодарен Норрису и Обри, потому что они интересуются его жизнью, и не только его, но и Дэвида, особенно с учетом того, что на протяжении месяцев, нет, целых лет, я не поддерживал нашего сына, нашего сына, которого теперь выгоняют за "дисциплинарный провал" из, кажется, едва ли не последней манхэттенской школы, которая была готова его принять.

Мы шипели друг на друга, стоя в разных углах спальни; малыш спал рядом, в своей комнате. Но как бы серьезна ни была наша ссора и сила раздражения, под поверхностью таился другой, более существенный набор обид и обвинений, то, что мы ни за что не могли бы сказать друг другу, не рискуя немедленно и навсегда разрушить нашу совместную жизнь. Что я сломал их жизнь. Что в проблемах с дисциплиной у Дэвида, в его недовольстве, его склонности к бунту, отсутствии у него друзей виноват я. Что он, Дэвид, Норрис и Обри создали свою семью, в которую у меня доступа не было. Что он продал им свою родину — нашу родину. Что я вывез их с этой родины —

навсегда. Что он настроил Дэвида против меня.

Другой мой отец говорит.

Ни он, ни я не произнесли ничего такого вслух — но в этом и не было необходимости. Я ждал — и знаю, он ждал тоже, — что кто-нибудь из нас скажет что-то непроизносимое и оно заставит нас рухнуть вниз, пробить пол нашей говенной квартиры и падать, падать до самой мостовой.

Но мы этого не сказали. Ссора как-то закончилась, как всегда бывает с такими ссорами, и еще неделю мы были друг с другом осторожны и вежливы. Как будто призрак того, что мы могли сказать, втерся между нами и мы опасались задеть его, чтобы он вдруг не превратился в злого духа. Потом, на протяжении месяцев, я почти хотел, чтобы мы все-таки сказали то, что нам обоим хотелось сказать, потому что тогда бы мы по крайней мере выговорились, а не думали об этом денно и нощно. Но поступи мы так — мне приходилось все время напоминать себе об этом, — нам бы ничего не оставалось, кроме как расстаться.

В результате этой вспышки Натаниэль и Дэвид стали проводить больше времени у Обри и Норриса, что казалось и неизбежным, и справедливым. Сначала Натаниэль говорил — это потому что я допоздна работаю, а потом — что

Обри хорошо влияет на Дэвида (это правда, он его как-то успокаивал, чего я понять не мог — Дэвид все больше и больше склоняется к марксистским идеям, но Обри и Норриса почему-то считает исключениями), а потом — что Обри и Норрис (особенно Обри) все меньше выходят из дому, боятся, что если выйдут — заразятся; так много их друзей-ровесников умерло, что Натаниэль чувствует себя в ответе за их благополучие, учитывая, как великодушно по отношению к нам они себя ведут. В конце концов мне пришлось и самому туда отправиться, мы провели ничем особенно не запомнившийся вечер, малыш даже согласился сыграть с Обри в шахматы после ужина, а я старался не выискивать вокруг новых покупок, но все равно их находил: что, вот эта капа в раме всегда тут висела на лестничном пролете? А вот эта выточенная деревянная чаша — это новое приобретение или она просто валялась где-то на хранении? Действительно ли Обри и Натаниэль почти незаметно обменялись взглядами, когда увидели, что я изучаю орнамент из акульих зубов, тоже вставленный в рамку, или мне показалось? Я весь вечер чувствовал себя как незваный гость в чужой пьесе и после этого туда не ходил.

Сегодня мы к ним отправились в числе прочего потому, что я признал правоту Натаниэля: Обри должен нам как-то помочь с Дэвидом. Ему остается отучиться еще два года в старших классах, но учиться негде, а Обри в приятельских отношениях с основателем новой платной школы, которая открывается в Вест-Виллидже. Мы втроем — в смысле, Натаниэль, Дэвид и я — устроили разборку с ором, в ходе которой Дэвид недвусмысленно заявил, что вообще не собирается возвращаться в школу, а мы с Натаниэлем (снова единым фронтом, чего не бывало уже, кажется, несколько лет) говорили ему, что надо. В прежние времена мы бы сказали, что, раз он не хочет в школу, ему придется отселиться, но мы боялись, что он поймает нас на слове и мы будем проводить вечера не на встречах с директором школы, а на улицах, ища его по всему городу.

После еды мы с Норрисом и Натаниэлем отправились в гостиную, а Обри с Дэвидом остались в столовой играть в шахматы. Примерно через полчаса они к нам присоединились, и я увидел, что Обри каким-то образом удалось убедить Дэвида все-таки пойти в школу, а Дэвид поделился с ним своими тайными соображениями, и, несмотря на зависть к их отношениям, я испытал облегчение

и печаль оттого, что кому-то удалось достучаться до моего сына и этот кто-то — не я. Дэвид вел себя естественнее, легче, и я снова задумался: что он находит в Обри? Почему Обри удается утешить его так, как не удается мне? Просто потому, что он не его родитель? Но так тоже ничего не получалось, ведь если задуматься об этом, Дэвид не испытывает ненависти к своим родителям — только к одному из родителей. Ко мне.

Обри сел рядом со мной на диван, и когда он наливал себе чай, я обратил внимание, что у него дрожит рука — чуть-чуть — и что ногти отросли немного длиннее, чем обычно. Я вспомнил Адамса — он никогда не позволил бы, чтобы хозяин сам наливал себе чай или спускался к гостям — даже к нам — в таком состоянии. Мне пришло в голову, что мне, конечно, кажется, будто в этом доме я нахожусь взаперти, но Обри и Норрис-то тут взаперти по-настоящему. Обри богаче всех остальных моих знакомых, и вот, почти на пороге восьмидесятилетия, он заперт в доме, из которого нельзя выйти. Он несколько раз просчитался: в трех часах к северу стоял пустой дом в Ньюпорте — сейчас-то уже наверняка не пустой, заселенный сквоттерами; на востоке, в Уотер-Милле, усадьбу Лягушачий пруд объяви-

ли потенциальным рассадником инфекций и стерли с лица земли. Четыре года назад у него была возможность — об этом я знал от Натаниэля — уехать в свой тосканский дом, но он не уехал, а теперь все равно в Тоскане жить уже нельзя. И чем дальше, тем очевиднее, что в конце концов нам, видимо, никуда нельзя будет поехать. У него столько денег, а двинуться некуда.

За чаем разговор зашел, как это всегда бывает, о карантинных лагерях — а точнее о том, что произошло на прошлых выходных. Мне никогда не казалось, что Обри и Норрис хоть сколько-то интересуются жизнью простых людей, но, видимо, они принадлежали к тому крылу, которое выступало за закрытие лагерей. Стоит ли говорить, что Натаниэль и Дэвид придерживались такого же мнения. Они говорили и говорили о творящихся там ужасах, приводили статистические данные (отчасти справедливые, отчасти выдуманные) обо всем, что там происходит. Разумеется, никто из них не видел ни одного из этих лагерей изнутри. Их никто не видел.

— А вы сегодня слышали, что случилось? — спросил малыш, оживляясь так, как я давно уже не наблюдал. — С женщиной и ребенком?

— Нет. А что случилось?

— Ну, у женщины из Квинса родился ребенок, и у него положительный тест. Она понимает, что администрация больницы ее сейчас отправит в лагерь, поэтому говорит, что сходит в туалет, и убегает домой. Сидит там два дня, потом — в дверь стучат, врываются солдаты. Она орет, ребенок орет, они говорят, что она либо отдает им девочку, либо может отправиться с ней. Она решает отправиться с ней. Ее сажают в грузовик с кучей других больных. Теснота жуткая. Все кашляют и плачут. Дети писаются. Грузовик едет, едет, наконец приезжает в один из лагерей в Арканзасе, всех вытаскивают из кузова. Сортируют по группам: ранняя, средняя, финальная стадии болезни. Девочку определяют в среднюю группу. Их отводят в здоровенное здание, предоставляют одну койку на двоих. Лекарств средней группе не дают, дают только ранней. Ждут два дня, кому станет хуже; хуже становится всем, лекарств-то нет. А когда тебе становится хуже, тебя пихают в здание финальной стадии. Значит, эта женщина, которая теперь тоже больна, переходит туда со своим ребенком, обе заболевают еще сильнее, потому что лекарств нет, еды нет, воды нет. И через двое суток обе умирают; каждую ночь приходит человек, вытаскивает все трупы наружу

и сжигает.

Мой сын рассказывал эту историю с нарастающим возбуждением, а я смотрел на него и думал: какой он красивый, какой красивый и какой доверчивый, — и боялся за него. Страсть, гнев, потребность в чем-то, чего я не мог ухватить и не мог ему дать; схватки с одноклассниками, с учителями, ярость, которая бурлила в нем на каждом шагу; если бы мы не уехали с Гавай'ев, был бы он все равно таким? Не я ли сделал его таким?

Но при этом — думая обо всем этом — я чувствовал, как у меня открывается рот, как слова выходят из него, будто я их не контролирую, чувствовал, как стараюсь перекричать возгласы ужаса и праведного гнева, слова о том, что государство превратилось в нечто чудовищное, что над гражданскими правами этой женщины просто надругались, что за контроль над эпидемией надо чем-то платить, но мы не имеем права расплачиваться своей человечностью. Скоро они перейдут к рассказам, которые неизбежно возникают в таких разговорах: что людей разных рас посылают в разные лагеря, черных в один, белых в другой, а нас, всех остальных, видимо, в третий. Что женщинам предлагают до пяти миллионов долларов, чтобы они отдали своих здоровых

детей на эксперименты. Что правительство намеренно заражает людей (при помощи канализации, детского питания, аспирина), чтобы потом от них избавиться. Что болезнь — это вовсе не случайность, что ее создали в лаборатории.

— Это вранье, — сказал я.

Они сразу же умолкли.

— Чарльз, — осторожно сказал Натаниэль, но Дэвид выпрямился, мгновенно ощетинившись.

— В каком это смысле? — спросил он.

— Вранье, и все, — сказал я. — В лагерях такого не происходит.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю. Даже если бы государство решилось на такое идти, они бы не смогли этого долго скрывать.

— Господи, какой ты наивный!

— Дэвид! — вдруг сказал Натаниэль. — Так с отцом говорить нельзя.

Я на секунду почувствовал прилив счастья: когда это в последний раз Натаниэль защищал меня так бездумно, так страстно? Выглядело как признание в любви. Но нет, я продолжал наседать.

— Ну подумай сам, Дэвид, — сказал я, уже испытывая ненависть к себе. — Почему бы мы вдруг не стали давать людям лекарства? Сейчас же не

так, как шесть лет назад, лекарств полно. И зачем вообще тогда вот это, как ты говоришь, здание для средней стадии? Почему тогда не посылать всех сразу в здание для финальной стадии?

— Так…

— Ты описываешь концентрационный лагерь, лагерь смерти, а у нас тут таких нет.

— Твоя вера в эту страну очень трогательна, — тихо сказал Обри, и у меня на мгновение аж в глазах потемнело от ярости. Он обращался ко мне свысока, он, чей дом был заполнен краденными у моей страны вещами?

— Чарльз, — сказал Натаниэль, быстро встав, — нам пора.

И одновременно с этим Норрис положил руку на плечо Обри:

— Обри. Так нельзя.

Но я не стал отвечать Обри. Правда. Я продолжил говорить Дэвиду:

— И знаешь, Дэвид, если бы эта история оказалась правдой — ты не на тех людей злишься. Враг здесь — не администрация, не армия, не Министерство здравоохранения, враг — сама женщина. Да-да: женщина, которая знает, что ее младенец болен, которая решает пойти с ней в больницу, а потом, вместо того чтобы дать ее лечить, реша-

ет ее украсть. И куда она отправляется? Опять садится в метро или в автобус, возвращается к себе в квартиру. Сколько кварталов она проходит по дороге? Сколько людей идет мимо нее? На скольких дышит ее девочка, сколько вируса распространяет? Сколько квартир в ее доме? Сколько там людей живет? У скольких из них есть какие-нибудь сопутствующие заболевания? Сколько там детей, сколько больных, сколько инвалидов? Скольким она говорит: “Мой ребенок болен, я думаю, у нее инфекция, не подходите”? Звонит ли она в отдел здравоохранения, сообщает, что у нее дома кто-то заболел? Думает ли она вообще о ком-нибудь другом? Или только о себе, о своей семье? Конечно, ты скажешь, что всякий родитель так поступил бы. Но именно из-за этого, из-за этого понятного эгоизма власти должны вмешаться, неужели ты не понимаешь? Чтобы все люди вокруг нее оказались в безопасности, все люди, на которых ей самой наплевать, все люди, которые из-за нее потеряют своих детей, — они должны были вмешаться.

Малыш сидел не шелохнувшись и молчал на протяжении всего моего монолога, но тут он отдернулся, как будто я его ударил.

— Ты сказал “мы”, — произнес он, и что-то,

что-то в комнате неуловимо поменялось.

— Что? — переспросил я.

— Ты сказал: мы должны были вмешаться.

— Нет. Я сказал “они должны были вмешаться”.

— Нет. Ты сказал “мы”. Черт. Черт. Ты в этом всем участвуешь, да? Черт. Ты помогал устраивать эти лагеря, да? — И обернувшись к Натаниэлю: — Пап. Пап. Ты слышал? Ты слышал? Он в этом участвует! Это он все это делает!

Мы оба смотрели на Натаниэля, который сидел, слегка приоткрыв рот, и смотрел то на меня, то на него. Он моргнул.

— Дэвид, — начал он.

Но Дэвид уже встал, высокий и худой, как Натаниэль, протягивая в мою сторону указательный палец.

— Ты — один из них, — сказал он дрожащим, высоким голосом. — Я знаю. Я всегда знал, что ты коллаборант. Я знал, что ты отвечаешь за эти вот лагеря. Я знал.

— Дэвид! — в ужасе воскликнул Натаниэль.

— Ненавижу, — сказал малыш отчетливо, глядя на меня, дрожа от возбуждения. — Ненавижу. — Он развернулся к Натаниэлю. — И тебя тоже ненавижу. Ты знаешь, что я прав. Мы же

говорили про то, что он работает на государство. А теперь ты даже не хочешь меня поддержать.

Мы не успели ничего сделать, а он уже летел к двери, открывал ее; обеззараживающая кабина громко чмокнула, выпуская его.

— Дэвид! — крикнул Натаниэль, рванувшись к двери, но тут Обри — они с Норрисом сидели на диване, схватившись за руки, и смотрели на нас, переводя взгляд то на одного, то на другого, словно мы актеры в какой-то очень душещипательной пьесе, — встал.

— Натаниэль, — сказал он, — не волнуйся. Он далеко не уйдет. Наши охранники за ним присмотрят.

(Это еще одна особенность здешней жизни: люди нанимают охранников в полном защитном обмундировании, чтобы те патрулировали их участок круглосуточно.)

— Я не уверен, что он взял с собой документы, — растерянно сказал Натаниэль; мы много раз говорили Дэвиду, чтобы он всегда брал с собой удостоверение личности и медицинскую справку, когда выходит из дому, но он постоянно забывал.

— Ничего, — сказал Обри. — Не волнуйся. Он далеко не уйдет, наши люди за ним присмотрят.

Я сейчас с ними свяжусь. — И он ушел в кабинет.

Мы остались втроем.

— Надо идти, — сказал я. — Давай дождемся Дэвида и пойдем.

Норрис коснулся моей руки.

— Я бы не стал его дожидаться, — мягко сказал он. — Пусть здесь переночует, Чарльз. Охранники его приведут, мы его уложим. Завтра кто-нибудь из них его отвезет домой.

Я посмотрел на Натаниэля, который почти незаметно кивнул, и тогда кивнул тоже.

Обри вернулся, мы говорили “простите” и “спасибо”, но как-то приглушенно. Когда мы выходили, я увидел, что Норрис глядит на меня с выражением, которое мне не удается истолковать. Дверь закрылась, мы вышли в ночь; воздух был жарок, влажен и неподвижен. Мы включили осушители в своих масках.

— Дэвид! — кричали мы. — Дэвид!

Но никто не отзывался.

— Ну что, пойдем? — спросил я Натаниэля, когда Обри позвонил и сказал нам, что Дэвид в маленьком каменном помещении службы безопасности, которое они пристроили к задней стене дома, с одним из охранников, и ему ничто не угрожает.

Он вздохнул и пожал плечами.

— Ну наверное, — устало сказал он. — С нами он все равно домой не поедет. Сегодня уж точно.

Мы оба посмотрели в южном направлении, в сторону Площади. Там работал бульдозер: освещая пространство перед собой одним ярким прожектором, он превращал остатки последних стихийных бараков в груду пластика и фанеры.

— Помнишь, как мы впервые приехали в Нью-Йорк? — спросил я. — Остановились в дыре возле Линкольн-центра и до Трайбеки шли всю дорогу пешком. В парке купили мороженого. Там кто-то поставил пианино под аркой, и ты сел и сыграл…

— Чарльз, — сказал Натаниэль тем же мягким голосом, — я не хочу сейчас разговаривать. Давай просто пойдем домой.

Почему-то из череды событий того вечера это расстроило меня больше всего. Не то, как жалко выглядели Обри и Норрис; не то, насколько очевидной была ненависть Дэвида ко мне. Если бы Натаниэль злился на меня, обвинял меня, нападал на меня, было бы легче. Я бы мог сопротивляться. Мы всегда славно ругались. Но вот эта отстраненность и усталость — что с ними делать, я не знал.

Мы припарковались на Юниверсити-плейс, и оттуда надо еще было идти пешком. На улицах, конечно, никого не было. Я вспомнил какой-то вечер лет, что ли, десять назад, когда я еще не вполне смирился с мыслью о том, что Обри и Норрис теперь станут частью нашей жизни, потому что они уже вошли в жизнь Натаниэля. Они устраивали ужин, и мы оставили Дэвида — которому было всего семь, он действительно был еще малыш — с бэбиситтером и поехали к ним на метро. Все гости были богатыми друзьями Обри и Норриса, но у нескольких были бойфренды или мужья примерно нашего возраста, так что даже я провел время не без удовольствия, и, уходя, мы решили, что пойдем пешком. Путь был долгий, но дело было в марте, погода стояла идеальная, не слишком жаркая, мы оба были немного пьяны и на 23-й улице забрели в Мэдисон-парк и пообжимались на скамейке, среди других людей, которые обжимались на других скамейках. В тот вечер Натаниэль был счастлив — ему казалось, что мы подружились с какими-то еще симпатичными людьми. Тогда мы еще делали вид, что собираемся пробыть в Нью-Йорке всего несколько лет.

На этот раз мы шли молча, и когда я открывал

машину, Натаниэль остановил меня и развернул лицом к себе. В течение этого вечера он впервые за несколько месяцев дотрагивался до меня так много и так целенаправленно.

— Чарльз, — сказал он, — это правда?

— Что правда? — спросил я.

Он вздохнул. Фильтр осушителя в его шлеме нуждался в прочистке, он дышал, и его лицо исчезало и появлялось, потому что поверхность запотевала и снова становилась прозрачной.

— Ты участвовал в создании лагерей? — спросил он, потом посмотрел в сторону и опять на меня. — И до сих пор участвуешь?

Я не знал, что ответить. Я, конечно, видел отчеты — те, которые публиковали в газетах, показывали по телевидению, и другие отчеты, которые ты тоже видел. Я был на заседании Комитета в тот день, когда нам показали видео из Роуэра, и кто-то в кабинете, одна из адвокатов Минюста, охнула, увидев, что произошло в детском отсеке, и через некоторое время вышла. Я в ту ночь тоже заснуть не смог. Конечно, я хотел бы, чтобы у нас вовсе не было нужды в лагерях. Но она была, изменить это я не мог. Единственное, что я мог сделать, — это попытаться нас защитить. За это не имело смысла извиняться, это нельзя было

объяснить. Я сам предложил свою помощь. Я не мог теперь от всего отказаться, потому что хотел бы, чтобы происходящее не происходило.

Но как объяснить это Натаниэлю? Он не поймет, он никогда этого не поймет. И я так и стоял с открытым ртом, замерев между речью и тишиной, между извинениями и ложью.

— Мне кажется, тебе сегодня стоит переночевать в лаборатории, — наконец сказал он все тем же тихим и мягким голосом.

— Ага, — сказал я, — ладно.

И на этих моих словах он отступил назад, как будто я его толкнул в грудь. Не знаю — может, он ждал, что я буду с ним спорить, умолять, все отрицать, лгать. Но получалось так, что я соглашаюсь и как бы подтверждаю все то, во что он не хотел верить. Он снова посмотрел на меня, но визор его шлема запотевал все сильнее, и в конце концов он залез в машину и уехал.

Я пошел пешком. Возле 14-й улицы я посторонился, пропуская танк и бригаду пехотинцев в защитном обмундировании, в новой униформе, где визор — это рефлекторное зеркало, так что если говоришь с таким человеком, видишь только себя самого. Я шел дальше, мимо баррикады на 23-й, и там солдат послал меня на восток, чтобы я

обошел Мэдисон-парк — его накрывал кондиционированный геодезический купол, под которым хранили трупы, прежде чем отправить в один из крематориев. Над каждым из четырех углов парил дрон с камерой; стробоскопические вспышки на короткие мгновения выхватывали из темноты контуры картонных гробов, выставленных ровными рядами, по четыре штуки в высоту. Когда я переходил Парк-авеню, навстречу шел другой человек; приблизившись, он опустил глаза. Ты замечал такое — люди избегают смотреть друг на друга, как будто болезнь передается не через дыхание, а через взгляд в лицо?

В конце концов я добрался до УР, принял душ и расстелил белье на своем диване. Но спать я не смог и через пару часов встал, поднял затемняющие шторы и увидел, как вертолеты-катафалки летят со своим грузом на остров Рузвельт и их лопасти блестят в свете направленных на них солнечных прожекторов. Крематории здесь не прекращают работу ни на секунду, но транспортировку на баржах, как и любое движение по воде, приостановили в надежде, что это помешает плотам с климатическими беженцами, которых сбрасывают поздно ночью возле устья Гудзона или Ист-Ривер и заставляют плыть к берегу.

Теперь я чувствую смертельную усталость, какой, кажется, никогда прежде не чувствовал. Этой ночью мы все спим в разных местах. Ты — в Лондоне. Оливье — в Марселе. Мой муж — в четырех кварталах к северу. Мой сын — в трех милях к югу. Я — здесь, в лаборатории. Как бы я хотел оказаться с кем-нибудь из вас, с любым из вас. Я оставил одну штору незакрытой, и квадрат света на противоположной стене вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет, как шифр, понятный мне одному.

С любовью,
Я

Дорогой Питер,
20 сентября 2058 г.

Сегодня хоронили Норриса. Я встретился с Натаниэлем и Дэвидом в доме “Друзей” на Резерфорд-плейс. Дэвида я не видел три месяца, Натаниэля — неделю, и из почтения к Норрису мы обращались друг с другом с невыносимой вежливостью. Натаниэль заранее позвонил мне и предупредил, чтобы я не пытался обнять Дэвида при встрече; я и не пытался, но он удивил нас обоих — легонько шлепнул меня по спине и что-то тихо промычал.

Во время церемонии — очень скромной — я смотрел на Дэвида. Он сидел впереди меня, на одно место левее, и я видел его профиль, его длинный тонкий нос, его новую прическу, из-за которой казалось, что шевелюра щетинится терновником. Он пошел в новую школу — Обри уговорил его туда пойти после исключения из другой школы, куда Обри уговорил его пойти два года назад, и, насколько я знаю, пока что жалоб не поступало — ни от них, ни от него. Конечно, надо учесть, что учебный год начался всего три недели назад.

Я не знал большинства из присутствующих; некоторых помнил в лицо по ужинам и посиделкам многолетней давности, но общее впечатление пустоты они не развеивали; Обри и Норрис потеряли в 56-м больше друзей, чем мне казалось, и хотя помещение было наполовину заполнено, все время тревожно казалось, что чего-то, кого-то не хватает.

Потом мы с Натаниэлем и малышом пошли к Обри, где собралось еще несколько человек; Обри остался в санитарном костюме, чтобы гости могли снять свои. На протяжении последнего года или около того, пока Норрис медленно умирал, они начали затенять дом, пользоваться свечами

вместо электричества. Это отчасти помогало — и Обри, и весь дом в этом полумраке выглядели не такими изможденными, — но проникновение в их пространство одновременно казалось выходом в другую эпоху, когда электричество еще не изобрели. Или, может быть, казалось, что в доме живут не люди, а какие-то другие животные — какие-нибудь кроты, существа с крохотными глазками-бусинками, неспособные вынести солнечный свет как он есть. Я подумал об учениках Натаниэля, Хираме и Эзре, которым уже одиннадцать и которые так и живут в своем затененном мире.

В конце концов только мы вчетвером и остались. Натаниэль и Дэвид спросили Обри, можно ли им переночевать у него, и он согласился. Я воспользовался их отсутствием в квартире, чтобы забрать кое-какие вещи и отнести в университетское общежитие, где я до сих пор обретаюсь.

Мы все молчали. Обри откинул голову на спинку дивана и через некоторое время закрыл глаза. “Дэвид”, — прошептал Натаниэль, показывая ему, чтобы он помог уложить Обри, и малыш поднялся, но тут Обри заговорил.

— Помните наш разговор вскоре после того, как в Нью-Йорке был диагностирован первый паци-

ент, в 50-м? — спросил он, так и не открывая глаз. Никто из нас не ответил. — Вот ты, Чарльз, — я помню, что спросил у тебя, этого ли мы ждали, эта ли та болезнь, которая нас всех сметет, и ты ответил: “Нет, но эта будет ничего так”. Помнишь?

Голос его был мягок, но меня все равно передернуло.

— Да, — сказал я, — помню. — И услышал тихий, печальный вздох Натаниэля.

— М-гм, — сказал Обри. Снова повисла тишина. — Ты был прав, как оказалось. Потому что потом случился 56-й. Я тебе никогда не рассказывал, но в ноябре 50-го с нами связался старинный друг. Ну, он был больше Норрисов друг, чем мой, они были знакомы со студенческих лет и даже встречались недолго. Его звали Вульф.

В тот момент мы уже месяца три жили на Лягушачьем пруду. Как и многие — даже среди твоих, Чарльз, — мы считали, что там окажемся в большей безопасности, что лучше находиться подальше от города с его толпами и грязью. Это было уже после того, как началось мародерство, все боялись выйти из дому. До ужасов 56-го дело еще не дошло — люди не бросались на тебя на улицах, стараясь обкашлять и заразить, чтобы ты тоже заболел, — но все равно было так себе.

Ну ты помнишь.

Короче, однажды вечером Норрис мне сказал, что с ним связался Вульф: он где-то в городе, спрашивает, можно ли прийти нас повидать. Ну… мы относились к рекомендациям со всей серьезностью. У Норриса астма, и мы, собственно, отправились на Лонг-Айленд, чтобы как можно меньше сталкиваться с людьми. Поэтому мы решили сказать Вульфу, что очень рады были бы его повидать, но нам кажется, что это небезопасно, и для него, и для нас, и когда все подуспокоится, мы будем рады увидеться.

Норрис ему посылает такое сообщение, и Вульф отвечает в ту же минуту: дело не в том, что он хочет нас повидать, — он *должен* нас повидать. Ему нужна наша помощь. Норрис спрашивает, устроит ли его видеосвязь, но он настаивает: он должен увидеть нас лично.

Ну и что нам делать? На следующий день, в полдень, мы получаем сообщение: “Я снаружи”. Мы выходим. Ничего не видим. Потом слышим, как Вульф зовет Норриса по имени, идем по тропинке, но все равно ничего не видим. Опять слышим его голос, еще сколько-то проходим. Так повторяется несколько раз, и мы слышим, как Вульф говорит нам: “Стоп”.

Мы останавливаемся. Ничего не происходит. А потом — шорох упавших на землю веточек под большим тополем, что у караульной будки, — и выходит Вульф.

Мы сразу видим, что он очень болен. Худой как скелет, лицо в язвах. В руке большая ветка магнолии, но он не может ей толком пользоваться как тростью, не хватает сил, поэтому тащит ее за собой, как метлу, что ли. На плече маленький рюкзак. Одной рукой придерживает штаны; на них ремень, но ремня уже не хватает.

Мы с Норрисом сразу же отступаем. Понятно, что Вульф почти на последней стадии болезни и, стало быть, очень заразен.

Он говорит: “Я не пришел бы, если мы мне было куда еще идти. Вы же понимаете. Но мне нужна помощь. Я долго не протяну. Я понимаю, как многого прошу. Но может быть… может быть, вы позволите мне здесь умереть”.

Он сбежал из какого-то центра. Позже мы узнали, что он обращался к другим знакомым и все его отсылали. Он сказал: “Я не стану заходить внутрь. Но я думал… я думал, может, можно в подсобку возле бассейна? Я ни о чем больше не попрошу. Но я хотел бы умереть под крышей, в доме”.

Я не знал, что на это сказать. Я почувствовал,

как Норрис за моей спиной сжимает мне руку. В конце концов я произнес: “Мне надо поговорить с Норрисом”, — Вульф кивнул и снова отошел за тополь, как бы оставляя нас наедине, и мы с Норрисом пошли по тропинке в обратном направлении. Он посмотрел на меня, я — на него, мы не обменялись ни словом. В этом не было необходимости — мы понимали, что придется сделать. Бумажник был у меня с собой, я вынул оттуда все наличные — чуть больше пятисот долларов. Мы пошли обратно к дереву, и Вульф снова вышел из-за него.

“Вульф, — сказал я, — прости. Прости, пожалуйста. Мы не можем. Норрис в группе риска, ты же знаешь. Мы не можем, не можем, и все. Прости”. Я сослался на тебя, Чарльз. Я сказал: “У нашего друга есть связи в администрации, он может тебе помочь, поместить тебя в центр получше”. Я даже не знал, существует ли такая вещь, как “центр получше”, но пообещал. Потом я положил деньги и отошел примерно на фут. “Если нужно, могу достать еще”, — сказал я.

Он ничего не ответил. Просто стоял там, дышал, смотрел на деньги, слегка покачиваясь. И тогда я схватил Норриса за руку, и мы быстро пошли обратно в дом — последние футов сто мы

бежали, бежали, словно у Вульфа были силы нас преследовать, словно он сейчас взмоет в воздух, как ведьма, и преградит нам путь. Как только мы оказались внутри, мы заперли дверь и прошли по всему дому, проверяя каждое окно и каждый замок, как будто Вульф вдруг решит прорваться внутрь и заполнить наш дом своей болезнью.

Но знаешь, что было хуже всего? То, как мы с Норрисом разозлились. Мы злились из-за того, что Вульф заболел, что он явился к нам, что попросил нас о помощи, что поставил в такое положение. Мы именно это повторяли себе в тот вечер, пока обжирались с закрытыми ставнями, занавешенными окнами, включенными системами безопасности, заколоченной — как будто он вообще туда бы осмелился пробраться — подсобкой возле бассейна. Как он посмел. Как он посмел вызывать в нас такие чувства, как посмел заставить нас отказать ему. Вот что мы думали. К нам пришел беспомощный, перепуганный человек, и вот что мы сделали.

С этого момента что-то в наших отношениях переменилось. Я знаю, знаю, все всегда выглядело прекрасно. Но изменения произошли. Как будто теперь связующей нитью между нами была не столько любовь, сколько стыд, наша

отвратительная тайна, наше совместное деяние, жуткое и бесчеловечное. И Вульфа я в этом тоже виню. День за днем мы не вылезали из дома, осматривали окрестности в бинокль. Мы предложили охранникам двойную ставку, чтобы они вернулись, но они отказались, поэтому мы подготовились к осаде, к обороне от одного человека. Все шторы были задернуты, все ставни закрыты. Мы жили как в фильме ужасов, готовые в любой момент услышать, как что-то брякнулось в окно, отодвинуть штору и увидеть Вульфа, прижавшегося щекой к стеклу. Мы смогли уговорить местных полицейских мониторить списки смертей в окрестностях, но когда через две недели стало известно, что Вульфа нашли возле шоссе, что тело пролежало там, видимо, уже несколько дней, мы все равно не смогли отказаться от нашей вахты — мы перестали подходить к телефону, перестали проверять почту, отказались от всех контактов, потому что, если у нас не будет связи с внешним миром, нас никто ни о чем не попросит и мы останемся в безопасности.

Когда карантин сняли, мы вернулись на Вашингтонскую площадь. Но в Уотер-Милл больше не возвращались. Ты, Натаниэль, как-то раз спросил, почему мы никогда не ездим на Лягушачий

пруд. Вот почему. Вульфа мы тоже больше никогда не обсуждали. Мы не договаривались об этом — просто понимали, что не надо. На протяжении многих лет мы пытались как-то загладить свою вину. Спонсировали благотворительные организации, которые помогают больным, больницы, активистские группы, боровшиеся с лагерями. Но когда у Норриса диагностировали лейкоз, первое, что он сказал, когда врач вышел из комнаты: “Это кара за Вульфа”. Я не сомневаюсь, что он в это верил. В последние дни, когда от медикаментов он бредил, он повторял не мое имя, а имя Вульфа. И хотя я рассказываю вам эту историю так, как будто сам в нее не верю, — это не так. Когда-нибудь — когда-нибудь Вульф придет и за мной.

Мы все молчали. Даже малыш, всегда последовательный в своем нравственном абсолютизме, был собран и тих. Натаниэль вздохнул.

— Обри… — начал он, но Обри его перебил.

— Я должен был кому-то признаться, — сказал он, — поэтому вам и говорю. Но есть и другая причина — Дэвид, я знаю, что ты злишься на отца, и все понимаю. Но страх заставляет нас делать много такого, о чем мы жалеем, что раньше казалось нам невозможным. Ты очень молод, ты провел почти всю жизнь рядом со смертью, с угрозой

смерти — ты привык к такой обстановке, и это невыносимо. Поэтому ты не можешь в полной мере понять, что я имею в виду.

Но с возрастом ты понимаешь, что готов на все, чтобы выжить. Иногда даже не отдавая себе в этом отчета. Иногда верх берет инстинкт, какая-то худшая личина — и ты себя теряешь. Так происходит не со всеми. Но со многими все-таки происходит.

Я что, собственно, пытаюсь сказать: ты должен простить отца. — Он посмотрел на меня. — Я тебя прощаю, Чарльз. За… за то, что ты делал — не важно что — с лагерями. Я хотел тебе это сказать. Норрис никогда не винил тебя так, как я, поэтому ему было нечего тебе прощать и не за что просить прощения. А мне есть за что.

Я осознал, что нужно что-то ответить.

— Спасибо, Обри, — сказал я человеку, который развесил самые ценные и священные предметы моей страны у себя на стенах, как будто это плакаты в студенческом общежитии, человеку, который всего два года назад обвинял меня в том, что я — марионетка американского правительства. — Спасибо.

Он вздохнул, и Натаниэль тоже — как будто я плохо справился со своей ролью. Дэвид сидел в

другом конце комнаты, отвернувшись от нас, и я не видел его лица. Он любил Обри, уважал его, я мог представить себе, что он сейчас чувствует, и от этого у меня сжималось сердце.

Мне не хватало эгоизма, чтобы попросить у него прощения прямо здесь и сейчас. Но я уже не мог сдержаться и мечтал о воссоединении — как я вернусь в квартиру и Натаниэль снова меня полюбит, а малыш перестанет на меня так злиться, и мы опять будем семьей.

Но я ничего не сказал. Я просто встал, со всеми попрощался, пошел, как и собирался, в нашу квартиру, а потом — обратно в общежитие.

Я слышал — мы оба слышали — много жутких историй о том, что люди делали с другими людьми на протяжении последних двух лет. Рассказ Обри был не худшей из них — далеко, далеко не худшей. В те месяцы родители оставляли детей в метро, один человек застрелил обоих родителей в затылок, когда они сидели у себя во дворе, женщина отвезла своего умирающего мужа, с которым они прожили сорок лет, на свалку возле тоннеля Линкольна, и там оставила. Вообще, наверное, в рассказе Обри меня больше всего поразило не то, что он рассказал, а то, как съежилась их с Норрисом жизнь. Я отчетливо увидел

их вдвоем в том доме, который так ненавидел, которому завидовал, с забитыми ставнями, в темноте, сжавшихся в углу, в надежде, что, если они притворятся крошечными, великое око болезни их не увидит, оставит в покое, как будто они смогут и вовсе избежать плена.

С любовью,
Ч.

Дорогой Питер,
30 октября 2059 г.

Спасибо за запоздавшее поздравление — я успел забыть. Мне пятьдесят пять. Я живу отдельно от семьи. Меня ненавидит собственный сын и большая часть всех остальных людей в цивилизованном мире (может, не меня лично, но то, что я делаю). Я каким-то образом полностью преобразился из некогда перспективного ученого в теневого правительственного чиновника. Что тут еще скажешь? Ничего.

Мы более или менее никак отпраздновали годовщину у Обри, где теперь постоянно обретаются Натаниэль с малышом. Я помню, что не писал об этом, — наверное, потому что оно просто случилось и ни Нейт, ни я даже не осознали. Сначала они с Дэвидом стали проводить

там больше времени, чтобы не оставлять Обри в одиночестве после смерти Норриса. В таких случаях он присылал мне сообщение, чтобы я мог пойти в квартиру и там переночевать. Я бродил по комнатам, открывал ящики стола у малыша, шарил в них, ворошил ящик с носками Натаниэля. Ничего конкретного я не искал — я понимал, что у Натаниэля секретов нет, а Дэвид свои взял бы с собой. Я просто смотрел. Раскладывал и складывал какие-то рубашки Дэвида, склонялся к белью Натаниэля, вдыхал запах.

Потом я стал замечать, что вещи исчезают: кроссовки Дэвида, книги с Натаниэлевой тумбочки. Как-то вечером я пришел и обнаружил, что пропал фикус. Почти как в мультфильме: днем меня не было, и — раз! — одеяло убежало, пока я не видел. Но конечно, все просто постепенно перетаскивалось на Вашингтонскую площадь. Примерно через пять месяцев такого медленного переезда Натаниэль написал мне, что я могу снова въехать в квартиру, домой, если захочу, и хотя я собирался отказаться из принципа — мы каждые несколько недель возвращались к разговору о том, что он хочет выкупить мою долю квартиры, чтобы я мог найти себе какое-то другое жилье, прекрасно понимая, что денег на это нет

ни у него, ни у меня, — мне все так надоело, что я в результате вернулся. Но они не все перетащили к Обри, и когда мне особенно сильно хотелось себя пожалеть, я видел в этом определенные знаки. Старинные книжки-раскраски малыша, куртки Натаниэля, для которых теперь слишком жарко, кастрюля, навеки опаленная многолетними следами подгорелой еды, — и я; все наслоения жизни Натаниэля и Дэвида, все, что оказалось ненужным.

Мы с Натаниэлем стараемся раз в неделю разговаривать. Иногда это проходит нормально, но не всегда. Мы не то чтобы ссоримся, но каждый разговор, даже самый вежливый, — всегда прогулка по тонкому льду, под которым темная, мерзлая вода, десятилетия обид и обвинений. Многие из этих обвинений относятся к Дэвиду, но и наша близость еще жива благодаря ему. Мы оба о нем тревожимся, хотя Натаниэль проявляет больше сочувствия. Ему скоро двадцать, и мы не знаем, что с ним делать — что для него сделать; он не окончил школу, он не собирается поступать в университет, не собирается искать работу. Каждый день, говорит мне Натаниэль, он исчезает на несколько часов, возвращается к ужину, играет в шахматы с Обри и снова исчезает. По крайней ме-

ре, говорит Натаниэль, он, как и прежде, бережно ведет себя с Обри; с нами он закатывает глаза и фыркает, стоит нам заговорить про работу или учебу, — но снисходит до того, чтобы терпеливо выслушать мягкие наставления Обри; прежде чем исчезнуть на всю ночь, он помогает Обри подняться по лестнице к себе в спальню.

Сегодня вечером мы пили чай с пирогом, и тут обеззаразка чавкнула, и появился Дэвид. Я никогда не могу угадать, в каком настроении будет малыш, увидевшись со мной: станет ли театрально закатывать глаза на каждое мое слово? Будет ли язвителен, спросит ли, в гибели скольких человек я провинился за эту неделю? Или неожиданно будет застенчив как щеночек, смущенно дернется, когда я его похвалю, скажу, как скучаю? Каждый раз я говорю ему, что скучаю; каждый раз говорю, как люблю его. Но я не прошу у него прощения — а я понимаю, что он этого ждет; не прошу, потому что ему нечего мне прощать.

— Привет, Дэвид, — сказал я и увидел, как по лицу его проходит неуверенная гримаса; мне пришло в голову, что он так же не способен предсказать свою реакцию на встречу со мной, как я сам.

Выиграл сарказм.

— Я не знал, что у нас сегодня за ужином будут международные военные преступники, — сказал он.

— Дэвид, — устало произнес Натаниэль, — перестань. Я тебе говорил — у твоего отца сегодня день рождения.

Прежде чем он успел снова открыть рот, Обри мягко добавил:

— Проходи, Дэвид, садись, побудь с нами. — Дэвид все еще колебался. — У нас много еды.

Он сел, Эдмунд принес ему тарелку, и мы некоторое время смотрели, как он торопливо уничтожает еду, откидывается на спинку стула и рыгает.

— Дэвид, — сказали мы одновременно с Натаниэлем, и малыш внезапно ухмыльнулся, посмотрев на нас по очереди, что заставило нас с Натаниэлем тоже переглянуться, и в течение нескольких секунд мы все вместе улыбались.

— Не можете сдержаться, да? — почти с нежностью спросил Дэвид, обращаясь к нам с Натаниэлем как к некоторой общности, и мы снова улыбнулись — ему, друг другу. Малыш запустил вилку в свой морковный пирог. — Тебе сколько лет-то исполнилось, папаша?

— Пятьдесят пять, — сказал я, пропустив “папа-

шу” мимо ушей, — я такое обращение ненавидел, и он об этом знал. Но “папой” он меня звал много лет назад — и потом еще много лет не звал никак.

— Господи! — сказал малыш с искренним изумлением. — Пятьдесят пять! Такой старый!

— Древний, — согласился я с улыбкой, и Обри, сидящий рядом с Дэвидом, засмеялся.

— Ребенок, — поправил он. — Малыш.

Тут Дэвид вполне мог начать одну из своих филиппик — про средний возраст детей, которых увозят в лагеря, про уровень смертности среди детей небелых рас, про то, как правительство использует болезнь, чтобы уничтожать черных и коренных американцев, из-за чего, собственно, всем недавним болезням поначалу давали бесконтрольно распространяться, — но промолчал, только закатил глаза — беззлобно — и отрезал себе еще кусок пирога. Прежде чем к нему приступить, он развязал бандану у себя на шее, и я увидел, что вся правая сторона его шеи покрыта гигантской татуировкой.

— Господи! — сказал я, и Натаниэль, поняв, на что я среагировал, тихо сказал “Чарльз”, призывая к осторожности. У меня уже скопился целый список тем, которые мне нельзя обсуждать с

Дэвидом, про которые нельзя спрашивать, в том числе его учеба, его планы, его будущее, как он проводит время, его политические пристрастия, его мечты, его друзья. Но про гигантские уродливые татуировки Натаниэль ничего не говорил, и я рванулся на другую сторону стола, как будто она исчезнет, если не рассмотреть ее внимательно в ближайшие же пять секунд. Я оттянул ворот футболки Дэвида и вгляделся: это был глаз дюймов шесть в ширину, огромный, угрожающий; из него исходили лучи света, а снизу готическим шрифтом было написано: *Ex Obscuris Lux.*

Я отпустил его ворот и отступил. Дэвид усмехался.

— Ты, что ли, поступил в Американскую офтальмологическую академию? — спросил я.

Он перестал улыбаться и нахмурился, не понимая, о чем я.

— Чего? — спросил он.

– *Ex obscuris lux,* — сказал я, — “Свет из тьмы”. Это их девиз.

Он был в некоторой растерянности, но быстро собрался.

— Нет, — резко сказал он, и я видел, что он смутился, а потом разозлился из-за своего смущения.

— Ну а что это тогда значит? — спросил я.

— Чарльз, — со вздохом сказал Натаниэль, — не надо сейчас.

— В каком смысле “не надо сейчас”? Я не могу спросить у собственного сына, зачем он набил себе гигантскую, — я чуть не сказал “уродливую”, — татуху на шее?

— Потому что я — участник света, — с гордостью сказал Дэвид, и когда я ничего на это не ответил, снова закатил глаза. — Господи, папаша, — сказал он. — “Свет” — это такое общество.

— Какое именно общество? — спросил я.

— Чарльз, — сказал Натаниэль.

— Господи, Нейт, прекрати вот это вот “Чарльз, Чарльз” — это мой сын тоже. Я могу у него спрашивать что захочу. — Я снова посмотрел на Дэвида. — Какое такое общество?

Он снова ухмылялся; мне хотелось ему врезать.

— Политическое общество, — сказал он.

— Какое еще политическое общество? — спросил я.

— Общество, которое пытается помешать тому, что ты делаешь, — сказал он.

Вот тут, Питер, ты мог бы мной гордиться. В это мгновение, что бывает нечасто, я ясно воочию

представил, куда приведет этот разговор. Малыш постарается меня разозлить. Я разозлюсь. Скажу что-нибудь резкое. Он ответит в том же духе. Натаниэль будет стоять у веревок ринга, заламывая руки. Обри будет мрачно наблюдать за нами из кресла со скорбью, жалостью и некоторым отвращением — мы стали частью его жизни и вот как себя ведем.

И я ничего из этого не сделал. Наоборот, проявив сдержанность, какой в себе даже не подозревал, я просто сказал, что счастлив видеть смысл и дело в его жизни и что желаю ему и его товарищам успехов в борьбе. Потом поблагодарил Обри и Натаниэля за ужин и вышел из комнаты.

Натаниэль пошел за мной.

— Чарльз, — сказал он. — Чарльз, не уходи.

Я вытащил его в прихожую.

— Натаниэль, — сказал я, — он меня ненавидит?

— Кто? — спросил он, хотя прекрасно понял, что я хочу сказать. Потом вздохнул. — Да нет, конечно нет, Чарльз. Просто такой у него этап. И он к своим убеждениям относится со страстью. Ты же знаешь. Он тебя не ненавидит.

— А ты — да, — сказал я.

— Нет, — ответил он. — Я ненавижу то, что ты

делал, Чарльз. Тебя я не ненавижу.

— Я делал то, что нужно было сделать, Нейти, — сказал я.

— Чарльз, — сказал Натаниэль, — я не стану сейчас с тобой это обсуждать. Главное — ты его отец. Был и останешься.

Почему-то это оказалось слабым утешением, и, выйдя из дома (я надеялся, что Натаниэль более деятельно постарается меня удержать, но этого не произошло), я стоял на северной стороне Вашингтонской площади и смотрел, как вокруг возятся представители последнего поколения жителей этих трущоб. Несколько человек купались в фонтане; одна семья — родители и маленькая девочка — развели возле арки небольшой костер, на котором поджаривали какого-то неопределимого зверька. “Готово, папа? — возбужденно повторяла девочка. — Готово, папа? Уже готово?” — “Почти, почти, — отвечал отец, — почти готово”. Он оторвал от существа хвост и протянул его девочке, та радостно завизжала и немедленно начала его обгладывать, а я отвернулся. На площади жило около двухсот человек, и хотя они понимали, что в какую-то ночь дома снесут бульдозером, их становилось только больше: жить здесь было безопаснее, чем под мостом или в туннеле. Не

знаю, как они спят, когда на них направлены прожекторы, но, наверное, человек ко всему привыкает. Многие из жителей носят темные очки даже ночью или обвязывают глаза черной марлей. У большинства нет защитных шлемов, и издалека они выглядят как войско призраков, с лицами, полностью замотанными тканью.

Дома я посмотрел, что такое “Свет”; как я и подозревал, это антиправительственная, антинаучная группа, объявляющая, что их цель — “вскрыть государственные идеологические манипуляции и положить конец чумному веку”. Даже по меркам таких групп “Свет” казался чем-то мелким: на их счету не числилось никаких крупных нападений, никаких существенных акций. Но я все-таки послал письмо своему вашингтонскому знакомому с просьбой прислать мне их полное досье — не уточняя зачем.

Питер, я тебя о таком никогда не прошу. Но ты ведь узнаешь что сможешь? Прости, что обращаюсь с этим. Прости. Я бы не стал, если бы не чувствовал, что должен это сделать.

Я знаю, что остановить его не могу. Но может быть, я могу ему помочь. Я должен постараться, правда же?

С любовью,

Чарльз

Дорогой Питер,
7 июля 2062 г.

Коротко, потому что через шесть часов я должен быть в Вашингтоне. Но хочу написать тебе, пока есть несколько минут.

Тут невыносимая жара.

Учреждение нового государства будет объявлено сегодня в четыре часа дня по восточному времени. Изначально планировалось объявить 3 июля, но все решили, что надо дать людям возможность в последний раз отпраздновать День независимости. Идея в том, что, если объявить сейчас, в конце рабочего дня, закрыть определенные части страны до выходных будет проще, а потом у всех будет пара дней, и шок слегка спадет, когда рынки снова откроются в понедельник. Когда ты это прочитаешь, все описанное уже произойдет.

Спасибо за твою поддержку на протяжении последних месяцев. В конце концов я последовал твоему совету и отказался от работы в министерстве: лучше остаться за кадром и обменять увеличение влияния на большую безопасность. В общем-то, влияние у меня и так есть — я попро-

сил службу безопасности последить за Дэвидом, раз уж “Свет” стал такой больной темой, и теперь у дома Обри дежурят сотрудники в штатском, чтобы защитить его и Натаниэля, если протесты радикализируются так, как они боятся. Обри плох — метастазы в печени, и, по словам Натаниэля, врач считает, что жить ему осталось шесть-девять месяцев, не больше.

Я позвоню на твою линию засекреченной связи сегодня вечером (по нашему времени — завтра рано утром по твоему). Пожелай мне удачи. Люблю тебя, привет Оливье.

Чарльз

Глава 5

2094 год, весна

В течение следующих нескольких недель мы встречались все чаще и чаще. Сначала это было просто совпадение: в воскресенье, через неделю после того, как мы познакомились во время представления рассказчика, я гуляла по Площади и вдруг почувствовала, что за мной кто-то идет. Конечно, за мной шло много людей, и передо мной тоже — я была в толпе, — но это ощущалось иначе, и, обернувшись, я снова увидела его.

— Здравствуй, Чарли, — сказал он, улыбаясь.

От этой улыбки я начала волноваться. Раньше, когда дедушке было столько лет, сколько мне сейчас, все постоянно улыбались. Дедушка говорил, что именно этим американцы и славятся — улыбками. Сам он не был американцем, хотя в конце концов стал им. Но я улыбалась не очень часто, и все, кого я знаю, тоже.

— Здравствуй, — сказала я.

Он поравнялся со мной, и мы пошли дальше вместе. Я боялась, что он попытается завести разговор, но он молчал, и так мы обогнули Пло-

щадь трижды. Потом он сказал, что был рад меня встретить и что, может быть, мы еще увидимся на следующем представлении рассказчика, снова улыбнулся и зашагал в западную сторону, прежде чем я успела придумать, что сказать в ответ.

В следующую субботу я снова пришла на Площадь. Я и не подозревала, что хочу увидеть его, но когда увидела — он сидел на том же месте в заднем ряду, что и в день нашего знакомства, — меня охватило странное чувство, и я преодолела последние несколько метров торопливым шагом, боясь, что кто-то займет мое место. Потом остановилась. Вдруг он не хочет меня видеть? Но тут он обернулся, заметил меня, улыбнулся и помахал рукой, похлопывая по земле рядом с собой.

— Здравствуй, Чарли, — сказал он, когда я подошла к нему.

— Здравствуй, — сказала я.

Его звали Дэвид. Он сказал мне это в день нашего знакомства.

— Моего отца звали Дэвид, — сказала я тогда.

— Правда? — спросил он. — Моего тоже.

— А, — сказала я. Но, видимо, надо было добавить что-то еще, и наконец я сказала: — Как много Дэвидов.

Он широко улыбнулся и даже коротко рассме-

ялся.

— Да уж, — сказал он, — Дэвидов немало. А у тебя отличное чувство юмора, правда, Чарли? — Это был один из тех вопросов, которые, как я знала, на самом деле не подразумевают ответа, и к тому же это неправда. Раньше мне никто никогда не говорил, что у меня отличное чувство юмора.

На этот раз я взяла с собой соевую спаржу, которую сама высушила и нарезала треугольниками, а еще контейнер с пищевыми дрожжами, чтобы обмакивать в них спаржу. Пока рассказчик устраивался на складном стуле, я протянула пакет Дэвиду.

— Бери, — сказала я, а потом заволновалась, что это прозвучало слишком грубо, слишком недружелюбно, хотя на самом деле я просто нервничала. — Если хочешь, — добавила я.

Он заглянул в пакет, и я испугалась, что он будет смеяться надо мной и моей едой. Но он просто достал кусочек спаржи, обмакнул его в дрожжи и с хрустом разгрыз.

— Спасибо, — сказал он шепотом, потому что рассказчик уже начал говорить, — очень вкусно.

На этот раз история была про мужа, жену и их двоих детей, которые, проснувшись однажды утром, обнаруживают у себя в квартире птицу.

Это было не очень реалистично, потому что птицы у нас встречаются редко, но мне понравилось, как птица упорно не дается в руки и как отец, мать, сын и дочь то и дело налетают друг на друга, бегая по дому с наволочкой. Наконец птица поймана, и сын предлагает ее съесть, но дочь оказывается умнее, и по ее совету вся семья, как и положено, относит птицу в местный центр по контролю за животными. В качестве вознаграждения им дают три дополнительных белковых талона, и мать покупает на них белковые лепешки.

Когда рассказ кончился, мы пошли к северному краю Площади.

— Как тебе? — спросил Дэвид, но я ничего не ответила: мне было стыдно признаться, что я чувствую себя обманутой. Я-то думала, что муж и жена — просто муж и жена, как мы с моим мужем, и вдруг оказывается, что у них двое детей, мальчик и девочка, а это значит, что они все-таки не такие, как мы. Они не просто муж и жена — они отец и мать.

Но говорить об этом было глупо, поэтому я сказала:

— Неплохо.

— А по-моему, ерунда какая-то, — сказал Дэвид,

и я посмотрела на него. — Что это за квартира таких размеров, чтобы по ней можно было бегать? Что это за люди такие добропорядочные, что сразу отнесли птицу в центр?

Эти слова вызвали у меня одновременно восхищение и страх. Я посмотрела вниз, на собственные ботинки.

— Но это закон.

— Конечно, это закон, но он же рассказчик, — сказал Дэвид. — Неужели он действительно думает, будто мы поверим, что, если к нам в окно вдруг влетит большой, пухлый, сочный голубь, мы не убьем его тут же, не ощиплем и не отправим в духовку?

Подняв глаза, я увидела, что он смотрит на меня с полуулыбкой.

Я не знала, что сказать.

— Ну, это ведь просто рассказ.

— Вот именно, — сказал он, как будто я с ним соглашалась, и поднес руку к виску, шутливо отдавая мне честь. — Пока, Чарли. Спасибо за угощение и за компанию. — И с этими словами он двинулся на запад, в сторону Малой восьмерки.

Он не сказал, что мы увидимся через неделю, но когда в следующую субботу я вернулась на Площадь, он был там — стоял возле палатки рас-

сказчика, — и снова у меня странно защекотало в животе.

— Я подумал, что лучше бы нам прогуляться, если ты не против, — сказал он, хотя стояла жара — такая жара, что мне пришлось надеть охлаждающий костюм. Но он был все в той же серой рубашке, брюках и серой кепке, и казалось, что ему совсем не жарко. Он говорил так, будто мы собирались здесь встретиться, будто уже договорились, а теперь он предлагал поступить иначе.

Мы зашагали рядом, и я решилась задать вопрос, который мучил меня всю неделю.

— Я больше не вижу тебя на остановке, — сказала я.

— Да, — сказал он. — Я теперь работаю в другую смену. Езжу на шаттле, который отходит в 7:30.

— Ага, — сказала я и прибавила: — Мой муж тоже ездит в 7:30.

— Правда? А где он работает?

— На Пруду, — сказала я.

— А я на Ферме, — сказал Дэвид.

Спрашивать, знакомы ли они, не имело смысла, потому что Ферма была крупнейшим государственным учреждением в нашей префектуре и там работали десятки ученых и сотни технических специалистов, а кроме того, сотрудники

Пруда редко бывали за его пределами: у них почти не было повода встречаться с теми, кто работал на более крупных предприятиях.

— Я специалист по бромелиевым, — сказал Дэвид, хоть я и не спрашивала, потому что спрашивать, чем люди занимаются, не принято. — Так это официально называется, но на самом деле я обычный садовник. — Это тоже было странно — не просто рассказывать о своей работе, но рассказывать так, чтобы она казалась менее важной, чем есть на самом деле. — Я помогаю в скрещивании наших образцов, но в основном просто ухаживаю за растениями.

Он говорил бодро и деловито, но я вдруг ощутила потребность вступиться за его же собственную профессию.

— Это важная работа, — сказала я. — Нам очень нужны любые исследования с Фермы.

— Наверное, — сказал он. — Не то чтобы лично я проводил исследования. Но я люблю растения, как бы глупо это ни звучало.

— Я тоже люблю мизинчиков, — сказала я и вдруг поняла, что это правда. Я действительно любила мизинчиков. Они такие хрупкие, и жизнь у них такая короткая — несчастные существа, созданные только для того, чтобы их убили,

разрезали на части, изучили, а потом сожгли и забыли.

— Мизинчиков? — переспросил он. — А это что?

Мне пришлось коротко объяснить, в чем состоит моя работа, как я подготавливаю мизинчиков и как ученые раздражаются, если я не приношу их вовремя. Он рассмеялся, и от этого я занервничала: мне не хотелось, чтобы он думал, будто я жалуюсь на ученых или смеюсь над ними, потому что они выполняют нужную работу, и так я ему и сказала.

— Нет-нет, я не думаю, что ты их принижаешь, — сказал он. — Просто… они делают очень важное дело, но на самом деле они обычные люди, понимаешь? Они раздражаются и бывают не в настроении, как и все мы.

Я никогда раньше не думала об ученых вот так, как об обычных людях, и поэтому ничего не ответила.

— Давно ты замужем? — спросил Дэвид.

Это был очень прямолинейный вопрос, и на мгновение я замялась, не зная, что сказать.

— Наверное, мне не стоило спрашивать, — сказал он, глядя на меня. — Прости. Там, откуда я родом, люди говорят обо всем гораздо свободнее.

— А откуда ты родом?

Он был из Пятой префектуры, с юга, но у него не было акцента. Иногда люди переезжали из одной префектуры в другую, но обычно это происходило только в том случае, если у них были редкие или очень востребованные навыки. Я подумала, уж не важнее ли работа Дэвида, чем он сам говорит, — это объяснило бы, почему он оказался здесь, не просто во Второй префектуре, но в Восьмой зоне.

— Я замужем почти шесть лет, — сказала я, а потом добавила, потому что понимала, о чем он теперь спросит: — Мы бесплодны.

— Мне очень жаль, Чарли, — сказал он. Его голос звучал мягко, но в нем не было жалости, и, в отличие от некоторых, он не отвернулся от меня, как будто мое бесплодие — это что-то заразное. — Из-за болезни?

Это тоже прозвучало очень прямолинейно, но я уже начала привыкать к его манере и не так изумилась, как если бы это спрашивал кто-то другой.

— Да, семидесятого года, — сказала я.

— И твой муж — тоже?

— Да, — сказала я, хотя это была неправда.

Мне хотелось покончить с темой, которую вооб-

ще-то нельзя было обсуждать ни с незнакомцами, ни со случайными знакомыми, да и вообще ни с кем. Правительство упорно боролось со стигматизацией бесплодия. Теперь отказываться сдавать квартиру бесплодной паре стало незаконно, но большинство из нас все равно держались вместе, потому что так было проще: никто не смотрел на нас косо, и кроме того, не приходилось постоянно видеть чужих детей и ежедневно получать напоминания о нашей неполноценности. Например, почти все жители нашего с мужем здания были бесплодными. В прошлом году правительство даже разрешило бесплодным гражданам обоих полов вступать в брак с фертильными гражданами, но, насколько я знала, на самом деле никто этого не делал, потому что фертильные люди не стали бы ломать себе жизнь.

Наверное, у меня было странное выражение, потому что Дэвид вдруг коснулся моего плеча, и я вздрогнула и отпрянула, но он, казалось, не обиделся.

— Я тебя расстроил, Чарли, — сказал он. — Прости. Я не хотел лезть не в свое дело. — Он вздохнул. — Это не значит, что ты плохой человек.

Не успела я придумать, что ответить, как он

снова отдал мне честь на прощание, повернулся и зашагал прочь.

— Увидимся на следующей неделе, — сказал он, уходя.

— Хорошо, — сказала я.

Я стояла и смотрела ему вслед, пока он совсем не исчез из виду.

После этого мы с Дэвидом виделись каждую субботу, но наступил апрель, и стало еще теплее — так тепло, что наши прогулки скоро должны были закончиться, и я старалась не думать о том, что тогда будет.

Однажды вечером, примерно через месяц после того, как начались наши с Дэвидом встречи, муж посмотрел на меня за ужином и сказал:

— Ты изменилась.

— Правда? — отозвалась я.

Дэвид успел мне рассказать, как рос в Пятой префектуре, как они с друзьями лазили по деревьям за орехами пекан и так объедались, что им становилось плохо. Я спросила, не боялся ли он рвать орехи, потому что по закону все плодовые деревья принадлежат государству, но он ответил, что в Пятой префектуре за соблюдением законов следят не так строго. “На самом деле их интересует только Вторая префектура, потому что именно

там сосредоточены все деньги и власть", — сказал он. Он не понизил голос, и кто угодно мог это услышать, но, когда я попросила говорить тише, он как будто растерялся. "Почему? — спросил он. — Я же не сказал ничего, что можно расценить как государственную измену", — и я задумалась. Он действительно ничего такого не говорил, но было в его тоне нечто, отчего мне казалось, что все-таки говорил.

— Прости, — сказала я.

— Нет-нет, — сказал муж. — За что же тут просить прощения. Ты просто кажешься… — Он разглядывал меня так долго, как, наверное, не разглядывал никогда в жизни, так долго, что мне стало не по себе. — Здоровой. Довольной. Я рад видеть тебя такой.

— Спасибо, — сказала я наконец, и муж, который снова перевел взгляд на свою лепешку из тофу, кивнул.

Тем вечером, лежа в постели, я поняла, что уже несколько недель не задумываюсь о том, как мой муж проводит свободные вечера. Мне даже в голову не пришло заглянуть в коробку и проверить, нет ли там новых записок. Я вдруг представила дом на Бетюн-стрит, мужа, который проскальзывает в приоткрытую дверь, голос, произносящий:

“Ты сегодня поздно”, — и, чтобы отвлечься, подумала о Дэвиде, о том, как он улыбается и говорит, что у меня отличное чувство юмора.

Среди ночи я проснулась. Мне снился сон. Я редко видела сны, но этот был такой яркий, что, открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. Я гуляла по Площади с Дэвидом, мы стояли у северного входа, где начинается Пятая авеню, и вдруг он положил ладони мне на плечи и поцеловал меня. Меня мучило, что никаких ощущений я не запомнила, но знала, что было приятно и что мне понравилось. А потом я проснулась.

В следующие несколько ночей мне снова и снова снилось, что Дэвид целует меня. Я испытывала самые разные чувства: страх, но в основном восторг, а еще облегчение — меня никогда раньше не целовали, и я смирилась с тем, что этого уже не случится. Но вот оно случилось.

На третью субботу после того, как начались сны о поцелуях, я снова встретилась на Площади с Дэвидом. Это было на третьей неделе апреля, так что жара стояла невыносимая, и даже Дэвид пришел в охлаждающем костюме. Костюмы хорошо справлялись со своей задачей, но были такими объемистыми, что двигаться в них было неудобно, и нам приходилось идти медленно

— не только из-за громоздкой одежды, но и чтобы избежать лишней нагрузки.

Мы делали второй круг по Площади, Дэвид снова рассказывал мне разные истории о том, как прошло его детство в Пятой префектуре, и тут я вдруг увидела, что в нашу сторону идет мой муж.

Я остановилась.

— Чарли? — сказал Дэвид и посмотрел на меня. Но я не ответила.

Тем временем муж увидел меня и помахал нам в знак приветствия. Он был один, и на нем тоже был охлаждающий костюм.

— Добрый день, — сказал он, подходя ближе.

— Добрый день, — сказал Дэвид.

Я представила их друг другу, и они оба поклонились и обменялись несколькими фразами о погоде — без особых усилий, как это умели многие. А потом муж пошел дальше на север, а мы с Дэвидом — на запад.

— Похоже, твой муж приятный человек, — наконец сказал Дэвид, потому что я молчала.

— Да, — сказала я. — Это правда.

— У вас брак по договоренности?

— Да, его устроил мой дедушка, — сказала я.

Я вспомнила, как дедушка впервые заговорил

со мной о браке. Мне был двадцать один год, а в двадцать меня попросили уйти из колледжа, потому что моего отца объявили врагом государства, хотя он давно умер. Это было странное время: каждую неделю сначала появлялись слухи о том, что повстанческое движение укрепляет свои позиции, а потом — репортажи о его разгроме. В официальных новостях обещали, что государство с ним справится, и дедушка заверил меня, что так и будет. Но еще он сказал, что хочет устроить так, чтобы мне ничто не угрожало и чтобы кто-то всегда заботился обо мне.

— Но у меня есть ты, — сказала я, и он улыбнулся.

— Да, — сказал он, — все, что я делаю, — это для тебя, котенок. Но я не вечный и поэтому хочу сделать так, чтобы у тебя всегда был кто-то, кто защитит тебя, даже когда меня уже не станет.

Я ничего на это не сказала, потому что мне не нравилось, когда дедушка говорил, что умрет, но на следующей неделе мы с ним пошли к брачному маклеру. Тогда дедушка еще имел некоторое влияние, и выбранный им маклер работал с самыми важными клиентами в нашей префектуре — обычно он устраивал браки только для жителей Четырнадцатой зоны, но согласился

встретиться с дедушкой в качестве одолжения.

Мы сидели в приемной у него в офисе, когда открылась дверь и вошел маклер — высокий, худой, бледный.

— Доктор? — обратился он к дедушке.

— Да, — сказал дедушка, вставая. — Спасибо, что приняли нас.

— А как же, — сказал маклер, который с самого начала пристально смотрел на меня. — А это ваша внучка?

— Да, — с гордостью сказал дедушка и притянул меня к себе. — Это Чарли.

— Понятно, — сказал маклер. — Здравствуйте, Чарли.

— Здравствуйте, — прошептала я.

Наступила тишина.

— Она немного стесняется, — сказал дедушка и погладил меня по волосам.

— Понятно, — снова сказал маклер и обратился к дедушке: — Заходите, пожалуйста, доктор, я хотел бы поговорить с вами наедине. — Потом посмотрел на меня. — А вы, юная леди, подождите тут.

Я сидела там минут пятнадцать, постукивая каблуками по ножкам стула, — у меня есть такая дурная привычка. В комнате не на что было

посмотреть: четыре невзрачных стула и невзрачный серый ковер. Но потом я услышала из-за двери громкие голоса, как будто там спорили, подошла и прижалась к ней ухом.

Сначала я услышала голос маклера:

— При всем уважении, доктор, при всем *уважении* — по-моему, вам надо подойти к делу реалистически.

— Это что вообще значит? — поинтересовался дедушка, и я с удивлением различила в его голосе злость.

Наступила тишина, а когда маклер заговорил снова, его слова звучали тише, и мне пришлось сильно сосредоточиться, чтобы их разобрать.

— Доктор, простите, но ваша внучка…

— Моя внучка — что? — рявкнул дедушка, и снова повисло молчание.

— Особенная, — сказал маклер.

— Вот именно, — сказал дедушка. — Она *особенная,* совершенно особенная, и ей понадобится муж, который понимает, какая она особенная.

Этого мне хватило, и я снова села, а через несколько минут дедушка поспешно вышел из кабинета, открыл дверь на улицу и пропустил меня вперед. Мы оба долго молчали. Наконец я спросила:

— Ты нашел кого-нибудь для меня?

Дедушка фыркнул.

— Это просто идиот, — сказал он. — Вообще не понимает, чем занимается. Мы сходим к кому-нибудь еще, к кому-нибудь получше. Я зря потратил наше время, котенок, извини.

После этого мы ходили еще к двум маклерам, и оба раза дедушка быстро выходил из кабинета, уводил меня и, как только мы оказывались на улице, объявлял, что маклер дурак или кретин. Потом он сказал, что мне не обязательно ходить с ним, потому что он не хочет тратить еще и мое время. Наконец он нашел маклера, который ему понравился, — тот специализировался на подборе пар бесплодным клиентам, и дедушка наконец сказал мне, что есть человек, за кого я могла бы выйти замуж, — человек, который всегда будет заботиться обо мне.

Он показал мне фотографию моего будущего мужа. На обороте были написаны его имя, дата рождения, рост, вес, расовая принадлежность и род занятий. Там же стоял специальный штамп — им помечали документы всех бесплодных людей, и еще один штамп, свидетельствующий о том, что по крайней мере один из ближайших родственников клиента — враг государства. Обычно на

подобных карточках указывались имена и профессии родителей, но здесь эти графы остались незаполненными. Тем не менее, хотя родителей моего мужа объявили врагами государства, он, наверное, был знакомым или родственником какого-то влиятельного человека, потому что, как и я, он не попал в трудовой лагерь или в тюрьму и не оказался под арестом — он был свободен.

Я снова перевернула фотографию и посмотрела на него. Красивое серьезное лицо, короткие волосы аккуратно подстрижены. Он слегка приподнял подбородок, и поэтому казалось, что он смотрит с вызовом. Часто бесплодные люди или родственники предателей опускали глаза, как будто чувствовали себя виноватыми или опозоренными, а он — нет.

— Что скажешь? — спросил дедушка.

— Нормально, — ответила я, и дедушка сказал, что устроит мне встречу с ним.

После встречи назначили дату свадьбы, которая должна была состояться через год. Как я уже говорила, мой муж учился в аспирантуре, когда его исключили, но он пытался обжаловать это решение — еще одно доказательство, что кто-то ему помогал, — поэтому попросил отложить брак до окончания судебного процесса, и дедушка

согласился.

Однажды, через несколько месяцев после того, как мы оба подписали соглашения, мы с дедушкой шли по Пятой авеню, и он сказал:

— Браки бывают разными, котенок.

Я ждала, что он скажет дальше, и он наконец заговорил опять, но гораздо медленнее, чем обычно, постоянно делая паузы.

— Некоторые люди, — начал он, — очень стремятся друг к другу. Между ними существует… существует химия, взаимное влечение. Ты понимаешь, о чем я?

— О сексе, — сказала я. Дедушка сам объяснил мне, что это такое, еще много лет назад.

— Правильно, — сказал он. — О сексе. Но такое влечение есть не у всех. Мужчина, за которого ты собираешься замуж, котенок, не заинтересован в том, чтобы… с… Короче. Скажем так, он в этом не заинтересован. Но это не делает ваш брак менее настоящим. И это не значит, что твой муж или ты чем-то плохи. Я хочу, чтобы ты знала, котенок, что секс — это часть брака, но не всегда. И не в нем заключается весь смысл брака, совсем не в нем. Твой муж всегда будет прекрасно к тебе относиться, я тебе обещаю. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Я подумала, что, наверное, понимаю, но потом подумала, что, может быть, я понимаю его не так, как он имеет в виду.

— Наверное, — сказала я, и он посмотрел на меня и кивнул.

Потом, когда дедушка пришел поцеловать меня на ночь, он сказал: “Твой муж всегда будет хорошо с тобой обращаться, котенок. В этом я нисколько не сомневаюсь”, — и я кивнула, хотя, мне кажется, на самом деле дедушка все-таки сомневался, потому что научил меня, что делать, если муж когда-нибудь начнет обращаться со мной плохо — хотя, как я уже говорила, этого ни разу не случилось.

Я думала обо всем этом, когда попрощалась с Дэвидом и наконец вернулась в квартиру. Муж пришел домой, как раз когда я заканчивала готовить ужин, снял охлаждающий костюм, накрыл на стол и налил нам обоим воды.

Я немного боялась снова увидеть мужа после нашей встречи на Площади, но было похоже, что этот ужин не должен ничем отличаться от любого другого. Я не знала, чем занимается муж по субботам, но обычно он уходил не на весь день. По утрам он отправлялся за продуктами, а по воскресеньям мы вместе занимались домашними

делами: уборкой, а если была наша очередь, то и стиркой, а потом шли отрабатывать свои часы в общественном саду — правда, не одновременно, а по очереди.

На ужин были остатки тофу, которые я добавила в холодный суп, и пока мы ели, муж сказал, не поднимая головы:

— Я был рад встретить Дэвида.

— А, — сказала я. — Ага.

— Как вы с ним познакомились?

— На одном из представлений рассказчика. Он сел рядом со мной.

— Когда?

— Почти два месяца назад.

Он кивнул:

— Где он работает?

— На Ферме, — сказала я. — Занимается растениями.

Муж посмотрел на меня:

— Откуда он?

— Из Малой восьмерки, — сказала я. — Но раньше он жил в Пятой префектуре.

Муж вытер губы салфеткой и откинулся на спинку стула, глядя в потолок. Казалось, он хочет что-то сказать, но у него не выходит. Потом он спросил:

— И что вы с ним делаете вместе?

Я пожала плечами.

— Ходим слушать истории, — ответила я, хотя мы их не слушали по меньшей мере месяц. — Гуляем по Площади. Он рассказывает мне, как вырос в Пятой префектуре.

— А ты ему что рассказываешь?

— Ничего, — сказала я и вдруг поняла, что это правда. Мне нечего было рассказать — ни Дэвиду, ни мужу.

Муж вздохнул и провел ладонью по лбу — он всегда так делал, когда уставал.

— Кобра, — сказал он, — я хочу, чтобы ты была осторожна. Я рад, что у тебя есть друг, правда рад. Но ты… ты почти не знаешь этого человека. Я просто хочу, чтобы ты не теряла бдительности. — Он говорил ласково, как и всегда, но смотрел прямо на меня, и в конце концов я отвела взгляд. — Ты не думала, что он может оказаться правительственным агентом?

Я ничего не сказала. Во мне что-то закипало.

— Кобра? — мягко окликнул меня муж.

— Потому что никому бы не пришло в голову со мной дружить, ты это имеешь в виду?

Я никогда не повышала голос на мужа, никогда не сердилась на него, и теперь вид у него был

потрясенный — он даже приоткрыл рот.

— Нет, — сказал он. — Я не это имел в виду. Я просто… — Он умолк и начал заново: — Я обещал твоему дедушке, что всегда буду заботиться о тебе.

Несколько секунд я сидела неподвижно. Потом встала, вышла из-за стола, пошла в спальню, закрыла дверь и легла на кровать. Наступила тишина, и я слышала, как отодвинулся стул моего мужа, как он начал мыть посуду, как играло радио, а потом он вошел в комнату, и я притворилась спящей. Я слышала, как он сел на свою кровать, и ждала, что он заговорит со мной. Но он не заговорил, и вскоре по его дыханию я поняла, что он уснул.

Естественно, мне приходило в голову, что Дэвид может быть осведомителем. Но если это так, то осведомитель из него был плохой, потому что те вели себя тихо и старались остаться незаметными, а он не был ни тихим, ни незаметным. Впрочем, думала я и о том, что это обманный ход: само его несоответствие этой роли повышало вероятность, что он как раз таки осведомитель. Но вот что любопытно: осведомители были *настолько* тихими и незаметными, что обычно люди догадывались, кто они, — пусть не сразу,

но со временем. Было в них нечто особенное — дедушка называл это безжизненностью. Но в конце концов я решила, что главная причина, по которой Дэвид все-таки не может быть осведомителем, — это я сама. Кто мог бы заинтересоваться мной? Какие у меня были секреты? Все знали, кто мои дедушка и отец; все знали, что с ними случилось; все знали, за что их осудили, а в случае дедушки — как приговор был отменен, хотя и слишком поздно. Единственным неправильным поступком, который я совершила, была слежка за мужем, но вряд ли за такое преступление ко мне полагалось приставить осведомителя.

Но если Дэвид никак не мог быть осведомителем, тогда *почему* он проводил время со мной? Люди никогда не выражали желания со мной общаться. Когда я оправилась от болезни, дедушка стал водить меня на занятия со сверстниками. Родители сидели на специально предназначенных для них стульях, а дети играли. Но после нескольких таких занятий мы перестали туда ходить. В этом не было ничего страшного, потому что я всегда могла играть, разговаривать и проводить время с дедушкой — а потом это кончилось.

Я лежала в кровати, слушая дыхание мужа и думая о его словах, и гадала: вдруг я на самом

деле не та, за кого себя принимаю? Я знала, что я скучная, что со мной неинтересно, что я часто не понимаю людей. Но может быть, я изменилась, даже не подозревая об этом. Может быть, я уже не та, кем себя считаю.

Я встала и пошла в ванную. Над раковиной висело маленькое зеркало, которое можно было наклонить, чтобы увидеть себя целиком. Я разделась, осмотрела свое отражение и поняла, что совсем не изменилась. Я была все той же: толстые ноги, жидкие волосы, маленькие глаза. Все во мне осталось прежним; я была точно такой, какой всегда себя представляла.

Я оделась, выключила свет и вернулась в спальню. И тут мне стало очень нехорошо, потому что муж прав — странно, что Дэвид вообще разговаривает со мной. Я, в отличие от него, никто.

Ты не никто, котенок, сказал бы дедушка. *Ты моя внучка.*

Но вот что еще более странно: мне было все равно, почему Дэвид решил стать моим другом. Я просто хотела, чтобы он *оставался* моим другом. И я подумала: не важно, что у него на уме, это ничего не изменит. А еще я поняла, что чем раньше лягу спать, тем скорее наступит воскресенье, а за ним понедельник и вторник, и с каждым

прошедшим днем я буду все ближе к тому, чтобы увидеть его снова. И именно эта мысль заставила меня закрыть глаза и наконец заснуть.

Я уже давно не рассказывала, что происходило в лаборатории.

Дело в том, что дружба с Дэвидом поглотила все мое внимание и у меня почти не оставалось ни времени, ни желания подслушивать кандидатов. Кроме того, необходимость держаться незаметно отпала, потому что научные сотрудники начали обсуждать происходящее открыто, хотя и не должны были. Конечно, узнать подробности было нелегко — и в любом случае я мало что поняла бы, — но было похоже, что появился новый вирус и что, согласно прогнозам, он смертельно опасен. Больше я ничего не знала. То есть я знала, что вирус обнаружен где-то в Южной Америке и большинство ученых подозревают, что он распространяется воздушно-капельным путем и, вероятно, вызывает геморрагическую лихорадку, а также может передаваться через биологические жидкости. Это было хуже всего: мы были плохо подготовлены к борьбе с такими вирусами, потому что очень много средств выделялось на изучение респираторных заболеваний — именно их чаще всего пытались предотвратить. Но боль-

ше я ничего не знала, потому что ученые, как мне казалось, тоже больше ничего не знали: ни степени заразности нового вируса, ни длительности инкубационного периода, ни частоты смертельных исходов. Я даже сомневаюсь, что они знали, сколько людей уже погибло. Очень плохо, что все началось в Южной Америке, потому что Южная Америка всегда предоставляла очень мало информации об исследованиях и инфекциях на своей территории, а во время последней вспышки Пекину пришлось пригрозить им суровыми санкциями, чтобы заставить их сотрудничать.

Это может показаться удивительным, но, несмотря на происходящее, настроение в лаборатории было приподнятое. Ученым нравилось, что им есть на чем сосредоточиться, и первоначальное беспокойство сменилось азартным волнением. Для большинства молодых ученых это была первая серьезная задача; многие кандидаты были моими сверстниками и, как и я, почти не помнили событий 70-го, а после того, как запретили путешествия, болезней в целом стало меньше. Вслух все выражали надежду, что это единичный инцидент и его удастся быстро локализовать, но я слышала, как они потом шепчутся, а иногда видела, как они едва заметно улыбаются,

и знала: это потому, что старшие коллеги всегда говорили им, что они избалованы, поскольку еще не сталкивались с пандемией как специалисты, но теперь-то у них есть шанс.

Я тоже не боялась, моя жизнь оставалась такой же, как и раньше. Лаборатории всегда будут нужны мизинчики, независимо от того, окажется новая инфекция чем-то серьезным или нет.

Но другая причина моего спокойствия заключалась в том, что у меня появился друг. Лет десять назад был принят закон, предписывающий людям регистрировать данные о своих друзьях в местном Центре, но его быстро отменили. Даже дедушка сказал, что это нелепая идея. “Я понимаю, что они хотят сделать, — сказал он, — но людям есть чем заняться, когда им разрешено иметь друзей, а следовательно, они доставляют меньше хлопот”. Теперь даже я могла убедиться, что это правда. Я поймала себя на том, что замечаю разные вещи, о которых мне хочется рассказать Дэвиду. Конечно, я бы никогда не стала ему рассказывать, что происходит в лаборатории, но иногда пыталась представить наш разговор на эту тему. Сначала это было трудно, потому что я не могла понять, как Дэвид рассуждает. Потом мне стало ясно, что чаще всего он

говорит нечто противоположное тому, что сказал бы обычный человек. То есть если бы я сказала: “У нас в лаборатории все беспокоятся из-за нового вируса”, обычный человек спросил бы: “Он очень опасный?” Но Дэвид сказал бы что-нибудь другое, возможно, совсем другое, например: “А откуда ты знаешь, что они беспокоятся?” И тогда мне пришлось бы подумать, прежде чем отвечать: и действительно, *откуда* я знаю, что они беспокоятся? Так я как будто с ним разговаривала в те дни, когда мы не виделись.

Но некоторыми наблюдениями я все-таки могла с ним поделиться. Например, возвращаясь домой на шаттле, я видела, как одна из полицейских собак — а они обычно были тихие и дисциплинированные — подскочила и залаяла, виляя хвостом, когда перед ней пролетела бабочка. А когда Бэлль, та самая кандидатка, родила дочь, она разослала десятки коробок с печеньем с настоящим лимоном и сахаром во все лаборатории на нашем этаже, и каждому сотруднику досталось по одной штуке, даже мне. А еще я обнаружила мизинчика с двумя головами и шестью лапами. Раньше я бы приберегла эти новости, чтобы рассказать мужу за ужином. Но теперь я думала только о том, что скажет Дэвид,

так что, даже наблюдая за чем-то, я все время представляла, каким будет его лицо, когда я ему все это расскажу.

В следующую субботу, когда мы встретились, было слишком жарко для прогулок — даже в охлаждающих костюмах.

— Знаешь что? — сказал Дэвид, пока мы медленно шли на запад. — Лучше пойти в Центр, где мы могли бы послушать концерт.

Я задумалась.

— Но тогда мы не сможем поговорить, — сказала я.

— Да, это правда, — ответил он. — Во время концерта не сможем. Но мы могли бы поговорить потом, на дорожке.

В Центре работали кондиционеры, и там можно было гулять по крытой круговой дорожке.

Я ничего на это не сказала, и он посмотрел на меня:

— Ты часто ходишь в Центр?

— Да, — ответила я, хотя это была неправда. Но я не хотела говорить правду — что я слишком боюсь заходить внутрь. — Мой дедушка считал, что я должна ходить туда чаще, что мне там понравится.

— Ты не в первый раз упоминаешь дедушку, —

сказал Дэвид. — Какой он был?

— Он был хороший, — сказала я, помолчав, хотя это было не слишком подходящее слово для дедушки. — Он любил меня, — сказала я наконец. — Заботился обо мне. Мы с ним играли в игры.

— В какие?

Я уже собиралась ответить, но тут мне вдруг пришло в голову, что игры, в которые мы с дедушкой играли, — например, когда он учил меня поддерживать разговор или когда я пыталась описать встреченных на улице людей, — на самом деле никто, кроме нас, не счел бы играми, а если я буду их так называть, Дэвид решит, что я странная, потому что для меня это были игры и я в них нуждалась. И я сказала: “В мяч и в карты, всякое такое”, — потому что знала, что это обычные игры, и была довольна, что нашлась с ответом.

— Здорово, — сказал Дэвид. Мы прошли еще немного. — Твой дедушка тоже был лаборантом, как ты? — спросил он.

Это был не такой уж и странный вопрос, как может показаться. Если бы у меня родился ребенок, он, скорее всего, работал бы лаборантом или каким-нибудь техническим сотрудником — раз-

ве что он оказался бы невероятно талантливым и поэтому в раннем возрасте прошел бы отбор, чтобы стать, например, ученым. Но во времена дедушкиной молодости можно было самостоятельно выбрать себе специальность и потом этим и заниматься.

Тут я поняла, что Дэвид не знает, кто мой дедушка. Когда-то все знали, кто он такой, а теперь, наверное, его имя известно только членам правительства и ученым. Но я ведь и не называла Дэвиду свою фамилию. Для него мой дедушка был просто мой дедушка — и все.

— Да, — сказала я. — Он тоже был лаборантом.

— И работал в Университете Рокфеллера?

— Да, — сказала я, потому что это была правда.

— А как он выглядел? — спросил он.

Это странно, но, хотя я постоянно думаю о дедушке, его внешность постепенно стирается из моей памяти. Куда лучше я помню звук его голоса, его запах и что я чувствовала, когда он обнимал меня. Чаще всего в моих воспоминаниях повторяется тот день, когда его вели к помосту, когда он искал меня в толпе и его глаза скользили по сотням людей — людей, которые собрались, чтобы смотреть на него и улюлюкать, — когда он выкрикивал мое имя, пока палач не надел ему на

голову черный капюшон.

Но конечно, этого я сказать не могла.

— Он был высокий, — начала я. — И очень худой. Кожа темнее, чем у меня. Волосы короткие, седые, и… — Тут я запнулась, потому что действительно не знала, что еще сказать.

— Он элегантно одевался? — спросил Дэвид. — Мой дедушка по материнской линии любил элегантную одежду.

— Нет, — сказала я, хотя тут вспомнила кольцо, которое дедушка носил, когда я была маленькая. Оно было очень старое, золотое, с жемчужиной, а если нажать на маленькие защелки по бокам оправы, жемчужина приподнималась, и под ней было крошечное потайное отделение. Дедушка носил это кольцо на левом мизинце и всегда поворачивал жемчужиной внутрь. Но потом он вдруг перестал его носить, и когда я спросила почему, он похвалил меня за наблюдательность.

— Но где же оно? — не унималась я, и он улыбнулся.

— Мне пришлось отдать его фее за труды, — сказал он.

— Какой фее? — спросила я.

— Ну как же, той, которая присматривала за тобой, пока ты болела, — сказал он. — Я обещал

дать ей все, что она захочет, если она позаботится о тебе, и она сказала, что выполнит мою просьбу, но мне нужно будет отдать ей свое кольцо.

Тогда с моего выздоровления прошло уже несколько лет, и к тому же я знала, что фей не существует, но всякий раз, стоило мне спросить дедушку об этом, он только улыбался и повторял все ту же историю, и в конце концов я перестала спрашивать.

Об этом я тоже не могла рассказать Дэвиду, да и в любом случае он уже начал говорить о своем втором деде, который был фермером в Пятой префектуре еще до того, как она стала называться Пятой префектурой. Дед разводил свиней, коров и коз, и у него было сто персиковых деревьев, и Дэвид сказал, что навещал его, когда был маленьким, и наедался персиками до отвала.

— Стыдно признаться, но в детстве я ненавидел персики, — сказал он. — Их было так много! Бабушка пекла с ними пирожки, кексы и хлеб, делала варенье, мороженое и смокву — это когда ломтики высушивают на солнце, пока они не станут жесткими, как вяленое мясо. А консервировала она столько этих персиков, что нам и соседям хватало до конца года.

Но потом ферма перешла в государственную

собственность, и дед Дэвида теперь не владел ею, а работал на ней, а персиковые деревья вырубили, чтобы освободить место под сою: она более калорийная, чем персики, а значит, сажать ее выгоднее. Так свободно говорить о прошлом и уж тем более о государственных реквизициях, как это делал Дэвид, было опрометчиво, но он рассказывал обо всем этом так же непринужденно, как и о персиках. Дедушка однажды сказал, что людям не рекомендуют обсуждать прошлое, потому что многие начинают злиться или мрачнеть, но в голосе Дэвида не было ни злости, ни мрачности. Как будто то, что он описывал, случилось не с ним, а с кем-то другим — с кем-то, кого он почти не знал.

— Теперь, конечно, я бы убил за персик, — весело сказал он, когда мы приблизились к северной части Площади, где встречались и расставались каждую субботу. — Увидимся на следующей неделе, Чарли. Подумай, чем тебе хотелось бы заняться в Центре.

Вернувшись домой, я достала из шкафа коробку и стала рассматривать фотографии дедушки. Первая из них была сделана, когда он учился в медицинском университете. На ней он смеется, и волосы у него черные, длинные и вьющиеся.

На второй он снят с моим отцом, еще совсем маленьким мальчиком, и вторым моим дедом, с тем, который со мной генетически связан. В моем воображении отец похож на дедушку, но по этой фотографии видно, что на самом деле он похож на второго деда: у них обоих кожа светлее и прямые темные волосы, как и у меня когда-то. На третьей фотографии, моей любимой, дедушка как раз такой, каким я его помню. Он широко улыбается, держа на руках маленького худенького малыша, и этот малыш — я. “Чарльз и Чарли, — написал кто-то на обороте. — 12 сентября 2064 года”.

Я поймала себя на том, что думаю о дедушке и чаще, и реже с тех пор, как познакомилась с Дэвидом. Мне не нужно постоянно вести с ним мысленные беседы, как раньше, но при этом хочется говорить с ним больше, в основном про Дэвида и про то, каково это — иметь друга. Мне было интересно, что бы он о нем подумал. Согласился бы он с моим мужем?

А еще мне было интересно, что подумал бы Дэвид о моем дедушке. Странно было осознавать, что он не знает, кто такой дедушка, что для него это просто мой родственник, которого я любила и который умер. Как я уже говорила, все, с кем я работала, знали моего дедушку. На крыше одного из

корпусов УР есть теплица, названная в его честь, и есть даже закон, названный его именем, — акт Гриффита, который узаконил центры перемещения, когда-то называвшиеся карантинными лагерями.

Но еще не так давно многие ненавидели дедушку. Я подозреваю, что некоторые ненавидят его до сих пор, но про этих людей давно ничего не слышно. Впервые я осознала, что эта ненависть существует, когда мне было одиннадцать, на уроке гражданского права. Мы изучали, как после пандемии 50 года начало формироваться новое правительство, и к пандемии 56-го оно подготовилось лучше, а в 62-м было создано новое государство. Одним из изобретений, сдержавших распространение болезни в 70-м — она была серьезной, но могла оказаться еще серьезнее, — стали центры перемещения, которые сначала находились только на Западе и Среднем Западе, но к 69 году были уже в каждом муниципалитете.

— Эти лагеря стали очень важной вехой для наших ученых и врачей, — сказала учительница. — Кто знает, как назывались самые первые лагеря?

Все начали выкрикивать ответы. Харт-Маун-

тин. Ровер. Минидока. Джером. Постон. Хила-Ривер.

— Да, да, — говорила учительница после каждого названия. — Да, правильно. А кто знает, кто основал эти лагеря?

Никто не знал. Мисс Бетесда посмотрела на меня.

— Это был дедушка Чарли, — сказала она. — Доктор Чарльз Гриффит. Он был одним из создателей лагерей.

Все повернулись, чтобы посмотреть на меня, и я почувствовала, как лицу становится жарко от смущения. Мне нравилась наша учительница — она всегда была добра ко мне. Когда другие дети в школьном дворе, смеясь, убегали от меня, она всегда подходила и спрашивала, не хочу ли я вернуться в класс и помочь ей раздать рисовальные принадлежности для следующего урока. Но теперь, когда я подняла глаза, учительница смотрела на меня как обычно, и все же что-то было не так. Мне казалось, что она на меня сердится, но я не знала почему.

В тот вечер за ужином я спросила дедушку, действительно ли он придумал центры. Он посмотрел на меня, махнул рукой, и помощник по дому, который наливал мне молоко, поставил

кувшин на стол и вышел из комнаты.

— Почему ты спрашиваешь, котенок? — обратился он ко мне после того, как помощник закрыл за собой дверь.

— Мы их проходили на уроке гражданского права, — сказала я. — Учительница говорит, что ты один из тех, кто их придумал.

— Вот как, — сказал дедушка, и хотя его голос звучал как обычно, я заметила, что он стиснул левую руку в кулак так сильно, что она дрожит. Потом он увидел, что я смотрю, разжал руку и положил ладонь на стол. — А еще что она говорит?

Я объяснила дедушке, что, по словам мисс Бетесды, центры предотвратили множество смертей, и он медленно кивнул. Некоторое время он молчал, и я слушала тиканье часов, которые стояли на каминной полке.

Наконец дедушка заговорил.

— Много лет назад, — сказал он, — были люди, которые выступали против лагерей, не хотели их строить и считали меня плохим человеком, потому что я поддерживал их создание.

Наверное, у меня был удивленный вид, потому что он кивнул.

— Да, — сказал он. — Они не понимали, что лагеря нужны ради нашего — всеобщего — здоровья

и безопасности. В конце концов люди осознали, что лагеря необходимы и что мы вынуждены их строить. Ты понимаешь почему?

— Да, — сказала я. Это я тоже узнала на уроках гражданского права. — Потому что заболевшие должны жить где-то отдельно, чтобы здоровые от них не заразились.

— Правильно, — сказал дедушка.

— Тогда почему они людям не нравились? — спросила я.

Дедушка поднял глаза к потолку — он всегда так делал, когда раздумывал над тем, как мне ответить.

— Это трудно объяснить, — медленно сказал он. — Одна из причин в том, что в те времена изолировали только зараженного человека, а не всю его семью, и некоторые считали, что разлучать людей с их семьями жестоко.

— А, — сказала я, подумала об этом и добавила: — Я бы не захотела расставаться с тобой, дедушка.

Он улыбнулся.

— И я бы ни за что не расстался с тобой, котенок, — сказал он. — Поэтому подход изменился, и теперь людей отправляют в центры целыми семьями.

Мне не нужно было спрашивать, что происходит в центрах, потому что я это знала и так: там умирают. Но по крайней мере умирают в чистом, безопасном и хорошо оборудованном месте, где есть школы для детей и спортивные площадки для взрослых, а когда людям становится совсем плохо, их отвозят в центральную больницу, белую и сверкающую, и врачи и медсестры ухаживают за пациентами до самого конца. Я видела фотографии центров по телевизору, и в нашем учебнике тоже были фотографии. На одной из них, снятой в Харт-Маунтин, смеющаяся молодая женщина держит на руках маленькую девочку, которая тоже смеется; на заднем плане виден их домик, перед которым растет яблоня. Рядом с женщиной и девочкой стоит врач, и хотя она полностью одета в защитный костюм, видно, что и она смеется, а ее рука лежит у женщины на плече. Посещать людей, живущих в центрах, запрещалось в целях безопасности, но отправиться туда вместе с больным мог кто угодно, и иногда в центры переезжали целые семьи, включая дальних родственников: матери, отцы и дети, бабушки и дедушки, тетки и дядья, двоюродные братья и сестры. Сначала переселение в центры было добровольным. Потом оно стало обязательным,

и не все были с этим согласны: дедушка говорил, что людям не нравится, когда им указывают, что делать, даже если это на благо их сограждан.

Конечно, к тому моменту — это было в 2075-м — в центрах было меньше людей, потому что эпидемию почти удалось локализовать. Иногда я смотрела на фотографию в учебнике и жалела, что сама не живу в одном из таких центров. Не потому, что я хотела заболеть или хотела, чтобы дедушка заболел, а потому, что там очень красиво, вокруг яблони и широкие зеленые поля. Но мы бы никогда туда не поехали — не только потому, что нам не разрешали, но и потому, что дедушка был нужен здесь. Вот почему мы не переселились в центр, когда я болела, — дедушке нужно было находиться рядом со своей лабораторией, а ближайший центр на острове Дэвидс, далеко к северу от Манхэттена, что слишком неудобно.

— У тебя еще остались вопросы? — спросил дедушка с улыбкой.

— Нет, — сказала я.

Это было в пятницу. В следующий понедельник я пошла в школу, и вместо нашей учительницы у доски стоял какой-то незнакомец — невысокий темнокожий мужчина с усами.

— А где мисс Бетесда? — спросил кто-то.

— Мисс Бетесда больше не работает в этой школе, — сказал он. — Я ваш новый учитель.

— Она заболела? — спросил кто-то другой.

— Нет, — ответил новый учитель. — Но она больше здесь не работает.

Не знаю почему, но я не сказала дедушке, что мисс Бетесда пропала. Я ничего не сказала ему, хотя мисс Бетесду больше никогда не видела. Позже я узнала, что центры, видимо, все-таки не были похожи на фотографии в учебнике. Это было в 2088-м, в начале второго восстания. В следующем году повстанцы были окончательно разгромлены, а репутация и статус дедушки восстановлены. Но к тому времени было слишком поздно. Дедушки уже не было в живых, и я осталась одна с мужем.

На протяжении многих лет я время от времени думала о центрах перемещения. О них рассказывали по-разному — что из этого правда? За несколько месяцев до того, как дедушку убили, перед нашим домом начались протестные марши: люди несли большие фотографии, которые, по их словам, были сделаны в центрах. “Не смотри, — говорил мне дедушка в тех редких случаях, когда мы выходили из дому. — Отвернись, котенок”. Но иногда я все-таки смотрела, и люди

на фотографиях были такие изуродованные, что даже уже на людей не были похожи.

Но я никогда не думала, что дедушка плохой. Он делал то, что нужно было делать. И он заботился обо мне всю мою жизнь. Не было никого, кто относился бы ко мне лучше, никого, кто любил бы меня больше. Мой отец был не согласен с дедушкой; не помню, как я узнала об этом, но я знала. Он хотел, чтобы дедушку наказали. Это странно — мой собственный отец хотел, чтобы его отца посадили в тюрьму. Но это не меняло моего отношения к дедушке. Отец оставил меня, когда я была маленькая, а дедушка всегда был рядом. Я не понимала, как человек, который бросил своего ребенка, может быть лучше того, кто лишь пытался спасти как можно больше людей, даже если при этом он совершал ошибки.

В следующую субботу мы, как всегда, встретились с Дэвидом на Площади; он снова предложил пойти в Центр, и на этот раз я согласилась, потому что стало уже очень жарко. Мы прошли восемь с половиной кварталов на север очень медленным шагом, чтобы снизить нагрузку на охлаждающие костюмы.

Дэвид сказал, что мы будем слушать концерт, но когда мы заплатили за билеты, на сцену вы-

шел один-единственный музыкант, молодой темнокожий виолончелист. Как только все расселись, он поклонился и начал играть.

Я и не думала, что мне может понравиться виолончель, но когда концерт закончился, я пожалела, что согласилась прогуляться по крытой дорожке: лучше бы я пошла домой. Что-то в этой музыке заставило меня вспомнить ту музыку, которая звучала по радио в дедушкином кабинете, когда я была маленькая, и я так заскучала по нему, что мне стало трудно глотать.

— Чарли? — окликнул меня Дэвид. Вид у него был обеспокоенный. — Ты в порядке?

— Да, — сказала я и заставила себя встать и выйти из зала, который к тому времени уже опустел — ушел даже виолончелист.

С краю от дорожки стоял мужчина, продававший фруктовые напитки со льдом. Мы оба посмотрели на него, а потом друг на друга, потому что ни один из нас не знал, может ли другой позволить себе сок.

— Я могу его купить, — сказала я наконец.

Дэвид улыбнулся.

— Я тоже могу, — сказал он.

Мы пошли по прогулочной дорожке с напитками в руках. Людей было мало, всего человек

десять. Мы не стали снимать охлаждающие костюмы — так было проще и удобнее, — но сдули их, и было приятно, что они больше не мешают ходить.

Некоторое время мы шли молча. Потом Дэвид спросил:

— Тебе никогда не хотелось побывать в другой стране?

— Это запрещено, — сказала я.

— Я знаю, что запрещено, — сказал он. — Но тебе хотелось бы?

Я вдруг почувствовала, что меня утомила странная манера Дэвида вести разговор, его склонность всегда задавать мне если не незаконные, то как минимум невежливые вопросы на такие темы, о которых не принято задумываться, не говоря уже о том, чтобы обсуждать их. И какой смысл хотеть того, что запрещено? Мечтания ничего не изменят. Долгое время я хотела, чтобы дедушка вернулся, — если честно, я хочу этого до сих пор. Но он никогда не вернется. Лучше вообще ничего не хотеть: мечтания делают людей несчастными, а я не чувствую себя несчастной.

Помню, как однажды, когда я училась в колледже, одна из моих однокурсниц придумала способ получить доступ в интернет. Это было

непросто, но она была очень умная, и хотя потом кто-то из девушек тоже решил посмотреть, что это такое, я не захотела. Конечно, я знала, что такое интернет, хотя была слишком маленькая, чтобы помнить его: мне было всего три года, когда его запретили. Я даже не вполне понимала, в чем его предназначение. Однажды, когда я была подростком, я попросила дедушку, чтобы он объяснил, и он долго молчал, а потом наконец сказал, что интернет давал людям возможность общаться друг с другом на огромном расстоянии. “Проблема в том, — сказал он, — что такое общение часто позволяет людям обмениваться ложной информацией — искаженными, вредными сведениями. А когда такое происходит, последствия бывают очень серьезными”. По его словам, после запрета жить стало безопаснее, потому что все получают одну и ту же информацию в одно и то же время, то есть легче избежать путаницы. Мне показалось, что это разумно. Потом, когда четыре девушки, сумевшие получить доступ в интернет, исчезли, почти все решили, что это сделало государство. Но я помнила, что сказал дедушка, и гадала — может быть, они связались через интернет с людьми, которые обладают опасной информацией, и поэтому с ними

случилось что-то плохое. В общем, мне не было особого смысла задаваться вопросом, каково это — делать что-то, что мне никогда не разрешат, или ездить туда, куда я никогда не попаду. Я не задумывалась ни о том, чтобы найти доступ в интернет, ни о том, чтобы уехать в другую страну. Некоторые задумывались, а я нет.

— Да нет, — сказала я.

— Но разве ты не хочешь посмотреть, как выглядит какая-нибудь другая страна? — спросил Дэвид, и теперь даже он понизил голос. — Может, где-нибудь там лучше, чем здесь.

— В каком смысле лучше? — спросила я, не удержавшись.

— Лучше во многих отношениях, — сказал он. — Например, в другой стране мы могли бы заниматься другой работой.

— Мне нравится моя работа, — сказала я.

— Я знаю, — сказал он. — Мне тоже нравится моя работа. Я просто размышляю вслух.

Но мне не казалось, что в другой стране что-то может быть по-другому. Везде бушевали эпидемии. Везде было одинаково.

Правда, дедушка, когда ему было примерно столько же лет, сколько мне сейчас, успел побывать во многих странах. В те времена поехать

можно было куда угодно, если хватало денег. И вот, окончив университет, он сел в самолет и оказался в Японии. Из Японии он отправился на запад: через Корею, через всю Китайскую Народную Республику, с севера на юг Индии, потом в Турцию, в Грецию, в Италию, в Германию, в Нижние Земли. Несколько месяцев он пробыл в Британии, где гостил у друзей своего университетского друга, а потом поехал дальше: на юг вдоль одного побережья Африки и обратно на север вдоль другого, на юг вдоль одного побережья Южной Америки и обратно на север вдоль другого. Он ездил в Австралию и в Новую Зеландию, в Канаду и в Россию. В Индии он катался верхом на верблюде через пустыню, в Японии поднимался на вершину горы, в Греции плавал в воде, которая, по его словам, была голубее неба. Я тогда спросила, почему он не остался дома, и он сказал, что дом слишком маленький, а он хотел посмотреть, как живут другие люди, что они едят, что носят, чем хотят заниматься в жизни.

— Я родился на крошечном острове, — сказал он. — Я знал, что в мире есть самые разные люди и что я так никогда не увижу, как они живут, если останусь. Так что мне надо было уехать.

— И что, они жили лучше? — спросила я.

— Не лучше, — сказал он. — Но по-другому. Чем больше я видел, тем менее вероятным казалось возвращение.

Мы говорили шепотом, хотя дедушка включил радио, чтобы музыка заглушала наш разговор и его не могли записать подслушивающие устройства, которые были установлены по всему дому.

Но весь остальной мир, наверное, все-таки оказался лучше, потому что в Австралии дедушка встретил другого человека с Гавай'ев, они полюбили друг друга и вернулись на Гавай'и, где у них появился сын, мой отец. А потом они переехали в Америку и домой больше не возвращались, даже до пандемии 50-го. А потом уже смысла не было, потому что на Гавай'ях все умерли, а они втроем к этому моменту получили американское гражданство. А потом, после принятия законов 67 года, все равно больше никому нельзя было выезжать из страны. Те люди, которые еще помнили другие страны, были уже немолоды и не говорили о прошлом.

Мы сделали по дорожке десять кругов и решили, что на этом хватит. Выйдя на улицу, мы услышали глухой рокот барабанов и вскоре увидели медленно приближающийся грузовик. На его открытой платформе на коленях стояли три

человека. Непонятно было, мужчины это или женщины, потому что на них были длинные белые рубашки и черные капюшоны, которые полностью закрывали лица и в которых наверняка было очень жарко. Их руки были связаны спереди, а за спиной у них стояли два охранника в охлаждающих костюмах и зеркальных шлемах. Перекрывая барабанный бой, голос из динамика повторял: “Четверг, 18:00. Четверг, 18:00”. Такого рода Церемонии проводились только в случаях, когда осужденных признавали виновными в государственной измене, и обычно только если они были высокопоставленные лица или даже государственные служащие. Как правило, государственным служащим такое наказание назначалось, если их ловили при попытке покинуть страну, что незаконно, или тайно *ввезти* кого-то в страну, что не только незаконно, но и небезопасно, потому что это повышает риск распространения инфекций, или если они пытались разгласить секретную информацию — обычно с помощью технологий, которые им запрещалось использовать. Их сажали в грузовик и провозили через все зоны, чтобы жители могли увидеть их или, если захотят, выкрикнуть какие-нибудь оскорбления. Но я всегда молчала, и Дэвид тоже

промолчал, хотя мы оба стояли и смотрели, как машина проехала мимо нас и свернула на юг по Седьмой авеню.

Однако после того, как грузовик скрылся из виду, произошло нечто странное: я взглянула на Дэвида и увидела, что он смотрит ему вслед, слегка приоткрыв рот, а в глазах у него слезы.

Это было не только удивительно, но еще и очень опасно — проявление даже малейшего сочувствия к обвиняемым могло привлечь внимание Мух, которые были запрограммированы на считывание выражений лица. Я сразу шепотом окликнула Дэвида, и он, поморгав, повернулся ко мне. Я огляделась: кажется, нас никто не видел. Но на всякий случай лучше было идти дальше, как будто все в порядке, и поэтому я зашагала на восток, обратно к Шестой авеню, и через несколько секунд Дэвид последовал за мной. Я хотела что-то сказать ему, но не знала что. Мне было страшно, но непонятно почему, и в то же время я злилась на него за такую странную реакцию.

Когда мы переходили Тринадцатую улицу, он тихо сказал мне:

— Это чудовищно.

Он был прав — это *действительно* чудовищно, — но такое происходило постоянно. Мне тоже

не нравилось видеть проезжающие мимо грузовики, мне не нравилось смотреть Церемонии или слушать трансляции по радио. Но так уж все было устроено — виновный должен был быть наказан, и не было никакого способа ничего изменить: за преступлением следовало наказание.

Только вот Дэвид вел себя так, как будто никогда раньше не видел таких грузовиков. Он смотрел прямо перед собой и молчал, кусая губу. Обычно мы с ним гуляли без шлемов, но сейчас он достал свой шлем из сумки и надел его, и я была рада, потому что проявлять эмоции на публике не принято и это может привлечь внимание.

На северном краю Площади мы остановились. Именно здесь мы обычно прощались, и он сворачивал налево, в сторону Малой восьмерки, а я — направо, домой. Но сейчас мы стояли молча. Обычно в наших прощаниях не было неловкости, потому что Дэвиду всегда было что сказать мне, а потом он махал рукой и уходил. Теперь он ничего не говорил, и через визор его шлема я видела, что он все еще расстроен.

Тут мне стало стыдно за то, что я злилась на него, хоть он и повел себя неосмотрительно. Он же мой друг, а к друзьям нужно относиться с пониманием, как бы они ни поступали. Но мне

понимания не хватило, и теперь, чтобы искупить свою вину, я сделала нечто странное: протянула руки вперед и обхватила его.

Это было нелегко, потому что наши охлаждающие костюмы работали на полную мощность и были так сильно накачаны, что у меня получилось не столько обнять его, сколько похлопать по спине. И вдруг я представила что-то нелепое: что мы женаты и что он мой муж. Публично проявлять чувства, даже к собственному супругу, не принято, но и не осуждается — это просто необычно. Правда, однажды я видела, как пара целовалась на прощание: беременная женщина стояла в дверях, а ее муж, техник, уходил на работу. Поцеловав жену, он погладил ее живот, и они улыбнулись друг другу. Мой шаттл как раз проезжал мимо, и когда я обернулась, чтобы не терять их из виду, он надел шапку и зашагал прочь, не переставая улыбаться. Я поймала себя на том, что представляю, будто Дэвид — мой муж, будто мы с ним тоже из тех, кто обнимается на публике, потому что не можем сдержаться, из тех, кто так сильно любит друг друга, что одних слов недостаточно и эту любовь приходится выражать жестами.

Я думала обо всем этом и вдруг осознала, что

Дэвид не отвечает на мой жест, что он напряженно застыл в моих объятиях, и тогда я резко отстранилась и отступила на шаг назад.

Мне стало очень неловко. Щеки начинали гореть, и я быстро надела шлем. Это был глупый поступок. Я выставила себя дурой. Надо уйти.

— Пока, — сказала я и пошла прочь.

— Подожди, — сказал он, но не сразу. — Подожди, Чарли. Постой.

Но я притворилась, что не слышу, и продолжала идти не оглядываясь. Свернула на Площадь, тихонько остановилась в ряду травников, подождала, пока не убедилась, что Дэвид ушел, а потом вернулась домой. Благополучно добравшись до квартиры, я сняла шлем и костюм. Муж куда-то ушел, и я была одна.

Меня вдруг охватила сильная злость. Обычно я не злюсь — даже в детстве я никогда не закатывала истерик, никогда не кричала, никогда ничего не требовала. Я, как могла, старалась вести себя хорошо ради дедушки. Но теперь мне хотелось кого-нибудь ударить, что-нибудь разбить. Вот только в доме некого было ударить и нечего разбить: тарелки были пластмассовые, миски — силиконовые, кастрюли — металлические. Потом я вспомнила, как в детстве часто испы-

тывала даже не злость, а какое-то отчаяние и начинала стонать, брыкаться и расцарапывать себя, и тогда дедушка пытался удержать меня, чтобы я не вырвалась. Так что теперь я легла на кровать и прибегла к методу, которым он научил меня пользоваться, когда невозможно справиться с происходящим: перевернуться на живот, уткнуться лицом в подушку и дышать, пока не закружится голова.

Потом я встала. Оставаться в квартире я не могла — это было невыносимо. И поэтому я снова надела охлаждающий костюм и вышла на улицу.

Приближался вечер, и жара чуть-чуть спала. Я начала ходить вокруг Площади. Было странно идти одной после того, как мы столько раз бывали здесь с Дэвидом, и, возможно, именно из-за этого я изменила обычный маршрут и вышла на Площадь с западной стороны. Я ничего здесь не искала, мне ничего не было нужно, но, несмотря на всю бесцельность этой прогулки, я зачем-то пошла на юго-восток.

Не знаю точно почему, но этот участок Площади приобрел сомнительную репутацию. Как это произошло, оставалось загадкой: я уже говорила, что юго-восток Площади в основном занимают

столяры, и если не обращать внимания на скрежет пил и стук молотков, это приятное место — здесь чисто и остро пахнет деревом и можно наблюдать за мастерами, которые изготавливают или чинят стулья, столы или ведра и, в отличие от некоторых других торговцев, никого не прогоняют. И все же почему-то именно сюда приходили в поисках людей, о которых я уже рассказывала, — людей, у которых не было ни лицензии, ни прилавка, но которых всегда можно было встретить на Площади: именно они помогали всем, кто не знал, как об этой помощи попросить.

Одно из объяснений, почему они облюбовали именно это место, было совсем абсурдным. Юго-восточная часть Площади находилась ближе всего к высокому кирпичному зданию бывшей университетской библиотеки. После закрытия университета здание некоторое время служило тюрьмой. Теперь здесь размещался архив четырех южных зон, в том числе Восьмой. Именно тут правительство хранило свидетельства о рождении и смерти всех жителей этих регионов, а также другие сведения о них. Фасад здания был стеклянный, так что кто угодно мог заглянуть внутрь и увидеть ряды шкафов, заполненных папками. Часть вестибюля на цокольном этаже

занимал черный куб без окон со стороной примерно в десять футов, и внутри этого черного куба сидел архивариус, который мог найти любой требуемый документ. Конечно, сами архивы были открыты только для представителей органов власти, причем исключительно для тех, кто имел высший уровень допуска. В черном кубе всегда кто-то сидел, и здание архива было одним из немногих, где всегда горел свет, — даже в те часы, когда включать его запрещалось, чтобы не тратить электричество впустую. Я не понимала, какое отношение имеет соседство архива с юго-восточным сектором Площади к незаконной деятельности в этом секторе, но все считали, что заниматься этим удобнее неподалеку от государственного учреждения: правительство никогда не подумает, что кто-то будет нарушать закон в непосредственной близости. Во всяком случае, так было принято считать.

Как я уже говорила, те люди, о которых я упомянула, постоянно переходили с места на место, и поэтому их нельзя было найти в определенном углу Площади — они искали своих клиентов сами. Надо было просто медленно ходить туда-сюда среди торговцев и не смотреть ни вверх, ни по сторонам. Просто идти, глядя на опилки,

которыми была усыпана земля, и в конце концов кто-нибудь подходил и задавал вопрос. Он обычно состоял из двух-трех слов, и если это был неправильный вопрос, надо было идти дальше. А если вопрос был правильный, надо было поднять голову. Сама я никогда такого не делала, но как-то раз стояла рядом с одним из столяров и видела, как это происходит. Красивая молодая женщина шла очень медленно, заложив руки за спину. На голове у нее был зеленый шарф, из-под которого выбивались пряди густых рыжих волос, доходящих до подбородка. Она ходила по кругу минуты три, а потом невысокий худой мужчина средних лет подошел к ней и сказал что-то — я не разобрала, что именно. Но она продолжала идти, как будто ничего не слышала, и он отошел. Минуту спустя к ней подошел другой мужчина, но она продолжала ходить по кругу. На пятый раз к ней подошла женщина, и теперь она подняла голову и пошла за ней следом к небольшой брезентовой палатке на самом восточном краю Площади. Женщина приподняла край палатки, огляделась, проверяя, нет ли поблизости Мух, пригласила свою клиентку внутрь и проскользнула за ней сама.

Не знаю, что подтолкнуло меня в тот день на-

чать ходить по юго-восточному сектору Площади. Я шла по опилкам и смотрела себе под ноги. Разумеется, через несколько минут я почувствовала, что за мной кто-то идет. А потом услышала очень тихий мужской голос:

— Ищете кого-то?

Я не остановилась, и этот человек отошел.

Вскоре я увидела, как ко мне приближаются ноги другого мужчины.

— Болезнь? — спросил он. — Лекарство?

Но я продолжала идти.

Некоторое время ничего не происходило. Я пошла медленнее. А потом в поле моего зрения возникли женские ноги; я была уверена, что эти ноги принадлежали женщине, потому что они были маленькими. Они приблизились, и я услышала шепот:

— Любовь?

Я подняла глаза: это была та же самая женщина, которую я видела раньше, из палатки на восточном краю.

— Пошли, — сказала она, и я последовала за ней. Я не думала о том, что делаю, я вообще ни о чем не думала. Казалось, я просто наблюдаю за происходящим со стороны. У палатки женщина осмотрела небо в поисках Мух — точно так же,

как и в тот раз, — и поманила меня за собой.

Внутри стояла удушающая жара. Я увидела грубый деревянный сундук, запертый на висячий замок, и две подушки в грязных хлопковых наволочках. На одну села она, а на другую — я.

— Сними шлем, — сказала она, и я послушалась. На ней не было шлема, но рот и нос были обмотаны шарфом, и теперь, когда она размотала этот шарф, я поняла, что нижняя часть ее левой щеки изуродована болезнью и что она моложе, чем я думала сначала.

— Я видела тебя раньше, — сказала она, и я удивленно уставилась на нее. — Видела, как ты гуляла по Площади с мужем. Симпатичный. Но не любит тебя, да?

— Нет, — сказала я, когда слегка отдышалась. — Это не муж. Это мой… это мой друг.

— А, — сказала она, и ее лицо прояснилось. — Понимаю. И ты хочешь, чтобы он в тебя влюбился.

На мгновение я лишилась дара речи. Разве этого я хотела? Разве для этого я пришла сюда? Это ведь невозможно — я знала, что меня никогда не полюбят, не в том смысле, в каком люди описывают любовь. Я знала, что и сама я тоже никогда не полюблю. Это не для меня. Мне очень труд-

но понять, что я чувствую. Другие люди могут сказать: “Я счастлив”, или “Мне грустно”, или “Я скучаю”, или “Я люблю тебя”, но я не знаю, каково это. “Я люблю тебя, котенок”, — говорил дедушка, но я очень редко могла сказать ему то же самое в ответ, потому что не понимала, что это значит. Какими словами можно описать мои чувства? Чувство, которое я испытывала, читая записки, адресованные моему мужу, видя, как он исчезает в доме на Бетюн-стрит, слыша, как он возвращается поздно вечером по четвергам, чувство, которое я испытывала, когда лежала в постели, думала, прикоснется ли он когда-нибудь ко мне, поцелует ли меня, и знала, что этого никогда не будет, — что это за чувства? Как они называются? И с Дэвидом — чувство, которое я испытывала в пятницу вечером, зная, что увижу его на следующий день, чувство, которое я испытывала, когда стояла на северной стороне Площади и видела, как он идет ко мне и машет рукой, когда смотрела, как он уходит после очередной нашей встречи, когда попыталась обнять его, когда потом увидела его лицо, его замешательство, то, как он отстранился от меня, — что это были за чувства? Вдруг это все одно и то же? Может, это и есть любовь? Вдруг я все-таки на нее способна?

Вдруг то, что я всегда считала для себя невозможным, было понятно мне с самого начала?

И тут я испугалась. Я поступила опрометчиво и неблагоразумно, когда пришла сюда. Я потеряла способность мыслить здраво.

— Мне надо идти, — сказала я, вставая. — Извините. До свидания.

— Подожди, — окликнула меня женщина. — Я могу дать тебе особый порошок. Добавляешь его в напиток, и через пять дней…

Но я уже выходила из палатки — быстро, чтобы не слышать, что еще она скажет, и чтобы у меня не было соблазна вернуться, но не так быстро, чтобы привлечь внимание какой-нибудь Мухи.

Я вышла с Площади с восточной стороны. Мне оставалось пройти всего несколько сотен ярдов, а потом я вернусь в свою квартиру, где буду в безопасности и смогу притвориться, что всего этого не было, смогу притвориться, что никогда не встречала Дэвида. Я снова стану прежней — замужней женщиной, лаборанткой, той, кто принимает мир таким, какой он есть, кто понимает, что желать чего-то другого бесполезно, что изменить ничего нельзя и поэтому лучше даже не пытаться.

Глава 6

Весна, на тридцать лет раньше

Дорогой Питер,
2 марта 2064 г.

Прежде чем я приступлю к рассказу — мои поздравления! Весьма и весьма заслуженное повышение — хотя, наверное, оно показывает, что чем выше поднимаешься по этой лестнице, тем менее величественно и более туманно звучит твоя должность. И тем меньше твои заслуги признают публично. Не то чтобы это имело значение. Я помню, что мы с тобой уже это обсуждали, — но чувствуешь ли ты себя теперь в той же мере призраком, что я? Мы можем проходить сквозь двери (а то и стены), закрытые почти для всех, но при этом невидимы — источник страха и ужаса, с которым редко сталкиваются, но знают, что он есть. Абстракция, а не настоящий человек. Я знаю, что некоторым людям такое призрачное существование по душе. Я и сам когда-то этим грешил.

Ну вот. Да, спасибо, что спросил, — сегодня действительно были подписаны последние до-

кументы, и дом Обри официально стал домом Натаниэля. Натаниэль когда-нибудь передаст дом Дэвиду, а Дэвид когда-нибудь передаст его еще кое-кому, о чем речь пойдет чуть позже.

Хотя Натаниэль живет там уже несколько лет, он никогда не называл этот дом своим и не считал его своим. Он всегда был “домом Обри и Норриса”, а потом просто “домом Обри”. Даже на похоронах Обри он приглашал гостей “вернуться к Обри на поминки”, пока я ему не напомнил, что дом этот не Обри, а его. Он взглянул на меня таким особенным взглядом, но позже я слышал, как он говорит “дом”, и все. Не дом Обри, не его дом, ничей дом — просто дом, который согласился нас принять.

Я проводил в доме (видишь, я тоже так говорю) больше времени на протяжении прошлого года. Сначала дело было в том, что умирал Обри. В этом была некоторая величественность: он выглядел сносно, очень, конечно, истощал, но многих ужасов, которые мы так часто наблюдали у умирающих за последнее десятилетие, у него не было — никаких язв, гноя, слюноотделения, крови. Потом были похороны и разбор документов, потом, конечно, я на какое-то время уехал в командировку, а когда вернулся, штат распустили (каждый получил увольнительные, как было

указано в завещании Обри), и Натаниэль пытался осознать, что он теперь владелец гигантского дома на Вашингтонской площади.

Когда я зашел туда сегодня, я удивился, как все поменялось. Конечно, Натаниэль ничего не мог сделать с заложенными кирпичом окнами на первом этаже или с оконными решетками на остальных этажах, но общее впечатление стало более легким и светлым. На стенах все еще висели некоторые важнейшие гавайские артефакты — остальное было отдано в Метрополитен, где теперь хранится большая часть коллекции, некогда принадлежавшей королевской семье, которую музейщики сначала планировали сберечь и когда-нибудь вернуть, но теперь она перешла в их собственность; Натаниэль поменял освещение и покрасил стены в густой серый цвет, отчего солнечного света, как ни удивительно, стало больше. Обри и Норриса все равно было много, но вместе с тем их присутствие испарилось.

Мы прошли по дому, осматривая произведения искусства. Теперь, когда их владельцем стал Натаниэль — вот гаваец и его гавайские объекты, — я мог их оценивать более объективно; теперь они были не выставлены, а просто демонстрировались, не знаю, понятно ли я выражаюсь.

Натаниэль рассказывал про каждую тряпочку, каждый сосуд, каждое ожерелье — откуда они, из чего сделаны. Я внимательно смотрел на него все это время. Он так долго хотел иметь красивый дом, заполненный красивыми вещами, — и вот получил его. Хотя у Обри оказалось значительно меньше средств, чем мы оба представляли себе — деньги тратились на службу безопасности, на шарлатанские лекарства и, да, на разные благотворительные цели, — их было все-таки достаточно, чтобы Натаниэль мог наконец почувствовать твердую почву под ногами. В новогодние дни малыш в очередном припадке злобы сказал мне, что Натаниэль с кем-то встречается, с каким-то юристом из Министерства юстиции: “Ага, довольно симпатичный”. Я не сказал, что, раз он работает в системе юстиции, он по умолчанию участвует в организации работы карантинных лагерей; но Натаниэль ничего не говорил, и я, конечно, спрашивать не стал.

После экскурсии мы вернулись в гостиную, и Натаниэль вспомнил, что у него кое-что для меня есть, подарок от Обри. Один из моих последних визитов к Обри совпал с его более или менее сознательным состоянием, и он спрашивал, хочу ли я что-нибудь из его коллекции. Я ответил

отрицательно. Я примирился с Обри, даже по-своему полюбил его, но под этим примирением и симпатией таилась глухая неприязнь: дело было в конечном счете не в том, что он коллекционировал, не в том, что он в большей степени владел Гавай'ями, чем я, а в том, что он, мой муж и мой ребенок стали семьей, а я оказался выброшен на обочину. Натаниэль познакомился с Обри и Норрисом, и все пошло к концу — так медленно, что поначалу я даже не осознавал, что это происходит, а потом — так основательно, что у меня не осталось никакой надежды этот процесс остановить.

Я сел на один из диванов, и Натаниэль вынул что-то из бокового ящика стола — маленькую черную бархатную коробочку размером примерно с мяч для гольфа.

— Это что? — задал я тот идиотский вопрос, какой люди всегда задают в момент получения подарка, и он улыбнулся.

— Открой и увидишь, — сказал он. Я открыл коробочку.

Внутри было кольцо Обри. Я вынул его, чувствуя тяжесть на ладони, теплоту золота. Я открыл перламутровую дверцу, но внутри ничего не было.

— Ну? — спросил Натаниэль, не напряженно, и сел рядом со мной.

— Ну, — ответил я.

— Он сказал, что ему кажется, за это кольцо ты его ненавидишь больше всего, — сказал Натаниэль безмятежно, и я удивленно посмотрел на него. — Да конечно, — продолжил он. — Он знал, что ты его ненавидишь.

— Я его не ненавидел, — сказал я неуверенно.

— Еще как ненавидел, — сказал Натаниэль. — Просто не признавался себе в этом.

— Вот и еще что-то, что Обри знал, а я нет, — сказал я, пытаясь — безуспешно — не впасть в сарказм, но Натаниэль лишь пожал плечами.

— Ну короче, — сказал он, — теперь оно твое.

Я надел его на левый мизинец и протянул ему руку, демонстрируя результат. Я все еще носил обручальное кольцо; он дотронулся до него. Свое он перестал носить уже несколько лет назад.

В этот момент я почувствовал, что могу наклониться к нему и поцеловать и он не отдернется. Но я этого не сделал, а он, как будто почувствовав то же самое, резко поднялся.

— Так, — сказал он деловым тоном, — я хочу, когда Дэвид придет, чтобы ты не просто вел себя вежливо, а поддержал его, хорошо?

— Когда это я его не поддерживал, — сказал я.

— Чарльз, ну я серьезно, — сказал он. — Он собирается тебя представить… ну, человеку, который для него очень важен. И у него есть кое-какие… кое-какие новости.

— Он собирается вернуться к учебе? — спросил я из чистого хулиганства. К сожалению, я прекрасно знал ответ на этот вопрос. Дэвид никогда не вернется к учебе.

Натаниэль не поддался на провокацию.

— Просто обещай, — сказал он. Потом его настроение как будто еще раз резко поменялось, и он снова сел рядом со мной.

— Ужасно, что у вас все так, — сказал он, и я не ответил. — Несмотря ни на что, ты все-таки его отец.

— Ну так напомни ему об этом.

— Я все время напоминаю. Но “Свет” для него важен.

— Господи боже, — сказал я. Я надеялся, что мы сможем обойтись без упоминаний “Света” с любой стороны.

В этот момент обеззаразка зашипела, и появился Дэвид в сопровождении какой-то женщины. Я встал, мы кивнули друг другу.

— Дэвид, смотри, — сказал я, показывая ему

кольцо, и он хмыкнул и улыбнулся одновременно.

— Отлично, папаша, — сказал он. — Вот оно все-таки и досталось тебе.

Я был уязвлен, но ничего не сказал. В конце концов, он был прав: досталось.

Наши отношения стабилизировались — в том смысле, что мы, никак специально не договариваясь, достигли некоторой разрядки. Я не подкалывал его насчет “Света”, он не издевался над моей работой. Но такое соглашение могло действовать от силы минут пятнадцать, и только в том случае, если нам было что еще обсуждать; не хочу показаться черствым, но смерть Обри в этом смысле оказалась очень полезной. Всегда можно было поговорить о деталях его химиотерапии, о его настроении, о том, сколько он пьет, о применении обезболивающих. Я был тронут — и, если уж говорить без обиняков, немного ревновал, — когда увидел, как нежно, как аккуратно малыш обращался с Обри в последние месяцы его жизни: протирал лоб прохладной тканью, держал его за руку, говорил с ним так, как многие люди не умеют говорить с умирающими, — непринужденная, не покровительственная болтовня, из которой как-то было понятно, что Обри имеет

значение, хотя ответа от него не ждут. У него был дар помогать умирающим, дар редкий и ценный, который можно было бы использовать разными способами.

Мы некоторое время просто стояли друг перед другом, а потом Натаниэль, которому всегда выпадала участь переговорщика и посредника, сказал:

— А, Чарльз, — это вот Иден, близкая подруга Дэвида.

Ей было лет тридцать пять, как минимум на десять больше, чем малышу; светлокожая кореянка с такой же идиотской прической, как у него. Татуировки вылезали у нее из-под рукавов и покрывали горло; на тыльной стороне ладоней это были крошечные звездочки, которые, как я позже узнал, складывались в созвездия: на левой руке весенние созвездия Северного полушария, на правой — весенние созвездия Южного. Красивой назвать ее было трудно — из-за прически, татуировок, преувеличенно подведенных бровей с таким количеством косметики, что это выглядело как холст импрессионистов, — но какая-то напряженная энергия в ней ощущалась, что-то голодное, неприрученное и чувственное.

Мы кивнули друг другу.

— Очень приятно, Иден, — сказал я.

Я не понял, ухмыльнулась она или так выглядит ее улыбка.

— Очень приятно, Чарльз, — ответила она. — Дэвид мне много про тебя рассказывал. — Это было сказано с нажимом, но я не стал ничего спрашивать.

— Рад слышать, — сказал я. — А, да, меня можно называть на “ты”.

— Чарльз, — прошипел Натаниэль, но Дэвид и Иден только взглянули друг на друга и снова так же ухмыльнулись.

— Что я говорил, — сказал ей Дэвид.

Натаниэль уже заказал еду — питу и мезе, — и мы пошли к столу. Я принес бутылку вина, и мы с Дэвидом и Натаниэлем выпили немного; Иден сказала, что кроме воды пить ничего не будет.

Начался разговор. Я чувствовал, что мы все осторожничаем, и в результате разговор получался ужасно скучным — не настолько, как если бы мы говорили только о погоде, но почти. Список тем, которые мне нельзя затрагивать в общении с Дэвидом, к этому моменту разросся неимоверно, так что проще было помнить, о чем можно с ним говорить, не заходя на минное поле: органическое земледелие, кино, робототехника,

бездрожжевая выпечка. Я почувствовал, что мне не хватает Обри, который прекрасно умел нас всех направлять и предупреждать любые попытки зайти на опасную территорию.

Как часто случалось во время таких разговоров, я задумался о том, что Дэвид, в сущности, еще ребенок, и именно поэтому — из-за его страсти к темам, к которым он относился с рвением, от того, как ускорялась его речь и повышался тембр голоса, — я так хотел, чтобы он все-таки поступил в университет. Там у него появились бы товарищи, там он не был бы так одинок. Может быть, он бы даже перестал быть таким странным или по крайней мере увидел, что есть люди, рядом с которыми он странным вовсе не кажется. Я представлял себе его в комнате, заполненной молодыми людьми, хмельными от возбуждения, — я видел, как он чувствует, что наконец-то нашел свое место. Но вместо этого он нашел “Свет”, который благодаря тебе я могу теперь отслеживать с любой степенью параноидальности, хотя такое побуждение возникает у меня нечасто. Когда-то я хотел знать все, что делает и о чем думает Дэвид, — а теперь хочу не знать, притвориться, что жизни моего сына и того, что приносит ему радость, просто не существует.

Но за Иден я наблюдал намного пристальнее. Она сидела на дальнем конце стола, справа от Дэвида, и смотрела на него с каким-то снисходительным умилением, как мать на строптивого, но одаренного ребенка. Дэвид не обращался к ней во время своего монолога, но время от времени поглядывал на нее, и она слегка кивала — можно было представить, будто он читает стихи наизусть и она подтверждает, что все правильно. Я заметил, что она очень мало ела — пита лежала нетронутой, к хумусу она едва прикоснулась, но все остальное вообще проигнорировала, и еда засыхала у нее на тарелке. Даже к стакану воды не прикоснулась, и долька лимона в нем медленно опускалась на дно.

Когда малыш наконец прервался на секунду, Натаниэль встрял в разговор:

— Прежде чем я достану десерт, — сказал он, — может, ты, Дэвид, расскажешь отцу новости?

Малыш явно почувствовал себя так неуютно, что у меня не осталось сомнений: какова бы ни была новость, слышать ее я не хочу. Поэтому, прежде чем он снова открыл рот, я обернулся к Иден и спросил:

— Вы как познакомились?

— На собрании, — ответила она. Она говорила

медленно и вяло, почти с южной протяжностью.

— На собрании?

Она посмотрела на меня с презрением.

— “Света”, — объяснила она.

— А, — сказал я, не глядя на Натаниэля, — “Света”. А чем ты занимаешься?

— Я художник, — сказала она.

— Иден потрясающий художник, — с энтузиазмом сказал Дэвид. — Она отвечает за дизайн всех наших сайтов, всех объявлений, вообще всего. Она очень талантливая.

— Не сомневаюсь, — сказал я, приложив все усилия, чтобы это не прозвучало саркастически, но она все равно хмыкнула, как будто мне это не удалось и мой сарказм обратился на меня самого, а не на нее. — А вы давно встречаетесь?

Она пожала плечами, точнее, чуть дернула левым плечом.

— Месяцев девять. — Она обратила свою фирменную полуулыбку на малыша. — Я его увидела и поняла, что надо хватать. — Малыш покраснел от смущения, польщенный; при взгляде на него ее улыбка стала чуть отчетливее.

Но Натаниэль снова прервал нас.

— Что возвращает нас к новости Дэвида, — сказал он. — Дэвид?

— Простите, — сказал я, быстро поднялся, не обращая внимания на возмущенный взгляд Натаниэля, и побежал вниз в маленький туалет под лестницей. Обри когда-то уверял, что после ужина гости нередко предавались там всяким минетам, когда он был моложе, но каморку давным-давно оклеили вычурными обоями с черными розочками, что всегда напоминало мне какой-то викторианский бордель. Я помыл руки, вдохнул-выдохнул. Малыш собирается мне сказать, что женится на этой странной, причудливо соблазнительной, слишком старой для него женщине, и я обязан не выйти из себя. Нет, он не готов к семейной жизни. Нет, у него нет работы. Нет, он не съехал от родителей. Нет, у него нет никакого образования. Но я ничего не могу сказать — мои мысли на этот счет не только не имеют значения, их и знать никто не желает.

Приняв такое решение, я вернулся к своему месту за столом.

— Извините, — сказал я всем — и повернулся к Дэвиду. — Ну, что у тебя за новости, Дэвид?

— Ну, — начал Дэвид с видом довольно смущенным. А потом выпалил: — Иден беременна.

— Что? — сказал я.

— Четырнадцать недель, — сказала Иден, отки-

нулась на спинку стула, и по ее лицу пробежала та странная полуулыбка. — Срок — четвертое сентября.

— Она не знала, хочет ли этого, — продолжил малыш, весь теперь взъерошенный, но Иден его перебила.

— А потом я подумала, — она пожала плечами, — почему бы и нет. Мне тридцать восемь, не то чтобы вся жизнь впереди.

Питер, Питер, ты можешь представить, что я мог бы сказать, может быть, даже — что должен был сказать. Но вместо этого, с таким усилием, что у меня выступил пот, я стиснул зубы, закрыл глаза, откинул голову и не сказал ничего. Когда я снова открыл глаза — не знаю, через сколько времени, может, и через час, — я увидел, что они все таращатся на меня — не издевательски, а с любопытством, может быть, даже с некоторым страхом, как будто беспокоятся, что я вдруг неметафорически взорвусь.

— Понятно, — сказал я — настолько нейтрально, насколько это было возможно. (Да, и к тому же тридцать восемь?! Что?! Дэвиду всего двадцать четыре, причем для своих двадцати четырех он очень юн.) — То есть вы втроем будете жить здесь, с папой?

— Втроем? — спросил Дэвид, но лицо его сразу же прояснилось. — А, ну да. С малышом. — Он слегка приподнял подбородок, видимо не зная, что это — вызов или просто вопрос. — Ну наверное. Здесь же полно места.

На этом месте Иден издала какой-то звук — хмыкнула, — и мы все обернулись к ней.

— Я тут жить не буду, — сказала она.

— А как же? — потерянно сказал малыш.

— Без обид, — сказала она — то ли Дэвиду, то ли Натаниэлю, то ли даже мне. — Просто мне нужно личное пространство.

Все молчали.

— Что ж, — наконец сказал я, — вам, похоже, о многом еще надо договориться. — И Дэвид посмотрел на меня глазами, полными ненависти, и потому, что я был прав, и потому, что понимал, как его унизили.

После этого я вряд ли мог бы продолжать беседу, не раздувая так или иначе какую-нибудь перепалку, поэтому объявил, что мне пора, и меня никто не удерживал. Я таки заставил себя обняться с Дэвидом, хотя нам обоим было от этого так неловко, что мы просто слегка столкнулись и помахали руками, а потом я попытался и Иден обнять, и мои руки почувствовали ее худое маль-

чишеское тело.

Натаниэль пошел меня проводить. На крыльце он сказал:

— Прежде чем ты откроешь рот, Чарльз, знай, что я согласен.

— Нейт, это безумие, — сказал я. — Он едва с ней знаком! Ей практически сорок! Что мы вообще знаем об этой тетке?

Он вздохнул:

— Я спросил… спросил у друга, и он сказал…

— У друга из Минюста?

Он снова вздохнул и посмотрел наверх. (Сейчас он вообще редко смотрит мне в глаза.)

— Да, у друга из Минюста. Он проверил и сказал, что беспокоиться особенно не о чем — она сотрудница среднего уровня, средний, так сказать, командный состав, из интеллигентской балтиморской семьи, училась в художественном училище, с точки зрения криминала ни в чем серьезном не замешана.

— Какая прекрасная дама, — сказал я; он не ответил. — Нейт, ты же понимаешь, что это тебе придется возиться с малышом, а? Ты прекрасно знаешь, что Дэвид один не справится.

— Ну а Иден и…

— На нее я бы особо не рассчитывал.

Он снова вздохнул.

— Ну, может и так выйти, — признал он.

Я спросил себя, как бывало не раз: когда Натаниэль превратился в такую тряпку? Или, может, не в тряпку — растить малыша вовсе не занятие для тряпки, — но в человека, со всем смирившегося. Когда я заставил его переехать сюда? Когда малыш перестал нас слушаться? Когда он потерял работу? После смерти Норриса или Обри? Когда наш сын стал членом неудачливой и маргинальной повстанческой ячейки? Или дело в долгих годах жизни со мной? Я хотел было сказать "Ну, ты уже отлично справился с воспитанием ребенка", но понял, что единственный человек, против которого такой выпад направлен, — это я сам.

Так что я ничего не сказал. Вместо этого мы просто смотрели на площадь. Бульдозеры вернулись, последнее поколение трущоб снесли — у каждого входа на площадь стояло по солдату, которые следили, чтобы никто не попробовал все восстановить. Над нами небо сияло прожекторами.

— Как тебе спать-то удается при таком свете, — сказал я, и он пожал плечами, смирившийся и с этим.

— Окна, которые выходят на площадь, все равно заколочены, — сказал он и повернулся ко

мне. — Я слышал, лагеря беженцев закрывают.

Пришла моя очередь пожать плечами.

— Но что будет со всеми этими людьми? — спросил он. — Им куда деваться?

— Ну спроси у своего приятеля из Минюста, — сказал я, чтобы по-детски поддеть его.

Он вздохнул.

— Чарльз, — устало сказал он, — я просто пытаюсь поддержать разговор.

Но я и не знал, куда денутся беженцы. Людей перемещали так масштабно — в больницы и из больниц, в карантинные лагеря, в крематории, в могилы, в тюрьмы, — что я больше просто не мог следить за тем, где какая-то конкретная группа в данное время находится.

В основном-то я думал о том, что, если у Дэвида появится малыш, хуже всего тут не его собственные проблемы, а сам факт возникновения нового существа. Люди, конечно, постоянно производят на свет детей; мы рассчитываем, что они будут этим заниматься. Но для чего же это делать просто так? Он тратит жизнь на то, чтобы разрушить основы этой страны. Так зачем вовлекать в это малыша? Кому может прийти в голову воспитывать ребенка вот здесь, вот сейчас? Заводить малыша в такое время довольно жестоко — мир,

в котором ему придется жить, будет грязным, заразным, несправедливым и мучительным. Так зачем? Где тут уважение к жизни?

С любовью,
Чарльз

Дорогой мой Питер,
5 сентября 2064 г.

Не думал я, что буду в этом возрасте писать такое, — но вот я и стал дедушкой. Чарли Кеонаонамайле Бингем-Гриффит родилась 3 сентября 2064 года в 5 часов 58 минут утра и весила семь фунтов тринадцать унций.

Чтобы я не зазнавался прежде времени, мне сразу же объяснили, что девочку назвали не в мою честь, а в честь покойной матери Иден, которую все называли Чарли. Хорошее имя для девочки, но девочка не то чтобы хорошенькая. У нее слабенький подбородок, бесформенный нос, а глазки — тонкие щелочки.

Но я от нее в восторге. Меня неохотно впустили тем утром в материнскую комнату и неохотно передали мне малышку. Надо мной нависал Дэвид, повторяя все время: “Головку поддерживай, папаша! Надо поддерживать головку!” — как будто я никогда не держал в руках малышей,

начиная с него самого. Но меня его кудахтанье не раздражало — вообще-то было даже трогательно, что он так заботится о ком-то другом, что он так беззащитен, что так нежно держит на руках свою дочку.

Появление младенца пока не ответило на многие вопросы: например, переедет ли Иден наконец в дом на Вашингтонской площади или так и будет жить у себя в Бруклине. А также — кто станет воспитывать Чарли, потому что Иден уже заявила, что не собирается бросать “работу” в “Свете”, а Дэвид, одержимый типичными молодежными условностями, считает, что им нужно пожениться и съехаться.

Но по крайней мере сейчас нам вчетвером нужно держаться вместе. (Ну плюс Иден, конечно.) Несомненно, Чарли — лучшее из всего, что сделал Дэвид, и прежде чем ты сочтешь это сомнительным комплиментом, я добавлю, что она — лучшее из всего, что он вообще мог бы в жизни сделать. Маленькая моя Чарли.

В общем, вот такие дела. Позволь мне высказать осторожную радость по поводу того, что Оливье вернулся в кадр. Да, что касается кадров — разумеется, в приложении их около сотни.

Обнимаю тебя,

Ч.

Дорогой Питер,
21 февраля 2065 г.

Одно из качеств Натаниэля, которые я научился ценить, — это его ответственность по отношению к людям, которых он считает менее приспособленными к жизни. Вначале это меня раздражало. В частности, я считался нормально приспособленным и поэтому не нуждался, с его точки зрения, ни в помощи, ни во внимании, ни в том, чтобы уделять мне время. Но его ученики, а после ухода из школы Норрис, Обри, Дэвид рассматривались как существа ранимые и потому заслуживающие его заботы.

Даже унаследовав часть состояния Обри, Натаниэль продолжал видеться с двумя своими бывшими учениками, Хирамом и Эзрой, теми мальчиками, которые, как я тебе уже как-то писал, столкнулись с пандемией 50 года и с тех пор не выходили из дома. Когда им исполнилось двенадцать, мать наняла новых преподавателей, чтобы учить их алгебре и физике, но Натаниэль почти каждую неделю по-прежнему ездил через мост к ним домой. С появлением Чарли он стал устраивать с ними видеовстречи, потому что

забота о девочке занимала слишком много его времени.

Как я и предсказывал, большая часть забот о Чарли досталась Натаниэлю. Есть няня, но в целом все делает он; когда можно рассчитывать на Дэвида — неясно, на Иден — тем более. Наверное, тут мне следует добавить (как всегда поступает Натаниэль), что, когда Дэвид появляется, он очень нежен с малышкой. Но вообще говоря — разве суть не в том, чтобы просто быть рядом, проявлять надежность? Я не уверен, что хорошее поведение — такая же добродетель, как простое постоянство. Что касается Иден — ну, тут вообще нечего сказать. Я даже не знаю, не расстались ли они с Дэвидом, хотя вижу, что он по-прежнему в нее влюблен. Но к собственной дочери она не проявляет почти никакого интереса. Она как-то раз сказала мне, что хотела испытать “опыт” беременности, но, похоже, смежный с этим опыт родительства она испытывать не хотела и вообще о нем не задумывалась. В этом месяце, например, она появлялась всего два раза, и оба раза — когда Дэвида не было. Натаниэль все время предлагает подвезти малышку к ней, но она всегда находит предлог этого не делать: она слишком занята, ее квартира небезопасна, она простудилась. Тогда

Натаниэль снова предлагает ей поселиться на отдельном этаже в доме или по крайней мере взять денег на ремонт в ее квартире; и то и другое, как он видит, ее нервирует, от того и другого она отказывается.

На прошлой неделе Натаниэль спросил меня, не могу ли я съездить к Холсонам навестить мальчиков — они пропустили две последних видеовстречи, а на звонки и сообщения не отвечали.

— Ты серьезно? — спросил я. — Ты-то сам чего не поедешь?

— Не могу, — ответил он, — Чарли кашляет, не могу ее бросить.

— Ну давай я останусь с Чарли, а ты съездишь? — предложил я. Мне не хватает малышки, каждый свободный вечер я еду в центр, чтобы побыть с ней.

— Чарльз, — сказал он, перекладывая малышку с одного плеча на другое, — сделай, о чем я прошу, ладно? И потом, если что-то не так, ты им сможешь помочь.

— Я не лечащий врач, — напомнил я ему, но понятно было, что спорить нет смысла, надо ехать. Наши с Натаниэлем отношения сейчас больше похожи на супружеские, чем когда мы были су-

пругами. Многое из этого связано с малышкой — мы как будто снова проживаем начало совместной жизни, с той разницей, что теперь оба прекрасно знаем, как друг в друге разочарованы, и не спешим это подтверждать.

Поэтому в понедельник, когда у меня закончилась последняя встреча, я поехал в Коббл-Хилл. В последний раз я видел мальчиков пять лет назад, когда их родители (ну, в смысле, мать — отсутствующий мистер Холсон, как всегда, отсутствовал) устроили для Натаниэля запоздалый прощальный ужин — в том смысле, что он больше не был преподавателем Хирама и Эзры. Близнецам было тогда тринадцать, выглядели они лет на девять-десять. Они вежливо раздавали куски пирога мне, Натаниэлю, домработнице, маме — все мы были в полном защитном обмундировании, потому что детям в своем было трудно дышать, — а потом взяли по кусочку и себе. Сахара детям не давали — по словам Натаниэля, миссис Холсон беспокоилась, что это может привести к внутреннему воспалению (ну, так она выражалась), и пирог, чуть сладкий, из тертых яблок, добавленных в тесто, явно был для них особым, торжественным лакомством. На мои вопросы они отвечали высокими, гнусавыми

голосами, и когда миссис Холсон попросила их показать открытку, которую они сделали для Натаниэля, они вместе убежали на негнущихся ногах, и концентраторы кислорода стукались им о поясницу.

Когда Натаниэль рассказал мне, как миссис Холсон намерена продолжать образование мальчиков, я подумал, что это странно, даже жестоко. Ну да, они смогут когда-нибудь виртуально поступить в колледж и получить диплом. Они смогут даже получить какие-то должности инженеров или программистов и работать рядом друг с другом, каждый за своим монитором. Но какова будет их жизнь — навеки в одном доме, без всякого контакта с людьми, кроме друг друга и матери, — этот вопрос меня неизменно тревожил.

Не могу сказать, что, увидев их, я поменял свое мнение. Но я понял, что хотя мать подготовила их для жизни в мире, который они никогда не смогут освоить — что было очевидно по их безупречным манерам, по способности смотреть в глаза, по гладкой речи — по всему тому, вдруг понял я, чему мы так и не смогли толком обучить Дэвида, — она еще и научила их смиряться с ограничениями собственной жизни. Когда один из

них, Хирам или Эзра (различать их я так и не мог), сказал: “Натаниэль говорит, вы только что из Индии?” — мне пришлось одернуть себя, чтобы не выпалить: “Да-да, а вы там бывали?” Вместо этого я сказал, что действительно недавно побывал в Индии, и другой близнец вздохнул и сказал: “Эх, как это, наверное, здорово”. Это была правильная, вежливая реакция (пусть и слегка старомодная), но в ней не чувствовалось ни потаенной страсти, ни зависти. Из дальнейшего разговора стало ясно, что они многое знают об истории страны, о ее текущих политических и эпидемиологических проблемах, хотя они, казалось, подспудно осознавали, что всего этого увидеть своими глазами никогда не смогут; у них получалось познавать мир, одновременно смиряясь с тем, что они никогда не смогут участвовать в его жизни. Впрочем, многие из нас таковы: мы знаем про Индию, но никогда не будем иметь к ней прямого отношения. Для этих мальчиков — что особенно мучило и тревожило — Бруклин был Индией; Коббл-Хилл был Индией. Садик позади дома, на который выходила их детская, переоборудованная под класс, был Индией — места, о которых они знали, но которые не могли посетить.

И все же, несмотря на всю их воспитанность,

на все их способности, мне было их жалко. Я вспоминал пятнадцатилетнего Дэвида, которого выгоняли из одной школы за другой, красивые очертания его тела, когда он пытался прыгать на скейтборде, как он буквально отпружинивал от земли, если сваливался, как ходил колесом, опираясь только на одну руку, в траве на Вашингтонской площади, как его кожа словно сияла на солнце.

Мальчикам теперь почти восемнадцать; когда я постучал в дверь, я подумал, как часто случалось, о моей Чарли. Пусть у них все будет хорошо, подумал я, потому что, если у них все хорошо, у моей Чарли тоже все будет хорошо. Но еще я подумал: если с ними что-то случилось, значит, с ней ничего не случится. Эти заклинания, конечно, никакого смысла не имели.

Никто не отозвался, и я ввел код на карточке-ключе, которую дал мне Натаниэль, и вошел. Как только обеззаразка открылась, я понял, что что-то здесь умерло. Эти новые шлемы усиливают каждый запах; я снял свой и задрал свитер, чтобы закрыть нос и рот. В доме, как обычно, царил полумрак. Ни звука, ни движения — только вот эта вонь.

— Фрэнсис! — крикнул я. — Эзра! Хирам! Это

Чарльз Гриффит, я от Натаниэля. Есть кто-нибудь?

Никто не откликался. Прихожую от остальной части первого этажа отделяла дверь, я открыл ее, и меня чуть не вырвало. Я шагнул в гостиную. Сначала я ничего не увидел, потом расслышал едва слышный шум, жужжание и разглядел маленькое плотное облачко, висящее над диваном. Шагнув ближе, я понял, что оно состоит из черных мух, которые парят, образуя похожую на смерч воронку. Объект, вокруг которого они кружились, имел очертания женщины, Фрэнсис Холсон, свернувшейся и застывшей, умершей не меньше двух недель назад, а может, и больше.

Я отступил, сердце у меня колотилось.

— Ребята! — позвал я. — Хирам! Эзра! — Но на это, как и прежде, никто не откликнулся.

Я продолжил исследовать гостиную. Потом услышал еще какой-то звук, легкий шорох. В дальнем от меня конце комнаты что-то двигалось, и, подойдя ближе, я увидел, что это лист прозрачного пластика, который полностью прикрывал дверь, отделяющую гостиную от кухни, — он герметично изолировал кухню от всего остального дома. В нижней правой части этого листа были проделаны два окошка, одно с двумя

пластиковыми рукавами, которые вываливались из него в жилое пространство, другое — просто прямоугольное; вот от него-то прикрывающий слой отделился и шуршал на сквозняке, исходившем из какого-то невидимого источника.

Я заглянул сквозь этот пластиковый лист в кухню. Первое, что мне пришло в голову, — что она напоминает какую-то звериную нору, суслика, что ли, луговой собачки. Ставни на окнах были закрыты, на всех поверхностях лежала защитная ткань. Я расстегнул молнию на пластиковой стене и шагнул внутрь; здесь тоже воняло гниением, но растительным, а не животным. На полках стояли тарелки, миски, стаканы, лежали груды учебников. В раковине сгрудились еще какие-то миски и сковородки под слоем замасленной воды, как будто кто-то пытался все отмыть, но потом плюнул. Рядом с раковиной стояли две суповые миски, две кружки, лежали две ложки — все чистое и сухое. В каждом углу были свалены раздувшиеся черные мусорные пакеты, и когда я заставил себя развязать один из них, я увидел, что там не разрубленные человеческие конечности, а куски морковки, огрызки хлеба, заплесневевшие до липкого состояния, чайные пакетики, которые выглядели так, как будто из

них высосали все до последней капли. Мусорная корзина была переполнена, как издевательский рог изобилия. Я вытащил оттуда жестянку из-под нута и увидел, что внутри она не просто пустая, а тщательно вылизанная до блеска. Я осмотрел еще пару пустых жестянок — они были такие же.

В центре кухни, на расстоянии примерно фута друг от друга, располагались два спальника, разделенные еще одной стенкой из книжек, на которой стояли два ноутбука. В каждом спальнике лежало по подушке и — эта деталь меня как-то особенно расстроила — по плюшевому медведю; они были аккуратно прикрыты, с головами на подушках, их черные глаза пялились в потолок. Вокруг этого спального места расчищенная тропа вела к ванной комнате, где к стенным розеткам были подключены два кислородных аппарата; на стойке у раковины стояло два стакана, в каждом по зубной щетке; тюбик с пастой рядом был почти полный. К ванной примыкало отдельное помещение для стирки, и там тоже все вроде бы было на месте — полотенца и рулоны туалетной бумаги в шкафу, фонари, батарейки, стиральные средства; в сушилке так и лежали наволочки и две пары детских джинсов.

Я вернулся на кухню и прошел через горы му-

сора в центр помещения, не понимая, что делать дальше. Позвонил Натаниэлю, но он не отвечал.

Тогда я подошел к холодильнику, чтобы чего-нибудь попить, а внутри не оказалось ничего. Ни бутылки сока, ни банки с горчицей, ни листика салата, присохшего к стенке. В морозильнике — такая же абсолютная пустота. И тогда меня охватил ужас, и я стал открывать все шкафы, выдвигать все ящики — и везде пусто, пусто, пусто. В кухне не осталось ничего съедобного и даже ничего — муки, пекарского порошка, дрожжей, — из чего можно приготовить что-нибудь съедобное. Вот почему банки были такие чистые — они вылизали все, что смогли. Вот почему кухня была в таком беспорядке — они разворошили все в поисках чего-нибудь съестного.

Я не знал, почему именно они забаррикадировались — или, скорее, почему мать их забаррикадировала — на кухне, хотя понятно, что так было сделано ради их безопасности. Но я понимал, что, когда еда закончилась, им нужно было выбраться и искать ее по всему дому.

Я выскочил из кухни, взбежал наверх по лестнице. “Эзра! — крикнул я. — Хирам!” В родительской спальне на втором этаже тоже все было вверх дном: белье, носки, мужские трусы выблеваны из

ящиков, обувь раскидана по всему полу.

На третьем этаже — та же картина: ящики опустошены, в шкафах хаос. Только их собственная учебная комната осталась такой же аккуратной, какой я ее когда-то видел, — ее они знали до мельчайших деталей, и искать то, чего там, как они прекрасно знали, не было, не имело смысла.

Я попытался как-то успокоиться. Я позвонил Натаниэлю, еще раз послал ему записку. И пока ждал, что он ответит, я выглянул в окно и увидел, далеко внизу, два тела, лежавшие ничком в саду за домом.

Это, конечно, были мальчики, одетые в шерстяные куртки, хотя для такой одежды было слишком тепло. Оба очень тощие. Один из них, Хирам или Эзра, повернул голову в сторону брата, который лежал, уткнувшись лицом в каменную плитку. К штанам так и были прицеплены кислородные аппараты с давно опустевшими камерами. И хотя было тепло, камни оставались холодными, что отчасти сохранило их тела.

Я дождался криминалистов, сообщил им то, что знал, и отправился домой, чтобы рассказать о случившемся Натаниэлю, который этими новостями был удручен.

— Да что ж я раньше-то туда не пошел? — вос-

кликнул он. — Понятно же было, что что-то не так, понятно! Куда делась домработница? Куда делся их гребаный отец?

Я навел справки, ссылаясь на то, что это может быть ситуация, небезразличная для эпидемиологической обстановки, и попросил провести полное расследование в кратчайшие сроки. Сегодня я получил отчет о случившемся — по крайней мере о том, что, скорее всего, могло случиться. Около пяти недель назад Фрэнсис Холсон подхватила "заболевание неизвестной этиологии"; понимая, что это заразно, она забаррикадировала мальчиков на кухне и попросила домработницу регулярно приносить еду. На протяжении первой недели все так и было — но по мере того, как состояние Фрэнсис ухудшалось, домработнице, видимо, стало страшно возвращаться в дом. Вероятно, Фрэнсис переместилась на первый этаж, чтобы быть ближе к мальчикам, и передала им все, что у нее оставалось, от той еды, которую выделила для себя, — надев стерильные перчатки, через одно из окошек, прорезанных в пластиковом щите. Мальчики, значит, видели, как она умирала, и потом могли видеть ее труп еще как минимум две недели. Они отправились на поиски еды, видимо, дней за пять до того, как

я их обнаружил, — вышли через кухонную дверь и спустились в сад по металлической лестнице. Хирам — лежавший ничком — умер первым; Эзра, повернувший голову в его сторону, видимо, умер на следующий день.

Но во всем этом таится множество деталей, которых мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем. Почему они — Фрэнсис, Хирам, Эзра — ни с кем не связались? Почему их учителя не увидели беспорядок на кухне во время видеоуроков и не спросили, не нужна ли им помощь? У них что, не было родственников, которым можно позвонить? Друзей? Как домработница могла оставить беззащитных людей на волю случая? Почему Фрэнсис не заказала еще еды? А мальчики? Заразились ли они неизвестным вирусом от Фрэнсис? Они не могли умереть от голода за неделю и даже за две. Был ли это шок от выхода из дома? Или хрупкость их иммунной системы? Или что-нибудь, для чего не существует клинического определения, — отчаяние? Безнадежность? Страх? Или они решили сдаться, отказались жить — потому что они же наверняка могли отыскать кого-нибудь, кто помог бы, правда? Они умели общаться с внешним миром — почему они не приложили к этому больше усилий? Если толь-

ко им не надоела сама жизнь, не надоело быть живыми.

И главное — где таки был их гребаный отец? Минздрав его обнаружил всего в какой-то миле оттуда, в Бруклин-Хайтс, где он жил на протяжении последних пяти лет с новой семьей — новой женой, роман с которой у него начался семь лет назад, и двумя здоровыми детьми пяти и шести лет. Он сказал следователям, что всегда следил за тем, чтобы о Хираме и Эзре заботились, и ежемесячно посылал Фрэнсис деньги. Но когда они спросили, в какую похоронную контору послать его сыновей после вскрытия, он пожал плечами: “Да в городской крематорий нормально, — сказал он. — Они уж давно умерли”. И захлопнул дверь.

Ничего этого я Натаниэлю не рассказал. Это его слишком сильно бы расстроило. Это и меня расстроило. Как может человек отказаться от собственных детей так бесповоротно, как будто их никогда и не существовало? Как родитель вообще может быть таким бесстрастным?

Прошлой ночью я не мог заснуть и думал о Холсонах. Мне было жалко мальчиков, но Фрэнсис мне было жалко еще больше: она вырастила их, она так ревностно, так бдительно оберегала их от всего, и в результате они умерли в отчаянии.

И, засыпая, я подумал: может быть, мальчики не позвали никого на помощь по простой причине — они хотели увидеть мир. Я представил себе, как они берутся за руки и открывают дверь, спускаются по ступенькам, выходят в задний дворик. Они стоят там, не разнимая рук, вдыхают влажный воздух, смотрят на макушки деревьев, раскрывают рты в изумлении, и их жизнь становится прекрасной — впервые — в тот самый момент, когда она кончается.

С любовью,
Я

Дорогой мой Питер,
19 апреля 2065 г.

Прости, что долго не писал; я знаю, что прошло уже несколько недель. Но ты, я полагаю, поймешь, когда узнаешь, что случилось.

Иден ушла. Когда я говорю “ушла”, я не имею в виду, что она взяла и исчезла, оставив только невнятную записку. Мы прекрасно знаем, где она, — она в своей квартире в Виндзор-террас, вероятно, пакует чемодан. Под “ушла” я подразумеваю просто, что она больше не хочет быть родителем. Собственно, она так это и сформулировала: “Я как-то думаю, что родительство — это

не мое”.

Что тут еще скажешь, удивляться тоже особенно нечему. С рождения Чарли я видел Иден, наверное, раз шесть. Конечно, я там не живу — не исключено, что она приходила не только на День благодарения и на Рождество и Новый год и так далее, но, учитывая, с какой осторожностью и заполошностью Натаниэль вокруг нее носился, я что-то сомневаюсь. Он никогда не говорил мне о ней ничего плохого — вряд ли он высоко ее ценил, просто опасался, что если сказать: “Иден — плохая мать”, она и будет плохой матерью. Но она ведь и так уже была плохая мать. Я понимаю, что смысла в этом нет, но так устроен Натаниэль. Мы с тобой знаем, что такое плохие матери, а Натаниэль нет — он свою мать всегда любил и до сих пор с трудом понимает, что не все матери остаются верны детям из чувства долга, а уж тем более из-за любви.

Я не присутствовал при ее разговоре с Натаниэлем. Как и Дэвид, о местонахождении которого мы оба знаем все меньше и меньше. Но она, видимо, прислала ему сообщение, сказала, что должна с ним поговорить, хочет встретиться в парке. “Я возьму Чарли”, — сказал Натаниэль, и Иден сразу же ответила, что не надо, а то у нее

грипп “или что-то такое”, боится ее заразить. (Что она, интересно, себе думала — она скажет, Чарли меня больше не интересует, а Натаниэль пихнет девочку ей в руки и убежит?) В общем, они встретились в парке. Натаниэль сказал, что Иден опоздала на полчаса (она сослалась на то, что подземка была закрыта, хотя подземка закрыта уже шесть месяцев) и пришла с каким-то мужиком, который сидел на другой скамейке в нескольких ярдах от них, пока она сообщала Натаниэлю, что уезжает из страны.

— И куда? — спросил Натаниэль, когда справился с первым потрясением.

— В Вашингтон, — ответила она. — В детстве мы часто ездили отдыхать на остров Оркас, и мне всегда хотелось там пожить.

— А как же Чарли? — спросил он.

Тут, сказал он, что-то — чувство вины, может быть; стыд, надеюсь я, — проскользнуло по ее лицу.

— Мне просто кажется, ей лучше тут, с вами, — сказала она; Натаниэль промолчал; она добавила: — У тебя ж отлично получается, а. Я как-то думаю, что родительство — это не мое.

Поскольку я дал зарок быть лаконичным, не стану тебе описывать все переговоры, мольбы,

бесконечные попытки вовлечь во все это Дэвида, попытки торга и просто скажу, что в жизни Чарли никакой Иден больше нет. Она подписала отказ от родительских прав, и теперь Дэвид — единственный ее родитель. Но я уже говорил, что Дэвид появляется редко, так что на самом деле — пусть и не юридически — теперь ее единственный родитель Натаниэль.

— Не знаю, что мне делать, — сказал Натаниэль. Это было вчера вечером, после ужина. Мы сидели на диване в гостиной, Чарли спала у него на руках. — Пойду уложу ее.

— Погоди, — сказал я, — дай мне ее подержать. — Он посмотрел на меня этим особым натаниэлевским взглядом — полураздраженным, полуумиленным — и передал девочку мне.

Мы некоторое время сидели так — я смотрел на Чарли, Натаниэль тихо гладил ее по головке. У меня было странное чувство, что время между нами истончилось, что нам дают еще один шанс — как родителям, как паре. Мы оба были и младше, и старше, чем на самом деле, мы знали все, что может пойти не так, но ничего не знали о будущем, и никакие факты последних двух десятилетий — моя работа, пандемии, лагеря, наш развод — как будто бы не существовали. Но потом

я осознал, что, стирая все это, я стираю Дэвида, а стало быть, и Чарли.

Я наклонился и погладил Натаниэля по волосам, и он приподнял бровь, но потом расслабился, и некоторое время мы так и сидели — я гладил его по волосам, а он гладил Чарли.

— Я думаю, может, мне стоит сюда переехать, — сказал я, и он посмотрел на меня и поднял другую бровь.

— Так ты думаешь? — сказал он.

— Ага, — кивнул я. — Я бы тебе помогал и с Чарли бы больше общался.

Я не планировал ничего такого предлагать, но теперь казалось, что только так и возможно. Моя квартира — бывшая наша квартира — превратилась не столько в жилое пространство, сколько в склад неодушевленных предметов. Спал я в лаборатории, ел у Натаниэля, а потом возвращался в квартиру переодеться. Никакого смысла во всем этом не было.

— Ну, — сказал он и слегка сдвинулся с места, — я не возражаю. — Он помолчал. — Не в том смысле, что мы съезжаемся.

— Я понимаю, — сказал я и даже не обиделся.

— И трахаться мы не будем.

— Посмотрим, — сказал я.

Он закатил глаза:

— Не будем, Чарльз.

— Ладно, ладно, — сказал я. — Может, будем, может, нет.

Но на самом деле я его просто дразнил. Меня тоже совершенно не тянуло с ним спать.

В общем, вот такие у меня новости. У тебя наверняка будут вопросы — задавай, не стесняйся. Увидимся же через несколько дней? Может, поможешь мне с переездом? (Шучу.)

Обнимаю,
Чарльз

Дорогой Питер,
3 сентября 2065 г.

Огромное спасибо вам с Оливье за игрушки: их доставили к нужному сроку, Чарли их обожает — в том смысле, что кошку она немедленно запихнула в рот и принялась жевать, что, мне кажется, недвусмысленно свидетельствует о нежной любви.

Не то чтобы я видел множество дней рождения годовалых именинников, но этот был камерный: только я, Натаниэль и даже Дэвид. Ну и Чарли, конечно. Ты, может, слышал новейшую теорию заговора, которая заключается в том, что это

правительство разработало болезнь прошлого месяца (зачем и для чего — остается неизвестным, поскольку логика обычно ставит палки в колеса таким теориям), — и Дэвид в нее, видимо, искренне поверил и в течение всего вечера старался со мной вообще не разговаривать.

Чарли была у меня на руках, когда он пришел — замызганный и небритый, впрочем, не больше, чем обычно; сняв свой костюм и очистив руки, он подошел и забрал ее у меня с коленей, как будто я просто подставка, и все, — и разлегся с ней на ковре.

Ты же помнишь Дэвида малышом — он был такой тощий и тихий, а когда не был тих, он плакал. Когда мне было восемь лет, мать, незадолго до того, как ушла от нас, сказала: мать понимает свои чувства к ребенку в течение первых шести недель (или месяцев?) его жизни, — и хотя я всячески старался забыть эти слова, они без приглашения возвращались в мое сознание в неблагополучные дни Дэвидова младенчества. Я и по сей день думаю, не могло ли так получиться, что где-то в глубине души он мне никогда не нравился, причем он в глубине души об этом знал.

Отчасти именно поэтому Чарли доставляет мне столько радости, и не просто радости, но еще

и облегчения. Ее так легко любить, обнимать, держать на руках. Дэвид всегда извивался и вырывался из моих рук (и из рук Натаниэля, надо сказать), когда я пытался его обнять, но Чарли прижимается к тебе, и когда ты — в смысле, я — улыбаешься ей, она улыбается в ответ. Рядом с ней мы все становимся мягче, нежнее, как будто договорились скрывать от нее правду о том, кто мы на самом деле, как будто она была бы недовольна, узнав об этом, встала бы, вышла из комнаты и покинула нас навеки. Все ее ласковые прозвания так или иначе связаны с чем-то мясным: мы зовем ее “котлетка”, “голяшка”, “рулька” — все, чего мы не ели уже несколько месяцев, с тех пор, как началось нормирование. Иногда мы делаем вид, что грызем ее ногу и рычим по-собачьи. “Я тебя съем! — говорит Натаниэль, продвигаясь по ее бедру, а она хихикает и хрюкает. — Я тебя щас съем!” (Я осознаю, что все это звучит слегка нездорово, если вдуматься.)

Натаниэль расщедрился и испек лимонный пирог; мы все его ели, кроме Чарли, потому что Натаниэль пока не дает ей сахар — что, наверное, правильно, кто знает, сколько вообще останется сахара, когда она доживет до наших лет. “Да ладно, папа, крошку же можно”, — сказал Дэвид,

протягивая ей крошку, как собачке, но Натаниэль покачал головой. “Ни за что”, — ответил он, и Дэвид улыбнулся и вздохнул почти гордо, как будто он — дедушка, сокрушающийся об излишней строгости своего сына. “Ну что тут скажешь, Чарли, — обратился он к дочери, — я сделал все, что мог”. А потом наступил неизбежный миг, когда Чарли надо было уложить, после чего Дэвид присоединился к нам в гостиной и набросился на меня с одной из своих вечных телег про правительство, про лагеря беженцев (которые, как он считает, по-прежнему существуют), про центры перемещения (которые он упорно называет “лагерями интернирования”), про неэффективность обеззараживающих кабин (с чем я втайне согласен), про эффективность фитотерапии (с чем я не согласен) плюс разные теории заговора о том, как Центры по контролю и профилактике и “другие исследовательские институты, которые спонсирует государство” (т. е. УР) заняты не попытками излечить болезни, а их, болезней, созданием. Он считает, что государство — это гигантское сообщество заговорщиков, десятки мрачных, седовласых белых мужчин в мундирах, которые сидят в бункерах с обитыми войлоком стенами, используют голограммы и подслуши-

вающие устройства; банальность правды его бы просто удушила.

Это была плюс-минус та же диатриба, которую я слушал в течение последних шести лет. Но она меня больше не расстраивала — или, по крайней мере, если расстраивала, то иначе. На этот раз я снова смотрел, как мой сын, по-прежнему пышущий страстью, говорит так быстро и громко, что ему все время приходится стирать со рта слюну, и склоняется к Натаниэлю, а тот устало кивает ему в ответ, — и чувствовал какую-то извращенную скорбь. Я понимал, что он верит в идеи “Света”, но понимал я и то, что он вступил туда отчасти из желания найти что-то такое, где он окажется на своем месте, где будет чувствовать, что он среди своих.

Но при всей его преданности “Свету” “Свет” вовсе не казался преданным ему. Как тебе известно, у “Света” полувоенная структура, и члены этой организации добавляют татуировки в виде звездочек на внутренней стороне правых запястий, когда комитет повышает их в ранге. У Иден, когда мы встретились, было три; когда Натаниэль видел ее последний раз, к ним добавилась еще одна. Но запястье Дэвида украшено одной-единственной одинокой звездой. Он — вечный пехотинец,

занятый исключительно (как я знаю из твоих отчетов) неквалифицированной работой: достает крохи материалов, которые инженеры используют при изготовлении гранат, и штаб-квартира никогда не упоминает его лично в своих пышных речах после каждого нападения. Он никто, неизвестный солдат, забытый винтик. Конечно, меня его незначительность, его неучастие только радует — так он остается в относительной безопасности, не вовлечен в настоящие неприятности. Но я понял, что ненавижу “Свет” не только за то, что он пытается насаждать, но и за то, как упрямо он отказывается признавать заслуги моего сына. Он присоединился к ним в поисках дома — и те в результате отнеслись к нему так же, как и все остальные. Я понимаю, что в этом есть некоторое безумие — был бы я счастливее, если бы на его запястье места не было от синих звезд? Конечно нет. Но это была бы иная печаль, смешанная, возможно, с извращенной гордостью, с облегчением оттого, что раз уж мы с Натаниэлем не его семья, какую-то семью он себе нашел, и не важно, что она такая опасная и чудовищная. Кроме Иден, он никогда никого не приводил домой и не знакомил с нами, не упоминал друзей, никогда не хватался за телефон посреди ужина,

чтобы ответить на бесконечные сообщения, не улыбался в экран, набирая ответ. Хотя я никогда не видел его в деле, он постоянно представлялся мне где-то на обочине; мне виделось, что он прислушивается к разговорам, но ему никогда не предлагают что-то сказать. Доказать я это, конечно, не могу, но думаю, что именно отсутствие друзей отчасти виновато в том, что он почти не проводит время с дочерью — он как будто боится заразить ее своим одиночеством, боится, что она тоже будет считать его кем-то несущественным.

Из-за этого мне больно за него. Как нередко бывало — слишком нередко, учитывая, что ему уже двадцать пять, он взрослый мужчина, более того, отец, — я снова представил себе его маленьким мальчиком на детской площадке на Гавай'ях: как другие дети от него разбежались, как уже тогда он понимал, что с ним что-то не так, что-то людей от него отталкивает, что-то отстраняет его, помещает на обочину на всю жизнь.

Что мне остается? На что-то надеяться, стараться сделать все возможное для его ребенка. Я не могу сказать, что собираюсь ее использовать для исправления всего того, что у меня не получилось с ним, — но понимаю, что должен попробовать. Со времен, когда Дэвид был малышом, столько

всего изменилось, столько всего исчезло. Наш дом, наша семья, наши надежды. Но детям нужны взрослые. Это не поменялось. Так что я могу снова попробовать. Не просто могу — должен.

Обнимаю,
Чарльз

Дорогой мой Питер,
7 января 2067 г.

Вот кончился очень долгий день в конце очень долгой недели. Я вернулся с заседания Комитета поздно — няня уже несколько часов как уложила Чарли, повар оставил миску риса, тофу и маринованных огурцов. Рядом с миской лежал лист бумаги, на котором толстым зеленым карандашом была проведена раздваивающаяся линия. “От Чарли — дедуле”, — написала няня в правом нижнем углу. Я положил бумажку в портфель, чтобы взять ее с собой в лабораторию в понедельник.

Комитет обсуждал то, что произошло в Великобритании — пардон, в Новой Британии — после выборов. Ты будешь рад узнать, что переход всем показался более гармоничным, чем тебе. И уж совсем не удивишься, если я скажу: по общему мнению, несмотря ни на что, вы приняли

неверное решение, слишком мягко отнеслись к населению, уступили протестующим. Все также согласились, что снова открывать метро — безумие. Ты знаешь, я не то чтобы с этим был полностью не согласен.

Поев, я стал бродить по дому. Я теперь так делаю в конце каждой недели. Началось это в первую субботу после случившегося, когда я проснулся — мне снилось, что мы с Натаниэлем снова на Гавай'ях, в том доме, где когда-то жили, но нам столько лет, сколько сейчас. Не знаю, существовал ли Дэвид в этом сне — жил ли в собственном доме, или жил с нами, но вышел по делам, или вообще не рождался. Натаниэль искал фотографию, сделанную вскоре после нашего знакомства. "Я там обратил внимание на кое-что занятное, — сказал он. — Хочу тебе показать. Не могу вспомнить, куда я ее дел".

В этот момент я проснулся. Я понимал, что это сон, но тем не менее что-то меня заставило встать и тоже пуститься на поиски. В течение часа я ходил с этажа на этаж — это было до еще того, как няня и повар переместились на четвертый, — беспорядочно открывал ящики, брал с полок случайные книги, пролистывал их от корешка до корешка. Я перелопатил банку с раз-

ной фигней на кухонной полке — зажимы для пакетов, резинки, скрепки, булавки, все эти необходимые мелочи времен моего детства, все, что сохранилось, пока все остальное менялось. Я пошарил в Натаниэлевом комоде, в рубашках, еще хранящих его запах, в его шкафчике в ванной, в витаминах, которые он принимал, несмотря на то что их неэффективность уже давно доказана.

В те первые недели у меня не было ни права, ни намерения заходить в комнату Дэвида, но даже после того, как следствие завершилось, я не открывал эту дверь и сам переместился вниз, в бывшую комнату Натаниэля, чтобы заходить на третий этаж не возникало необходимости. Я смог это сделать только через два месяца. Бюро оставило комнату прибранной. Отчасти дело было просто в уменьшении объема: исчезли компьютеры и телефоны Дэвида, бумаги и книги, покрывавшие пол целыми грудами, пластиковый раздвижной шкафчик с десятками крошечных ящиков, в каждом всякие гвозди, шпильки, обрезки проволоки, предназначенные для вещей, о которых я старался не слишком задумываться, потому что в противном случае мне самому давно бы следовало настучать на него в бюро. Выглядело это все так, как будто они

полностью стерли прошлое десятилетие и то, что осталось — его кровать, кое-какая одежда, фигурки монстров, которые он лепил подростком, гавайский флаг, который висел в любой его комнате с тех пор, как он был малышом, — было его подростковой инкарнацией непосредственно перед тем, как он присоединился к “Свету”, как он, я и Натаниэль разошлись в разные стороны, перед тем, как эксперимент с нашей семьей провалился. Единственным свидетельством течения времени были две фотографии Чарли в рамке на прикроватной тумбочке: первая, которую ему дал Натаниэль, — ее первый день рождения, она расплывается в улыбке, рожица вся в персиковом пюре. Вторая — короткое видео, которое Натаниэль снял несколько месяцев спустя: Дэвид держит ее за руки и кружит. Камера фокусируется сначала на его лице, потом на ее лице, и видно, что они оба громко хохочут, разевают рты и совершенно счастливы.

Теперь, почти четыре месяца спустя, оказывается, что может пройти несколько часов, на протяжении которых я ни об одном из них не вспоминаю, когда вспышки наваждения — если я думаю, например, во время скучного заседания, что Натаниэль приготовит на ужин, зайдет ли

Дэвид в выходные повидаться с Чарли, — меня больше не распластывают по стене. Но я не могу перестать думать о том мгновении — хотя я его не видел, хотя, когда мне предложили взглянуть на совсекретные фотографии, я отказался: взрыв, люди, находившиеся ближе всего к устройству, разлетаются на ошметки, склянки вокруг них разбиваются вдребезги. Я тебе уже говорил, что единственная фотография, которую я увидел перед тем, как закрыть папку навсегда, была сделана в тот же вечер, в проходе с супами и соусами. Пол был заляпан густой красной массой — не кровью, а томатной пастой, — и вся она была покрыта сотнями гвоздей, почерневших и изогнутых от температуры взрыва. В правой части изображения виднелась мужская кисть и часть предплечья, на запястье были видны и, вероятно, еще шли часы.

Еще я видел короткий отрывок видео, где Дэвид врывается в магазин. Звука там не было, но по тому, как он вертит головой, понятно, что он в панике. Потом он открывает рот, и видно, как что-то кричит, это два повторяющихся слога: “Па-па! Папа! Папа!” И он бежит в глубину магазина, а потом — ничего не происходит, а потом дверь в магазин, уже успевшая закрыться, шатается и

все становится белым.

Этот отрывок я показывал следователям и министрам на протяжении месяцев, с тех пор, как получил его, пытаясь доказать им, что Дэвид не мог быть организатором этого взрыва, что он любил Натаниэля, что он ни за что не стал бы его убивать. Он знал, что Натаниэль ходил туда за покупками; когда он понял, что именно планирует "Свет", а Натаниэль ему прислал сообщение, что идет в магазин, — разве он не помчался туда его остановить, спасти? Я не мог утверждать, что он вообще никого не хотел убить — хотя говорил именно так, — но я знал, что убивать Натаниэля он точно не хотел.

Но государственные службы со мной не согласны. Во вторник министр внутренних дел лично пришел ко мне и объяснил, что, поскольку Дэвид был "важным и известным" членом повстанческой организации, ответственной за гибель семидесяти двух человек, им придется наложить на него посмертный приговор за измену. Это означает, что его нельзя похоронить на кладбище, а потомкам запрещается наследование любого его имущества, которое будет конфисковано государством.

Тут его глаза как-то странно затуманились, и

он сказал:

— Так что вам повезло — если можно использовать такое слово в этих ужасных обстоятельствах, — что ваш бывший муж в завещании указал: его дом и все имущество отходит не вашему сыну, а напрямую вашей внучке.

Я был совершенно ошеломлен известием про приговор Дэвиду и не сразу понял, что он пытается мне сказать.

— Нет, — сказал я, — нет, неправда. Все должно было отойти Дэвиду.

— Нет, — сказал министр, вытащил из кармана своего мундира бумажки и передал их мне. — Вы, видимо, ошибаетесь, доктор Гриффит. В его завещании совершенно недвусмысленно указано, что все состояние отходит внучке, а вы назначаетесь исполнителем.

Я развернул стопку и увидел совсем не тот документ, составление и подписание которого я засвидетельствовал всего лишь год назад: для Чарли был организован фонд управляемого имущества, но дом был завещан Дэвиду, с условием, что после его смерти он отходит Чарли. А тут был документ, подписанный Натаниэлем и мной, с водяными знаками и тремя именными печатями — адвоката, Натаниэля и моей, — под-

утверждающий слова министра. И не только это — официальное имя Чарли в документе было указано не как “Чарли Бингем-Гриффит”, а просто как “Чарли Гриффит”; фамилия ее отца и Натаниэля была вымарана из реальности. Я взглянул на министра, а тот посмотрел на меня долгим, непроницаемым взглядом и встал.

— Оставлю вам этот экземпляр для архива, доктор Гриффит, — сказал он и ушел. Только дома я развернул листы и посмотрел их на свет, удивляясь совершенству подписей, точности печатей. Потом внезапно забеспокоился, нет ли в самой бумаге каких-нибудь жучков — хотя, конечно, до таких технологий еще лет десять как минимум.

Я пытался найти изначальное завещание, хотя это не только бессмысленно, но и небезопасно. Я вытащил из сейфа все документы, которые там хранил Натаниэль, и каждый вечер просматриваю сколько-то из них, и наша жизнь разворачивается вспять: бумаги, которые делают Натаниэля официальным законным опекуном Чарли, подписанные за три недели до нападения; бумаги, подписанные Иден, с отказом от всех юридических прав на дочь; свидетельство о рождении Чарли; дарственная на дом; завещание Обри; наши документы о разводе.

А потом я начинаю бродить туда-сюда. Я говорю себе, что ищу завещание, но вряд ли — я ищу его там, куда Натаниэль ни за что бы его не положил, и к тому же если бы он и хранил экземпляр дома, его давно бы забрали так, что мы бы ничего не заметили. Смысла искать не было, как не было смысла звонить нашему адвокату и слушать, как он уверяет меня в ошибке, в том, что описываемого мной завещания никогда не существовало.

— Ты просто очень устал, Чарльз, — сказал он. — Скорбь может влиять на… — он помолчал, — память. — Тут я снова испугался, сказал ему, что он наверняка прав, и закончил разговор.

Мне повезло, я понимаю. С родственниками повстанцев случались вещи гораздо хуже, даже когда речь шла о людях, вовлеченных в несопоставимо менее смертоносные нападения, чем то, в котором участвовал Дэвид. Я пока что слишком нужен государству. Не беспокойся обо мне, Питер. Пока. Прямо сейчас опасность мне не грозит.

Но иногда я думаю, что, может быть, ищу не завещание, а свидетельства о том человеке, которым я был до начала этого всего. Как далеко надо отойти в прошлое? До установления нынешнего государства? До того, как я ответил на первый

звонок из министерства, когда меня спросили, хочу ли я стать “архитектором решения”? До эпидемии 56 года? Или 50-го? Еще раньше? До начала моей работы в УР?

Сколько шагов назад надо сделать? О скольких решениях пожалеть? Иногда мне кажется, что в этом доме где-то есть тайник с такой бумажкой, на которой написаны все ответы, и что если по-настоящему верить, я проснусь в тот месяц или год, когда только начал отклоняться от верной дороги, и на этот раз сделаю все наоборот. Даже если окажется тяжело. Даже если будет казаться, что все неправильно.

Обнимаю,
Чарльз

Дорогой Питер,
21 августа 2067 г.

Приветствую тебя из лаборатории в этот воскресный день. Я просто пришел кое-что проверить и почитать последние отчеты из Пекина; что ты скажешь о том, который датирован прошлой пятницей? Мы это не обсуждали, но ты тоже вряд ли сильно удивился. Господи, узнать, что, вне всяких сомнений, не только дурацкие обеззаразки, но и шлемы абсолютно бесполез-

ны, — это повод для мятежей. Люди разорялись — буквально, — устанавливая их, поддерживая их в рабочем состоянии, заменяя, все это продолжалось пятнадцать лет, а теперь мы им говорим, что ой, ошибочка вышла, можете все выбросить? Сообщить об этом собираются через неделю, в следующий понедельник; будет непросто.

Но труднее всего окажутся следующие несколько дней. Во вторник объявят, что интернет “приостановлен” на неопределенное время. В четверг объявят, что все международные перемещения, входящие и исходящие, включая Канаду, Мексику, Западную Федерацию и Техас, тоже приостановлены.

Я очень дергаюсь, и Чарли это чувствует. Она забирается ко мне на колени и гладит по лицу. “Ты грустишь?” — спрашивает она, и я говорю, что грущу. “Почему?” — спрашивает она, и я говорю ей: потому что люди в этой стране дерутся друг с другом, а мы пытаемся заставить их не драться. “А, — говорит она. — Не грусти, дедуля”. — “С тобой я никогда не грущу”, — говорю я ей, хотя это неправда — мне грустно, что вот в таком мире она живет. Но может быть, надо все-таки сказать ей правду — что я и правда грущу, все время, и что это нормально — грустить. Но она

такой прелестный малыш, кажется, что говорить ей такое — безнравственно.

Минюст и МВД уверены, что смогут подавить протесты за три месяца. Армия готова действовать, но ты же видел последний отчет — количество диверсантов в военных частях, прямо скажем, настораживает. Военные говорят, что им нужно время для “проверки лояльности” (одному богу известно, что это значит); Минюст и МВД говорят, что время терять больше нельзя. В последнем отчете сказано, что значительное число людей из “исторически социально незащищенных групп граждан” помогают повстанцам; об особых мерах речи пока нет, и слава богу — я понимаю, что я защищен, что я исключение, но нервничаю все равно.

Не волнуйся обо мне, Питер. Я понимаю, ты все равно волнуешься, — но постарайся этого не делать. Пока они не могут от меня избавиться. Мой цифровой доступ не ограничили, разумеется, — мне он нужен для связи с Пекином, например; и хотя вся наша информация идет по зашифрованным каналам, я, возможно, буду писать тебе через нашего общего друга, просто в качестве предосторожности. Это означает, что письма будут приходить реже (вот тебе повезло-то), но станут

длиннее (вот тебе не повезло-то). Посмотрим, как пойдет. Ну, как со мной связаться в экстренном случае, ты знаешь.

С любовью — и с приветом Оливье — Ч.

Дорогой мой Питер,
6 сентября 2070 г.

Сейчас раннее-раннее утро, пишу тебе из лаборатории. Спасибо, кстати, вам с Оливье за книги и подарки — хотел тебе написать на прошлой неделе, но забыл. Я надеялся, что Чарли выпишут, чтобы отпраздновать ее день рождения дома, но во вторник у нее снова был большой эпилептический припадок, так что они решили ее подержать еще несколько дней; если за выходные все будет нормально, отпустят в понедельник.

Я, естественно, проводил с ней каждый день и почти каждую ночь. Комитет отнесся к этому с почти сверхъестественным человеколюбием. Как будто они знали, что у кого-нибудь из нас кто-то из детей или внуков заразится — элементарная вероятность, что такого не случится, была пренебрежимо мала, — и испытали облегчение оттого, что это оказался мой ребенок, а не их. Облегчение заставляет их испытывать чувство вины, а вина вызывает щедрость: у Чарли в палате больше

игрушек, чем она может пересчитать, как будто игрушки — это некая небольшая жертва, а она — мелкое божество и, потакая ей, они тем самым защищают своих.

Мы здесь, во Фрире, уже два месяца. Собственно, завтра — ровно девять недель. Много лет назад, когда мы с Натаниэлем впервые поселились в Нью-Йорке, это была онкологическая больница. Потом в 56-м ее передали под корпус инфекционных болезней, а прошлой зимой — под педиатрический корпус инфекционных болезней. Остальные пациенты — там, где раньше размещалась ожоговая клиника, а пациентов с ожогами перевели в другие больницы. Когда инфекция только начиналась и о ней еще не объявили населению, я старался как можно скорее пролететь мимо этой больницы и никогда не смотреть на нее, потому что понимал: это место лучше всего подходит для лечения тех детей, которые заболеют, и мне казалось, что, если я не стану смотреть на ее стены снаружи, я никогда не увижу их изнутри.

Палата расположена на десятом этаже; окна выходят на восток, на реку и, следовательно, на крематории, которые пыхтят без перерыва начиная с марта. Раньше, когда я приезжал сюда в

качестве наблюдателя, а не посетителя — “любимого”, как называет нас больница, — можно было выглянуть в окно и увидеть, как из фургонов на лодки выгружают груды трупов. Тела такие маленькие, что на одни носилки их можно упихать по четверо, по пятеро. Через шесть недель правительство выстроило на восточном берегу реки забор, потому что родители прыгали в воду за отчалившими лодками, звали детей, пытались вплавь добраться до противоположного берега. Забор этому воспрепятствовал, но он не мог помешать людям с десятого этажа (в основном родителям, потому что большинство детей без сознания) смотреть в окно, чтобы отвлечься, и вместо этого видеть — трудно представить себе более жестокую иронию — именно то место, куда потом отправится большинство их детей, как будто Фрир — просто перевалочный пункт на пути к пункту назначения. Тогда в больнице закрыли непрозрачными панелями все окна, выходящие на восток, и наняли студентов художественных училищ их чем-нибудь разрисовать. Но тянулись месяцы, и картинки, нарисованные студентами — Пятая авеню, обсаженная пальмами, с радостными детьми на тротуарах; павлины в Центральном парке, которых счастливые де-

вочки и мальчики кормят хлебом, — тоже стали казаться слишком жестокими, и в конце концов их замазали белой краской.

Отделение рассчитано на сто двадцать пациентов, но сейчас их около двухсот, и Чарли находится тут дольше всех. За последние девять недель множество детей появилось и исчезло. Мало кто задерживается дольше чем на четыре дня, хотя один маленький мальчик, наверное, на год старше Чарли — лет семи-восьми, — был госпитализирован за три дня до нее и умер только на прошлой неделе, то есть он второй по длительности пребывания. Все здесь — родственники кого-нибудь из государственных служащих или кого-нибудь, кому государство чем-то обязано, — причем достаточно серьезным, иначе они бы не избежали центра перемещения. Первые семь недель у нас была отдельная палата, и хотя меня заверили, что сколько понадобится — столько она у нас и будет, настал момент, когда я сам больше не мог это морально оправдывать. Так что теперь у Чарли двое соседей — а уместиться там могло бы и пятеро. Мы с остальными родителями киваем друг другу — защитной одежды на нас так много, что видны только глаза, — но в целом делаем вид, что никого не существует.

Только наши дети.

Я видел, что вы делаете там у себя, но здесь кровать каждого ребенка огорожена стенами из прозрачного пластика, вроде тех, за которыми жили Хирам и Эзра; родители сидят снаружи и просовывают руки в перчатки, встроенные в одну из стен, чтобы хоть как-то прикоснуться к детям. Те немногочисленные родители, которые почему-либо никогда не сталкивались с прежним вирусом, оставившим перекрестные антитела к этому, вообще не могут войти в клинику, — они так же восприимчивы, как дети, и по-хорошему должны бы сами находиться в изоляции. Но куда там. Вместо этого они торчат перед больницей даже на жаре, которая в последние месяцы трудновыносима, и глядят на окна. Много лет назад, ребенком, я видел старую видеозапись: толпа стоит возле парижской гостиницы и ждет, что поп-певец выйдет из своей комнаты на балкон. Здесь толпа такая же большая, но если та вела себя буйно, почти до истерики, эта пугающе тиха, как будто любой звук может помешать им проникнуть внутрь и увидеть своих детей. Никакой надежды на это у них все равно нет — по крайней мере, пока они заразны или могут распространять инфекцию. Кому повезет, могут по крайней

мере видеть прямую трансляцию: их дети лежат в кровати, ни на что не реагируя; кому не везет, не могут даже этого.

Дети поступают в клинику совершенно разными людьми, но через две недели терапии ксикором сходства между ними больше, чем различия. Ты сам знаешь, как это выглядит: сморщившиеся лица, размягчившиеся зубы, алопеция, язвы на руках и ногах. Я читал пекинский отчет, но здесь смертность выше всего среди тех, кому десять и меньше; у подростков выживаемость намного выше, хотя даже тут коэффициент — в зависимости от того, чьему отчету верить, — довольно жуткий.

Чего мы пока не знаем и не узнаем еще лет десять как минимум — это какие у ксикора долгосрочные последствия. Он разрабатывался не для детей, и им, безусловно, нельзя его получать в таких дозах — а что делать. Впрочем, на прошлой неделе мы по крайней мере выяснили, что его токсичность воздействует — как именно, неизвестно — на половое созревание, то есть, скорее всего, Чарли будет бесплодна. Услышав это на том заседании Комитета, до которого я все-таки добрался, я едва успел спрятаться от всех в туалет и разрыдался уже только там. Я столько месяцев

ее оберегал. Продержись я еще всего девять месяцев, у нас была бы вакцина. Не смог.

Текущие отчеты специалистов говорят, что она изменится; она уже изменилась, хотя я пока не знаю многих деталей и не знаю насколько. “Пациенты будут подвержены поражениям”, — прочитал я в последнем отчете, где затем довольно туманно описывалось, в чем поражения могут выражаться. Когнитивные отклонения. Замедленные физические рефлексы. Задержка роста. Бесплодие. Рубцевание. Первый пункт особенно чудовищный, потому что словосочетание “когнитивные отклонения” звучит совершенно бессмысленно. Ее теперешнее спокойствие, сменившее постоянную болтливость, — это когнитивное отклонение? Появившаяся официальность — “Кто я такой, Чарли? — спросил я в первый день, когда она пришла в себя. — Ты меня знаешь?” — “Да, — ответила она, внимательно меня рассмотрев, — ты мой дедушка”. — “Да, — сказал я, сияя, улыбаясь так широко, что у меня заболели щеки, но она лишь смотрела на меня тихо и без выражения. — Это я, твой дедуля, я тебя люблю”. — “Дедушка”, — повторила она и снова закрыла глаза; это что, когнитивное отклонение? Ее речь с паузами, ее непривычное отсутствие

юмора, то, как она изучает мое лицо с выражением сосредоточенным, но слегка озадаченным, как будто я принадлежу к иному виду и она пытается понять, что ей дальше делать, — это когнитивное отклонение? Вчера вечером я читал ей сказку, которую она раньше любила, про двух кроликов, и когда я закончил — тут она обычно говорила: “Давай еще!” — она посмотрела на меня пустым взглядом.

— Кролики не разговаривают, — наконец сказала она.

— Конечно, солнышко, — сказал я, — но это же сказка. — Она так ничего и не сказала в ответ, продолжала смотреть на меня с непроницаемым видом, и я добавил: — Это все придумано.

Почитай еще, дедуля! Только голоса изображай получше!

— А, — наконец сказала она.

Вот это — когнитивное отклонение?

Или приобретенная серьезность — ее “дедушка” звучит легким упреком, как будто я такого титула не вполне заслуживаю, — это неизбежный результат всех тех смертей, которые прошли у нее перед глазами? Я стараюсь избегать этой темы, но тяжесть ее болезни, сотни тысяч детей, которые к этому моменту умерли, — это же она,

наверное, как-то чувствует, правда? Соседи по палате у нее уже сменились семь раз за две недели; дети за один выдох становятся трупами, и их поскорее вывозят из палаты под простыней, чтобы Чарли — которая все равно спит — не видела, что происходит; даже сейчас у кого-то хватает сил на такое милосердие.

Я погладил ее по голове, шершавой от рубцов и первых клочков растущих заново волос, и снова подумал о предложении из отчета, которое теперь повторяю по несколько раз на дню: “Эти данные, как и продолжительность описанных явлений, остаются гадательными до тех пор, пока мы не сможем обследовать более обширную когорту выживших”.

— Чарли, спи, детка, — сказал я ей, и раньше она бы начала скулить и немножко покапризничала, стала бы просить прочитать ей еще сказочку, а тут немедленно закрыла глаза, и от такой покорности я внутренне содрогнулся.

В прошлую пятницу я сидел и смотрел, как она спит, до одиннадцати (до 23:00, как теперь требует говорить государство), потом наконец заставил себя уйти. Снаружи никого не было. В первый месяц на время комендантского часа для родителей на улице делалось исключение; они

спали на одеялах, принесенных из дому, обычно на смену одному родителю на заре приходил другой — ну, при наличии такового, — приносил еду, занимал то же самое место на тротуаре. Но потом государство забеспокоилось о мятежах и запретило ночные сборища, хотя эти люди интересовались только одним, и это одно находилось внутри больницы. Конечно, я поддерживал такие шаги — с эпидемиологической точки зрения, но пока эти толпы не пропали, я не отдавал себе отчета, что едва слышные человеческие звуки, вздохи, храп, шепот, шелест переворачиваемой страницы, если кто-то читает, глоток воды из бутылки, частично перекрывали другой шум: авторефрижераторов на холостом ходу возле пристани, ватного стука завернутых тел, которые складывали одно на другое, катеров, снующих туда-сюда. Все, кто работал на острове, тактично молчали, как были обучены, но время от времени кто-нибудь все-таки что-то произносил, или чертыхался, или иногда вскрикивал, и нельзя было понять, отчего это произошло — уронил ли кто-нибудь тело, или простыня выпросталась и открыла лицо, или просто у них не хватало душевных сил сжигать столько трупов, детских трупов.

Водитель знал, куда я в тот вечер собираюсь, и я смог прислонить голову к стеклу и на полчаса уснуть, а потом он объявил, что мы прибыли в центр.

Центр расположен на острове, где полвека назад был заповедник для редких птиц — крачек, гагар, скоп. К 55-му крачки вымерли, в следующем году на южном берегу построили еще один крематорий. Но потом остров затопило штормом, и все так и стояло заброшенным до 68-го, когда государство принялось потихоньку восстанавливать крематорий, сооружая искусственные песчаные отмели и бетонные парапеты.

Парапеты защищают остров от будущих потопов, но у них есть и камуфляжное предназначение. Этот центр в основном обслуживал детей, хотя изначально ничего такого вовсе не планировалось. Обсуждалось, можем ли мы пускать туда родителей. Я был за — у большинства взрослых есть иммунитет. Но психологи из нашего Комитета оказались против — родители, сказали они, никогда не оправятся от увиденного, и подобная травма в таких масштабах приведет к социальной нестабильности. В конце концов для родителей на северной оконечности острова построили общежитие, но после мартовского

инцидента их пускать перестали. Вместо этого родители построили поселение из времянок — те, что побогаче, аж целые крошечные кирпичные домики, те, что победнее, фанерные — на берегу в Нью-Рошелле, хотя оттуда им видна только стена, которой остров закрыт со всех сторон, и вертолеты, которые спускаются туда с небес.

Как ты помнишь, споров о том, на каком, собственно, острове разместить такой центр, тоже было немало. В основном члены Комитета выступали за какой-нибудь бывший лагерь беженцев — Файр-Айленд, Блок-Айленд, Шелтер-Айленд. Но я яростно боролся за этот остров: он достаточно далеко к северу от Манхэттена, так что нежданных гостей не будет слишком много, а для вертолетов недалеко, и теперь, когда судоходные пути снова открылись, лодки тоже могут беспрепятственно подплыть к нему по течению.

Но на самом деле (хотя, конечно, я никому об этом не говорил) я выбрал это место из-за его названия — остров Дэвидс. “Дэвидс” там не в единственном числе, “остров Дэвида”, а во множественном, как будто тамошнее население состоит не из постоянно сменяющихся детей (в основном), а исключительно из Дэвидов. Мой сын, размноженный, во всех возможных воз-

растах, занятый всем тем, что он любил делать на протяжении жизни. В том числе сооружать бомбы, да. Но еще и читать, и играть в баскетбол, и бегать по кругу, как безумный щенок, чтобы мы с Натаниэлем посмеялись, и подхватывать и вертеть свою дочь, и забираться в постель ко мне под бок, когда гремит гроза и ему страшно. Старшие Дэвиды были бы родителями младшим Дэвидам, и когда кто-нибудь из них бы умирал — совсем-совсем нескоро, ведь старшим обитателям острова было бы только тридцать, как моему Дэвиду, будь он жив, — его заменял бы другой, так что дэвидское население оставалось бы постоянным, не увеличиваясь и не уменьшаясь. У них бы не было никаких сложностей, никаких опасений, что младшие Дэвиды окажутся не такими, странными, потому что старшие Дэвиды всегда смогут их понять. Одиночества тоже не было бы, потому что эти Дэвиды никогда не встречали бы родителей, одноклассников, незнакомцев, людей, которые не захотели бы с ними играть, — они знали бы только друг друга, то есть себя самих, и их счастью не было бы предела, потому что им было бы незнакомо мучительное желание стать кем-нибудь другим, потому что им некем было бы восхищаться, некому завидовать.

Я иногда прихожу сюда, в поздний час, когда даже жители местных бараков уже спят, и сижу у кромки черной солоноватой воды, гляжу на остров, который всегда подсвечен, и думаю, что-то сейчас делают мои Дэвиды. Может быть, те, что постарше, сидят за кружками пива. Может быть, некоторые из подростков играют в волейбол под яркими белыми прожекторами, которые никогда не гаснут и превращают воду, окружающую остров, в покрывало черной нефти. Может быть, младшие с фонариками читают комиксы под одеялом — или что-нибудь еще, что делают дети сегодня, когда валяют дурака. (Валяют ли они дурака? Наверняка ведь валяют, а как же?) Может быть, они прибираются после ужина, потому что юных Дэвидов приучили к полезному труду, приучили быть внимательными и добрыми друг к другу; может быть, целая куча Дэвидов лежит на огромной кровати и спит вповалку, дыхание одного согревает затылок другого, чья-то рука вытягивается почесать ногу и случайно чешет ногу кого-нибудь другого. Это не важно: оба это почувствуют.

— Дэвид, — говорю я воде — тихо, чтобы не разбудить спящих за моей спиной родителей. — Ты меня слышишь? — И прислушиваюсь.

Но никто никогда не отвечает.
С любовью, Чарльз

Дорогой мой Питер,
5 сентября 2071 г.

Сегодня мы устроили день рождения — Чарли семь лет; в четверг, как мы планировали, не получилось, она плохо себя чувствовала. Я не успел об этом сказать во время нашего разговора, но в течение последнего месяца у нее часто случались абсансы; они продолжаются лишь восемь-одиннадцать секунд, но чаще, чем мне раньше казалось. Собственно, один из них случился в кабинете у невролога, и я ничего не заметил, пока доктор не показал мне, что она затихла и уставилась вперед с приоткрытым ртом. “Вот на такое надо обращать внимание”, — сказал врач, и мне было стыдно ему признаться, что такое выражение у нее появлялось часто, что я видел его не раз, но считал, что это просто особенность того, кем она стала, а не симптом неврологического заболевания. Это тоже последствие ксикора, которое особенно часто проявляется у получавших лекарство до наступления половой зрелости. Врач считает, что она избавится от этого без лекарств, — мне страшно думать о том, чтобы

посадить ее еще на что-то, особенно на такое средство, которое оглушит ее еще сильнее, — но он не уверен, “к каким проблемам в развитии такое отклонение может привести”.

После судорог она расслаблена и готова на все. С тех пор как она дома, она почти не бывает спокойной; стоит мне протянуть к ней руку, она отшатывается с деревянной напряженностью, которая была бы комична, не будь она такой пугающей. Теперь я знаю, что нужно просто ее взять и обнять, и когда она начинает извиваться — ей больше не нравится, когда ее трогают, — я понимаю, что она пришла в себя.

Я стараюсь облегчить ее жизнь, насколько это возможно. Рокфеллеровский центр семейного воспитания закрылся из-за нехватки детей, поэтому я записал ее в маленькую и дорогую начальную школу возле Юнион-сквер, где у каждого ученика свой учитель и где согласились, чтобы она пришла к ним в конце сентября, когда немножко наберет вес и отрастит волосы. Мне-то, конечно, все равно, есть у нее волосы или нет, но это единственная деталь ее внешнего вида, которая, видимо, ее беспокоит. В любом случае я был рад, что ее можно еще подержать дома. Директор школы предложил, чтобы я завел ей какое-нибудь

животное, чтобы с чем-то взаимодействовать, и в понедельник я принес кота, маленького, серого, и показал ей, когда она проснулась. Она не то чтобы улыбнулась — она теперь редко улыбается, — но немедленно проявила интерес, взяла кота на руки, посмотрела ему в мордочку.

— Как его зовут, Чарли? — спросил я. До болезни она давала имена всему вокруг: людям на улице, растениям в горшках, куклам на своей кровати, двум диванам на первом этаже, которые, как она уверяла, похожи на бегемотов. Теперь же она посмотрела на меня этим своим новым настороженным взглядом, в котором можно увидеть то ли глубину, то ли пустоту.

— Кот, — наконец сказала она.

— А как-нибудь… повеселее? — спросил я. (“Пусть она вам все описывает, — сказал ее психолог. — Пусть все время говорит. Не факт, что удастся пробудить ее воображение, но по крайней мере вы напомните ей, что оно существует и его можно использовать”.)

Она так долго молчала, глядя на котенка и гладя его по шерсти, что я думал, у нее опять судорога. Потом она сказала:

— Котенок.

— Да, — сказал я, чувствуя, что мои глаза нали-

ваются жаром. Я испытывал, как часто бывает, когда я смотрю на нее, глубокую боль, которая исходит из сердца и распространяется по всему телу. — Он и правда маленький, значит, котенок.

— Да, — согласилась она.

Она так изменилась. До болезни я наблюдал за ней, стоя у порога ее спальни, — мне не хотелось звать ее и прерывать игру. Она разговаривала со своими плюшевыми зверями, одним голосом раздавала им указания, другим — отвечала за каждого, и что-то во мне росло и ширилось. Помню, как-то в мои студенческие годы к нам пришла женщина, мать ребенка с синдромом Дауна, поговорить о том, как именно врачи и генетики обсуждали с ней постнатальный диагноз дочери, — спектр их реакций варьировал от бессердечия до невежества. Но потом, сказала она, в тот день, когда их с дочкой выписывали, один из интернов подошел с ними попрощаться. “Радуйтесь ей”, — сказал он этой женщине. Радуйтесь ей — никто ей до сих пор не говорил, что ребенок может доставлять радость, что девочка будет для нее источником не бед и забот, а счастья.

Вот так и я всегда радовался Чарли. Я всегда это знал — радость, удовольствие, которое я получал

просто от ее существования, были неотделимы от любви к ней. Но теперь этой радости больше нет — на ее место пришло другое чувство, более глубокое и болезненное. Я словно бы не могу видеть ее иначе, чем в тройном представлении: тень той девочки, которой она была, реальность той, кем она стала, призрак той, кем она может стать. Я оплакиваю первую, не знаю, что делать со второй, боюсь за третью. Я никогда не осознавал, как подробно я представлял себе ее будущее, до того как она вышла из комы и так изменилась. Я понимал, что не могу предсказать, как будет выглядеть Нью-Йорк, эта страна, весь мир, — но я никогда не сомневался, что она сможет встретить любое будущее смело и решительно, что у нее хватит самообладания, обаяния, интуиции, чтобы выжить.

А теперь мне каждую минуту страшно за нее. Как она выживет в этом мире? Кем станет? Я даже не представлял, что у меня уже есть в голове картинка: вот она, девочка-подросток, врывается домой после посиделок у подруги, а я выговариваю ей за то, что пришла так поздно, — будет еще так или нет? Сможет ли она ходить по Виллиджу — пардон, по Восьмой зоне — в одиночку? Будут ли у нее друзья? Что с ней станет? Моя любовь к

ней иногда кажется мне чудовищной, огромной, темной силой, такой гигантской и бесшумной волной, что ей нельзя сопротивляться, на это нет никакой надежды — можно только стоять и ждать, пока она тебя накроет.

Я понимаю: такая жуткая любовь связана с крепнущим пониманием, что мир, в котором мы живем — мир, в создании которого я принимал участие, — не станет жалеть тех, кто хрупок, непохож на других, ущербен. Я всегда задавался вопросом, как люди понимают, что откуда-то пора уезжать — будь то Пномпень, Сайгон или Вена. Что должно случиться, чтобы ты бросил все, потерял надежду, что дела хоть когда-нибудь пойдут на поправку, помчался по направлению к жизни, которую прежде даже не пытался вообразить? Мне всегда казалось, что такое понимание возникает медленно, медленно, но верно, и перемены, каждая из которых внушает ужас, сменяя одна другую, становятся привычными, как будто предупреждающие знаки из-за своего обилия теряют силу.

А потом вдруг оказывается, что время вышло. Пока ты спал, пока работал, пока обедал, читал детям сказки, разговаривал с друзьями — ворота запирали, дороги баррикадировали, железно-

дорожные колеи разбирали, суда ставили на прикол, самолеты разворачивали. Однажды происходит что-нибудь, возможно незначительное, скажем, из магазинов пропадает шоколад, или ты осознаешь, что во всем городе не осталось ни одного магазина игрушек, или видишь, что детскую площадку напротив сносят, металлическую лесенку разбирают и швыряют в кузов грузовика, и внезапно понимаешь, что опасность везде, что телевидения больше не будет, что больше не будет интернета. Что хотя пик пандемии позади, лагеря продолжают строить. Что когда кто-то сказал на последнем заседании Комитета: “Постоянное размножение некоторых людей впервые в истории оказывается небесполезным”, — никто на это не отреагировал, даже ты; что все твои подозрения об этой стране — что Америка не для всех, что она не для таких людей, как я, не для таких, как ты, что в глубинах души этой страны скрывается грех, — оказываются правдой. Что раз уж принят “Закон о прекращении и предотвращении террористической деятельности”, дающий осужденным повстанцам выбор между заключением и стерилизацией, Минюст рано или поздно найдет способ распространить это наказание сначала на детей, а затем на братьев и

сестер тех самых осужденных повстанцев.

А потом ты понимаешь: я не могу больше здесь оставаться. Я не могу растить здесь внучку. Обращаешься к знакомым. Тайно выясняешь разные детали. Обращаешься к своему лучшему, старейшему другу, к бывшему возлюбленному, и просишь его вытащить тебя отсюда. Но он больше не может этого сделать. И никто не может. Правительство говорит, что твое присутствие здесь — вопрос государственной важности. Тебе говорят, что ты сможешь выезжать по паспорту с жестко ограниченным сроком, но твоей внучке паспорт выдать нельзя. Ты понимаешь: они знают — без нее ты ни за что не уедешь; ты уехать-то хочешь из-за нее; ты понимаешь, что, пользуясь ею, они лишают тебя любой возможности.

Ты лежишь ночью и не спишь, думаешь о покойном муже, о покойном сыне, о проекте закона, который сделает такую семью, как у вас когда-то была, нелегальной. Вспоминаешь, как когда-то гордился, как хвастался, что так молод, а уже возглавляешь лабораторию, как рвался строить те системы, от которых теперь хочешь сбежать. Ты думаешь, что только продолжение этой твоей работы гарантирует тебе безопасность. Ты ничего не хочешь сильнее, чем отмотать время

назад. Это самое твое заветное желание, самая страстная мечта.

Но это невозможно. Все, что ты можешь, — постараться обеспечить внучке относительную безопасность. Ты не отличаешься смелостью и знаешь об этом. Но каким бы ты ни был трусом, ты никогда ее не бросишь, пусть она и стала человеком, до которого не достучаться, которого ты не понимаешь.

Ты каждую ночь молишь о прощении.

Ты знаешь, что прощения никогда не будет.

С любовью,

Чарльз

Глава 7

2094 год, лето

Перед знакомством с мужем я нервничала. Это было весной 2087-го, мне было двадцать два. Утром того дня, когда я должна была встретиться с ним, я проснулась раньше обычного и надела платье, которое дедушка где-то сумел раздобыть, — зеленое, как бамбук. Оно было с поясом, который я завязала бантом, и с длинными рукавами, которые скрывали шрамы, оставшиеся после болезни.

В офисе брачного маклера, который находился в Девятой зоне, меня отвели в комнату с белыми стенами. Я спросила дедушку, останется ли он со мной, но он сказал, что я должна встретиться с кандидатом наедине, а он подождет за дверью, в приемной.

Через несколько минут кандидат вошел. Он был красивый, такой же красивый, как на фотографии, и я почувствовала себя несчастной, потому что знала, что я некрасивая, а на его фоне буду выглядеть еще хуже. Я ждала, что он посмеется надо мной, отведет глаза, а то и вовсе

развернется и уйдет.

Но он ничего такого не сделал. Он низко наклонил голову, я поклонилась в ответ, и мы представились друг другу. Потом он сел, и я тоже села. На столе стоял чайник с порошковым чаем, две чашки и маленькое блюдо с четырьмя печеньями. Он спросил, не хочу ли я чаю, я сказала, что хочу, и он налил мне немного.

Я сильно нервничала, но он старался вести беседу непринужденно. Все важные вещи друг о друге мы уже знали. Я знала, что его родителей и сестру признали виновными в государственной измене, отправили в трудовые лагеря, а потом казнили. Я знала, что он готовился к получению докторской степени по биологии, но его исключили за то, что его родственники — враги государства. Он знал, кто такие мой дедушка и мой отец. Он знал, что после болезни я стала бесплодной; я знала, что он предпочел стерилизацию отправке в лагеря. Я знала, что он подавал большие надежды, когда был студентом. Я знала, что он очень умный.

Он спрашивал, какую еду и какую музыку я люблю, нравится ли мне моя работа в Университете Рокфеллера, есть ли у меня хобби. Встречи между родственниками врагов государства обычно записывались, даже такие встречи, как эта, так

что мы оба вели себя осторожно. Мне нравилась его внимательность, нравилось, что он не задает вопросов, на которые я не смогла бы ответить, нравился его голос, мягкий и приятный.

Но я пока не могла понять, хочу ли за него замуж. Я знала, что когда-нибудь выйти замуж мне придется. Но вступление в брак означало, что мы больше не будем жить вдвоем с дедушкой, и я хотела оттянуть этот момент до последнего.

Однако в конце концов я решила, что соглашусь. На следующий же день дедушка отправился к маклеру, чтобы все окончательно подготовить. Год прошел быстро, и вот наступил вечер перед свадьбой. У нас был праздничный ужин: дедушка раздобыл яблочный сок, который мы пили из наших любимых чашек, и апельсины, сухие и кислые, которые мы обмакивали в синтетический мед, чтобы подсластить. На следующий день мне предстояло снова увидеть человека, который станет моим мужем; ему не удалось обжаловать свое исключение из университета, но дедушка нашел ему работу на Пруду, и через неделю он должен был к ней приступить.

Когда мы заканчивали ужинать, дедушка сказал:

— Котенок, я хочу рассказать тебе кое-что о

твоем будущем муже.

Все это время он был серьезен и молчалив, но когда я спросила, не сердится ли он на меня, он только улыбнулся и покачал головой.

— Нет, не сержусь, — сказал он. — Но это и радостный, и грустный день. Мой котенок теперь совсем взрослый и выходит замуж. — И продолжал: — Я долго раздумывал, говорить тебе об этом или нет. Но я считаю… я считаю, что обязан это сделать, и сейчас объясню почему.

Он встал, чтобы включить радио, а потом снова сел и долго молчал. Потом сказал:

— Котенок, твой будущий муж такой же, как я. Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Он ученый, — сказала я, хотя уже это знала. Или, по крайней мере, он стремился им стать. Это было хорошо.

— Нет, — сказал дедушка. — То есть да. Но это не то, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что он не только такой же… такой же, как я, но и как твой второй дедушка. Был. — После этого он замолчал, пока не убедился, что я поняла, что он хотел сказать.

— Он гомосексуалист, — сказала я.

— Да, — сказал дедушка.

Я кое-что знала о гомосексуализме. Я знала,

что это, знала, что дедушка такой, и знала, что когда-то это не было запрещено. Теперь такие отношения не запрещаются, но и не разрешаются. Люди могут вступать в гомосексуальные связи, хотя это не поощряется, но не могут заключать брак с представителем того же пола. Формально любой взрослый человек имеет право проживать с другим взрослым (не считая родственников), а значит, двое мужчин или две женщины могут жить в одной квартире, но на это решаются очень немногие — если два человека живут вместе и не состоят в браке, норма потребления воды и электричества, а также количество талонов на продукты рассчитываются только на одного. Существует только три категории жилья: для одиноких людей, для супружеских пар (без детей) и для семей (один вариант для семей с одним ребенком, другой — для семей с двумя и более детьми). До тридцати пяти лет можно жить в одиночной квартире. Но потом, согласно Закону о браке 2078 года, надо жениться или выйти замуж. У тех, кто развелся или овдовел, есть четыре года, чтобы вступить в брак повторно, и еще они в течение двух лет имеют право на оплачиваемую государством помощь в поиске нового партнера. Конечно, существуют исключения — например,

для таких людей, как дедушка. Государство также признало все официально заключенные раньше гомосексуальные союзы, но через двадцать лет после принятия закона срок признания истек. Дело в том, что выбирать жизнь вне брака нецелесообразно: выживать вдвоем на правительственное обеспечение одного практически невозможно. Стабильное и здоровое общество предполагает, что граждане должны состоять в браке, и именно поэтому правительство пытается убедить людей не рассматривать другие варианты.

В некоторых странах гомосексуализм запрещают по религиозным соображениям, но у нас дело обстоит иначе. Здесь его не поощряют потому, что взрослым следует производить детей, поскольку рождаемость в стране упала до катастрофического уровня, а также потому, что очень много детей умерло от болезней 70 и 76 годов, а многие из выживших оказались бесплодными. Кроме того, дети умирали так мучительно, что большинство родителей не хотели заводить новых — они были уверены, что и те умрут такой же мучительной смертью. Но еще одна причина, по которой гомосексуалисты оказались под подозрением, заключалась в том, что многие из

них присоединились к восстанию 67 года: они перешли на сторону повстанцев, и правительству пришлось наказать их и, кроме того, взять под контроль. Дедушка однажды сказал мне, что многие представители расовых меньшинств тоже присоединились к восстанию, но наказывать их таким же образом было непродуктивно, поскольку государству нужно было всеми возможными способами восстанавливать численность населения.

Но хотя гомосексуализм не был незаконным, его никто не обсуждал. Я не знала ни одного такого человека, кроме дедушки. У меня не было о них однозначного мнения. Эти люди не влияли на мою жизнь никаким существенным образом.

— А, — сказала я.

— Котенок, — начал дедушка, умолк и начал снова: — Я надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь, почему я решил, что этот брак — лучший вариант для тебя. Я хотел найти тебе мужа, который всегда будет заботиться о тебе и беречь тебя, который никогда не поднимет на тебя руку, никогда не будет кричать на тебя или унижать тебя. Я уверен, что этот молодой человек как раз такой. Можно было бы ничего тебе не рассказывать. Но я *хочу* рассказать, потому что не хочу, чтобы ты

винила себя в том, что у вас с мужем нет сексуальных отношений. Я не хочу, чтобы ты винила себя в том, что он не любит тебя так, как ты могла бы ожидать. Он будет любить тебя по-другому или, по крайней мере, проявлять любовь к тебе по-другому, и именно это важно.

Я поразмыслила об этом. Долгое время мы оба молчали.

Наконец я сказала:

— Может быть, он еще передумает.

Дедушка посмотрел на меня, опустил глаза и снова на некоторое время замолчал.

— Нет, — сказал он наконец очень тихо. — Он не передумает, котенок. Это он изменить не может.

Я знаю, это прозвучит очень глупо, потому что дедушка был такой умный и, как я уже сказала, я верила каждому его слову. Но, несмотря на то, что он говорил, я всегда надеялась, что он ошибся насчет моего мужа, что однажды муж сможет испытать ко мне физическое влечение. Как именно это произойдет, я сказать не могла. Я знала, что я некрасивая. А еще я знала, что, даже если бы я была красивой, для мужа это не имело бы никакого значения.

И все же в первые годы нашего брака я постоянно видела один и тот же сон наяву, в котором муж

был влюблен в меня. Это был не сон как таковой, скорее фантазия, потому что по ночам, к моему большому сожалению, ничего подобного мне не снилось. В этом как бы сне я лежала в своей постели, и муж вдруг ложился рядом. Он обнимал меня, а потом мы целовались. На этом все заканчивалось, но иногда бывали и другие фантазии, в которых мы стояли посреди комнаты и он меня целовал или мы ходили в Центр слушать музыку и держались за руки.

Я понимала, что дедушка рассказал мне правду о моем муже до свадьбы, чтобы я не винила себя за то, что не нравлюсь ему. Но это знание мне не помогло, я все время мечтала, что мой муж все-таки окажется исключением, что наша жизнь не будет такой, как описывал ее дедушка. И хотя этого не произошло, перестать надеяться было нелегко. Я всегда умела принимать все как есть, но принять этот факт оказалось труднее, чем я ожидала. Каждый день я пыталась, и каждый день ничего не получалось. Бывали дни, даже недели, когда мне удавалось не думать, что дедушка все-таки ошибся насчет моего мужа, что когда-нибудь муж тоже меня полюбит. Я знала, что, если бы я пыталась смириться, это было бы разумнее и в конечном счете менее тягостно, чем

надеяться. Но хотя от надежды мне становилось хуже, от нее мне становилось и лучше тоже.

Я понимала, что записки моему мужу писал мужчина, — я догадалась по почерку. Меня это расстроило, но не так сильно, как если бы их писала женщина: значит, дедушка был прав и мой муж действительно такой, как он говорил. Но все равно я была несчастна. Все равно мне казалось, что я что-то сделала не так, хоть дедушка и говорил, что я не должна так думать. Мне, в общем-то, даже не нужно было знать, кто этот мужчина, не нужно было знать, что происходит в доме на Бетюн-стрит, — это бессмысленная, лишняя информация. Я не смогла бы ничего изменить, ничего исправить. И тем не менее я все равно хотела знать — как будто даже самое ужасное знание лучше незнания. Наверное, именно поэтому дедушка тогда все мне рассказал про мужа.

Если смириться с тем, что муж не сможет меня полюбить, было трудно, то смириться с тем, что и Дэвид не сможет меня полюбить, оказалось еще труднее. Труднее потому, что я не понимала по-настоящему, что чувствую к нему, и потому, что в какой-то момент я начала думать, что могу ему тоже понравиться — понравиться так, как никогда не понравлюсь мужу. И это было хуже

всего, потому что я ошибалась — он не испытывал ко мне того, что я испытывала к нему.

В следующую субботу в 16:00 я осталась дома. Муж дремал в спальне, он сказал, что в последнее время сильно устает и ему нужно прилечь. Но через десять минут я спустилась вниз и открыла входную дверь. День выдался солнечный и жаркий, и на Площади было очень оживленно. Перед прилавком мастера по металлу, который стоял ближе всего к северному краю, собралась целая толпа. Но потом несколько человек оттуда ушли, и я вдруг увидела Дэвида. Несмотря на жару, воздух был относительно чистый, и Дэвид держал свой шлем в руке. Другой рукой он прикрывал глаза от солнца и медленно оглядывался по сторонам, ища что-то или кого-то.

Я поняла тогда, что он ищет меня, и вжалась в дверь, но тут же вспомнила, что никогда не говорила Дэвиду, где живу, — он знал только, что я живу в Восьмой зоне, как и он. Как только я подумала об этом, мне показалось, что он смотрит прямо на меня, и я затаила дыхание, как будто это могло сделать меня невидимой, но тут он повернулся в другую сторону.

Минуты через две он наконец двинулся на запад, в последний раз оглянувшись через плечо.

В следующую субботу произошло то же самое. На этот раз я ждала у двери ровно в 15:55, чтобы увидеть, как он подходит, останавливается в центре северного края Площади, в течение одиннадцати минут высматривает меня в толпе и наконец уходит. На третью субботу все повторилось снова, и на четвертую тоже.

Мне было приятно, что он по-прежнему хочет встретиться со мной даже после того, как я поставила себя в неловкое положение. Но в то же время мне было грустно, потому что я понимала, что больше не могу с ним видеться. Знаю, это звучит глупо и даже по-детски, потому что, хоть Дэвид и не испытывал ко мне тех же чувств, что я к нему, он все равно хотел быть моим другом — а разве я сама не говорила, что хочу иметь друга?

Но я просто не могла снова с ним увидеться. Знаю, это нелогично. Но я прилагала огромные усилия, чтобы запрещать себе надеяться на любовь мужа, и боялась, что мне не хватит самообладания точно так же запрещать себе надеяться на любовь Дэвида. Это было слишком трудно. Мне пришлось бы научиться подавлять свои чувства к Дэвиду или не обращать на них внимания, а я не смогла бы этого сделать, если бы продолжала с ним видеться. Лучше было притво-

риться, что я вообще никогда его не встречала.

На крыше корпуса, где я работаю, есть теплица. Это не та теплица, которая названа в честь дедушки, — та на крыше другого здания.

Теплица в Ларссон-центре не используется по назначению, а скорее служит музеем. Здесь университет хранит экземпляры каждого растения, модифицированного для создания противовирусных препаратов, начиная с 2037 года. Растения высажены в глиняные горшки, стоящие рядами, и хотя с виду они совершенно обыкновенные, под каждым расположен ярлычок с латинским названием, названием лаборатории, где его разработали, и препарата, в котором применяются его компоненты. В основном исследования растений давно проводят на Ферме, но в УР еще остается несколько молодых ученых, которые участвуют в программе ботанических разработок.

Прийти в эту теплицу может любой желающий, хотя желающих немного. На самом деле мало кто вообще поднимается на крышу, и это для меня загадка, потому что здесь очень красиво. Как я уже говорила, весь кампус находится под биокуполом, и на территории университета всегда поддерживается искусственный климат, а рядом

с теплицей стоят несколько столов и скамеек — можно сидеть здесь и смотреть на Ист-Ривер или на крыши других корпусов, где выращивают овощи, фрукты и зелень для университетской столовой. Все сотрудники УР могут обедать в столовой по льготной цене, и я часто приношу свой обед на крышу, где можно поесть в одиночестве и не думать об этом.

Особенно мне нравится на крыше летом. Ощущение почти такое, как на улице, только лучше, потому что на улице нужен охлаждающий костюм, а здесь можно сидеть в рабочем комбинезоне, есть сэндвич и смотреть на коричневую воду внизу.

За обедом я, как это часто бывало, думала о Дэвиде. С тех пор как мы в последний раз виделись, прошел почти месяц, и хотя я изо всех сил старалась забыть его, все равно я каждый день видела что-нибудь такое, о чем, как мне казалось, ему было бы интересно узнать, и мне требовалось большое усилие, чтобы сказать себе, что я больше его не увижу и что надо перестать запоминать свои наблюдения, чтобы поделиться с ним. Хотя потом я вспомнила, как дедушка говорил, что не обязательно с кем-то делиться наблюдениями, что просто отмечать что-то для

себя — уже хорошо.

— Почему? — спросила я, и он на несколько секунд задумался.

— Просто так, — сказал он наконец. — Потому что людям это свойственно.

Иногда я боюсь, что отсутствие у меня интереса к наблюдениям означает, что я не человек, хотя понимаю, что дедушка имел в виду совсем не это.

Пока я думала об этом, двери лифта открылись, и из него вышли три человека, женщина и двое мужчин. По их одежде я сразу увидела, что это государственные служащие, и догадалась, что они о чем-то спорят, потому что один из мужчин наклонился к другому и все трое перешептывались. Тут женщина оглянулась и заметила меня: “О господи, тут люди, пойдем поищем другое место”, — и не успела я сказать, что могу уйти, как они вернулись в лифт и уехали.

Дедушка всегда говорил, что люди, которые работают на государство, и люди, которые на него не работают, едины в своем желании никогда не встречаться друг с другом: они не хотят видеть нас, а мы не хотим видеть их. Обычно так и происходило. Все министерства находились в одной зоне, и у государственных служащих были свои

собственные шаттлы, продуктовые магазины и жилые кварталы. Многие высокопоставленные государственные служащие были из Четырнадцатой зоны, так же как и многие ведущие ученые из УР, а также главные инженеры и исследователи с Фермы и Пруда, хотя некоторые жили и в других зонах.

Хорошо известно, что в каждом центре биологических исследований есть государственный спецотдел. Это нужно, чтобы его сотрудники следили за нами. Но хотя мы все знали, что в УР есть такой отдел, никто не знал, где он находится и сколько людей там работает. Некоторые говорили, что меньше десяти человек. Другие утверждали, что больше, причем намного больше — может быть, человек сто, чуть ли не по двое на каждого старшего исследователя. Ходили слухи, что этот отдел находится глубоко под землей, на несколько уровней ниже, чем гипотетические секретные лаборатории с гипотетическими мышами и гипотетическими операционными, и что из этих подземных кабинетов идут специальные туннели, по которым ходят специальные поезда прямо до министерств, а то и до самого Первого муниципалитета.

Но другие сотрудники утверждали, что отдел

занимает всего несколько комнат в одном из корпусов, который используется реже остальных, — и, скорее всего, так оно и было; впрочем, кампус УР был не очень большой, рано или поздно все сотрудники так или иначе пересекались, и тем не менее я никогда не видела вот этих государственных служащих, хотя сразу же поняла, кто они такие.

Вообще-то они появились здесь относительно недавно. Когда дедушка начал работать в Университете Рокфеллера, это был просто исследовательский центр. Лаборатории получали финансирование от государства и иногда сотрудничали с различными министерствами, особенно с Министерствами здравоохранения и внутренних дел, но не находились под государственной юрисдикцией. Однако после 56 года все изменилось, и в 62-м, когда было создано новое государство, ему передали надзор за всеми исследовательскими центрами. В следующем году сорок пять штатов поделили на одиннадцать префектур, а в 72-м, через год после учреждения зон, наше государство стало одной из девяноста двух стран, которые подписали договор с Пекином — они предоставляли ему полный доступ ко всем научным институтам в обмен на финансирова-

ние и другие ресурсы, включая продовольствие, воду, медикаменты и прочие гуманитарные грузы. Это значит, что, хотя каждый федеральный проект контролируется государством, в конечном итоге перед Пекином отчитываются только те государственные служащие, которые курируют такие учреждения, как УР, — другими нашими предприятиями Пекин не интересуется, только теми, которые работают с исследованием и профилактикой заболеваний.

Кроме тех людей, по кому сразу было видно, что они представители государственных структур, некоторая часть ученых и других исследователей работала одновременно на институт и на правительство. Это не значило, что они осведомители, — институт знал об их двойных обязанностях. Дедушка был одним из таких людей: он начинал как ученый, но в конце концов тоже стал сотрудничать с правительством. Когда я родилась, у него было огромное влияние. Но со временем его авторитет пошатнулся, и когда повстанцы ненадолго захватили контроль над страной во второй раз, его убили за связь с правительством и за то, что он делал, пытаясь остановить распространение болезней.

Собственно, поэтому было непривычно видеть,

что государственные служащие так открыто ходят по кампусу и так странно себя ведут. Я даже не слишком удивилась, когда примерно через неделю, пообедав на крыше, спустилась обратно и обнаружила в углу комнаты отдыха пятерых кандидатов, которые взволнованно обсуждали только что поступивший из Министерства здравоохранения приказ закрыть все изоляционные центры в нашей префектуре. Приказ вступал в силу немедленно.

— Как думаете, что это значит? — спросил один из кандидатов, который всегда начинал подобные разговоры с одного и того же вопроса; я иногда слышала, как он потом повторяет другим людям ответы коллег.

— Ну очевидно же, — сказал другой, крупный и высокий, чей дядя, по слухам, был одним из заместителей министра внутренних дел. — Это значит, что новая зараза не только реальна, но и, если верить прогнозам, обладает высокой летальностью и быстро распространяется.

— Почему ты так говоришь?

— Потому что. Если бы ее было легко вылечить или локализовать, тогда и прежняя система годилась бы: человек заболевает, его сажают на карантин на пару недель и смотрят, не станет ли

ему лучше, а если не станет, переводят его в центр перемещения. Это прекрасно работало последние лет — сколько? — двадцать пять, правильно?

— На самом деле, — сказал третий кандидат, который всегда закатывал глаза, как только племянник замминистра внутренних дел открывал рот, — я всегда считал, что система не так уж и эффективна. Слишком большая вероятность ошибки.

— Да, у системы есть свои недостатки, — сказал племянник замминистра, которого злило, что ему перечат. — Но давайте не будем забывать, чего мы достигли благодаря изоляционным центрам. — Я и раньше слышала, как он защищал изоляционные центры; он всегда повторял, что они дают ученым возможность проводить исследования на людях в режиме реального времени и выявлять среди зараженных тех, кто подойдет для испытаний лекарств. — Теперь они боятся, что с этой заразой, что бы это ни было, либо не хватит времени на изоляционные центры, либо всякие полумеры все равно окажутся бессмысленными, потому что уровень заболеваемости будет таким высоким и подскочит так быстро, что лучше и эффективнее всего сразу отправить всех пациентов в центр перемещения и вывезти

их с острова как можно скорее.

По голосу казалось, что он был очень возбужден. Они все говорили с радостным возбуждением. Надвигалась новая серьезная эпидемия, и теперь пришло их время ее изучить и попытаться с ней справиться. Они как будто не боялись и не переживали, что сами могут заболеть. Может быть, и правильно делали, что не боялись. Может быть, эта болезнь их не коснется — они знали об этом больше, чем я, поэтому я не могла утверждать, что они ошибаются.

Возвращаясь домой на шаттле, я думала о том человеке, которого видела два года назад, — который пытался сбежать из изоляционного центра и был пойман охраной. С тех пор я выглядывала в окно всякий раз, когда мы проезжали мимо. Не знаю, зачем я это делала — центра больше не существовало, да и в любом случае фасад был полностью зеркальным, так что увидеть, что происходит внутри, я бы все равно не смогла. Но я продолжала смотреть, как будто в один прекрасный день этот человек мог появиться опять, но уже в обычной одежде, потому что выздоровел и возвращался туда, где жил, перед тем как заболел.

Следующие несколько недель в лаборатории

были крайне напряженными для всех, и для меня в том числе. Подслушивать стало труднее, потому что кандидаты гораздо чаще уходили на совещания, многие из которых проводил доктор Уэсли, а значит, у них было гораздо меньше времени сплетничать о том, что там обсуждалось, а у меня — подслушивать их сплетни.

Мне потребовалось несколько дней, чтобы понять, что даже старшие сотрудники лаборатории ошеломлены происходящим. Многие из них сами были кандидатами или постдоками во время эпидемии 70 года, но по сравнению с теми временами влияние государства значительно выросло, и их смущало и тревожило постоянное присутствие государственных служащих, которых становилось все больше: помимо трех человек, которых я видела на крыше, появились десятки других людей из различных министерств. Они собирались мониторить меры реагирования на новую инфекцию и брать под контроль не только нашу лабораторию, но и все лаборатории УР.

Новая болезнь еще не получила названия, но всем нам было строго-настрого приказано ни с кем ее не обсуждать. В противном случае нас могли обвинить в государственной измене. Впервые я была счастлива, что мы с Дэвидом больше

не разговариваем, потому что мне никогда не приходилось хранить секреты от друга, и я не была уверена, что справлюсь. Но теперь это не было проблемой.

С тех пор как мы с Дэвидом перестали видеться, я возобновила слежку за мужем по четвергам. Ничего нового увидеть мне не удалось — он подходил к двери дома на Бетюн-стрит, выстукивал особый ритм, говорил в окошко что-то, чего я не могла расслышать, а потом исчезал внутри, — и все же я продолжала наблюдать за ним, прячась под лестницей дома напротив. Однажды дверь открылась чуть шире обычного, и я увидела, как белый мужчина с русыми волосами, примерно такого же возраста, как мой муж, выглянул на улицу, торопливо осмотрелся и снова закрыл дверь. Когда дверь захлопывалась, я оставалась в своем укрытии несколько минут и ждала, не произойдет ли что-нибудь еще, но ничего не происходило. После этого я возвращалась домой.

Моя жизнь, в общем-то, опять стала такой же, какой была до знакомства с Дэвидом, и все-таки изменилась, потому что, когда Дэвид был моим другом, я чувствовала себя другим человеком, а теперь, когда все кончилось, мне трудно было вспомнить, кто я на самом деле.

Однажды вечером, месяца через полтора после нашей последней встречи с Дэвидом, муж, сидевший напротив меня за ужином, спросил:

— Кобра, у тебя все хорошо?

— Да, — сказала я и даже не забыла прибавить: — Спасибо.

— Как Дэвид? — спросил он после недолгого молчания, и я подняла глаза.

— Почему ты спрашиваешь?

Он дернул плечом.

— Просто спрашиваю, — сказал он. — Сейчас так жарко. Вы еще гуляете или проводите время в Центре?

— Мы больше не друзья, — сказала я.

— Мне жаль, Кобра, — помолчав, сказал он, и теперь настала моя очередь пожимать плечами. Я вдруг разозлилась. Меня злило, что он не ревнует к Дэвиду или к моей дружбе с ним; меня злило, что он не чувствует облегчения оттого, что мы с Дэвидом больше не друзья; меня злило, что он даже не удивился.

— Куда ты ходишь в свободные вечера? — спросила я и не без удовольствия отметила, что он не ожидал такого.

— Хожу на встречи с друзьями, — сказал он после некоторого молчания, откинувшись на

спинку стула.

— И что вы с ними делаете? — спросила я, и он опять ответил не сразу.

— Мы разговариваем, — сказал он наконец. — Играем в шахматы.

Потом мы замолчали оба. Я все еще злилась на него, и у меня по-прежнему оставались вопросы. Но их было так много, что я не знала, с чего начать, а кроме того, мне было страшно: вдруг он скажет что-то, чего я не хочу слышать? Вдруг он рассердится и накричит на меня? Вдруг он выбежит из квартиры? Тогда я останусь одна и не буду знать, что делать.

Наконец он встал и начал убирать со стола. В тот вечер на ужин была лошадь, но ни я, ни муж не доели свою порцию; я знала, что муж завернет остатки в бумагу, чтобы мы могли потом добавить их в кашу.

Был вторник, а значит, мой свободный вечер, но когда я направилась в спальню, а муж отставил посуду в сторону, чтобы принести мне радио, я остановила его.

— Я не хочу слушать радио, — сказала я. — Я пойду спать.

— Кобра, — сказал муж, подходя ближе, — ты уверена, что с тобой все в порядке?

— Да, — сказала я.

— Но ты плачешь, — сказал муж, хотя мне не казалось, что я плачу. — Дэвид… Дэвид что-то тебе сделал, Кобра?

— Нет, — сказала я. — Нет, он мне ничего не сделал. Я просто очень устала. Мне хочется побыть одной. Пожалуйста.

Он отступил, и я пошла в ванную, а потом легла. Через некоторое время пришел муж. Обычно он не ложился спать так рано, но мы оба много работали, и он возвращался без сил, как и я. Вчера рано утром был рейд, который разбудил нас. Но хотя устали мы оба, только муж заснул быстро, а я не спала и наблюдала за лучом прожектора, который скользил по потолку. Я думала о том, как муж играет с кем-то в шахматы на Бетюн-стрит, но, как я ни старалась, у меня получалось представить только нечто похожее на нашу собственную квартиру, и единственным человеком, которого я могла вообразить по другую сторону доски, был не тот мужчина, который открывал дверь, а Дэвид.

К середине июля я как будто жила в расколотом пополам мире. В лаборатории все изменилось: крышу Ларссон-центра превратили в офис для команды эпидемиологов из Министерства здра-

воохранения, а часть самого большого коридора на цокольном этаже преобразовали в офис для сотрудников Министерства внутренних дел. Ученые суетились с озабоченным видом, и даже кандидаты хранили молчание. Я знала только, что то, что они обнаружили, очень опасно — настолько опасно, что это затмило даже возбуждение, вызванное открытием.

Но за пределами УР все шло так же, как и всегда. Шаттл привозил меня на работу и отвозил с работы. В магазине были продукты, и в течение целой недели лошадь даже продавалась со скидкой, как это иногда случалось, когда на комбинатах на Западе производили больше мяса. И музыку, и выпуски новостей передавали по радио в положенное время. Никто не занимался приготовлениями, которые, как я знала из школьной программы, проводились перед эпидемией 70 года: военных не стало больше, реквизиции помещений не было, комендантский час не восстановили. По выходным Площадь, как обычно, заполнялась людьми, и хотя Дэвид перестал ждать меня, я по-прежнему стояла у входной двери, смотрела в ее окошко каждую субботу в тот же час, когда мы познакомились, и искала его, как он раньше искал меня. Но боль-

ше я его не видела. Несколько раз я думала, что, может, стоило все-таки купить у той торговки порошок и подсыпать его в напиток Дэвида, как она говорила, а потом вспоминала, что это не Дэвид перестал видеться со мной — это я перестала видеться с ним. Тогда я начинала раздумывать, не пойти ли на Площадь и не подождать ли, пока эта женщина снова подойдет ко мне, — не ради порошка, который заставил бы Дэвида влюбиться в меня, а ради другого порошка — порошка, который заставил бы меня поверить, что кто-то вообще способен меня полюбить.

Пожалуй, единственное, что изменилось в моей жизни вне работы, — муж теперь проводил дома больше времени, чем обычно, часто спал в своей кровати или дремал на диване. В свободные вечера он возвращался раньше, и я слышала, как медленно, даже тяжело он ходит по квартире. Обычно он двигался почти неслышно, но теперь его походка изменилась, а забираясь в постель, он кряхтел, как будто от боли, и лицо у него часто выглядело опухшим. Он работал сверхурочно на Пруду точно так же, как я работала сверхурочно в лаборатории, но я не знала, знает ли он то, что знаю я, — а впрочем, знала я не так уж много. Люди на Пруду и на Ферме выполняли важную

работу, но как я не представляла, чем они на самом деле занимаются, так и они сами зачастую этого не представляли. Может быть, мой муж задерживался допоздна потому, что какая-нибудь лаборатория — возможно, даже лаборатория УР — срочно потребовала определенный компонент определенного растения, но как я не знала, зачем готовлю мышей, так и он не знал, зачем готовит образец. Ему просто давали задание, и он его выполнял. Разница заключалась в том, что я не интересовалась, почему мне давали новое задание; мне было достаточно понимать, что моя работа важна, что она полезна и что ее нужно делать. Но мужу оставалось два года до получения докторской степени, когда его объявили врагом государства и исключили из университета, — он хотел бы знать, для чего ему дают те или иные задания. Может, он даже захотел бы высказать свое мнение. Но только теперь он никогда не сможет этого сделать.

Помню, однажды я очень расстроилась после одного из наших с дедушкой уроков, на котором он рассказывал, какие вопросы надо задавать людям. Наши занятия часто меня расстраивали, потому что они напоминали, как трудно мне делать, говорить и думать то, что казалось таким

легким для всех остальных.

— Я не умею задавать правильные вопросы, — сказала я дедушке, хотя это было не совсем то, что я имела в виду; я не знала, как сказать то, что я действительно имела в виду.

Дедушка немного помолчал.

— Иногда не задавать вопросы — это хорошо, котенок, — сказал он. — Не задавая вопросов, ты не подвергаешь себя опасности.

Потом он посмотрел на меня, посмотрел пристально, как будто видел мое лицо в последний раз и хотел его запомнить.

— Но иногда спрашивать нужно, даже если это опасно. — Он снова помолчал. — Не забывай об этом, котенок.

— Хорошо, — сказала я.

На следующий день я пошла к доктору Моргану. Доктор Морган — самый старший постдок в лаборатории, он руководит всем техническим персоналом. Но, несмотря на это, кандидаты не хотят быть похожими на него. Иногда я слышу, как кто-нибудь из них говорит остальным: “Упаси господи стать как Морган”. Дело в том, что у доктора Моргана нет собственной лаборатории и он по-прежнему подчиняется доктору Уэсли, хотя пришел в УР семь лет назад. Вообще мы с

доктором Морганом начали работать у доктора Уэсли в один и тот же год. Дедушка говорил, что в каждой лаборатории есть как минимум один постдок, который занимает одну и ту же должность годами, но я ни в коем случае не должна ни заводить с такими людьми разговор на эту тему, ни напоминать им о том, как долго они здесь работают, ни спрашивать, почему они не ушли куда-нибудь еще.

Так что я никогда не спрашивала. Но доктор Морган всегда был добр ко мне и, в отличие от многих других ученых в лаборатории, всегда здоровался со мной, если мы встречались в коридоре. Тем не менее я редко обращалась к нему — разве что для того, чтобы попросить разрешения уйти пораньше или прийти попозже, и поскольку я не представляла, как лучше с ним заговорить, я минут пять прождала возле его стола, когда основная часть сотрудников ушла на обед, не зная, что делать, и надеясь, что когда-нибудь он все-таки оторвется от работы.

Наконец он поднял голову.

— Кто-то за мной наблюдает, — сказал он и обернулся. — Чарли. Что вы делаете, зачем вы тут стоите?

— Извините, доктор Морган, — сказала я.

— Что-то случилось? — спросил он.

— Нет, — сказала я и поняла, что не могу придумать, что еще сказать. — Доктор Морган, — продолжала я торопливо, пока самообладание меня не покинуло, — вы не расскажете мне, что происходит?

Доктор Морган посмотрел на меня, а я посмотрела на него. Он всегда чем-то напоминал мне дедушку, хотя я долго не могла понять почему. Он был намного моложе дедушки, всего на несколько лет старше меня. Он принадлежал к другой расе. И, в отличие от дедушки, он не был ни знаменитым, ни влиятельным человеком. Но потом я поняла: дело в том, что он всегда отвечал на мои вопросы — другие сотрудники лаборатории, даже если бы я к ним обратилась, сказали бы, что я все равно ничего не пойму, но доктор Морган никогда такого не говорил.

— Это зооноз, и мы точно знаем, что он вызывает геморрагическую лихорадку, — наконец сказал он. — Он передается не только воздушно-капельным путем, но и через биологические жидкости организма, а значит, в высшей степени заразен. У нас пока нет четкого представления об инкубационном периоде или о том, сколько времени проходит между постановкой диагноза и

смертью. Вирус был обнаружен в Бразилии. Первый случай заболевания у нас зарегистрирован около месяца назад в Шестой префектуре. — Ему не нужно было объяснять, что нам повезло: Шестая префектура — самая малонаселенная из всех. — Но мы знаем, что с тех пор он распространяется, — просто еще не знаем, с какой скоростью. Это все, что я могу сказать.

Я не стала уточнять, потому ли, что он больше ничего не знает, или потому, что не имеет права больше ничего рассказывать. Я просто поблагодарила его и вернулась на свое рабочее место, чтобы обдумать услышанное.

Я знаю, что первый вопрос, которым стоило бы задаться, — это как вирус вообще сюда попал. Одна из причин, по которым пандемий не было почти двадцать четыре года, заключается в том, что, как я уже говорила, правительство закрыло границы и запретило все международное сообщение. Многие страны поступили так же. По сути, осталось только семнадцать стран — Новая Британия, группа стран в Старой Европе и вторая группа в Юго-Восточной Азии, — граждане которых по-прежнему имели право выезжать и въезжать.

Но хотя такое никому не разрешалось, на самом

деле это не означало, что никто не въезжал и не выезжал. Например, четыре года назад прошел слух, что в одном из портов Третьей префектуры в транспортном контейнере обнаружили нелегального пассажира из Индии. И, как любил говорить дедушка, микроб может пересечь границу в горле кого угодно: не только человека, но и летучей мыши, змеи или блохи. (Это фигура речи, поскольку у змей и блох горла нет.) Как всегда говорил доктор Уэсли, одного случая достаточно.

Была и другая теория, которую я никогда не стала бы распространять — хотя некоторые люди ее поддерживали, — будто бы правительство само изобретало вирусы, будто бы половина каждого исследовательского института, в том числе УР, занималась созданием новых вирусов, а другая половина — выяснением, как их уничтожить, и будто бы правительство организовывало утечку нового вируса всякий раз, когда считало нужным. Не спрашивайте, откуда я знаю, что люди так думали, потому что я не могу сказать — просто знаю, и все. Но я могу сказать, что так думал мой отец, и это одна из причин, по которой его объявили врагом государства.

Хотя я и раньше слышала эти теории, я в них не верила. Если это правда, то почему правитель-

ство не выпустило вирус в 83-м или в 88-м, во время восстаний? Тогда дедушка был бы до сих пор жив, и мне было бы с кем поговорить.

Этого я бы тоже ни за что не сказала вслух, но иногда я даже *жалела,* что к нам пока не попал очередной вирус из-за границы. Не потому, что я хотела, чтобы люди умирали, а потому, что это послужило бы доказательством. Я хотела знать наверняка, что есть другие места и другие страны, что там живут люди, которые тоже ездят на шаттлах, тоже работают в лабораториях и тоже готовят котлеты из нутрии на ужин. Я понимала, что никогда не смогу побывать в этих местах, — я даже не хотела бы иметь возможность в них побывать.

Но иногда мне хотелось знать, что они все-таки существуют, что все те страны, в которых побывал дедушка, все те улицы, по которым он ходил, никуда не делись. Иногда мне даже хотелось притвориться, что он вовсе не умер, что я не видела собственными глазами, как его убили, что, провалившись сквозь отверстие в помосте, он вдруг оказался в одном из тех городов, куда ездил в молодости: в Сиднее, в Копенгагене, в Шанхае или в Лагосе. Может, он по-прежнему там и думает обо мне, и хотя я скучала бы по нему все так

же сильно, мне было бы достаточно знать, что он все еще жив, что он вспоминает меня, находясь в каком-нибудь таком месте, которого я даже близко не могу себе представить.

В течение следующих недель ситуация стала меняться. Менялась она постепенно, незаметно — не то чтобы на улицах вдруг появились вереницы грузовиков или начались мобилизации, — и все-таки было понятно, что что-то происходит.

В основном перемены происходили по ночам, поэтому я начала замечать их по дороге в УР. Например, однажды утром наш шаттл простоял на контрольно-пропускном пункте дольше обычного, а в другой раз перед посадкой к нам подошел солдат и просканировал лбы всех пассажиров каким-то новым бесконтактным термометром, которого я раньше никогда не видела.

— Проходим, не задерживаемся, — сказал солдат, но его тон не был суровым, и хотя никто ни о чем не спрашивал, он зачем-то прибавил: — Правительство тестирует новое оборудование.

На следующий день его уже не было, однако появился другой солдат, который наблюдал, как мы садимся в шаттл, и держал в руке пистолет. Он ничего не говорил и ничего не делал, но его глаза скользили туда-сюда, изучая нас, и когда

человек передо мной шагнул на подножку, солдат протянул руку.

— Стоять, — сказал он. — Это что? — И указал на пятно цвета раздавленного винограда на лице пассажира.

— Родимое пятно, — ответил тот совершенно спокойно. Солдат достал из кармана какое-то устройство, направил луч на его щеку, прочитал то, что высветилось на экране, и кивнул, пропуская пассажира и указывая на дверь шаттла дулом пистолета.

Я не знаю, что замечали и чего не замечали те, кто ездил со мной в шаттле. С одной стороны, в Восьмой зоне почти никогда ничего не менялось, и поэтому, когда перемены происходили, нельзя было их не заметить. С другой стороны, большинство людей не обращали на них внимания. Но можно предположить, что очень многие знали, что происходит, или, по крайней мере, что-то подозревали — в конце концов, все мы работали в государственных исследовательских институтах; те, чья работа была связана с биологическими науками, скорее всего, знали больше, чем те, кто работал на Пруду или на Ферме. И тем не менее все молчали. При желании нетрудно было поверить, что ничего не происходит.

Однажды, сидя на своем обычном месте и глядя в окно, я вдруг увидела Дэвида. Он был в своем сером комбинезоне и шел по Шестой авеню. Вскоре после этого шаттл остановился на контрольно-пропускном пункте на Четырнадцатой улице, и пока мы ждали своей очереди, я увидела, как Дэвид свернул направо, на Двенадцатую улицу, и исчез из виду.

Я обернулась, чтобы посмотреть на него, а когда шаттл медленно двинулся вперед, опять села прямо. Я поняла, что это не мог быть Дэвид; его шаттл ушел час назад — он уже должен быть на Ферме.

И тем не менее я нисколько не сомневалась, что видела именно его, хотя это было невозможно. Впервые я почувствовала, что меня начинает пугать все происходящее — и сама болезнь, и как мало я знаю, и то, что нас ждет. Заболеть я не боялась — не знаю почему. Но тем утром у меня было странное ощущение, что мир действительно раскололся пополам и что в одной его половине я ехала в шаттле на работу, где меня ждали мизинчики, а во второй половине Дэвид шел в совершенно другое место, которое я никогда не видела и о котором никогда не слышала, как будто Восьмая зона на самом деле намного

больше, чем я представляла, как будто в ней есть места, о которых все знают, а я почему-то нет.

Я постоянно думаю о дедушке, и все же есть два дня в году, когда я думаю о нем больше всего. Первый — двадцатое сентября, когда его убили. Второй — четырнадцатое августа, когда его у меня отняли; это был последний день, который я провела с ним, и хотя я знаю, что это прозвучит странно, день нашего расставания был для меня еще тяжелее, чем сам день его смерти.

В ту субботу я была с ним. Он пришел ко мне в квартиру, которая раньше была наша, а теперь моя с мужем. Мы поженились только четвертого июня, и из всех непривычных и трудных для меня особенностей брака самым непривычным и трудным оказалось не видеть дедушку каждый день. Ему выделили крошечную квартирку недалеко от восточной границы зоны, и в течение первых двух недель замужней жизни я каждый день после работы шла к его дому и ждала его возвращения на улице — иногда по нескольку часов. Каждый раз он улыбался и качал головой.

— Котенок, — говорил он, гладя меня по волосам, — ты никогда не привыкнешь к новой жизни, если будешь приходить сюда каждый вечер. Да и твой муж будет волноваться.

— Нет, не будет, — говорила я. — Я сказала ему, что иду к тебе.

Тогда дедушка вздыхал.

— Пойдем, — говорил он, и я поднималась с ним наверх, он ставил на пол портфель и наливал мне стакан воды, а потом провожал меня домой. По дороге он расспрашивал меня о том, как дела на работе, как поживает мой муж и удобно ли нам в квартире.

— Я так и не могу понять, почему ты должен был переехать, — говорила я.

— Я уже объяснял, котенок, — мягко отвечал дедушка. — Потому что это твоя квартира. И потому что ты теперь замужем — не будешь же ты вечно жить со своим старым дедом.

По крайней мере, выходные мы с дедушкой по-прежнему проводили вместе. Каждую пятницу мы с мужем приглашали его на ужин, и они обсуждали сложные научные вопросы, так что я переставала что бы то ни было понимать в их разговорах уже через десять минут. А по субботам и воскресеньям мы с дедушкой были вдвоем. Ему тогда приходилось очень тяжело — полтора месяца назад повстанцы захватили столицу и теперь проводили масштабные митинги, обещая вернуть всем гражданам доступ к технологиям

и наказать главных сторонников режима. Меня эти новости тревожили, потому что дедушка был частью режима. Я не знала, был ли он в числе его руководителей, но знала, что он важный человек. Правда, пока что ничего не происходило — разве что новое правительство ввело комендантский час с 23:00. В остальном жизнь продолжалась точно так же, как раньше. Я уже начала думать, что и в дальнейшем ничего не изменится, потому что в первое время, в сущности, ничего не менялось. Для меня не имело значения, кто управляет государством: я просто гражданка и останусь ею в любом случае, и не мое это дело — беспокоиться о таких вещах.

В ту субботу, четырнадцатого августа, был обычный день. Было очень жарко, и поэтому мы с дедушкой встретились в 14:00 в Центре и сходили на концерт струнного квартета. Потом он купил молочный лед, и мы сели за столик и стали есть его маленькими ложечками. Дедушка спросил, как дела на работе и нравится ли мне доктор Уэсли, который много лет назад работал у него. Я сказала, что работа мне нравится и что с доктором Уэсли мне нормально; и то и другое было правдой, и дедушка кивнул.

— Хорошо, котенок, — сказал он. — Я рад это

слышать.

Мы еще немного посидели в кондиционированном помещении, а потом дедушка сказал, что самая сильная жара прошла, а значит, можно сходить на Площадь и посмотреть, что там предлагают торговцы, — иногда мы заглядывали туда перед тем, как я возвращалась домой.

Мы были всего в трех кварталах от северного выхода на Площадь, когда рядом с нами затормозил фургон и из него вылезли трое мужчин в черном.

— Доктор Гриффит, — сказал один из них, и дедушка, который положил руку мне на плечо и остановился, когда увидел приближающийся фургон, теперь взял мою ладонь, стиснул ее и повернул меня лицом к себе.

— Мне надо поехать с этими людьми, котенок, — спокойно сказал он.

Я ничего не понимала. Мне казалось, что я упаду в обморок.

— Нет, — сказала я. — Дедушка, нет.

Он похлопал меня по руке.

— Не волнуйся, котенок, — сказал он. — Со мной все будет в порядке. Я обещаю.

— Ну? — сказал второй мужчина, но дедушка к нему не повернулся.

— Иди домой, — прошептал он мне. — Осталось всего три квартала. Иди домой, скажи мужу, что меня забрали, и не волнуйся, хорошо? Я скоро вернусь.

— Нет, — сказала я, и дедушка, подмигнув мне, забрался на заднее сиденье фургона. — Дедушка, нет, — сказала я. — Нет, нет!

Он посмотрел на меня, улыбнулся и начал что-то говорить, но мужчина, который сказал “ну”, захлопнул дверцу, все трое устроились на переднем сиденье, и фургон уехал.

Теперь я уже кричала, и хотя кто-то останавливался посмотреть на меня, большинство проходило мимо. Я побежала за фургоном, но было уже слишком поздно: сначала он ехал на юг, потом свернул на запад, и было так жарко, что я бежала очень медленно, потом споткнулась, упала и долго сидела на тротуаре, раскачиваясь взад-вперед.

Наконец я встала. Добралась до дома и поднялась в квартиру. Муж открыл рот, когда увидел меня, но прежде чем он успел заговорить, я рассказала, что произошло, и он сразу же подошел к шкафу, достал коробку с нашими документами и что-то из нее вытащил. Потом выдвинул ящик под моей кроватью и достал несколько монет. Все

это он положил в пакет, а затем зачерпнул воды в кружку и протянул мне.

— Я попробую помочь твоему дедушке, — сказал он. — Вернусь, как только смогу, хорошо?

Я кивнула.

Весь вечер я сидела на диване и ждала возвращения мужа, так и не сняв охлаждающий костюм. Кровь, сочившаяся из ссадины на лбу, высохла, и кожа чесалась. Наконец, уже совсем поздно, перед самым началом комендантского часа, муж вернулся, и когда я спросила, где дедушка, он опустил глаза.

— Прости, Кобра, — сказал он. — Они отказались его выпускать. Я буду пытаться еще.

Тогда я начала стонать, стонать и раскачиваться, и муж принес с моей кровати подушку, чтобы я могла уткнуться в нее лицом, и сел на пол рядом со мной.

— Я буду пытаться еще, Кобра, — повторял он. — Я буду пытаться.

Он выполнил свое обещание, но пятнадцатого сентября меня известили, что дедушка проиграл суд и приговорен к казни, а пять дней спустя его убили.

Сегодня исполнялось шесть лет со дня ареста дедушки, и мы с мужем всегда поминали его

бутылкой сока со вкусом винограда, купленной в магазине. Муж наливал нам по стакану, и мы оба произносили вслух дедушкино имя, а потом пили.

Я всегда проводила этот день в одиночестве. Каждое тринадцатое августа в течение последних пяти лет муж спрашивал: “Ты хочешь завтра побыть одна?”, и я отвечала: “Да”, — хотя с прошлого года я начала задаваться вопросом, действительно я этого хочу или говорю “да” только потому, что так будет проще для нас обоих. Если бы муж спросил: “Хочешь, я завтра составлю тебе компанию?”, разве я не ответила бы так же, “Да”? Но я не могла выяснить это наверняка, потому что вечером он, как обычно, спросил, хочу ли я побыть одна, и я, как обычно, сказала, что хочу.

В тот день я всегда старалась встать как можно позже, потому что это означало, что у меня останется меньше времени, которое надо будет куда-то девать. Когда я наконец проснулась, было около 11:00; муж уже ушел, так же аккуратно застелив кровать, как и всегда, а моя миска с кашей ждала в духовке, накрытая второй миской, чтобы каша не заветрилась. Все было по-прежнему.

Вымыв миску, я пошла в ванную и вдруг заметила, что на полу возле входной двери лежит

листок бумаги. Несколько секунд я смотрела на него, почему-то боясь взять его в руки. Я жалела, что рядом нет мужа, который мог бы помочь мне. Но потом сообразила, что записку, скорее всего, оставил мужу человек, которого он любит, и это напугало меня еще больше — как будто, прикоснувшись к ней, я подтвержу, что этот человек действительно существует, что он каким-то образом проник в наш дом, поднялся по лестнице и подсунул под дверь записку. И тогда я разозлилась: хоть я и знала, что муж меня не любит, но как он мог так поступить со мной, не объяснив этому человеку, что сегодня худший день в моей жизни, что каждый год в этот день я думаю только о том, что у меня когда-то было, и о том, как это у меня отняли? Именно злость в конце концов и заставила меня наклониться и схватить записку.

Но тут же вся злость улетучилась, потому что записка предназначалась не моему мужу. Она предназначалась мне.

Чарли, нам нужно встретиться сегодня у нашего рассказчика.

Записка не была подписана, но ее автором мог быть только Дэвид. В замешательстве я начала

ходить по квартире кругами, рассуждая вслух, что делать дальше. Мне было очень стыдно встречаться с Дэвидом: я неправильно истолковала его чувства ко мне и повела себя глупо. Я все время вспоминала выражение его лица в тот момент, когда отступила на шаг: оно было не сердитым, а ласковым, едва ли не печальным — что на самом деле хуже всего, потому что от этого было стыдно даже больше, чем если бы он оттолкнул меня, отделался шуткой или просто рассмеялся.

Но я все равно скучала по нему. Я хотела его увидеть. Я хотела опять почувствовать себя так, как во время нашей с ним дружбы, — так, как я могла чувствовать себя только с дедушкой — как будто я особенная, как будто я чем-то интересна.

Я долго ходила туда-сюда, снова мечтая, чтобы можно было хоть что-нибудь вымыть, хоть что-нибудь привести в порядок, хоть чем-нибудь заняться. Но делать в квартире было нечего. Часы тянулись медленно — так медленно, что я уже готова была пойти в Центр, чтобы отвлечься, но мне не хотелось надевать охлаждающий костюм и выходить из квартиры тоже не хотелось — не знаю почему.

Наконец часы показали 15:30, и хотя мне понадобилось бы всего пять минут, а то и меньше,

чтобы добраться до палатки рассказчика, я вышла из квартиры. Только по дороге я сообразила, что не понимаю, как Дэвид узнал, где я живу, и как он попал в наше здание, если для этого нужно иметь два ключа и отсканировать отпечатки пальцев, внезапно остановилась и чуть не вернулась обратно — вдруг муж прав и Дэвид действительно осведомитель? Но потом я снова напомнила себе, что я ничего не знаю, что я никто, что мне нечего скрывать и не о чем сообщать, да и в любом случае есть другие объяснения. Дэвид мог подсмотреть, как я возвращаюсь домой. Он мог передать записку кому-нибудь из входивших в здание соседей и попросить подсунуть ее под мою дверь. Это было бы необычно, но Дэвид ведь и сам необычный. Однако это рассуждение навело меня на другую неприятную мысль: почему вдруг спустя столько времени он захотел меня увидеть? И если он действительно знает, где я живу, почему не попытался связаться со мной раньше?

Я была настолько поглощена своими размышлениями, что, только услышав, как кто-то обращается ко мне, поняла, что стою на месте возле брезентовой палатки рассказчика.

— Вы заходите, мисс? — спросила помощница

рассказчика, и я кивнула, вошла в палатку и положила свою подстилку на землю у задней стенки.

Поправляя на боку сумку, я вдруг почувствовала, что кто-то стоит рядом со мной, подняла глаза, и это был Дэвид.

— Привет, Чарли, — сказал он и сел рядом.

Сердце у меня билось очень быстро.

— Привет, — сказала я.

Но больше мы ничего друг другу не сказали, потому что заговорил рассказчик.

Я даже не запомнила, что это была за история, потому что никак не могла сосредоточиться — меня тревожили все те же вопросы и сомнения, — и поэтому с удивлением услышала, как слушатели вдруг зааплодировали, а потом Дэвид сказал: “Пойдем к скамейкам”.

Скамейки на самом деле были не скамейками, а бетонными заграждениями, которые много лет назад поставили здесь для пресечения беспорядков. Когда повстанцев разгромили, правительство оставило ряд заграждений перед одним из домов с восточной стороны, и иногда люди, особенно пожилые, сидели на них и смотрели на лавирующих по Площади прохожих. Достоинство скамеек заключалось в том, что они,

хоть и находились на улице, давали возможность уединиться и отдохнуть. Но был у них и недостаток: они были очень горячие, и летом исходящий от камня жар чувствовался даже сквозь охлаждающий костюм.

Дэвид выбрал одну из скамеек с южного края, и несколько минут никто из нас не произносил ни слова. Мы оба были в шлемах, но когда я хотела расстегнуть ремни и снять свой, он остановил меня.

— Нет, — сказал он. — Не снимай. Не снимай, смотри прямо перед собой и не реагируй на то, что я тебе скажу.

Я послушалась.

— Чарли, — сказал он и умолк. — Чарли, я тебе сейчас кое-что скажу.

Его голос звучал не как обычно, серьезнее, и мне снова стало страшно.

— Ты злишься на меня? — спросила я.

— Нет, — сказал он. — Нет, совсем не злюсь. Мне просто нужно, чтобы ты выслушала, хорошо? — Он едва заметно повернул ко мне голову, и я кивнула, тоже едва заметно, чтобы показать, что я поняла.

— Чарли, я не отсюда, — сказал он.

— Я знаю, — сказала я. — Ты из Пятой префек-

туры.

— Нет, — сказал он. — И не оттуда. Я из… я из Новой Британии. — Он снова на секунду взглянул на меня, но я сохраняла невозмутимое выражение лица, и он продолжал: — Я знаю, это прозвучит… странно. Но меня послал сюда мой начальник.

— Зачем? — прошептала я.

Теперь он посмотрел на меня по-настоящему.

— За тобой, — сказал он. — Чтобы найти тебя. И присматривать за тобой, пока не наступит удобный момент. — Я молчала, и он продолжал: — Ты ведь знаешь, что будет новая пандемия.

Я была так потрясена, что на мгновение потеряла дар речи. Как Дэвид узнал об этом?

— Это правда?

— Да, — сказал он. — Это правда, и она будет очень, очень серьезной. Такой же серьезной, как в 70-м, даже хуже. Но мы должны уехать немедленно не из-за нее, хотя она, безусловно, осложняет ситуацию.

— Что? — переспросила я. — Уехать?

— Чарли, смотри вперед, — быстро прошептал он, и я послушно отвернулась. Демонстрировать на публике злость или тревогу было неблагоразумно. — Никаких эмоций, — напомнил он, и я кивнула, и мы снова замолчали. — Я работаю на

человека, который был большим другом твоего дедушки, — сказал он. — Его самым близким другом. Перед смертью твой дедушка попросил его помочь вывезти тебя из страны, и в течение шести лет мы пытались это сделать. В начале этого года нам наконец-то стало казаться, что это возможно, что мы вроде бы нашли решение. И теперь решение точно есть. Теперь мы можем забрать тебя отсюда и отправить в безопасное место.

— Но я и здесь в безопасности, — сказала я, когда снова смогла говорить, и заметила, что его голова чуть-чуть повернулась в мою сторону.

— Нет, Чарли, — сказал он. — Ты не в безопасности. Здесь ты никогда не будешь в безопасности. А кроме того, — и тут он поерзал, — разве ты не хочешь другой жизни? Не хочешь поселиться где-нибудь, где ты сможешь быть свободной?

— Я и здесь свободна, — сказала я, но он продолжал:

— Где-нибудь, где ты сможешь — не знаю, читать книги, или путешествовать, или ходить куда хочешь? Где-нибудь, где ты сможешь… сможешь завести друзей?

Я не могла говорить.

— У меня здесь есть друзья, — сказала я и, когда

он не ответил, добавила: — Все страны одинаковые.

Теперь он полностью повернулся ко мне, и сквозь тонированный визор шлема я увидела его глаза, большие и темные, как у моего мужа, и смотревшие прямо на меня.

— Нет, Чарли, — мягко сказал он, — не одинаковые.

Тогда я встала. Я чувствовала себя странно — все происходило слишком быстро, и мне это не нравилось.

— Мне пора идти, — сказала я. — Не знаю, зачем ты рассказываешь мне все это, Дэвид. Не знаю зачем, но то, что ты говоришь, — это государственная измена. Выдумывать такие истории — измена. — У меня защипало глаза, потекло из носа. — Я не знаю, зачем ты это делаешь, — сказала я и сама услышала, как мой голос становится все громче и как в нем нарастает паника. — Не знаю зачем, не знаю зачем…

Дэвид быстро встал и сделал нечто необычайное — притянул меня к себе и молча обнял, и чуть погодя я обняла его в ответ, и хотя сначала я стеснялась, потому что прохожие наверняка смотрели на нас, спустя некоторое время я перестала думать о них вообще.

— Чарли, — сказал Дэвид где-то над моей головой, — я знаю, для тебя это огромное потрясение. Я знаю, что ты мне не веришь. Я все это знаю. Прости меня. Я бы очень хотел как-то облегчить тебе это все. — А потом я почувствовала, как он сует что-то в карман моего охлаждающего костюма, что-то маленькое и твердое. — Пожалуйста, открой это, только когда вернешься домой и останешься одна, — сказал он. — Ты меня понимаешь? Только когда ты будешь абсолютно уверена, что за тобой никто не следит — даже твой муж.

Я кивнула, упираясь лбом ему в грудь.

— Отлично, — сказал он. — Теперь мы расстанемся, и я пойду на запад, а ты пойдешь на север к себе домой, а потом я сообщу тебе, где мы в следующий раз встретимся, хорошо?

— Как? — спросила я.

— Не беспокойся об этом, — сказал он. — Просто знай, что я сообщу. И если то, что сейчас у тебя в кармане, тебя не убедит, тогда ты просто не придешь. Хотя, Чарли, — тут он сделал вдох, и я почувствовала, как сокращаются мышцы его живота, — я надеюсь, что ты придешь. Я пообещал моему начальнику, что не вернусь в Новую Британию без тебя.

А потом он резко выпустил меня и зашагал прочь, не слишком быстро, но и не слишком медленно, как будто он просто один из покупателей на Площади.

Несколько секунд я неподвижно стояла на месте. Я испытывала странное ощущение, будто все случившееся — сон, будто я все еще сплю. Но я не спала. Солнце в небе было жаркое и белое, и я чувствовала, как по спине стекает пот.

Я включила охлаждающий костюм на полную мощность и сделала так, как сказал мне Дэвид. Но как только я оказалась в своей квартире, заперла за собой дверь и сняла шлем, мне показалось, что я вот-вот упаду в обморок, и я села прямо на пол, прислонившись спиной к двери и хватая воздух большими глотками, пока не стало легче.

Наконец я поднялась на ноги, еще раз проверила замки на двери, а потом окликнула мужа, хотя было понятно, что его нет дома. И все же я проверила каждый уголок: кухню, гостиную, спальню, ванную. Даже шкафы. Потом я вернулась в гостиную и опустила жалюзи на окнах, одно из которых выходило на задний фасад соседнего здания, а другое — на вентиляционную шахту. И только после этого села на диван и сунула руку в карман.

Это был сверток из коричневой бумаги размером с грецкий орех, а внутри — что-то твердое. Бумага была заклеена скотчем, и, сняв его, я обнаружила, что под первым слоем бумаги есть второй, а под ним — слой тонкой белой ткани, которую я тоже разорвала. В руках у меня остался маленький черный мешочек из мягкого плотного материала, туго затянутый шнурком. Я ослабила шнурок, подставила ладонь, встряхнула мешочек, и в мою руку упало дедушкино кольцо.

Я не знала, чего ожидать, и только потом поняла, что должна была испугаться, что в мешочке могло оказаться что угодно: взрывчатка, пробирка с вирусами, Муха.

Но в некотором смысле кольцо было даже хуже. Не знаю точно, как это объяснить, но постараюсь. Как будто я всегда думала одно, а оказалось совсем другое. Конечно, это уже и так произошло: Дэвид сказал мне, что он не тот, за кого себя выдает. Но я могла не верить ему, пока не увидела кольцо. До этого у меня оставалось, как однажды выразился дедушка, “право на отрицание” — это значит, что я могла притворяться, что чего-то не знаю, хотя на самом деле знала. А если Дэвид рассказал мне правду о себе, правдивы ли другие вещи, которые он рассказал? Как он узнал о пандемии? Неужели

его действительно послали найти меня?

Может, другие страны и *в самом деле* не похожи на нашу?

Кто такой Дэвид?

Я посмотрела на кольцо, оно было такое же тяжелое, каким я его помнила, а жемчужная крышечка тайника — такая же гладкая и блестящая.

— Это называется перламутр, — объяснил дедушка. — Разновидность карбоната кальция, который вырабатывает моллюск, слой за слоем покрывая им мешающее инородное тело, попавшее в мантию, — например, песчинку. Сама видишь, он очень прочный.

— А люди могут делать перламутр? — спросила я, и дедушка улыбнулся.

— Нет, — сказал он. — Людям приходится защищать себя другими способами.

Прошло почти двадцать лет с тех пор, как я видела кольцо в последний раз, и теперь, когда я сжала его в кулаке, оно было теплое и твердое. *Мне пришлось отдать его фее,* сказал дедушка. *Той, которая присматривала за тобой, пока ты болела.* И хотя я всегда знала, что он шутит, знала, что фей не бывает, наверное, именно это огорчило меня больше всего: оказывается, дедушке вовсе не пришлось платить за то, чтобы я вер-

нулась к нему. Оказывается, я вернулась к нему просто так, а он отправил кольцо в какое-то другое место, какому-то другому человеку, и теперь, когда оно вернулось ко мне, я больше не знала ни что оно означало, ни где оно было, ни что оно когда-то символизировало.

Мы снова встретились в следующий четверг. Утром на работе я пошла в туалет, а когда вернулась к своему столу, под одной из упаковок с физраствором был спрятан маленький сложенный листок, и я вытащила его, озираясь по сторонам, чтобы проверить, не наблюдает ли кто за мной, — хотя, конечно, никто за мной не наблюдал. Здесь были только я и мизинчики.

Когда я подошла к Центру в 19:00, Дэвид уже стоял у дверей и махал мне рукой.

— Я подумал, что мы могли бы прогуляться, — сказал он, и я кивнула.

Внутри он купил нам обоим фруктовый сок, и мы двинулись по дорожке, как ходили обычно — неторопливо, но не слишком медленно.

— Не снимай шлем, — сказал он, и я послушно приоткрывала только маленькую щель на уровне рта, чтобы сделать глоток. В Центре было прохладно, но некоторые люди все равно ходили в шлемах, потому что поленились их снять, так

что это не вызывало никаких подозрений.

— Я рад тебя видеть, — тихо сказал Дэвид. — У твоего мужа свободный вечер, — добавил он, и это был не вопрос, а утверждение, а когда я повернулась к нему, он слегка покачал головой. — Ни удивления, ни злости, ни тревоги, — напомнил он, и я отвела взгляд.

— Откуда ты знаешь про наши свободные вечера? — спросила я, пытаясь сохранять спокойствие.

— Твой дедушка рассказал моему начальнику, — сказал он.

Может показаться странным, что Дэвид не предложил нам встретиться ни в моей квартире, ни в своей. Но помимо того, что я не захотела бы ни приводить его к себе, ни идти к нему, причина состояла в том, что встречаться на публике просто было безопаснее. В год восстаний, до того, как правительство вернулось к власти, многие считали, что большинство частных квартир прослушивается, и даже сейчас нужно было полностью доверять человеку, чтобы приходить к нему домой.

Некоторое время мы оба молчали.

— У тебя нет ко мне вопросов? — спросил он все тем же тихим голосом, совершенно не похожим

на голос того Дэвида, которого я знала. Впрочем, пришлось мне напомнить самой себе, того Дэвида, которого я знала, не существует. А может, и существует, но сейчас я разговариваю не с ним.

Конечно, у меня было много вопросов — так много, что невозможно было понять, с чего начать, что сказать, что спросить.

— Разве люди в Новой Британии не говорят немного по-другому?

— Конечно, — сказал он.

— Но ты говоришь так, будто ты отсюда, — сказала я.

— Я притворяюсь, — сказал он. — Если бы мы были в безопасном месте, я бы перешел на свое обычное произношение, и для тебя моя речь звучала бы по-другому.

— А, — сказала я, и мы немного помолчали. Потом я вспомнила кое-что странное, что давно меня интересовало. — Твои волосы. Они длинные.

Он недоверчиво посмотрел на меня, и я почувствовала гордость, потому что смогла удивить его.

— Несколько прядей выбились из-под кепки в тот день, когда я впервые увидела тебя в очереди на шаттл, — сказала я, и он кивнул.

— Это правда, у меня были длинные волосы, — сказал он. — Но я обрезал их несколько месяцев назад.

— Чтобы не выделяться? — спросила я, и он снова кивнул.

— Да, — сказал он, — чтобы не выделяться. Ты очень наблюдательная, Чарли. — И я чуть-чуть улыбнулась, радуясь тому, что Дэвид считает меня наблюдательной, и еще тому, что дедушка гордился бы мной: я заметила то, чего, возможно, не заметили бы другие.

— У людей в Новой Британии длинные волосы? — спросила я.

— У некоторых длинные, — сказал он. — У других короткие. Люди носят такие прически, какие захотят.

— Даже мужчины? — спросила я.

— Да, — сказал он, — даже мужчины.

Я представила себе такое место, где можно носить длинные волосы, если захотеть — ну, если получится их отрастить. И спросила:

— Ты когда-нибудь встречал моего дедушку?

— Нет, — сказал он. — К сожалению, нет.

— Я скучаю по нему, — сказала я.

— Я знаю, Чарли, — сказал он. — Я знаю, что ты скучаешь.

— Тебя действительно послали сюда за мной? — спросила я.

— Да, — сказал он. — Только за этим я сюда и приехал.

Теперь я снова не знала, что ответить. Это прозвучит тщеславно, а я не тщеславный человек, но, услышав, что Дэвид приехал только за мной, только чтобы найти меня, я почувствовала легкость внутри. Мне хотелось услышать, как он повторяет это снова и снова, мне хотелось рассказать об этом всем вокруг. Есть человек, который приехал сюда, чтобы найти меня; я — единственная причина, по которой он здесь. Никто бы в такое не поверил — я и сама не верила.

— Я не знаю, о чем еще спросить, — сказала я наконец и снова почувствовала, что он почти незаметно повернул голову ко мне.

— Ну раз так, — сказал он, — я, пожалуй, начну с того, что расскажу тебе план.

Он снова внимательно посмотрел на меня, я кивнула, и он заговорил. Мы ходили и ходили по кругу, иногда обгоняли других гуляющих, иногда они обгоняли нас. Мы шли не быстрее, но и не медленнее всех, были не моложе, но и не старше всех — и если бы кто-то наблюдал за всеми нами сверху, он бы ни за что не догадался, какие люди

в этот момент говорили про что-то безопасное, а какие обсуждали что-то настолько рискованное, настолько немыслимое, что невозможно было даже представить, как они еще живы.

Глава 8

Лето, на двадцать лет раньше

Дорогой Питер,
17 июня 2074 г.

Спасибо за твою нежную записку; прости, что так долго не отвечал. Я хотел написать раньше — я понимаю, что ты будешь волноваться, но я только-только смог найти нового курьера, которому можно доверять.

Конечно же, я не сержусь на тебя. Конечно. Ты сделал все, что мог. Это я виноват — надо было позволить тебе меня вытащить отсюда, когда у меня (и у тебя) еще была такая возможность. Я снова и снова думаю о том, что, попроси я тебя об этом всего лишь пять лет назад, мы бы сейчас были в Новой Британии. Нелегко, но по крайней мере возможно. А потом мои мысли неизменно становятся все страшнее и отчаяннее: если бы мы уехали, Чарли бы все равно заболела? Если бы она не заболела, была бы она теперь счастливее? А я?

Потом я думаю, что, может быть, ее этот — уже не такой новый — образ мышления, существо-

вания, в результате лучше подготовит ее к реальности этой страны. Может быть, ее бесстрастность — это род невозмутимости, которая сможет вести ее через неведомые перемены нашего мира. Может быть, те свойства, об утрате которых я как бы от ее лица больше всего сожалел — сложный комплекс эмоций, открытость, даже бунтарство, — как раз те, утрата которых должна вызывать у меня облегчение. В самые оптимистичные мгновения я почти воображаю, что она как-то преодолела свой путь развития и стала человеком, лучше приспособленным к нашему времени и обстоятельствам. Она сама не испытывает грусти из-за того, какая она.

Но потом прежний цикл повторяется снова: если бы она не заболела; если бы не принимала ксикор. Если бы росла в стране, где нежность, уязвимость, романтику все еще если не одобряют, то хотя бы не преследуют. Кем бы она была? Кем бы я был — без чувства вины, без скорби, без скорби о чувстве вины?

Не волнуйся за нас. Хотя нет — волнуйся, но не больше, чем надо. Они не знают, что я пытался сбежать. И — понимаю, что я и себе, и тебе об этом постоянно напоминаю, — я все еще нужен. Пока есть болезнь, буду и я.

С благодарностью и любовью (как и всегда),
Чарльз

Дорогой Питер,
21 июля 2075 г.

Пишу второпях, потому что не хочу упустить курьера до его отъезда. Я чуть тебе сегодня не позвонил — может, еще позвоню, хотя до канала защищенной связи добраться все труднее. Но если в течение ближайших дней придумаю, как это сделать, — позвоню.

По-моему, я уже говорил, что в начале лета стал выпускать Чарли на короткие прогулки одну. “Короткие” — не фигура речи: она может пройти один квартал на север до Вашингтон-мьюз, потом на восток до университета, потом на юг до северной стороны Вашингтонской площади, потом на запад до дома. Я не очень этого хотел, но одна из воспитательниц сказала, что стоит попробовать, — в сентябре ей одиннадцать, напомнила она мне, нужно выпускать ее в мир, хотя бы чуть-чуть.

И я пошел на это. В первые три недели я посылал за ней сотрудников службы безопасности, просто ради спокойствия. Но она поступала в точности так, как я велел, и из окна второго эта-

жа я видел, как она возвращается к крыльцу и поднимается по лестнице.

Я не хотел, чтобы она видела, как я нервничаю, поэтому не спрашивал ни о чем до ужина.

— Как ты погуляла, котенок? — спросил я.

Она посмотрела на меня.

— Хорошо, — сказала она.

— Что ты видела?

Она задумалась:

— Деревья.

— Здорово, — сказал я. — А еще что?

Снова пауза.

— Дома.

— Расскажи мне про дома, — попросил я. — Ты видела кого-нибудь в окнах? Какого цвета были здания? Где-нибудь стояли лотки для цветов? Какого цвета были двери?

Такие упражнения ей помогают, но у меня постоянно возникает ощущение, что я тренирую шпиона: ты видела кого-нибудь подозрительного? Что эти люди делали? Как были одеты? Ты можешь показать их мне на фотографиях, которые я перед тобой разложил?

Она очень старается сделать то, чего, по ее представлению, мне хочется. Но мне хочется только одного — чтобы она однажды пришла

домой и сказала мне, что видела что-то смешное, или красивое, или удивительное, или страшное; все, чего мне хочется, — это чтобы она сумела рассказать себе какую-то историю. Она иногда смотрит на меня, когда говорит, и я киваю или улыбаюсь, чтобы показать, что все хорошо, и в такие мгновения что-то болезненно сжимается у меня в груди, и, кроме нее, ничто не может вызвать во мне такое ощущение.

В конце июня я стал отпускать ее без сопровождения. Когда меня нет дома, ее ждет няня; на весь этот круг у нее уходит лишь семь минут — и то с учетом любых остановок и рассматривания чего угодно по дороге. Ей никогда не хотелось пойти дальше, да и все равно слишком жарко. Но потом в начале месяца она спросила, можно ли ей зайти на площадь.

Я даже, пожалуй, обрадовался: моя маленькая Чарли, которая никогда ничего не просит, не стремится никуда идти, которая иногда кажется лишенной всяких потребностей, которая ничего не хочет и не предпочитает. Хотя это не совсем так — например, она понимает разницу между сладким и соленым и больше любит соленое. Она понимает разницу между красивой рубашкой и некрасивой и предпочитает красивую. Она знает,

когда человек смеется со злобным чувством, а когда от радости. Она не может объяснить этого, но понимает. Я постоянно напоминаю ей: надо просить того, что хочется, это нормально. Если что-то или кто-то тебе нравится больше чего-то или кого-то другого, — это нормально. Если что-то не нравится — это тоже нормально. “Тебе просто нужно сказать, — говорю я ей, — просто попросить. Понимаешь, котенок?” Она смотрит на меня, и мне непонятно, какие у нее мысли в голове. Она отвечает “Да”, — но я не уверен, что она поняла.

Полгода назад я бы вообще не дал ей выходить на площадь. Но теперь, когда государство ввело свои порядки, зайти туда можно, только если живешь в Восьмой зоне, — у каждого входа стоит охрана, проверяет документы. После того как в прошлом году остаток Центрального парка преобразовали в исследовательский центр, я боялся, что они сделают это со всеми парками, хотя изначально таких планов не было. Но редкое по нынешним временам единодушие министров здравоохранения и юстиции способствовало тому, что остальные члены Комитета согласились: нехватка открытых общественных пространств увеличит вероятность подрывной деятельности

и выдавит потенциальные повстанческие группировки в подполье, где нам будет труднее за ними следить. Так что этот раунд мы выиграли, но с трудом, потому что сейчас впечатление такое, что Юнион-сквер постигнет та же судьба, что и Мэдисон-сквер, — она станет если не исследовательским центром, то многозадачной государственной площадкой: в какой-то месяц там будет временный морг, в какой-то — временная тюрьма.

Но с Вашингтонской площадью дело обстоит иначе. Это маленький парк в жилом квартале, так что государство им особо не интересовалось. Много лет там строили времянки, потом сносили, потом строили снова, потом снова сносили; даже с моего наблюдательного пункта на верхнем этаже было видно, что в этом разрушении было что-то рутинное: молодой солдат у северного входа размахивал жезлом без энтузиазма, бульдозерист зевал без энтузиазма, одной рукой придерживая рычаги, другую выставив в окно.

Но четыре месяца назад я проснулся от шума: что-то большое упало с глухим треском, а выглянув в окно, я увидел, что бульдозер вернулся — на этот раз выкорчевать деревья на западном краю площади. Два бульдозера возились там два

дня, и стоило им закончить — появилась трансплантационная команда, собрала корневища выкорчеванных деревьев и груды земли в огромные холщовые свертки и тоже исчезла; вероятно, они отправились в Четырнадцатую зону, куда перемещают большую часть старых деревьев.

Теперь площадь обнажена, деревьев на ней нет, кроме полоски от северо-восточного до юго-восточного угла. Там еще были скамейки, тропинки, огрызки детской площадки. Но это, надо думать, ненадолго, в остальной части парка рабочие целыми днями заливают цементом то, что раньше было покрыто травой. Коллега из МВД сказал, что пространство преобразуют в такой рынок под открытым небом — вместо исчезнувших магазинов будут стоять торговцы.

Сюда, в эти остатки зелени, я выпускаю Чарли. Она должна гулять строго в пределах этой зоны, ни с кем не разговаривать, а если к ней кто-нибудь попробует приблизиться — немедленно отправляться домой. Первые две недели я следил за ней — установил камеру в одном из окон верхнего этажа и из лаборатории видел ее на экране: она быстрым шагом шла к южной стороне парка, ни разу не останавливаясь поглядеть вокруг, стояла там несколько секунд и отправлялась

обратно. Скоро она снова оказывалась дома, и другая камера показывала, как она заходит в дом, запирает за собой входную дверь и идет на кухню выпить стакан воды.

Обычно она ходит на эти прогулки ближе к вечеру, когда солнце уже клонится к закату, и если в это время я с кем-нибудь разговариваю или что-то пишу, я вижу, где она, вижу точку на экране, которая удаляется от камеры, а потом приближается, ее округлая маленькая фигура и округлое маленькое лицо сначала почти пропадают из виду, потом возвращаются.

А потом наступил прошлый четверг. Я участвовал в комитетском селекторном совещании. Речь шла об охлаждающем костюме, который, вероятно, появится в следующем году; он отличается от вашего варианта, потому что наш снабжен жестким шлемом со щитком для защиты от загрязнения. Пробовал в таком ходить? В нем, собственно, не столько ходишь, сколько переваливаешься, а шлем такой тяжелый, что производитель предусмотрел в проекте шейный корсет. Но они очень эффективны. Несколько человек у нас как-то раз их протестировали, и впервые за много лет, войдя в лабораторию, я не раскашлялся, не расчихался и не вспотел. Про-

изводить их дико дорого, и государство изучает, можно ли снизить цену от астрономических до просто пугающих цифр.

Короче, я одним ухом слушал разговор и одним глазом следил, как Чарли отправляется в парк. Я сходил в туалет, взял себе чаю, вернулся за стол. Один из чиновников из МВД что-то бубнил, он был на середине своей презентации о сложностях массового производства костюмов, я взглянул на свой экран — и увидел, что Чарли нет.

Я встал, как будто это могло помочь делу. Дойдя до южной оконечности парка, она обычно садится на одну из скамеек. Если ей дали с собой что-нибудь перекусить, она это съедает. Потом встает и идет на север. Но в кадре никого не было — только госсотрудник подметал тротуар, и на заднем плане лицом к югу стоял солдат.

Я вошел в меню камеры и развернул ее направо, но там были только солдаты в темно-синей форме, видимо, из инженерных войск, они что-то измеряли на площади. Потом я развернул ее налево, насколько это было возможно.

Сначала тоже не было ничего — только уборщик и солдат, а на северовосточном углу — еще один солдат, покачивающийся туда-сюда, с пятки на носок, одним из тех беззаботных движений, ко-

торые ошеломляют меня больше всего: при всем, что произошло и изменилось, люди по-прежнему покачиваются на пятках, по-прежнему ковыряют в носу, по-прежнему чешут задницу и рыгают.

Но потом на самом-самом юго-восточном краю я что-то увидел, какое-то движение. Я увеличил картинку, насколько смог. Там стояли два мальчика — лет тринадцати-четырнадцати, наверное, — оба спиной к камере. Они разговаривали с кем-то, кто стоял лицом к камере, но этого человека не было видно, только его ступни в белых кроссовках.

Господи, подумал я. Господи, ну пожалуйста.

А потом мальчики двинулись и пошли, и я увидел, что третья фигура — это Чарли в белых кроссовках и длинной красной футболке; она шла за мальчиками, которые даже не оглядывались, в восточном направлении по южной стороне Вашингтонской площади.

— Полиция! — крикнул я в экран (что, разумеется, не имело никакого смысла). — Чарли!

Но конечно, никто не остановился; я сидел и смотрел, как они все втроем вышли из кадра. Один из мальчиков положил руку ей на плечо; она была такого маленького роста, что макушкой едва доставала ему до подмышки.

Я сказал секретарю, чтобы он выслал группу охраны, побежал вниз к автомобилю, помчался на юг, постоянно названивая няне. Когда она наконец взяла трубку, я стал орать.

— Но, доктор Гриффит, — сказала она дрожащим голосом, — Чарли дома. Она только что пришла с прогулки.

— Дайте ее мне, — рявкнул я, и когда лицо Чарли появилось на экране с таким же выражением, как всегда, я чуть не разрыдался. — Чарли, — сказал я, — котенок. Ты в порядке?

— Да, дедушка, — сказала она.

— Никуда не уходи, — сказал я. — Не двигайся. Я скоро приду.

— Ладно, — ответила она.

Оказавшись дома, я велел няне уйти (намеренно не пояснив, на этот день я ее отпускаю или насовсем) и побежал наверх в комнату Чарли, где она сидела на кровати с котом на руках. Я боялся, что увижу разорванную одежду, синяки, слезы, но она выглядела так же, как всегда, — может, немного раскраснелась, но это могло быть вызвано жарой.

Я сел с ней рядом, пытаясь успокоиться.

— Котенок, — сказал я, — я тебя видел сегодня на площади. — Она не повернула голову. — В

камеру, — сказал я, но она по-прежнему молчала. — Кто эти мальчики? — Она так ничего и не говорила, и я добавил: — Я не сержусь, Чарли. Мне просто нужно знать, кто они такие.

Она молчала. За четыре года я привык к ее молчанию. Она не упрямится, не упирается — она пытается сформулировать ответ, а на это уходит какое-то время. Наконец она сказала:

— Я с ними познакомилась.

— Так, — сказал я. — А когда ты с ними познакомилась? И где?

Она нахмурилась, стараясь сосредоточиться.

— Неделю назад. На Юниверсити-плейс.

— Около Вашингтон-мьюз? — спросил я, и она кивнула. — И как их зовут?

И она помотала головой, то есть начинала расстраиваться, потому что не знает или не помнит. Я всегда повторял как мантру: спрашивай у людей, как их зовут. Если забудешь — спрашивай снова. Ты всегда можешь спросить, у тебя есть на это полное право.

— Хорошо, — сказал я. — Ты с ними потом встречалась каждый день?

Она снова помотала головой, потом тихо произнесла:

— Они мне сказали, чтобы я сегодня с ними в

парке встретилась.

— И что вы делали? — спросил я.

— Они сказали, что нам надо пойти пройтись. А потом… — Тут она остановилась и уткнулась лицом в спину Котенку. Она начала раскачиваться туда-сюда — так она делает, если расстраивается, — и я погладил ее по спине. — Они сказали, что мы дружим, — наконец сказала она и сжала кота так крепко, что он пискнул. — Они сказали, что мы дружим, — повторила она почти со стоном, и я прижал ее к себе, и она не сопротивлялась.

Врач сказала, что никакого долгосрочного ущерба нет: небольшие ссадины, небольшое кровотечение. Она порекомендовала обратиться к психологу, и я согласился, не сказав ей, что Чарли и так уже ходит к психологу, а также к эрготерапевту и к психотерапевту. Я передал видеозапись в МВД и велел им запустить полноценную поисковую операцию; они нашли парней, им по четырнадцать лет, оба зарегистрированы в Восьмой зоне, оба — сыновья исследователей в Мемориальной больнице, один белый, другой азиат; на все ушло три часа. Один из родителей — приятель приятеля Уэсли, и он прислал записку с просьбой о снисхождении, которую Уэсли вчера лично доставил мне домой с каменным лицом.

“Мне без разницы, Чарльз”, — сказал он, и когда я смял записку и вернул ему, он лишь кивнул, пожелал мне доброй ночи и ушел.

Сегодня вечером, как и в предыдущие три дня, я буду сидеть возле кровати Чарли. В четверг она начала хрипеть — глухой, булькающий звук в глубине горла — и дергать плечами и головой примерно через полчаса после того, как заснула. Но потом перестала, и, посидев с ней рядом еще около часа, я наконец пошел и тоже лег. Мне, как уже не раз, страшно не хватало Натаниэля. Еще мне не хватало Иден, а это как раз редкость. Наверное, я просто хочу, чтобы за Чарли еще кто-то отвечал помимо меня.

Не могу сказать, что произошло самое страшное, чего я боялся, — больше всего я боюсь, что она умрет; но снаряд упал близко. Я попытался поговорить с ней про ее тело, про то, что оно принадлежит только ей, что она ничего не должна с ним делать, чего не хочет. Нет, неправильно. Я не попытался, а поговорил. Я понимаю, что она в группе риска; я понимаю, что нечто подобное могло произойти. Даже не так — я понимаю, что это было неизбежно. И я понимаю, что нам повезло — случилось ужасное, но могло быть гораздо хуже.

В мои студенческие годы один профессор сказал, что есть два типа людей: одни плачут о мире, другие — о себе. Плакать о своей семье, сказал он, — это разновидность плача о себе. “Те, кто хвастается жертвами, принесенными в пользу семьи, на самом деле ничем не жертвуют, — сказал он, — потому что их семьи — это продолжение их самих, разновидность их собственного “я”. Истинный альтруизм, сказал он, — это делиться с незнакомцем, с тем, чья жизнь никак не будет связана с твоей.

Но разве я не пытался так поступать? Я пытался улучшить жизнь людей, которых не знаю, и это стоило мне собственной семьи и, стало быть, меня самого. А те улучшения, над которыми я работал, сейчас подвергаются сомнению. Я больше ничего не могу сделать для мира — я могу только попытаться помочь Чарли.

Я очень устал. Конечно, я рыдаю — наверное, это эгоистично. Впрочем, я никого не знаю, кто сейчас бы не плакал о себе, — болезнь делает тебя неотделимым от незнакомцев, и поэтому, даже если ты думаешь о тех миллионах, вместе с которыми передвигаешься по городу, ты по определению задумываешься и о том, в какую секунду их жизни соприкоснутся с твоей; каждая встреча

может принести заразу, каждое прикосновение может оказаться смертельным. Эгоистично, да, но, кажется, другого ничего не осталось — по крайней мере, сейчас.

Обнимаю вас с Оливье,
Чарльз

Дорогой Питер,
3 декабря 2076 г.

Много лет назад я был в Ашгабате и там разговорился с одним человеком в кафе. Это было в двадцатых, когда Туркменская Республика еще называлась Туркменистаном и была авторитарным государством.

Я тогда учился в университете, и этот человек стал ко мне приставать с вопросами: а почему я в Ашгабате, а какие у меня впечатления? Я теперь понимаю, что он, скорее всего, был какой-нибудь шпион, но я тогда был неопытен и глуп, общения мне не хватало, и я был рад поделиться с кем-нибудь своими соображениями о негуманном характере автократического государства и о том, что есть разница — хотя я не то чтобы агитировал за демократию — между конституционной монархией типа той, что у меня в стране, и антиутопией, в которой живет он.

Он внимательно выслушал мои разглагольствования, и когда я замолчал, сказал: “Пойдем, кое-что покажу”. Мы подошли к одному из открытых окон. Кафе располагалось на втором этаже здания в узком переулке, ведущем к Русскому базару, — эта улочка была одной из последних, которую еще не раскурочили и не застроили зданиями из стекла и стали. “Глянь, — сказал он. — Как тебе кажется, похоже это на антиутопию?”

Я глянул вниз. Одна из главных странностей Ашгабата заключалась в контрасте: люди в одежде XIX века, которые ходят по городу, построенному в стиле XXII века. Внизу шли женщины в ярких платках и платьях, тащили набитые пластиковые пакеты, мужчины разъезжали на мотоциклах с коляской, перекрикивались школьники. День был солнечный и ясный, и даже сейчас, когда ощущение зимы уже невозможно вспомнить, я чувствую прохладу, представляя себе эту сцену: стайку девочек-подростков с раскрасневшимися щеками; пожилого мужчину, который перебрасывает из одной руки в другую только что испеченную картофелину за легкой дымкой пара; шерстяной головной платок, подрагивающий на лбу у женщины.

Но тот человек хотел показать мне не холод, а жизнь, которая в нем течет. Пожилые женщины с полными сумками покупок, сплетничающие перед дверью ярко-голубого цвета, мальчишки, играющие в футбол, две девочки, идущие по улице под руку друг с дружкой и жующие пирожки, — когда они оказались под нашим окном, одна что-то сказала другой, и обе захихикали, прикрывая рот ладонью. Солдат тоже был, но он стоял, прислонившись к стене, откинув голову так, что макушкой касался кирпича, с сигаретой на нижней губе, и нежился в бледном солнечном свете.

— Вот видишь, — сказал мой собеседник.

Я сейчас постоянно возвращаюсь мыслями к этому разговору и к не высказанному в нем вопросу: это вот похоже на антиутопию? Я часто задаюсь им, глядя на этот город: магазинов больше нет, но торговля есть, теперь она происходит на Площади; его по-прежнему населяют такие же люди — гуляющие пары, дети, которые скулят, потому что им чего-то не разрешили, шумная женщина, вступающая в перепалку со вспыльчивым торговцем из-за цены медной сковородки, — как раньше. В отсутствие театров люди по-прежнему собираются на концерты в

общественных клубах, которые строят в каждой зоне. В отсутствие привычного количества детей и молодежи на тех, что остались, выливается еще больше заботы и любви, хотя я не понаслышке знаю, что эта забота может выглядеть скорее суровой, чем ласковой. Ответ, скрывающийся в вопросе моего собеседника, заключался в том, что антиутопия никак не выглядит; что она вообще может выглядеть как угодно.

Но все-таки как-то она выглядит. Описанное мной — это детали разрешенной жизни, такой, которую можно вести не в подполье. Боковым зрением ты видишь и другую жизнь — только сполохами, почти за кадром. Нет, например, телевидения, нет интернета — но информацию по-прежнему передают, и диссиденты по-прежнему могут телеграфировать свои сообщения. Иногда о них говорят на наших ежедневных брифингах, и хотя обычно на обнаружение отправителей уходит около недели — удивительное или, может быть, неудивительное количество таких сообщений восходит к государственным служащим, — всегда остаются люди, до которых нам добраться не удается. Нет выезда за границу — но каждый месяц приходят сообщения о попытках бегства, о шлюпках, затонувших у

берегов Мэна, Южной Каролины, Массачусетса или Флориды. Нет больше лагерей беженцев, но есть еще известия — их, правда, меньше, чем раньше, — о тех, кто вырвался из какой-нибудь страны еще страшнее, чем наша; их ловят, упихивают в утлую лодку и высылают обратно в море под вооруженной охраной. Жить в таком месте значит понимать, что эти мелкие движения, это подрагивание, этот слабый комариный писк — не плод твоего воображения, а доказательство иного бытия, страны, которую ты знал и про которую понимаешь, что она все еще существует, пульсирует сразу за гранью твоего сенсорного восприятия.

Данные, расследования, анализ, новости, слухи — антиутопия сплющивает эти понятия в одно. Есть то, что говорит государство, есть все остальное — и остальное принадлежит одной-единственной категории: это информация. Люди в начинающей антиутопии жаждут информации, они изголодались по ней, они готовы убить за нее. Но с течением времени жажда проходит, и за несколько лет ты забываешь вкус, забываешь восторг от того, что узнал о чем-то раньше всех, поделился с другими, утаил секрет, настоял, чтобы твой собеседник поступил так же. Ты

освобождаешься от груза знаний; ты учишься если не доверять государству, то по крайней мере отдаваться на его милость.

А мы пытаемся сделать процесс, в ходе которого ты забываешь и разучиваешься, максимально комфортным. Именно поэтому все антиутопии так схожи по устройству и свойствам: носители информации исчезают (пресса, телевидение, интернет, книги — хотя я считаю, что телевидение-то надо было оставить, его легко сделать послушным), и вместо этого упор делается на насущное — на то, что можно собрать или сделать вручную. В конечном счете эти два мира — первобытный и технологический — объединяются в проекты вроде Фермы, которая кажется чем-то сельскохозяйственным, но при этом будет снабжена самыми передовыми оросительными и климатическими системами, которые только может позволить себе государство. В конце концов, надеешься ты, люди, которые там работают, просто забудут прежнее применение всех этих технологий, что можно было сделать с их помощью, как сильно мы от них зависели, какую информацию они нам обеспечивали.

Я смотрю на вас и на то, что вы там у себя делаете, Питер, и понимаю, что мы обречены.

Конечно, понимаю. Но что мне теперь остается делать? Куда мне деться? На прошлой неделе на всех официальных бумагах название моей должности поменялось с “ученого” на “старшего администратора”. “С повышением”, — сказал мне министр внутренних дел. Сомнительный комплимент. Если бы я по-прежнему считался ученым, теоретически я бы мог посещать иностранные конференции и симпозиумы; не то чтобы от приглашений не было отбоя. Но у государственного администратора нет ни причины, ни необходимости выезжать отсюда. Я — могущественный человек в стране, которую не могу покинуть, что по определению делает меня узником.

Вот почему я тебе это посылаю. Я не думаю, что меня вдруг лишат имущества. Но это ценная вещь, и, я думаю, если настанет день, когда мы с Чарли все-таки сможем выбраться, нам вряд ли удастся взять с собой деньги или вещи. Возможно, не удастся взять вообще ничего. Так что, пожалуйста, сохрани это до лучших времен. Может быть, когда-нибудь ты мне его отдашь — или продашь по моей просьбе, чтобы у нас были деньги где-нибудь поселиться. Я понимаю, как наивно все это звучит. Но знаю я и то, что ты, будучи по

натуре добрым человеком, не станешь смеяться надо мной. Я не сомневаюсь, что ты тревожишься обо мне. Как бы мне хотелось сказать тебе “не тревожься”. А пока — я знаю, что ты сбережешь для меня все, что нужно.

С любовью,
Чарльз

Дорогой мой Питер,
29 октября 2077 г.

Прости, что я затаился; да, буду посылать тебе регулярные сообщения, хотя бы просто чтобы сказать, что я жив и никуда не делся. Я рад, что ты просишь об этом. И спасибо за нового курьера — пожалуй, гораздо безопаснее, чтобы это был человек с вашей стороны, нежели с нашей, особенно теперь.

Все пока не могут отойти от разрыва отношений, который вы инициировали. Я никого не пытаюсь обвинить, да и смысла в моих словах никакого — просто казалось, что это одна из тех угроз, которая никогда не будет реализована. Страшен тут в первую очередь не столько ваш отказ признавать нашу субъектность, сколько тот факт, что вашим примером могут вдохновиться другие.

Но мы прекрасно понимаем, чем это вызвано. Когда шесть лет назад Закон о браке впервые начали обсуждать, он казался не только невозможным, но и идиотским. Говорили об исследовании Кандагарского университета, которое демонстрировало, что повышение уровня социального недовольства в трех разных странах связано с долей неженатых мужчин старше двадцати пяти. Исследование вообще не учитывало другие дестабилизирующие факторы — бедность, неграмотность, болезни, климатическую катастрофу — и в конце концов было объявлено ошибочным.

Но видимо, на некоторых членов Комитета оно повлияло существеннее, чем мне (и, возможно, им самим) казалось, потому что, когда предложение вытащили из небытия прошлым летом, его уже представляли в другом свете. Брак будет способом повысить рождаемость, причем в рамках одобренной государством институции. Проект сочинили замминистра внутренних дел и замминистра здравоохранения; он был абсолютно (и почти пугающе) рациональным, как будто смысл брака — не выражение любви и привязанности, а вынужденная уступка общественным нуждам. Возможно, так и есть. Заместители ми-

нистров разъясняли связанную с браком систему поощрений и побуждений, которую, как они уверяли, можно использовать для постепенного приучения людей к идее всеохватного социально ориентированного государства. Для этого учреждались жилищные пособия и, как они выразились, “репродуктивные субсидии”, то есть, коротко говоря, людям будут платить — деньгами или привилегиями — за рождение детей.

— Никогда не думал, что доживу до момента, когда свободных черных людей будут побуждать к производству свободных черных людей, — сказал представитель Минюста, и все слегка сжались.

— Общество нуждается во вкладе всех — любых — людей в восстановление, — холодно сказала замминистра внутренних дел.

— Ну, наверное, отчаянные времена требуют отчаянных мер, — спокойно ответил человек из Минюста, и снова повисла напряженная тишина.

— Ну вот, — сказала замминистра внутренних дел, как бы завершая разговор.

И опять все замолчали, тоже в неловком ожидании, как будто мы все актеры и в самый напряженный момент пьесы кто-то забыл свою реплику.

Наконец один из нас не выдержал.

— А… а какое тут используется определение брака? — спросил он.

Все присутствующие уставились кто в стол, кто в потолок. Тот, кто задал вопрос, был сотрудником Министерства фармацевтики, еще недавно он работал в частной компании. Я мало что про него знал — только что он белый, что ему, видимо, чуть за пятьдесят, что в 70-м у него умерли оба ребенка и муж.

— Ну, — наконец сказала замминистра внутренних дел и тоже замолчала, почти умоляюще окидывая взглядом собравшихся, как будто кто-то мог ответить вместо нее, но никто не вызвался, — мы, конечно, будем учитывать все существующие брачные отношения. Однако, — продолжила она после паузы, — Закон о браке предназначен стимулировать репродуктивный процесс, и поэтому, — она снова оглядела кабинет, и снова никто не вмешался, — субсидии будут распространяться только на союзы тех, кто биологически относится к мужскому полу, с теми, кто биологически относится к женскому. Это не значит, — торопливо добавила она, прежде чем человек из Минфарма успел открыть рот, — что мы хотим ввести какие-либо моральные…

санкции против тех, кто не подпадает под это определение, речь только о том, что такие союзы не смогут претендовать на государственные субсидии.

Все зашумели, стали, перебивая друг друга, задавать разные вопросы. Из тридцати двух человек в комнате по крайней мере девять — в том числе, я практически не сомневался, и вторая авторша проекта, мелкая незаметная женщина, — не могли бы претендовать на “субсидии” по такому закону. Если бы нас было только двое-трое, я бы беспокоился сильнее: в таких ситуациях люди склонны голосовать против своих интересов — им кажется, что так безопаснее. Но здесь-то нас слишком много, чтобы подобное предложение могло пройти, не говоря о том, сколько всего остается неясным: означает ли это, что женатые бесплодные люди тоже не смогут претендовать на государственные субсидии? А однополые родители, у которых есть биологические дети — или возможность и желание воспитывать новых детей? Что произойдет со вдовами и вдовцами, которых сейчас больше, чем когда бы то ни было? Мы что, действительно, на самом деле говорим о том, чтобы платить людям за рождение детей? Что, если они родят

детей и эти дети умрут — сохранится ли право на субсидию? Не идет ли речь о фактическом уничтожении права выбора у фертильных людей? А если фертильный человек физически или умственно не приспособлен к воспитанию ребенка — мы все равно будем его к такому побуждать? А как насчет разводов? Не окажется ли так, что женщины будут подвергаться домашнему насилию и из страха потерять субсидию не решатся на развод? Будет ли позволено бесплодному человеку вступать в брак с фертильным? Что, если человек решил изменить пол — разве этот закон не помещает таких людей в юридически неразрешимую серую зону? Откуда возьмутся деньги на осуществление этого проекта, особенно если учесть, что два наших основных торговых партнера вот-вот разорвут с нами всякие отношения? Если размножение так важно для выживания страны, не будет ли осмысленнее помиловать врагов государства и дать им возможность иметь детей, пусть даже под контролем? Почему бы нам не усыновлять и не удочерять маленьких осиротевших беженцев или не ввозить детей из стран, где климатические сдвиги привели к катастрофическим последствиям, и, наконец, не отделить уже понятие родительства от генети-

ки? Неужели авторы проекта предлагают нам использовать национальную, экзистенциальную травму, целое поколение вычеркнутых из жизни детей, чтобы педалировать моралистическую повестку? К концу заседания оба автора предложения были готовы расплакаться, и разошлись все в отвратительном настроении.

Я шел к своей машине, когда меня кто-то окликнул; я обернулся и увидел замминистра фармацевтики.

— Этого не случится, — сказал он так твердо, что я чуть не улыбнулся: такой молодой, такой уверенный в своих словах. Потом я вспомнил, что он потерял всю семью и уже за это заслуживает уважительного отношения.

— Надеюсь, что вы правы, — сказал я, и он кивнул.

— Не сомневаюсь, — сказал он, поклонился и пошел к своей машине.

Увидим. На протяжении многих лет я уже не раз изумлялся, ужасался, пугался, видя, какими покорными оказываются люди; страх болезни, человеческое желание быть здоровым затмило почти любые другие желания и ценности, которые когда-то были им дороги, и многие свободы, которые казались неотъемлемыми. Страх оказал-

ся закваской для государства, и теперь оно само порождает страх, когда государственным чиновникам кажется, что население недостаточно их поддерживает. В понедельник пойдет третья неделя дебатов по поводу Закона о браке — кажется, мы все-таки сможем его не пропустить; безусловно, то, что вы это осудили, помогло. Как такое можно принимать без риска полностью порвать отношения со Старой Европой? Но конечно, я и раньше многого не предвидел.

В общем, держите за нас кулачки. Напишу еще на следующей неделе. Передай Оливье мои наилучшие пожелания — и себе тоже немножко оставь.

Чарльз

3 февраля 2078 г.

Дорогой Питер — закон принят. Объявят завтра. Не знаю, что еще сказать. Скоро напишу еще. *Чарльз*

Дорогой Питер,
15 апреля 2079 г.

Сейчас очень рано, только-только рассветает, а спать я не могу. Я как будто вообще не спал в последние месяцы. Я пытался пораньше лечь, около

одиннадцати, а не за полночь, а потом просто лежал в кровати. Иногда я не то чтобы проваливаюсь, а соскальзываю в пограничное состояние между бодрствованием и дремой, где я в полной мере отдаю себе отчет и о простыне, на которой лежу, и о звуке вентилятора, который вертится надо мной. В эти часы я переживаю заново события дня, но при такой прокрутке иногда оказываюсь их участником, иногда наблюдателем и не знаю, в какой момент камера развернется на своей тележке и поменяет точку обзора.

Вчера я опять виделся с К. Не могу сказать, что мне такие нравятся, и не могу себе представить, что ему нравятся такие, как я. Но у нас одинаковый допуск и ранг, а это означает, что он может прийти ко мне, или я к нему, и наши автомобили могут стоять под окнами, чтобы потом отвезти меня или его домой, и это не вызовет никаких вопросов или проблем.

Иногда забываешь, как нуждаешься в прикосновении. Это же не еда, не вода, не свет, не тепло — можно обходиться годами. Тело не помнит этих ощущений, оно милостиво разрешает забыть о них. Первые два раза мы трахались быстро, почти с яростью, как будто такой возможности у нас больше не будет, — но последние три раза полу-

чились спокойнее. Он живет в государственном доме в Четырнадцатой зоне, где нет ничего, кроме самого необходимого, — комнаты, по большей части пустые, расположены анфиладой.

Потом мы делаем вид, что подслушивающих устройств не существует — еще одна наша привилегия, — и разговариваем. Ему пятьдесят два, он на двадцать три года моложе меня, всего на двенадцать лет старше, чем был бы Дэвид. Он иногда говорит о своих сыновьях — младшему в этом году исполнилось бы шестнадцать, всего на год старше, чем Чарли, ей в сентябре пятнадцать — и о своем муже, сотруднике маркетингового отдела фармацевтической компании, где раньше работал и он. Когда они умерли — на протяжении шести месяцев все до одного, — К. думал о самоубийстве, но в конце концов так этого и не сделал и теперь говорит, что не помнит почему.

— Я тоже не помню почему, — сказал я, но не успел еще сказать, как понял, что это неправда.

— Внучка, — сказал он, и я кивнул.

— Везет тебе, — сказал он.

Помнишь, К. был абсолютно уверен, что Закон о браке провалится? Даже сейчас, когда мы встречаемся более или менее тайно, он продолжает утверждать, что его скоро отменят. “Зачем

брак людям, которые не собираются иметь детей? — спрашивает он. — Если смысл в том, чтобы увеличить число детей, пусть кого-то из нас назначат воспитателями или еще какими-нибудь подсобными работниками. Разве смысл не в том, чтобы получить от всех граждан максимальную пользу?" Когда я как-то раз упомянул неизбежный вывод — что, несмотря на заверения Комитета, Закон о браке рано или поздно приведет к криминализации гомосексуальных отношений на основании их аморальности, — он стал спорить так яростно, что мне оставалось лишь быстро собрать вещи и уйти. "Смысл-то в чем?" — спрашивал он снова и снова, и когда я сказал, что смысл ровно в том же, в чем он всегда кроется, где бы ни криминализовали гомосексуальность, — в том, чтобы создать удобного козла отпущения, на которого можно свалить проблемы разваливающегося государства, — он обвинил меня в несправедливости и цинизме. "Я верю в наше государство", — сказал он, и когда я ответил, что и я когда-то верил, он велел мне убираться — у нас, сказал он, слишком разное мировоззрение. Несколько недель от него ничего не было слышно. Но потом потребность снова свела нас, и источником этого воссоединения было то самое,

о чем мы больше не можем разговаривать.

Потом он провожает меня до двери, мы обнимаемся, не целуясь, договариваемся о следующей встрече. На заседаниях Комитета мы ведем себя любезно друг с другом — не слишком официально, не слишком фамильярно. Я думаю, никому ничего в голову не приходит. Во время нашей последней встречи он сказал мне, что стали появляться безопасные дома, главным образом на дальних западных окраинах Восьмой зоны, для тех людей, у которых, в отличие от нас, нет возможности встречаться дома.

— Это не бордели, — уточнил он. — Скорее места для встреч.

— И что там делают? — спросил я.

— То же, что мы, — ответил он. — Но не только занимаются сексом.

— Не только? — переспросил я.

— Не только. Они разговаривают. Они ходят туда разговаривать.

— Про что? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Ну про что люди разговаривают, — сказал он, и тут я понял, что больше не знаю, про что люди разговаривают. Если послушать наши дискуссии на заседаниях Комитета, можно решить, что

все люди разговаривают исключительно о том, как свергнуть правительство, как сбежать из страны, как устроить кровавую баню. А что еще можно обсуждать? Фильмов нет, телевидения нет, интернета нет. Нельзя, как раньше, провести вечер, споря о статье или романе, или хвастаться отпуском, который ты провел где-то в дальних краях. Нельзя обсуждать человека, с которым ты недавно трахался, или собеседование по приему на работу, которое ты проводил, или новый автомобиль, квартиру, темные очки, которые ты хочешь купить. Нельзя, потому что все это теперь невозможно, по крайней мере в открытую, и с устранением этих действий целые часы, целые дни разговоров оказались невозможны.

Мир, в котором мы теперь живем, полностью сосредоточен на выживании, а выживание всегда происходит в настоящем времени. Прошлое больше не имеет значения; будущее не настало. Выживание допускает надежду — собственно, оно укоренено в надежде, — но в нем нет места радости, а обсуждать его тоскливо. Разговор, прикосновение — вот то, ради чего мы с К. встречаемся снова и снова, и где-то в центре города, в доме у реки, есть другие люди вроде нас, которые говорят друг с другом, просто чтобы услышать,

что им кто-то отвечает, доказывая тем самым, что то “я”, которое они помнят, все-таки еще существует.

Потом я пошел домой. Я велел охраннице из службы безопасности сидеть внизу в те вечера, когда меня нет дома; отпустив ее, я поднялся в комнату Чарли, сел на край ее кровати и снова смотрел на нее. Она из тех детей, что не похожи ни на отца, ни на мать. Нос у нее, пожалуй, почти такой же, как у Иден, а рот большой и тонкий, как у Дэвида, но почему-то ее лицо мне их ничем не напоминает — и слава богу. Она — сама по себе, на ней нет груза прошлого. Она лежала в пижаме с короткими рукавами, и я прикоснулся пальцами к рукам, испещренным маленькими оспинками — следами шрамов. Рядом хрипло дышал Котенок, болячка на правой передней лапе сочилась гноем, и я понимал, что скоро мне придется забрать его в ветклинику, чтобы его там укололи и усыпили, и придумать какую-нибудь небылицу для Чарли.

Когда я лег, я стал думать о Натаниэле. Если повезет, я могу представить себе его не как источник стыда или самобичевания — а нейтрально. Когда я с К., я иногда закрываю глаза и представляю себе, что это пятидесятидвухлетний Натаниэль.

Вид, запах, голос К. ничем не напоминают Натаниэля, но кожа есть кожа. Я никому, кроме тебя, не мог бы в этом признаться (да больше никого и не осталось), но я все чаще вижу сны, в которых оказываюсь в разных обстоятельствах собственной жизни с Натаниэлем, но Дэвида — а позже Иден, а еще позже даже Чарли — в этих снах нет, как будто их и не было никогда. Эти сны чаще всего банальны — мы с Натаниэлем стареем и спорим, сажать ли подсолнухи, а как-то раз прогоняли с чердака енота. Мы, видимо, живем в прибрежном коттедже в Массачусетсе, и хотя снаружи я это строение не вижу, я представляю себе, как оно выглядит.

Днем я иногда разговариваю с Натаниэлем вслух. Из сострадания я редко говорю о своей работе — его бы это слишком сильно расстроило. Но я спрашиваю его про Чарли. После того случая с мальчишками я рассказал ей о сексе и о связанных с сексом угрозах гораздо подробнее, чем раньше.

— Ты хочешь что-нибудь еще спросить? — сказал я, и она, помолчав, помотала головой и сказала: “Нет”. Ей по-прежнему не нравится, когда к ней прикасаются, и хотя иногда мне становится горько за нее, я ей и завидую: некогда

жизнь без страсти, без желания (не говоря про воображение) казалась ужасным уделом, но теперь это может помочь ей выжить — по крайней мере, повысить ее шансы на выживание. Но, несмотря на отвращение, она продолжает куда-то забредать, и после второго случая я снова усадил ее, чтобы поговорить.

— Котенок, — начал я и не знал, как продолжить. Как ей сказать, что она этих мальчишек не привлекает, что они видят в ней только объект, которым можно попользоваться и отбросить? Я не мог сказать такое, не мог — даже мысль об этом казалась предательством. В такие мгновения мне хотелось, чтобы кто-то испытывал к ней неодолимое влечение, даже если бы оно было омрачено жестокостью, но по крайней мере это была бы страсть — или какая-то ее разновидность; это значило бы, что кто-то считает ее прелестной, особенной, желанной; это значило бы, что кто-то когда-нибудь полюбит ее так же сильно, как я, но в то же время иначе.

В эти дни я все чаще и чаще думаю о том, что из всех ужасов, которые принесли в нашу жизнь болезни, один из самых плохо осознанных — та деловитая жестокость, с какой они сортируют нас на категории. Первая, самая очевидная — это

живые и мертвые. Потом — больные и здоровые, лишившиеся близких и не лишившиеся, вылеченные и неизлечимые, застрахованные и незастрахованные. Мы следили за всеми статистическими данными, мы все это записывали. Но были и другие характеристики, которые вроде бы не требовали отчетности: те, кто живет с другими людьми, и те, кто живет один. Люди с деньгами и без денег. Люди со связями и без. Люди, которым есть куда пойти, и люди, которым некуда деться.

В конечном счете разница оказалась не так уж велика. Богатые все равно умирали, может, медленнее, чем следовало; некоторые из бедных выживали. После того как первая волна вируса прошлась по городу, подбирая самую легкую добычу — нищих, увечных, детей, — она вернулась за вторым блюдом, за третьим, за четвертым, пока не остались только самые везучие. Но кому повезло? Можно ли назвать жизнь Чарли везением? Возможно; в конце концов, она здесь, она может говорить, ходить, учиться, она не инвалид, не умственно отсталая, ее любят, и она может, я в этом не сомневаюсь, любить сама. Но она не та, кем могла бы быть, потому что все мы таковы: болезнь что-то отняла у каждого из нас, поэтому наше определение удачи — дело относитель-

ное, как с удачей всегда и бывает; ее параметры определяют другие. Болезнь высветила все, что мы думаем о себе, показала нам те фантазии, которые мы выстроили вокруг собственной жизни. Она показала, что прогресс и терпимость не обязательно ведут к еще большему прогрессу и терпимости. Она показала, что доброта не ведет к еще большей доброте. Она показала, как хрупка на самом деле музыка нашей жизни; она обнажила зыбкость и условность дружбы; контекстуальный и второстепенный характер любого партнерства. Никакой закон, никакой договор, никакая сила любви не смогли оказаться сильнее нашего желания выжить — или, для тех, кто благороднее прочих, — нашего желания, чтобы другие, кем бы они ни были, выжили. Я иногда испытываю тот смутный коллективный стыд, который владеет всеми нами, выжившими, — разве мы не пытались лишить кого-то другого, может быть, даже знакомого или родственника знакомого, лекарств, госпитализации, пищи, если это могло спасти нас самих? Разве не доносили на кого-нибудь знакомого, может быть, даже симпатичного нам человека — на соседа, на приятеля, на коллегу, — в Минздрав, разве не усиливали звук в наушниках, чтобы не слышать

их мольбы о помощи, когда их тащили в фургон, а они все продолжали и продолжали кричать, что кто-то дезинформировал власти, что сыпь на руке у их дочери — это просто экзема, что язва на лбу у их сына — это просто прыщик?

А теперь болезнь локализована, и мы снова обдумываем мелочи жизни: сможем ли купить в магазине курицу, а не тофу; примут ли наших детей в тот университет, а не в этот; повезет ли нам в квартирной лотерее в этом году; не удастся ли нам переехать из Семнадцатой зоны в Восьмую или из Восьмой в Четырнадцатую.

Но за всеми этими заботами и мелкими тревогами кроется нечто большее — правда о том, кто мы такие, о нашем глубинном естестве, о том, что проявляется, когда все остальное выжжено. Мы научились справляться с этим существом как можем, закрывать глаза на собственное знание о нашем “я”. Чаще всего это нам удается. А что делать: мы вынуждены притворяться, чтобы не сойти с ума. Но мы все знаем, кто мы такие на самом деле. Мы выжили, потому что мы хуже, чем думали, а не лучше. Временами вообще кажется, что все оставшиеся — это те, кто был достаточно изворотлив, цепок, коварен, чтобы выжить. Я понимаю, что такое мнение — просто вывернутая

наизнанку романтика, но иногда, стоит задуматься, мне видится, что это идеально описывает положение вещей: мы — остатки, отстой, крысы, которые охотятся за крошками прогнившей еды, люди, выбравшие жизнь на земле, а те, кто лучше и умнее нас, покинули землю ради какого-то иного пространства, о котором мы можем разве что мечтать, и открыть дверь туда, даже заглянуть одним глазком нам слишком страшно.

Чарльз

Дорогой Питер,
15 сентября 2081 г.

Спасибо — как всегда — за подарки Чарли на день рождения; в этом году они особенно кстати. Нормирование сейчас такое жесткое, что у нее уже больше года не было вообще никакой новой одежды, не говоря о платье. Спасибо и за то, что ты разрешил мне сделать вид, как будто это от меня. Я так хотел — мне часто этого хочется — рассказать ей о тебе, рассказать, что есть еще человек, в далеких краях, который тоже думает о ней и любит ее. Но я понимаю, что это небезопасно.

Сегодня я ходил беседовать с директором школы. В прошлом году, когда она была в одиннадцатом классе, я заподозрил, что в школе ее

станут отговаривать от поступления в университет, хотя все учителя это поддерживали — да даже если бы не поддерживали, ее оценки по математике и физике гарантировали поступление как минимум в технический колледж.

Я уже многие годы пытаюсь сформулировать для себя, какова общая картина ее проблем. Как ты знаешь, исследований о долгосрочном воздействии ксикора на тех детей, которые принимали его в 70-м, очень мало — отчасти потому, что мало кто выжил, отчасти потому, что опекунам и родителям выживших не очень-то хотелось подвергать детей еще каким-то исследованиям и тестированиям. (Я сам — один из тех эгоистичных людей, которые стоят на пути научного знания и не разрешают изучать своего ребенка.) Но опубликованные статьи из наших центров и разных институтов Старой Европы, которые лучше финансируются, мне мало что объяснили; я пока не вижу, чтобы особенности моей Чарли были отражены в тех описаниях, которые мне довелось читать. Я, впрочем, хочу уточнить, что объяснения я искал не для того, чтобы лучше понять ее и больше любить. Но в глубине души я всегда надеялся, что если есть другие люди, похожие на нее, то она сможет когда-нибудь

встретить кого-нибудь узнаваемого, близкого. У нее никогда не было друзей. Я не знаю, насколько глубоко она ощущает это свое одиночество, да и есть ли у нее вообще способность осознать его (у ее несчастного отца была). Но больше всего я хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь избавил ее от одиночества, и желательно до того, как она осознает, что это было за чувство.

Но пока никого нет. Я так и не знаю, насколько она понимает, что многого не понимает, — ну, ты знаешь, что я хочу сказать. Иногда мне кажется, что я обманываю себя, что ищу в ней нечто человеческое, а оно полностью выжжено. А потом она говорит что-нибудь удивительно глубокое, что-то проникновенное, и я прихожу в ужас — вдруг она успела почувствовать, что я сомневаюсь в ее способности к рефлексии. Однажды она спросила, больше ли я ее любил до болезни, и у меня было такое чувство, как будто меня ударили в солнечное сплетение; мне пришлось схватить ее и прижать к себе, чтобы она не видела выражения моего лица.

— Нет, — сказал я. — Я всегда любил тебя так же, как в день твоего рождения. Я никогда не хотел, чтобы мой котенок был другим.

Но чего я не сказал, потому что это ее бы

запутало, потому что показалось бы оскорбительным, — это что я люблю ее теперь больше, чем раньше, что моя любовь к ней так бездонна оттого, что она более яростная, что она темна и бурлива, как бесформенный сгусток энергии.

В школе директор показала мне список из трех технических колледжей, которые, по ее мнению, могут подойти Чарли: все в пределах двух часов от города, все маленькие, хорошо обороняемые. Все три гарантируют выпускникам занятость третьего уровня или выше. Самый дорогой из них принимал только девочек, его я и выбрал.

Директор сделала пометку. Потом, помолчав, сказала:

— Большая часть государственных работников первого уровня обеспечивают круглосуточную охрану своим детям, — сказала она. — Вы хотите использовать силы колледжа или, как и раньше, свои?

— Продолжу использовать свои, — сказал я. Государство, по крайней мере, это оплачивает.

Мы обсудили еще разные мелочи, потом директор встала.

— У Чарли сейчас закончится последний урок, — сказала она. — Привести ее, чтобы вы смогли отправиться домой вместе?

Я сказал, что это было бы замечательно, и она вышла из кабинета предупредить своего помощника.

Я встал и подошел к фотографиям учеников, развешанным на стенах. В городе осталось четыре женских частных школы; эта — самая маленькая, она привлекает, как это формулирует сама школа, “усердных” девочек, хотя это эвфемизм — вовсе не все девочки академически одарены. Скорее речь идет о фундаментальной застенчивости их учениц, о “поздней социализации”, опять-таки в терминах школы.

Директор вернулась с Чарли, мы попрощались и вышли.

— Домой? — спросил я, когда мы сели в машину. — Или развлечься?

Она подумала.

— Домой. — По понедельникам, средам и пятницам у нее дополнительные занятия по жизненным навыкам, психолог тренирует ее умение вербально и невербально общаться. От этого она всегда устает; она откинула голову на спинку сиденья и закрыла глаза — и потому, что действительно очень вымоталась, и, наверное, потому, что хотела избежать тех вопросов, которые, как она знает, я начну задавать и на которые ей труд-

но отвечать: что сегодня было в школе? Как там с музыкой? Что вы слушали? Какое настроение тебе навеяла музыка? Как ты думаешь, что хотел выразить композитор? Какая часть произведения тебе особенно понравилась и почему?

— Дедушка, — сказала бы она, помучившись, — я не знаю, как отвечать.

— Знаешь, котенок, — сказал бы я, — и у тебя прекрасно получается.

Я все чаще думаю, какой будет ее взрослая жизнь. В первые три года после болезни я беспокоился только о том, чтобы она выжила: следил, сколько она ест, сколько спит, следил за цветом глазных яблок и языка. Потом, после первого случая с мальчишками, я в основном думал о том, как ее защитить, хотя это была задача посложнее — она зависела не только от моих усилий по организации наблюдения, но и от надежды, что Чарли сообразит, кому можно доверять, а кому нет. Послушание обеспечило бы ей возможность выжить, но не приучил ли я ее к избыточному послушанию?

После второго случая я задумался о том, как она станет жить дальше — как мне защитить ее от людей, которые пытаются ею воспользоваться, как ей жить, когда я умру. Я всегда представлял

себе, что она будет со мной всю жизнь, хотя прекрасно понимал, что речь идет не о всей ее жизни, а только о моей. Вот мне почти семьдесят семь, а ей семнадцать — и даже если я проживу еще десять лет, если не умру, если меня не исчезнут, как К., — все равно впереди у нее останутся десятилетия, с которыми надо будет как-то справляться.

Но в каком-то смысле, возможно, грядущее общество в некоторых смыслах окажется более подходящим для нее. Появляются конторы сватовства (все с гослицензией), обещают найти супруга кому угодно. Уэсли обеспечит ей работу, система баллов всегда обеспечит ей пищу и какое-то жилье. Я бы хотел не умирать и следить за ней, пока она не достигнет зрелых лет, но необходимость в этом существует только до той поры, пока я не смогу найти кого-то, кто станет о ней заботиться и обеспечит ей какую-то работу, где с ней точно будут хорошо обходиться. В этих терминах моя задача проще. Я давным-давно перестал считать, что хоть что-то делаю для пользы науки, человечества, этой страны, города, — но от мысли, что я что-то делаю для нее, для ее безопасности, жизнь становится менее невыносимой.

По крайней мере, это то, во что мне удается верить, — иногда лучше, иногда хуже.

Обнимаю тебя и Оливье. Чарльз

Дорогой мой Питер,
1 декабря 2083 г.

С днем рождения! Семьдесят пять, а. Практически еще малыш. Я бы так хотел что-нибудь тебе передать — но вместо этого получаю подарки от тебя, если фотографию вас с Оливье на отдыхе можно считать подарком. Спасибо за роскошную шаль — я подарю ее Чарли, когда она вернется домой на каникулы через две недели. Новый курьер, кстати, отличный — еще незаметнее прежнего и к тому же намного быстрее.

Дом почти полностью конвертирован. Хотя в Комитете уже аж дважды пели осанну моему великодушию, выбора-то у меня на самом деле не было: когда военные просят право пользования частным домом, они на самом деле не просят, а приказывают. В любом случае мне и так повезло, что я держался за него столько, сколько смог, тем более в условиях войны. Но я попросил, чтобы мне выделили площадь по моему выбору, и они согласились; там теперь восемь квартир, и наша на третьем этаже, с окнами на север; это бывшая спальня Чарли и игровая комната, теперь — как бы гостиная. Я ночую в спальне, пока ее нет, а

потом перемещусь в гостиную. Поскольку дом изначально был ее собственностью, квартира будет принадлежать ей и после замужества, а меня переместят в другую квартиру в той же зоне — что тоже часть достигнутого компромисса.

Хотя я теперь живу, по сути дела, в военном бараке, нельзя сказать, чтобы вокруг гарцевали привлекательные солдаты. Другие квартиры отданы разным специалистам-техникам, неприметным мужчинам, которые не смотрят на меня, если мы сталкиваемся на лестнице; из их квартир время от времени доносится скрежет неразборчивых радиосигналов.

Ты в последнем письме упомянул, что я описываю текущую ситуацию с неожиданной бодростью. Я думаю, вернее было бы сказать “со смирением”. С одной стороны, я почти горд оказаться в числе трех последних сотрудников Комитета, у кого реквизировали дом, с другой — практические соображения подсказывают, что, когда Чарли отправится в колледж, такое большое жилое пространство мне все равно будет ни к чему. Дом никогда и не был по-настоящему моим — он принадлежал Обри и Норрису, а потом — Натаниэлю. А я — как и коллекция Обри, из которой я по одному жертвовал оставшиеся экспонаты

музею Метрополитен, а после его упразднения разным частным организациям, — разве что занимал это место, а не владел им. С течением лет дом, когда-то имевший для меня такое большое символическое значение — средоточие моих обид, проекция моих страхов, — стал наконец просто домом: убежищем, а не метафорой.

Но как на это будет реагировать Чарли, меня беспокоит. Она знает, что это случилось; я навещал ее в школе несколько недель назад, и когда поинтересовался, хочет ли она что-нибудь спросить, она только помотала головой. Я пытаюсь облегчить ей происходящее, насколько могу. Например, выбор красок сейчас невелик, но я сказал, что она может взять любую и, может быть, мы даже нарисуем какой-то узор на стенах спальни, хотя ни она, ни я в этом не мастера. “Что захочешь, — сказал я ей. — Это твоя квартира”. Иногда она кивает и говорит: “Я знаю”, а иногда мотает головой. “Она не моя, — отвечает она, — а наша. Твоя и моя, дедушка”, — и тогда я понимаю, что, несмотря на все свои усилия, она все-таки думает о будущем, думает и пугается. Тогда я меняю тему, и мы говорим о чем-нибудь другом.

К. был всегда уверен, что на высших должностях государства таких, как мы, больше, чем даже

нам известно, что, по его словам, делает ситуацию более, а не менее опасной, потому что такие люди будут стараться показательно наказывать любого нарушителя закона, чтобы защитить себя, как это всегда диктует иррациональная логика уязвимости. Он уверял, что Закон о браке ни за что бы не прошел, если бы большинство таких, как мы, в Комитете и других структурах, его не поддержали, и что обращенный внутрь стыд и чувство вины из-за невозможности продолжать род привели к опасной разновидности компенсаторного патриотизма, побуждающего нас придумывать такие законы, которые в конечном счете ставят нас самих под угрозу. “Но, — сказал он, — как бы плохо все ни повернулось, мы всегда найдем обходные пути, если только прилюдно будем вести себя как положено”. Это он говорил незадолго до того, как его исчезли. Год спустя, как ты знаешь, я стал ходить в один из тех подпольных домов, про которые он мне рассказал и которые пока что никто не трогал, хотя столько всего уничтожили, захватили или переделали до неузнаваемости. Поскольку Чарли в колледже, я хожу туда все чаще, а конвертация дома, я подозреваю, будет этому только способствовать.

Происходящие перемены наводят меня на мыс-

ли о Норрисе и Обри. Я не вспоминал о них много лет, но в последнее время все чаще разговариваю с ними вслух, в основном с Обри. Дом по-прежнему кажется его домом, несмотря на то, сколько лет я там прожил — уже почти столько же, сколько Обри. Когда мы разговариваем, он злится, но старается это скрыть. Но потом все-таки взрывается. “Блядь, что ты наделал, Чарльз? — спрашивает он — как никогда бы не стал выражаться при жизни. — Что ты сделал с моим домом?” И хотя я всегда говорил себе, что мнение Обри не имеет для меня никакого значения, я никогда не нахожу ответа на его вопрос.

“Что ты наделал, Чарльз? — спрашивает он снова и снова. — Что ты наделал?”

И всякий раз, когда я открываю рот, чтобы ответить, мне не удается произнести ни слова.

Обнимаю тебя и О. — Чарльз

Дорогой Питер,
12 июля 2084 г.

Вчера ночью мне снились Гавай’и. За день до этого я был в своем любимом доме с дурной репутацией и спал рядом с А., когда завыли сирены.

— Черт, черт, — сказал А., поспешно собирая одежду, обувь. — Это рейд.

Мужчины стали выходить в коридоры, на ходу застегивая рубашки и затягивая пояса, кто с невозмутимым лицом, кто в панике. Во время рейдов безопаснее всего молчать, но кто-то — молодой человек, который работает где-то в Минюсте, — повторял и повторял: “Мы не делаем ничего противозаконного; мы не делаем ничего противозаконного”, — пока кто-то еще не цыкнул на него — мы, мол, и сами прекрасно это знаем.

Мы стояли и ждали — человек тридцать на четырех этажах. Кого бы они ни искали, он был виноват не в гомосексуальности, а, вероятно, подозревался в контрабанде, подделке документов, в краже — и хотя они не могли нас привлечь за то, кто мы такие, они запросто могли нас за это унижать. А иначе зачем ловить человека, когда он тут, а не тихо прийти к нему в жилище? Только ради того, чтобы вывести нас из здания, выстроив в шеренгу с поднятыми над головой руками, как уголовников, ради потаенной радости от связывания наших рук, от пинков, чтобы заставить нас встать на колени у бордюра, от садизма, с которым требовали повторять имена — “Громче, пожалуйста, не слышу вас”, — и громко перекрикиваться с напарником, чтобы тот проверил по базе данных: Чарльз Гриффит.

Вашингтонская площадь, север, дом тринадцать. С его слов — ученый в УР. Возраст: в октябре будет восемьдесят. (Ухмылка: восемьдесят? Все еще бегаешь за этим делом в восемьдесят? Как будто это абсурдно и непристойно, что такой старик все еще хочет, чтобы к нему прикоснулись, хотя именно этого и хочется больше всего.) А потом ты часами сидишь в неудобной позе на улице, склонив голову, словно от стыда, хотя подозреваемого давно увели, и ждешь, когда представление наконец уже кончится, когда кому-нибудь из них надоест и он нас отпустит под смех остальных солдат, залезающих в свои машины. Они нас не били и почти не трогали, не обзывали — да и не могли, потому что многие из нас влиятельные люди, — но было очевидно, что они относятся к нам с презрением, и когда мы наконец встали и пошли обратно к дому, улица вокруг снова потемнела, а местные жители, наблюдавшие за нами из окон, не говоря ни слова, вернулись в свои кровати — представление закончилось. “Уж лучше бы просто объявили нас вне закона”, — буркнул какой-то молодой человек после этого рейда, и на него принялись кричать: как можно быть таким невежественным, таким идиотом; но я понимал, что он хотел сказать. Если бы мы были вне закона,

мы бы понимали свое положение. А так, как есть, мы ничто и никто: про нас знают, но никак не называют; нас терпят, но не признают. Мы живем в постоянной неизвестности и ждем дня, когда нас объявят врагами государства, ждем ночи, когда то, что мы делаем, в течение одного часа одним росчерком пера превратится из прискорбного в преступное. Само слово, означающее то, кем мы были, каким-то образом в какой-то момент исчезло из повседневного словаря — мы теперь в лучшем случае “наши”: “Ты знаешь Чарльза? Он из наших”. Даже мы сами стали пользоваться эвфемизмами, не в силах сказать, кто мы такие.

Во время рейдов солдаты почти никогда не заходят в дом — как я уже сказал, тут слишком много влиятельных людей, и они как будто понимают: контрабанды окажется столько, что работа по ее описанию и классификации не даст им возможности заниматься больше ничем на протяжении целой недели; вернувшись, мы первым делом пошли в подвал и стали доставать из сейфа книги, бумажники, устройства — все, что успели сбросить, — а потом разошлись, возможно даже не попрощавшись с тем, с кем проводили время, и в следующий раз ни один из нас не станет упоминать о случившемся, мы сделаем вид, будто

ничего не произошло.

Две ночи назад мы три минуты стояли и ждали, что в дверь станут колотить, что из мегафона донесется чье-нибудь имя, пока не поняли, что сирены вообще не к нам относились. Снова произошел безмолвный обмен взглядами — люди на первом и втором этажах посмотрели на нас, стоявших на третьем и четвертом, и все мы недоумевали, — пока наконец молодой человек на первом этаже не отпер, с большой осторожностью, входную дверь, а потом, через мгновение, театрально не распахнул ее, встав посреди проема.

Он что-то крикнул, мы помчались вниз и увидели, что Бэнк-стрит превратилась в реку — вода с шумом текла на восток. “Гудзон вышел из берегов”, — сказал кто-то с тихим ужасом в голосе, и в ту же секунду кто-то еще произнес: “Сейф!” — и все помчались в подвал, который уже наполнялся водой. Мы перенесли на чердак сложенные там книги и устройства, передавая их друг другу по цепочке, а потом стояли у окон первого этажа и смотрели на подступающую воду. У А. был какой-то прибор для связи, какого я никогда не видел, не такой, как у меня, — я никогда не спрашивал, чем он занимается, и он сам тоже никогда не

говорил; он что-то коротко сказал в него, и через десять минут появилась флотилия пластиковых шлюпок.

— Вперед, — сказал А.; я знал его как человека пассивного, даже нытика, но он вдруг превратился в кого-то властного и сурового — видимо, так он ведет себя на работе. — Выстраивайтесь в очередь к лодкам. — Вода уже плескалась по входным ступеням.

— А дом что? — спросил кто-то, и мы все понимали, что он спрашивает про книги на чердаке.

— Я разберусь, — сказал моложавый человек, с которым я не был лично знаком, но он был владелец, или менеджер, или смотритель дома — кто именно, было неясно, но я знал, это он отвечает за дом. — Поезжайте.

И мы уехали. На этот раз, то ли из-за неизвестной должности А., то ли из-за уравнивающей всех природы происшествия, солдаты не шутили, не издевались; они протягивали нам руки, мы хватались за них и спускались в шлюпки, и все это происходило в такой деловой и дружеской атмосфере — нас нужно было спасать, и они появились, чтобы нас спасти, — что можно было почти поверить, будто их отвращение к нам было показное, будто они уважали нас не меньше, чем

остальных. Следом появилась еще одна флотилия шлюпок, и теперь из мегафона неслось: “Жители Восьмой зоны! Покидайте свои отсеки! Спускайтесь к дверям и ждите, пока подойдет помощь!”

К этому моменту вода прибывала с такой скоростью, что лодка колыхалась, как на гребне волны, а листья и ветки постепенно забивали ее хилый мотор. Кварталом восточнее, на Гринвич-стрит, к нам присоединилось еще сколько-то плотов с мотором, которые двигались на восток, от Джейн-стрит, от 12-й Вест-стрит; мы все медленно плыли к Гудзон-стрит, где отряды солдат громоздили мешки с песком, пытаясь сдержать реку.

Там стояли аварийные машины и машины скорой помощи, но я выкарабкался из плота и пошел на восток, не оглядываясь: если не требуется, лучше не ввязываться — достойно не получится, даже осмысленно не получится. Я не то чтобы сильно промок, но носки чавкали при каждом шаге, и я был рад, что не надел на этот раз охлаждающий костюм, несмотря на жару. На перекрестке 10-й Вест-стрит и Шестой авеню мимо пробежал взвод солдат, разбитый на группы, у каждых четверых — по пластиковому плоту на руках. Солдаты выглядели усталыми, и я подумал, что это неудивительно. Два месяца

назад — пожары, в прошлом месяце ливни, теперь потопы. Когда я добрался до дома, там было тихо — просто потому, что был еще ранний час, или потому, что кого-то из жителей отправили помогать, — не знаю.

На следующий день — вчера, во вторник — я пошел на работу, но мало что там делал, кроме прослушивания радионовостей про потоп, который охватил значительную часть Восьмой зоны, а Седьмую и Двадцать первую — целиком, разлившись от бывшего шоссе на востоке аж до Гудзон-стрит. Дом на Бэнк-стрит, видимо, пропал; кто-то мне, конечно, так или иначе сообщит. Погибло два человека: пожилая женщина упала с подъезда своего дома на 11-й Вест-стрит, пытаясь спуститься в лодку, и сломала шею; мужчина с Перри-стрит отказался вылезать из своей полуподвальной квартиры и утонул. Две улицы более или менее уцелели по чистой случайности — военные срубили три огромных больных дерева на Бетюн-стрит и на Вашингтон-стрит, что смягчило последствия потопа. А на Гансевоорт-стрит военные рыли траншею на пересечении с Гринвич-стрит, чтобы заменить старую канализационную трубу, и это тоже уменьшило ущерб. Еще несколько лет назад потоп привел бы меня

в бешенство: его неизбежность — прямое следствие долгих лет бездействия и высокомерия, с которыми правительство относится к городскому хозяйству, — но теперь у меня и чувств-то никаких в связи с этим нет. Я испытывал разве что некую усталость, и даже это было не столько эмоцией, сколько отсутствием всяких эмоций. Я слушал радио, постоянно зевая, и глядел из офисного окна на Ист-Ривер, про которую Дэвид всегда говорил, что ее цвет — это цвет шоколадного молока, и следил за тем, как утлая лодка медленно продвигается на север — может быть, к острову Дэвидс, может, нет.

Но хотя я не мог отыскать в душе никаких связанных с потопом чувств, я не сомневался, что найдутся и те, кто их отыщет, — например, протестующие, которые каждый день собирались на Вашингтонской площади (к вечеру их всегда разгоняли). Я ожидал, что, когда вернусь домой, их окажется больше обычного — они давным-давно выяснили, кто из нас член Комитета, и безошибочно угадывали, когда мы придем с работы. Не важно, что мы меняли водителей и всячески перекраивали расписание, — стоит машине подъехать к дому, а они тут как тут, с плакатами и транспарантами. Это не запрещено, им нельзя

собираться около правительственных зданий, но около нашего можно, что, наверное, устраивает их даже больше — они ненавидят не столько то, что мы построили, сколько самих строителей.

Но на прошлой неделе там не было никого — только торговцы на площади и покупатели у их стоек. Это означало, что государство использовало потопы как предлог для задержания протестующих, и я некоторое время торчал там, несмотря на жару, смотрел, как обычные люди занимаются обычными делами, и только потом вошел в дом и отправился к себе в квартиру.

Той ночью мне снилось, что я опять подросток и живу на ферме у дедушки и бабушки в Лаи. То был год первого цунами, и хотя мы находились на таком расстоянии от океана (а были бы чуть ближе — и все), что нас не накрыло, они всегда говорили, что лучше бы накрыло: тогда можно было бы получить страховые деньги и начать все заново — или не начинать. А так получилось, что ферма пострадала недостаточно, чтобы ее бросить, но при этом достаточно, чтобы утратить всякую возможность приносить доход. Холм, укрывавший тенью бабушкины грядки с травами, развалился, ирригационные каналы заполнились морской водой — стоило ее отка-

чать, как она возвращалась, и это продолжалось месяцами. Соль покрыла все поверхности; деревья, животные, овощи, стены дома — все было в белых разводах. От соли воздух стал липким, и когда весной пошли первые фрукты, оказалось, что манго, личи, папайя тоже соленые на вкус.

Бабушку с дедушкой никогда нельзя было назвать счастливыми. Они купили ферму в момент редкого романтического воодушевления, но это дело недолговечное. Трудились они там еще долго после того, как перестали получать хоть какое-то удовольствие; в какой-то степени самолюбие мешало им признаться, что у них ничего не вышло, в какой-то им не хватало воображения, не приходило в голову, что бы еще такое сделать. Они хотели жить так, как мечтали их деды и бабки, до Реставрации, но делать что-то оттого, что твои предки хотели так делать — осуществлять чужие мечты, — это так себе жизненная программа. Они упрекали мою мать в том, что в ней недостаточно гавайского, а потом она ушла, и воспитывать меня пришлось им. Они упрекали и меня в том, что во мне недостаточно гавайского, одновременно уверяя, что мне и не стать настоящим гавайцем, но когда я тоже ушел — зачем мне было оставаться там, где мне объясняют, что

я чужой? — это им точно так же не понравилось.

Но сон был не столько про них, сколько про сказку, которую бабушка рассказывала мне в детстве, — сказку о голодной ящерице. Ящерица весь день бродила повсюду и щипала траву. Плоды она тоже ела, и насекомых, и рыбу. Когда всходила луна, ящерица засыпала, и ей снились сны про еду. Потом луна заходила, ящерица просыпалась и снова начинала есть. Проклятие ящерицы состояло в том, что она никогда не могла наесться досыта, хотя и не понимала, что это проклятие, — на это ей не хватало ума.

Однажды, по прошествии многих тысячелетий, ящерица, как обычно, проснулась и, как обычно, отправилась на поиски еды. Но что-то было не так. И тут ящерица поняла: еды больше не осталось. Не было больше растений, не было птиц, не было травы, цветов, мошек. Она съела все — съела камни, горы, песок и почву. (Здесь бабушка пела пару строк из старой гавайской песни протеста: *Ua lawa mākou i ka pōhaku / I ka ʻai kamana ʻo o ʻāina.)* Остался только тонкий слой пепла, и под пеплом — это ящерица знала — таилось ядро земли, целиком состоящее из огня, и хотя ящерица много что могла есть, такого съесть она не могла.

Так что ящерица поступила единственным возможным способом — больше ей ничего не оставалось. Она легла на солнцепеке и стала ждать, сберегая силы в полудреме. И в ту ночь, когда взошла луна, она выпрямила хвост как опору, поднялась и проглотила луну.

На мгновение ей стало очень хорошо. Она же весь день не пила, а луна в животе оказалась прохладной и гладкой, как гигантское яйцо. Но пока ящерица наслаждалась этим ощущением, что-то изменилось: луна по-прежнему поднималась в небо, пытаясь выскочить из ее утробы, чтобы продолжить свой небесный путь.

Этому не бывать, подумала ящерица, быстро вырыла ямку, узкую, но глубокую — по крайней мере, такую глубокую, какую можно было вырыть, не доходя до огня в центре земли, — и засунула туда свою голову целиком. Так луна никуда не денется, решила она.

Но ошиблась. Ибо как в природе ящерицы — есть, так в природе луны — восходить, и как бы крепко ящерица ни сжимала челюсти, луна все-таки всходила. Но ямка в земле, куда ящерица засунула голову, была такая тесная, что луна не могла выйти у нее из пасти.

Так что ящерица взорвалась, а луна выскочила

из земли и продолжила свой путь.

На протяжении многих тысяч лет после этого ничего не происходило. Не стоит понимать мои слова буквально — на самом деле за эти годы все, что ящерица съела, появилось снова. Вернулись камни и почва. Вернулись травы, цветы, растения и деревья; вернулись птицы, насекомые, рыбы и озера. И над всем этим каждую ночь всходила и заходила луна.

Так кончалась сказка. Я всегда думал, что это гавайская народная сказка, но нет — когда я спрашивал бабушку, кто ей такое рассказал, она отвечала: “Моя бабушка”. Когда я учился в университете, у нас были занятия по этнографии; я попросил ее записать эту сказку для меня. Она возмущенно фыркнула. “Зачем? — спросила она. — Ты же ее и так знаешь”. Да, ответил я, но мне важно еще раз услышать, как сказка звучит в ее устах, а не как я ее помню. Но она рассказывать не стала, и мне самолюбие не позволило просить ее снова, а потом занятия по этнографии закончились.

А потом, через несколько лет — к тому времени обоюдное разочарование и отсутствие интереса развели нас в разные стороны, и мы почти не общались, — она прислала мне письмо по элек-

тронной почте, и в письме была та сказка. Это случилось в год моих странствий после университета; я помню, как получил его, когда сидел в кафе в Камакуре с друзьями, хотя прочитал только на следующей неделе, на острове Чеджудо. Там была все та же старинная необъяснимая сказка, точно как мне помнилось. Ящерица, как всегда, умерла; земля, как всегда, восстановилась; луна, как всегда, сияла в небе. Но на этот раз кое-что было по-другому. Когда все выросло снова, писала бабушка, ящерица вернулась, только это уже была не ящерица, а *he mea helekū*, то, что ходит прямо. И это существо вело себя совершенно так же, как его давно почившая прародительница, — ело, и ело, и ело, пока в какой-то момент не оглянулось по сторонам и не осознало, что больше ничего не осталось, и тогда ему тоже пришлось проглотить луну.

Ты, конечно, понимаешь, о чем я. Я долго считал, что всех нас уничтожит какой-нибудь вирус, что людей скосит что-то одновременно более масштабное и намного более крошечное, чем мы сами. Теперь я понимаю, что это не так. Мы — ящерица, но мы и луна. Некоторые умрут, а некоторые будут делать то, что делали всегда, продолжать свой бессмысленный путь, повторяя

то, что заставляет нас повторять сама наша природа, оставаясь безмолвными, непознаваемыми, неостановимыми в этом непрекращающемся движении.

Обнимаю,
Чарльз

Дорогой П.,
2 апреля 2085 г.

Спасибо за записку и за информацию. Будем надеяться, что все так и есть. В случае чего у меня все готово. Стоит мне начать думать об этом, я страшно дергаюсь, так что не буду ничего писать. Ты просишь тебя не благодарить, но я все равно благодарен. Но мне правда нужно, чтобы это произошло, нужно больше, чем прежде, — сейчас объясню.

Чарли в порядке — по крайней мере, насколько можно ожидать. Я объяснил ей что мог про Закон о врагах государства, и хотя не сомневаюсь, что она все поняла, я не уверен, что она осознает, какое влияние он окажет на ее жизнь. Она знает только, что именно поэтому ее исключили из колледжа за три месяца до выпуска и поэтому нам пришлось идти к регистратору зоны, чтобы в ее удостоверение поставили печать. Но она вроде

бы не грустит, не взбудоражена, не в депрессии — спасибо и на том. “Прости, котенок, прости”, — все время говорю я ей, а она отвечает: “Ты же не виноват, дедушка”, — и мне хочется расплакаться. Ее наказывают за грехи родителей, которых она не знала, — этого что, мало? Чем еще ее надо придавить? Ну и мера, конечно, смехотворная, никаких повстанцев она не остановит. Ничто их не остановит. А между тем вот тебе Чарли и все это новое племя незаконных людей: дети, братья и сестры врагов государства, большинство из которых давно умерли или исчезли. На последнем заседании Комитета нам сказали, что если повстанцев не удастся подавить или по крайней мере сдержать, придется применять “более суровые меры”. Никто не объяснил, что это значит.

Ты, наверное, видишь, что я все это переношу гораздо тяжелее, чем она. Я все время прокручиваю в голове ее будущее, и время от времени — как ты прекрасно понимаешь — оно наполняет меня ужасом. Она хорошо училась, ей даже нравилось. Я мечтал, что она получит степень магистра, а то и доктора, что найдет работу в какой-нибудь маленькой лаборатории — не модной, не богатой, не престижной. Она могла бы работать в научно-исследовательском заве-

дении где-нибудь в провинции, жить хорошо и спокойно.

Но теперь ей запрещено получать диплом. Я пошел к своему знакомому из МВД и умолял его сделать для нее исключение.

— Марк, ну пожалуйста, — сказал я. Он однажды видел Чарли, несколько лет назад; когда ее выписали из больницы, он принес ей плюшевого кролика. А его сын умер. — Сколько можно. Пусть у нее будет еще один шанс.

Он вздохнул.

— Если бы время было другое, я бы все сделал, Чарльз, ты же знаешь, — сказал он. — Но у меня связаны руки — даже для тебя я ничего сделать не могу.

Потом он сказал, что Чарли еще “повезло”, что он уже “замолвил словечко” за нее. Я понятия не имею, что это значит, и вдруг оказалось, что и знать не хочу. А вот что меня отодвигают в сторону — это уже не вызывает сомнений. Я и так некоторое время об этом знал, а теперь вижу воочию. Это случится не сразу — но случится. Я такое уже видел. Ты не теряешь влияние мгновенно — это происходит постепенно, на протяжении нескольких месяцев, даже лет. Если повезет, ты просто становишься незначитель-

ным существом, тебя переводят на какую-нибудь бессмысленную должность, где ничего толком сделать нельзя. Если не повезет — станешь козлом отпущения, и хотя это можно расценить как извращенное хвастовство, я понимаю, что, учитывая все, что я осуществил, что планировал, чем управлял, мне, скорее всего, светит какая-то публичная порка.

Поэтому мне нужно действовать быстро — на всякий случай. Прежде всего надо найти ей работу в государственном учреждении. Это непросто, но она будет в безопасности, а работа эта пожизненная. Я пойду к Уэсли, который не посмеет мне отказать даже сейчас. А потом, как бы абсурдно это ни звучало, мне надо будет найти ей мужа. Не знаю, сколько у меня осталось времени, — я должен убедиться, что обеспечил ее всем, чем мог, а если нет — что смогу исправить положение. Пока что у меня на такое есть силы и возможности.

Буду ждать вестей от тебя.
Обнимаю тебя и Оливье,
Ч.

Дорогой мой Питер,
15 января 2086 г.

Вчера дикая жара чуть-чуть спала, ожидается,

что завтра фронт переместится к северу. Последние несколько дней были чудовищны — множество смертей, а мне пришлось использовать часть талонов, чтобы заменить кондиционер. Я копил их, хотел купить Чарли что-то симпатичное, что можно надевать на наши деловые встречи. Ты знаешь, что я не люблю тебя ни о чем таком просить, но ты не мог бы мне что-нибудь для нее прислать? Платье или блузку с юбкой? Из-за засухи в город почти не доставляют ткань, а когда доставляют — все запредельно дорого. Прилагаю ее фотографию и размеры. Конечно, обычно я в состоянии что-то купить, но стараюсь скопить как можно больше, чтобы передать ей, когда она выйдет замуж, — особенно учитывая, что мне все еще платят золотом.

Но есть расходы, которых избежать невозможно. С новым брачным маклером меня познакомил А. — именно он устроил его собственный брак с овдовевшей лесбиянкой. Если нужны доказательства, что моя репутация уже не та, что прежде, — пожалуйста: я не мог немедленно записаться к этому маклеру, хотя известно, что он незамедлительно помогает любому высокопоставленному чиновнику из госведомства. Но это А., с которым я теперь вижусь редко, пришлось

организовать нашу встречу.

Мне он сразу не понравился. Высокий, костлявый, в глаза не смотрит и всячески дает понять, что встретился со мной исключительно из любезности.

— Вы где живете? — спросил он, хотя я прекрасно знал, что он уже знает основные детали моей жизни. Но я решил подыгрывать.

— В Восьмой зоне.

— Я обычно работаю только с кандидатами из Четырнадцатой, — сказал он, что я тоже уже знал — он написал мне об этом еще до встречи.

— Понимаю. Я очень вам признателен, — сказал я так любезно, как только мог. Наступило молчание. Я ничего не говорил. Он тоже. Но наконец он вздохнул — а что ему оставалось делать? — и вынул свой блокнот, чтобы начать собеседование. В его офисе было нестерпимо жарко, несмотря на кондиционер. Я попросил воды, и он посмотрел на меня возмущенно, как будто я попросил чего-нибудь невозможного, виски или текилы, а потом велел секретарю принести мне воды.

Потом началась унизительная процедура. Возраст? Род занятий? Какой ранг? Где именно в Восьмой зоне я живу? Собственность? Этническое происхождение? Где я родился? Натурализован

ли я? С каких пор работаю в УР? Состою ли в браке? Состоял ли раньше? С кем? Когда он умер? Как? Сколько у нас было детей? Был ли он моим биологическим ребенком? Какого этнического происхождения был его отец? А мать? Жив ли мой сын? Когда он умер? От чего? Я здесь по поводу внучки, верно? Кто ее мать? А почему и где она? Она жива? Внучка — биологическая дочь моего сына? Были ли у нее и у моего сына какие-либо проблемы со здоровьем? Есть ли сейчас? Отвечая на каждый новый вопрос, я чувствовал, как воздух вокруг меня меняется, становясь все темнее, темнее, темнее, как годы обрушиваются на меня, врезаясь друг в друга.

Потом наступил черед вопросов про Чарли, хотя ее бумаги с алым штампом “РОДСТВЕННИК ВРАГА” поперек всей фотографии он уже видел. Сколько ей лет? Какое образование она получила? Рост? Вес? Чем интересуется? Когда стала бесплодной и как? Как долго принимала ксикор? И наконец: какая она вообще?

Мне очень давно не приходилось так подробно описывать, что у Чарли есть и чего нет, что она может делать, а чего не может, в чем блистает, а с чем справляется плохо; думаю, в последний раз — когда я пытался обеспечить ей место в

старшей школе. Но, рассказав ему главное, я понял, что не могу остановиться и объясняю, как внимательна она была к Котенку, как, когда он умирал, ходила за ним из комнаты в комнату, пока не поняла, что он не хочет, чтобы за ним ходили, он хочет остаться в одиночестве; как во сне она морщит лоб и это придает ее лицу не сердитое, а задумчивое и пытливое выражение; как она всегда знает, даже не умея меня обнимать или целовать, когда я опечален или озабочен, и приносит мне воды, а когда был чай, приносила чаю; как, еще ребенком, только выписавшись из больницы, она иногда прижималась ко мне после судорог и позволяла мне погладить ее по голове с тонкими, редкими, мягкими как пух волосами; как единственное, что осталось от ее жизни до болезни, — это ее запах, теплый, животный, как горячий чистый мех зверька, только что побывавшего на солнце; как неожиданно она оказывается ловкой и находчивой, как редко смиряется с поражением, как готова пробовать снова и снова. Через некоторое время я почти осознал, что маклер перестал делать пометки, что в помещении кроме моего голоса не раздается других звуков, но продолжал говорить, хотя с каждой фразой как будто вырывал сердце

из груди и вставлял его обратно, а потом опять — и это была та страшная, невыносимая боль, та опустошающая радость и скорбь, которую я испытываю всегда, когда говорю о Чарли.

Наконец я замолчал, и в этой тишине, такой всеохватной, что она аж вибрировала, маклер произнес:

— А от мужа она чего ожидает?

И мне снова стало больно, потому что сам факт, что на встречу пришел я, я, а не она, говорил маклеру все, что нужно знать; все остальное, что я рассказывал про Чарли, все, что составляет ее суть, этим полностью затмевалось.

Но я ответил. Ей нужен кто-то добрый, сказал я. Кто-то заботливый, сдержанный, терпеливый. Мудрый. Не обязательно, чтобы он был богат, образован, умен, хорош собой. Мне нужна лишь гарантия, что он всегда будет ее оберегать.

— Что бы вы могли предложить ему взамен? — спросил маклер. В смысле, приданое. Меня предупредили, что с учетом “расстройства” Чарли мне, скорее всего, придется предложить приданое.

Я сказал ему, что предлагаю, так твердо, как только смог; его ручка замерла над бумагой, потом он записал сказанное.

— Мне надо ее увидеть, — наконец произнес

он, — и тогда я пойму, как действовать.

Так что вчера мы вернулись к нему. Я обдумывал, надо ли как-то подготовить Чарли, но решил, что не стоит — в этом нет смысла, а она только разволнуется. В результате я нервничал гораздо сильнее, чем она.

Она справилась хорошо, как смогла. Я живу с ней и люблю ее так долго, что иногда теряюсь, увидев, как с ней знакомятся другие люди, когда осознаю, что они видят ее не такой, какой вижу я. Конечно, я к такому готов — но позволяю себе роскошь непонимания. А потом я смотрю им в лица, и мое сердце снова вырывают из сети вен и артерий, оно выпрыгивает из груди и втягивается обратно.

Маклер сказал ей, что теперь нам с ним надо поговорить, и попросил ее подождать в вестибюле; я улыбнулся и кивнул ей, прежде чем последовать за ним, чуть ли не шаркая ногами, как будто я снова в школе и директор вызвал меня, чтобы отчитать за хулиганство. Мне хотелось потерять сознание, рухнуть на пол, сделать что-то, чтобы нарушить ход вещей, чтобы вызвать сочувствие, хоть что-то человеческое. Но мой организм, как всегда, вел себя послушно, и я сел, уставившись на этого человека, от которого зависела безопас-

ность моего ребенка.

Снова повисло молчание; мы смотрели друг на друга, пока я его не нарушил — мне надоела эта театральность, надоело, что этот тип видит наши слабые стороны и упивается своей властью. Я не хотел, чтобы он говорил мне то, что он непременно собирался сказать, но и хотел тоже, потому что тогда это останется позади, станет прошлым.

— Ну что, есть у вас кто-нибудь на примете? — спросил я.

Снова молчание.

— Доктор Гриффит, — сказал он наконец, — простите, но мне кажется, я неподходящий маклер для вашей задачи.

Сердце снова ударило в грудную клетку.

— Почему же? — спросил я, не желая этого спрашивать, потому что не хотел услышать ответ. Ну, скажи, подумал я. Давай, говори.

— При всем уважении, доктор, — сказал он, хотя никакого уважения в его голосе слышно не было, — при всем уважении, по-моему, вам надо подойти к делу реалистически.

— Это что вообще значит? — спросил я.

— Доктор, простите, — сказал он, — но ваша внучка…

— Моя внучка — что? — рявкнул я, и снова

повисло молчание.

Он посмотрел по сторонам. Я видел, что он осознает мой гнев; я видел, что он понимает — я ищу повод с ним сразиться; я видел, что он собирает все силы, чтобы вести себя осторожнее.

— Особенная, — сказал он.

— Вот именно, — сказал я. — Она особенная, совершенно особенная, и ей понадобится муж, который понимает, какая она особенная.

Наверное, по голосу было очевидно, что я рассвирепел, — в его тоне появилась нота сопереживания, которой до того не было.

— Вот посмотрите, — сказал он и вытащил тонкий конверт из нижней части стопки, которая громоздилась на столе. — Вот кандидатуры, которые я нашел для вашей внучки.

Я открыл конверт. Внутри были три карточки — такие дают маклеру. Квадратная картонка со стороной дюймов семь, с фотографией заявителя с одной стороны и данными с другой.

Я посмотрел на них. Все, конечно, были бесплодны — на лбах красовался красный штамп “Б/п”. Первому было за пятьдесят, он три раза был женат и три раза овдовел, и мое старинное иррациональное “я” — то “я”, что помнило хитросплетенные телесериалы про мужчин, которые

убивали жен, избавлялись от трупов и десятилетиями избегали преследования, — отшатнулось, и я быстро перевернул и отложил карточку; я отверг его, даже не прочитав информацию, где, вероятно, было указано, что все его жены умерли от вирусных заболеваний, а не были им убиты (однако что это за невезение — чтобы у тебя скончалось три жены? невезение, которое трудно не назвать преступным?). Вторым был мужчина, видимо, под тридцать, но с лицом таким яростным — рот сжат злобной полосой, глаза навыкате, изумленные, — что мне снова предстало видение из старых телесериалов, которые я все еще иногда смотрю по ночам на работе: как он бьет Чарли, делает ей больно, — словно и вправду прочел склонность к насилию в выражении его лица. Третий был человек чуть за тридцать, с неприметельным, спокойным лицом, но, посмотрев на его данные, я увидел, что он помечен как “УН”– умственно неполноценный. Это широкое определение, которое охватывает самые разные проблемы, раньше известные как психиатрические заболевания, но слабоумие под эту шапку тоже попадает. У Чарли такого нет. Я был готов попросить тебя послать деньги, дать взятку кому угодно, лишь бы это предотвратить — но в конце

концов оказалось, что необходимости в этом нет: она прошла их тесты и спаслась сама.

— Это что? — спросил я, и мой голос прорезал глухую тишину.

— Мне удалось найти трех кандидатов, которые могли бы рассмотреть возможность брака с вашей внучкой, — сказал он.

— Почему вы подыскивали кандидатов до того, как ее увидели? — спросил я, но, еще не договорив, понял, что он сделал выводы насчет Чарли по набору ее документов задолго до встречи с ней, может быть, даже до встречи со мной. А увидев ее — не передумал, а только сильнее утвердился в уже сформировавшемся мнении.

— Мне кажется, вам стоит обратиться к кому-то другому, — повторил он и протянул мне еще один листок, на котором были напечатаны имена трех других маклеров, и я понял, что он уже заранее знал, что помочь мне не сможет. — У этих специалистов будут кандидаты, которые лучше… подойдут для ваших нужд.

К счастью, он при этом не улыбнулся, а то я бы сделал что-нибудь идиотское, мужское, зверское — ударил бы его, плюнул бы в него, сбросил бы все бумаги со стола, как делали герои в старых телесериалах. Но зрителей не предвиделось, камеры

тоже не было, кроме крошечной, мигающей, которая, как я знал, прячется где-то в потолочных панелях и бесстрастно записывает происходящее внизу: двое мужчин, один старый, другой средних лет, передающие друг другу бумажки.

Я постарался придать лицу спокойное выражение, и мы с Чарли ушли. Я держал ее так близко, как только она могла позволить. Я сказал, что кое-кого для нее нашел, хотя во мне что-то рушилось: вдруг мой котенок никому не понадобится? Но ведь наверняка хоть кто-то сможет увидеть, какая она прекрасная, какая любимая, какая смелая? Она выжила, и ее за это наказывают. Она же не как те кандидаты — не отход, не отстой, не отброс. Я понимал при этом, что для кого-то и те люди не были отходами и отбросами, и даже — сердце снова выскакивало из груди — что их близкие могут смотреть на карточку Чарли и думать: “Они считают, что ему вот на этом и надо успокоиться? Наверняка есть кто-то получше. Наверняка есть кто-то еще”.

Что же это за мир? Ради какого мира она живет? Скажи мне, что все будет хорошо, Питер. Скажи мне, и я поверю, в последний раз поверю.

Обнимаю,

Чарльз

Дорогой, дорогой Питер,
21 марта 2087 г.

Как бы я хотел поговорить с тобой по телефону. Мне часто этого хочется, но сегодня особенно — так сильно, что, прежде чем сесть за письмо, я полчаса вслух говорил с тобой, тихо шептал, чтобы не разбудить Чарли, которая спит в соседней комнате.

Я мало писал о брачных перспективах Чарли, потому что хотел дождаться каких-то более оптимистических новостей. Но вот около месяца назад я нашел нового маклера, Тимоти, который специализируется, как выражается один мой коллега, на “сложных случаях”. Он обратился к Тимоти, чтобы найти кого-нибудь для своего сына, признанного УН. На это ушло почти четыре года, но Тимоти нашел ему пару.

С каждым маклером я пытался вести себя гораздо увереннее, чем на самом деле себя чувствовал. Я признавался, что ходил уже к их коллегам, но не уточнял, скольких перепробовал. В зависимости от того, с кем приходилось иметь дело, я пытался представить Чарли переборчивой, таинственной, блестящей, отстраненной. Но каждый разговор кончался одинаково, иногда еще до того, как меня просили привести Чарли, — они предлагали

таких же кандидатов, иногда даже тех же самых, что мне уже показывали. Бледный и спокойный молодой человек с отметкой УН мне встречался еще три раза, и, увидев его лицо, я каждый раз испытывал смесь печали и облегчения — печали оттого, что он тоже до сих пор никого не нашел, облегчения оттого, что не одной Чарли приходится так мучиться. Я думал о ее карточке, уже слегка потертой и захватанной, которую показывают клиентам снова и снова, а они или их родители откладывают ее в сторону: “Нет-нет, — слышал я их голоса, — эту мы уже видели”. А потом вечером, без лишних свидетелей: “Бедная девочка, до сих пор в поиске. По крайней мере, наш сын не в таком безвыходном положении”.

Но на этот раз я был честен. Я перечислил всех маклеров, к которым ходил. Я рассказал про всех кандидатов, которых мне предлагали и которых я видел, кого мог вспомнить. Я был честен, как только мог, стараясь разве что не заплакать и не предать Чарли. И когда Тимоти сказал: “Но ведь красота — это не главное. Она обаятельная?” — я подождал, пока смогу ответить твердым голосом, и сказал: “Нет”.

На второй нашей встрече он показал мне пять карточек, из которых я прежде не видел ни од-

ной. Из первых четверых в каждом меня что-то не устроило. Но потом я дошел до последней. Это был молодой человек, лишь на два года старше Чарли, с большими темными глазами и крупным носом; он глядел прямо в камеру. В нем было что-то несомненное — конечно, красота, но и какое-то упорство, как будто кто-то его пытается застыдить, а он не дается. На фотографии стояло два штампа: один — что он стерилен, другой — что он родственник врага.

Я поднял глаза на Тимоти; он смотрел на меня.

— А с ним что не так? — спросил я.

Он пожал плечами:

— Да ничего. — Потом, после паузы: — Он сам выбрал стерилизацию.

И я слегка вздрогнул, как всегда бывало, когда мне о ком-нибудь такое говорили. Это значило, что не болезнь и не лекарства лишили его возможности оставить потомство; это значило, что он выбрал стерилизацию, чтобы его не послали в центр перевоспитания. Выбирать приходится между телом и разумом, и он выбрал разум.

— Ну, я бы хотел организовать встречу, — сказал я, и Тимоти кивнул, но окликнул меня, когда я уже встал и направился к двери.

— Он хороший человек, — сказал он; это стран-

ное словосочетание в наши дни. Я узнавал про Тимоти перед нашей встречей, в прежней жизни он был соцработником. — Просто отнеситесь к нему без предубеждения, хорошо? — Я не понял, что он имеет в виду, но кивнул, хотя “без предубеждения” — тоже анахронизм, еще одно понятие давних времен.

Настал день встречи, и я опять нервничал, сильнее, чем обычно. Меня не покидала мысль, что хотя Чарли молода, шансов у нее практически не осталось. Если сейчас не получится, мне придется искать за пределами муниципалитета и даже префектуры. Мне придется надеяться, что Уэсли снова поможет мне, после того как он подыскал для Чарли работу, такую работу, которая ей нравится. Мне придется выцарапать ее с рабочего места, поселить где-нибудь еще, а потом — найти способ перебраться туда, и мне снова понадобится помощь Уэсли. Я, конечно, все это сделаю, но будет непросто.

Кандидат был уже на месте, когда мы пришли; он сидел в маленькой строгой комнате — такую все маклеры используют для подобных встреч; когда я вошел, он встал, мы поклонились друг другу. Я наблюдал за ним, пока он садился в свое кресло, а я в свое. Я думал, слова Тимоти означа-

ют, что он будет выглядеть совсем не так, как на фотографии, хуже, но нет: он выглядел точно так же — опрятный, симпатичный молодой человек, те же живые темные глаза, тот же открытый взгляд. Отец его был западноафриканского и южноевропейского происхождения, мать — южно- и восточноазиатского; он чуть-чуть напоминал моего сына, и мне пришлось отвести взгляд.

Из его карточки я уже знал основные сведения, но все равно задал стандартные вопросы: где он вырос, чему обучался, чем занимается сейчас. Я знал, что его родителей и сестру объявили врагами; я знал, что это стоило ему последних лет аспирантуры; я знал, что он пытается опротестовать это решение на основании недавнего Закона о прощении; я знал, что его профессор, известный микробиолог, поддерживает его в этом начинании; я знал, что, если он согласится на брак, он предпочел бы отложить его года на два, чтобы завершить аспирантуру. Все эти сведения он подтвердил — его рассказ ничем не отличался от того, что я уже знал.

Я спросил про родителей. Близких членов семьи у него не осталось. Большинство родственников врагов государства, когда их спрашивают про семейные связи, злятся или смущаются,

видно, что они стараются оттеснить какие-то чувства подальше, что обращаются к своему уже немалому опыту сдерживания эмоций.

Но он не разозлился и не смутился.

— Отец был физик, мать — политолог, — сказал он.

Он назвал университет, где они преподавали, до поглощения государством, — престижное заведение. Сестра, профессор, преподавала литературу. Все они присоединились к повстанцам, он — нет. Я спросил почему, и ему впервые, как мне показалось, стало не по себе, хотя я не знал, это из-за камеры, спрятанной в потолке, или из-за мыслей о родных.

— Я сказал: потому что хочу стать ученым, — ответил он, помолчав, — потому что мне казалось… мне казалось, я больше сделаю как ученый, смогу помочь таким способом. Но в конце концов… — И тут он остановился, и на этот раз я понял, что это из-за камеры с записывающим устройством.

— Но в конце концов оказалось, что вы ошибаетесь, — закончил я за него, и он посмотрел на меня, а потом бросил быстрый взгляд на дверь, как будто сейчас ворвется отряд военных, чтобы потащить нас на Церемонию. — Да ладно, — сказал я. — Мне столько лет, что я уже могу говорить

что думаю.

Хотя я понимал, что это не так. Он тоже понимал, но возражать не стал.

Мы продолжили разговор — о его прерванной диссертации, о работе, которую он надеялся получить на Пруду, если апелляция пройдет успешно. Мы поговорили о Чарли, о том, кто она вообще такая, в чем нуждается. Я говорил с ним — в тот момент не вполне понимая почему — откровенно, гораздо откровеннее, чем с Тимоти. Но его ничто не удивляло, он как будто уже познакомился с ней, уже знал ее.

— Вы должны всегда заботиться о ней, — повторял я снова и снова, а он кивал, и, глядя на него, я видел, что он соглашается на брак, что я все-таки кого-то для нее нашел. И в какой-то момент, вдруг, я понял еще одну вещь. Я понял, на что Тимоти пытался намекнуть; я понял, что узнаю в нем, — понял, почему он готов жениться на Чарли. И тогда все стало очевидным — я, оказывается, догадался об этом с первого взгляда на него.

Я перебил его, когда он что-то говорил.

— Я понимаю, кто вы, — сказал я. Он никак не откликнулся, и я сказал: — Я про вас понимаю. — И тут его рот чуть-чуть приоткрылся, повисло

молчание.

— Это так очевидно? — тихо спросил он.

— Нет, — сказал я. — Я понял только потому, что я такой же. — И тут он откинулся на спинку кресла, и я увидел, что в его взгляде что-то изменилось, что он смотрит на меня новыми глазами, иначе.

— Я могу попросить вас прекратить это? — спросил я, и он, этот решительный, непокорный, смелый, безрассудный мальчик, посмотрел на меня.

— Нет, — мягко сказал он. — Я обещаю, что всегда буду о ней заботиться. Но прекратить это я не могу.

Снова повисла пауза.

— Обещайте, что никогда не сделаете ничего, что могло бы ей навредить, — сказал я, и он кивнул.

— Обещаю, — сказал он. — Я умею вести себя осмотрительно.

Осмотрительно — какое депрессивное слово в устах такого молодого человека. Слово из времен более давних, чем времена моего деда, слово, которое не должно бы было вновь пробиться в наш словарь.

Отвращение, вызванное этой мыслью, видимо,

отразилось у меня на лице, потому что его лицо покрыла тень беспокойства.

— Сэр? — сказал он.

— Нет, ничего, — ответил я и спросил: — Куда вы ходите?

Он тихо переспросил:

— Хожу?

— Да, — сказал я — боюсь, по голосу было понятно, что я начинаю раздражаться. — Куда вы ходите?

— Не понимаю, — сказал он.

— Прекрасно вы все понимаете, — сказал я. — Джейн-стрит? Хорейшо? Перри? Бетюн? Барроу? Гансевоорт? В какой из них? — Он сглотнул. — Я ведь все равно узнаю, — напомнил я.

— Бетюн, — сказал он.

— Ага, — сказал я. Понятно: заведение на Бетюн-стрит обслуживало в основном людей более интеллектуального склада. Тамошний управляющий, Гарри, заполошный квин, один из самых высокопоставленных чиновников в Минздраве, на двух этажах расположил библиотеку — книжные шкафы выглядели так, как будто их вытащили из старинной светской комедии; спальни находились выше. Ходили слухи и о подземелье, но, честно говоря, я думаю, их распускал

сам Гарри, чтобы звучало еще увлекательнее. Я в последнее время хожу на Джейн-стрит, где все организовано более прозаично: ты приходишь, получаешь за чем пришел, уходишь. В любом случае я испытал облегчение: глянуть наверх и увидеть, что оттуда на тебя смотрит муж внучки, — так себе удовольствие.

— У вас кто-нибудь есть? — спросил я.

Он снова сглотнул.

— Да, — тихо ответил он.

— Вы его любите?

На этот раз сомнения в его голосе не было. Он посмотрел прямо на меня.

— Да, — сказал он, и голос его звучал твердо.

Мне стало ужасно грустно. Я собираюсь выдать свою бедную внучку за человека, который готов защищать ее, но который ее никогда не полюбит, по крайней мере такой любовью, о которой мы все мечтаем; бедный мальчик, который никогда не сможет жить так, как следовало бы. Ему всего двадцать четыре; когда тебе двадцать четыре, твое тело предназначено для удовольствия, и ты постоянно влюблен. Я внезапно представил лицо Натаниэля в ту пору, когда впервые его увидел — роскошная темная кожа, приоткрытый рот, — и отвернулся, потому что боялся заплакать.

— Сэр? — мягко сказал он. — Доктор Гриффит? — Таким голосом он будет разговаривать с Чарли, подумал я и заставил себя повернуться к нему с улыбкой.

В тот же день мы договорились об условиях. Приданое его не слишком интересовало, и, подписав документы о намерении, мы вместе спустились; его брачная карточка лежала у меня в портфеле.

На тротуаре мы снова поклонились друг другу.

— Я очень жду встречи с Чарли, — сказал он, и я ответил, что Чарли тоже наверняка будет очень рада с ним познакомиться.

Он пошел в другую сторону, но я окликнул его, он развернулся и снова приблизился. Я некоторое время не знал, как сформулировать то, что хочу сказать.

— Скажите мне, — начал я и замолчал. Потом я понял, что хочу спросить. — Вы — молодой человек. Красивый. Умный. — Я заговорил тише. — Вы влюблены. Почему вы на это пошли сейчас, в молодости? Не поймите меня неправильно — я рад, что вы это делаете, — торопливо добавил я, хотя выражение его лица никак не изменилось. — Я рад за Чарли. Но все равно — почему?

Он шагнул еще ближе. Он высокий, но я еще

выше, и на секунду у меня возникла идиотская мысль, что он сейчас меня поцелует, что я почувствую прикосновение его губ к своим, и я на мгновение закрыл глаза, как будто это могло чему-то поспособствовать.

— Мне тоже нужна безопасность, доктор Гриффит, — сказал он почти шепотом и отступил. — Мне нужно каким-то способом обезопасить себя. Иначе я не знаю, что сделаю.

Только вернувшись домой, я расплакался. Чарли, слава богу, еще не пришла с работы, в квартире больше никого не было. Я плакал о Чарли, о своей любви к ней, о надежде на то, что она поймет, как я старался обеспечить все самое лучшее для нее, как сделал за нее выбор — безопасность вместо счастья. Я плакал о ее как-бы-муже, о том, что ему приходится защищать себя, о том, какой неполноценной сделала его жизнь эта страна. Я плакал о мужчине, которого он любит и который никогда не сможет строить жизнь вместе с ним. Я плакал о тех мужчинах на карточках, которых я видел и отверг от лица Чарли. Я плакал о Натаниэле, о Дэвиде, даже об Иден, которые все давно исчезли, которых Чарли не помнила. Я плакал о своих дедушке и бабушке, о Норрисе и Обри, о Гавай'ях. Но прежде всего я

плакал о себе, о своем одиночестве, об этом мире, который я помог выстроить, и обо всех этих годах — обо всех мертвецах, обо всех потерянных, обо всех пропавших.

Я редко плачу, и я успел забыть, что за чувством физиологического неудобства в этом есть что-то ободряющее: каждая часть организма принимает участие в процессе, механика его различных систем приходит в движение, наполняя протоки жидкостями, легкие — воздухом, придавая блеск глазам, заставляя кожу набухать кровью. Я поймал себя на мысли, что на этом кончается моя жизнь, что, если Чарли согласится на союз с этим мальчиком, моя последняя обязанность будет выполнена — я защитил ее от катастрофы, я вырастил ее до взрослых лет, я нашел ей работу и спутника жизни. Я ничего больше не могу сделать, не могу даже надеяться сделать. Можно радоваться дальнейшей жизни, но необходимости в ней нет.

Еще несколько лет назад, Питер, я был уверен, что мы увидимся снова. Что пообедаем вместе — ты, я, Чарли, Оливье — и потом, может быть, они куда-нибудь пойдут, в музей или в театр (мы бы, разумеется, встретились в Лондоне, а не здесь), а мы с тобой проведем вторую половину

дня вдвоем за какими-нибудь привычными для тебя, но уже экзотическими для меня занятиями, за походом в книжный магазин, например, или в кафе, или в бутик, где я бы купил что-нибудь фантазийное для Чарли — ожерелье или, может, сандалии. А к вечеру мы бы пошли к тебе домой, в тот дом, который я никогда уже не увижу, где Оливье и Чарли готовили бы ужин, а мне бы пришлось объяснять ей про некоторые продукты, что это такое: это креветка; это морской еж; это инжир. На десерт был бы шоколадный пирог, и мы втроем смотрели бы, как она ест его впервые в жизни и на ее лице расплывается такое выражение, какого я не видал со времен ее болезни, а мы смеемся и хлопаем в ладоши, как будто она сделала что-то потрясающее. У нас будут отдельные комнаты, но она придет ко мне, потому что не сможет спать, так ее потрясет все, что она увидела, услышала, попробовала, понюхала, — и я обниму ее, как обнимал ее маленькую, и почувствую, как ее тело вздрагивает, словно от легких ударов тока. А на следующий день мы встанем и будем делать все то же самое снова и снова, и хотя многое в ее новой жизни рано или поздно станет привычным — а я-то привыкну за несколько дней, память возьмет свое, — она никогда не

утратит нового ощущения восторга, будет всегда смотреть вокруг, чуть приоткрыв рот, подняв взгляд к небесам. Мы улыбнемся этому — кто бы не улыбнулся. “Чарли! — окликнем ее мы, когда она впадет в очередной транс, чтобы разбудить ее, напомнить ей, где она, кто она. — Чарли! Это все твое”.

Обнимаю,
Ч.

Дорогой мой Питер,
5 июня 2088 г.

Ну вот оно и свершилось. Мой котенок замужем. Ты легко можешь себе представить, какой это был эмоционально непростой день. Глядя на них, я испытал очень яркий временной скачок из тех, что случаются со мной все чаще: я перенесся на Гавай’и; я держал за руки Натаниэля, мы смотрели на океан, перед которым Мэтью и Джон поставили свою бамбуковую хупу. Наверное, у меня был странный вид, потому что в какой-то момент мой внучатый зять оглянулся и спросил, все ли в порядке.

— Это просто старость, — сказал я, и он кивнул; для молодых любая неприятная деталь может быть списана на старость. На улице двигались

войска, где-то вдалеке что-то кричали повстанцы. Когда дети подписали бумаги, мы вместе отправились туда, где теперь будет их дом, и съели немного пирога с настоящим медом — я купил им его в качестве свадебного подарка. Никто из нас много месяцев не ел пирожных, и хотя я боялся, что разговор получится скованным, боялся я зря: все были так сосредоточены на еде, что говорить почти не пришлось.

Повстанцы заняли Площадь, и хотя квартира смотрит на север, мы все равно слышим их речовки, а потом — громкоговорители, которые перекрывают шум. Когда они, как обычно, напомнили про комендантский час в 23:00 и предупредили, что все не подчинившиеся приказу будут незамедлительно арестованы, это означало, что мне пора в свою новую квартиру — однокомнатную, в старом здании на пересечении 10-й и Юниверсити, всего в четырех кварталах от Чарли; я переехал на прошлой неделе. Она хотела, чтобы я остался с ними еще хотя бы на неделю, но я напомнил ей, что она взрослая замужняя женщина, а я приду повидаться с ней и ее мужем к ужину завтра же, как мы договорились.

— А, — сказала она, и на мгновение мне показалось, что она заплачет, храбрая моя Чарли,

которая никогда не плачет, и я чуть было не передумал.

Мне уже много лет не приходилось спать одному в пустой квартире. Лежа в кровати, я думал о Чарли, о ее первой супружеской ночи. Сейчас там только узкая кровать Чарли и диван в гостиной. Не знаю, что они сделают — раздобудут кровать побольше или он захочет спать отдельно; спросить я так и не решился. Вместо этого я попытался сосредоточиться на том, как они стоят в открытом дверном проеме своей квартиры и машут мне, пока я спускаюсь по лестнице. В какой-то момент я оглянулся и увидел, что он положил руку Чарли на плечо, очень осторожно, так осторожно, что она могла и не заметить. Я с ней поговорил, объяснил ей, чего ждать — точнее, чего не ждать. Но будет ли этого объяснения достаточно? Станет ли она надеяться, что муж полюбит ее и по-другому? Будет ли ждать прикосновения? Будет ли винить себя, когда этого не произойдет? Не ошибся ли я в своем решении? Я оградил ее от боли, но не отнял ли при этом радость жизни?

Но — приходится напоминать себе — по крайней мере, у нее кто-то будет. Не только в том смысле, что кто-то позаботится о ней, защитит от внешнего мира, объяснит то, что для нее необъ-

яснимо, но и в том смысле, что теперь она часть некоторой общности, как когда-то мы с ней, а еще раньше — как мы с Натаниэлем и Дэвидом. Нынешнее общество не предназначено для одиноких и ни к чему не привязанных — впрочем, и прежнее не было, как бы нам ни хотелось верить в иное.

Когда мне было столько лет, сколько Чарли сейчас, я презирал идею супружества и считал брак инструментом гнета; я не верил в отношения, осененные разрешением государства. Мне всегда казалось, что я не считаю отдельную, не спаренную жизнь хуже совместной.

А потом вдруг я понял, что она таки хуже. Это случилось во время третьего карантина в 50-м, и, оглядываясь назад, я осознаю, что то время оказалось, может быть, счастливейшим в моей жизни. Да, тревога, опасность; да, все были напуганы. Но тогда мы в последний раз были вместе — как семья. Снаружи бушевал вирус, строились изоляционные центры, люди умирали; внутри были Натаниэль, Дэвид и я. На протяжении сорока дней, которые потом превратились в восемьдесят, а потом в сто двадцать, мы вообще не выходили из квартиры. За эти месяцы Дэвид поутих, стал мягче, и мы смогли снова сблизиться. Ему было

одиннадцать; сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что он пытался сделать выбор, кем он станет: хочет ли он стать человеком, который в очередной раз попытается жить такой же жизнью, как его родители, такой жизнью, которой мы ему желали? Или решит стать кем-то другим, найдет иной образец для себя, для своей жизни? Кем он станет? Прошлогодним мальчиком, который пугал одноклассников шприцем, — или мальчиком, который потом станет использовать шприц иначе, так, как его следует использовать, в лаборатории или в больнице? Потом я думал: если бы он провел рядом с нами, вдалеке от всего мира, еще лишь несколько недель, если бы только мы сумели убедить его, что безопасностью надо дорожить, что именно мы делаем его жизнь безопасной. Но у нас не было этих недель, и мы не смогли его убедить.

В середине второй сорокадневки мне пришло письмо по электронной почте от давней моей однокашницы по имени Розмари; когда я вернулся на Гавай'и, она поехала на постдок в Калифорнию. Розмари была смешная, невероятно способная и, сколько я ее знал, ни в какие постоянные отношения не вступала. Мы стали переписываться — отчасти о профессиональных

делах, отчасти широкими мазками заполняя двадцатилетний пробел. Двое ее сотрудников заболели, написала она, родители и ближайший друг умерли. Я рассказал ей про свою жизнь, про Натаниэля и Дэвида, про наш карантин в маленькой квартирке. Я написал ей, что осознал: я уже почти восемьдесят дней никого больше не видел, и хотя сама мысль была поразительна, еще поразительнее оказался тот факт, что мне никого больше и не хотелось видеть. Только Дэвида и Натаниэля.

Она ответила на следующий день. Что, никого нет, по кому бы ты скучал, спросила она, нет такого, что ты просто не можешь дождаться, когда ограничения снимут, чтобы с кем-то наконец повидаться? Нет, ответил я, такого нет. И это была правда.

Она не ответила. Два года спустя общий знакомый сказал мне, что она умерла годом раньше во время одной из новых вспышек болезни.

С тех пор я часто думал о ней. Я осознал, что она была одинока. И хотя я вряд ли был единственным человеком, к которому она обратилась в поисках кого-то столь же одинокого — мы общались так редко, что, должно быть, она до меня еще человек десять опросила, — я пожалел, что

не соврал, что не сказал ей: да, я очень скучаю по друзьям, да, семья — это недостаточно. Мне хотелось, чтобы это я ее разыскал прежде, чем она меня. Мне хотелось, чтобы после ее смерти я не испытывал тайной благодарности за иную конфигурацию собственной жизни, за то, что у меня есть муж и сын, что я никогда не буду так одинок. Слава богу, думал я, слава богу, что это не я. Трогательная фантазия, которой мы развлекались в молодости, что наши друзья — это наша семья, такая же, как мужья и жены и дети, в ходе первой пандемии оказалась фикцией: люди, которых ты больше всего любишь, — это, собственно, те люди, с которыми ты решил вместе жить; друзья — это прихоть и роскошь, и если отказ от них означает, что ты надежнее защитишь свою семью, ты отказываешься от них моментально. В конечном счете приходилось делать выбор — и ты никогда не выбирал друзей, если у тебя был партнер или ребенок. Ты двигался дальше и забывал их, и жизнь не становилась от этого скуднее. Чарли росла, и, стыдно признаться, я все чаще думал о Розмари. Я избавлю ее от такой судьбы, говорил я себе, — я добьюсь, что ее не станут жалеть так, как я в результате жалел Розмари.

И вот добился. Я понимаю, что присутствие дру-

гого человека не может полностью искоренить одиночество, но знаю и то, что твой спутник — это щит и без него одиночество прокрадывается тайком, как привидение, просачиваясь сквозь оконные рамы тебе в глотку, заполняет скорбью, которой не в силах сопротивляться никто. Я не могу обещать, что моя внучка не станет испытывать одиночества, но я сделал так, что она не будет одна. Я добился, чтобы у ее жизни был свидетель.

Вчера, когда мы отправлялись в администрацию, я заглянул в ее свидетельство о рождении, которое нужно было принести для подтверждения личности. Это было новое свидетельство, выданное мне в 66-м министром внутренних дел, тем, кто уничтожил данные о ее отце; оно ее некоторое время защищало, потом перестало.

С зачисткой происхождения Чарли то же самое произошло и с ее именем — Чарли Кеонаонамайле Бингем-Гриффит, красивое имя, полное любви, было сокращено государством до “Чарли Гриффит”. В этом проявлялось урезание ее сущности, потому что в нашем мире, в мире, который я помогал создавать, избыток красоты не приветствовался. Оставшаяся красота была проходной, случайной, то, что отменить не представлялось

возможным: цвет неба перед дождем, первые зеленые листья акации на Пятой авеню, прежде чем их оборвут.

Это была фамилия матери Натаниэля — Кеонаонамайле, душистая аликсия, майле по-гавайски. Я когда-то тебе дарил такой цветок — его листья пахнут перцем и лимоном. На свадьбе у нас на шее были леи из майле; накануне, сквозь влажный воздух, мы пошли в горы вместе с Дэвидом и срезали целую гирлянду, росшую между двумя акациями коа. Такие леи надевают на свадьбу — а еще на выпускной вечер, на юбилей; эти растения использовались для особых случаев в те времена, когда их было так много, что некоторые считались особенно ценными, а некоторые нет, цветы можно было просто сорвать с дерева, а на следующий день выбросить.

В тот день мы шли вниз по склону холма, башмаки чавкали в грязи, и Дэвид держал нас обоих за руку. Натаниэль срезал столько майле, что каждый мог обвернуть цветы вокруг шеи, как шарф, но Дэвид хотел надеть венок себе на голову, как корону. Натаниэль пришел на помощь — связал стебель кольцом и водрузил ему на макушку.

— Я царь! — сказал Дэвид, и мы все стали смеяться.

— Да, Дэвид, — сказали мы, — ты царь, Царь Давид.

— Царь Давид, — сказал он. — Теперь меня зовут Царь Давид. — И тут он посерьезнел. — Не забудьте! — сказал он. — Вы должны теперь меня так звать. Обещаете?

— Хорошо, — сказали мы, — не забудем. Будем так звать.

Мы пообещали.

И не выполнили своего обещания.

Чарльз

Глава 9

2094 год, осень

В течение следующих недель мы с Дэвидом обсуждали наш план. Точнее, это был его план, которым он делился со мной. Двенадцатого октября мне предстоит покинуть Восьмую зону. Дэвид отказывался говорить, как именно это произойдет, — я должна узнать об этом в самый последний момент. До тех пор мне следует вести себя как обычно: придерживаться стандартного распорядка, ездить на работу, ходить в магазин, время от времени выходить на прогулку. Мы будем по-прежнему встречаться каждую субботу у рассказчика, а если Дэвиду нужно будет что-то сообщить мне между этими встречами, он найдет способ послать записку. Но если я не получу от него известий, беспокоиться не следует. Собрать в дорогу нужно только то, что поместится в небольшую сумку. Мне не надо брать ни одежду, ни еду, ни даже документы: когда я окажусь в Новой Британии, мне выдадут новые.

— У меня много чеков, которые я накопила за эти годы, — сказала я Дэвиду. — Их можно обме-

нять на талоны на дополнительную воду или даже на сахар и взять их с собой.

— Они тебе не понадобятся, Чарли, — сказал Дэвид. — Бери только то, что для тебя имеет особое значение.

В конце той встречи, которая состоялась после разговора на скамейке — тогда я уже начала верить Дэвиду, — я спросила, что будет с моим мужем.

— Конечно, твой муж может поехать с нами, — сказал он. — Мы подготовились к тому, чтобы взять и его. Но, Чарли, он может и не захотеть.

— Почему? — спросила я, но Дэвид не ответил. — Он любит читать.

Во время той прогулки по дорожке я задала Дэвиду множество вопросов о Новой Британии, но он сказал, что мы обсудим все это, когда будем в дороге, а то сейчас сообщать мне многое может быть слишком опасно. Но одну вещь он все-таки рассказал: в Новой Британии можно читать что угодно и сколько угодно. Я вспомнила о муже, о том, как он нарочно заставлял себя читать медленно, потому что разрешалось брать только одну книгу раз в две недели, и ему приходилось растягивать удовольствие. Я вспомнила, как он неподвижно сидел за столом, подперев рукой

правую щеку и едва заметно улыбаясь, даже если это была книга про уход за съедобными водными растениями тропиков.

— Любит, — медленно отозвался Дэвид, — но, Чарли, ты уверена, что он захочет уехать?

— Да, — сказала я, хотя совсем не была в этом уверена. — Там он сможет прочесть любую книгу, какую захочет. Даже запрещенную.

— Это правда, — сказал Дэвид. — Но, в конце концов, у него могут быть и другие причины, чтобы остаться здесь.

Я задумалась, но в голову так ничего и не приходило. У него не было никаких родственников, кроме меня. У него не могло быть других причин оставаться. И тем не менее, как и Дэвид, я тоже почему-то не была уверена, что он захочет уехать.

— Что ты имеешь в виду? — спросила я, но Дэвид не ответил.

Во время нашей следующей встречи, прежде чем рассказчик начал свое выступление, Дэвид спросил, не нужна ли мне помощь, чтобы поговорить с мужем.

— Нет, — сказала я. — Я справлюсь сама.

— Твой муж умеет быть осторожным, — сказал Дэвид, и я не стала спрашивать, откуда он это знает. — Так что я не сомневаюсь, что он поступит

благоразумно.

Казалось, он хотел сказать что-то еще, но промолчал.

После представления рассказчика мы пошли гулять. Я думала, наши разговоры будут сложными и мне предстоит запомнить много разной информации, но все оказалось не так. В основном их смысл, по-видимому, состоял в том, чтобы Дэвид мог убедиться, что я сохраняю спокойствие, ничего не делаю и доверяю ему, хотя он никогда не спрашивал об этом напрямую.

— Знаешь, Чарли, — внезапно сказал он, — гомосексуальность в Новой Британии полностью легальна.

— А, — отозвалась я. Я не знала, что еще сказать.

— Да, — сказал он. И снова как будто хотел добавить что-то еще, но промолчал.

Вечером того дня я думала о том, как много Дэвид уже знает обо мне. В некоторой степени это тревожило и даже пугало. С другой стороны — успокаивало и обнадеживало. Он знал меня так, как когда-то знал меня дедушка, и это знание, конечно, исходило от самого дедушки. Дэвид не был с ним знаком, но его начальник был, и поэтому мне иногда казалось, что дедушка жив и

все еще со мной.

И все же я не хотела, чтобы Дэвид знал о некоторых вещах. Я уже поняла: он догадывается, что мой муж не любит меня и никогда не полюбит — во всяком случае, не так, как муж должен любить жену, и не так, как я надеялась. Мне было стыдно, потому что, хотя любить кого-то не стыдно — стыдно, когда совсем не любят тебя.

Я знала, что должна спросить мужа, не хочет ли он поехать со мной. Но дни шли, а я не спрашивала.

— Ты поговорила с ним? — спросил Дэвид во время нашей следующей встречи, и я покачала головой. — Чарли, — сказал он не сердитым, но и не мягким тоном, — мне нужно знать, собирается ли он поехать с нами. Это важно. Ты хочешь, чтобы я тебе помог?

— Нет, спасибо, — сказала я. Пусть муж и не любил меня, но он оставался моим мужем, и поговорить с ним было *моей* обязанностью.

— Тогда обещай мне, что спросишь его сегодня вечером. У нас осталось всего четыре недели.

— Да, — сказала я, — я понимаю.

Но я так и не спросила. Вечером, лежа в своей кровати, я сжимала в кулаке дедушкино кольцо, которое хранила под подушкой, потому что зна-

ла, что там оно будет в безопасности. В другой кровати спал муж. Он снова вернулся уставшим, дышал с усилием и по дороге на кухню споткнулся, но успел ухватиться за стол и только поэтому не уронил тарелки. “Ничего страшного, — сказал он мне. — Просто тяжелый день”. Я сказала, чтобы он шел спать, а посуду я помою сама, и он начал было спорить, но потом послушался.

Мне нужно было только позвать его по имени, и тогда он проснется и я задам ему вопрос. Но что, если я спрошу, а он ответит “нет”? Что, если он скажет, что хочет остаться здесь? “Он всегда будет заботиться о тебе”, — сказал дедушка. Но если я уеду, это *всегда* закончится, и тогда я останусь одна, совсем одна, и никто, кроме Дэвида, не защитит меня, и никто не вспомнит меня, не вспомнит, кто я, кем я была раньше, где я раньше жила. Благоразумнее было ни о чем не спрашивать — и пока я не спрашивала, я была одновременно и здесь, в Восьмой зоне, и не здесь, и по мере того, как приближалось двенадцатое октября, эта неопределенность казалась лучшим вариантом. Все было как в детстве, когда я только и должна была что следовать указаниям, когда мне не приходилось думать о том, что может случиться дальше, потому что я знала, что дедушка

уже обо всем подумал за меня.

На протяжении нескольких недель я хранила в тайне две вещи. Первой было знание о грядущей эпидемии. Второй — знание о моем отъезде. Но если второй секрет был известен еще только одному человеку, то очень многие — все мои коллеги в лаборатории, сотрудники УР, государственные служащие, генералы и полковники, невидимые люди в Пекине и в Первом муниципалитете, чьих лиц я даже не могла себе представить, — знали первый.

И теперь его узнавало все больше людей. Не было ни официальных объявлений в новостных бюллетенях разных зон, ни общего объявления по радио, но все понимали, что что-то происходит. Как-то в конце сентября я вышла на улицу и обнаружила, что Площадь совершенно пустая. Исчезли торговцы, палатки, даже постоянно горевший костер. И не просто пустая, но еще и чистая: ни древесной стружки, ни кусочков металла, ни обрывков ниток, которые ветер поднимал в воздух. Все исчезло, хотя ночью я не слышала никакого шума — ни бульдозеров, ни моечных, ни подметальных машин. Пункты охлаждения тоже пропали, а с каждой из четырех сторон на входе снова поставили давным-давно

снятые ворота и заперли их.

Настроение в шаттле тем утром было очень напряженное: не столько тишина, сколько полное отсутствие звука. Стандартного комплекса мер для подготовки к эпидемии не существовало, потому что с 70 года государство сильно изменилось, но казалось, что все и так знают, что происходит, и никто не хочет, чтобы их подозрения подтвердили.

На работе под одной из мышиных клеток меня ждала записка, первая с тех пор, как мы с Дэвидом начали встречаться у рассказчика. “Теплица на крыше, 13:00”, — гласила она, и в 13:00 я поднялась на крышу. Там не было никого, кроме садовника в зеленом хлопковом костюме, поливавшего растения, и не успела я подумать, как же мне искать следующую записку Дэвида в теплице, если садовник не уйдет, как он обернулся, и я увидела, что это Дэвид.

Он быстро поднес палец к губам, жестом призывая меня к молчанию, но я уже опустилась на пол и расплакалась.

— Кто ты? — повторяла я. — Кто ты?

— Чарли, тише, — сказал он, сел на пол рядом со мной и положил руку мне на плечо. — Все хорошо, Чарли. Все хорошо. — Он обнимал меня

и укачивал, и в конце концов я затихла. — Я отключил камеры и микрофоны, и у нас есть время до 13:30, прежде чем вернутся Мухи. Ты видела, что произошло сегодня, — продолжил он, и я кивнула. — Инфекция уже распространилась по всей Четвертой префектуре и скоро придет сюда. Чем серьезнее все станет, тем труднее нам будет выбраться. Поэтому день отъезда переносится на второе октября. Через день после этого правительство сделает официальное заявление, и в тот же вечер начнется тестирование и эвакуация в центры перемещения. Еще через день введут комендантский час. Мы, конечно, затянули до последнего, но надо было очень много всего согласовывать заново, и лучше не получалось. Ты понимаешь, Чарли? Ты должна быть готова второго октября.

— Но это уже в субботу! — сказала я.

— Да — прости меня за это, — сказал он. — Я неправильно все рассчитал — мне сказали, что правительство сделает заявление не раньше двадцатого октября. Но я ошибся. — Он вздохнул. — Чарли, ты поговорила с мужем?

Когда я ничего не ответила, он развернул меня за плечи к себе лицом.

— Послушай меня, Чарли, — сказал он суро-

во. — Ты *должна с* ним поговорить. Сегодня вечером. В противном случае я делаю вывод, что ты едешь без него.

— Я не могу уехать без него, — сказала я и снова заплакала. — И не поеду.

— Тогда ты должна с ним поговорить, — сказал Дэвид и посмотрел на часы. — Нам пора уходить. Ты идешь первой.

— А ты? — спросила я.

— Обо мне не беспокойся, — сказал он.

— Как ты сюда попал? — спросила я.

— Чарли, — сказал он с нетерпением, — я все расскажу позже. А теперь иди. И поговори с мужем. Обещай мне.

— Обещаю, — сказала я.

Но я так и не поговорила. На следующий день меня ждала еще одна записка: “Ну что?” Но я скомкала ее и сожгла на бунзеновской горелке.

Это было во вторник. В среду я тоже ничего ему не сказала. Потом наступил четверг, свободный вечер моего мужа. До отъезда оставалось три дня.

Тем вечером муж не вернулся домой.

Вообще-то если бы меня спросили, я не смогла бы ответить, почему решила довериться Дэвиду. Правда в том, что на самом деле я не доверяла

ему — или, по крайней мере, доверяла не до конца. Этот Дэвид отличался от того, которого я знала раньше: он был более серьезным, не таким непредсказуемым, и в нем было что-то пугающее. Но и в том, другом Дэвиде тоже было что-то пугающее — такой он был безрассудный, такой необычный. В некотором смысле мне было легче принять этого нового Дэвида, хоть я и чувствовала, что с каждым днем знаю о нем все меньше. Иногда я сжимала в руках дедушкино кольцо, думала обо всем, что Дэвид знал обо мне, и говорила себе, что Дэвиду можно верить, что он защитит меня, что его послал человек, которому доверял дедушка. Но бывали дни, когда я с фонариком рассматривала кольцо под одеялом, пока муж спал, и гадала, действительно ли оно дедушкино. Разве его кольцо не было больше размером? Разве на золоте была такая вмятина справа? Подлинное оно или все-таки копия? Вдруг дедушка вовсе не отправлял его этому своему другу? Вдруг кольцо у него украли? Но потом я приходила к выводу, что если это обман, то он того не стоит — я не стою того, чтобы меня похищали. За меня не заплатят выкупа, никто не будет по мне скучать. Дэвиду незачем увозить меня.

Но в то же время спасать меня ему тоже неза-

чем. Если я не стою того, чтобы меня похитили, то и спасать меня не стоит.

Так что я не могу сказать, почему я решилась ехать и действительно ли я на это решилась. Все казалось слишком далеким, слишком неправдоподобным, придуманным. Я знала только, что поеду куда-то, где будет лучше, и что дедушка хотел бы, чтобы я туда поехала. Но я ничего не знала о Новой Британии, кроме того, что есть такая страна, что когда-то там была королева, а потом король, что там тоже говорят по-английски и что правительство разорвало с ними отношения еще в конце 70-х. Наверное, это чем-то напоминало игрувроде тех, в которые мы играли с дедушкой, изображая, что ведем разговор, — получалось, что это тоже воображаемый разговор и мой отъезд воображаемый. Во время нашей последней встречи с Дэвидом я снова начала возражать ему: я сказала, что не хочу оставлять накопленные чеки дома, потому что они могут понадобиться мне позже, когда я вернусь, но Дэвид прервал меня.

— Чарли, ты никогда не вернешься, — сказал он. — Ты уедешь отсюда навсегда. Ты меня понимаешь?

— А если я захочу? — спросила я.

— Я сомневаюсь, — медленно сказал он. — Но

ты в любом случае не сможешь. Если ты попытаешься, тебя схватят и убьют на Церемонии, Чарли.

Я ответила, что понимаю, и действительно так думала — но может быть, на самом деле я не понимала. В одну из суббот я спросила Дэвида, что будет с мизинчиками, и он сказал, что я не должна думать о мизинчиках и что с ними все будет в порядке — о них позаботится другой лаборант. И я расстроилась: иногда мне нравилось воображать, что только я умею работать с мизинчиками, хоть я и знала, что это не так. Мне нравилось воображать, что я подготавливаю их лучше всех, тщательнее всех, аккуратнее всех, что со мной никто не сравнится. “Это правда, Чарли, это правда”, — сказал Дэвид, и через некоторое время я успокоилась.

В четверг, ожидая возвращения мужа, я опять думала о мизинчиках. Они были очень важной частью моей жизни, и я решила, что завтра — это, как напомнил мне Дэвид, будет мой самый последний день в Университете Рокфеллера — украду с работы чашку Петри с несколькими экземплярами. Всего одну чашку, всего несколько мизинчиков в совсем небольшом количестве физраствора. Дэвид сказал, что я должна взять с

собой только то, что имеет значение лично для меня, а мизинчики имели для меня значение.

В сумке у меня было много места. Я положила туда только половину золотых монет, которые мы хранили под моей кроватью, четыре смены нижнего белья, дедушкино кольцо и три его фотографии. Дэвид велел не брать с собой ни одежду, ни еду, ни даже воду — все это мне дадут. Когда я собирала вещи, мне вдруг пришло в голову взять записки, адресованные мужу, но потом я передумала — точно так же, как передумала брать все монеты. Я сказала себе, что, когда муж решит поехать со мной, он возьмет вторую половину. В итоге сумка оказалась такой маленькой и легкой, что я могла свернуть ее в рулон и засунуть в карман охлаждающего костюма, который висит в шкафу.

Я понимала, что вечером мне нужно будет поговорить с мужем, и поэтому не стала переодеваться в ночную одежду и просто легла на кровать, думая, что если мне будет не очень удобно лежать, то я не засну. Но все равно заснула, и когда проснулась, почувствовала, что уже очень поздно, а когда посмотрела на часы, было 23:20.

Мне вдруг стало страшно. Где он? Он никогда, ни разу в жизни не задерживался так долго.

Я не знала, что делать. Я ходила кругами по гостиной, всплескивала руками и снова и снова задавала себе вслух один и тот же вопрос: где он? Потом я поняла, что знаю, где он. В доме на Бетюн-стрит.

Чтобы у меня не было времени снова испугаться, я быстро положила в карман документы на случай, если меня остановят. Достала из-под подушки фонарик. Обулась. А потом вышла из квартиры и спустилась вниз.

На улице было очень тихо и очень темно, потому что костер на Площади больше не горел. Только луч прожектора медленно описывал круги и время от времени на мгновение освещал стену здания, дерево, припаркованный фургон, а потом все опять погружалось в темноту.

Я никогда раньше не выходила на улицу так поздно, и хотя находиться вне дома в такое время не запрещалось, это было необычно. Просто надо сделать вид, что знаешь, куда идешь, а я действительно знала, куда иду. Я зашагала на запад, через Малую восьмерку, поглядывая на окна и гадая, в какой из этих квартир живет Дэвид, пересекла Седьмую авеню, потом Гудзон-стрит. По дороге мне встретился отряд солдат, которые обернулись посмотреть на меня, но увидели, что это

всего-навсего некрасивая темнокожая азиатка маленького роста, и продолжили путь, даже не остановив меня. На Гринвич-стрит я повернула направо, зашагала на север и вскоре уже поворачивала налево на Бетюн и приближалась к дому номер 27.

Перед лестницей я остановилась, потому что меня охватил страх, и некоторое время раскачивалась из стороны в сторону, и сама слышала, что всхлипываю. Но потом поднялась, споткнувшись на второй ступеньке, где один камень отсутствовал, и отстучала по двери ритм, который выучила еще несколько месяцев назад: *тук, тук, тук-тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук-тук.*

Сначала все было тихо. А потом я услышала, как кто-то спускается по лестнице, маленькое окошко открылось, и я увидела верхнюю половину красноватого лица и голубые глаза какого-то мужчины. Незнакомец смотрел на меня, я на него. Последовало короткое молчание. Потом он сказал:

— Никогда еще не было таких зачатий, как теперь, ни такой юности, ни такой старости, как теперь, — и, когда я промолчала, повторил то же самое еще раз.

— Я не знаю, какой должен быть ответ, — ска-

зала я и, прежде чем он успел закрыть окошко, добавила: — Подождите, подождите. Я Чарли Гриффит. Мой муж не вернулся домой, и я думаю, что он здесь. Его зовут Эдвард Бишоп.

При этих словах глаза мужчины расширились.

— Вы жена Эдварда? — спросил он. — Как, говорите, вас зовут?

— Чарли, — сказала я. — Чарли Гриффит.

Окошко захлопнулось, дверь приоткрылась на несколько дюймов, и незнакомец по ту сторону, высокий белый мужчина средних лет с тонкими светлыми волосами, жестом поманил меня внутрь и запер за мной дверь.

— Наверх, — сказал он, и, идя за ним, я посмотрела налево и увидела приоткрытую на несколько дюймов дверь, за которой горела лампа.

Лестница была застелена темным ковром с красно-синим узором из крученых фигур и линий и скрипела под ногами. На площадке второго этажа была еще одна дверь, и я поняла, что дом был переделан в многоквартирный, по одной квартире на этаж, но по-прежнему оставался единым целым, как и задумывалось изначально: стена лестничной клетки была расписана розами, и эта роспись выходила за пределы второго этажа и тянулась до самого верха. На перилах

сушились вещи — носки, рубашки и мужское нижнее белье.

Незнакомец постучал в дверь и одновременно повернул ручку, и я прошла за ним внутрь.

Сначала мне показалось, что я каким-то образом попала в дедушкин кабинет — или, по крайней мере, в ту его версию, которую я помнила до болезни. Вдоль каждой стены выстроились книжные шкафы, и в них были, наверное, тысячи книг. Я увидела мягкие кресла и ковер на полу, похожий на тот, который лежал на лестнице, только больше размером, и узор на нем был еще более сложный. В углу стоял мольберт, а на нем портрет — недорисованное мужское лицо. Большие окна закрывали темно-серые шторы; на журнальном столике, кроме стопки книг, были еще радиоприемник и шахматная доска. А в противоположном углу, напротив мольберта, стоял телевизор — телевизоров я не видела с детства.

Прямо передо мной был диван, не такой, как у нас дома, а мягкий и удобный на вид, и на этом диване лежал мужчина, и этот мужчина был мой муж.

Я подбежала к нему и опустилась на колени у изголовья. Его руки были скрещены на груди, на лице выступили капли пота, веки были закрыты,

а рот приоткрыт, потому что он задыхался.

— Мангуст, — прошептала я и взяла в свои ладони его руку. Она оказалась влажной и холодной. — Это я. Кобра.

Он издал слабый стон, но ничего не сказал.

Тут я услышала, как кто-то произнес мое имя, и подняла глаза. Это был мужчина, которого я раньше не замечала, зеленоглазый блондин примерно моего возраста; он тоже стоял на коленях рядом с моим мужем и, как я только сейчас увидела, одной рукой придерживал его голову, а другой гладил его по волосам.

— Чарли, — повторил мужчина, и я с изумлением заметила, что в глазах у него слезы. — Я рад наконец-то с тобой познакомиться, Чарли.

— Вы должны забрать его отсюда, — сказал кто-то еще, и я обернулась: это был тот самый человек, который впустил меня.

— Господи, Гарри, — сказал другой голос, и, подняв голову, я увидела в комнате еще троих мужчин, все они стояли в нескольких футах от дивана и смотрели на моего мужа. — Не будь бесчувственной скотиной.

— Нечего читать мне нотации, — сказал человек, открывший мне дверь. — Это мой дом. Мы все рискуем, пока он здесь. Его надо отсюда забрать.

Первый начал протестовать, но тот, кто гладил моего мужа по волосам, остановил их.

— Хватит, — сказал он. — Гарри прав, это слишком рискованно.

— Но куда вы пойдете? — спросил один из мужчин, и блондин оглянулся на меня.

— Домой, — сказал он. — Чарли, ты мне поможешь? — И я кивнула.

Гарри вышел из комнаты, и двое остальных помогли блондину поднять моего мужа на ноги, хотя муж при этом застонал.

— Тише, Эдвард, — сказал блондин, обнимая его за талию. — Тише, милый. Все будет хорошо.

Вместе они начали помогать моему мужу медленно спуститься по лестнице; с каждым шагом он стонал и задыхался, а блондин успокаивал его и гладил по щеке. Дверь в квартиру на первом этаже у подножия лестницы теперь была распахнута, и блондин сказал, что ему нужно забрать свою сумку и сумку моего мужа.

Я поняла, что машинально пошла за ним следом, только когда оказалась в комнате и все находившиеся в ней мужчины уставились на меня. Их было шестеро, но я не могла сосредоточиться на их лицах и видела только саму комнату, которая была обставлена так же, как и

комната наверху, только богаче: более вычурная мебель, более роскошная обивка. Потом я заметила, что все здесь потертое, обтрепавшееся: край ковра, швы на диване, корешки книг. Телевизор здесь тоже был, но и его черный экран не светился. Межкомнатные стены точно так же были снесены, и то, что могло бы быть двухкомнатной квартирой, превратилось в единое пространство.

Тут я поняла, что мужчины уже стоят в дверях и один из них держит блондина за плечо.

— Фриц, я знаю кое-кого, кто может помочь, — сказал он. — Давай я поговорю с ним.

Но блондин покачал головой.

— Я не могу так поступить с тобой, — сказал он. — Тебя точно повесят или забьют камнями и твоего друга тоже.

И тот человек, как бы признавая его правоту, кивнул и отступил.

Глядя на них, я вдруг почувствовала, что кто-то наблюдает за мной, обернулась и увидела слева от себя одного из кандидатов, того, который всегда закатывал глаза, стоило племяннику замминистра внутренних дел заговорить.

Он подошел ко мне.

— Чарли, да? — тихо спросил он, и я кивнула. Он бросил взгляд в сторону холла, где двое муж-

чин по-прежнему поддерживали моего мужа, а их окружали другие мужчины. — Эдвард — ваш муж? — спросил он.

Я кивнула. Я не могла говорить, мне было трудно даже кивать, трудно даже дышать.

— Что с ним? — спросила я.

Он покачал головой.

— Я не знаю, — сказал он, и вид у него был встревоженный. — Не знаю. Мне кажется, что это сердечная недостаточность. Но я знаю, что это не… это не та болезнь.

— Откуда вы знаете? — спросила я.

— Мы видели некоторых заболевших, — сказал он. — И это не оно, я уверен. Если бы это был вирус, у него бы шла кровь из носа и изо рта. Но, Чарли, ни за что не отвозите его в больницу.

— Почему? — спросила я.

— Потому что. Они решат, что это та болезнь, — они знают не так много, как мы, — и его отправят прямиком в изоляционный центр.

— Изоляционных центров больше нет, — напомнила я ему.

Но он снова покачал головой.

— Есть, — сказал он. — Они просто называются по-другому. Но именно туда отправляют первых пациентов, чтобы… чтобы изучить их. — Он

оглянулся на моего мужа, потом снова перевел глаза на меня. — Отведите его домой, — сказал он. — Пусть он умрет дома.

— Умрет? — спросила я. — Он умирает?

Но тут блондин снова подошел ко мне, и на плече у него висели две сумки — его собственная и моего мужа.

— Чарли, нам нужно идти, — сказал он, и я все так же машинально, сама не отдавая себе отчета, последовала за ним.

Некоторые мужчины поцеловали в щеку блондина, другие — моего мужа.

— Прощай, Эдвард, — сказал один из них, а за ним подхватили все остальные:

— Прощай, Эдвард. Прощай.

— Мы любим тебя, Эдвард.

— Прощай, Эдвард.

А потом дверь открылась, и мы втроем вышли в ночь.

Мы двинулись на восток. Блондин шел справа от моего мужа, я — слева. Руки мужа лежали у нас на плечах, и мы поддерживали его за талию. Идти он почти не мог, и его ноги все время волочились по земле. Он не был тяжелый, но из-за того, что мы оба были ниже его ростом, вести его было трудно.

На Гудзон-стрит блондин огляделся.

— Мы срежем через Кристофер, пройдем мимо Малой восьмерки, потом свернем на восток по Девятой улице и на юг по Пятой, — сказал он. — Если нас остановят, скажем, что он твой муж, а я его друг, и он… напился, хорошо?

Появляться пьяным в общественных местах было незаконно, но я понимала: в этих обстоятельствах лучше сказать, что мой муж пьян, чем что он болен.

— Хорошо, — сказала я.

Мы шли на восток по Кристофер-стрит молча. Улицы были такие пустые и темные, что я с трудом понимала, куда мы идем, но блондин шагал быстро и уверенно, и я старалась его не задерживать. В конце концов мы добрались до Уэйверли-плейс, которая примыкала к Малой восьмерке с запада и была хорошо освещена прожекторами, и прижались к самой стене ближайшего дома, чтобы нас не заметили.

Блондин посмотрел на меня.

— Еще немного, — сказал он мне и ласково обратился к моему мужу, который закашлялся и застонал: — Я знаю, Эдвард. Осталось чуть-чуть, честное слово, совсем чуть-чуть.

Мы шли так быстро, как только могли. Слева

виднелись высотные дома Малой восьмерки, окна которых теперь были почти черными. Я гадала, который час. Впереди показалось большое здание, построенное несколько веков назад и сначала служившее тюрьмой. Потом оно превратилось в библиотеку. Потом снова в тюрьму. Теперь это был многоквартирный дом. За ним зацементировали игровую площадку, но дети туда обычно не ходили — там было слишком жарко.

Как раз в тот момент, когда мы приблизились к этому зданию, нас остановили.

— Стоять, — услышали мы и резко остановились, чуть не уронив моего мужа. Патрульный, одетый во все черное, что означало, что он муниципальный офицер, а не солдат, выступил вперед с пистолетом на уровне наших глаз. — Куда вы идете так поздно?

— Офицер, у меня есть документы, — начал блондин, потянувшись за сумкой, но патрульный рявкнул:

— Я не спрашивал ваши документы. Я спросил, куда вы идете.

— Возвращаемся к ней домой, — сказал блондин. Я видела, что он боится, но старается этого не показывать. — Ее муж… ее муж немного перебрал с выпивкой, и…

— Где? — спросил полицейский, и мне послышалось в его голосе радостное нетерпение. Они получали вознаграждение, когда арестовывали людей за нарушение общественного порядка.

Но ответить мы не успели: кто-то у нас за спиной воскликнул: “Вот вы где!” — как будто обращался к другу, который собрался на концерт или прогулку и опоздал на встречу, и мы с блондином и полицейским обернулись и увидели Дэвида. Он приближался к нам с западной стороны, улыбаясь и качая головой; на нем был не серый комбинезон, а синяя хлопковая рубашка и брюки, похожие на те, что были на блондине, и шагал он быстро, но не торопясь. В одной руке он нес термос, в другой — небольшую кожаную папку.

— Я же *просил* подождать меня, я вас по всему комплексу ищу, — не переставая улыбаться, сказал он блондину, который сначала открыл рот от удивления, но тут же закрыл его и кивнул. — Извините, офицер. Это мой бестолковый старший брат, его жена и наш друг, — он кивнул в сторону блондина, — и я боюсь, что мой брат сегодня повеселился от души. Я пошел принести ему воды из нашей квартиры, а когда вернулся, эта троица, — он ласково улыбнулся нам, — решила

уйти без меня. — На этот раз он адресовал улыбку человеку в черном, слегка покачал головой и закатил глаза. — Вот, у меня есть все наши документы. — И он передал папку полицейскому.

Пока Дэвид говорил, полицейский переводил взгляд на каждого из нас по очереди, так и не опустив пистолет, но папку взял и расстегнул ее. Когда он вытаскивал карточки, я увидела серебристый отблеск.

Он ознакомился с документами и, прочитав последний, внезапно выпрямился и отдал честь.

— Прошу прощения, — сказал он Дэвиду. — Я не знал, сэр.

— Не за что просить прощения, офицер, — сказал Дэвид. — Вы делаете свою работу, как и положено.

— Спасибо, сэр, — сказал полицейский. — Помочь вам довести его до дома?

— Это очень великодушно с вашей стороны, офицер, но не стоит, — сказал Дэвид. — Вы нужны здесь.

Полицейский снова отдал честь, и Дэвид отсалютовал в ответ. Потом он занял мое место и подхватил моего мужа под левую руку.

— Ну ты и балбес, — сказал он моему мужу. — Давай-ка отведем тебя домой.

Никто из нас не произнес ни слова, пока мы не пересекли Шестую авеню.

— Кто… — начал было блондин и оборвал себя. — Спасибо.

Дэвид, который больше не улыбался, кивнул.

— Если мы встретим еще одного патрульного, с ним разберусь я, — тихо сказал он. — Если нас остановят, сохраняйте спокойствие. Вид у вас должен быть не испуганный, а скорее недовольный, договорились? Чарли, ты понимаешь?

Я кивнула.

— Я друг Чарли, — сказал он блондину. — Дэвид.

Блондин кивнул.

— Я Фриц, — сказал он. — Я…

Но он не мог закончить фразу.

— Я знаю, кто ты, — сказал Дэвид.

Блондин посмотрел на меня.

— Фриц, — сказал он, и я кивнула, чтобы показать, что понимаю.

Больше нас не останавливали, и когда мы благополучно добрались до дома, Дэвид закрыл за нами входную дверь, передал мне термос, взял моего мужа на руки и понес его по лестнице наверх. Я не понимала, как ему это удается, потому что они были примерно одной комплекции.

Он отнес моего мужа в спальню, и даже несмотря на все происходящее, я страшно смутилась, когда подумала, что Дэвид и Фриц теперь увидят, что мы спим в разных кроватях, не прикасаясь друг к другу. Потом я вспомнила, что они и так это знают, и смутилась еще сильнее.

Но никто из них, казалось, ничего не заметил. Фриц сел рядом с моим мужем и снова гладил его по голове. Дэвид держал его за запястье и смотрел на свои наручные часы. Потом он осторожно опустил руку моего мужа на кровать, как будто возвращая ее ему.

— Чарли, принеси, пожалуйста, воды, — попросил он.

Когда я вернулась, Дэвид стоял на коленях у кровати. Он взял кружку, которую я ему протянула, и поднес ее к губам моего мужа.

— Эдвард, ты можешь глотать? Вот так, отлично. Еще немного. Отлично.

Он поставил кружку на пол рядом с собой.

— Ты знаешь, что это конец, — сказал он, хотя было неясно, к кому он обращается: ко мне или к Фрицу.

Ответил Фриц.

— Знаю, — тихо сказал он. — Ему поставили диагноз год назад. Я просто думал, что у него будет

больше времени.

Я услышала свой собственный голос как будто со стороны:

— Какой? Какой диагноз?

Они оба посмотрели на меня.

— Застойная сердечная недостаточность, — сказал Фриц.

— Но это лечится, — сказала я. — Его можно спасти.

Но Фриц покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Его — нельзя. Родственников осужденных за государственную измену не спасают. — И заплакал.

— Он мне ничего не сказал, — пробормотала я, когда снова смогла говорить. — Он мне ничего не сказал.

И я начала ходить туда-сюда, всплескивать руками и повторять: “Он мне ничего не сказал, он мне ничего не сказал”, — пока Фриц не поднялся на ноги и не поймал мои ладони в свои.

— Он пытался выбрать подходящее время, чтобы поговорить с тобой, Чарли, — сказал он. — Но он не хотел тебя волновать. Он не хотел, чтобы ты расстраивалась.

— Но я расстраиваюсь *сейчас*, — сказала я, и на этот раз уже Дэвиду пришлось усадить меня

рядом с собой на кровать, обнять и начать укачивать, точно как это делал дедушка.

— Чарли, Чарли, ты такая храбрая, — сказал он. — Уже почти все, Чарли, уже почти все.

И я плакала и плакала, хотя мне было стыдно плакать, было стыдно, что я плачу о себе не меньше, чем о муже: я плакала, потому что знала так мало, и потому что понимала так мало, и потому что, хотя муж не любил меня, я его любила и он, мне кажется, это знал. Я плакала, потому что он по-настоящему любил другого человека и этот человек знал обо мне все, а я о нем — ничего; я плакала, потому что этот человек теперь тоже его терял. Я плакала, потому что он был болен, но не подумал или не смог сказать мне — я не знала, в чем именно было дело, но это не имело значения: главное, что не сказал.

Я плакала еще и потому, что знала: мой муж — единственная причина, по которой я могла бы остаться в Восьмой зоне, а теперь он умирает, и я здесь не останусь. Я плакала, потому что мы оба отправлялись в разные места, поодиночке, и ни один из нас никогда больше не вернется в эту квартиру, в эту зону, в этот муниципалитет, в эту префектуру.

Остаток ночи и всю пятницу мы ждали смерти

моего мужа. Ранним утром Дэвид ушел в Центр, чтобы отметить наше отсутствие на работе. Фриц, который тоже жил в Корпусе семь, как и Дэвид, не был женат, и поэтому можно было не беспокоиться о том, что жена не знает, куда он делся.

Вернувшись, Дэвид дал моему мужу немного жидкости из своего термоса, и его лицо расслабилось, а дыхание стало глубже и спокойнее. “Можно дать ему больше, если станет по-настоящему плохо”, — сказал он, но ни Фриц, ни я ничего не ответили.

В полдень я приготовила обед, но никто не стал есть. В 19:00 Дэвид разогрел обед в духовке, и на этот раз мы все поели, сидя на полу в нашей с мужем спальне и наблюдая, как он спит.

Мы ни о чем не говорили или говорили очень мало. В какой-то момент Фриц спросил Дэвида: “Ты из Министерства внутренних дел?”, на что Дэвид слегка улыбнулся и сказал: “Типа того”, — и Фриц перестал задавать вопросы.

— Я работаю в Министерстве финансов, — сказал он, и Дэвид кивнул. — Ты, наверное, это и так знаешь, — добавил он, и Дэвид снова кивнул.

Наверное, было бы уместно спросить Фрица, как и когда он познакомился с моим мужем, давно ли они знают друг друга и не он ли посылал

моему мужу записки. Но я не спросила. Конечно, я думала об этом в течение долгих часов, но в конце концов не стала спрашивать. Я не хотела это знать.

В ту ночь я спала в своей кровати. Дэвид спал на диване в гостиной. Фриц спал с моим мужем в его кровати и обнимал его, хотя мой муж не мог обнять его в ответ. Услышав, как кто-то произносит мое имя, я открыла глаза и увидела Дэвида, стоящего надо мной.

— Пора, Чарли, — сказал он.

Я посмотрела туда, где совершенно неподвижно лежал мой муж. Он дышал, но еле-еле. Я подошла и села на пол у изголовья его кровати. Его губы были бледного пурпурно-голубого цвета — я такого у человека никогда раньше не видела. Я взяла его за руку, которая была еще теплой, но потом поняла, что теплой она была только потому, что ее держал Фриц.

Мы сидели так очень долго. Когда начало всходить солнце, дыхание моего мужа стало хриплым, и Фриц посмотрел на Дэвида, который сидел на моей кровати, и сказал: “Дэвид, прошу тебя, пора”, — а потом посмотрел на меня, потому что я была его жена, и я тоже кивнула.

Дэвид раскрыл моему мужу рот. Потом достал

из кармана кусочек ткани, окунул в термос, выжал ему в рот и обтер десны, внутреннюю часть щек и язык. А потом мы все услышали, как мой муж начинает дышать все медленнее, глубже и реже и, наконец, перестает совсем.

Фриц заговорил первым, но обращался он не к нам, а к моему мужу.

— Я люблю тебя, — сказал он. — Мой Эдвард.

Тогда я поняла, что он последний, кто по-настоящему разговаривал с моим мужем, потому что, когда я наконец увидела мужа в четверг вечером, он больше не мог говорить. Фриц наклонился, чтобы поцеловать его в губы, и Дэвид отвел глаза, но я отворачиваться не стала: я никогда не видела, чтобы кто-то целовал моего мужа, и никогда больше не увижу.

Потом он встал.

— Что нам делать? — спросил он, и Дэвид сказал:

— Я о нем позабочусь.

Фриц кивнул.

— Спасибо, — сказал он, — большое тебе спасибо, Дэвид. Спасибо.

Я подумала, что он снова заплачет, но он не заплакал.

— Ну вот, — сказал он и посмотрел на меня. —

Прощай, Чарли. Спасибо за… за то, что ты была так добра ко мне. И к нему.

— Я ничего не сделала, — сказала я, но он покачал головой.

— Сделала, — сказал он. — Ты была ему дорога. — Он прерывисто вздохнул и взял свою сумку. — Жаль, что у меня ничего не останется на память о нем.

— Можешь взять его сумку, — сказала я. Мы уже успели в нее заглянуть, как будто там могло оказаться лекарство или запасное сердце, но нашли только его рабочий комбинезон, документы, небольшой бумажный кулек с орехами кешью и часы.

— Ты уверена? — спросил Фриц, и я ответила, что да. — Спасибо, — сказал он и осторожно положил сумку моего мужа в свою.

Мы с Дэвидом проводили Фрица до двери.

— Ну вот, — снова сказал он и на этот раз все-таки заплакал. Он поклонился Дэвиду, потом мне, и мы поклонились в ответ. — Извините, — сказал он, потому что плакал. — Извините, пожалуйста. Я так любил его.

— Мы понимаем, — сказал Дэвид. — Не за что извиняться.

И тут я вспомнила о записках.

— Подожди, — сказала я Фрицу, подошла к шкафу, достала коробку, открыла конверт и вытащила листочки. — Они твои, — сказала я, протягивая их Фрицу, и он посмотрел на них и снова заплакал.

— Спасибо, — сказал он, — спасибо.

На мгновение я подумала, что он дотронется до меня, но он этого не сделал, потому что это не принято.

Он открыл дверь и вышел. Мы слышали, как он спускается по лестнице и идет по коридору, потом входная дверь открылась и захлопнулась за ним, и он ушел, и все снова стало тихо.

Единственное, что оставалось, — это ждать. Ровно в 23:00 я должна быть на берегу в конце Чарльз-стрит, где меня встретит лодка. Эта лодка отвезет меня на другую лодку, гораздо больше, и она уже отвезет меня в страну под названием Исландия, про которую я никогда не слышала. В Исландии меня отправят на карантин на три недели, чтобы убедиться, что я не заразилась новым вирусом, а потом я сяду на третью лодку, которая отвезет меня в Новую Британию.

Но Дэвид не будет ждать меня на берегу. Мне придется все сделать самой. Ему нужно закончить здесь кое-какие дела, и поэтому я больше не

увижу его, пока не окажусь в Исландии. Услышав это, я снова заплакала.

— У тебя получится, Чарли, — сказал он. — Я знаю, что получится. Ты была очень храброй. Ты храбрая.

Наконец я вытерла глаза и кивнула.

Дэвид сказал, что пока мне надо попробовать поспать, но я должна встать вовремя, чтобы выйти из дому заранее. Он проследит, чтобы тело моего мужа нашли и кремировали, но это произойдет не раньше чем я уеду. Хорошо, что погода нам благоприятствует, сказал он, но все равно надел на моего мужа охлаждающий костюм — правда, без шлема — и включил его.

— Мне пора идти, — сказал он. Мы подошли к двери. — Ты помнишь план? — спросил он. Я кивнула. — Есть вопросы?

Я покачала головой. Дэвид положил ладони мне на плечи, и я вздрогнула, но он не убрал руки.

— Твой дедушка гордился бы тобой, Чарли, — сказал он. — И я тобой горжусь. — С этими словами он отпустил меня. — До встречи в Исландии. Ты будешь свободна.

Я не знала, что это значит, но сказала в ответ: “До встречи”, — и он отсалютовал мне, как тому офицеру в четверг вечером, и ушел.

Я вернулась в нашу с мужем спальню, которая теперь была только моей, а завтра станет чьей-то еще, и достала из ящика под кроватью, где лежали оставшиеся деньги, три золотые монеты. Я вспомнила, как дедушка рассказывал, что в одних культурах принято класть монеты на веки умерших, а в других — под язык. Я не могла вспомнить зачем. Но сделала то же самое: положила по монете на каждый глаз мужа и еще одну под язык. Остальные монеты я убрала к себе в сумку. Надо было отдать Фрицу наши накопленные чеки, но я забыла.

А потом я легла рядом с мужем и обняла его. Это было непросто из-за охлаждающего костюма. Я впервые была к нему так близко, впервые к нему прикасалась. Я поцеловала его в щеку, которая была холодная и гладкая, как камень. Поцеловала в губы. Поцеловала в лоб. Дотронулась до его волос, век, бровей, носа. Я долго целовала его, гладила по щекам и разговаривала с ним. Я попросила у него прощения. Сказала, что еду в Новую Британию. Сказала, что буду скучать по нему и никогда его не забуду. Сказала, что люблю его. Вспомнила, как Фриц говорил, что я была дорога ему. Я никогда не думала, что в самом деле встречу человека, который посылал моему мужу

записки, но теперь это случилось.

Когда я проснулась, было темно, и я испугалась, потому что забыла поставить будильник. Но оказалось, что еще только 21:00, может, на несколько минут позже. Я приняла душ, хотя это был не водный день. Почистила зубы и положила зубную щетку в сумку. Я боялась, что если лягу, то снова засну, поэтому села на свою кровать и стала смотреть на мужа. Через несколько минут я надела на него охлаждающий шлем, чтобы голова не начала гнить, прежде чем его найдут и кремируют. Я знала, что ему это уже не нужно, что никому это уже не нужно, но не хотела представлять, как его лицо чернеет и расползается. Я никогда не проводила так много времени рядом с умершим человеком, даже с дедушкой, — тогда муж занимался кремацией вместо меня, потому что мне было слишком плохо.

В 22:20 я встала. На мне была простая черная рубашка и брюки, как велел Дэвид. Я повесила сумку на плечо. В последнюю минуту я положила туда свои документы, которые, по словам Дэвида, брать не стоило: я подумала, что они могут понадобиться, если меня остановят по дороге к берегу. Потом снова вытащила их и спрятала под подушку. Я подумала о чашке Петри с мизинчи-

ками, которую теперь никогда не смогу унести с работы.

— Прощайте, мизинчики, — сказала я вслух. — Прощайте.

Сердце колотилось так часто, что было трудно дышать.

Я заперла квартиру в последний раз и просунула ключи под дверь.

И вот я вышла на улицу и шагала на запад, почти как двое суток назад. Луна светила так ярко, что, даже когда лучи прожекторов повернули в сторону, я по-прежнему видела, куда иду. Дэвид сказал, что после 21:00 большинство Мух перенаправят в другие места — сосредоточат вокруг больниц и пошлют в густонаселенные районы, где они будут вести наблюдение в ожидании завтрашнего объявления; и действительно, я заметила только две-три Мухи, а их привычное гудение сменилось тишиной.

Я добралась до берега к 22:45, выбрала сухое место и села на землю, чтобы не расхаживать туда-сюда. Света здесь не было совсем. Даже фабрики за рекой были погружены в темноту. Единственным звуком был плеск воды, которая билась о бетонные стены набережной.

Потом я услышала едва различимый шум. Он

напоминал шепот или свист ветра. А после этого увидела едва заметный кружок желтоватого света, который, казалось, парил над рекой, как птица. Вскоре он стал больше и отчетливее, и я поняла, что это маленькая деревянная лодка, какие я видела на картинках: люди переплывали на таких лодках через Пруд, когда он еще был настоящим прудом.

Я встала, и лодка причалила. В ней сидели два человека, одетые в черное, и один из них держал фонарь, который опустил, когда лодка приблизилась к берегу. Даже их глаза были закрыты тонкой черной сеткой, и я почти не могла разглядеть их в слабом свете.

— Кобра? — спросил один из них.

— Мангуст, — ответила я.

Говоривший протянул мне руку, я шагнула в лодку, которая закачалась под моими ногами, и я испугалась, что упаду за борт.

— Сидите здесь, — сказал он и помог мне втиснуться между ним и вторым гребцом, и когда я присела и съежилась, стараясь занимать как можно меньше места, они накрыли меня брезентом. — И чтобы ни звука, — сказал он, и я кивнула, хотя он все равно не смог бы это увидеть. А потом лодка отчалила, и я слышала только плеск весел,

рассекающих воду, и дыхание гребцов.

Когда Дэвид сказал, что не будет встречаться со мной на берегу, я спросила, как я пойму, что люди, которые пришли за мной, именно те, кого я жду. “Ты поймешь, — сказал он. — В это время на берегу больше никого нет. Да и в любое другое время тоже”. Но я сказала, что хочу знать наверняка.

Через две недели после того, как мы с мужем поженились, в нашем доме устроили рейд. Это был первый рейд после того, как дедушки не стало, и я была в таком ужасе, что не могла перестать стонать, стонать, и бить руками по воздуху, и раскачиваться из стороны в сторону. Муж не знал, что со мной делать, и когда он пытался поймать мои руки в свои, я его отталкивала.

В ту ночь мне приснилось, что я вернулась домой с работы, готовлю ужин и слышу звук поворачивающегося в замке ключа. Но когда дверь открылась, это был не мой муж, а отряд полицейских: они кричали и приказывали мне лечь на пол, а их собаки с лаем бросались на меня. Я проснулась оттого, что звала дедушку, и муж принес мне воды, а потом сидел рядом, пока я не заснула снова.

На следующий вечер я готовила ужин, когда услышала скрежет ключей в замке, и хотя, ко-

нечно, это был всего лишь муж, я так испугалась, что уронила кастрюлю с картошкой на пол. Когда муж помог мне вытереть картошку от грязи и мы сели ужинать, он сказал:

— У меня есть идея. Давай придумаем пару кодовых слов, которые надо произнести при входе в квартиру, чтобы каждый из нас знал, кто за дверью? Я назову свое кодовое имя, а ты свое, и тогда мы оба поймем, что мы действительно те, за кого себя выдаем.

Я задумалась.

— А какие это будут слова? — спросила я.

— Так, — сказал мой муж, подумав. — Ты можешь назваться, например, коброй. — Наверное, вид у меня был удивленный или обиженный, потому что он улыбнулся. — Кобры очень свирепые. Они маленькие, но быстрые, а их укус смертельно опасен.

— А кем будешь ты? — спросила я.

— Сейчас решим, — сказал он, и я наблюдала за тем, как он думает. Он любил зоологию и любил животных. В тот день, когда мы с ним познакомились, по радио сообщили, что магеллановы пингвины официально признаны вымершими, и мужа эта новость огорчила: он сказал, что они прекрасно умели приспосабливаться, лучше, чем

мы думали, и были человечнее, чем мы думали. Когда они заболевали, сказал муж, то уходили из своей колонии, чтобы умереть в одиночестве и чтобы никто из сородичей их не видел.

— Я буду мангустом, — сказал он наконец. — Мангуст может убить кобру, если захочет, но такое бывает очень редко. — Он снова улыбнулся. — Слишком много усилий. Так что они просто уважают друг друга. Но мы с тобой будем такими коброй и мангустом, которые не просто уважают друг друга, а объединяются, чтобы защитить друг друга от остальных жителей джунглей.

— Кобра и Мангуст, — сказала я, помолчав, и он кивнул.

— Это гораздо более грозные имена, чем Чарли и Эдвард, — отозвался он и снова улыбнулся, и я поняла, что он подшучивает надо мной, но по-доброму.

— Да, — сказала я.

Я рассказала Дэвиду эту историю во время одной из наших первых прогулок, когда он еще был техник на Ферме, а мой муж еще был жив. И потом, перед расставанием, стоя у двери, Дэвид сказал:

— А как насчет кодовых слов — вроде ваших “Кобра” и “Мангуст”? Так ты поймешь, что лю-

ди, которые тебя встречают, именно те, кого ты ждешь.

— Давай, — согласилась я. Это была хорошая идея.

Я сидела съежившись в середине лодки под скамьей. Лодка подпрыгивала и качалась, но продолжала плыть, и весла быстро и ритмично рассекали воду. А потом я услышала шум мотора, от которого задрожало днище лодки, и по мере того, как я прислушивалась, он становился все громче и громче.

— Твою мать, — выругался один из мужчин.

— Это один из наших? — спросил другой.

— Слишком далеко, не поймешь, — сказал первый и снова выругался.

— Какого хера этот катер здесь делает?

— Да хер его знает, — сказал первый мужчина и выругался еще раз. — Но деваться некуда. Придется рискнуть, будем надеяться, что это один из наших.

Он легонько толкнул меня ногой:

— Мисс. Сидите очень тихо и не шевелитесь. Если это не наши…

Но потом я перестала его слышать, потому что шум мотора стал слишком громким. Я вдруг осознала, что ни разу не спросила Дэвида, что

делать, если меня поймают, а сам он никогда мне этого не говорил. Значит, он был уверен, что все будет именно так, как он описал? Или все на самом деле было спланировано заранее и меня везут к людям, которые отвезут меня куда-нибудь и что-нибудь со мной сделают? Уж конечно, Дэвид, который столько всего знал и столько всего предвидел, сказал бы мне, что делать, если что-то пойдет не так? Уж конечно, я не настолько беспомощна, что даже не додумалась спросить его? Я тихонько заплакала, прикусив уголок брезента. Может, я ошиблась, доверившись Дэвиду? Или не ошиблась, но с ним что-то случилось? Может, он арестован, или убит, или его исчезли? Что я буду делать, если меня поймают? Официально я никто: у меня даже нет с собой документов. Конечно, они могут сделать со мной что угодно, даже если бы документы были, но без них будет намного проще. Мне хотелось, чтобы у меня было дедушкино кольцо, и тогда я бы сжала его в кулаке и притворилась, что я в безопасности. Мне хотелось оказаться дома, и чтобы муж был жив, и чтобы я не переживала ничего из того, что произошло со мной за последние три дня. Мне хотелось, чтобы я никогда не встречала Дэвида; мне хотелось, чтобы он был сейчас со мной.

Но потом я поняла: что бы ни случилось, это конец моей жизни. Может быть, настоящий конец. Может быть, только конец той жизни, которую я знаю. Но в любом случае моя жизнь для меня не так уж и важна, потому что человека, для которого она была важнее всего, уже нет на свете.

— Эй! — раздался надо мной чей-то голос, но из-за шума мотора я не могла понять, кто это говорит — человек из нашей лодки или из той, другой, которая, как я чувствовала, уже плывет бок о бок с нашей, — и к кому он обращается. А потом с меня сдернули брезент, и я почувствовала на лице дуновение ветра и подняла голову, чтобы увидеть, кто меня зовет и куда мне предстоит отправиться дальше.

Глава 10

16 сентября 2088 г.

Дорогой мой Питер,

Пишу в спешке, больше такой возможности у меня не будет — человек, который каким-то способом переправит письмо тебе, стоит возле моей камеры, но через десять минут ему надо уйти.

Ты знаешь, что через четыре дня меня казнят. Повстанцам нужна заметная фигура, государству нужен козел отпущения, и я оказался компромиссным вариантом. Тем не менее, согласившись, чтобы меня прилюдно повесили перед ревущей толпой, мне удалось кое-чего добиться и от тех и от других: они оставят Чарли и ее мужа в покое, наказывать из-за меня не будут; Уэсли всегда будет обращаться с ней по-хорошему. Независимо от того, на чьей стороне окажется победа, она будет под защитой — по крайней мере, ее не станут тягать туда-сюда.

Доверяю ли я им? Нет. Но выбора тоже нет. На смерть мне наплевать, но оставлять ее здесь, в этом во всем — невыносимо. Конечно, она не будет одна. Но ведь и он здесь оставаться не может.

Питер, я люблю тебя. Ты знаешь об этом; я всегда тебя любил. Я знаю, что ты тоже меня любишь. Пожалуйста, не забудь про нее, про мою Чарли, мою внучку. Пожалуйста, найди возможность вывезти ее отсюда. Пожалуйста, сделай так, чтобы у нее была та жизнь, которую она заслуживает, какой она была бы, если бы я выбрался отсюда вовремя, если бы смог ее спасти. Ты знаешь, что ей нужна помощь. Прошу тебя, Питер. Сделай все, что можешь. Спаси моего котенка.

Кто мог подумать, что Новая Британия (господи) однажды окажется раем, а здесь все так отчаянно прогниет? Ну, ты, конечно, я знаю. И я тоже. Прости меня за это. И за все прости. Я принимал неверные решения — и делал это снова и снова.

У меня есть еще только одна просьба — не к тебе, а к кому-то или к чему-то: пускай мне будет дарована возможность вернуться когда-нибудь на землю коршуном, гарпией, гигантской, набитой микробами летучей мышью, каким-нибудь визгливым созданием с перепончатыми крыльями, которое парит над разоренными полями и ищет падаль. Где бы я ни оказался, первым делом я полечу сюда, как бы это место в ту пору ни называли — Нью-Йорк, Нью-Нью-Йорк, Вторая префектура, Третий муниципалитет, не важно.

Я пролечу мимо своего старого дома на Вашингтонской площади и посмотрю, не там ли она, и если ее не окажется — я отправлюсь на север, к УР, и поищу ее там.

А если ее и там не окажется, я буду надеяться на лучшее. Не что ее исчезли или куда-нибудь заперли, не что она умерла — а что она у тебя, что ты в конце концов сумел ее спасти. Я даже не стану кружить над островом Дэвидс, над крематориями, над свалками, над тюрьмами, над центрами перевоспитания или изоляционными центрами, безуспешно пытаясь почуять ее запах, выкаркивая ее имя. Нет — я возрадуюсь. Я убью себе крысу, кошку, что там удастся найти, съем ее, чтобы поддержать силы, широко расправлю костистые крылья, издам пронзительный крик, в котором будут слышны надежда и предвкушение. А потом я развернусь на восток и начну свой долгий океанский перелет, полечу, размахивая крыльями по дороге к тебе, к ней, может быть, даже к ее мужу, до самого Лондона, до моих любимых людей, до свободы, безопасности, достоинства — до самого рая.

Слова благодарности

Я очень признательна д-ру Джонатану Эпстайну из *EcoHealth Alliance* и ученым Университета Рокфеллера, многое мне рассказавшим и показавшим на ранних стадиях моей работы, — д-ру Жан-Лорану Казанове, Ирине Матос, Аарону Мерцу и Стефани Эллис. Я благодарна д-ру Дэвиду Моренсу из Национальных институтов здравоохранения и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который не только поспособствовал моему контакту со специалистами, но и добросердечно тратил время в течение настоящей пандемии, читая о придуманной.

Я глубоко благодарна Дину Баке, Иво ван Хове, Майклу “Биттеру” Дайксу, Михоко Ииде, Патрику Ли, Майку Ломбардо, Теду Малаверу, Джо Мантелло, Кейт Максвелл, Йосси Мило, Минджу Пак, Уитни Робинсону, Адаму Рэппу, Адаму Сэлману, Шарру Уайту, Дэниелу Шрайберу, Уиллу Швальбе, Джеффри Фрэнкелу, Рональду Янагихаре и Сьюзан Янагихаре, а также Тоби Коксу, Юко Учикаве, Трою Четтертону, Мириам Шотине-Гар-

динер и всем в нью-йоркском книжном магазине *Three Lives & Company* за поддержку, веру и благородство, которые они демонстрировали во всех профессиональных и личных делах. Спасибо вам, Том Янагихара и Ха'алилио Соломон, за помощь с гавайским языком. За все ошибки — не говоря уж о решении поменять топографию О'аху в соответствии с сюжетом — ответственность несу только я.

Мне очень повезло с двумя моими агентами, Анной Стайн и Джилл Джиллетт, которые не только никогда не предлагали мне пойти ни на какой компромисс, но и выказывали неотступное терпение и упорство. Я также очень благодарна Софи Бейкер и Каролине Саттон, самоотверженно защищавшим эту книгу и боровшимся за нее, как и всем моим редакторам, издателям и переводчикам в других странах, в особенности Катрине Бакке Болин, Александре Борисенко, Сусанне ван Левен, Варе Горностаевой, Кейт Грин, Анастасии Завозовой, Стефану Кляйнеру, Пяиви Ковисто-Аланко, Марии Ксилури, Йоанне Мачук, Лин Миллер, Шарлотте Ри, Даниэлю Сандстрему, Виктору Сонькину и сотрудникам *Picador UK*.

Джерри Ховард и Рави Мирчандани поверили в меня, когда это никому другому не приходило

в голову; я всегда буду им признательна за такое заступничество, страсть и убежденность. Я невероятно рада, что Билл Томас оказался на моей стороне и проявлял спокойную твердость, — спасибо, Билл, как и всем в издательстве *Doubleday and Anchor*, особенно Лекси Блум, Хари Докинзу, Тодду Даути, Джону Фонтане, Энди Хьюзу, Закери Лутцу, Николь Педерсен, Вими Сантохи, Энджи Венеции, как и На Ким, Терри Зарофф-Эванс и, конечно, Леонор Маманне.

Эта книга не была бы задумана и, уж конечно, не была бы написана без многих головокружительных разговоров и переписки с Карстен Кредел, которую я счастлива считать и надежным редактором, и любимым другом. Один из лучших подарков, которые достались мне в последние пять лет, — это дружба с Майком Мигером и Дэниелом Ромуальдесом, чье гостеприимство, советы и щедрость принесли мне огромную радость и удовольствие. Керри Лауэрманн был для меня источником юмора и надежным советчиком на протяжении десяти с лишним лет.

И наконец — я счастлива, что встретила Дэниела Розберри, чья мудрость, сочувствие, остроумие, воображение, скромность и постоянство сделали мою жизнь богаче и удивительнее; я просто не

смогла бы выдержать последние два года без него. И абсолютно все, кто я есть — как редактор, писатель и друг, — было бы невозможным без моего первого и любимого читателя Джареда Холта, чьи любовь и понимание поддерживали меня чаще и разнообразнее, чем я могу сосчитать. Моя верность — и, конечно, эта книга — обращена к ним.